

ЖИЗНЬ



ЖИЗНЬ





Scan Kreyder - 01.06.2018 - STERLITAMAK





СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ • ТОМ ВТОРОЙ



МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1994



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ • ТОМ ВТОРОЙ

СТРЕЛЬЦЫ У ТРОНА

*Историческая хроника
в двух повестях*

**РУСЬ НА ПЕРЕЛОМЕ
ОТРОК-ВЛАСТЕЛИН**

ВЕНЧАННЫЕ ЗАТВОРНИЦЫ

Историческая повесть-хроника



МОСКВА «ТЕРРА» — «TERRA» 1994

ББК 84Р1
Ж42

Составитель Т. ПРОКОПОВ

Художник Л. ЧЕРНЫШОВ

Жданов Л.

Ж42 Собрание сочинений: В 6 т. Т. 2/Сост. Т. Прокопов. — М.: ТЕРРА, 1994. — 688 с. — (Библиотека исторической прозы).

ISBN 5-85255-662-9 (Т. 2)

ISBN 5-85255-651-3

Среди исторических романистов начала XX века не было имени популярней, чем Лев Жданов (1864—1951). Большинство его книг посвящено малоизвестным страницам истории России. В шеститомное собрание сочинений писателя вошли его лучшие исторические романы-хроники и повести. Почти все не издавались более восьмидесяти лет.

Во второй том вошли историческая хроника в двух повестях «Стрельцы у трона» («Русь на переломе», «Отрок-властелин») и историческая повесть-хроника «Венчанные затворницы».

Ж 4702010100-261
А30(03)-94 Подписное

ББК 84Р1

ISBN 5-85255-662-9 (Т. 2)

IRBT 5-85255-6651-3

© Издательский центр «ТЕРРА», 1994

РУСЬ НА ПЕРЕЛОМЕ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ
КОНЦА ЦАРСТВОВАНИЯ
АЛЕКСЕЯ
МИХАЙЛОВИЧА



ОТ АВТОРА

В течение двух лет издательством А.Ф. Девриена выпущены две мои исторические повести для юношества, два больших ценных тома: «Царь Иоанн Грозный» и «Царь-опричник». Поощренный вниманием критики и широкой публики, я решаюсь продолжать свою работу в том обширном размере, как была она задумана мною уже давно.

Пока, минуя царенье слабовольного Федора Иоанновича, нашедшего для себя чудесного изобразителя в Алексее Толстом, минуя пору Лихолетья и царствование избранника земского, царя Михаила Романова, я рисую в настоящей повести конец царствования Алексея Михалыча, краткое царенье Федора Алексеевича и первую юность Петра, впоследствии принявшего императорский титул и прозванного Великим не только льстивой придворной «историей», но и голосами всего мыслящего мира.

Как ни странно, но первый русский император, прорубивший «окно в Европу» из московской Руси, считал для себя самым лестным, когда ему намекнули во время одного из победных празднеств, что он «продолжает дело прадеда своего, Ивана IV», этого бездушного палача на троне, но умного и дальновидного государственного строителя.

Вот первый яркий, интересный штрих, дающий каждому понять, что и сам Петр, несмотря на всю свою гениальность, не явился чем-то неожиданным на фоне исторической русской жизни, а имел своих предшественников, только, конечно, не таких одаренных, не таких — скажем даже — удачливых. Являлись они не так уж в пору, как вовремя пришел на Русь и занял древний трон Мономахов император Петр, первый и Великий по праву.

Люди, изучавшие историю не по официальным конспектам и учебникам нашего просветительного ведомства, — бесповоротно осужденным всей русской жизнью, — знали и знают, конечно, что дало рост и силу начинаниям Петра, не щадившего, правда, своих политических противников ради задуманных целей. Он встретил сочувствие и сильную поддержку в лучшей части русского просвещенного общества, какое существовало в его время, хотя бы и в виде зародыша.

И не одни только казни да кровь служили скрепляющим цементом для смелых начинаний крутого реформатора. Наряду с ошибками и подвигами бесчеловечными, вроде казни собственного сына, этот государь совершил работу нового Геркулеса, очищая русло народной и государственной русской жизни от заносов неподвижной татарщины, от начал патриархально-приказного строя.

Его «самодержавное» императорство служило неизбежной переходной ступенью к новым коллегиальным и закономерным рамкам человеческого общежития.

Наметить и показать все это в ясном, ни на шаг не отступающем от исторической правды и точности рассказе было моей целью при создании настоящей повести.

Источниками для нее, кроме сказаний о стрелецких бунтах очевидцев, служили и другие, наиболее основательные, труды по истории того времени, и первоисточники, в виде летописей и хронографов. Все они будут упомянуты в тексте.

В настоящей части моего труда я особенно останавливаю внимание читателя на переходном состоянии царства в последние годы Алексея, на первых интригах бояр, повлекших за собою участие стрелецких полков при решении вопросов государственной важности. Рассказ обрывается на смерти царя Алексея, с которым сошла навсегда в могилу и «старая, допетровская Русь», так как царенье Федора Алексеевича и соцаренье Ивана с Петром, которое служит содержанием второй половины труда, уже есть нечто иное. Во всем чувствуется мощный трепет новой Руси, ярким выразителем и воссоздателем которой является Петр, когда, заточив Софью, стал на деле единым, самодержавным правителем царства, которое он принял в виде деревянных за-

тейливых хором Московии и оставил каменным, величавым, хотя и однообразным на вид, храмом, мировой империей.

Краткое царенье Федора, первые годы власти Петра, которую Софья хотела вырвать, затеяв ряд стрельчих бунтов, — все это составит содержание второй половины настоящего труда, которая будет издана вслед за настоящей книгой. И, как автор, я буду рад, если помогу разобраться в путанице исторических событий каждому пытливому уму, желающему глубже проникнуть во тьму времен, в то былое, из которого возникло наше настоящее.

Л. Ж.

НОВАЯ ЦАРИЦА

(2 марта 1669 — 22 января 1671)

Медленно, мерно, печально разносится великопостный звон больших московских колоколов со всех колоколен и звонниц на посадах, в Китай-городе и в Кремле.

Чистый Понедельник в лето от Сотворения мира 7177, то есть в 1669 году от Рождества Христова, пришелся на 2 марта.

Пушистая, белая пелена снегов еще одевает весь край земли, где раскинулось обширное Московское царство.

Чернеют-тянутся еще зимние обозы по выбоинам извилистых, бесконечных дорог, пролегающих вдоль полей и под навесами вековых сосен, дубов и елей, в густых дубравах и лесах московских. Толстым слоем лежит снег на крышах домов, на куполах многочисленных церквей и монастырей, на островерхих кровлях кремлевских палат.

Но уже не сверкает этот снег своей прежней ослепительной белизной. Верхний пласт его принял синевато-матовый, вешний оттенок.

Трещат еще бревна по ночам от морозов, но по утрам спозаранку снопы ярких лучей так и загораются на золоченых главах кремлевских соборов, рассыпаются яркими проймами на посинелом, словно вспухнувшем, слегка вздутом, льдистом покрове Москвы-реки.

Весною, теплом повеяло откуда-то, не то с высот бледно-голубого, зеленоватого по краям неба, не то — и невесть откуда...

И несмотря на печальный, мерный звон колоколов, говорящий людям о бренности земной жизни, — эта самая жизнь особенно сильно кипит по всем углам, площадям и переулкам людной торговой Москвы, рус-

ского первопрестольного города, «Третьего, Рима», как любил величать ее царь Иван IV, мучитель людей по привычке и «ритор», сочинитель по призыванию на троне Московских царей.

Нет давно Ивана. Угаснул и весь род его, державный род Рюрика. Нет Шуйского-царя, нет Годунова. Минуло Лихолетье. Даже прах загадочного Дмитрия — названного царя Московского — развеян по ветру вдоль полей и лугов... Отцарствовал избранный боярами, вечно податливый и ласковый государь Михаил Федорович, первый из рода Романовых.

Вот уж почти четверть века на троне Мономаха сидит сын первоизбранного царя Алексей Михайлович, Тишайший, как прозвали его еще заживо в народе.

Правда, любит этот царь, чтобы все было скромно, тихо да смиренно, и в дому у него, и в царстве.

— Тише — оно лучше, — часто повторяет государь, — и от злова глазу, от порчи уберечися легше... И от злова умыслу подалей, — коли нихто у тебя не ведает, што удумано да што хто творити собирается...

«Порча», «лихой глаз» — смешные слова для нас. Но для людей того времени — это были грозные призраки, часто незримо и властно пролетающие под высокими крышами царских и боярских палат.

И в простых избах тоже нередко появлялись эти гости: порча и злой глаз. Но беднякам-крестьянам некогда бывало разбираться: отчего пристигла беда? Гибли они — без раздумья.

У царя же Тишайшего, у Алексея, не раз бывали столкновения с этими чудовищами. Его первая невеста, красавица, дочь простого дворянина Рафа Всеволожского, разве не была отнята у царя почти из-под венца?..

«Испортили» красавицу, чтобы не пробралась чужая девушка, незнатного рода в царский златоверхий терем... Чтобы не привела туда своей родни, не прибавилось бы лишних ртов и рук к тем, которых издавна царь наделяет доходами, собранными его казной со всей земли.

Любил царь первенца своего, царевича Дмитрия. Да, видно, несчастливое то имя в роду царей Московских... Двоих Дмитриев потерял Иван IV. И раньше того, царевичи, носящие роковое имя, гибли молодыми, если не попадали в заточение, как внук царя Василия...

Также умер ребенком и Димитрий Алексиевич.

Умер на тринадцатом году второй царевич, объявленный было наследником, разумный, красивый юноша Алексей Алексиевич.

Федор, третий, и четвертый — Иван — совсем хворые ребята. Особенно младший, Ваня. Видит плохо. Станный такой, словно бы и разума нет у него. Мычит только да к мамке, к груди тянется. А ведь уж четвертый год мальчику...

Правда, целых шесть дочерей у царя. И все — побойчей, поздоровей они, чем братья. Да девчонку на трон не посадишь после себя. Не ведется того на Руси.

И часто задумывается об этом «тишайший» царь. Еще тише и беззвучней становится тогда во дворце, напоминающем скорее монастырь, чем роскошное царское жилище...

Только плещет и шумит широкая, кипучая жизнь торговой, многолюдной Москвы у стен царского Кремля, где в тени садов укрыты палаты царя, терема царицы.

Сейчас надежда снова всколыхнула было сердце царя.

26 февраля царица Марья Ильинишна собралась подарить мужу еще ребенка. Но когда Алексей в соседнем покое нетерпеливо ходил и ждал вестей, робко вошла бабка-повитуха и, земно кланяясь, объявила:

— Даровал тебе, царь-государь, Господь дочь, нареченную Евдокией.

Сказала, подметила: какое глубокое разочарование испытал при этой вести царь, и, снова торопливо отдав поклон, поспешила вернуться в опочивальню к царице, не дожидаясь даже обычного дара — пары рублевиков, какие полагались за «добрую весть» от каждого отца.

Опечаленный, молчаливый по обыкновению, ушел к себе государь.

А тут пришли с новыми, еще худшими вестями.

Ребенок родился больной, слабый. Царице тоже очень плохо. Вряд ли обе и проживут долго...

Предсказания повитух, подтвержденные и врачами, которых немедленно призвали к царице, быстро сбылись.

Малютка и двух дней не прожила.

Царя, которого раньше не допускали в опочивальню к больной, чтобы не тревожить и ее, и его напрасно,

утром, на заре, 2 марта, позвали к царице Марье Ильинишне.

— Што? Али кончается? — спросил Алексей, поспешно одеваясь с помощью спальника своего, родича царицы, Ильи Данилыча Милославского, который поднял с постели царя.

— Должно, час приспел! — негромко отозвался Милославский.

И оба быстро, молча двинулись по знакомым, слабо освещенным сейчас переходам на половину царицы, в женские терема.

Детей царских не стали до поры пугать тяжелыми вестями.

Только старшую, Евдокию, которой уже девятнадцатый год, с утра позвали к матери.

Вторая, Марфа, гостила в Горицком монастыре, куда не раз сама просилась у отца, желая постричься. Хилая, болезненная, робкая Марфа в семнадцать лет казалась много моложе. И ее тянуло прочь от мира. Стать «Христовой невестой» — вот о чем только и мечтала царевна.

Остальные дети — Анна, четырнадцати лет, Софья, бойкая, крепкая, черноглазая девочка, не похожая ни на мать, ни на отца, шалуныя одиннадцати лет, Катя, на год младше ее, погодки: Маша и Федя — девяти и восьми лет, Федосья, семилетняя девочка, бледная и застенчивая, — по обычаю, все они встали рано, с первыми лучами солнца, помолились и после первого завтрака собрались в большой, невысокой, сводчатой горнице, в детской, которая служила и классной комнатой.

Четырехлетний болезненный Симеон и самый младший Ваня остались в опочивальне, на попечении своих мамок и нянек.

Царевны и царевич Федор знали, что Бог послал им было маленькую сестренку, но она, прожив всего два дня, вчера умерла, а нынче или завтра ее будут хоронить.

И, собравшись в детской, где постоянно в ожидании учителей затевали забавы и игры с несколькими боярскими детьми, допущенными сюда, теперь все дети, от старшей девочки до самого меньшего, расселись чинно у стола или под окном и только изредка перекидывались словом вполголоса, словно опасаясь нарушить

жуткое, томительное молчание, которое царило во всем опечаленном дворце.

Мамушки царевен, довольные, что их питомицы присмирели, уселись на лавке, поодаль и шушукались между собой, конечно, толкуя про дворцовые беды.

Дядька царевича Федора, Иван Богданович Хитрово, полный, тяжелый и ленивый по натуре боярин, всегда с большой неохотой встающий на свое раннее дежурство, прислонился к спинке кресла, у печки, и, убаюканный теплом и тишиной, задремал.

В другое время Софья или лукавая, хотя и скромная на вид, Катя, не упустили бы случая пошалить, пользуясь отсутствием надзора. Но сейчас девочки только пересмеялись, указав друг другу на приоткрытые боярские уста, из которых исходил легкий храп, и снова примолкли. Самая младшая рядила в новые лоскутья старую любимую куклу. Анна просматривала книгу с описаниями разных стран и людей. В сотый раз разглядывала она грубые рисунки и мечтала:

— Как бы хорошо самой побывать повсюду, увидеть разных людей. Видеть иные города, иные обычаи узнать...

Звонко пробили часы на Фроловской (Спасской) башне над воротами.

И как всегда появился придверник с докладом к дядьке царевича Федора, как к старшему в горнице:

— Его благословение, инок Симеон пожаловать изволил. Чести молит: царевича очи видеть мочно ли есть?

— Зови, проси милости! — проснувшись, отряхавшись и поднимаясь навстречу наставнику, торопливо проговорил Хитрово.

В горницу вошел среднего роста, худощавый инок, иеромонах Симеон Полоцкий, известный словесник, ученый и пиит. Дверь была очень низка, и на пороге ему пришлось слегка склонить голову в высоком черном клобуке.

Царь столкнулся с Симеоном в Полоцке, зная уже об иноке как о человеке большой учености. Очень понравились ему приветственные вирши, поднесенные Алексею умным монахом, скорее царедворцем с гибкой, честолюбивой душой, чем иноком.

После двух-трех свиданий и разговоров царь предложил белорусу-монаху ехать на Москву, заняться вос-

питанием и образованием царевича Федора, который являлся прямым наследником престола.

— Але ж, пресветлый царь-государь, не найдется разве на Москве своих, что ты мене, чужого, ни до чего не привычайного у вас, хочешь призвать на столь трудное дело? — начал было отговариваться Симеон.

Между тем его неправильное, но выразительное лицо, обыкновенно бледное и спокойное, так и вспыхнуло, а в глазах, темных и проницательных, даже огонек какой-то загорелся.

— И не спорь со мной, отче! — по обычаю, неторопливо, но внушительно-настойчиво возразил Алексей. — Аль я не знаю, что творю? Не отец я сыну? Не царь в своей земле? Слыхал, ведь, немало новины хотел бы завесть я в Московском царстве. Вот ты и пособляй мне.

— Твоя правда, государь. Будь, как твоя воля царская есть. А я стану служиць тебе, як отцу родному. А царевича научать, як свое дечко родное...

Так переехал Симеон на Москву из просвещенного Полоцка и поселился в царском дворце в качестве воспитателя царевича-наследника.

Сейчас, при появлении Симеона, дети, очень любившие инок, едва дождались, пока тот обменялся обычными приветствиями с боярином Хитрово и ответил на поклоны мамушек, совсем отошедших в дальний угол.

Сразу все царевны и Федор обступили наставника.

— Отец Симеон, благослови!

— Благослови, отче! — лепетали дети, перебивая один другого и целуя благословляющую руку инок, такую мягкую, выхоленную, что она скорее походила на женскую, чем на мужскую.

Такие руки бывают у католических патеров, особенно у тех, кто вращается в высшем кругу.

Вообще и своим явно нерусским говором, и видом, и всей уклончивой и вкрадчивой манерой и речью Симеон не походил на представителей московского духовенства, обычно рабски угодливых или резких и строгих до грубости даже по отношению к царю.

Не любило Симеона московское духовенство до самого патриарха включительно и за его манеры, и за близость, за влияние на слабовольного царя... Не любили его попы и за новшества, допускаемые иноком в церковном обиходе.

Например, проповеди Симеона.

Обычно, если надо было сказать слово прихожанам, русские священники приводили слова апостолов и отцов церкви, читали главы из Евангелия, кое-где давая осторожное толкование.

Симеон завел нечто иное.

По примеру западного священства, он говорил проповеди, если не сочиненные тут же в храме, то заранее приготовленные и составленные им самим на какой-нибудь церковный текст.

Эти живые, умно составленные речи сильно влияли на слушателей, и храм бывал переполнен, когда ждали, что инок Симеон скажет свое «слово».

У знатных и у простых только и разговору было, что о приезде «риторе-иеромонахе». Его сравнивали со своими, московскими проповедниками и, конечно, не в пользу последних.

Но пока Симеон был в полной силе при дворе, попы таили свою зависть и злобу, терпели посрамление и только ждали дня, когда можно будет свести счеты с «наезжим сладкогласом»...

Царевны и царевичи любили ласкового, разговорчивого наставника, жадно ловили каждое его слово и своею привязанностью, своими успехами в науках еще больше упрочили положение Симеона при московском дворе.

Сейчас, конечно, первым вопросом у детей был вопрос о матери:

— Што родная? Какова осударыня-матушка в здорovyи своем? Не слыхать ли? Ты все, поди, знаешь, все ведаешь, отче! — один за другим зазвенели детские голоса.

И личики у них побледнели. Сдерживаемая до сих пор тревога вырвалась наружу и у старших.

— Чему быть? Все буде, як Божа воля... Не слыхаць злого, значит, все ладно! — успокоил детей наставник. — Ну, а теперь, цо почнем учить? — желая отвлечь детские мысли от печальных событий, проговорил Симеон, подошел к столу, опустил на свое обычное место, вынул очки и стал протирать стекла большим цветным шелковым платком.

— Что учить-то? Не до учебы. Все про мамушку мнится, — грустно, слегка нараспев сказала Анна. — Я и сна не имела ноне во всю ноченьку...

— А я и спала, только учиться неохота! — подхватила Софья. — Скажи нам лучше сам чево... Из гистории... али иное что...

— Да уж, лучше скажи што! — запросил и Федор, очень любивший рассказы инока, применявшего уже и тогда систему обучения живым словом, а не мертвой книжной буквой.

— Добро... Вижу: душки-то ваши малые смятенны. И у тебя, царевич... А, ли-ко, ты व्यюнош еси, муж будешь, царем настанешь на Руси, егда час придет... Не гораздо то есть... Вот, скажу я вам про некую девицу, царского тоже роду, Пульхерией, сиречи Прекрасною нарицаемой. Како она, духа мужеска преисполнясь, всяки беды на царстве познавала и отводить их могла...

— Скажи... Сказывай, отче.

Сплетясь живым кольцом, кто стоя, кто сидя рядом на табурете, кто прямо опустившись на ковер у ног инока, дети стали слушать его рассказ.

— Было то не столь давно, еднако, и не в близку од нас, пору. Скончал дни живота своего император преславной Византии Аркадий, коего царица Евдокия воздвигла гонения на блаженного псалмопевца, рачителя веры Христовой Иоанна, рекомого Хрезостома, сиречи: Златыя уста по-словенски.

— Вот ровно бы ты у нас, отче Симеоне, — заметила бойкая Софья, которая всегда особенно внимательно прислушивалась к словам красноречивого наставника.

— А ты слухай, молчи да помалкивай, царь-девица! — с ласковой угрозой отозвался инок.

Так прозвал он свою любимицу царевну. Живая, находчивая, настойчивая по характеру, она всегда верховодила в играх с братьями и даже со старшими сестрами. Ученье тоже ей давалось много легче, чем остальным детям царя.

— Скончалась та Евдокия и преставился император сам Августус. Остались по ним сироты-детки, малолетки: наследник-цесаревич, чадо единое мужеска пола, малость постарей, вот, нашего царевича, так годков десяти, да четверо сестер-царевен. Старшой-то самой, никак, девятнадцатый годок...

— Как сестре Овдотье, — снова вставила Софья.

— Так, скажем. И волей родителя — Августа, в Бозе опочиваго, остался правителем на царстве нека-

кий еунук Антиох, из персианов, верою, однако, Христовой просвещен еси был...

— Еунук — это безбородый такой... Што царицыны терема в Цареграде стерегут? — опять задала вопрос София. — Я видала: мних один к нам такой наезжал. Даров молил для патриарха для цареградского. Словно баба старая, у-у, какой...

И девочка забавно сморщила все свое лицо, изображая евнуха-монаха, недавно гостившего на Москве.

— Вот, вот... Был той Антиох пестуном — дядькой царя-отрока. Да покуль живы были родители, и он дело свое добре правил. А как остался сам старшой во всей земле — и сдурел. Неподобно вести себя почал. И дела государские в небрежении покинул...

— А казнить бы ево за то! — строго сдвигая темные густые свои брови, снова вставила замечание София.

— Ну, где казнить? Кому? Слыхала ж: государь малолеток сам еще. Да и духу не хватило бы наставника свою позорить.

— Ну, ежели он ровно баба, сестра бы старшая вступилась! — не унимаясь, сказала царевна. Очевидно, она очень близко к сердцу приняла историю, которую начал им рассказывать Симеон.

— И то... По твоим по словам и вышло, мудреная ты моя! Призвала царевна Пульхерия многих вельмож первых, кто с Антиохом не в дружбе был. К отцу патриарху святейшему сама понаведальась. Говорит: «Можно ль на царстве еунука-персиана терпеть да ко всему о земле нерачителя? Одно знает: злато гребет, шлет караванами в свою персицкую сторону. Скоро и вовсе казну опустошит». Согласились все с царевной. Нашлись воины верные, ночью в опочивальне захватили персюка.

— И смерти предали? — сверкая глазами, задала снова вопрос бойкая девочка.

— Сослали далеко. В такой край, где и не выжить никому. И то добре, без кровипролития, как Христос заповедал... Тогда взяла себе царевна Пульхерия правительство и, како подобает, Августой-цезаревной нареклася. По-мужески царством стала править, вестимо, заодно с мужами совета старейшими да разумнейшими. А сама жизнь истинно святую вела, в посте и в молитве пребывала, храмы воздвигала, строила Господ-

ни, обители иноческие ухищивала, дарами оделяла щедрыми. И долго тако было. Брат подрос, оженила она ево. А сама — по-старому землей владела...

— А что же брат-то? Ежели женатый уж он да большой стал? Как же он? Каков же он государь был?

— Да ни во што и не мешался. С малых лет видел, что сестра хорошо правит. Ему и лучше. Слабосильный был той Феодосий император. Умом тоже не больно востер. Вот и рад! Что ему ни подаст сестра на царскую скрепу, он любой указ и подмахнет, даже не прочтя. Стала уж сестра Пульхерия ему с досады толковать: «Этак править можно ль? Мало что тебе подадут? А ты, не глядя, и руку приложил! Срам!» — «Пустое, — говорит ей брат-государь, — мне за тобой спокойно. Жизнь долга ли нам на земле дана? Ты — царством ведай. Я — поживу на свое удовольствие. Что еще там с делами главу свою мне сушить!» Ни слова не сказала Пульхерия-Августа. А на друго утро и приносит ему за большой печатью харатейный лист. «Подпиши!» — говорит. Он и черкнул по обычаю своему, и не глянувши, Федосей-император.

А к вечеру сестра присылает своего еунука с той самой хартией к брату, и еунук говорит: «Прислала меня Пульхерия-Августа. Поизволь, государь, супруге твоей, Евдокии-афинянке в гинекион идти в царевнин. Утром твой своеручный указ даден: «Аки рабу, во оно время сребром купленную, передал ты супругу свою сестре в рабство!..» Вот подпись твоя царская, печать большая и скрепа. Все, как след!» Побледнел, затрясся даже Феодосий. «Не дам, не пущу! — кричит. — Жена моя, императрица, государыня — не раба Евдокия!..» А та, при всем была, слушала и говорит: «Пусти меня, государь! Перво дело: ты сам подписал. И печать большая при указе. Сам царь, коли раз руку приложил, своего указу менять не может. Не водится так. А второе: худа мне не будет. Шутку завела сестра-правительница. Поучить тебя хоче: не чтя указов, не прикладывал бы руки своей кесарской. Поглядим, што со мной делать станет?» И пошла в гинекион, в терем женский в царевнин... А Пульхерия и впрямь, аки рабу, приняла золовку-императрицу, за работу засадила за простую... Чуть ли не в брань да в толчки приняла, когда та ей не потрафила. Узнал Федосей. Не свой стал. Кричит: «Пускай сестра жену вернет! Не то стражу

возьму, весь ее гинекион разорю»... Послушала Пульхерия, сама привела к брату императрицу Евдокию. Пытает его: «Станешь ли наслепо указы давать, не прочтя, руку прикладывать?». Слова не сказал брат-государь, отвернулся, молчит, нахмурился. Только с той поры каждую строку дважды перечтет, ничем подпишет... Вот такая девица-царевна Пульхерия была.

— Ну, а далее што? Как с ими было?

— Далее, зло затаила Евдокия и другие на Августу-Пульхерию. Наветы навели. Удалил ее брат от себя, изгнал из чертогов царских. Та, лих, не стало царевны, и порядку в делах да на царстве не стало. Все — тащиць казну почали на разные стороны. Народ замутился. Только и слышно по стогнам стало: «Вернуть нам Пульхерию-Августу. Одна народу она оборона от вельмож, от грабителей!». Ну, и вернули. Так до кончины до братней она и правила всем царством.

— А как он скончался? Ужель девица царем и взаправду стала? Нешто, можно оно? — вся раскрасневшись, захваченная рассказом, допытывалась София.

— Никак не можно. Закон византийский не велит. Обычай не ведется. Царям подобает лишь престол занимать. Не то у византийцев, како у нас, у словен было, где и жены государили, скажем, Ольга, княгиня великая да иные... Тамо — мужеску полу единому скипетром владеть належит... Избрала и Пульхерия супруга себе и нарекла его императором. Простого, незначного воина взяла, из стражи своей из кесарской, именем Маркиан. И до брака ему сказала: «Людей ради, для всенародного мнения потребно на троне императору, у меня супругу быти. Но помни: как прожила я в девстве, в чистоте монашеской пятьдесят и четыре года жизни моей, тако и впредь будет. Почести тебе всякие. Утехи и воля. Мне власть, молитва и келья моя девиць, опочивальня особая во дворце нашем императорском...». Так и пребыла чистой девой, непорочной до конца дней своих. А при кончине и вовсе схиму прияти сподобилась, как оно подобает государям христианским, правоверующим... Вот она такая Пульхерия — девица-государыня византийская на свете була!..

Симеон умолк. Наступило небольшое молчание. Не только дети, но и взрослые, очевидно, находились под впечатлением занятой были из царской жизни, рассказанной ученым монахом.

— А я ж таки, коли стану царем... вот и не стану тебя слушать, Софка! — неожиданно нарушил молчание первый Федор-царевич.

Его слабый, сиповатый голос и самые слова вызвали улыбку у старших и взрыв громкого, веселого смеха у детей.

— Вон он што! Ишь, куда метнул! Ах ты, воин! — привлекая к себе мальчугана, ласково погладил его по редким, шелковистым кудрям монах-наставник.

— Ах ты, Федюля! Помалкивай лучше! Как девчонка ты теперь: одно, знай, хнычешь, да плачешь, да «бобо» тебе бесперечь... Так и век проживешь. Не то меня, всякого чужова послухаешь! А я, вот, погляди... — начала было громко, задорно, быстро-быстро, по своему обыкновению, Софья.

Но вошел придверник и доложил:

— Царь-осударь сам изволит, жалует.

В раскрытых дверях показалась сутулая слегка фигура Алексея, как будто еще более поникшего своей усталой головой. Глаза его были красны, веки припухли не то от бессонницы, не то от невыплаканных слез.

С его появлением сразу что-то печальное, тяжелое, как ожидание большой беды, разлилось по всему покою, заставляя сильнее биться сердца.

Ласково ответив на низкий поклон Симеону, кивнув головой остальным, которые «добили челом», государь Алексей подошел под благословение к монаху, потом сам благословил детей и дал им целовать руку. Федора и Софью поцеловал. Девочка была любимицей отца, как и у всех других.

— День добрый, детки мои! Добры ль в здоровьи своем? Ну, и ладно, коли все ладно. Хвала Господу сил... Вот слышьте... Сам я по вас пришел. Час, видно, приспе воли Божией... Осударыня-матушка ваша, видно, вам много лет жить приказать собралася... Проститься зовет... Пойдем уж... Только тише бы, детки... Дайте с миром, покойно дух испустить родимой. Не мрачите час смертный рыданием да стенаньями многими... Слышь, Федя, с мамушкой проститься, да не реви... Невместно тебе то... Посмирнее будь...

— Я... я смиреннько, батя! — ответил мальчик, плохо поняв, чего хочет отец, но робея от его печаль-

ного вида, заражаясь волнением, от которого дрожал и рвался голос Алексея, обычно такой ровный, приятный, густой.

— С Богом... Идем... И ты, отче! — обратился царь к Симеону. — Не чужой, слышь, свой...

Взяв за руку сына, он первый двинулся из горницы снова на половину царицы.

Остальные печально, бесшумно, по возможности, пошли за царем.

Небольшой, невысокий покой со сводчатым потолком, убранный и обставленный очень просто, напоминал скорее келью, чем опочивальню царицы богатого Московского государства.

Полумонахиня на троне, Марья Ильинишна Милославских охотно всю свою жизнь следовала заветам отцов, строгому учению, так полно выраженному в строках Домостроя.

Молитва, дети, муж — этими тремя словами исчерпывалась тогда жизнь каждой хорошей русской женщины. Конечно, более обеспеченных сословий. В простом народе сюда прибавлялся еще труд, тяжелый беспросветный, ради которого женщинам из черни приходилось забывать и детей, и молитву.

Большая кровать с тяжелым шатром-пологом, скамьи по стенам, туалетный стол и сундуки с необходимыми вещами, табуреты кой-где да еще поставец с серебряной и золотой посудой в одном углу — вот обстановка опочивальни. Только киот, резной, большой, занимающий весь передний угол, уставлен большими и малыми иконами в богатых ризах.

Златокованные, тяжелые оклады на этих иконах, усеянные крупными самоцветами, жемчужные «сорочки», сплошь одевающие дерево икон рядами крупных жемчужин, низанных и подобранных искусной рукой, только эта роскошь и говорила, что здесь не келья, а опочивальня государыни-царицы всея Великия, Малыя и Беляя Руси.

Сейчас дневной свет совершенно не проникает в покой.

Оба небольших оконца плотно завешены. Спущена суконная портьера и на дверях, ведущих в покой из соседней горницы, где постоянно дежурит несколько женщин из числа приближенной к царице дворни.

По обычаю, до девяти дней новорожденный ребенок

и мать не должны подвергаться влиянию солнечного света.

И плотно бывают спущены даже завесы полога над кроватью, где в духоте и спертом воздухе лежит больная.

Но сейчас полог раскрыт. На пуховиках, на высоко взбитых подушках лежит умирающая.

Осторожно подойдя с детьми к постели, Алексей смотрит на царицу и вспоминает.

Больше двадцати лет прожили они вместе. Ему было девятнадцать, ей двадцать три года, когда сосватал и повенчал их «дядька» и пестун юноши-царя, боярин Борис Морозов. Миловидная, с детски приятным лицом, пухленькая и стройная Марья Ильинишна казалась много моложе своих двадцати трех лет. Но потом, как и большинство боярынь и цариц, стала полнеть, тяжело... Пошли болезни...

Одиннадцать человек детей, которых подарила Алексею Марья Ильинишна, тоже унесли немало здоровья у царицы... И теперь лежит она, почти старуха на вид, несмотря на свои сорок три года. Полное лицо осунулось, исхудало за дни короткой, но тяжелой болезни. Царица так бледна, как будто ни капли крови не осталось у нее в жилах... Губы тоже иссиня-бледны. Совсем полутруп. Только глаза еще не потухли совсем, слабо светятся. И словно ищет она кого-то ими. Конечно, детей...

Вот подвели Федора, подняли руку умирающей, положили на русую головку мальчика. Уста царицы чуть задвигались, слабо, беззвучно. Не то молитву творит, не то хочет благословить и не может... Так и всех детей подвели под благословенье умирающей.

Старшие царевны, сдерживая слезы, целовали руку матери, осторожно, как к святыне, прикасаясь к этой исхудалой, прозрачной, словно из воска вылитой руке.

Федор захныкал было.

Мамушка Хитрово увела его в соседнюю горницу, где толпились ближние боярыни, бояре, шуты, шутихи и карлицы царицы, нищие, юродивые и монахини, которые проживали у царицы «на верху», то есть в теремах ее.

Патриарх, для которого установили аналой у самой постели умирающей, начал творить последний печальный торжественный обряд... И на нее, уже вытянувшую-

юся в последнем содрогании, возложили мантию, по-
схимили, чтобы прямо в селения блаженных, очищен-
ная ото всех грехов, вступила душа царицы, оставя
бренное тело свое... «В отдачу часов дневных», в шес-
том часу дня царица скончалась.

— Донннн... Донннннн... Донннн...

Густо, властно «Вестник» — колокол прорезал тре-
мя могучими ударами протяжные, многоголосые пере-
звоны московских всех колоколов.

Печальный вестник этот колокол. В него ударяют
только тогда, когда умирает кто-либо из царской
семьи...

И обнажаются головы у москвичей, руки тянутся ко
лбу с крестным знаменем.

— Помяни, Господи, душу усопшей рабы Твоя,
осударыни царицы, Марии Ильинишны! — шепчут все,
до кого уже долетели раньше вести, что новорожденная
царевна умерла, а сама царица при смерти.

«7177 году, марта в 4-й день преставися благовер-
ная царица Мария Ильинишна. По указу великого госу-
даря для вести ударено в большой Вестник-колокол
трижды и ход со кресты, как и по царевну¹ ходили. А
надгробное пение, как и над прочими. По тело ходил
со кресты сам патриарх² и провожал в Вознесенский
монастырь; звон был плачевный. А как внесли в цер-
ковь, где посреди поставили тело, литургию патриарх
служил с властями — постную³ и по литургии отпева-
ли и пели».

Так записал летописец.

Если при жизни царицы Алексей, даже не любя го-
рячо, берег ее и был примерным супругом, теперь, ког-
да Мария Ильинишна умерла, он не стал особенно тру-
дить себя печалью.

¹ Новорожденную Евдокию, умершую на два дня раньше. (Здесь
и далее в книге — сноски автора.)

² Иоасаф.

³ Великопостную.

Дела по царству, заботы о детях — все это наполняло время и ум царя.

Алексею шел всего сороковой год. Приходилось подумать: кем бы заменить покойницу. Восемь человек детей остались без матери. Правда, немало родственников покойной царицы охраняло малолетков. Да все-таки нужна жена в дому, как матка в улье...

— Што, аль не так скажешь, Сергеич? — сидя в гостях у своего любимца и первосоветника боярина Артамона Сергеевича Матвеева и высказав свои затаенные думы, задал ему прямой вопрос царь.

— Кое не так?.. Все верно. Уж ты ли зря слово скажешь, друг мой, государь? Скорей недоскажешь, ничем переговоришь што-либонь... Все так. Да на ком тебе жениться? Кого возьмешь, друг мой милостивец?

Таким вопросом ответил Матвеев на вопрос царя.

Собеседники сидели в большой, просторной горнице, в новом доме Матвеева, выстроенном на западный, на голландский лад.

Московские цари, Рюриковичи, норманны по крови, давно и неизменно помышляли новую свою отчизну, весь край славян, слить и уравнить с просвещенным, богатым Западом, откуда в былые годы и сами они пришли на Русь.

Особенно ярко это стремление выразилось у Ивана IV Грозного, жестокого деспота, но дальновидного политика и государя.

После него — Борис Годунов и Шуйский — тоже не изменили стародавнему завету, хотя случайно только попали на московский трон.

Димитрий Иванович, названный царь, тот уже слишком быстро принялся переделывать весь уклад русской жизни на западный образец и поплатился за это трон и жизнью.

Романовы, приняв державу, хотя и не были особыми сторонниками новшества на Руси, однако ясно понимали, что оставить царство, как раньше оно было, значит осудить его на застой, на ослабление, на гибель.

Если Романовы явились и новыми хозяевами Московского царства, однако дело свое знали хорошо. Да и в остальном русском высшем обществе тогда уже было немало людей, побывавших на Западе, знакомых с плодами европейской образованной жизни, такой интересной и сложной.

Послы разных европейских государей, по годам пребывая с многочисленной свитой на Москве, успели своим примером внушить богатым москвичам желание пожить получше, чем жилось им до сих пор по завету отцов и дедов.

Вот почему царь Михаил Федорыч не чуждался «новых» людей и новых порядков. А сын его, Алексей, прямо уже мог почитаться «западником».

Однако как человек крайне осторожный, нерешительный по природе, царь никогда не делал сразу крупных, значительных шагов. Вечно приглядывался, прислушивался, советовался со всеми... Выжидал удобных случаев, когда можно было бы без хлопот, никого не раздражая и не рискуя ничем, вводить полезные новизны на Руси.

И только в личных сношениях он открыто тяготел к людям, понимающим пользу просвещения, выгоду близких сношений с культурным Западом.

Из таких людей, которые давно и открыто порешили перестроить прежний свой полуазиатский образ жизни на европейский лад, и по личным качествам особенно выдавался полковник стрелецких войск Артамон Сергеевич Матвеев.

Еще в 1638 году тринадцати лет Матвеев был взят и записан на службу в «житье на верху», то есть попал в число мальчиков, допущенных к играм и ученью вместе с царевичем Алексеем, которому пошел тогда десятый год.

С тех пор росла и крепла дружба между будущим государем и его сверстником.

В ученье Матвеев проявил незаурядные способности и уже через три года назначен стряпчим, причисленным к дворовому штату царевича. Еще через год восемнадцатилетний юноша получил звание стрелецкого головы, решив посвятить себя ратному делу.

На этом поприще Матвеев быстро выделился не только как любимец будущего царя, но как отважный и способный воин.

Началась долгая польская кампания. На полях битв Матвеев проявил быструю сообразительность, яркий талант военачальника, а также большую личную отвагу.

Раненный в нескольких боях, к тридцати годам он уже был пожалован в полковники.

Как человек, знающий иностранные языки и немно-

го латинский, который в дипломатических сношениях тогдашнего времени был необходим, Матвеев неоднократно ездил в чужие края с посольством от Московского престола.

Особенно часто бывал Матвеев в Лондоне. Завязывая там торговые сношения, сулящие большие выгоды и русским, и англичанам, Матвеев не забывал о том, как слабо и плохо обучено московское войско.

Английские наемники, особенно шотландцы, служили в качестве отборной гвардии, личных телохранителей у многих западных «потентатов».

В Варшаве славилась рота шотландцев вельможного князя Радзивилла. У шведов такой же ротой начальствовал генерал Дуглас.

И вот при содействии Матвеева поступил на русскую службу майор Крауфорд, собравший вокруг себя немало отважных товарищей. Один из них, Патрик Гордон, впоследствии явился даже сотрудником Петра и сослужил немалую службу ему и России.

Успешно исполняя дипломатические поручения, славно сражаясь и воюя мечом и словом, Матвеев широко пользовался сам всеми благами западной жизни. Живя в Москве в годы отдыха, он весь свой дом устроил на англо-голландский образец. И наконец, в 1664 году, во время своего пребывания в Англии, женился на красивой дочери одного шотландского дворянина, которая в православии приняла имя Евдокии.

Сейчас по английскому обычаю полковница и ее сестра, сидевшие в качестве хозяек за столом, удалились, оставя на свободе мужчин за сладкими настойками и заморскими крепкими винами: поболтать, покурить, отдохнуть от повседневных забот и мыслей.

Алексей, очевидно, только и ждал этой минуты, чтобы завести речь о важном деле, которое затеял совершить: о своем втором браке. Выждав, пока красивый рослый арап Джон подал кофе, раскурил кальян и удалился, Алексей сделал два-три глотка из чаши, затянулся ароматным дымом кальяна, отложил янтарный мундштук на стол и заговорил:

— На ком? На ком Бог укажет да моя душа поволит... Знаешь, нам, царям Московским, многое, по обычаю, не вольно, в чем и простым людям воля полная

дана... Вот, скажем, сия вещь... — Алексей указал на кальян, — что в ней плохого? Восточные владыки пре-славные дымят из нево. Западные потентаты тако же табачное зелье уважают... И ничего. Народ христиан-ский не булгачится... А прознай мои москвичи, особли-во мнихи да попы, что ихний царь православный куре-вом пробавляется... Ошшо проклянут, анафему ска-жут... А за што?.. Где есть писано против сего зелья? Кой в нем грех? Так, сказки пущены... И не смей его касаться... Доход бы какой был земле, кабы многие люди дымить стали... и отрада многая... Голова светлее ровно станет... Вот, много ли подымил?.. Ан, нельзя... Так и во многом...

— Так, так! — покачивая в раздумье головой и по-пыхивая короткой трубочкой, подтвердил Матвеев... — Что же, и в женитьбе, видно, придется тебе, государь, не своей волей жить? Каку невесту наметят думные бояре, ту и берешь, а?

И Матвеев особенно внимательно поглядел на Алек-сея, ожидая, что тот скажет.

— Гм... Наметили бы они, што и говорить... Да, им тоже то не вольно... Обычай живет, чай, сам знаешь: по царству царь всех девок пригожих, молодых невест созывать волен. Из них стану себе вторую царицу по-искивати... Ну, вестимо, будут втесываться... Вон, слы-хал, сам знаешь, как у меня перву невесту мою, Ра-фовну-то, вороги колдовством да ведовством поотняли? Иличну, царицу мою богоданную, хоша и не полной волей взял, Морозовы навязали... Да Бог дал, хороша была мне весь век, помяни, Господи, душеньку ее... Авось ноне, коли выберется какая невеста, полюбится мне, не позволю сгубить ее, как Рафовну, голубушку сгубили... Отстоим теперя нареченную, как мыслишь, Сергеич?

— Да уж выбирай... А мы побережем! — как-то машинально отозвался Матвеев. Очевидно, совершенно неожиданно какая-то дума охватила его.

Подавая короткие несложные ответы, хозяин с едва скрываемым облегчением проводил высокого гостя, когда тот поднялся от стола.

Сейчас же поспешил Матвеев в опочивальню, к же-не, которая сидела там и читала любимую свою кни-гу — Библию.

Долго-долго толковали о чем-то они. Два раза уже

стучался в двери с докладом дворецкий, объявляя, что готов вечерний стол. И не было ему ответа.

Наконец, задумчивые, озабоченные вышли к своим домочадцам в столовый покой муж и жена. Молча присидели за трапезой.

Ночью, после обычной молитвы, укладываясь на широкую постель, Матвеев лишний раз осенил себе грудь крестом и, словно не обращаясь ни к кому, проговорил:

— Вот послал бы Господь!..

— Дай, Бог... Дай, Бог! — отозвалась полковница.

Набожно приподняв с подушки свою русую головку, она полными розовыми губами зашептала слова тихой молитвы на языке ее далекой родины Шотландии.

Недели не прошло с этого дня, как Алексей снова после полудня заглянул в дом к Матвееву, где он чувствовал себя много лучше и свободнее, чем в душных, невысоких покоях царского дворца в Московском Кремле, куда и свет плохо проходил сквозь небольшие оконца, пробитые в толстых стенах, затянутые частым переплетом оконниц.

Легче дышалось, привольнее думалось в высоких покоях матвеевского дома с его ровными потолками, перехваченными дубовыми балками, с широкими веселыми окнами, за которыми шумели деревья густого сада с одной стороны, а с другой — доносился веселый, смешанный гам и шум людной улицы, на которую выходили ворота усадьбы полковника.

Нередко здесь царь виделся с приезжими торговыми людьми или заезжими иностранцами, потолковать с которыми хотелось Алексею, а между тем, согласно обычаям и этикету Московского двора, их нельзя было принять во дворце наравне с послами и своими вельможными людьми.

Здесь же, у Матвеева тишайший царь порою виделся и вел продолжительные беседы с иностранными послами и агентами, так как на торжественных приемах, на аудиенциях можно было говорить только об очень немногом и не важном.

На этот раз в ожидании вечерней трапезы хозяин и гость сидели в большой, просторной горнице, в рабочем кабинете Матвеева, заставленном шкапами, увешанном коврами и картинами, с неизбежной полкой над ками-

ном, заставленной разными жбанами и заморскими фигурками.

Восковые свечи в многосвещниках под абажурами горели на двух столах, слабо озаряя обширную комнату. Пламя камина красноватыми бликами играло на полу и на стенах, придавая странный вид трем фигурам, сидящим у камина.

Матвеев и Алексей уютно пристроились в широких креслах у самого очага. А подальше, на точеном стуле, почтительно выпрямясь, занимая самый край сиденья, темнеет рослая фигура подполковника Патрика Гордона, только на днях вернувшегося из Лондона, куда он ездил с особым поручением. И теперь, отрывистой военной своей речью словно рапортуя по полку, исполнительный шотландец дает отчет обо всем, что видел, слышал, чего успел достичь во время своей поездки на родину и в Лондон.

Внимательно слушает царь, изредка раздумчиво покачивая своей темноволосой крупной головой, так основательно сидящей на короткой шее между слегка сутулыми плечами.

— Добро... добро... Меха им надобны... Што же, пушай добывают, склады пушай на Мурмане да иноде заводят... Можно и на полную волю им то дело отдать, коли заплатят хорошо...

— Говорят, за ценой не постоят, ваше царское величество... Особливо, ежели табачный торг можно бы завести не с кочевыми улусами только... А и по московским городам, спервоначалу — по низовым да по украинским, по Малой Руси, в польских гранях, где ныне твоя держава водворилась... А после — и в коренных русских местах. Тут народ на табак заохотится и великая от того казне прибыль будет. Они и двадцать, и тридцать тысяч фунтов стерлингов не пожалеют за такую монополию. Так сказать мне поручено, государь.

— О-го-го... Это — много ль на наши деньги, Артамон?

— Да, почитай, триста тысяч рублевиков, коли не больше, государь.

— Изрядно... Нашей царской казны и всего-то на год полторы тысячи тысяч¹ набегает со всей земли...

¹ Полтора миллиона.

А в расход — ой-ой сколь много надобе. Вон, одним проклятым басурманам, орде Крымской почитай тридесять тысяч на год идет, на поминки да на поманки с подкупамы... Пока их раздавить, окаянных, час не приспел, откупаться приходится... И хорошо бы этак сразу много рублевиков загрести... Да, лих, пора не пришла, чтобы торги такие по всему царству заводить: табаком да другим зельем каким... Мятеж, гляди, по земле пойдет... Мужики постарше — и за дубины возьмутся, и за рогатины... Ну ево, и с прибылью... Мир да покой — дороже всего. Не два раза на свете жить. Што себе век коротать, утеху портить? Господь с ими, с ихними стирлинками... Как скажешь, Артамон?

— Вестимо так, государь! — торопливо отозвался Матвеев, не желая сегодня противоречием портить хорошее настроение у державного гостя.

— Вот, слышь: и он наодно со мной... А што они тамо еще толкуют, как не мочно ли от всех людей право отбить, штобы вина не курили, пива не варили, все бы питье им казна готовила и за то — подбор невеликий брать? Это дело рассудить надобе... Это — можно... Тоже на откуп сдам, ежели выгода окажется пристойная. Не задарма бы людей утеснять. И пить у нас горазды, и приобыкли все сами вино сидеть, пиво-брагу варить. Много хлопот с той затеей буде... Так выгадать бы из нее поболе. Ты уж потолкуй с Петром да с теми, кто дело заводит. Слышь, Артамон?

— Потолкуем, государь. Небось, промашки не дадим...

— Гляди же... А то, вишь, тебе подарки да ордена многие идут от брата нашего, от ево крулевского величества, от англинского... Ты и наши малые дары тебе не забудь... Знаешь: не дорог подарок, велика любовь...

— Што говорить, государь? Было ль кода, штобы я не по правде служил тебе и земле родной? Не порочь меня понапрасну, царь-государь!

— Да, нету! И не бывало того... Так это я... Ну, на нынче — буде... Есть хочу. Што хозяйка долго голодом морит? Али чего припасла особенного, что не скоро готово?

— Все готово, государь. Слышишь, в столовенькой в нашей уж свет и гомон... Чай, ждут нас. Помешать боятся докладом... Милости прошу, государь, закусить, чем Бог послал!

— И Петру зови. Пусть откушает с нами... Ишь, там, видно, кормили плохо. Отощал наш красавчик!

И, проходя мимо Гордона, Алексей ласково коснулся рукой до щеки статного красивого шотландца. Бритое, безусое и безбородое лицо подполковника с тонкими правильными чертами, с голубыми ясными глазами имело в себе что-то женственно-мягкое, несмотря на строгое, почти суровое выражение, которое обычно принимал Патрик при сношениях с людьми.

Войдя в столовую вслед за Матвеевым и за царем, отдав поклон хозяйке, Гордон обменялся с ней приветствием на родном языке и перевел глаза на вторую женскую фигуру, которая стояла в конце стола, быстро выпрямив свой стан после поясного поклона, которым по обычаю встретила гостей.

Глубокое восхищение так явно выразилось на лице молодого шотландца, что царь не утерпел, переглянувшись с хозяйкой и улыбнулся.

Трудно было и не залюбоваться на девушку.

Смуглое, южного типа лицо дышало здоровьем и влекло какой-то особой, почти детской миловидностью и выражением чистоты. Темные, большие глаза так и сверкали весельем и задором под бахромой густых ресниц.

Тонкие брови словно выведены были кистью. Пунцовый маленький рот, вот-вот готовый улыбнуться, нежно округленный подбородок, весь склад головы, которая, словно пышный цветок на стебле, покоилась на высокой, точеной шее, густые темные волосы, которые спереди так и выбивались кольцами из-под жемчужной поднизи кокошника, а сзади были заплетены в две тяжелые пышные косы... Все в этой девушке дышало красотой и весельем. А ее сильный высокий стан не по летам был развит и его не скрывали даже пышные складки просторного сарафана и взбитые рукава кисейной рубашки, собранные в тысячи складок на обеих руках.

— Приемная дочка наша, Наталья, Кириллы дочь Нарышкина, стряпчего твоего рейтарского строю! — отвечая на немой вопрос царя, заговорил Матвеев, знаком подзывая поближе девушку.

Пока она вторично низко поклонилась гостю, Матвеев продолжал:

— Друзья мы давние с ее отцом и родичи дальние...

Вот и взяли дочку к себе, на Москву, тута ей пару подыскать мыслим. Отец ее — воин добрый... Не раз за твое величество кровь вражью и свою проливал. Вот, не будет ли милости, не пособишь ли девке? Ноне сестра женина недужна. Наташа и вызвалась хозяйке моей помочь... Добрая девка... Где што увидит аль слышит, беда какая у ково — тут и она... Помочь бы норовит...

— Ну, будет, Артамон Сергеич. И вовсе застыдил у меня Наташу! — вступилась хозяйка, довольно бойко владея русской речью, хотя и с явным иноземным выговором. — За стол прошу милости, хлеба-соли откусать... Наташенька, уж ты помогай мне... Вот, погляди, второй гость, земляк мой, Патрик сэр Гордон... Редко бывает у нас. Станет неволиться... А ты его упрасивай: ел бы да пил бы получче...

Алексей сел на верхнем конце стола, между хозяином и хозяйкой. На другом конце занял место Патрик рядом с Нарышкиной.

Непривычная еще к европейским обычаям, к общению с чужими, малознакомыми людьми за столом, Наталья, тем не менее, не очень растерялась. Она ничего не говорила, слушала, что ей негромко рассказывал сосед про свои странствия, про походы, про чудную родину. И только внимательно следила, чтобы он за разговорами не забывал пить и есть. Сама подкладывала ему на тарелку куски и подливала в кубок, когда он был пуст.

Алексей так же весело болтал с хозяйкой, но часто посматривал, что делается на другом конце стола, и прислушивался к тому, что там говорится.

— Голосок веселый да звонкий у твоей приемной дочки. Ишь, смеется-то как радостно, словно жемчуг катит по серебру! — заметил царь Артамону Сергеичу, когда Наталья на какую-то шутку Патрика залилась веселым, серебристым смехом.

— Хорошая она, чистая душа... Жалостливая какая... Вот сейчас смеется. А напони ей про беду какую людскую — и слезы на глазах. Девка у них одна, сдуру што ли, в пруд кинулась, в деревенский... Так Наташа дня три слезами горькими разливалась. «За што, — говорит, — душа молодая сгилла! Так жить хорошо на свете... А она сама на себя руки наложила». Еле утешили девку...

— Да оно и видать, што сердечко доброе у девицы... А о чем смеялась, скажи? — обратился громко к Наталье Алексей. — Чем так разубавил тебя парень? Поведай.

— Как же не смешно, царь-государь! — хотя и робея, но глядя царю в глаза, отвечала Наталья. — Ишь, говорит, ехать бы мне в ихни те краи. Там лучше-де, ничем у нас... А вдругое — и я бы там лучше всех была... Ну, слыхано ль такое?..

— Не слыхано, а видано то, девица... Ловок ты, Петра. Сразу и силок ставишь... Ну, а скажи, девица, правду ль он бает, што лучше их края и на свете нету?.. Как мыслишь?..

— Мне ли знать, государь? Я окромя нашей Кирилловки да вот усадьбы крестного здесь на Москве и свету мало видела... Мне ли знать?

— А все же скажи... — продолжал допытываться Алексей, очевидно, ища только предлога побольше поговорить с девушкой.

— Што ж, я по совести скажу: ему, Петру-то Гордеичу, ево край мил... И ево правда: нет того краю милее. А мне — наша Кирилловка всево милее! И краше ее на свете нету... Уж не взыщи... Хороша твоя Москва, государь... Лучше, может, и на свете нет... А у нас — тише... Церковка хошь маленька, а войдешь в ее, станешь молитву творить, словно Бога вот слышишь за собою... А здесь — шум, суета... Круг церквей — рынок да базар. И в церквах словно ярманка... Народ туды, сюды... Снуют, не службу Божью правят — друг дружку оглядают... Грех!.. У нас — лучше!..

И, словно замечтавшись, с побледнелым лицом, с расширенными глазами, девушка стала еще прекраснее.

Матвеев обменялся с женой взглядом, выражающим и удовольствие, и легкое изумление.

Правда, они предупредили девушку, чтобы она не жеманилась, была посмелее, если хочет привлечь внимание царя. Но даже и они не могли бы ей подсказать лучшей темы разговора с Алексеем, таким богомольным и набожным, хотя и приверженным ко всем удовольствиям и радостям земной жизни.

Как раз в это время арап Джон с помощью еще двух слуг внес и поставил на особый стол, уставленный сулеями и флягами, небольшой, охваченный медными обручами бочонок.

— Вот, гость дорогой, поизволь за здоровье за твое особливой мадерки чару выкушать... Из Лондона мне прислана с особливой похвалой! Слышь, полста лет винцо лежалое...

И по знаку мужа боярыня Матвеева наполненные янтарной, густой влагой кубки на подносе подала сперва Алексею, потом Гордону и мужу.

— А что же Наталья свет Кирилловна? Аль не пригубит чарочку? — спросил Алексей. — Волим мы и за ее за здоровье пити, как и за всех, хто у вас в дому?

— Не след бы оно девице на людях за чарку браться, гость дорогой. Ну, да уж твоей чести ради...

И Матвеев указал Наталье взять небольшой стаканчик, куда ей налили вина.

— Будьте ж здоровы все! И крестнику моему скажи, что поминал я ево... Пусть растет скорее, Ондрюшка-крикун... Здоров ли он, кума, а? Што не скажешь? — чокаясь с хозяйкой, спросил Алексей, ставший необычайно веселым и любезным.

— Спаси тя, Господь, царь-государь! Растет малый, твоими молитвами держится... — подымаясь и отдавая поклон, отвечала Матвеева. — Уж не взыщите, гости дорогие, столу конец. Потчевать боле нечем. Не обессудьте... Прошу тути чары допивать... А я к сынку пройду, проведу... Пойдем, Наталья!..

И с последними поклонами обе женщины вышли из покоя, оставя мужчин за вином, на свободе болтать, спорить, шуметь, как любили тогда.

Алексей ласково откланялся обеим и проводил внимательным взором Наталью, пока та не скрылась за дверьми.

— Славная девица, Наташа-то твоя! — сказал он Матвееву. — Уж помяни мое слово: сыщу я ей сам жениха. Да получче которого!..

— Сыщи, государь. Дело доброе сделаешь. Счастлив будет, кому она в жены попадет. Кроткая, веселая да разумная... Да рукодельница какая... Знаю я ее, повызнал за все года, как живет она у нас... Да еще...

— Буде, слышь, не перехвали... И мед, коли не в меру сладок, прикропить... Сам вижу, что вижу... Не слеп... Воң, и Петра, поди, ночь не поспит... О девушке думаться будет.

И, жмурясь, словно кот, которому показали что-то

лакомое, очень хорошее, Алексей раскатился густым, довольным смехом.

Долго еще шла пирушка. Довольный, слегка подвыпив даже, поднялся гость, обещав скоро опять заглянуть.

И он сдержал обещанье.

Чуть не через день стал царь заглядывать к Матвееву, оставался подолгу, делил трапезу и часто старался поговорить и побыть на свободе с Натальей.

Хозяева, насколько позволяли обычаи, не мешали ему.

Между тем настал ноябрь. Согласно указу царскому начали собираться на Москву молодые девушки для выбора невесты царю.

Первые шесть девушек были «переписаны» 28 ноября 1669 года. Вот их имена, согласно подлинной росписи: Иевлева дочь Голохвастова Оксинья; Смирнова дочь Демского Марфа; Васильева дочь Векентьева Каптелина (Капитолина), живет у головы московских стрельцов, у Ивана Жидовинова; Анна Кобылина (очевидно, сирота), живет у головы московских стрельцов, у Ивана Мещеринова; Марфа Апрелева, живет у головы московских стрельцов, у Юрья Лутохина; Львова дочь Ляпунова Овдотья.

Затем до 17 апреля 1670 года всего было набрано и переписано свыше шестидесяти девушек из Москвы, из Новгорода, Владимира, Суздаля, Костромы и других городов.

Между ними — из Вознесенского девичьего монастыря привезли красавицу девушку, Авдотью Иванову дочь Беляеву.

Привезла ее монахиня, бабушка ее, старица Ираида и поместила у родного дяди, торгового человека Ивана Шихирева. Сам он был стрелецкий стряпчий, но по обычаю занимался и торговлей, поставлял товары на двор к патриарху, был вхож к нему и упросил, чтобы допустили красивую племянницу хотя бы к первым смотрам государевым.

Честолюбивый дядя, полагаясь на силу красоты племянницы, надеялся видеть ее царицей, а себя — родичем царским.

Он не знал, что Алексей уже давно избрал себе невесту, и остальные смотры были только уступкой старинному обычаю.

Еще в конце января 1670 года Алексей, неизменно и часто посещавший Матвеева, как-то, уже собираясь уходить, сказал ему:

— А не забыл, Артамоныч, обещанье мое: сыскать жениха твоей Наташе? Нашел ведь я...

— И, што ты, друг-государь! До того ли тебе? Себе суженую ищешь. Досуг ли о бедной сироте помышлять?

— Досуг — недосуг, да охота... Дивился я все, слышь. Иные вот как бьются, только бы на очи мне своих девиц поставить, честь получить. А ты и не заикнешься, ни хозяйка твоя... Знаешь, ведь, обычай наш московский? После царских смотрин — втрое девке спрос да цена...

— И-и, государь... Ей надоть жениха потише, поскромнее. Девка больно тихая да душевная. Она за почетом не гонится. Да и скучать што-то почала... Прямо с тела спадает... На смотрины ли ей?..

— Скучать?.. Уж не зазноба ли какая приспела? Зови ее, скажи: сват хочет потолковать с ею...

— Да уж не рано, государь... Поди, и улеглася... Не водится так, сам ведаешь, девицу с постели поздним-поздно подымать, хотя бы и к царю самому. Она у нас...

— Да уж слышал, знаю... Носитесь вы: «Она у нас... она у нас!..». А, может, и у меня она... Вот, ты не спросил: кто жених-то мой для нее?.. А вот, и знай: я сам ее и посватаю... Вот! Слышал?.. Зови сюды... Сейчас хочу дело повершить!.. И жену твою, куму зови. Она ей вместо матери... Пуцай и благословляет...

Матвеев давно ожидал этого. Но осуществление смелого, умно задуманного плана смутило самого Артамона.

— Помилуй, государь! — с искренним волнением заговорил он, — вот, смотры твои идут, государевы. Первых вельмож да богатеев девки собраны... И красавицы редкостные, из простого люду. Куды нашей Наталье? И ее со свету вороги сживут, коли прознают, и под меня подкопаются... Скажут: слаживал Артемошка дельце, с приемной дочкой царя окрутил... Уж несдобровать мне, государь... Помилуй... не губи!..

— Умен ты, Сергеич, а порой и у тебя ум за разум заскакивает. Нешто я не знаю, что быть должно? Рафовну и по сю пору не забыл. Небось, мы так дело

свертим, что никто и не успеет «ох» вымолвить... По-коен будь... Зови Наталью! Поговорить мне с нею надо. Не мешай нам. А там — и куму готовь, благословить пришла бы!

— Твоя воля, друг-государь! На чести — челом бью!

И, не скрывая радости, Матвеев поспешил сам к жене, приказав одной из мамок позвать вниз Наталью.

— Да поскорее, слышь, штобы шла! Нужна-де нам с хозяйкою. В столовый покой бы шла...

Наталья уже собиралась лечь спать. Наскоро накинула она сарафан.

Сбежавши вниз, с полураспущенной косой, она так и застыла на пороге горницы, где вместо Матвеевых увидела одного Алексея...

— Не стой там. Поближе подойди, девица... Али уж стала бояться меня? Кажись бы не с чево...

— Нет... я... сказано мне: крестный завет... А наместо того...

— А наместо крестного — сватом я заявиться удумал. Даве при людях не похотелось тебя стыдить. Вот, с глазу на глаз, и скажи: замуж хочешь ли? Девица ты не маленькая... Не криви душой, не лукавь, прямо скажи!..

— Не лукава я, государь, чай, сам знаешь... А с тобой, с государем, и не посмела бы душой кривить, хоша бы што... Как замуж не хотеть? Каждой девке доля одна: замуж, коли не в келью... А келья мне не манится. Да, видно, и замужем мне не быть...

И, покраснев, девушка потупила глаза, полные слез.

— Што так? Ай неровню полюбила? Скажи. Как на духу говори, слышишь?

— Где полюбить? Ково мы видим, девушки? Полюбить — узнать надо. А как спознать? Вон, в других землях — иная повадка. А у нас — за ково повелит отец с матерью, за того и ступай девица. Видно, и мне так-то... Да нет, тогда я в келью лучше!

— Ишь, как прытко... Видно, и вправду: зазноба есть, да сказать соришься. Ну, иначе речь поведем. Жених у меня есть. Молодой. Красавец... И ты ему полюбилась больно. Небогат. Да я помогу. И тебе и ему дам на прожиток. Сам сватом буду. Пойдешь ли?

— Нет, государь! — не задумавшись даже, твердо ответила девушка, глядя прямо в глаза царю, который так и пронизывал ее своим испытующим взором.

— Нет! Ишь, как отрезала. Не задумалась даже... Ну, а ежели бы... Может, сказать тебе, как зовут его? Тогда пораздумаешь? А?..

— И знать не надо, государь. Кто бы ни был... Не пойду!..

— Ну, а ежели... Такую я речь поведу... Вдовец тута один... Человек смирный. И достатки есть. Одна беда: детей много... И пожалеть их некому... с им вместех заодно... Много приятелей у него... Да все положиться нельзя ни на одного... Каждый норовит свою выгоду взять от того человека. А он друга ищет верного... Помогу... Детям — мать... В дому — хозяйку, делу великому печальницу. К нему в дом хозяйкой войти — любого подвига стоит... Вот, за такого пошла бы?

Настало небольшое молчание.

Девушка тяжело дышала, и даже слышно было в тишине, как хрустнули слегка ее пальцы, которые заломила она, не зная, что сказать, на что решиться?

Потом задрожал, зазвенел ее голос, полный покорной решимости:

— Коли ты повелишь, государь... Коли Бог того хочет... пойду, государь!..

И, закрыв лицо руками, Наталья зарыдала, негромко, но горько, сама не зная почему.

— Да буде... Да что ты... Да не плачь... Слышь! Не про ково иного... Про себя я... Сдавалось мне, что жалеешь ты меня... Видишь, как тяжело мне, хоша и в бармах да в короне хожу... Вот и хотел я... За меня, слышь, пойдешь ли?

Он не успел договорить...

С рыданьем опустилась к его ногам девушка и, горячими губами целуя дрожащие от волнения руки царя, только и сказала:

— Твоя раба!..

— Ну, подымись же... Эй, кто там!.. Подсобите! — подымая девушку, почти сомлевшую от пережитых ощущений, позвал Алексей...

Вошли Матвеевы. Они сразу поняли, что дело сделано.

Их Наталья стала невестой Московского царя и государя всей Руси.

Стала она через год царицей. Но «вороги», о которых первым делом вспомнил Матвеев, не дремали и немало пришлось пережить ему, невесте и самому Алек-

сею раньше, чем была отпразднована вторая свадьба царя с Натальей Нарышкиной.

Осенью того же, 1669, года, царь, для отвода глаз своим опекунам непрошеным, гордым боярам, начал выбор невесты, приступил к смотринам.

Закипела новой волной, шумнее стала московская жизнь царя и бояр.

Торговый, людный, шумный город Москва, но вся жизнь словно замирает у подножья стен, окружающих царские палаты, у темных частоколов, где, окруженные садами, кроются раскидистые хоромы боярские, кельи владычных иеромонахов — настоятелей, гнезда знатных попов из белого духовенства.

А сейчас — всюду заметно оживление, какая-то непривычная деятельность.

И немудрено: Москва собирается царя своего женить. Не часто такое случается. Каждый почти день подвозят новых невест на смотрины: и знатных боярышен, дальних и ближних к Москве, княжон и воеводских дочек, и девиц из духовного, купеческого, даже простого сословия, из горожан и поместных людей¹.

¹ Вот список самых красивых девушек, свезенных в Москву на смотрины: «Году 7178 (1669), ноября в 28 день, по государеву — цареву и великого князя Алексея Михайловича, всея Великия и Белья и Малыя Руссии самодержца указу, девицы, которые были в приезде да в выборе и в котором месяце и числе, и им — роспись: того ж числа Ивлева дочь Голохвастова Оксинья. Смирнова дочь Демского Марфа. Васильева дочь Векентьева Каптелина, живет у головы московских стрельцов, у Ивана Жидовинова. (Должно быть, у родственника. — Авт.) Анна Кобылина, живет у головы московских стрельцов, у Ивана Мещеринова. Марфа Апрелева, живет у головы московских стрельцов, у Юрья Лутохина. Львова дочь Ляпунова Овдотья». Это — первые ласточки, и все больше из стрельцовских семейств. Как близкие ко двору, как самые нужные царю — стрельцы, очевидно, первые прознали вести о смотрах и поспешили сказать своим, чтобы те везли дочерей.

«Ноября в 30 день: князь Григорьева дочь Долгорукого княжна Анна. Иванова дочь Полева Аграфена. Печатника Алмаза Ивановича внуки: Анна да Настасья. Григорьева дочь Вердеревского Анна. Тимофеева дочь Дубровского Анна. Декабря в 4 день: князь Михайловы дочери Гагарина, княжна Анна, княжна Марфа. Аверкиева дочь Болтина Аграфена. Тиханова дочь Зыкова Овдотья. Декабря в 12 день: князь Юрьева дочь Сонцова княжна Марья. Павлова дочь Леонтьева Прасковья. Викулина дочь Извольского Татиана. Михайлова дочь Карамышева Василиса. Матвеева дочь Мусина-Пушкина Парасковья. В 17 день: Андреева дочь Дашкова Соломонида. Редрикова Захарьева дочь Красникова. В 20 день: Алексеева дочь Еропкина Настасья. Елизарьевы дочери Уварова — Домна да Овдотья.

А за невестами — целыми обозами порою тянутся близкие и дальние: родня, дворня или просто приятели, расположенные к роду. Род возвеличится и знакомцев своих, не только родню, в честь возведет. Так уж на Москве издавна ведется.

Иные бедные люди не могут хорошо дочь-невесту на царские смотры принарядить. И прямо вступают в сделку с богатыми ростовщиками, каких немало водится среди самого родовитого боярства.

Пишутся рядные записи. Девушке дают надеть тяжелые, парчовые сарафаны, шубки и душегреи, снабжают ее кокошниками, унизанными дорогой обнизью жемчужной, обсаженными самоцветными камнями. Дают ожерелья, запястья, сережки и шелесперы для головного убора...

Истопничева Иванова дочь Протопопова Феодора. Романовы дочери Бунина — Ольга да Овдотья. Тимофеева дочь Клокочева Овдотья. 1670 г. января в 3 день: Лаврентьева дочь Капустина Анисья. Андреева дочь Коренева Анна, а живет у вотчима свою, у Якима Жолобова. Февраля в 1 день: думного дворянина Замятни Федора Леонтьева дочь Овдотья. Ивана Федорова сына Нашокина дочь Марья. Кириллова дочь Нарышкина Наталья. Андреева дочь Незванова Дарья. (Вот когда пошли девицы познатнее и среди них — будущая царица. — Авт.) В 11 день: Федорова дочь Еропкина Анна. Ивановна дочь Мотовилова Марфа. В 27 день: Васильева дочь Колычева Марфа. Ильина дочь Поливанова Мария. Иванова дочь Ростопчина Офимья. Ильина дочь Морева Орина. Васильевы дочери Толстого — Настасья да Агафья. Марта в 11 день: Орлова дочь Федосья Синявина. Федорова дочь Смердова Варвара. В 12 день: Борисовы дочери Толстого — Матрена да Марья. Елизарьева дочь Чевкина Анна. В 1 день: Богданова Жедринского Анна. Васильева Загряс(жс)ково Марфа. Апреля в 5 день: из Великого Новгорода: Никитина-Овцына Анна, живет у головы московских стрельцов, у Юрья Лутохина. (Также, как и Апрелева. Очевидно, здесь останавливались почему-либо наезжие семьи с царскими невестами. — Авт.) Петрова Одинцова Пелагея, живет у Григорья Аладина. Тимофеева Сатина Федосья, живет у Григорья Баяшева. Из Суздаля: Петрова Полтева Дарья. С Костромы: Богданова Поздеева Офимья, живет у дяди свою Матвея Поздеева. Васильева дочь Апраксина Марья. С Резани: Борисова Колемина Овдотья. Назарьева Колемина Оксинья. Апреля в 1 день: Елисеева Житова Овдотья. Из Володимера: Нестерова Языкова-Хомякова Марья, живет у путного клюшника, у Михайла Лихачева. Из Новгорода ж: Петра Скобельцына Офимья. С Костромы ж: Пантелева Симонова Марья, а живет у Володимера Асланова. В 13 день: Артемьева Рчинова Дарья. Князь Степановы дочери Хотетовского — княжны Настасья, Ульяна, Описья. В 17 день: из Вознесенского монастыря Иванова дочь Беляева Овдотья. (Привез дядя ее родной Иван Шихирев, да бабка Ивановна, посестрия Ечакова, — старица Ираида. — Авт.) Артемьева дочь Линева Овдотья».

За это родители обязуются и сейчас что-нибудь уплатить, а уж если даст Господь «доброму делу быть», если попадет девушка на трон, станет царицей, благодетель-ростовщик выговаривал себе целое богатство в оплату за наряды, отпущенные напрокат...

Ключом забила московская жизнь. Все обыватели, прямо или косвенно, принимают участие в «добром деле»... Вся Москва царя женить собирается.

Торговым людям — хорошо и сейчас благодаря наехавшим если не сплошь богатым, зато тороватым гостям... Всякого рода мастеровым, ремесленникам тоже работы прибавилось немало. Даже праздный, бездельный люд, перекаत्याвающий свои волны с одной площади на другую, даже нищие — и те повеселели, словно настал Светлый Праздник.

Не всю челядь забрали с собою в Москву приезжие. И набирают из местных, из черни — и слуг, и погоняльщиков, и просто охрану, какая нужна зажиточному, родовитому боярину при выезде в люди. Матери, тетки и бабушки, и сами невесты то и знай в свободные часы ходят по церквям, по святыням московским. Служат молебны, щедрою рукой раздают милостыню в надежде, что Господь услышит мольбы, увидит щедрость жертвы и пошлет великую милость...

Заштатные, бесприходные попы, которые, бывало, целыми гурьбами толпились на крестце у Спасских (Фроловских) ворот — все при деле. Порой и не хватает их для желающих отслужить молебен или иную службу. В храмах, в часовнях, нередко пустующих обыкновенно, сейчас с утра до вечера кто-нибудь да есть...

Гул, песни, веселье стоном стоит, наполняя стены всех кружал и питейных домов Белокаменной. Там тоже избыток жизни. Свежая копейка каждый день попадает в руки мелкому люду и пропивается за кабацкою стойкой в разгульной, веселой компании. Скоморохи, гудошники, плясуны и бахари тоже благословляют затею царя: жену себе сыскать. Всем, от мала до велика, на пользу царское сватовство пошло.

И Алексей и Матвеев хорошо видят и понимают, какой водоворот закипел кругом. Оба они, вместе со своими близкими, глубоко хранят великую тайну. Никто не должен знать, что выбор царя уже сделан, что все надежды будут обмануты...

Если бы это узнали, тогда и самому Алексею пришлось бы много неприятного вынести, а уж про Матвева и говорить нечего.

Но сообщники осторожны, свято хранят тайну.

И все больше и больше наезжает нового люду с новыми надеждами и замыслами в старинный стольный град, в Москву державную.

Минула Святая неделя. Фомина настала. Ранняя, дружная весна приспела в том году.

К середине апреля свежая, светлая зелень кудрявилась на деревьях клейкими, трепетными листочками, вырезаясь на темных прогонах старых кремлевских стен, и со стороны Неглинки, и со стороны Москвы-реки обрамленных садами и полянками.

В небольшой келье Чудовского монастыря у настоятеля у самого сидят в гостях стрелецкий стряпчий, московский «торговый человек» Иван Шихирев, и тетка его, монахиня Вознесенского девичьего монастыря старица Ираида, вся сморщенная, худая, с маленькими, слезливыми от лет глазками, с остреньким подбородком и носиком, напоминающим птичий.

Голосок у нее тоже тоненький, слабый. Слушаешь — не знаешь, человек ли говорит, сверчок ли запечный в тишине громко чирикает. Зубов нет у старушки. Плохо все выговаривает. А в голосе, когда-то звонком и приятном, так хорошо звучавшем на клиросе, еще сохранились кое-какие молодые звенящие нотки.

Кончив что-то говорить отцу настоятелю, она встала со скамьи, отвесила поясной поклон и снова уселась, перебирая тонкими пальчиками узлы на лестовке, лепеча бледными губами привычные молитвы.

— Велико дело вы просите... И ты, сестра во Христе... И ты, чадо мое духовное. Земляки мы... свояки... И просят за вас люди мне не чужие... А все же трудненько до дела дойти буде... Коли и совсем не сбудется оно. Верно, что и боярину Артемону немало помех все учинят, коли и вправду он свою прирученную девицу Наталью Нарышкину в царицы тянет...

— Ох, тянет, — живо отозвался Шихирев, черноволосый, худощавый, похожий на старуху тетку, только покрупнее немного. — Тянет, отец-игумен, во как тянет: и руками и зубами, да опричь того — каблуком упирается... Слышь, ошшо первы смотры не кончены, а

все знают, что Наташка и на вторы смотры прописана. Сам-де царь тако поволит... Кое не поволить, коли тихой он у нас? Из рук Артемошки и глядит... Ведун, чародей Артемошка той, лиходея царский. Кому оно не ведомо... И давно пора...

— Ну, што кому пора — помалкивай лучше, парень. И у стен уши бывают. Придется за пустые, облыжные речи, гляди, и в сыскной избе ответ держать, — с дружеским упреком предостерег горячего Ивана рассудительный монах. — Там, што буде, единому Богу то ведомо... А все же, мыслю, и Артемоновой Наталье в царицах не бывать. Так тебе говорю, по душам. Вот почему и попытаюсь... Перекину словечко кой с кем... Допустят вашу девку на показанье к болярину Богдану Матвеевичу, к Хитрому... А, тамо, Бог подаст, и на смотры на царские, на первые... Може, и на вторые проведем, когда царь к девкам поприглядится с тычка; станет и поближе приглядывать. Как звать девку-то?

— Овдотья, Ивановна по отцу, Беляева. Родной сестры моей сиротиночка. Подсобишь сироте, ни она, ни мы, по гроб не забудем... Уж пусть и свету нам не видать, коли не клобук святительский буде на голове на твоей, на благодатной, отче-игумне...

— Но, но... Не мели зря. Есть у нас владыко — и подай ему, Господь, многая лета. Не зовет мя суета мирская. Своим сыт... И другим ошшо ошметков хватит. По душе сироте помочь хочу...

— Помоги, помоги, отче-игумне, брате сладчайший во Христе, — снова зачирикала старица Ираида, чутко ловящая каждое слово беседы. — Вон и сам владыко-патриарх нам подсобит...

— Попытка — не пытка, спрос не беда. Опробуем. Потолкуем с милостивцами. Да, слышь, что ошшо скажу, сыне. Есть два дохтура царских: Гутменч один да Стефан Гадин, он же иначе зовется Данилко Жид. Верит им государь. Они двое для нево и невест доглядяют: пускать ли их на смотры на царские?.. Здоровы ль телесами и всячески девицы навезенные... Им тоже от меня словцо буде сказано. А ты, парень, слышь, сам не дремли: повидай их, посули чево-ничево... Челом ударь...

— Жидовину... И што ты, отче...

— Пустое. Он хрещеный теперя. А не Данилке Гадину, так Гутменчу. Што мога — поднеси. Вдвое посу-

ли. Они, нехристи, все на рублевики на наши жадны... Прости, Господи! Хоша, и то сказать, наши московские — тоже охулки на руку не кладут...

— Не кладут, ох, не кладут, отче! Ошшо ничего не видя, и наследье Овдотьюшки, и свою усадьбу закабалил... Што поделаешь?! Да уж так и буде. Повидаю энтого Гадину. Постараюсь для племянной, для сиротки, доброго дела ради...

— Бог на помочь! А теперя... чу, никак и к обедням ударили. Идите во храм, помолитесь. И мне пора, слышь...

И с благословением игумен отпустил своих гостей.

Долго тянется обедня монастырская. Солнце совсем высоко стояло, когда Шихирев, усадя в колымагу тетку, остался на паперти монастырского Чудовского храма, чтобы потолковать со старым своим знакомцем, рейтаром из вологжан, много лет тому назад проживавшим у них на Кашире.

Высокий рыхлый старик, одетый в одежду полунемецкого покроя, выглядел важно, говорил сиплым, грубым голосом, часто покусывая концы седых усов, показавшие свисающих над губами. Веселая, добродушная насмешка постоянно играла в прищуренных, окаймленных старческими складками глазах отставного рейтара.

— Давно ли Бог на Москву занес? — спросил после первого обмена приветствиями отставной служака. — Как дела?

— На Москве я давно... А дела... Гм... Дельце одно у меня есть. У-ух, какое потаенное... Тута и говорить не мочно. А ты, приятель-куманек, Лександра Лександрыч, как здесь побывшился? Али сюды перевели? У кого в полку? Сказывай.

— Кое в полку — на полку сунули. На покой послали, за старостью, слышь. Никчемен стал. Я-то! Слышь... Помнишь ли?.. Был ли хто удалей меня?! Да вот ныне, знать, лучше нашлись...

Рейтар даже побледнел. Глаза затуманились.

— Ну, ну, не горюй, старина. Авось, и на твою долю край солнышка сыщется. Мы, вот, тута, — понижая голос, продолжал Шихирев, оглядываясь по сторонам, — мы с теткой одно дельце вершим. Слышь, не зря в самый Светлый Праздник во Христов угол родной она кинула, на Москву затесалася... Слыхал, чать: смотры у царя...

— Те-те-те... А мне и невдомек! Племянница у тебя, слышать было, дюже пригожа... Н-да... Так вон с каким товарцем ты...

И рейтар попытался было присвистнуть молодецки по старой памяти, но ослабелые губы издали только забавный протяжный шип.

— А ты во дуло свистни. Экой греховодник... Все своих свычаев не кинул... Товар... У ково товару не найдется такова? Да продавать ево больно не с руки. Сноровка велика надобна...

— Ты присноровился? — с незаметной насмешкой спросил старик.

— А то нет... Так присноровился... Да вот, слышь... Идем... Я на конь сяду, шажком поплетусь. Иди вместе. Потолкуем. Тута людно, опасно...

— Идем, идем, — согласился любопытный старик. — Мне все одно, никуды не к спеху.

Выйдя из толпы, медленно покидающей храм и площадь за оградой, оба скоро увидали холопа, который держал по уздцы лошадь Шихирева.

Живо взобравшись на высокое седло, он приказал холопу:

— Сенька, домой поторапливай. Скажи, угощение бы припасали. Гостя дорогого веду...

Сенька низко поклонился хозяину, рейтару — и доброй рысью, за которой и коню иному не угнаться, поспешил ко двору.

Шихирев приосанился, дернул поводья. Лошадь медленно, степенно зашагала вслед за челядинцем, сдерживая ход под рукой всадника.

Рейтар, взявшись правой рукой за луку, шагал рядом, не переставая толковать с Иваном.

— Ну, теперь нас не подслушают. Сказывай свои дела. Да, слышь, ведомо ль и то тебе, что болярина Артемона Матвеева родня, Наталья Нарышкиных, — не то што смотрена, а и на верх взята, отобрана. Вишь, у болярина, поди, своя сноровка, не похуже твоей сыскалася... А ты...

— А я... Што я? — подзадоренный, отозвался Шихирев. — Ты бы ранней запыталси, а посла и талалакал: «Получче твоей сноровка»... Не нынче — завтра, слышь, Наташку не то с верху, а и прочь с Москвы уберут. Не бывать ей царицей! Первое дело, она рылом проти моей Дунюшки не вышла. Другое: есть-таки ве-

лемочны люди при самом царе, што скорее сами разорвутся, ничем в таку силу Артемошку впустят, штобы царица на Москве ево родня была... Не-ет... Быть моей Дуне в короне царской да в оплечьях! Как пить дать. А ты, старый болтун, Бога моли о том. И тебе буде добро.

— Ин добро, коли добро, — слегка обиженный, отозвался рейтар. И уже всю остальную дорогу почти ничего не говорил, только слушал, как бахвалился хозяин.

Шихирев и вообще любил прихвастнуть, а сейчас, еще подогретый полуобещанием Чудовского архимандрита, прямо плел несуразное что-то.

Двух недель не прошло с этого дня, а уже многое из заветных дум Ивана Шихирева сбылось и наяву.

Племянница его, Авдотья Беляева, не только была взята на верх и показана царю, но, по общему говору, редкая красота девушки сразу поразила Алексея.

Очень многие девушки после первого царского смотра были одарены, каждая — сообразно своему роду или состоянию, и отпущены по домам. Осталось сперва невест пятнадцать, а потом и того меньше, которых Алексей навещал в терему, словно приглядываясь и взвешивая: кого избрать?

В числе этих счастливиц, испытывающих все муки жгучего ожидания, всю неизвестность судьбы, оказалась Авдотья Беляева, как и Наталья Нарышкина.

Хмурились старые думные бояре и князья, особенно из рода Милославских, из семьи Хитрово и Соковниных.

Чутьем чуяли все: новое что-то, неприятное для них, но неизбежное готово совершиться.

Конечно, детей у царя много. И подростки есть. Нужна царица на царстве. Да, ведь, не молод уж Алексей. И взял бы себе такую степенную, знатного рода, немолодую даже подругу, которая не заводила бы новшеств в царицыных теремах, во всем царстве.

А Матвеев — известный охальник. Сколько времени по чужим краям ездил, в послах и по своим делам. Жена у него — совсем из басурманок, хоть и приняла православие для приличий... Конечно, и Наталья Нарышкина тем же духом пропитана, новым, ненавистным для большинства людей, окружающих трон.

А пустить на трон какую-то неведомую Дуньку Бе-

ляеву, племянницу нищего однодворца Ивашки Шихирева, сироту со сворой жадной, безземельной родни! И того нельзя. Сколько им кусков надо проглотить раньше, чем насытиться подобно остальным знатым родам? И скольким из знати эта голытьба дорогу перейдет, пользуясь своим положением царицыной родни...

Как гнездо ос, встревоженное рукой прохожего, зашевелились дворцовые похлебники, и большие и малые...

Боярин и дворецкий царский Богдан Матвеевич Хитрово, отстояв вечерню в домовой церкви царя, не велел подавать своей колымаги, а прошел знакомыми переходами на половину царевен, где помещались покой старухи боярыни Анны Петровны Хитрой.

Плотная, среднего роста, с румяным полным лицом, с живым взглядом темных пронизательных глаз, с постоянной ласковой улыбкой на крупных губах, боярыня казалась много моложе своих семидесяти лет.

Обычно она держала немного сгорбленной свою полную фигуру и голова клонилась к правому плечу, словно старуха выглядывала кого-то или хотела заранее разгадать, что скажет собеседник?

Тогда вокруг ее еще довольно светлых, очевидно, зорких глаз собиралось множество мелких морщинок, так же как и вокруг губ, которые боярыня сжимала сердечком и втягивала, как будто стесняясь, что у нее, старухи, такие молодые, полные, красные губы.

Подчиняясь дворцовому обычаю, Хитрово до сих пор белилась, но очень слабо. А румянец проступал свой, природный.

И не будь этой маски белил, боярыня казалась бы еще моложе, особенно когда что-нибудь заставляло властную, гордую женщину распрямить полный стан, согнать привычную улыбку с лица... Когда глаза загорались каким-то хищным, недобрим огоньком и сеть морщинок куда-то исчезала от глаз, оставляя только легкие тонкие малозаметные следы, — в такие минуты словно другая женщина выглядывала из-под обычной мягкой, вкрадчивой личины важной дворовой боярыни.

— Здорово, здорово, племянничек, свет Богдан Матвеевич боярин... Што не видать давненько было... Зачем пожаловать изволил? — приветливо встречая гостя, тут же спросила старуха, заметив его расстроенный, озабоченный вид. — Али незадача какая?

Говори... Вместе погадаем на бобах, авось беду и разведем.

Степенно отдав установленные поклоны старшей родственнице, боярин, не откликаясь на веселый запрос словоохотливой старухи, стал оглядываться исподлобья, быком, ожидая, пока уйдет из горницы девушка, ставившая на стол мед, брагу, квас, коврижки и фрукты — обычное угощение.

— Вертись поживей, Домнушка, поменей оглядывайся... Ставь и ступай! — распорядилась старуха, заметив нетерпение родича.

Девушка поспешно все уставила на столе и, отдав обоим низкие поклоны, ушла.

— Ну вот, и чисто в горнице. Говори теперя, за чем пришел? Видать, штой-то неспроста, — совсем иным, деловым, сухим тоном переспросила боярыня.

— За тем и пришел, что нашему роду канун приходит, вот что! — так же сумрачно, не распрямляя бровей, ответил боярин.

— Неужто? С чево же так? Што Алешинька себе у Матвеева девку облюбовал в невесты?.. Али Беляевской Дуньки боярин напужался? Ну, не думала я, что мало-дух ты стал, племянничек, на старости лет. За эстольки годы... Я, вон, на верху, почитай, полвека мычуся. Ты же близь таких годов здесь... Всего мы с тобою навидались: и свету, и страху, горя и радости... А тута, на, гляди: старый блазень, Алеша удумал вдругое жениться... Уж и канун нам да ладан... Рано, рано, свет Богданушка, роду нашему стал ты отходную пети. Мы еще с Божией помощью и «аллилуйю» зыграем... Пожди...

И рука старухи даже невольно потянулась к седым волосам племянника, словно бы желая погладить и успокоить взволнованного Богдашу, как она это делала в годы его детства.

— Так, все уж тебе ведомо, боярыня?

— Все не все, а с пол всево. Все — Богу единому ведомо... Што ты толковать собирався? Сказывай.

— А што с пути стал сбивать меня Артемошка проклятой. Ранней — видимое дело было: Наташку свою в царицы подсаживает... А ноне, как Дунька Беляева царю в очи кинулась, он первый просить стал Алексея: пустил бы Наталью с верху домой. Жена-де по ей сучилась. Надо-де будет, так ее на повторны смотрины привозить станут... А про Дуньку Беляеву одно и ла-

дит: хороша девка и, видать, здорова. Годна царицей быти... Вот каку песню змея лукавая Артамоныч завел. Энто одное. Другое — тово лучше. Ведомые приятели они со Стефанком с Гадиным да с Гутменчем, с лекарями. Вмestях колдовство да ведовство творят да нечисть всякую. Словцо бы единое Артемошке молвить, и обое, нехристи, забракуют Беляеву. Хвори в ей найдут. А я анамеднись пытаю Гадина: «Што за девка Дунька? Царицей гожа ль быти?» — «Ништо, — говорит... — И тебе скажу, што дяде ее сказывал: всем взяла». — «Руки малость тонки», — сказываю я ему. А он мне: «Ништо! — в терему в царском попухлявеет, пооткушается...». — «А где, — пытаю, — видел ты Беляевой дядю? Ай у тебя был, со слезами забегал?». — «Нет, — бает хитрый немчин, — на перепутке стрелись... У мучного ряду, на Тверской...». Поезд, вишь, боярина Матвеева путь загородил. А из свиты бояриновой к ему, к Гадину и подъехал Беляев. Поклон отдал, назвал себя. Говорит Ивашка Беляев Гадину: «Слышь, господине, бают, ты невест царских глядишь. Мою племянную не похай. Сирота она беззаступная...». Лекарь ему бает: «Нешто я знаю, хто твоя племянница. Нам девок кажут, а имен не выкликают, сорому девкам не было бы...». А Ивашка Беляев сызнова: «Моя Дунька тебя знае. Станешь ее глядеть, она середним перстом тебе ладонь нажмет... То она и есть...». Вот што мне Гадин сказал. Вишь, каки петли вороги стали метать... Хоть и нам бы с тобой впору, старым воробьям ловленным, боярыня...

— Так, так, так... А далее што?..

— Далее... Али мало тебе, боярыня? Видимо дело: петли мечет проклятый еретик, заморская птица... Ровно угорь, склизкой. И не ухватить ево никак. Наладит все по-своему: буде ево Наташка царицей Московской, а он первым и в Думе и на Москве... Да ничем мне до тово дожить, — внезапно багровея от ярости, вдруг хрипло заговорил Хитрово, — лучше я душу задам диаволу, лучше...

— Ну, коли так Матвеев тебе не люб, боярин, Шихиреву не чини помех. Пушай ево Овдотья до доброго дела дойдет, — словно не замечая ярости племянника, спокойным голосом заметила старуха.

Спокойное замечание словно холодной водой обдало честолюбца. Сдержавшись всей силой воли, он пере-

дохнул немного, чтобы сгоряча не сказать чего-нибудь слишком обидного для старухи-тетки, но все-таки не вытерпел и через несколько мгновений заговорил с холодной злобой:

— Кабы не знал я, сколь умна ты, матушка Анна Петровна, так бы подумать можно: либонь тебе голову замстило, либонь ворогов наших сторону держать собираешься... Да нешто неведомо тебе, сколь много тех недругов у всево роду у нашево? Еще коли хто из своих, из бояр родовитых, верх заберет, хоша и буде поруха чести, да жить можно тогда. Свой своему глаз не клюет. Вон, нас, бояр думных с окольничими да с печатниками, с дьяками с думными, кои все дела государские вершат, все Приказы московские ведают, таких наберется десятка три с небольшим. Четырех десятков не буде. Каждый, как может, живет и другим не мешает. Похлебников у каждого, друзей да родни немалое число. Потому, сама знаешь: без людей дела не сделать. Они и в послугу идут, и вести дают, какие надобны... А со стороны хто втешется в наш обиход, все порушит. Своих людей наведет-натащит... Места очищать почнет, волей-неволей старых повысадит. И между своими свара пойдет, всякому уцелеть захочется, другава за порог пихнуть... Вины друг на дружке искать станут, поклепы возводить почнут. Чево и не было — прибегут... Да и правдивых вин немало найти можно. Вестимо: един Бог без греха... Не то, гляди, почета, власти и худобы последней решиться можно да и жисти с тем заодно. Либонь в опале где, в избе курной наместо дворца царского издыхать доведется. Как же тут чужака пущать? Неужто, боярыня-матушка, изволила забыть про то все, что сказываю тебе?!

— Я-то не забыла, племянничек! Да ты, видать, о все позабыл, хто тея тем азам учивал, коли мне свои азы пересказывать стал, — также невозмутимо сказала старуха, укоризненно покачивая головой. — Али от опаски и не ведаешь, што творишь, што говоришь? А? Слышь-ко, Богдаша!

Хитрово смутился. Действительно, самой главной, если не единственной его наставницей в придворных делах и затеях была эта самая тетка, к которой и сейчас он явился за добрым советом.

Только привычка к верховенству, к наставлениям, которые он, в качестве царского дворецкого и влия-

тельного вельможи, рассыпал всегда и всюду, эта властная привычка завела боярина впросак, и он прочел ненужное наставление собственной наставнице.

— Ну, што уж... Ничево я не забыл, — собирая всю бороду в руку и покусывая ее пушистые концы, отозвался, хмурясь, боярин. — Кинем все... Ты, мать Анна Петровна, дело скажи! Как мыслишь? Чем бы тут беде помочь? И Беляеву Овдотью застенить... И Артемошку с рук посбыть, проклятова! Нет ли пути-выходу? Вот. Немало выручала ты, государыня-матушка, и меня, и весь род наш. Може и теперя што порадишь? Челом тебе бью...

— Не труди, не гни шею свою толстую боярскую, Богдаша... Для племянника и без челобитья, што умею — сделаю... А, гляди, и самому тебе придется умом пораскинуть, помогать делу как-никак...

— Да я што... Да ты... Слышь, родная, глазком наметни лих... А уж я... В щепу расшибусь, а сделаю, коли што надо... Надумай лих...

— Думой тут никак не помочь. Надо тут по-старому, как по-бывалому... Гляди, не впервой таки грозы и над нами, и над иными родами заходили-собирались. Да Господь относил. О-хо-хо... Чево-чево я в энтих стенах за энти полвека, что здесь прожила, навидалася... Да... Помнится мне, вот так же, еще при покойнике, при отце Алешином... Ну, да про то не время и поминать. Вишь, тебе как лик-то свело! Ровно три дни не спал — пировал али оцту заместо вина хватил... И сед, а молод ты духом, Богдаша. Покою да ровноты в тебе нет... Ну-ну, не стану журить... Скажу, что тебе надобно... Пока я жива, послужу роду нашему. Вот, как умру, к кому за советом пойдешь ты?.. и все наши... Ну, да не о том речь... Вот, скажу я тебе, что раз у батюшки было у мово, у Петра Данилыча, помяни, Господи, душеньку ево во царствии Своем... Собака была данская... Псище матерой, злющий. Не то свою скотину — и псарей рвал! На цепи на толстой держали ево. Ни на охоту, никуды... Зверь бешеный, а не пес был. Думали-гадали, што с им учинить? И надумали. Слышишь ли меня, племянничек?..

— Слышу, слышу, — запасаясь терпением, ответил Хитрово. Он знал, что старуха, начав какой-нибудь рассказ из прошлого, хотя бы и не идущий к делу, не любила, если ее прерывали или не слушали.

— Вот, рассказываю тебе, и надумали. Волки зимой завелись под усадьбой... Не то овец али бо мелку скотину норовят зарезать, — на табун кидаются, коли на водопой поведут... И надумал батюшко-покойник... Ночью спустил с цепи пса. И приманку за усадьбой раскидал. Целу тушу конску разрубил. Пал конь один. Што ж бы ты думал? Поутру глядят: волков штук шесть либонь семь загрызено лежит. И пса волки так искусили, што до полудни не выжил. Только волки с той поры уже так не налетывали. Подале от усадьбы держались. Задал им страху пес тот. Вот и подумай...

— Гм... Думаю и то... Кто же тут волк выходит, кто — пес. Артемошка али дворянчик оголтелый, бездомный, што со своей племянницей, с Овдотьей подсунулси, энтот Жихарев, Ванька... Э, да все едино... Главно дело: как стравить их, штобы погрызли они скорейча друг дружку... Вот энтот-тово... Энтот — поразмыслить надобе.

— Немного и думать тут. С девками, с невестами, обое пролезть хотят. На том и стравить их... Не на чем ином... Вот баял ты: своих людей у тея много. Во дворце такие есть ли... На ково бы как на себя положить веру можно?

— Как не быть? Есть. А для какого дела? Разные люди на разное пригодны. Где искать?

— Из челяди из дворцовой паренька бы надобе. Штоб дело сделал, а посля не выдал, страху али корысти ради. Какое дело — сейчас ти поведаю, боярин.

— Найдется и такой... Подложить ежели што кому «на верху» али повызнать што... Парень шустрой и мой уж, такой — с головою... Испытан был, и не раз... Подсобил я ему в пустяшном деле: женку по душе дал... Не сосватал бы я, за парня бы девку не отдали... Вот и мой стал парень... Што делать, скажи?

— Догадлив боярин. Подкинуть надо. А што — сам поразумеешь в сей час. Вот, бери, садись сюда... Пиши, што скажу. Только так пиши...

— Штобы руки моей не признал ниhto. Уж нам это дело ведомое. Пишу, и то, гляди...

И, половчее уложив перед собой отрезанную полосу синеватой хартии, толстой бумаги, вроде той, на какой писались дела в Приказах московских, Хитрово приготовился писать.

Боярыня почмокала, пошевелила в раздумье полными губами и негромко, медленно и внятно стала диктовать.

Стараясь совершенно изменить свой раскидистый, характерный почерк, боярин мелким, связным, писцовым складом, как пишут приказные подьячие, выводил строку за строкой. И, что дальше, то все с большим удовольствием кивал головой, иногда даже с удивлением оглядываясь на тетку.

«И откуль у бабы такая сметка?» — явно читался вопрос на широком лице лукавого, завистливого, но недалекого умом боярина.

Только один раз среди письма он приостановился с приподнятым над бумагой гусиным пером, бородкой которого стал почесывать свою седую бровь.

— А ну, как трав да кореньев не сыщется никаких?.. А подкинуть — не поспеем! Живи еще Шихирев, слышь, ко Кремлю поближе... В монастыре, слышь, у сестры пристал. Ково туды ни пошли — приметят... Кабы беды не вышло. Али бы трав-кореньев и зелья некоторого в горницах Ивашки не сыщется... И всему письму веры имати не станут... И затея наша...

— Наша, да не Маша, — видимо, раздосадованная непонятливостью племянника, оборвала его старуха. — Где ж ты жилье видал, чтобы травы какой али корешков лечебных припасено не было про хворь про всякую, про немощь да про недуги повседневные? Не цари — бедные люди. Лекарей да докторов да знахарей не наберешься, как оно здесь заведено. Каждый — сам себе лекарь, по старине, травками да корешками... Энто первое. А кроме тово, как мекаешь, боярин мой мудреный: по душе Артемон Матвеев дорогу Беляевой Дуньке отступил, к сторонке жметя? Али только случаю ждет, чтобы ее и со всем ее родом, и с Ванькой Шихиревым, и с архимандритом Чудовским по темени клюнуть добре — здорово... Вот наш подмет Матвееву руки и развяжет! Мы и в стороне станем. Он сам такую бучу собьет, что и Шихирева потопит... Гляди — и с Наташкой со своей, со смиренницей, с государевой зазнобой негаданной захлебнуться сможет... Вот нам к чему вести надоть, а не разбирать: есть ли травы да зелья в чужой избе али нету. Злоба, ремство — завидливое — энти зелья повсесветные. Их с маково зерно рассыпь, они лесом частым взойдут... Небось, не оши-

бешься... Толико с умом надоть сеяти, самому бы не чихать от севу... Вот... А Шихирев — дурень всесветный, бахвал, болтун безглаздый. На него ли беды не сыщется? И ничево не видя, он уж повсюды языком треплет, слышь, быдто ево Дунька на верх взята, а Наташка Нарышкина с верху сбита... Чуть што не на рынке о том орал... Рейтаришке тут одному безместному да еще попу Благовещенскому, отцу Андрею... Да мало ль кому той Ивашка на свою голову молол? Ево думка — жару нагнать, себе помочь у людей сыскать! А та помочь — ему в немочь... Вот про што знать да ведать надоть, а не про травы-коренья заговоренные...

Обескураженный окончательно, Хитрово только развел руками, склоняя покорно свою седую голову, но тут же не утерпел и сказал:

— Твой верх, матушка-боярыня, коли впрямь все так, как сказываешь... И откуль, скажи, до всево ты доведалася, почитай из терему не выходячи, людей со стороны не видя?..

— Мудреный, и тово не учуял? У тея «свои люди» на Москве, а и у меня не мыслёте... Ты, боярин большой, рублем да словом, да велемочной повадкой души уловляешь, людей закупаешь... Гляди, у меня из такой казны такоже сыщется малая толика на обзаведенье... Ну, уж кинь спросы да расспросы... Пиши знай, што надо. Кончать граматку пора да другую с нее же списать. В два места кинуть надоть... Быдто, хто клал — сам не ведал: дойдет ли ево грамота до царя аль нет?.. И поймут люди и царь, што не свой, не дворцовый подбрасывал, а чужак, местных звычаев не ведая.

— Та, так... Прямо на Ивашку помыслят... — радостно закивал головой Хитрово, изготовясь снова писать.

— Во, теперя ты, боярин, затакал, ровно утица кряковая... Пиши... «потаковшик», — с оттенком ласкового презрения заметила старуха и стала дальше диктовать письмо подметное.

Вот закончена последняя строка. Перед подписью старуха сделала легкую передышку, перебирая в уме: не забыто ли что-нибудь необходимое.

— Вот што, Богдаша, перечти-ка все, я послушаю, — обратилась она к седому ученику своему.

И Хитрово послушно стал перечитывать вполголоса весь хитро сплетенный донос.

Старуха слушала внимательно, сложив полные руки на коленях, изредка пошевеливая пухлыми большими пальцами, разжимая порою плотно сжатые, сохнувшие от внутреннего волнения губы, чтобы провести по ним кончиком языка...

— Так, все к месту... Буде толк из дела. Теперя — имярек... Подпись дати — и конец.

— «Ивашка» — подмахнути нешто.

— Не. Пиши: «Боярин Богдан Хитрово складывал». Лучше буде. Э-эх, в досаду лих вводишь меня. Помысли, боярин! Люди веровать должны, что Ивашка Шихирев на Матвеева поклеп возводит. Так дурак ли он — свое имя хрещеное под тем поклепом ставить! Уж, лучше, штобы следы замести, он ворога, супротивника Артемона имя проставит...

— Во-во... и я так мыслю, боярыня. Гляди, и написано уж: «Твой, осударя великова, раб недостойный Артемошка»... Вот, написал.

— Слава те, тетереву... Другой лоскут харатейный бери. Еще одну с энтой — пишулю строчи. Да поживее. В церковь мне пора. И то с тобою время упустила, грешница я великая, часов положенных не молила...

И пока боярин быстро переписывал копию с доноса, старуха, обратясь лицом к иконам, усердно шептала молитвы, перебирая узлы лестовки.

— Готово, — складывая оба доноса в виде писем, сказал боярин.

— Ну, и ладно. Вот, воску бери. Припечатай. Нажми хошь купейкой на место печати. Так. Ишь, как Егорий-то вышел! Да пошлет он нам, скоропомощник, над ворогами одоление, — отрываясь от молитвы, распоряжалась старуха. — Надписывай цидулы-то... «Писание сие о слове и деле государевом и достойно поднести царю али ближнему человеку царскому, не смотря отнюдь, в тайну велику не вникаючи». Так. Кому же доверить все дело мыслишь? Помни, Богдаша, за воровски писанья, за подметные — и животы все отнять у тя могут и заточат на весь век... С оглядкой дело верши.

— Ну уж, не учи, боярыня. Не овсе и глуп я... Вот сама поглядишь, коли охота, на человечка на мово.

— А он поблизу, дворовый? С «верху» али в термах?.. Ну, скажи... И то, погляжу, кому ты так уверовал?

— Увидишь. Свою девку посмышленной да повернее спосылай в трапезню в людскую. Челядь там вся дворцовая, гляди, за столами теперя. Время самое. Пушай Сеньку Вятича, истопника палаты Постельничьей вызовет умненько, сюды приведет. Ровно бы за делом каким. Родня бы зовет али бо што...

— Сделаем, не учи...

Старуха поднялась, покликала за дверь:

— Федоску мне позвать!

Сказала и сама скрылась за дверь, чтобы лишние очи не видели и не знали, кто сидит у боярыни, с кем она долгие, потаенные речи ведет.

Через минуту старуха вернулась в горницу. Села, снова принялась шептать молитвы.

Хитрово подвинул к себе тяжелую Библию, лежащую на столе, раскрыл, раньше сунув оба письма под книгу, и стал перечитывать давно знакомые священные предания. Говорить обоим больше не о чем было.

Так прошло около четверти часа. Раздался стук в дверь и сильный молодой мужской голос нараспев произнес обычную молитву:

— Во имя Отца, и Сына, и Духа Свята:

— Аминь... Входи, хто тамо? Ково Бог дает? — отозвалась боярыня.

Дверь распахнулась, снова закрылась, и у притолоки обрисовалась фигура парня лет двадцати пяти, одетого просто, но очень чисто, даже щеголевато.

Сукно на казакине тонкого сукна. Ворот рубахи был так красиво и тонко расшит, что невольно все обращали внимание на художественную работу. Светлые волосы были приглажены. Усы и бородка едва пробивались. Скуластое некрасивое, но очень доброе лицо словно озарено было открытыми голубыми глазами. Невысокий, но широкоплечий, грудастый парень производил впечатление очень сильного человека, не знающего о своей силе, не дорожащего ею. Переминаясь с ноги на ногу, он, после обычных поклонов, мял в руке свою шапчонку и ждал, о чем его спросят.

Особенно расцвело его лицо и усерднее обычного добил он челом, когда узнал за столом фигуру боярина Богдана Матвеича.

— Здорово, Сеня, — ласково обратился к истопнику Хитрово. — Как здоров, парень? Как Паранька твоя? Сказывай.

— Живем, покуль Бог милует. Твоими молитвами да заступой, боярин ласковый, — нараспев, по-вятски отвечал истопник. — Бог милости послал: сынишком наградил, слугой тебе верным, вечор только... первеньким... — словно не вытерпев, с поклоном доложил счастливый отец, и лицо его буквально просияло, голубые глаза стали лучистыми, будто загорелись внутренним ярким огнем.

— Поздоровь тебя, Боже, и с подружием твоим! Крестить зови, коли так. Слышь, не откажу... Да буде, неча половицы лбом пробивать, — с улыбкой произнес Хитрово, поднимая Сеньку, который при неожиданной милости так и ринулся в ноги боярину. — Буде, буде! Встань! Слышь! — отымая полу кафтана своего, которую целовал парень, приказал боярин. — Ты мне не поклонами — делом окажи: готов ли на послугу?

— Господи... да я... Да в огонь, да, повелишь, душу свою... да... — начал было парень...

— Ладно. Помолчи. Слушай, што скажу. Сделай, как велю... Вот и увижу, так ли все оно.

— Приказывай, — только и ответил парень. И в этом одном слове было так много искренности, готовности и силы, что боярин невольно переглянулся со старухой, которая с одобрительным видом закивала ему головой, словно говоря племяннику: «Можешь. Смело доверяйся парню».

— Ладно. Поглядим, сказал слепой. Только наперед знай, Сенька. Дело такое... Мне — пыткой, тебе — головой за него не заплатить бы... И клятву... заклятье великое принять придется...

— И заклятья не надо. Моя голова — за тебя пушай, боярин. Без твоей помочи ни радости б нам не знать с Парашей... И на свете меня бы уже не было. Не своей — твоей головой челом тебе бью. Твори, што хочешь! И клятву дам, хошь на пречистом теле Христовом, на Честном Кресте Ево... Што повелишь — сделаю! Пытать станут — про тебя словечка не скажу...

— Ладно, ладно... Оно все и добром, гляди, может завершиться. Тогда тебе такие милости будут, што и во снах не видал...

— Приказывай, боярин...

— И тебе, и женке твоей... И крестнику моему. О нем уж особливо подумую...

— Приказывай, боярин!

— Ладно, ладно, не спеши. Все обсказать надоть... Когда черед твой печи топить в опочивальне в царской? Скоро ли?

— Наутро, государь.

— Ин, и добро. И мой перед наутро же с докладом у царя быть. Видимо, Господь ведет. Вороги на нас, на меня, на весь род наш взялись. Сбыть их надо, Семенишка. Допоможешь ли? Ась?

— Приказывай, боярин! Глазом мигни! Живым казнаво руками разорву! Зубами заем...

— Рвать не придется. Каты их порвут, мастера заплечные, палачи осударевы. Лих, сильны вороги. Уменьшко треба дело вести... Допоможешь ты, Сеня?

— Приказывай, боярин!

— Ну, видно, и вправду доброхот ты нам, всему роду нашему. Идем, при иконах, при святых, на Честном Кресте да на Евангелии обет дай...

Парень быстро двинулся к переднему углу, где, озаренные тихим светом лампы, поблескивали своими чеканными окладами образа, украшенные жемчужной обнизью и дорогими камнями.

— Мощи тамо в ковчежце, боярин... В затворе, за Николой-Угодником, — отозвалась старуха, внимательно следившая за всем, что тут произошло.

— И мощи прихватим, боярыня. Благодарствуй...

И, став на колени рядом с парнем, побледневшим, трепещущим, словно в лихорадке, боярин стал говорить слова присяги, которую тот внятно повторял, не сводя глаз с икон и осеняя себе грудь частым размашистым крестным знаменiem...

Раным-рано, часу в шестом утра, по обычаю, собрались на совет царский в кремлевский дворец все главнейшие бояре.

Вершники провожают колымаги, в которых сидят бояре более пожилые, или к верховой езде не привычные.

Кто помоложе — те верхами, тоже с большой свитой подъезжают ко внешним воротам нового кремлевского дворца. Здесь все выходят из колымаг, слезают с коней, оставляют челядь на дворцовых дворах и идут полуосвещенными дворами и внутренними переходами к Грановитой палате, где совет собраться должен.

Тишина царит во всем Кремле. Только стражники

на стенах время от времени перекликаются. Во дворце тоже тишина. Еще спят все почти, кроме царя, который раньше обычного поднялся, отстоял раннюю службу и в совет собирается. Низенькие покои еще слабо озарены светом восковых свечей и сиянием больших, неугасимых лампад, зажженных перед киотами почти в каждой горнице.

Тишину здесь нарушает только веселое потрескивание дров в печах-голландках, помещенных по углам небольших покоев. Изразцы печей, цветные и глянцевые-белые, покрыты разными узорами, аллегорическими рисунками или причудливыми разводами.

В самой опочивальне царя Алексея тоже огонек потрескивает. Готовый к выходу царь стоит в раздумье, поглядывая на огонь. Любитель охоты, особенно смолodu, он и зной и холод легко выносил в поле. А у себя в опочивальне больше всего любит, чтобы тихо и тепло было. Заглядится на пламя, и что-то далекое, полупозабывтое, как юность, видится ему в переливчатых струйках веселого огня.

Отпустив и постельничего и оружничего своего, которые помогали одеваться Алексею для выхода в совет, он стоит, опираясь на небольшой царский посох, и слушает, что говорит Богдан Матвееч Хитрово, обязанный, как дворецкий, сопровождать государя во время выхода.

— Так, баешь ты, Матвееч, от Ганзы да от дуки Голстинского добрые вести дошли до Нащокина... Может, дело, кое при царе покойном, при нашем родителе доброго конца не имело, теперя наладится... Торг персической через наши земли вести-таки немцы хотят. Ладно. А от английского короля тоже, слышь, присыл есть?

— Есть, государь! Нынче и будет тебе сдоложено... И о торге беломорском, архангельском. И о людях разных, кои твоему царскому величеству и в ратном деле и в обиходе царском надобны. Обещают помехи не чинить, прислать, ково надобе... Гордонов полк и макунальдов, гляди, пополнится.

— В час добрый. Лихие воины англичане да шотландцы. Верный, надежный люд... А, слышь, Артамону знать дадено? Будет ли? Ему-то про дело знать ведомо. Он первый нам все дело налаживал.

— Дадено... знает, будет, — с трудом скрывая недовольство, ответил Хитрово и, словно желая поторо-

пить царя или обратить его мысли в другую сторону, сказал:

— Как же прикажешь? Поспросить пойти, съехались ли бояре, али погодить малость? Кабыть, и время, пора всем быть.

— Ин и то, узнай поди, боярин. Спосылай ково из моих.

— Слушаю, осударь! Мигом узнаю...

Хитрово вышел из опочивальни в соседний покой, а царь опустилсЯ в ленивом раздумье на кресло, стоящее против огня.

Хотя и привык богомольный государь рано вставать на молитву зимою и летом, все-таки хотелось порою отдохнуть, лишний час полежать на ложе, подумать так, ни о чем, не о делах, таких тяжелых и важных, которые неразрывно связаны с царством...

Вот и сейчас такое же настроение нашло на Алексея. Он призакрыл было глаза, уставился в огонь, стараясь там отыскать те же фантастичные картины и образы, какие порой видел ребенком, даже юношей.

Но неожиданно дверь быстро распахнулась, и поспешно вернулся в покой Хитрово. Его лицо и все движения явно выражали какую-то тревогу.

— О, Господи! Што так скоро повернул? Неуж про все разведал? Да, не беда ли какая... Лица на тебе нет, боя... Стой... Што в руке за харатейки у тея? Покажь! Не мне ли несешь... Кажи скорее... Ух, даже в пот кинуло... Смерть не любы мне таки дела нежданны-негаданны. Да што молчишь? Скажи, боярин! Аль не мне цидулы?.. Што с тобой? Не томи, пожалуй...

— Прости, осударь! И в уме нет тово... Тебе, видать, писемца энти. Хоша, и не знаю, давать ли?.. Подвоху нет ли?.. Ишь, надпись больно мудро поставлена... Подметные письма то, воровские... Вот што, осударь, — наконец, словно овладевая собой, решительно и твердо произнес боярин.

— Письма... воровские... мне?.. Ну, раскрой, читай... огляди, што тамо... Али нет... Пожди... Дай сюды... Сам я... Може, и вправду, што такое... Лих, погляди наперед: зелья какова в них не сыпано ль?.. Раскрой-таки... Так... Нет ничего... Поди, под иконы положи... Животворным Христом накрой. Вон тем, от Древа Животворяща который... Ежели чары в письме — разрушит их святая сила... Добре, давай сюды...

И, с опаскою взяв письма, он стал читать одно из них, пробегая строки глазами и в то же время бессознательно шепча одними губами не то заклинание, не то молитву:

— Чур меня, чур, от всякова чура, от глазу и лиха... Спаси, Господи, люди твоя... Отведи от уразу, от злова, наведи на врага, на лихова...

Чем дальше читал Алексей, тем медленнее шевелились его губы... Быстрее и внимательнее заскользили глаза по четким строкам безымянного доноса.

В молчании дочел и перечел он первое письмо, начал второе, убедился, что оно тождественно с первым, но все-таки прочел до конца. Вгляделся в подпись, словно она особенно поразила его.

Силен врожденный страх, присущий людям русским, страх порчи, наговора, чар и отравы тайной. Все дрожат, все знакомы с этим темным явлением, в особенности же государи московские...

Но к волне безотчетного страха, овладевшего Алексеем, прибавилось и другое, не менее сильное и болезненное ощущение:

«Враги довелись, что ему, царю, дороже всего на свете. И теперь посягают на это... Очевидно, сильные враги, если...».

Сразу оборвав нить своих дум, царь спросил Хитрово:

— Где письма подыманы? Кем найдены?

— Сенька Вятнич, истопник нашел. А где — поспросать не поспел. К тебе, осударь-батюшка, зашел! Да Сенька тут... Сам опросить не изволишь ли?

— Зови, веди скорее, — приказал поспешно Алексей с необычным порывом, с необычной крепостью в голосе. Словно и не он это, такой медлительный, осторожный, размеренный всегда и во всем, даже во время гнева или пиров своих, когда хмель вступал в его уравновешенную голову.

Хитрово поспешно вышел.

Прерванные на миг думы снова связной вереницей задвигались в мозгу.

Первая догадка, значит, была справедлива... Истопник постельничий, Сенька письма нашел. Значит, совсем близко от царя они подброшены... И, конечно, только очень близкие, сильные люди могли их подбросить в такой близости от царской опочивальни. Эти люди на все пойдут.

Они все могут, эти князья и бояре московские... Могли же они погубить умного, хитрого, способного на многое Годунова... Посадили на трон и смели потом, как щепку, Шуйского... Вызвали тень Димитрия и убрали ее, когда показался им неудобен Самозванец, этот отважный проходимец с темным прошлым и гордой душой... Посадили они на царство и Михаила... Связали разными записями да опекой явной и тайной, так что покойник был куклой на троне, а правили они... Жен, невест отымали у царей, если не угодны были эти избранницы влиятельным князьям и боярам... У него самого, у Алексея, отняли уже одну подругу желанную, Евфимию, дочь Рафа-Федора Всеволожского... Чуть не силком повенчали с кроткой, но не любимой им Марьей Ильинишной...

Привык к ней Алексей. Прожили хорошо они много лет. Умерла царица. Снова манит царя миг счастья испытать, по душе избрать себе подругу. Невыгодно это боярам. Кому только? Многим или одному-двум, которые своих невест прочат Алексею. Вызвать надо. Тогда и поступить, как получше.

Так порешил царь и уже мог спокойнее встретить Хитрово, который вернулся в сопровождении Сеньки-истопника.

Выждав, когда после земного поклона парень встал на ноги, не распрямляя согбенной спины, не подымая опущенной головы, Алексей, придавая строгость и внушительность своему глухому, хриповатому голосу, спросил:

— Где цидулы нашел? Как дело было? Правду говори! Не сам ли подкинул? Помни, перед царем, как перед Богом ты должен... Как на духу перед попом... Ну, рассказывай!

Хитрово недаром поспешил при себе поставить парня на очи царские. Будь Алексей проницательнее, не была бы так потрясена его собственная душа, он легко мог бы заметить, что не простое смущение мешало прямому, честному парню ответить на вопрос государя.

Несколько раз глотнув воздух совершенно пересохшими, побледнелыми губами, парень наконец с какой-то отчаянной решимостью поспешно заговорил не своим, давленным голосом, каждый звук которого приходилось ему выталкивать из перехваченного судорогою горла:

— Сеньми иду, во палату в Грановитую, государь великий... Как совету ноне там быть надобе... Протопить, мол, царь-батюшка... как оно водится... Дровец у печи скинул оберемья... Гляжу, осударь милостивый, белееца на рундуке, ровно бы лоскут какой. Посветил я ближе светцом своим, гляжу: письмецо невелико. Оторопь, жуть меня взяла, царь-осударь. Очам не верю. Зову сторожу, шатерничих, што тута были, в сенцах же. Глядим — вправду харатейка! Прочел один тут, пограмотней. «Царю, — бает, — в руки надоть. Боярину-оружничему, Богдану Матвеечу, гли, передадим». Про меня спросили: звать как? Кто я? Я и сказал... Печь затопил, дале иду. На Постельно, на крыльцо прошел. Оттоль в палату в Шатерную. Печи пора-де закутывать. Гляжу, озираюся. Сердце ужо не на месте. А в сенцах-то в проходных, гляжу — глазам не верю... К притолоке, воском — вдругорядь хартия прилеплена... И с первой схожая. Я и не тронул. Сызнова сторожей кликнул. Они сами и отлепили граматку от притолоки. Все боярину, слышь, передали. А я уж наготове и то был. Коли, слышь, государь, к расспросу поведут... Вот и я... Как перед тобою, государь великий, так и перед Богом! Хошь пытай, хошь казни. Твоя воля и Божья. А никакова лиха и лукавства, царь великий, нету на мне. По присяге творю. Што нашел, тово не утаил...

С последними словами самообладание или решимость отчаяния, очевидно, вернулись к парню. Он снова метнулся в ноги царю, встал и застыл в ожидании дальнейшего, спокойный и неподвижный, какими, должно быть, в старые годы стояли без вины осужденные перед мученьями и казнью.

Внимательно, долго вглядывался ему в лицо Алексей. Опушенных к земле глаз не было видно. Но лицо спокойное, хотя и очень бледное. Молодое такое, не лукавое. Только скорбных две складочки по краям губ пролегли. Так у детей бывает, когда заплакать они хотят, но сдерживаются почему-нибудь.

— Ладно, Семен. Повыйди теперя. Ступай. Да поблизу, слышь, будь. Пока не будет тебе отпуску от нас, — приказал царь.

Еще раз ударил челом парень и, пятясь к дверям, скрылся за ними.

— Ну, што ты скажешь, боярин? — после небольшого молчания обратился к Хитрово Алексей.

— Не ведаю, што и в хартиях писано. А все же скажу: видимо дело, злые составы составлены твоей царской милости на ущерб да на горе как-никак... Разобрать дело надобно.

— И то, боярин, не чел ты еще. Вот, погляди, пораздумай: и слыхом не слыхано было досель поруки такой имени царскому на Руси, во царстве во всем Московском искони бе... И доныне. Много слыхивал, а такова не ведаю, и в записях царских не читывал. Чаю, и никому не доводилось...

Взял Хитрово письма, поданные ему царем, пробегают глазами и чувствует на себе пытливый, упорный взор царя.

Не выдержал боярин, оторвал глаза от бумаги, осторожно поглядел на Алексея. А тот — в огонь вовсе глядит. Обе руки на посох свой положил. И руки вздрагивают, и посох слегка колеблется.

«Эк напугался, — думает боярин. — Энто ладно. Зануздаем дружка...».

И снова быстро заскользил глазами по знакомым строкам, соображая в то же время, как дело дальше повести.

А Алексей, только на мгновение устремивший глаза в огонь, когда заметил, что боярин оглянуться хочет на него, опять не сводит испытующих глаз с Хитрово, осторожно, исподлобья глядит, готовый каждое мгновение снова отвести взоры.

Все подозрительны царю, а Хитрово особенно. Только слишком силен боярин и сам по себе, по сану, по выслуге своей многолетней. И по тем связям, по родству, которым, как корнями, раскинулся он во всех отраслях московской государственной жизни. Конечно, ему больше всех неприятно и невыгодно будет, если царь женится не на той, кого подставит этот боярин. Понимает все Алексей. Но с таким противником опасно прямо вступить в борьбу. Да и вызнать дело надо. Вот почему украдкой только наблюдает за боярином царь. И видит: слишком поспешно что-то пробегает глазами ужасные строки Хитрово. Словно вперед знает, что там писано. Правда, четкое письмо. И натерел боярин в чтении всяких челобитных.

А все-таки эта быстрота — черта значительная. Такие письма надо внимательно читать, в каждую букву надо вглядываться, если они незнакомы были прежде...

И неясное раньше, безотчетное подозрение вдруг до боли ощутительно охватило и стало давить грудь Алексею.

«Не он сам, так их кучки боярской дело... Их рука работа», — совсем уверенно решил в уме царь.

И в силу этой самой решимости особенно доверчиво и ласково зазвучал его вопрос, когда кончил чтение боярин:

— Што же... Как мыслишь... Што скажешь, Богданушка?.. Порадь, боярин... На тебя одново надея... Как твоя дума: с какова краю камень брошен? Правда али поклеп тута писан... Сам не чую, не пойму. Больно дух смятен во мне. На тебя на единово надея, как друг ты мне и роду нашему давний и верный, гляди, што единый. Порадь, Богданушка!

Лицо боярина совсем расцвело и просияло.

— Твой раб, слуга твой верный, осударь. По гробову доску. Разыщем, изловим составщиков... Нетрудно намекнуться: хто тута всем делу заводчик? На Матвеева, гляди, весь той поклеп... али правдишний донос... Коли оно правда — и правды оберечися можно... Коли поклеп?.. Кому иному клепать надоть, коли не родичам невестиным, из тех, хто по нраву тебе особливо пришелся, акромя Натальи Нарышкиных. Слух словет, што ей, гляди, Наталье, колечко да ширинку подати собираешься... Царицей наречи Московской изволишь? — Сказал Хитрово и передышку сделал, словно ждет, подтвердит или отрицать станет царь такое предположение.

Но Алексей держится настороже. Не шевельнется ни один мускул на лице его. Он весь обратился во внимание и тоже ждет, что дальше будет толковать этот оракул дворцовый, старый честолубец Хитрово.

И боярин, несколько разочарованный, продолжал:

— А ины бают: Беляева Овдотья тебе более полюбила... Да, слышь, Артемон Матвейч, как слуга любимый твою царскова величества, ей путь застилает, на свое тянет... Вот... как мыслишь, осударь: кому корысть выходит поклепы один на друга возводить?.. Али правду лихую тебе, милостивец, объявити?.. Коли оно правда-истина все, што тута на Матвеева писано...

— Поклеп... истинно... Так, верное твое слово, боярин, — ласково, протяжно, словно погружаясь в глубокую задумчивость, повторяет царь.

Но напрасно теперь Хитрово в свой черед старается взором прочесть, что творится в душе повелителя. Лицо царя словно застыло. Ни единая мысль, ни самое мимолетное ощущение не отражается на нем.

«Надо быть, с перепугу в себе укрылся Алеша, — думает лукавый дворцовый затейник. — Али бо меня обойти осударь сбирается, — как проблеск молнии озаряет ум Хитрово справедливое подозрение. — Ишь, нигде инако, здесь, в Кремле, при отце с матерью, среди нас вырос осударь. Може, и чует правду, да виду не подает, изловить хочет...»

Подумал это Хитрово, и невольная тревога заметалась в его душе, отражаясь и в глазах, которые, против воли, заморгали, словно забегали. Заметил и это Алексей. Еще теснее, еще больнее стало у него в груди. А сам так ласково говорит:

— Вижу, нет мне друга милее, охраны вернее, ничем ты, боярин. Ин, добро. Тако и буде, как ты говоришь. Пока, слышь, в совет пойдем. Там, гляди, тревожиться учнут. Иноземны послы тамо. Негоже больно долго ждать их неволить... А послы совету... Как потрапезуешь... загляни, свет, сызнава ко мне... Пообсудим, как и што?.. По горячим следам искать надобно.

— Твоя правда, истинная, осударь... Твой слуга. Шествуй со Господом. В час добрый!

И, распахнув дверь, он придержал суконный занавес, пока царь перешагнул за порог в соседний покой, где уже ждало несколько человек из ближних царских слуг, чтобы провожать Алексея по длинным, извилистым дворцовым переходам в Грановитую палату, на большой совет боярский, на тайную аудиенцию иноземных послов.

Палата была довольно хорошо озарена и люстрами, вроде паникадил, свисающими со сводов, и многосвечниками, канделябрами самого разнообразного вида, медными, чеканными и резными, из рога, из кости, из дерева. Они стояли и по углам, и у тяжелых колонн, подпирающих грузные своды.

Вся царская Дума была уж налицо. Грузинский царевич, Николай Давидович, царевичи: Касимовский, Василий Арасланович и Сибирский, Петр Алексеевич с братом Алексеем, князья: Василий Ростовский-Приимков, Федор Ромодановский, Петр и Борис Львовы, Григорий Козловский, Урусов Петр, Хилковы, отец Васи-

лий с сыном Яковом, Григорий Сунчалеевич Черкасский, Шереметев Петр, Юрий Никитыч Хворостинский. Бояре: Андрей Бутурлин, Толстой Андрей, Иван Бутурлин, Акинфов, Смирной-Свиньин, Киреевский, дворяне стольники: Наумов, Алексей Шеин, Борис Бутурлин, два брата Нарбековы, Лопухин Леонтий. За ними — думные дворяне: братья Головины, Александр Севастьяныч Хитрово, Артамон Матвеев, с ними думные дьяки дежурные: Караулов Григорий, Дохтуров Герасим, Голосов Лукьян и дьяк Приказа Великого Государя тайных дел Федор Михайлов.

Старец, дьяк думский, Алмаз Иванов, знаток восточных многих наречий, занимавший место «печатника» (канцлера царского) еще при покойном Михаиле, тоже пришел. О восточных делах толк будет. И его советы понадобятся. Да и разузнать интересно старику, в каком положении дело со смотринами царскими. Ведь внучка Алмазова тоже попала в число девиц, допущенных ко вторичным смотрам. Где же, как не здесь, узнать, есть ли надежда для любимой внучки надеть царский блестящий венец и оплечья парчовые, златокованные?

Пока царь мимо бояр, почтительно склонивших головы, проходил на свое место и усаживался на невысокий трон, Хитрово, тоже проходивший степенно на свое место, задержался близь стола, за которым сидел Федор Михайлов, шепнул ему что-то и передал тот список подметного письма, который царь не взял у него из рук.

Другой список остался у Алексея. Царь сунул его в карман своего кафтана уже на ходу.

Приняв благословение от митрополита Новгородского Питирима, который с Чудовским архимандритом и еще несколькими представителями духовенства сидел особняком, как представитель церкви Христовой в совете царя, Алексей подал знак.

Дьяк поднялся и объявил:

— Соизволением Божиим и царским велением царевой Думе началу быти!

Один из посольских дьяков с приставами вышел, чтобы ввести послов, которых следовало принять царю.

Дохтуров поднялся и стал читать столбец со справкой по очередному делу: о новом торговом договоре с его величеством шахом персидским.

Пока по всей палате разносилось звучное, но монотонное, усыпляющее чтение дьяка, Алексей что-то шепнул «жилыцу», юноше-рынде Ромодановскому, который еще с другими пажамі стоял за троном царя, и князек, пробравшись между думных дворян, передал сказанное Матвееву.

Матвеев сейчас же поднялся и незаметно постарался пройти к трону, где и стал по правую руку.

Слегка обернув голову к своему любимцу, Алексей негромко сказал:

— Как Дума кончится, пройди к моим покоям. Пожди тамо. Дело есть немалое. Потолкуем.

Матвеев уже успел узнать о подметных письмах, найденных во дворце. Чувал, что удар не может миновать его, и очень тревожился.

Приглашение Алексея и порадовало, и встревожило его.

Склонив почтительно голову вместо ответа, Матвеев пошел на свое место, раздумывая:

«Что значит такое приглашение? Сделано оно явно. Милость это новая или предстоит суровый допрос со стороны самого государя, который очень любил сам творить суд и расправу, не только в своем домашнем дворцовом обиходе, но и в государственных и гражданских делах».

Как царю — мало дела предоставлено Алексею. Вот Дума заседает. Дела докладываются. Бояре свои голоса подают. Люди поопытней или посильнее, за которыми кучка присных помноголюдней числится, эти люди свои мнения высказывают. Кто каким отделом в управлении царством заведует, или спорит, или соглашается с высказанными мнениями. И решается все помимо царя, часто даже вопреки его личным желаниям или выводам. Что он может? Он знает лишь то, что ему скажут. Может лишь то сделать, в чем ему помогут другие, так называемые слуги его, а в сущности, они-то господа и над ним, и надо всей землею. Понимает это Алексей и ничего поделать не может. Тесным, железным кольцом сплелись боярство и знать московская, духовная и светская, вокруг трона, отрезали его, властелина по имени, от земли... Землю от него отгородили своими рядами... Где сил взять, чтобы порушить этот непроницаемый оплот?

Не чувствует в себе этих сил Алексей. И смиряется.

Терпит, как может, одного лишь желая: тихо бы все было... Не очень бы тревожили своей сварой боярской его душу окружающие все... Не очень бы земля стонала и плакала на неправду на явную, на разоренье непоносимое.

И, что может, старается сделать для этого царь Тишайший, Алексей Михайлович.

Хитрово заметил появление Матвеева за троном царя. Сначала нахмурился было, но сейчас же успокоился.

«Кабы што для нас дурное было, кабы таил што государь, не стал бы открыто Артемошку подзывать. По-тайно призвал бы ево в покои свои... Видно, на допрос придти ему сказывал. Любит наш царенька из себя Соломона являть... Туды же...»

И, таким непочтительным отзывом разрешив свою тревогу, Хитрово погрузился в собственные расчеты и мысли, почти не слушая, что творится в совете. Дела разбирались ему известные. И все почти решения наперед были ему тоже известны. Из всех думцев больше половины составляли его друзья, родичи или бояре, чем-нибудь связанные с родом Хитрово.

Значит, безо всякого предварительного уговора всегда так станут дело вести, чтобы ему, Богдану, со всеми присными на пользу вышло. Это только и надо боярину. До земли, до царства ему и нужды мало.

Стояло царство и будет стоять. Росло и будет расти. Конечно, не смердов ради, не ихним разумом, ничтожным и грубым, а на пользу сильным и многоумным боярским родам, а первой всего — роду Хитрово.

Теперь, когда Богдану казалось возможным избавиться от обеих нежелательных заместительниц покойной царицы, важный вопрос возник в уме боярина: кого дать в жены Алексею?

Не раз и не два оглядел он всех, сидящих в этой Палате, у кого есть в семье девушки-невесты.

Смотры еще не кончены. Прием не прекращен. Если не сыщется подходящей из тех, кого представляли царю, можно и новую добыть... Лучше бы, конечно, из незначительного рода, из своих доброжелателей, похлебников наметить кого-нибудь... Но это трудно выполнить. Другие сильные люди не поддержат приспешника, преданного одному роду Хитрово...

И пот даже прошиб заботливого боярина, который

торопился решить мудреную задачу, пока случай или чья-либо интрига еще более не усложнили ее.

А совет идет своим чередом. Обсуждаются дела, решаются, как будет выгоднее самим значительным боярам и духовенству. Царь, конечно, мог бы беспристрастно взвесить все доводы за или против известного решения. Но доводы ему представляются в ограниченном количестве и все такие, которые невольно наталкивают на известное, угодное сильным людям решение.

И властное царское:

— Быти по сему, — раздается оно торжественно, но звучит как-то условно. Даже словно насмешкой отдается оно в душе самого Алексея.

Он понимает, что не может сказать «не быти»... Не может дать своего одобрения тому, чего желает сам, а не пожелает эта, сейчас столь покорная на вид, но такая своекорыстно-упрямая и всесильная Дума боярская, весь круг служилых, ратных и приказных людей... Можно бы бороться, правда, и с этим зверем многоголовым. Но нужны великие силы, которых не чувствует в себе Алексей.

Часам к десяти кончился совет.

Царь ушел к себе. Сел за утреннюю трапезу. Бояре все разъехались. Поспешно против обыкновения поев и умыв руки после стола, Алексей не лег отдохнуть, как делал это обычно после совета и еды, а приказал позвать Матвеева, который дожидался в переднем покое.

Выждав, когда закрылась дверь покоя за постельничим, Алексеем Лихачевым, который впустил Матвеева, царь заговорил:

— Не посетуй, Артамон, што задержал тебя. Гляди, и голодно тебе, и знать не терпится, пошто призываю?.. Да дело-то больно великое... Знаешь...

— Почитай, што знаю, государь. Шепнули мне приятели. Слышь, грамоты подметные тебе, государь, подкинуты... Почитай, што в опочивальне самой в твоей царской...

— Вот, вот... Ишь, как оно все расплывается, ровно масло по воде!.. Ничего-то не укроешь, ничевошеньки. Ровно в ларце в стеклянном мы, цари, живем. Нам только и видать, что поближе, а нас всем издалека видно, и в день и в ночь... Ни одна дела потайно не сделаешь... Ну, слушай же скорее, покуль Богдан Хитрой не пришел. Не любит он тебя, хоть и боится, при-

язнь мою к тебе знаючи. Вот, читай. На тебя поклеп, под ваши стены подкоп. Только, слышь, не поверю я ничему! Читай, гляди, скорее. Да говори, што думаешь про цидулу. Откуль камень кинут? От ково обороняться? Руки кому вязать надо?

Протянув письмо Матвееву, царь умолк, давая время прочесть донос и разобраться в нем.

Как раньше за Хитрово, наблюдал сейчас Алексей и за читающим Матвеевым, только совсем с иными чувствами и не таясь, как прежде.

Просто хотелось видеть Алексею, какое действие произведет донос на Матвеева. Всегда находчивый, ровный, недоступный дурным побуждениям, останется ли он и тут так же невозмутим? Царю казалось, что донос должен повлиять на Матвеева очень сильно, и не ошибся.

Артамон Сергеич по несколько раз перечитывал иные места, видимо, вглядывался в каждое слово, как на поле битвы вглядывается человек, вглядывается в каждую стрелу, пущенную по его направлению врагами... Он то бледнел от негодования, то краснел от бесильного гнева, и жилы на лбу у него наливались кровью... Он стал оглядываться, словно не мог стоять, и искал, куда бы присесть.

— Садись, садись, Артамон, сидя дочитывай. Никто не войдет, никто нам не помешает. Я уж приказ дал. Это я могу приказать, — с какой-то горькой усмешкой промолвил Алексей.

Не отвечая ничего, Матвеев опустил на скамью и дочитал письмо. Наступило небольшое тяжелое молчание.

Первый прервал его Матвеев.

— Как же быть теперя, государь? — хриплым, упавшим, чужим каким-то голосом спросил Матвеев.

— М-да. Как нам быти теперя, Сергеич? — переспросил царь. — Видишь, скорпионы ополчились на нас... Обороняться надо. Да как?.. И от ково? Хитрой, вон, ладит: Беляевой дядя, Шихирев, слышь, со своими, слышь, на тебя идут. А моя дума, тут и позначнее кто в доле... Вот... Как по-твоему, а?..

— Да уж не без тово. Сам знаешь, государь, какие люди круг тебя. Много мы с тобой говаривали... Да я не про то... Оно, так скажем, поклепу на меня, будто я на здравие твое царское помышляю... Корни да травы

чародейные берегу да тебя окармливаю... Тому не то твоя царская милость, а и вороги мои веры не возмрут... А вот... тут иное еще... Про девицу нашу непорочную... Про Наташу... Ее чернят... Быдто... словно бы... — и, не желая говорить от себя, Матвеев с трудом, с видимым омерзением стал перечитывать некоторые строки из доноса:

— «Девица та ведовством да колдовством потщила-ся сердце и разум светлый царский затмити... Приворотила ево разными бесовскими волхвованиями... А сама — блудница бесовская и ведьма заклятая ведомая... Ото многих сведков уличена, што не толико на шабаш летала, но и с воинами иноземными, кои в дом хитреца Матвеева вхожи, разны игры нечистые играла, многим, яко невеста, в жены ся обещала. И выше всякой меры опозорена есть... Не токмо царицей московской, но и последнему водоносу женою быти непотребна...» Вот, государь... За слова, за поклепы такие... не в силах я убить, растерзать, растоптать хулителя. Не надеюсь найти злодея! А, слышь, не хочу и того, чтобы дале на девицу наносили вины позорные... Просил я тебя и сызнова прошу: отступись, государь... Поизволь и ей и мне со всем домом моим уехать куды, подале... В посылы ли пошли к чужим дворам... Али просто, отпусти в мои вотчины дальние. По душе тебе говорю: спокойнее, счастливее там век доживем, ничем и в палатах твоих царских не то поклепов, а горшего чево ожидаючи, што ни час, што ни минута... И отравой отравить могут бедную. И чем иным извести. Не колдовством. С нами — Бог. И не имем мы веры в пустые бредни. Да люди хуже дьяволов. Словом, губят, как чарой. Ядом-отравой сожигают, ровно злым колдовством. Отпусти нас, государь. Верни свое слово...

И бледный, потрясенный, со слезами на глазах, он отвесил земной поклон Алексею.

— Ну вот, ну вот... Да разве... Да могу ли? — сразу заражаясь волнением Матвеева, торопливо заговорил Алексей. — Николи... Да ни за што... Слушай, Артамон, не сказывал я тебе. И никому не сказывал. Мне теперь от Натальи отойти... Не ведаю, что и станет со мною. Слушай, Артамон... Ты садись. Ишь, еле на ногах стоишь... Слушай. Што было раз. Толковал я с Наташей. Про долю мою, про счастливую про царскую... Говорю ей: «Вот, гляди, кто не завидует мне? Надо

всею землей господин! А я — иному колоднику порою завидую. Он — сам по себе. Грех содеял. Кару отбыл — и сам по себе... А я — царь, владыко — раб-рабом у людей... Слышь, — говорю ей, — не может царь по воле своей жить. Царь — боярский быть должен, либо стрелецкий, либо земской. Сила ево — на чужую силу опирается, а своим — не бывает царь...». Говорю ей и спрашиваю: «Разумеешь ли слова мои, девица?». А она только и ответила: «Плохо разумею. Только жаль мне тебя стало. Так жаль, что вот из царей бы тебя взяла, увела куды... И силы такой бессильной тебе не надо тогда... И муки не узнаешь, служить никому не станешь. Сам по себе жить учнешь...». Только и сказала девушка. А за эти ее слова... Да ежели бы и правда все, што тут писано, и то думать не стал бы, не расстался бы с ней... Слышишь, Артамон...

— Слышу, государь, — как-то безнадежно, уныло ответил Матвеев.

— Ну, коли слышишь, так и не опасайся ничего. Не пытать тебя хочу. Надо нам подумать, как ее обещать... Чтобы до венца, по-старому, не отняли у меня девицы... И тебя бы не подвести под лихо... Вишь, слово ты кинул: не знаешь, на ково думать, хто враг? Много их. Ты их чуешь... Я их чую. А хоть бы и объявились на очи они, может, сил бы не то твоих — и моих, царских сил не станет со злодеями справиться... Сильны лиходеи. Умненько надо с ими. Вот я што удумал... Хитрой придет скоро. Все по ево потакать стану. Вызнаю, ково раньше убрать хотят. Думать надо, Шихирев с Овдотьей с Беляевой теперь на череду. На них намекал Хитрой. Они, мол, только и могли такой поклеп возвести... тебя, слышь, с Натальей штобы под гнев, под опалу мою подвести... Ладно. Жаль девки, а себя жальчей... Пушай ее уберут... Пушай дядю ее, Шихирева, в допрос возьмут. Запытать не дам, гляди, горюна... А ты тем часом челом мне добей. Ровно бы Наталью из невест домой просишь... Мол, занедужала девка. Я отпущу. Они увидят, што напужался ты, убрал Наташу. Оставят в покое ее и тебя... А ты пуще глазу Наталью мне береги... Она у тебя в дому — гляди, и сохраннее будет пока, ничем в моем терему в царском... Я все по-ихнему стану делать. Гляди, новых невест казать станут, своих, присных да кровных... Смотреть, хвалить стану... Пушай ждут... А как поуля-

жется все... Поуверуют они, что могут меня повернуть, куды хотят... Понадеются, мол — их взяла... Я, все по-вызнав... Ну, да сам будешь видеть, как будет. Слышь, Наталью мне береги... Ступай... Стой. Спросят, о чем тут мы речь вели, говори: под присягой-де царь тебя допытывал — правда али нет в письмах в подметных писана... И ты ту присягу великую дал мне на мощах на святых, на кресте и Святом Евангелии...

— Готов, государь, хоть сейчас, — протягивая руку к иконам, порывисто заговорил было Матвеев.

Но Алексей остановил его:

— Оставь. Буде. Не мучь хоть ты меня... Дай хоть с тобой человеком просто быть... Верить, коли верится... Любить без опаски... Не судьей, не рабом в бармах да с посохом господарским... Человеком хочу быть... Так верю тебе. Как человеку... Как другу моему некорыстному... Так хочу... Больно же, коли не можно того... Больно, пойми... А у меня и то душа изболелась... Наталью береги... Ежели дойдет к ней што, растолкуй девице... Она поймет. По правде скажи, как я вот тебе в сей час сказывал. Она поймет. Ступай.

И с внезапным порывом, вовсе не присущим этому немолодому, вечно сдержанному человеку, Алексей обнял Матвеева, поцеловал его в лоб и отпустил.

Царь угадал. Богдан Матвеевич Хитрово уже дожидался в соседнем покое, напрягая все внимание, весь свой слух, чтобы уловить хоть словечко из разговора царя с Артемошкой... Но толстые стены, плотные двери, тяжелые суконные завесы свято хранили тайну.

И, досадливо кусая губы, потирая руки, ждал боярин, когда явится Матвеев, чтобы спросить, и по ответам, по виду ненавистного человека уловить, догадаться, о чем шла речь за стеной, чем кончилось это свидание.

Увидя бледное, скорбное лицо недруга, со следами слез, такое озабоченное, такое печальное, Хитрово вздохнул свободно и с дружеским приветом двинулся навстречу Матвееву.

— Светик ты мой, Артемон Сергеич, приятель многолюбезный... Рад тебя видеть... особенно в сей час... Слышал, знаешь, какая напасть на тебя?.. Я уж и то толковал государю: вороги твои поклеп возвели... Он и сам так мыслит. Чай, сказывал тебе милостивец наш... Царь наш, батюшка. Он — у-у, как все знает... Цидулу-то видел?

И, пронизывая Матвеева глазами, ждет ответа на все свои вопросы боярин.

Матвеев все силы напруг, чтобы, согласно совету царя, не выдать врагу правды. Он даже не отстранился от объятий боярина и по возможности дружелюбно ответил:

— Показывал мне писемцо государь... Присягу с меня взял на мощах да на кресте и Святом Евангелии, правду бы я сказал: было то, что писано, али нет?.. Я присягнул. Просил сыск назначить... А уж там ево царская воля. Как он порассудит. И пускай бы сыскали: хто писемцо подкинул. Вот чево прошу...

— Вот, вот, вот... Вот, вот, вот... Сам я тоже толковал царю. А там, известно, ево царская воля. Он слуг своих верных на хулу не выдаст безвинно... Ну, Христос с тобой... Не печалься, брате. Вот, хрест тебе и слово мое боярское: сыщем поносителей... Не дадим в обиду тебя и девицу твою... Были людишки тут... брехали: твою, мол, Наталью избудут, с верху сведут, свою невесту царю обручат... Я с тем и государю доложить иду... Верное слово. Я уж и на примете имею кой-ково... Пощупаем. Иди с Господом... Не печалься... Дай поцелуемся... Знай: Богдан Хитрово — первый друг и заступник тебе в деле правом... Я — к царю. Ждет он меня...

И, облобызав Матвеева, Хитрово двинулся к покою, где был Алексей.

Терпеливо приняв поцелуй предателя, поклонился боярину Матвеев и быстро вышел в сени, торопясь скорей домой.

Двадцать второго апреля найдены были «воровские подметные письма». В тот же день пущен был в ход весь сыскной аппарат Тайного приказа, а двадцать третьего числа с соизволения Алексея Иван Шихирев попал в застенки после того, как был сделан обыск в жилище его и там нашли какие-то подозрительные травы и корни сушеные. Выплыло наружу все хвостовство, все разговоры неосторожного провинциала и с рейтаром Александром, и с докторами царскими, и с протопопом Благовещенским.

Но на допросе Шихирев упорно отрицал свое участие в составлении писем. Тогда его подвергли пытке. Правда, не самой тяжелой. Надо было только достигнуть удаления его с красавицей-племянницей. А для

этого было все почти готово. Все-таки бедняка подняли на дыбу, поджаривали пятки огнем, дали тридцать ударов батоном.

Сознался в своих хвастливых, облыжных речах Шихирев.

— Сознайся, на ково зелье в дому держал? Не против государя ли удумал што? Околдовати его, взял бы девицу твою за себя...

Так допытывались бояре.

Но бедняк и на пытке одно твердил:

— Травы мои не для ведовства толчены и схоронены. Дала мне их знахарка на Вологде. Уразные те травы. От ран помогают. А у меня раны застарелые. В бою их получил, за землю, за государя кровь проливая... В вине да в пиве их сам выпивал, хвори своей уразной ради.

Дали исследовать траву. Оказалась просто зверобоем сушеным. И отпустили Шихирева. Приказали ему поскорей с племянницей ко дворам вернуться, Москву лихом не поминать...

Уехали они, и скоро забыли их на Москве.

Своя тут волна за волной набегала, поднималась и падала.

В течение всего мая царь все новых и новых невест смотрел, которых свозили в престольный град.

Наталья Нарышкина вернулась из кремлевских теремов к Матвееву. По-прежнему навещает Алексей своего любимца. Даже здесь раза два девицы, отобранные царем, собирались. И царь незаметно, из соседнего покоя наблюдал, как держат себя девушки не в удручающей атмосфере царских теремов, а на свободе, в частном доме, где легче проявляются и светлые и темные стороны души, не стесняемые дворцовым этикетом, не запуганные вечным надзором и сыском теремов.

— Чудит наш царь... Ишь, жену выбирает — ровно камень многоценный ищет в песке... Роемся, возитесь, найти не может...

Так толковали бояре, очень недовольные затяжкой в этом деле.

Особенно злился Хитрово. Но сделать ничего нельзя было.

У бояр была возможность помешать Алексею жениться на ком-либо.

Но они не могли заставить его жениться на своей

избраннице. У них не было средств заставить его скорее сделать выбор...

Он чувствовал, что бояре, заинтересованные в женитьбе царя, из себя выходят, бесятся, но должны терпеть, молчать. И это доставляло огромное наслаждение Алексею.

Только время от времени он повторял Матвееву наедине:

— Гляди, Наташу мне поберегай, Артамон...

Чтобы довести комедию до конца, Хитрово и дьяк Тайного приказа Государева Федор Михайлов послали оба «воровских» письма во все Приказы, сложив их таким образом, что от одного письма видна была надпись, две строки всего: «Достойно есть поднести царю или ближнему из людей царских, не смотря...».

От другого письма видна была лишь подпись: «Артемошка».

Каждому предъявляли, спрашивали, не он ли писал? Не знает ли такого почерка? И все дьяки, все подьячие и писцы давали на бумаге показание.

Стали сличать почерки, но похожего совершенно не наши.

Тогда послан был приказ: всему служилому сословию Москвы явиться двадцать шестого апреля к Постельному крыльцу.

День выпал праздничный. Занятий в Приказах не было. Столько приказных собралось, что весь двор и площадь перед крыльцом запрудили. И молодые и старые. Длинной вереницей проходили в течение долгих часов все эти люди мимо стола, где лежали оба письма под присмотром бояр и дьяков из Тайного приказа.

Тысячи голов наклонялись над двумя кусками бумаги, вглядываясь в загадочные буквы. И, конечно, никто ничего не мог сказать, хотя перед осмотром и был прочитан строгий приказ государев, суливший великие милости лицу, которое откроет составителя писем, и грозивший пытками, всякими карами, если кто скроет что-либо, ему об этих доносах известное...

Много волокиты, досады и хлопот принял служилый московский люд от этих розысков. Отцы и родичи некоторых девиц, привезенных на смотры, которых тоже тягали на допрос, уже без стеснения ворчать стали.

— Лучше бы нам девиц своих в воду пересажать, ничем на смотры в верх¹ привозить, — так сказал сгоряча однодворец, некий Петр Кокорев.

Это донесли царю. Заплатил пеню Кокорев и с того же Постельного крыльца его «речи, слова непристойные» были объявлены, опорочены.

На все соглашался Алексей, что предлагал Хитрово и другие бояре. Ни с чем не спорил. Но сам ни звуком не давал знать, как он решит, как поступит.

И бояре стали уставать от этого гибкого, уклончивого, но тем более несокрушимого сопротивления, какого и не ждали встретить со стороны недалекого, всегда податливого боярской воле царя Алексея.

Минуло ровно девять месяцев после этих тревожных дней.

Пролетели Святки. Наступил Новый, 1671 год. Приближалась широкая Масленица. Никому в ум не пришло обратить внимание на какие-то особые приготовления и приборку, которая шла в тереме кремлевском, в самом царском дворце, и на женской половине, и в поварнях, и в белошвейной, в кадашевской и других мастерских.

Перебирались наряды блестящие царицыны... уборы ее. Освежали покои. Все как обычно перед Пасхой, только уж рано немного. Ну, да это не тревожит никого. Нечего делать женской половине во дворцах, бабы и суеются и возятся.

А двадцать второго января далеко до свету поднялся Алексей.

Праздник ныне. Гостей ждет государь. Большие столы назначены.

Последнее воскресенье перед Сырной Неделей. И к Масленице к широкой готовятся в Кремле. Поэтому так много всего пёчется и варится. Вина, меды разливаются из запечатанных бочек в сулеи да в кувшины и бочоночки поменьше.

В субботу караул в Кремле держали рейтары Крауфорда, испытанные, неподкупные телохранители царские.

На рассвете вступил в караул 3-й Петровский полк,

¹ В терем.

в зеленых кафтанах, что за Петровскими воротами стоит. А в том полку — Артамон Сергеевич Матвеев голова. Значит, тоже люди все надежные подобраны.

Но и рейтаров не пустили с караула домой.

— Оставайтесь, друзья, здесь, — сказал им Гордон, — царь угостить вас хочет нынче. А пока идите, отдыхайте, вам дадут помещение поудобнее.

И уложили их спать в людских службах, где вся челядь уже на ноги поднялась, очистила место.

Побывав в субботу днем у патриарха Иоасафа, долго толковал с ним Тишайший царь, открыл свое заветное желание и получил благословение на вторичный брак.

Нездоров был владыко... И года, и телесная слабость одолевали его. Стараясь по возможности держаться в стороне от той кипени, какою отличалась внутренняя жизнь царского дворца, святитель ничему не противился, ничему не помогал. Он был доволен, что нездоровье освобождает его от обязанности венчать Алексея. Предвидит опытный старец, что многие будут недовольны неожиданным для них выбором царским.

Но все-таки тепло, душевно поговорил он с Алексеем, преподал благословение и обещал вознести мольбы к Господу за благое окончание «доброго дела», причем осенил его образом Богоматери в золоченом, чеканном окладе.

Вечером в мыльню, согласно древним обычаям, сходил царь-жених и пораньше спать лег. А «ко первому часу дня», не глядя на воскресный день, приказал созвать царевичей, духовный чин и бояр к себе в покои, на совет¹.

Задолго, часа за два до солнечного восхода встал сам Алексей, прочел краткие молитвы и снова отправился к патриарху за формальным благословением.

Здесь уже ожидал его Иоасаф, окруженный несколькими митрополитами и высшим московским духовенством. Явился и духовник государя, Благовещенский протопоп Андрей.

Осенив Алексея знаменiem креста и образом Бого-

¹ По нашему счету это выходит в восемь часов утра, так как двадцать второго января в Москве, считая от астрономической полночи, солнце восходит и «начинается день» в семь часов пятьдесят пять минут утра. При Алексее это и был «первый час дня».

матери с Младенцем, еще больших размеров, в более дорогом окладе, чем вчера, Иоасаф благословил протопопа венчать царя вторым браком с невестой, избранной Алексеем.

Отсюда Алексей вернулся к себе. За ним, кроме Андрея, пошли и митрополиты: Питирим Новгородский и Великих Лук, Павел Саровский и Подонский, Филарет Нижегородский и Алатырский, Мисаил Белгородский и Обоянский, Варсонофий, архиепископ Смоленский и Дорогобужский, архимандриты: Чудовский, Новоспасский, Симоновский, Андроньевский и игумены других главнейших московских монастырей. Все с иконами, чтобы благословить на «доброе дело» царственного жениха. Явился и Кондрат, протопоп Успенского Собора, где предстояло венчать новобрачных.

На половине царя его давно уже ожидали все царевичи и бояре, конечно, с Богданом Хитрово во главе. Пришел сюда и Симеон Полоцкий по зову царя. Он не явился со всеми другими попами к патриарху и здесь держался в стороне от остальных духовных властей. Невзлюбили они «схизматика», новатора-белоруса, и только особое расположение и защита царя спасли его от неприятных последствий этой вражды.

Неспокойны бояре; тревожно перешептывались и переглядывались все время до прихода царя. Задолго до назначенного часа были все они в полном сборе, светать не начинало еще. Призыв на совет был получен неожиданно-негаданно. В самой Москве не случилось ничего особенного. По царству — тоже тихо было. Чужой враг не грозил неожиданным нападением. Гонцов особых не было накануне. И ломают себе голову седобородые бояре и попы: зачем зовут их? Слыхали, что был вчера государь у патриарха Иоасафа. Здесь, во дворце, уже дошли до них разные вести.

Кое-кто из приближенных к царю в точности знал, в чем дело. Но лишним словом боялись обмолвиться. Понимают, что иное слово могло бы дело испортить, а им — стоять всего благосостояния, если не жизни.

Собравшись в довольно обширном переднем покое, недалеко от опочивальни царя, куда прямо от патриарха прошел он со своим постельничим Голохвастовым, бояре негромко толковали между собою, строили разные предположения и пришли к одному выводу: дело касается ничего иного, как женитьбы царской.

Очевидно, на этом необычном совете их ждала еще большая неожиданность.

Бояре — Хитрово, Иван Милославский и Соковнин с Вельяминовым подозрительно, с явной неприязнью поглядывали на Матвеева, который тоже очутился между первыми боярами и духовными советниками царя, хотя ни годами, ни чином, ни знатностью рода не получил на это право.

Наконец вышел царь и после обычных приветствий среди глубокой тишины объявил торжественно:

— Ради устроения царства, земли всей, а, наипаче, дома моего государского, с благословения святителя нашего, отца-патриарха Иоасафа всея Руси, не мешкая долее понапрасну, поволили мы избрати себе в царицы единую из девиц-невест, нами собранных в град престольный Москву. Девица сия — Наталия Кириллова дочь Нарышкина. Коли выбору моему супротив не станете, царевичи, бояре и князья, вся Дума моя ближняя, и вы, отцы-святители, богомольцы наши, ей подадим по обычаю — платок, ширинку, яко царевне, и кольцо наше царское. Поимем ю в жены.

Вопрос был задан в такой форме и таким решительным тоном, что возражений, очевидно, не ожидалось.

И бояре, царевичи, духовные советники общим гулом согласия и одобрения ответили царю, отвешивая земные поклоны:

— Твое дело государево — твоя и воля... В час добрый!.. Што сказать? Сказать нечево... Божие благословение на тебя, царь, вкупе со избранной царицей твоей да почует!..

— Оно бы и было што сказать, — вдруг прорезал общий гул резкий голос шурина царского, двоюродного брата покойной царицы, Ивана Михайловича Милославского, — да, видать, наново жить починаем мы на Руси. Новы свычаи-обычаи и порядки завелися, не наши, московские, исконные, а на заморский лад.. Ин, исполати на новшестве тебе, царь-государь. Челом бью! По почину — и кончину желаю удачливую...

И явно вызывающим земным поклоном закончил свою речь боярин, очевидно, потерявший от гнева и неожиданности всякое самообладание.

Сдвинулись брови Алексея. Глаза загорелись огнем, который редко вспыхивал в этих всегда добрых, даже немного сонливых глазах.

Но сдержался царь. Сделал вид, что хорошо не слышал дерзкой речи, что не заметил, как друзья боярина оттерли его в глубину покоя, заслонили собой и стали что-то горячо толковать сумасброду.

— Артамон, ты слышал речь нашу, — обратился царь к Матвееву. — Сдай кому иному начальство над караулом, домой поспешай, упреди девицу, нами избранную, што следом за тобой и дружки наши пожалуют с нашим царским словом, с дарами и милостью. Готова бы была. Да подтверди наказ: ныне — ни из Кремля, ни в Кремль не выпускать никою без нашево особливого приказу, как тебе уж ведомо. Ступай.

Невольно переглянулись все при последних словах царя. Выходит, в почетном плену они очутились, а не попали на свадьбу, так неожиданно-негаданно объявленную.

И самые сдержанные, самые гордые, не гнувшиеся до этой минуты, теперь почуяли, как велика и как близка для них опасность. Лица их сразу озарились самой приветливой улыбкой и низким, чуть не раболепным поклоном проводили эти князья и бояре выходящего из горницы незначительного дворянина Артамона Матвеева, по слову царя ставшего чуть ли не первым среди них.

Алексей заметил эту внезапную перемену и вздохнул легко. Хотя ненадолго, но он чувствовал себя господином этой толпы, которая всеми силами, незаметно, но тяжко навалившись на его державную руку, вынуждает править царством совсем не так, как он бы сам хотел...

Обратившись к небольшой кучке бояр и князей, державшихся немного особняком, среди которой находились и все восточные царевицы, живущие на Москве, Алексей продолжал:

— Тебе, князь Яков с Федей Голохвастовым у меня с царевной-невестой дружками быть, по невесту ехать, ей наше слово царское сказать надлежит. Сани да колымаги готовы, чай, тамо. Ты, Матвейч, — обратился он к окольному Родиону Стрешневу, — постарше будешь, все порядки знаешь, гляди. Вот, и поезд свадебный тебе наряжать. Вот, с им, с Титовым. У ево и список заготовлен: кому из дворян из наших с вами ехать. А конюшим — боярину князь Григорию, а у сней — тебе, Митя, быть у невестиных. Да рейтаров та-

мо прихвати, сколько ни есть... И с Господом... Скорее в путь-дорогу собирайтесь. В час добрый.

— В час добрый, в святу пору! — подхватили многие усердные голоса.

Князь Яков Никитич Одоевский, Федор Голохвастов, окольный Родион Матвеич Стрешнев, думный дьяк Титов, князь Григорий Сунчалеевич Черкасский и Дмитрий Алексеевич Долгорукий, все, кого назвал царь, ударили ему челом и вышли, сопровождаемые общими напутствиями и благословением властей духовных.

— Тебе, боярин, князь Никита Иваныч, челом бью: не откажи в отцово место мне быти, сироте, при случае при таком, — с поясным поклоном обратился Алексей к князю Одоевскому, боярину-воеводе, красивому, видному старцу с белоснежной, окладистой бородой, придававшей ему сходство с Богом-Саваофом, как того рисуют на образах.

Все глаза обратились на князя.

Великую честь оказал ему Алексей — и по заслугам.

Еще юношей, шестнадцати лет от роду, князь принимал участие в ратях, которыми распоряжалась Семибоярщина, бороня землю русскую от нашествия иноземных врагов и собственных бунтующих казацких шаек.

С тех пор, в течение шестидесяти лет, усердно и безупречно служил князь земле и царям Московским, сперва «комнатной» службой, когда вернулся со Смоленского похода и занял место стольника при царе Михаиле. В сороковых годах заведывал успешно Астраханским и Казанским приказом, вел переговоры с Литвой, по воцарении Алексея служил в московской рати, исполнял и дипломатические поручения. Около года за свою прямоту и честность был оттеснен сворой жадных бояр, окружающих молодого Алексея. По словам современников-летописцев, «как алчные волки, грабили они народ и царство»... Честный, бескорыстный Одоевский торчал им бельмом на глазу. Но польская война приняла дурной оборот, и уже в 1652 году его вызвали для переговоров с Польшей. Туда же был он послан полномочным послом и в 1674—1675 годах закончил дело с большим успехом. Его ум и деловитость заставляли даже врагов относиться с уважением к князю. И

он, как бы между прочим, всегда вел дела какого-нибудь Приказа, где работа была особенно запущена... И в Большой казне, и в Иноземном, Аптекарском, Рейтарском приказах, в Золотой палате — везде перебивал князь, оставляя благотворные следы своей работы, чуждой всякого формализма или продажности.

Лучшее дело, свершенное еще в начале царствования Алексея, Уложение российских законов, составлено было именно тем же Одоевским вместе с князем Волконским и другими, самыми опытными законниками-дьяками и боярами московских Судных и иных Приказов.

И никто не удивился, не позавидовал великой чести, выпавшей на долю этого семидесятилетнего старца, сохранившего до сих пор и бодрость мужа, и чистоту души — почти отроческую, и редкую силу ума.

Пока Алексей говорил, князь неторопливо поднимался со своего места на скамье, где он сидел несколько в стороне ото всех.

Медленно склоняя свой еще могучий стан, старец коснулся пальцами земли, выпрямился так же степенно и поднял на Алексея свои глаза, все лицо, словно озаренное радостною, ласковой улыбкой.

— Благодарствую, батюшко-царь мой, столь же и на чести, сколь и на радости. Думалось мне все: посетил государя Господь, отнял царицу-матушку. Его святая воля. Да не след царю и царству сиротети. Детям малым государевым — и материн глаз надобен. Хозяйка в дому, что матка в улюю. Не мимо молвится. И привел Бог дождать радости. Поздоровь, Боже, на многи лета и тебя и царицу твою богоданную... Слыхал о девице: добрая, пригожая. И разумом взяла, и свычаем всяким добрым. Спаси тя, Господь, осударь, што подал мне и чести и радости на старости лет. Как служил деду, отцу твоему и тебе, батюшко, так и напередки послужи... Благодарствуй, живи на многи лета!

И снова отдал полупоклон царю.

Растроганный этой простой и искренней речью, Алексей подошел и трижды облобызался со стариком.

Эта сцена окончательно прояснила атмосферу в покое, сразу вызвала общее хорошее настроение даже у тех, кто считал себя лично обиженным поведением царя.

Алексей и прежде почувал, что пока все идет гладко

и хорошо, как он раньше задумал и наметил, а теперь окончательно воспрянул духом. Какая-то твердая уверенность, что все окончится благополучно, положительно окрыляла его, придавала живость и красоту каждому движению, ясность — каждой мысли, точность — каждому слову.

К царевичу Грузинскому Николаю Давидовичу он обратился с просьбой быть тысяцким на свадьбе, а царица Елена Леонтьевна будет посаженной матерью царя.

Царевич благодарил на чести и сейчас же распорядился вызвать жену в кремлевский дворец. Стольникам: князю И. Хилкову и Петру Волинскому выпала честь стоять при венчанье у свечи государевой.

Сидячими дружками были назначены у царя: Сибирский царевич Петр Алексеевич и Касимовский царевич Василий Арсланович; у невесты — Алексей Алексеевич Сибирский и окольный боярин князь Борис Иванович Троекуров.

Были посланы позыватые за боярынями, которые не жили в самом Кремле, но в качестве близких к царской семье должны были занять известные места во время брачного торжества.

Как только все распоряжения были сделаны, Алексей объявил боярам:

— До свадьбы еще немало часу осталось. Пойдемте, помолим Господа: дал бы Бог все по добру по хорошему кончати, как дело зачато... А после и чару меду прошу выкушать, пока до пиру, до веселого, до свадьбышного.

Все двинулись в небольшую «верховую», домашнюю церковь мученицы Евдокии, что в сенях, где и началось торжественное служение в храме, переполненном блестящими рядами первых вельмож и бояр московских.

В это же время в широко раскрытые ворота дома Артамона Матвеева въехал целый небольшой поезд: царская каптанка, сейчас пустая, несколько колымаг с дворовыми боярынями и прислужницами из царицына терема.

Кроме дружек царских, ехавших по бокам каптанки верхами, небольшой конный отряд скакал впереди и позади поезда. Трубаachi громко трубили, проезжая по пустым еще, полутемным улицам московским.

Обыватели, напуганные необычным грохотом, зво-

ном бубенцов и звуками труб, выглядывали из окон, покрытых снегом и льдом, полуодетые, выбегали за ворота, и долго темнели их фигуры, пока они, дрожа от озноба, кутаясь в охабни и шубы, накинутые кое-как, второпях, глядели во след небывалому поезду.

Матвеев всего на несколько минут опередил посланцев царя.

— Скорее буди Наталью Нарышкиных, всех буди... Челядь нашу, всех... Царь шлет за Натальей... — успел он только сказать жене, войдя нераздетым в опочивальню. И сейчас же вышел, чтобы отдать необходимые распоряжения ключнику, которого приказал поднять и призвать к себе.

Весь народ в доме, еще мирно спавший за минуту тому назад, словно от удара электрического тока вскочил, поднялся на ноги, заметался, зашумел, как рой потревоженных пчел.

Конечно, не совсем неожиданно для Матвеева было то, что совершалось сейчас. Многое было уже приготовлено. Но все-таки приходилось действовать осторожно. За жилищем Артамона, конечно, было установлено наблюдение со стороны врагов; и среди матвеевской челяди были передатчики. Так что,жданная давно, но глубоко таимая радость все-таки принесла с собой долю испуга и много суеты.

Зазвучали трубы в переулке. Вышел на крыльцо Матвеев встречать государевых послов, принял их с поклонами, ввел в самый обширный покой, усадил и, ударив челом, задал обычный вопрос:

— С чем Бог прислал к нам гостей дорогих? Не взыщите: час больно ранний. Хозяйка моя не в уборе. Сейчас сойдет, почетных гостей дорогих встречать по старине.

— Обождем малость, хозяин милостивый. Не от себя мы, от его царского величества посланы. В твоём ли дому пребывает девица Наталия Кириллова дочь, Нарышкиных роду? Имеем к ей слово царское.

— В моем убогом дому девица честная пребывает с родимой матерью и с родителем своим и с братьями двоима. Чрез малый час явит очи свои, слову царскому внемлет со страхом и прилежанием. Да вот и идут они...

Распахнулась дверь, ведущая во внутренние покои, и появилась Евдокия Матвеева. За ней две девушки несли хлеб-соль на подносе и фляги с вином, кубки, бо-

калы. Затем вошли старики Нарышкины: Кирилло Полуэтович и Анна Леонтьевна. Нарышкина, вся красная, запыхавшись, еле дыша от волнения и спешки, с какой надо было поднять и обрядить дочь, на ходу то оправляла свою пышную кикю, то одергивала платье или украшения на дочери, трогала фату, приглаживала пышные складки рукавов.

Наталя, бледная, как смерть, тихо двигалась между отцом и матерью, напоминая собою лунатика. Сказочное что-то совершалось с нею. И хотя девушки в мечтах только и грезят, что о несбыточном, о сказках, которые должны сбыться наяву, однако их всегда ошеломляет, если чем-нибудь, даже самым незначительно-реальным счастьем, нарушается мир девичьих грез и мечтаний. Иван и Афанасий, братья Натали, сестра ее Авдотья и дядя Федор тут же. Встали послы царские. Выступил вперед боярин князь Петр Иванович Прозоровский.

— Честная девица, Наталия дочь Кириллова, Нарышкиных роду, и с отцом и с матушкой твоею, и дому владыка господин Артамон Сергеев сын Матвеев и все, здесь сущие: слушайте слово государево!

Как ветром склонило всех, стоящих перед послами царскими. Все опустились на колени. Челядь и ближние, те, кто не вошел в покой, а теснился за дверьми, тоже встали на колени. Иные даже ниц простерлись, как велит старый обычай московский.

— Великий государь, царь всея Руси, великий князь Московский и иных земель Алексей Михайлович, тако сказывает: волею Божеской и нашим царским произволением волим тя, девица Наталия, в жены нам пояти и царицей, государыней, великою княгиней Московской и всея Руси нареши. Аминь.

Стоя на коленях, в землю ударила челом Наталя. Лежит и подняться не может.

Но мать и отец догадались, что творится с дочерью, поднимают ее и шепчут:

— Не молчи, скажи што-либонь. На чести — благодарствуй, на великой, неизреченной милости...

— Благо... благодарствую... на вели... кой ми... — начала было девушка, но докончить не может. Пересохла губы. Сухо в горле так, что перехватило его, словно кольцом сжало, звука не выдавить, как ни старайся...

— На чести великой челом бьет дочь наша, Наталья, — не давая заметить бессилия девушки, заговорила сразу отец и мать Нарышкины.

И вся семья, отдавая земные поклоны, повторила:

— На чести на великой челом бьем царю и государю нашему... В добрый час да в пору. Аминь.

Затем все поднялись. Силой почти пришлось поднять и держать Наталью, которая сама едва стояла на ногах. Ей тоже челом доби́ли и родители, и послы государевы, и все, кто здесь был, поздравляя с царской милостью, с новым высоким саном.

Прозоровский дал знак, боярыни придворные, девушки и слуги дворцовые появились с тяжелыми коробами, свертками и узлами.

— Поизволишь, царевна, в сей час и в уборы царские убраться, наряд царский возложить на ся. И, не медля ни часу, со всеми ближними отбыть поизволишь в царский терем, к суженому твоему велемочному, к ево царскому величеству, для чину брачного.

— В сей миг, часу не губя, нарядим доченьку, государыню-матушку, царицушку нашу, — снова вместо дочери отозвалась Нарышкина. — Оно и лучше, што на дому обрядити невесту мочно. А то, слыхали мы, как в теремах высоких невест порою обряжают... Косыньку, слышь, первой невесте государя, Марье Рафовой, так перетянули, что и без памяти девка перед царем так и грохнулась. Не-ет... Уж я сама... сама снаряжу и принаряжу мою доченьку-раскрасавицу, государыню-царицушку... Уж сама. В сей миг... Обождать прошу вас на малый часок, на едину годиночку, люди добрые, послы государевы. В сей миг... в едину годиночку...

И, причитая, ликуя, глотая в то же время слезы, которые так и катились из глаз, мать с женщинами повела Наталью в ее покой, в светлицу наверху.

Там раскрыли короба, отперли большие и малые ларцы, развязали узлы, разложили вороха дорогих нарядов царских, груды драгоценных ожерелий и притирания и мази. И торопливо, но все же очень мешкотно стали обряжать царскую невесту.

Некогда было петь обычных песен, творить заветные обряды. Но все-таки одевание совершалось благоговейно, словно священный обряд какой-нибудь.

Немного больше часу прошло, когда посланная с вещами из дворца опытная боярыня, не раз одевавшая

для торжественных выходов и покойную царицу Марью Ильинишну, оглядела Наталью со всех сторон, дала ей поглядеть на себя в несколько зеркал, которые держали с боков девушки, и объявила:

— Кажись, готово. Встать на ножки не поизволишь ли, государыня-царевна великая?

Пока обряжали Наталью, пока сестра, словно шальная, вертелась здесь, то пела, то плясала одна, пока старуха-нянька заливалась слезами, радуясь счастьем питомицы, а мать, вся пунцовая от хлопот и восторга, во все мешалась и скорей замедляла работу, чем помогала ей, Наталья в это время почти овладела собой.

Живая и впечатлительная, она в то же время была очень рассудительна по природе. Факт необычайного счастья стал так ярко, хотя и внезапно, перед нею, что она уж отогнала от себя первое ощущение, чувство страха перед чем-то великим и неведомым и стала думать о том, что, как ей было известно, предстоит впереди всякой девушке, выходящей замуж, из-под крова родительского вступающей под кров мужа.

Из рассказов Матвеева и самого царя Наталья довольно хорошо ознакомилась не только с порядком и строем внешней жизни в кремлевских теремах, но и с внутренним укладом дворцовой жизни, со многими взаимоотношениями, которые глубоко сокрыты от глаз целого мира.

Как повести себя на первых порах? Что открыто принять? С чем можно и должно начать бороться? — вот какие мысли сразу забродили в голове девушки в тот самый момент, когда на эту головку начали возлагать и осторожно прилаживать тяжелую «коруну», царский венец с городками.

Солнце как раз показалось на горизонте, быстро стало подниматься, кидая первые косые розовые еще лучи в оконце светелки. И блеск, которым загорелся венец, густо усыпанный дорогими большими самоцветами, заставлял жмурить глаза...

В зеркало залюбовалась на себя Наталья. Но сейчас же почувствовала, как тяжело налегла на голову царская диадема.

— Матушка, тяжко мне... Не стерплю я, — негромко шепнула она матери.

— Ништо, потерпи малость. Книзу бы так выйти. В колымагу сядем — снимем. А тамо — сызнава наде-

нем венец твой царский... Привыкнешь... Надо привыкать к счастью к своему великому, доченька...

Сказала Нарышкина и не поняла, что горькую правду поведала дочери: привыкать теперь надо новоизбранной царице к «тяжкому бремени», к венцу и к счастью быть царицей московскою...

— Ну вставай, вставай же, доченька, — снова заговорила мать, слегка поддерживая под локоть дочь-царицу.

Наталья было сделала движение встать, и сейчас же снова опустилась на место.

— Ой, немоготу... Тягота на мне больно великая... Плечи давит... Ноги вяжет... К земле так и клонит, ровно веригами гнетет, матушка родимая... Не можно ли полегче чего надеть?

— Али ты спятила, государыня-царица, моя доченька?.. И молчи... Нишкни... Што за речи пустяшные... Одеди, значитца, так надоть... Царь прислал, а она, на — поди, полегше нет ли?.. Ну, на меня обоприся... Не молода, а выдержу... Вон, боярыня подсобит. А там, внизу отец поддержит... До колымаги бы только. Сядешь и доедешь, не учуешь, как до царских теремов докатишь... Шутка ли... И не досадуй ты... не зли ты меня, слышь, Наталья... Ну, милая... Царицушка — моя дочушка... Шагай... шагай... порожек тута... Вот... ступенечка... так... Вот уж... В сей час... вот...

И так, ворча и ласково оберегая, довела мать Наталью до низу, где отец и брат, почти на руках подняв, внесли, поддерживая под локти, нареченную царевну в покой, к послам Алексея. Затем отец с матерью благословили дочь семейным старинным образом Владычицы Одигитрии в золотой ризе.

Еще раз отдав поклоны, все двинулись вперед.

Повели и Наталью, усадили в каптанку царскую. Младший брат, разодетый в шелковой рубашечке, в новом кафтанчике, держал икону, которою благословили Наталью. Мать, сестра, Евдокия Матвеева и отец сели тоже с нею вместе. Остальные разместились в других колымагах и тем же порядком, что и прежде, весь поезд двинулся во дворец.

На царицыной половине, в Золотой палате все приготовлено для принятия царской невесты.

Палата названа Золотой потому, что весь ее сводчатый потолок покрыт блестящей позолотой, по которой

расписаны деревья, зелень, цветы, виноград, райские птицы и невиданные плоды и травы. Все это поражает яркостью и гармонией тонов и красок. Посредине со свода глядит лев, из пасти которого вниз опускается кольцами свитая змея чеканной работы. К кольцам змеи прикреплены и свисают художественно отделанные подсвечники, образуя богатую люстру.

Стены мастерски расписаны изображениями ангелов, херувимов, святых и великомучеников, святителей церкви.

Посредине, над самым тронном, над «местом» царицы, в богатой золотой ризе, сверкая крупными драгоценными камнями, — Богоматерь с Младенцем, Царица Небесная, как бы готова осенить своим благословением властительницу земную, которая займет трон, стоящий внизу. Лики святых угодников в золотых венцах, тоже осыпанных жемчугами, яхонтами и сапфирами, обрамляют главный образ. Лампады, теплясь день и ночь, играют своими желтоватыми, красноватыми огоньками на грани самоцветов, на золотом сиянии оклада.

Пол сплошь застлан мягкими персидскими коврами, заглушающими шаги.

Шелком и золотом вышиты на этих коврах охотники, звери, цветы, радуя взоры переливами и гармонией теней и красок.

Сюда ввели и посадили на трон Наталью. Боярыни в парчовых одеяниях, тоже усыпанные драгоценностями, разместились по бокам трона. На каждой, по обычаю, дорогая шубка червчатого сукна огнем горит изпод золотистого шелкового летника.

Только здесь, в этой Палате, на полном свету среди блеска и роскоши царского жилища и сама Наталья, и все окружающие могли разглядеть и понять, какое несметное богатство надела на себя девушка вместе с ее нарядом, где тоже сочетались царский багрянец с желтыми, золотистыми тонами тканей.

«Венец с городы» — царская диадема, с двенадцатью зубцами, вся искусно составленная из крупных карбункулов, алмазов, жемчужин и топазов, — кругом была опоясана огромными сапфирами и аметистами чистейшей воды. От этой диадемы на висках ниспадали длинные, тройные цепи, «рясы», составленные из бриллиантов, яхонтов и таких больших круглых изумрудов,

которым невозможно было даже определить цены. Сарафан царевны с рукавами, доходящими до самых пальцев, из толстой шелковой материи, отливающей оттенками перламутра и снега, унизан дорогими рубинами, изумрудами, сапфирами, узорами из крупного жемчуга. Вместо пуговиц тоже дорогие камни редкой красоты и величины идут двойным рядом от горла до самого пола. Подол заткан жемчугами и камнями. Заменяющий царскую мантию летник из золотистой шелковой материи, весь гладкий, простой на вид, ослепляет глаза только каймой своей из алмазов и сапфиров, нашитых густо по краям. Царская цепь вся из крупных, почти негнанных изумрудов, из сверкающих всеми огнями бриллиантов. На башмаках, на оплечьях Натальи ряды драгоценных самоцветов. Браслеты дорогие, кольца, серьги с крупными бриллиантами... Целое царство можно купить и создать на деньги, вырученные за эти сокровища...

А Наталья даже мало удовольствия испытывает при мысли, что все это в ее распоряжении, в ее власти. Только душно и тяжело ей. Скорей бы пришел царь. Скорей бы кончились все обряды... Снять царское великолепие... Быть царицей, но без всяких вериг несметной цены и сказочного блеска... Вот чего хочет новая царица, едва ступившая ногой на ступени московского трона...

И только мысль, что так будет, надежда, что все скоро кончится, помогает девушке нести бремя, надетое на нее царскими боярынями вместе с ее же родной матерью.

Шум и говор послышался за дверьми.

Сенной истопник распахнул дверь, придержал завесу, вошла боярыня Лопухина, поклонилась Наталье и доложила:

— Великие государыни царевны, дочери нареченные твоего царского величества жаловать изволят, здоровати твою милость хотят, челом добить. А за ними — тетки царевы, царевны-государыни, великие княгини: Ирина да Анна да Татиана Михайловны. А тамо — и сам великий осударь изволит жаловати.

Наталья оглянулась на грузинскую царевну Елену Леонтьевну.

Последняя, как старейшая, избранная в посаженные матери Алексеем, сидела на особом месте против трона,

приготовленного для царя. Против трона Натальи стояло второе такое же место, пустующее пока. Оно было приготовлено для главной свахи царицы-новобрачной, для боярыни Феодосьи Прокопьевны Морозовой, вдовы боярина, бывшего правителя и воспитателя Алексея. Елена Леонтьевна, за отсутствием последней, руководила порядком приема, подсказывая Наталье, что ей говорить и делать, а больше сама говорила от имени ее.

И сейчас добрая женщина негромко сказала Наталье:

— Ты сиди, государыня. Я за тебя ответ держать стану. — И, обернувшись к Лопухиной, объявила: — Великая государыня-царевна Наталия Кирилловна жалует милостью, очи свои дочерям нареченным видеть изволяет, любовь их и поклон прияти ждет.

Вошли все царевны. Евдокия двадцатилетняя, полная, невысокого роста, лицом похожая на отца, за ней погодки: Марфа, София, Екатерина, Мария и Федосия, самая младшая, десяти лет, довольно миловидная девочка.

Тяжелые, парчовые сарафаны, телогреи и опашни делали неуклюжими этих девушек, а смущение и невольная неприязнь к новой женщине, которая явилась так внезапно, чтобы занять место их покойной матери, еще больше вязали движения, пробивались в звуках юных девичьих голосов, приносящих поздравление такой молодой и красивой мачехе...

Сестры царя много теплее и искреннее приветствовали Наталью, и она тоже очень живо, даже не по ритуалу ответила им и потянулась поцеловать всех трех.

Сейчас же вошел молодой стольник и громко доложил:

— Ево царское величество, осударь великий князь жаловать изволит.

С помощью двух сильных боярынь Наталья сошла с трона и двинулась к дверям, чтобы встретить царственного жениха с низким земным поклоном.

Окруженный толпой бояр, появился Алексей в богатом жениховском наряде.

Нижняя ферезея из белого тонкого сукна, на соболях, опушена была алым бархатом, богато расшитым и изукрашенным узорами золотых плетений, жемчугами и запанами, застежками чеканного золота. Подбитая собольими «пупками» с пухом, атласная ферезь ярко-

желтого цвета, расшитая серебряными травами и шелковыми листьями разных цветов, тоже разукрашена была золотыми кистями, выпушками и плетеными завязками. Белый атласный, совершенно гладкий зипун красиво дополнял наряд. Алого бархата шапка, опущенная бобрами, горела двумя многоценными запанами вроде кокард, усыпанных крупными изумрудами, рубинами и топазами. На плечах темнело мехом и горело богатыми застежками царское ожерелье. На ногах были «ичетыги», род кожаных чулок, и остроконечные башмаки из желтого, мягкого сафьяна на алой подкладке. Царь опирался на свой парадный индийский драгоценный посох из кости, весь усыпанный камнями, украшенный золотом.

Войдя в Палату, Алексей, вопреки обычаю и с не свойственной даже ему от природы живостью, поспешил к Наталье.

Он знал по опыту всю тяготу царских риз и венца. Все утро одно опасение тревожило его: как бы Наталья не сомлела от тяжелого убора. И хотел скорее кончить все необходимые церемонии, дать облегчение любимой девушке.

Правда, можно было бы одеть не так богато невесту, но тогда бы новые нарекания пошли кругом: взял-де царь в жены убогую девицу, незначную, неродовитую, а и на свадьбе-то убого обрядил.

Охраняя самолюбие Натальи как царицы московской, и повелел он обрядить невесту в самые дорогие уборы, так что она казалась каким-то нездешним божеством, сплошь закованным в золото и дорогие камни... И сейчас, когда Наталья, после поклона подняла на него глаза, он сквозь маску притираний заметил, что лицо ее смертельно бледно от волнений и усталости. Но глаза горели такой силой и полны такой радости, что царь успокоился совершенно. Сев на свой трон, он взял с подноса ширинку и кольцо, приготовленные тут же, на столике, и подал все Наталье, которая, склонив голову, стояла у подножья обоих тронов. Царевна Грузинская поднялась и стала у своего места.

Тысяцкий, царевич Грузинский, выступя на шаг, сказал:

— Царевна Наталия Кирилловна, жалует тебе его величество, государь, великий князь и царь всея Руси кольцом и ширинкой, яко тебя волит пояти в же-

ны и нареши великою княгиней, государыней-царицей Московской и всея Руси.

Поддерживаемая двумя провожатыми, Наталья отдала поясной поклон жениху, касаясь земли пальцами своих похолодевших, трепещущих рук. Даже под собоным оплечьем, под броней парчовых одежд можно было видеть, как порывисто вздымается и опадает высокая сильная грудь Натальи...

Царь протянул руку, как бы желая помочь ей подняться после поклона и взойти на ступени, чтобы сесть на трон, поставленный немного пониже его сиденья.

В знак покорности невеста прикоснулась губами к руке царя и опустилась на подушки своего трона.

Тут только Алексей заметил, что место, приготовленное для главной свахи невесты, для Морозовой, пусто. Пока он скользил глазами по толпе бояр, пришедшей за ним, как бы отыскивая кого-то, обряд шел своим чередом.

Вот уж посаженная мать царя объявила его полный царский титул, огласила великую весть, что царь Московский берет себе в жены девицу, царевну Наталью, по отцу Кириллову, роду Нарышкиных.

Время и Морозовой как главной свахе невесты объявить то же от имени Натальи.

Алексей в это время подозвал к себе князя Петра Урусова, стоящего за толпой бояр, видимо, чем-то подавленного, и спросил:

— А где же боярыня, вдова честная Федосья Прокопьевна? Был ты у ней с зовом нашим? Ведает ли, какая честь ей выпала? Отчево нету Федосьи? Али задержало што? Надо бы в пору упредить нас. Ишь, называть царевну пора, а ее нет. Не отложить же добра дела теперя. Где она?.. Што молчишь? Видал ли свояченицу? Объявил ли?.. Ну!..

— Видал... говорил, государь... Вот, лих, недавнушко и вошел сюды, в палату. Ответ тебе, государю, сказывать собрался... Ждал, когда спросишь... Слышь, говорит боярыня: «На чести-де челом бью... Благодарствую... А быти не могу. Годы мои не молодии. Да и ногами зело прискорбна: а ни стояти, ни ходити не могу». Так сказывала боярыня, государь!..

Наталья слышала, что говорит Урусов, и все поняла. Очевидно, гордая боярыня, одна из знатнейших при

дворе, защитница старых, истовых обычаев, не хочет принимать участия в царской свадьбе, так наскоро, словно увозом, состряпанной, не желает своим участием придать блеску на торжестве новой, неродовитой избранницы царской...

И против воли затуманилось сияющее до сих пор лицо Натальи. Две крупных слезы выступили и застыли на больших, прекрасных глазах.

Заметил это Алексей. И так он был недоволен досадной заминкой в общем ходе дела. Хотя почти безо всяких лишних обрядностей правится вторая свадьба царя, но есть обычаи столь же укоренившиеся, такие же многозначительные почти, как и церковные обряды. Посаженная мать должна быть на своем месте и делать, что полагается... Укол самолюбию Натальи отдался еще сильнее в душе царя.

Он, уже не сдержавшись нисколько, громко и гневно отчеканил:

— Знаю, загордилась она... Ишь, немочна!.. Годы... сорок годов бабе... Ну, да ладно... Честь ей, не нам. Ей и порука чести... Ладно...

Порывисто, сердито отвернулся он от Урусова, словно и тот был виноват вместе с его свояченицей, и стал оглядывать остальных боярынь, окружающих невесту, чтобы выбрать самую достойную. Княгини: Одоевская, Троекурова, Хилкова и жена Голохвастова сидели у трона как почетные свахи.

Боярыня Анна Хитрово, занимавшая одно из первых мест, тоже сделала, словно против воли, движение навстречу взгляду царя. Ей казалось, что по годам и заслугам, по родовитости и близости к трону ей скорее всех надо занять почетное место.

Но Алексей бессознательно чуял, как не похожа душа старухи на ее набожную, елейную внешность; он скользнул торопливым взглядом мимо и, обратясь ко второй свахе, княгине Одоевской, сидя отдал ей поклон головой и сказал:

— Княгиня Анна Михайловна, тебе челом бьем: стань, займи первое место при нареченной царевне нашей Наталии. Нареки царевну.

С низким поклоном приняла милость княгиня, поспешила на место и нарекла Наталью. Затем посаженный отец и сват древними образами в дорогих ризах благословили жениха и невесту.

Начались поздравления. Пили первую чару во здравие обрученных.

Все семья Нарышкиных по знаку Алексея выступила вперед и он объявил им:

— Поизволил я взять себе для сочетанья законного браку царевну нареченную, Кириллову дочь Наталью, вашего роду, Нарышкиных. То помятуючи, вы бы мне и царице вашей верно по правде служили, души и жизни своей не жалеючи. Для тово и быти вам близко при наших царских особах. А как? Про то я указ укажу по разрядам.

Упали в землю все: отец с матерью, братья, дяди и сестры Натальи. К руке потом их допустили царь и его невеста. Она и обнималась с каждым поочередно, не сходя с трона.

— Ну, кажись, кончено все, што нелень было не сделать. Теперя и во храм Божий пора, попы ждут, — видимо, успокоясь и снова повеселев, объявил царь.

И первый встал, вышел из Палаты.

Хотя и наскоро, без обычного торжества и пышных приготовлений справляет свою вторую свадьбу Московский царь, но в Успенском соборе яблоку негде упасть от толпы вельмож, бояр, боярынь и всякого звания «верховых», придворных людей, обязанных или имеющих возможность быть на этом торжестве.

Даже на паперти, несмотря на трескучий мороз, теснятся те, кто не поспел занять местечко внутри храма. Царское место богато разубрано коврами, мехами. Лучшие две «стайки», два хора царя и патриарха состязаются, стараясь превзойти одна другую искусством, силою голосов и красотой напевов.

После торжественной литургии совершено было венчанье.

Кончился церковный обряд.

Вернулись во дворец. Червонцами и хмелем из решета, по обычаю, осыпали новобрачных.

Все за столы уселись. Царица Наталья только переодеться успела. Вместо венца — богато расшитая царская кика, украшенная драгоценными камнями, у нее на голове. И не так уж давит ей голову, как сияющий венец. Ризы тоже другие одеты, и оплечья, и мантия. Все сверкает и горит самоцветами. Но уже не приходится царице сгибаться под трехпудовую тяжестью царских сокровищ, равных по тяжести своей тем цепям и вери-

гам железным, какие носят порой угодники и старцы святой жизни.

За особым столом в большой Столовой палате сидят новобрачные. Родня царя и царицы, первые вельможи, царевичи, князья и бояре тут же, за другими столами «без чинов» расселись.

У входа, за двумя поставцами, оба дворецкие сидят, царя и царицы: Богдан Хитрово и князь Борис Голицын. Они принимают блюда от «путных клюшников», получающих блюда с поварни. Отведав, посылает Хитрово блюдо на стол царю, а Голицын — царице. Тут же, по назначению царя, и Матвеев принимает участие, тоже отведывает кушанья и напитки, какие подаются на царский стол.

Стольники, молодые юноши и постарше: князья и бояре — у царского стола, разносят блюда с поставца, куда следует, передают царским крайчим; разливают напитки, наполняют и подают кубки и чарки.

В других покоях, даже в сенях, тоже столы поставлены для всей свиты царской, для всех обитателей кремлевских дворцов. Убогие, юродивые и нищие старцы, которые имеют приют «вверху», особо кормятся.

Не забыл царь и остальных бедняков своего престольного града.

На Воздвиженке, в новом здании на Аптекарском дворе устроены тоже столы для царских певчих «стоек» (хоров), для приказных победнее и для всех московских нищих. По триста и более человек на каждую смену там садится за простые деревянные столы по праздновать ради свадьбы царя.

Нисшая челядь дворцовая, стрельцы караульные, рейтары и драбанты — все пируют, где кому место указано.

Целый ад огня и чаду в пекарнях и поварнях кремлевских. День и ночь, не покладая рук, там пекут, варят, жарят. Двери подвалов то и знай скрипят на тяжелых петлях, и оттуда не только выносятся сулеи с медами и винами, а целыми бочонками и бочками выкатываются различные напитки и настойки.

Едва темнеть стало, тысяцкие вместе с дружками проводили на покой новобрачных в особую опочивальню, «сенник», где было устроено ложе из сорока необмолоченных снопов, искусно уложенных и покрытых шкурами, дорогими мехами и тканями покровами.

Московское царство — царство земледельческое больше всего. И это выражается в устройстве парадного брачного покая.

Верхом на конях дружки царя и царицы охраняют сон новобрачных, объезжая вокруг уединенной небольшой избы, где устроена опочивальня.

А пир во дворце тянется непрерывно, до зари... И на другой, и на третий день шел пир горой. Счастлив и доволен Алексей, что первый раз в жизни ему в таком важном деле, как своя женитьба, удалось все сделать, как он хотел. И, щедро одаряя своих друзей и родню молодой новобрачной, он даже не забыл заведомых ослушников, противников его царской воли.

Хитрово со всеми ближними и Милославские были одарены в эти радостные дни.

Только Ивану Михайловичу Милославскому пришлось удалиться в почетную ссылку. В Астрахань воеводой назначил его царь и указал, не мешкая, часу не пропуская, ехать на воеводство...

Все три дня были закрыты кремлевские ворота. Ни сюда, ни отсюда никого не пропускали без особого приказа царя. И все время заведовал караулами Артамон Сергеевич Матвеев, которого вместе с Кириллом Нарышкиным царь пожаловал и вотчинами, и деньгами, и чином дворянина думного и «комнатного», то есть приближенного к себе постоянно. Тут же Матвееву был передан в обережение Посольский приказ вместо старика Нардын-Нащокина, которому давно пора было уйти на покой.

Еще с одной ослушницей решил свести счеты царь: с надменной и упорной боярыней Федосьей Морозовой. Но отложил это на после.

РОЖДЕНИЕ ПЕТРА

(Год 1672-й)

Незаметно проносятся дни, если нет ни печалей особых, ни радостей в жизни человека.

Вот уж и середина августа 1671 года. Больше полу-года прошло со дня женитьбы царя.

Спокоен, доволен он, радостен. Особых забот ни в семье, ни по царству нет никаких. Но если начать при-поминать, — никак не вспомнишь: что позавчера было, что — неделю тому назад? Должно быть, то же, что и сегодня, что и завтра будет... Сон, трапеза, молитва, советы с боярами, доклады по делам царства, отдых на половине у царицы, ее умные, живые, ласковые речи, милые, шаловливые выходки порою, которыми, как лучом, скрашивается серая, скучная жизнь теремов...

И затихает на покое душа, а в то же время что-то словно плачет в ней, жалуется, просит дела, борьбы, трудной работы...

Правда, начал Алексей тягаться с одним «супоста-том», да — женщина это, боярыня Феодосия Морозо-ва.

Помня ее обиду в день свадьбы, поджигаемый раз-ными дворцовыми переносчиками и переносчицами, царь решил обуздать боярыню, которая не только явно осуждает всякие новшества, самые разумные, самые невинные, какие допускаются во дворце, но дает при-ют и оказывает помощь всем «ревнителям древнего благочестия», называя царя и всех, кто принял новые уставы патриарха Никона, — «еретиками», сынами ан-тихриста и дьявола.

— Ох, тяжело ей пратися, бороться со мною, — заметил нахмурясь царь, услышав все, что ему донесли о боярыне. — Один кто из нас — именно одолеет. Да — не она же, так уповаю...

И — обрушился всей силой на благочестивую, желающую по-своему жить и верить хорошую женщину. Даже пытаться ее приказал, если не уступит, не примет того же символа веры, того же крестного перстосложения, какого держится царь, царица и все, кто с ними...

Но плохо удастся затея царю. Пытки терпит Морозова, корит царя в нечестии, в бессердечии — и не сдается. Да если бы и сдалась — чести и утехи мало: с противником-мужчиной и почетней было бы и приятнее бороться и победить. А какая радость, если даже удастся смирить «бабу», хотя бы и такую жестоковывную, как Федосья Прокопьевна, которая почет и блага мира по доброй воле меняет на дыбу, на пытки, на кнут палача, на великий подвиг мученичества ради имени Христова.

И несмотря на отсутствие особых забот и печалей, хмуρο лицо царя.

12 августа, по привычке, рано встал Алексей. Отстоял заутреню, принял доклады очередные: начальника дворцовой стражи и дворецкого. Теперь сидит в своем кабинете с Матвеевым и слушает доклад о том, что творится в чужих краях, в иных землях.

Тут же карта лежит небольшая развернута, и широко образованный Матвеев, везде почти побывавший, все видевший — свои сообщения и соображения сопровождает указаниями на разные места в этой карте, обводя границы стран и городов, о которых идет речь.

Указывает и говорит он царю:

— Своего будто бы наследия давнего король французский домогаться стал. И того ради за реку великую, за Рейн выступить мыслит, приморскую низменную страну, Нидерландами именуемую, воевать задумал. Благо некому в сей час супротив силы его французской большую силу-рать выставить. Это — одно, государь, о чем наши люди верные знать дают... А другое — и на Восходе солнца крутая каша закипать собирается. Слышь, против круля Яна-Казмира султан турецкий сильное войско тоже готовит. Вишь, словно бы все Подолье и с Каменцом-городком к нему отойти должно... Ну, тут уж, милостивец, коли правду не крыть, — и нашего ложка медку положена. Думается: как ударит султан на круля, — мы поспеем и от Польши своего кой-чего, из старых пожитков оттягать. Помним им походы наши... Да и на московском берегу

на Украине — не так тесно станет. Казаки скорее на неверных насунутся, ничем на своих православных, на проезжий торговый люд. А то и от своих, и от татар проезду, проходу не стало за рубеж за восточный ни нашим, московским, ни иноземным торговцам. Торгу нет — и денег нет в казне твоей царской, государь.

— Твоя правда, Матвеич. Мало стало казны... А надо ее, ох, как много надо... С деньгами — чево сделать нельзя. А без них...

— Без них, вестимо, государь, и царю, что псарю, — все едино плохо. Да, никто, как Бог. Возьмем свое, милостивец...

— Давай Бог... Только, хто возьмет-то? Не я, Артамоныч, уж што себя тешить. Годы уходят, силы уходят... Не вернутся походы наши польские... Видно, скоро и Богу отчет давать придется... Уж разве, после меня хто...

— И что за нерадостные мысли, государь. «Молодому» грех бы и толковать такое. Женился давно ли? А тут и помирать собираешься, государь! Али, храни, Боже, чем молодая не угодила? Так, не по воле, верь, государь. Знаю я великую государыню, Наталью Кирилловну... Она...

— Да не о ней речь... О сыновьях, о царевичах думаю... Федя, вот. Сядет он на престол на царский... Сам говоришь: годы настают тяжелые, беспокойные. А он... Видишь, знаешь Федю... Дай Бог того не растерять, што оставляю ему в наследье, не то — приумножить земли да славы царской... Ваня... Тот и овсе скорбен умом и телом хворый... За што, подумаешь, так покарал Господь меня. У инова... Вот, погляди в окно, на паперти, насупротив: нищенка дремлет... А ребеночек — словно яблочко налитое у ей... у нищей... А у меня... у царя...

Он не договорил, умолк.

— Дак што же, — осторожно, после молчания, заговорил Матвеев. — Сынки, царевичи, правду молвить, не больно штобы крепеньки, — дай им, Господь, многа лета... Так за то ж царевны твои, государь, — словно маков цвет цветут. И разумом все вышли, особливо царевна свет Софья Алексеевна. Мала еще, а сколь разумна. Не мимо имячко дано: София, сиречи — Премудрая... Так и будет, гляди...

— Царевны... Нет у нас давно такого свичаю, штобы царевне наследье отцово, трон Московский оставить можно было. И думать нечего. Другая дума была моя...

Алексей не закончил, замолчал.

Матвеев давно догадался, что угнетает царя. Он ждал, что от Натальи судьба пошлет ему хорошего сына, достойного наследника престола. И ожиданье, доходящее до лихорадочного нетерпения, смущало обычно безмятежную душу Тишайшего царя.

После небольшого молчания Матвеев снова осторожно, как будто против воли понижая голос, заговорил:

— Не посетуй, поизволь выслушать, государь. Коли слово мое не по нраву тебе придется, — твори уж что хочешь со мною... Как еще был я в чужих краях, и у англинского владыки, и у австрийского императора... Везде таких прорицателей видел али слышал, что ученые мужи разные — по звездам глядят и наперед видят: чево ждать государю али бо — государыне вскорости надо? Как скажут сии звездочеты, астерологусы именуемые, — так и бывает... И у нас свой, почитай, такой же объявился... Знаешь, государь, навещаю я наставника многочтимого, слугу твоего верного, Симеона Полоцкого. Не раз и о том речь у нас шла, что кручинен ты бываешь, государь. И чем кручинен, и то мы обсуждали. Уж, прости, все говорю. Повинную голову, знаешь: меч не рубит... И собирался Симеон сам по звездам честь про твое царское величество и про царицу нашу многолюбезную... Как уж издавна навик мудрых мних тот в науке высокой, мало кому и ведомой... Да ты не тревожь души своей, государь. Не от лукавого, от Бога это познание. И не через что, чрез звезды Божии познание дается человеку. Не волшба, не изменение жребия, а только прозорливость некая дается, как бы сквозь туман земной — вперед провидеть можно... Нет греха в деле сем...

— Вестимо, греха нет. Отец Симеон — строгой жизни монах, богобоязный. Кто не знает тово. А, правда твоя: сметил ты, что жутко мне стало. Не от чево инова, от слабосердия нашего. Страшно, коли што худое узнаешь, чево избыть невозможно, а еще долго ждать приходится... Видно, Бог добро творил, что не позволил человекам наперед узнать всю судьбу свою... И жить бы тогда, гляди, мало хто захотел... Вот о чем

я ни раскидываю в уме, чево не жду?.. И по царству, и в своем дому... А знай я, что ни земли не приумножу, ни доживу: в детях видеть утехи да радости... Может, и отчаяние овладело бы мною, рабом недостойным... И роптать стал бы на Господа али и хуже што... Все надежда держит... Здеся — на луччее... А на небеси — и вовсе награды ждем, блаженства вечного... Вот и живешь, и не хуже становишься, а все на луччее тянет... Премудрость Божия... А... а все же...

— Охота, поди, и вперед заглянуть: хоть малость, хоть про самое главное... Это молвить хотел, государь? Вестимо... Да то хоть вспомни: на войне. Думается, што наш верх будет. Войска у нас и припасу больше... И место наше — поспособнее, ничем у врагов... Ударить легче на них... А все же: лазы посылаешь, доводцев ищешь: вернее бы узнать... Можно ли одолеть врага. И где к нему подойтить способнее, куды ударить лучше?.. Да, и при всем том, бывает, Господь не захочет: Давид Голиафа побивает, а не Голиаф пастушонка малова... Так и в жизни. Все пораздумаешь, обсудишь ладком... А на верняк — лучше бы знать: как оно сложится напредки?.. И сил, гляди, не стал бы тратить попусту. Инако бы все наладил... Так уж и скажу я тебе прямо, государь... Не раз бывал при том, как Симеон по звездам судьбу царства чел... Нечево греха таить: много и горя впереди сулит вещее небо... А много и свету и радости... И славы много, и крепости царству и роду твоему царствующему...

— Дай Бог, дай Бог... Што там о себе! Вижу, не такова бы теперь царя земле надобно... Старое — изживать люди стали. Чево бы нового, луччаво им надобе... Я-то чую... А помочь — мало могу... Мешать только не стану, уж николи... Помнишь, толковали мы и с тобою не раз, как ты из чужих краев домой поворачивал: хорошо бы и нам на Руси заморские порядки завести, жизнь чистую, веселую, учливую. Не топором бы, не петлей — науками бы всех к покорности привести, чтобы дружней и светлее по царству жилось, чтобы сильные — бедных не ярмили, чтобы бесхлебицы не было, и пути везде устроить торговые, и людям и царству на пользу... Как бы сила наша земская поразвернулась... О чем царь Иван Василич еще говаривал, — и то повершилось бы. От Теплого окиана — до Карпат и от Белого моря — до Середьземного легла

бы держава наша русская... Не то, как Олег, на короткий час — на веки вечные щит словенский висел бы на вратах святого града Константинова... Штобы... Э, да мало ль о чем хозяину в дому думается, коли заботы спать не дают... Так и мне на моем хозяйстве на царском... Думать-то легко... А на дело — силы не хватает... Да... чево греха таить: и разум не мой тут надобен... Вот кабы такую голову, как у деда, у Ивана Васильича... И то — бояре много ль сделать ему дали?.. Пока с ими возился — многое по царству упустил, так и не наверстал. Детям, слышь, заповедал. Читал ты, поди, завет его посмертный... Все там означено... А только много, гляди, лет, и не сто и не двести пройдет, покуль оно сбудется... Да, пусть бы сбылось... Аминь...

— Аминь, государь...

И оба в тихой молитве осенили себя широким крестом.

Вошел сенной истопник с докладом:

— Преподобный отче Симеон пожаловал, челом бьет, очи твои, государь великий, видеть милости просит.

И, по знаку Алексея раскрыв дверь, впустил в покой Симеона Полоцкого.

— Вот, слышь, про волка помин, а волк под овин, — с ласковой улыбкой, после поклона монаха подходя к нему под благословение, сказал Алексей. — Садись, гость будешь. Што, али про детей сдоложить пришел, как обычно?.. Али — дело какое? Сказывай. Мы и то, слышь, поминали тебя, вот, ты лих к порогу шел...

— Уж и то хвалю Господа: не по заслугам моим любовь царскую и ласку Он мне посылает... Нехай буде похвалено Имя Его... А прийшов я и доклад сделаць, шо усе идет помалу у нас. Учатся их царские вельмочности преотлично и цветут, яко крины райские, на многи лета... Так, шобы порадовать их малые души, охота пришла мне, старому греховоднику, комедийное действо наладиць ново. Та не здесь, не в теремах, как уж то бывало с твоего произволения, царь великий, а хочем ту лышень пробу сотворить... А саму гру — в саде в твоём зеленом наладиць... Из священной гистории, из Завету Древнего будет зрелище, рекомое «Ангели в гостех у Авраама». Как позволишь, царю: можно ли? Там — и палатку-скинию раскинути мож-

но. Дни — ясные, теплые Бог дае. И очень уютно буде.

— А чево же не мочно. Делай, твори, как знаешь, отче. Худа не было и не буде от поучений от твоих и от затей позорищных. Вон, Артамон мне сказывал: у англинских владык да у цезаря австрийского — императора целы стайки есть таких лицедеев, што ничем иным и не заняты, только разные действия представляют, людям на поучение и на забаву. Нам — еще не пора эти новины заводить.

Патриарх, гляди, и бояре иные с боярынями старозаветными и-и, какой язык подымут... А для себя, из Завета из Святого — отчего не представи действия занятого. Крепче в памяти станет деткам... и поймут, гляди, больше из этого, ничем толковать им дела те мудреные...

— Шо и казать... Все как день ясный видно, когда во образе покажешь децку притчу али сказание какое. И сам, государь, бачив: сколько ден царевичи с царевнами о наших поучительных действиях речи вели, поглядевши прежние игры феатральные...

— Видел, видел. Ничево в том дурно не вижу. Делай как знаешь.

— А еще не дозволишь: единаво из трех ангиолов дщери твоей царевне Софии изобразить чи можна? Ду же вона з ангиолом сходна, дай ей, Пане Боже, много лет и здравия.

Тонкая лесть, похвала ребенку — сильно тронула отца.

— Ох, затейник, отче... Што надумал... Ну, да уж и отказу тебе от меня нет. Твори все, как лучше, как сам знаешь. Еще чево нет ли? Сказывай заодно.

— Та, якобы и не мае ничего больше, великий царю, чем бы докучати тоби. Милостыми, як дождем, посыпашь раба твоего недостойного... По доброты твоей нехай и тебе, царю преславный, добро буде...

— Спаси, Бог, и тебя, отче... А... а вот... — после небольшого молчания заговорил как-то опасливо, нерешительно Алексей, — наслышан я от Артамона: горазд ты больно, отче, звезды чести да испытывать... А того нам и не сказывал. Напрасно. Разумею же я, нет тут никакова лиха. Божье дело. И многие монахи, наши и инославные, тем делом займовались... Не худо бы и нам о державе нашей, как и другие государи, прове-

дать што-либо, чево Господь сподобит... А, как полагаешь, отче Симеоне?

Осторожный, умный монах, очевидно, догадался, о чем толковал перед его приходом царь с Матвеевым. Он сразу поднял на Алексея свои блестящие глаза, которые до того держал смиренно опущенными к земле и как будто старался проникнуть ими в тайники души собеседника.

— Не дарма сказано: Господь умудряет сердце помазанника Своего, государь. Ты б неначе в мою душу глянув, прознав, с чем прихожу я ныне к царю и владыке моему... Много ночей смотрел я по звездам, много дней разбирал книги, где вся наука небесная означена... И составил нынче пред утром лишь гороскопум, иначе — «зрак судьбы человеческой» про твое царско здоровье и про супругу твою, про царицу-государыню, про света нашего ясного... Вот лист сей...

Полоцкий вынул из рукава рясы спрятанный там лист, свернутый трубкой, перевязанный шелковым шнурком.

И, откинув свою привычную уклончивость и осторожность, свою придворную мягкость и сладковатый тон, Полоцкий продолжал решительным, почти суровым тоном провидца-наставника.

— Не изменится рок, якой положон есть и рабам последним, и великим государям от Царя царствующих. Но дает Он прозревати на пользу человекам во тьму грядущу. И знамения свои чудесно посылает. Було такое знамение и в сей ночи. Звезда дуже свитла просияла близько од Марса, планеты рекомые. Зародилась нынче душа великая, царская на земле. Тебе сына подаст Бог скорее, ничем рок минет единый... И благодатна царица твоя, бо просветлого царевича подаст миру, роду вашему на славу, отцу-матери на радость, земле — на великую корысть и возвышение царства. Займет он трон отца своего и деда присноблаженного и на ем, яко на камени дивном, оснуется навеки царская держава твоя и род весь ваш державный... Камень крепкий, в основу дома, тако буде и той царевич о укрепление царства... Когда же воссядет на престол у те его лита — подобного иому посередь царей и крулей не буде, разве Александра и Соломона помянути. Усех он бывших в Руссии владык славою превзойти мусит и делами и разумом. И вящими похвалами мает бути

восхвален. И победоносец чудовый имает бути. Падут многии от лица его, соседи враждующие смирят, толикие светлые победы содеяв, колико ни един от предков ваших, государей благочестивых, не мог содеяти.

Страх от него буде на многих, страны дальние и ближние протечет; но однако — своей земли многое нестроительство ему помехою буде. Но той владыка — злых поистреблявши, добрым защитой и воздателем буде, возлюбив истину на земли... Трудолюбием украсится и многие пути на воде и на суше проложит, создав многие новые строения повсюду. Насадит людское жительство и благочестие духовное и светское, где и не было ничего, в тех же местах и сам упокоится. Немало иного поробит светлого и преславного. И все то на звездах, аки в зеркале, читахом. И то неложное звездное предвозвещение вашему царскому величеству я zde написал и во утверждение истины — подписався. Приими, благочестивый, пресветлый царь. Се труд мой, се дух мой. Да сбудется. Аминь.

— Аминь...

— Аминь, воистину да сбудется, Господи, — за Симеоном и Матвеевым повторил глубоко взволнованный Алексей. — Верится мне, отче, что тако все и поисполнится. Верую, сам не ведаю почему, как в души моей спасение от крови пречистой Христовой... Камень великий спал с души; исповедуюсь тебе, отче. Молил Господа о сыне подобном, как ты прорицаешь... И ждатель не смел, что подаст Творец по прошению моему, раба недостойного, многогрешного... Ныне верую... И не посетуй, отче... Еще един вопрос вопрошу тебя. О сыне моем, о великом царе видел столь многое... О моем житие — неужели ничего не было показано? Или нерадостное видел што и говорить не дерзаешь? Говори все. Знаю, ждатель ежечасно горя — удел царей, как и всей живой твари...

— Не покривлю душою, государь... Не видел. Звезду следил новую. Твоей — не имел часу проследити.

— Может, хоть то поведаешь: лет жития моего — много ли еще осталось? Поспею ли сам такова наследника чудесного выпестовать, на ноги поставить... Говори, молю тя, Симеоне... Не опасайся... Лучше мне знать то, чем не знать и помереть наглою, незапной смертию негаданной.

— И того по звездам не означилось... — снова поче-

му-то опуская глаза и принимая обычный, смиренно-ласковый вид, ответил Симеон.

Но, заметя, как омрачилось лицо царя, поспешно добавил:

— Можно б нам инако про то вызнать, шо тобі потрібно, великий государь.

— Ну, как же? Сделай, скажи, научи... Охота великая мне знать: много ли еще проживу на белом свету? И быть тому не можно, чтобы ты не сведал того, если судьбу царей и царств открыл Господь взору твоemu, отче.

Столько глубокой веры прозвучало в словах Алексея, что Матвеев невольно с особенным вниманием поглядел на белоруса-монаха. А сам Полоцкий почувствовал и радость и опасение при мысли: сколько можно сделать, располагая таким доверием царя? Но, в то же время, как осторожно надо поступать, чтобы не потерять этой веры, не уронить себя, не вызвать гнева и мести за осквернение такого чистого, благоговейного чувства.

— Шо сам знаю, то и тебе открою, государь, — медленно, словно взвешивая каждое слово, заговорил Полоцкий. — Не на едних звездах начертаны судьбы твари Божией... И на себе носит каждый знаки различные. Наипаче — на руцех, на дланях своих. Вот сии черты, как на долонь поглянешь, на шуйцу на свою, — предрекают немало...

И монах повернул свою левую руку кверху ладонью. Нежная, выхоленная, как у женщины, ладонь была по краям резко очерчена розовой полосой: кровь просвечивала сквозь тонкую кожу. Вся ладонь была изборождена ясно проведенными, ровными, хотя и неглубокими, но очень явственными линиями.

— Знаю, слышал, не раз слыхивал: есть наука такая тайная: по руке честь. И опаска брала: не грех ли тем займваться, думалось?

— В чем грих? Заклятья, колдування, волхвованья — то грех. А в тайны Божии умом проникать — немае гриха, государь, а ниякого. Вот, гляди: ровно бы литера мыслете идет чрезо всю долонь. И у мене... и у тебе, господине, и у него... Три черты явно видимых. Однаковы оне, но и разноту имеет у кожного из нас кожная та черта. Моя — узкая и внятная. У Артамона у боярина — поглубше и не такая ровная. Твоя черта,

государь, — пошире наших, ровненько бежит, только не такая явственная. Вестимо: руки твои державные не утруждены, как наши, рабов твоих. Вот, и поглаже она... Верхняя линия — то сердечный шлях. Шо до души касается — по ней читать можно. Второй шлях вдоль первого идет, середний самый — для розума. Чем тверже разум и больше воли над человеком мает, тем длиннее той шлях середний. А нижний шлях, шо средний перехрещивает и до верхнего дойшов, — то про жизни долготу пророчит. Шо длиннейш он, то и життя больше человеку суждено от Бога...

— Што длиннее?.. А, глянь, у меня не больно долга дорожка эта, нижняя... Гляди...

Симеон, давно вглядевшийся в руку царя, быстро возразил.

— Не скажи так, государь. Глянь, кругом твоя дорожка по низу большой палец обегла... Сие место — алтарь богини Венус зовомое есть. И, правда, ровно поломана под алтарем тим дорожка життя твоего, государь, но знову идет по руке, ось куды зайшла... далеко. Будет тебе помеха в житье твоём. Может, припадок какой, а може, и хвороба есть затаенная, давняя. И от нее — урон будет твоей царской милости... Не скоро... годам к пяти на десять, як не болий. А избудешь ту напасть, и-и сколь долго, может, годов девяносто и сто прожиты мусишь, государь.

Омрачившееся было лицо Алексея снова посветлело.

— Куды столько... Надоест... А што ты сказал... о хвори тайной, многолетней... Правда твоя... Знаю: точит меня какая-то язва. И лекари мои то же толкуют. Да помочь не сила их. Вон, Федя оттого слабый, бают... А Ваня — и вовсе головкой плох... Все от хвори от моей...

— Бог даст, все минет... Пустое толкуют лекари... Вон, дочки ж у тебя... Особливо Софья-царевна. Золото, не девчиночка... Не сумуй, государь. Все от Бога...

— Верное слово твое... Ну, не станем об этом... Далеко... Что еще скажешь?

— Да, все вже й сказав, царю мий милостивый. От, ще шлях Сатурноса. Се доля наша... И по ней тоже видно: перебудешь яку-то годину тяжку... Ровно бы от недругов нападение — и тогда на многи лета во славе и покое перебудешь...

— Недруги... Какие же недруги?.. Не можно уз-

нать? Иноземные али свои?.. Погляди, пораздумайся, отче...

— Да... шо сказати... — медленно, словно не решаясь ответить, заговорил монах: — Так воно показывает, шо не чужие... Давние, близкие, сказаты треба, люди — на вражду повернут. Станут новых твоих близких от тебя отгоняти... И на тебя взметутся, и на кровь твою... Поверишь им — и сам сгибнешь, и все семя твое. На поверишь предателям — тоже беда будет, да избыть ту биду можна буде... Так тут видно, если только не замело мне очи чим...

— Нет, нет, отче... Што ты духом чуешь, — я умом не единожды смекал своим... Хоть и не умудрил меня Господь больного много. Вестимо, не пройдет оно так, што позамыслил я новины на Руси завести... Вон, за Никона — сколько недругов у меня объявилось... За женитьбу мою, гляди — и вдвое... Ну, да, Бог — мой покров единый... Стой, пожди малость... Артамон, скажи, там бы Наташе поведали: сюда прошу ее. Вышла бы на часок... Порадуй ее, отче: скажи все про сына про тово, коим мою душу столь порадовал, сердце мое без меры возвеселил... Гляди и царица тебе, как я же, уверует. В любви и у нее станешь, как и у меня же, Симеоне.

— Не в тим думка моя, — скромно отозвался монах. — Бог глаголет в звездах в своих, в созданиях земных. Я, раб Божий, смиренный инок, глаголю по завету Божию, во славу Его, хоть бы не то милость, а и гнев царский постиг меня, недостойного.

— Да, вижу, понимаю... Иди же, Артамон, зови скорее...

— Сам я поведаю, коли поизволишь, государь. Живее то сбудется.

— И то, и то... Поди, поторопи царицу. Пусть сердце ее возликует... А она што-то за эти деньки приуныла, видел я...

Артамон Сергеевич поклонился и вышел.

Царь, развернув свиток монаха, остановил глаза на астрономическом чертеже, под которым дальше затейливой вязью шло предсказание, гороскоп царевича, который должен скоро явиться в семье царской.

— А — што сей за чертеж, отче?

— То — начертание планидное и звездное, яко было минулой ночью. От тут Марс, шо воинскими подви-

гами людские души вдохновляет. На выйшем пути своем он стоит. Супроти Соньця. А ось — и звезда неведома, внове сияюща. Твоего царевича нерожденного звезда. А тут — иные планиды...

И Симеон стал излагать Алексею расположение звезд на ночном небе, какое он наблюдал накануне, объясняя попутно возможно понятнее: какое влияние имеет каждое сочетание созвездий и на судьбу живущих, и на тех людей, которые зарождаются под известной планетой или звездой.

Четверти часа не прошло, как явилась царица в сопровождении Матвеева, своих боярынь и молодого постельничего царского, его двоюродного брата по матери, Тихона Стрешнева, с которым особенно подружилась Наталья за веселый нрав и находчивость юноши.

Алексей ласково встретил жену, поцеловал ее, спросил о здоровье.

— Давно ли не видались, государь, — што мне дее-тся? Спаси тя, Христос, а мне и все ладно. Пошто звать изволил? Торопит дядя. А чего для — и не скажет, ишь, скрытный... Вон, Тиша — тот лучше. Што ни спроси — все скажет.

— Ой, гляди, не все, государыня-сестрица. Инова не то тебе, и попу на духу не скажу, — отшутился Стрешнев.

Но царь, хотя и ласково, однако серьезно прервал разговор:

— Великое дело объявить тебе надо, друг Наташенька. По то и призвал тебя. Вот послухай, ясенка, што отец Симеон тебе поведает. Писанье свое прочтет.

— И то — слушаю, государь. Люблю сама отца честного послухать. А тут, слышь, великое дело. Мне, слышь, уж и не терпится. Поведай скорее, Симеонушка, отец честной.

И, усевшись поудобнее в кресло рядом с Алексеем, она приготовилась слушать.

По мере того, как читал Симеон свой гороскоп, — целый ряд ощущений промелькнул на открытом выразительном лице Натальи. Сперва оно зарделось, как огнем, румянцем стыдливости. Речь шла о ее будущем ребенке.

Молодая супруга, хотя и воспитанная в патриархальной русской среде, где дети считаются благословением Божиим, все же чувствовала невольное стеснение

от мысли, что и она станет матерью. Но сейчас же ею овладела мощь, уверенность, какою дышало каждое слово монаха. Она так же безраздумно поверила в правдивость предсказаний, как поверил им царь. И ярким, счастливым огнем загорелись глаза царицы. Какая-то сладкая, еще неизвестная ей доселе гордость, смешанная с умилением, наполнила всю ее душу.

«Весть благая подана мне... Яко от архангела Деве Марии», — невольно промелькнуло в уме у начитанной в духовных книгах Натальи.

И, отчего-то побледнев, потупя глаза, сияющие восторгом и слегка расширенные, словно от тайного испуга, ей самой непонятного, дослушала царица до конца чтение гороскопа.

— Вот, слышь, што буде, — нарушая наступившее молчание, заговорил негромко царь. И так сказал, как будто уж видел исполненными все предсказания Симеона.

— Да буди воля Божия, — негромко отозвалась Наталья также голосом, полным веры и радости...

— Аминь, — эхом отдалось из уст всех свидетелей этой важной, загадочной минуты.

Даже беззаботный Стрешнев, привязавшийся к Наталье сильнее, чем к родной сестре, не сводивший с нее глаз и вовсе не расположенный к мистическим настроениям, заразился общим чувством предвидения чего-то большого, непонятного и важного, и сидел тихий, настороженный.

Всем так и казалось, что вот-вот распахнутся небольшие двери в покое, откинется завеса — и войдет сама Судьба, пронесется перед их испуганными глазами и тоже негромко, но внятно пророкочет:

— Аминь... Да будет тако...

— А вот што, отче честной... Не поволити ли и царице моей што пооткрыть, на руку гляючи... Вот, как мне тут. Слышь, Наташа, друг ты мой сердечный, прямо сказать: чудеса творит наш Симеон. И таил сколь долго дар такой дивный, от Господа данный. Слышь, по руке — все тебе скажет: што буде вперед, чево ждать, чево стеречися надобе... Вот, покажи ему ладонь...

Наталья, знакомая с хиромантией по рассказам в доме Матвеева, протянула охотно и без страха руку.

Среди боярынь, провожавших царицу, слышались опасливые вздохи и невольное перешептывание.

— Не треба страху даватись, госпожи почестнии, чада мои духовнии. Не от себе, от Бога буду глаголати. Творит Господь дела свои — нашими устами и руками человеческими... А тебя, пресветлая царица, государыня великая, прошу шуйцу открыти, не десницу твою благодатную. По шуйце, иже от сердечной области прямо исходит, — легче можно все пизнаты...

Наталья послушно перенесла расшитый платочек из левой руки в правую, исполняя слова гадателя. И рука, и вся она слегка дрожали от ожидания чего-то неведомого, непонятного...

Слегка касаясь пальцами словно выточенной из белого и розового перламутра руки Натальи, теплой и влажной в ладони, монах стал вглядываться в тонкие, гармоничные линии, проведенные природой по этой атласистой, молодой, упругой коже.

— Уси счастливи знаки маешь на руки, государыня моя, светлейшая госпоdynя и души утеха. Но не утаю: скорби немало познати мусишь. И при рождении первенца своего державного, Богом избранного на благо своих народов. Но вси муки минут, и слиду не будзе их. И других чад без скорби иметь будешь... Долго на их удачу радовати сердце свое станешь... А какая кручина коли настанет неминуца для тебе и для чад твоих, — тою избудешь, аки орлица ухитивши, грудью застоявши орлятув своих... Помни слово это, благоверная царица, кеды прийдзе час горький... Храни дух бодрый: не сгибнешь ни от чего злого. Мирно покончишь дни жития твоего преславного. В Бозе почиешь и во славе великой. Так здесь все означено...

И бережно опустил он руку Натальи, теперь бесильно упавшую вдоль тела царицы, на широкие складки домашней телогреи, которая была на ней.

— Аминь, — среди общей тишины прозвучало горячее желание Алексея. — Так пусть да буде по воле Божией.

И не хотелось бы ему отрываться от жены, от этого угла, где сейчас произошло так много важного и загадочного для доверчивого Алексея.

Не хотелось бы нарушать настроения минуты, прекрасной и пугающей в одно и то же время.

Но явился Голохвастов с докладом, что собрались некоторые бояре на малый совет к царю. Пришлось проститься с женой, отпустить всех и идти в палату,

где ждали опять споры и разговоры с лукавыми, изворотливыми, жадными слугами-боярами, где надо было разбираться в мелких, сложных, но все-таки неотложных делах и вопросах по управлению землей, всем царством.

Только отпуская Симеона, царь несколько раз повторил:

— Гляди, не знал я, какой ты... Теперя уж — изволь к нам поближе быти... И к трапезе нашей царской без зову жалуй, прошу тебя... И всегда... Особливо, в часы павечерние, как покончу я все дела особливые... Гляди же, не забывай...

И с неохотой вышел к ожидающим его боярам.

Загадка — вся жизнь человеческая. И сама она — полна загадок.

Как решить: монах ли прозрел на мгновение и увидел то, что еще крылось в бездне грядущего, или слова его так повлияли на душу слушателей, что сбылось предсказание? Только действительно, 30 мая 1672 года, после двухдневных страданий царица Наталья подарила супругу сына.

Около часу ночи раздался первый крик того, кому суждено было повернуть на новый путь целый огромный край, весь многомиллионный народ.

Со слезами восторга, с громкими радостными рыданиями встретил царь весть о сыне. Сорвал с руки драгоценный перстень, отдал бабке, принесшей известие, и кинулся сам в опочивальню: посмотреть на жену, на ее первенца.

Но только на миг дали ему взглянуть на бледное, прекрасное, хотя и страдальческое лицо молодой матери, на крупного малютку, на его сына.

Наталья взглядом осияла его, ребенок кричал, словно требовал чего-то.

И Алексею пришлось сейчас же уйти, чтобы не тревожить мать, чтобы дать простор женщинам, приступившим к необходимым делам, к уборке, к мытью младенца и прочее.

Как говорилось в гороскопе о «камне», так и нарекли на молитве новорожденного царевича Петром.

Зазвенели, загудели московские колокола так мощно и радостно, возвещая люду крещеному великую радость в царской семье.

Ни одна радость, ни одно важное событие в пре-

стольном городе не проходит без громкого участия этих звонкогласных, бессменных вестников-глашатаев. Как будто сотрясая языками своими зыбкий воздух, колокола хотят, чтоб само небо принимало участие, откликалось на горе и радости земной жизни, человеческой доли.

Уже в пятом часу утра все духовенство московское готово было к служению соборному, назначенному в Успенском храме.

Вместо патриарха Иоасафа, который совсем расхворался да и умер еще 17 февраля, литургию совершал Новгородский архиепископ Питирим, занявший вскоре, 5 июля, место усопшего на патриаршем престоле.

Кончилась служба. Алексей в богатом уборе с посохом в руках стоял счастливый, сияющий, словно помолодевший лет на двадцать. А за ним — разноцветной, блестящей стеной теснились восточные все царевичи, первые вельможи московские, родовитые бояре, дворяне в праздничных кафтанах, полковники пешего воинства, рейтары, головы и полуголовы и полковники стрельцкие, тоже разодетые, как на светлый праздник. Красные, голубые, желтые и белые полукафтаны, блестящее вооружение — пестрило в глазах.

В белых, пасхальных облачениях вышли из алтаря все власти духовные с Питиримом во главе и первые принесли поздравление царю. За ними — вся свита царская била челом на великой радости.

От лица царевичей и первых чинов двора сказал приветствие Грузинский царевич Николай Давидович.

Тут же Алексей объявил большие милости царские в честь рождения сына.

Много бояр, находившихся в опале, получили прощение, им дозволено было видеть очи царские. Осужденные на смерть, на ссылку за преступления государственного характера получили пощаду, смягчение своей участи. Долги, какие числились в личную казну государству за многими людьми, были сняты, взыскания — прекращены.

Немедленно приказал Алексей послать богатые дары Полоцкому, предсказание которого оправдалось блистательным образом.

И три дня не умолкая гремели пушечные салюты над Москвой, сливая с торжественным, протяжным гуденьем кремлевских колоколов свое отрывистое, много-

кратное гроыханье, свои тяжкие, раскатистые удары и отклики.

Из Успенского собора царь двинулся дальше, в обход по всем главнейшим святыням кремлевским. Побывал в Архангельском соборе, в Вознесенском девичьем монастыре, где поклонился праху родителей своих, в Чудовском монастыре помолился над мощами святителя Алексия, своего покровителя и святого, приложился к иконам в Благовещенском соборе, вернулся во дворец и здесь, в Столовой избе, где уже были собраны все бояре, вся Дума, ближние люди, пожаловал Матвеева и тестя своего, Кириллу Нарышкина в сан окольничих с путем, дал им города, одарил деньгами, деревнями и землей.

Высоко подымались чары в Столовой палате за здоровье счастливого отца и царицы-матери, за новорожденного царевича, увидавшего свет при таких радостных предзнаменованиях... Громко звучали клики пирующих. И все покрывал мерный, неугомонный гул колоколов, рокот и треск орудий...

Словно поневоле, оберегая «свою радость», царь поспешно, сравнительно скромно, без особой пышности справил свой второй брак. И теперь, при рождении сына, Алексей как бы спешил наверстать потерянный случай. Обычные приемы, какими сопровождается рождение царевича в царской семье, Алексей обставил небывалой пышностью. Лучшие вина лились рекой. Самые дорогие снеди, фрукты, лакомства подавались всем, кто только мог или желал явиться на царское веселье.

Столы, приготовленные 1 июня в Золотой палате у царицы, в терему, поражали своим обилием и роскошью всех, кто только попал сюда.

И сверх обычных трех дней еще немало раз собирал и угощал царь на радости окружающих его людей. Дары сыпались без конца... Лихорадочная радость счастливого отца, казалось, росла все больше по мере того, как он стремился проявить ее, счастливя других.

В таком радостном, приподнятом настроении месяц пролетел, как один день.

Наступило и 29 июня, день Петра и Павла, в который, по совету Полоцкого, назначены были крестины малютки-царевича.

Теперь и царица Наталья, которая быстро оправи-

лась и чувствовала себя прекрасно, могла принять участие во всех торжествах.

А торжество было снова затеяно не малое.

Еще до рождения царевича был назначен ему целый особый двор, больше из женской половины дворца, конечно.

Рослая, кровь с молоком, красивая молодуха, боярыня Неонила Ерофеевна Львова, оставя свою девочку, передав ее мамке, сама была осчастливлена и назначена в кормилицы Петру. Приезжая боярыня Матрена Романовна Леонтьева, принятая в верх, и престарелая вдова князя И. В. Голицына, «верховая» давнишняя боярыня — обе они были приставлены мамами, пестуньями к царевичу, пока не исполнится тому лет пять, когда он перейдет на попечение дядьки. Голицына уже и раньше справляла важную должность свою при царевиче Симеоне, когда он был жив. Боярин Родион Матвеевич и думный дворянин Тихон Никитыч Стрешневы, родственники Алексея со стороны матери, покойной царицы Евдокии Лукьяновны, должны были с первых дней оберегать ребенка как дядьки его.

Весь штат царевича был в сборе, в опочивальне ребенка, задолго до того, как наступил третий час дня, то есть шесть часов утра по нашему счету.

Копром стояли на кормилице праздничные парчовые и шелковые одежды, присланные царицей из своих ларей и сундуков. Кика сияла, как солнце, золотыми бляхами, отливала молочными узорами жемчугов, сверкала блеском разноцветных камней. Царевич, укутанный в меха, в шелк и парчу, лежа на руках кормилицы, тонул в складках белоснежных рукавов ее рубахи, вышитой шелками, затканной золотыми узорами на плечах и по вороту.

На мамах, на боярынях, на дядьках Стрешневых тоже все горело и сверкало.

Только царский убор мог бы затмить богатством и яркостью эти охабни, шапки горлатные, шубы широкие, надетые несмотря на жаркое утро...

Царица и царь, по обычаю, простились дома с царевичем, остались ждать, пока он вернется от купели.

Малютка, окруженный тетками, сестрами, первыми боярами, всем своим штатом, был доставлен в Чудов монастырь.

Здесь в трапезной, при церкви во имя святителя

Алексия, Новгородский Питирим, в сослужении высшего клира, окрестил Петра.

Царевич Федор, которому уже пошел двенадцатый год, бережно, любовно принял от купели малютку — брата, своего крестника. Кумой была родная тетка обоих, царевна Ирина Михайловна.

Кончился обряд.

Как стоголовый, многочисленный дракон, сверкая золотистыми, разноцветными извивами, потянулся обратно во дворец весь «крестильный чин» царевича.

Духовенство из трапезной, где тесно и душно было до невозможности, перешло под своды храма во имя Алексия-святителя, где все-таки попросторнее.

Но перед началом литургии явился сюда царь со своими верховными боярами, со многими служилыми и ратными людьми. И снова потемнело пламя свечей в тяжелых паникадилах и свещниках от недостатка воздуха...

Голова кружится у Алексея. Холодный пот проступает на висках. Сердце так тяжело ударяет в грудь под парчовыми ризами... Но царь и не думает о себе... Горячо, со слезами молит он постоянного защитника земли, строителя царства Московского, усопшего святителя, своего ангела: послал бы он долгой жизни, удачи и здоровья... Здоровья — прежде всего — этому крепкому, славному малышу, у которого уже так бойко поглядывают темные, выпуклые глазки навывкате, такие большие, напоминающие так сильно глаза царицы Натальи, матери его...

О том же молится и царица Наталья, не отрывая почти чела от холодных плит своей домово́й церкви во имя Рождества Христова, что на сених царицына терема...

И словно эхом, ответным откликом на жаркие мольбы в тот же день прозвучало перед отцом и матерью новое прорицание Полоцкого, составленное на этот раз совместно с другим звездочетом — Епифанием, Греком по прозвищу.

Устав душой и телом, Алексей не назначил приема на остаток дня, решив провести его сравнительно спокойно, в домашнем кругу.

Вся семья уже собралась в Столовой палате на половине царицы, где было уютнее, когда доложили о приходе Симеона.

Алексей сам встал навстречу благовестнику своему и усадил между собой и царицей.

Епифаний остался было скромно у дверей, но ему тоже было указано место, ради того, что он явился с Полоцким.

— Али нову каку радость поведать явился? — спросил сейчас же царь, почему-то уверенный, что неспроста это появление монаха на царской семейной трапезе, да еще в такой день.

— От тебя ль укроешь шо, державный царю... Одно: челом тебе бью за дары твои щедрые, каких и недостойн. В другое: молю сей прогностик принять. Мам новый гороскопиум для царевича Петра, для новородзенного... Може, по stole, по трапезе послухать изволишь? Радость познаешь, мыслю, немалую. Вельку удачу буде имать той цезаревич твуй, мой господине, великий государь!

— И-и, чево там мешкать, неча ждать еды. Вести твои — слаще манны для души моей... Да и царице, вишь, не терпится. Так ли, свет, государыня моя, Наташенька, друг сердечный?..

— Ты ли не знаешь, государь... Чай, про сына — всякому охота, скорей, ничем про свою долю... Для сына, чай, чево бы...

И не договорила. Слов не хватает у счастливой матери. Вот так бы сейчас оставила всех, кинулась туда, где в богатой колыске сладко спит после утренней суеты ее ненаглядный первенец, царевич Петрушенька, ясное солнышко, цветочек аленький...

Но и послушать охота, что скажет этот мудрец, Полоцкий, которому верит теперь Наталья, как Богу.

А Симеон, откашлявшись, развернул уже хартию, вроде той, какую около десяти месяцев тому назад уже подал царю, и начал внятно, громко читать:

— Пресветлому государю, царю и великому князю Московскому, повелителю Великия, Малыя и Белья Руси Алексию Михайловичу о рождшемся ныне царевиче, великом княжиче Петре Алексеевиче, — прогностик, иначе рекомый — гороскопиум.

Прочел, остановился и сказал, как бы поясняя дальнейшее:

— За Епифаном мы вкупе цилу ночь по звездах глядели... И такое устроения звезды прияли, як тут на чертано. Подивися, государь.

Показав чертеж, Полоцкий снова торжественно, ударяя на концах строк, стал читать:

— Вчерась ли преславный Царь-град от Турков пленися.
Днесь — начало избавленья ему преславно явися.
О, Константине-граде, зело веселися!
И святая София-церковь торжественно радуйся!¹
Се бо преславный ныне нам родися царевич,
Великий князь Московский и всея Руссии,
Петр Алексиевич — начало спасения.
Ты, царствующий град Москва — просветися,
Ибо радость велія сыну царскому вселися!
Укрепит он твои стены,
Да будут окрест ограждены.
Багрянородный царский сыне,
Петр, иже нарицаеся Камень ныне.
Храбр и страшен вельми врагам сопротивен
Имать быти. Похвала вечна Россианам
Сим царем утвердися. Петр — есть камень счастья Руссии,
Камень, точащий воду живую, иже жаждущие —
Имать напоити, утвердить церковь, сени нетленные,
Прославить Руссию до конца вселенные.
И ты, планида Ареус и Зевес, веселися!
В ваше бо сияние царевич той родися.
Четвероугольный аспект² произыде,
Яко той царевич четыре царства имати...
И четвероконечие планеты знамя прославляет,
Яко четверьмя части моря обладает,
От Бога ему седми планид естество дадеся.
Лутчий меж прочих в действе обретесе.
Храбрость и богатство на нем почивают
И на главу — цесарский венец возлагают.
Радуйся днесь, царь православный,
Зане — родися сын тебе толико преславный...
Купно с царицею — многолетни пребудете,
И удачи всякой и славы — не избудете³.

Когда Симеон кончил чтение, царь обнял и поцеловал монаха. Наталья, приняв от него благословение, дала ему целовать свою руку.

¹ Храм св. Софии в Цареграде.

² Вид лучей.

³ Гороскопы в то время, особенно составляемые для значительных людей — для принцев и королевичей при их рождении — были в большом ходу.

Даже крупные ученые не отказывались от составления таких «прогностиков», предсказаний судьбы. Лейбниц известен как автор таких гороскопов.

Валленштейну его гороскоп составлял Лаплас.

Предсказания о Петре были известны и за границей. Так, в 1693 году после усмирения второго стрелецкого мятежа, когда Петру было около 22 лет, посланник Нидерландских генеральных штатов Николай Гейнзиус писал в Утрехт некоему И. Г. Гревизиусу о чудесных предсказаниях при рождении Московского юного царя. Вот

Все старались выразить свою радость, как могли, искренно веря, что сбудется все, о чем прочел случайный астролог-предсказатель.

Оба они, Симеон и Епифаний, были щедро одарены.

И до самой смерти укрепил Полоцкий свое положение при дворе этими счастливыми пророчествами, гораздо больше, чем всеми трудами по воспитанию царевичей с царевнами, чем исправлением духовных книг, чем печатаньем сочинений для просвещения народа.

Только полдня передохнул царь со всей своей семьей. А с 30 июня снова начались приемы, поздравления, пиры и столование крестильное в Кремле. Снова загрели пушки, загудели колокола...¹

что ответил Гревийус Гейнзиусу в письме, помеченном 9 апреля 1693 года:

«Наблюдения, происшедшие, как вы пишете, во время рождения российского царя Петра в Москве, и по течению звезд замеченные, яко достопамятные предзнаменования, — нашими астрологами и другими пророчений любителями и будущими дел гадателями прилежно записаны. Причем еще и сие примечили; что в самый тот день рождения царева (30 мая 1672 г.?) король французский реку Рейн, а турецкий император — Днепр с армиями своими перешли. Из коих первый — четыре провинции соединенных Нидерландов, а другой — Подолию и Каменец завоевал. Из чего наши гадатели, которые уверены, что по течению звезд и по делам, в то же самое время в других местах случившихся, — предбудущие происшествия человеческой жизни предузнавать и предсказывать можно, заключают: что новорожденный младенец — должен быть государем, весьма к войне склонным и неприятелю — страшным. Но я все сие — за случайное почитаю и на то, как и вы сего же мнения, кажется, мало полагаюсь. Довольно, когда будет Петр в свое время добрый пастырь народов, дабы спасительными законами победил скифское варварство, коими северные и шубами одетые народы наиболее всего омрачаются».

Письмо И.Гревийуса хранится в Петербурге в Академии наук, а копия, вместе с переводами — латинским и русским — напечатана в «Записках Туманского», ч. 5, стр. 122. О письме Гревийуса знал и сам Петр, на которого, несомненно, влияли эти прорицания, хотя бы он и сомневался в сверхъестественном их происхождении.

¹ В «Дворц. Записях» отмечено: «За крестильным столом в Грановитой палате, июля, в 4 день, были: Новгородский митрополит Питирим (5 июля возведенный в сан патриарха), митрополиты: Астраханский Пармений, Крутицкий Павел, Рязанский Илларион, Нижегородский Филарет, архиепископы: Коломенский, Смоленский, Суздальский, епископ Архангельский, 11 архимандритов из главных монастырей, келари Чудовский и Троицкий, учитель царевичей Симеон Полоцкий и 6 игуменов из кремлевских обителей, 50 человек низшего, белого и черного духовенства, все восточные царевичи, 11 бояр, 9 окольничих, 10 думных дворян, 6 думных дьяков, дьяк Тай-

И среди блеска московской царской свиты, среди многих родовитых вельмож сразу засияла плеяда новых баловней счастья и судьбы, — многочисленная семья Нарышкиных, теперь осыпанная и почетом и богатством, смело начавшая заступать дорогу первым сановникам в царстве, опираясь на любовь к ним царицы Натальи, на любовь царя Алексея и к жене, и ко всей родне ее.

ных дел, 16 «комнатных» (дворцовых) стольников, 12 московских дворян, ясельничий царский именитый человек Строганов, 46 полковников, голов и полуголов стрелецких, 6 бояр и дворян, свита Грузинского царевича, два посланника Черкасской земли, 16 гостей торговых, 76 человек выборных из «гостиной, суконной и черной сотен и из дворцовых слобод». Всего — до 300 человек и 90 человек певчих. В деревянных хоромах, в царицыном тереме тоже были накрыты столы для своих «дворовых», жилищ — боярынь, для приезжих княгинь, боярынь и царевен восточных, для родни новой царицы. Между последними были: Кирилл Нарышкин и Артамон Матвеев.

НОВЫЙ ЦАРЬ

(1672—1676)

Так верстах в трех от Москвы, на левом берегу Яузы-реки, раскинулось небольшое селцо Преображенское.

В самом селце дворов немного, не широка и лента пашен вокруг селца.

Населено оно больше мастеровым и служилым людом Дворцового приказа. И бок о бок с селом высятся царские терема летнего, потешного дворца, где Алексей с семьей обычно проводит осень и начало зимы, так с октября по 15 декабря, когда надо к Рождественским праздникам возвращаться в стены Кремля.

Здесь, среди увядающей природы, под сенью могучих елей и сосен, вечно зеленых, вечно одетых густым покровом, на просторе царская семья дышит чистым воздухом и в то же время Алексей почти что в Москве. Дела не страдают, нетрудно и советы у себя собирать, и самому, если надо, быть в Кремле каждую данную минуту.

Обнесенный высокими заборами, кроясь под высокими стволами вековых деревьев, составляющих обширный парк, дворец представляет из себя целый поселок. Не считая главных двух помещений: для царя и царицы, — надо было дать место шести царевнам и трем царевичам, ближним людям, живущим с царской семьей, огромной челяди, поварням, кладовым, конскому двору и каретным сараям, мастерским и людским избам.

И все это, настроенное без определенного плана, кое-как, лишь бы под рукой все было, — в малом виде представляло из себя такое же скопище больших и малых построек, каким в огромных размерах являлась сама Москва.

Пригороды столицы, а затем — отдельные усадьбы, подгородные хоромы бояр, начинаясь за каменным, высоким горбатым мостом, перекинутым через Язу, почти сливали Преображенское со столицей. И дальше, по течению извилистой маленькой этой речки темнели деревушки и поселки среди зеленеющего моря хвойных лесов, перемешанных с разным чернолесьем.

И царь и Наталья особенно любили Преображенское, где оба они чувствовали себя неизмеримо свободнее от вериг этикета, чем в кремлевских палатах.

В Преображенском была устроена и особая «потешная храмина», где недавно призванные ко двору иноземные лицедеи давали веселые и печальные представления в сопровождении приятных звуков «немецкого» струнного оркестра.

Самую жаркую пору года двор проводил в селе Коломенском, где, как и в Измайловском, были тоже построены обширные многочисленные хоромы для этой цели. Но в Преображенском больше нравилось и царице Наталье и Алексею.

Близость Кремля позволяла переносить туда всю деловую сторону жизни, а здесь время было посвящено отдыху, покою и веселым забавам, порою совершенно новым в московском государевом быту. Поэтому только самые близкие лица, которые проживали с царской семьей в Преображенском, могли принимать участие в этих удовольствиях.

Конечно, среди приверженцев старины, надменных бояр, шли бесконечные суды и пересуды о «новшествах», какие внесла с собой молодая царица при содействии «еретика» Матвеева, друга его, прямого «антихриста» Симеона Полоцкого и монахов-украинцев, целое гнездо которых скопилось в особой академии при Андреевском монастыре. Отголоски этого брызжанья доходили и до виновников протеста.

Но царь не имел времени разбираться во всех дрязгах. А Наталья встречала смехом осуждение и толки заплывших жиром боярынь, недалеких бояр. Она понимала, что в них говорит обиженное самолюбие, попранная гордость и осуждают они не за дурное, а за необычное для них, да еще проводимое в жизнь без всякого участия тех, от кого раньше зависели и дождь и ведро в московских царских теремах.

— Милославским, слышь, все немило у нас, свет

Алешенька, — с улыбкой говорила порой Наталья царю. — Ишь, их пора миновала, иная настала... Да нешто я им путь перешла... А и своих же не бросить мне. Помогаю родне. Так, слышь, и Бог велел так делать... То бы подумали!.. Ничего, кажись, не отнято у них. И милости идут твои, царские. Так нет... Уж, верно в нашей стороне сказывают: злему-де борову все не по норову...

И царь невольно смеялся на такое неожиданное заключение речей царицы. Сейчас, в конце октября 1673 года, особая тревога и суeta замечалась в среде обитателей Преображенского дворца.

Царице Наталье Бог дал дочку, нареченную по желанию отца также Натальей.

— Вот, слышь, свет Алешенька, дочку, не сына нам Господь даровал, — сказала Наталья, когда царь явился к ней поздравить жену. — Шести — мало, семью тебе... Слышь, государь?

— И слава Ему, Милостивцу. Натальей назовем, слышь. Две ноне Наташеньки будут у меня, — с особенной лаской и нежностью отозвался Алексей. Он почувал в голосе, в выражении лица жены как бы досаду, огорчение, что это не сын, а дочь. Словно бы она извиниться хотела перед мужем.

Правда, в то время дочери и для царя были только тяжкой обузой.

В монастырь жалко их было отдавать. Иностранные принцы не женились на русских царевнах. А выдавать их за своих же подданных обычай не велел. Да и по династическим соображениям такие браки были неудобны.

Поэтому и захотелось Алексею особой нежностью и вниманием утешить огорченную мать.

От Натальи царь прошел к детям. По случаю именин четвертой дочери, Марии, был назначен обычный семейный стол у царицы. Но вместо Натальи — старшая сестра Алексея, Арина Михайловна явилась хозяйкой.

Еще было рано, и все дети играли в саду со своими сверстниками и сверстницами. Туда же прошел и царь, расслыхав издали детские веселые голоса, залихватый смех.

Старшая царевна, Евдокия, крупная краснощекая девица двадцати трех лет, с одной из дворовых деву-

шек высоко взлетала и сразу опускалась, смело расклевываясь на качелях, устроенных между двумя толстыми соснами.

Средние девочки и оба царевича играли в горелки. Сейчас «горел» молодой княжич, Вася Голицын, племянник княгини Ульяны Ивановны, мамы царевича Петра. В силу этого родства он часто бывал и на женской половине, принимая участие в забавах царских детей.

Когда появился на лугу Алексей, Голицын гонялся за сильной, легкой на бегу и увертливой Софьей, спасавшейся от «сокола» угодями, хоронясь за кустами, за стволами деревьев.

Заметя отца, царевна так и кинулась к нему, как кидается от коршуна маленькая птишка под защиту кого-нибудь большого, сильного.

Разгоряченный князек сперва было и не разобрал, за кого хоронится Софья, и только в нескольких шагах сразу остановился на бегу, поспешил ударить челом неожиданному посетителю и отошел к сторонке.

— Ишь, лисичка какова, Софьюшка моя! В игре бойка. А как ловить пришлось, за отца хоронится, — весело улыбаясь, сказал отец, целуя пылающее, миловидное личико дочери. — Иди, Варвара, на расправу... Лови, бери ее, Васенька.

И шутливо толкнул от себя Софью.

— Конец игре. Неча ему ловить меня, — ответила Софья. — Вона, все бегут...

Действительно, дети, увидав царя, кинулись к нему, оставя игры.

— А где же ангел-то наш, свет Марьюшка, — перечеловав всех, спросил Алексей.

— В терему, видно тетушке Арине помогать по домашнему пошла, — ответила та же, везде поспевающая, все наблюдающая Софья.

— Ин, ладно. Трапезовать не пора еще... Вы забавляйтесь, детушки, покуль не покличут. А я в покои пойду. Повидаю тамо их. А ты, Докушка, ишь, упарилася как, — обратился он к Евдокии, которая почти переросла отца и стояла перед ним цветущая, здоровая, но какая-то грустная. Словно, не хватало ей чего-то, чего она и сама не могла понять...

— Гляди, не прознобися. Хоть и солнышко, а свеженько нынче. Видела сестренку малую? Вот тебе за-

бота. Попестуешь ее. Крестить будешь. Наталией наре-
чем. Кума тебе подберем изрядного... Милуша ты моя...

Пригладив ей пряди волос, выбившиеся от напора
воздуха во время катанья, Алексей кивнул всем голо-
вой и прошел в хоромы.

Пять-шесть ступеней из сада вели на крыльцо с на-
весом, вроде высокой террасы, куда выходили окна
летней Столовой палаты царицына терема; затем шла
другая большая комната, вроде общей детской, где
учились дети или играли, если ненастье не позволяло
быть в саду.

Дворовые девушки под наблюдением Анны Леонть-
евны, матери Натальи, накрывали несколько столов в
первом покое. Тут же хлопотала и царевна Ирина Ми-
хайловна.

Поздоровавшись с обеими, царь спросил о Марье.

— Наша монашка все в святцы глядит, — отозва-
лась Ирина. — Тамо, вон... Покликать можно...

— Нет, я к ей пройду, — сказал Алексей и ступил
за порог соседней комнаты.

Именинница Марья услышала голос отца и поспе-
шила ему навстречу, от окна, за которым сидела и чи-
тала «Четьи-Минеи», большую книгу в тяжелом, сереб-
ром окованном переплете. Почтительно поцеловала она
руку отцу.

— Здорово, с ангелом, дочка. Аль в зиму времени
мало будет в святцы глядеть? Не старуха какая. Крас-
ные денечки стоят. Бабье лет, слышь. И вам, девкам,
погулянка... А ты у меня... Энто што? — принимая от
дочери тонкий белый платочек, в который было завер-
нуто что-то круглое, спросил Алексей и стал развора-
чивать.

— За твое здоровье, батюшка, ноне просфорку вы-
мала, послал Бог милости, как у заутрени была. При-
ми, сделай милость. Вкуси во здравие. Молилась я,
грешная, за твою царскую милость. Удаchi и долгоден-
ствия послал бы тебе Господь.

И дочь снова по-монашески, смиренно поклонилась
отцу.

Бледное лицо царевны говорило и о внутренней ра-
боте, какую эта девушка двадцати лет несомненно пе-
реживает, и о постничестве, о добровольных попытках
подвижничества. Давно уже стала проситься царевна в
монастырь. Но ее отговаривали от пострижения, хотя и

не мешали в теремах вести почти затворническую жизнь. И даже сегодня, в день своего ангела, Мария была одета как всегда, в простое, темное платье с такой же телогреей.

— «Грешная»... Э-х ты... светланушка ты моя... Коли ты «грешная», каки же и праведны есть?.. Как нам звати-ся?.. Ну, ну, потрудишься за ны... Отмоли все грехи наши, вольные и невольные, «грешница» ты моя мудрая.

Алексей привлек девушку, особенно осторожно и ласково коснулся ее лба поцелуем и хотел было пройти дальше, но, вспомнив что-то, вернулся к порогу столовой.

— Аринушка, чево Петеньки не видать? Али, бабушка, ты не знаешь ли, что внучок? Здоров ли, Бог дал, дитятко мое малое? — обратился Алексей к сестре и к старухе Нарышкиной.

— Спи-ит внученько-то, покоится ево царское величество, — протяжным областным говором отвечала Нарышкина. — Не изволь тревожиться. Ровно яблочко наливное младенчик Божий, храни его ангели-херуимы, серафимы-заступники... Тьфу, тьфу, тьфу...

И она подула и плюнула на три стороны, чтобы оберечь от сглазу ребенка. По ее разумению, даже и близкие люди должны поменьше поминать младенца или толковать о его здоровье, чтобы «не сглазить».

— Ну, ин ладно... Дал бы Бог и все так... Тьфу, тьфу, тьфу, — тоже отплюнулся и Алексей. — Пройду покуль в свою боковушку. За столы — не скоро, видать?

— Скоро, братец-государь... Часочек один, а то и мене... По тех пор, государь-братец, не поизволишь ли выслушать, што сказать тебе имею? Уж сделай милость, не откажи слуге твоей, сестре родимой. Челом бью, Алешенька!

Легкая тень промелькнула на лице Алексея. Он подавил досаду, но рука невольно потянулась кверху и почесала затылок, покрытый короткими, густыми и темными еще волосами с легким налетом седины.

«Сызнова за ково-либо из опальных печаловаться почнет, — подумал он. — Надо послушать. Инако не отвяжешься».

И спросил вслух:

— Тут, што ли, скажешь? Али ко мне пройдем?

— К тебе лучше, думается, царь-братец... Как пове-
лишь ни то, государь.

— Ну, идем...

Придя в свой покой, Алексей сбросил шубу, отдал шапку и посох в руки дежурному «жильцу», заменяющему здесь и придверника и камер-пажа.

Когда тот вышел, Алексей подошел к теплой печке, прислонился к ней спиной и обратился к Ирине, стоящей у стола между окнами:

— Ну, садись, Аринушка, гостя будешь... Толкуй, што тамо у тея... А я погреюсь... Хоша и тепло, да плохо нас с тобою кровь, видно, греет наша старая... Што же молчишь? Сказывай: за ково жалобить нас пришла?

— Не жалобить, а милости просить, государь-братец... Великой царской милости. Так сдается, Алешинька, и ради нынешняво дня святова да радостнаво и по душой своей по милостивой, — ангел ты мой, не откажешь сестре в ее великом прощении.

— Коли больно велико, так и льстивсто, и поклоны мало помогут, сестрица... Все по мере творится. И цари не вольны на иное. Коли што несообразное, коли уж из ряду вон... А што можно, сделаю. Сестра ты мне старшая... Как ни вспомню, кроме добра — зла я от тебя не видал... Проси уж... Только, слышь, што бы сообразное...

— Несть образца на милость, — слышь, так бают люди старые. И мы с тобой, сам молвил, государь-братец, — не молоды же. Надоть и о душе помыслить. Ино и то сотворить, чево бы на небесах зачли, хоша бы на земли и в ущерб было оно твоему царскому величеству. Да, слышь, и ущербу не буде. Святое дело сотворишь. Неправды поизбудешься, слышь, в котору ввели тебя некие людишки бесстудные, поскоки новые... Им — ништо... Злобу свою тешут, гордыню питают несытую. А на твоей душе грех, как царь ты земле, за всех ответчик.

Такое вступление, весь напряженный тон, каким заговорила Ирина, очевидно, подстрекаемая сильным чувством, не помогли ей, а только испортили дело.

Податливый часто, довольно слабохарактерный, Алексей все же не любил, если на него старались воздействовать так стремительно, грубо и властно.

Он за долгие годы власти был избалован теми, хотя бы и внешними проявлениями раболепства, какими был окружен в качестве Московского государя, повелителя земли, вождя всех боевых сил страны.

Сам патриарх — и тот, зная характер царя, умел осторожно добиваться, чего ему хотелось. Ближние бояре, хотя и явно накладывали руку на волю царя, и он это чувствовал, ясно сознавал, — но все делали с соблюдением известных форм, с византийским этикетом, с раболепными поклонами...

Добрая, искренно любящая брата Ирина тоже понимала, что путь обходов вернее поведет к цели. Но в данную минуту она узнала о вещах, слишком для нее огорчительных. Сдержанная обида, накопившаяся в груди давно, чуть ли не с минуты появления в теремах новой царицы, сейчас эта обида особенно сильно заклокотала и рвалась наружу, словно против воли самой царевны.

Старая дева, добрая по натуре, робкая, забитая воспитанием и полузатворнической жизнью, она все-таки хранила в себе долю властолюбия и сознания собственного достоинства. Окружающая среда, темная и раболепная, но беспощадно злая, жадная и беззастенчивая в достижении своих целей, не успела вконец вытравить некоторого идеализма, даже фанатичной веры и ревности по вопросам царской чести, семейной любви, справедливости и долга государей перед их народом.

Вопрос был важный. Ирина не смогла начать лукавым обходом. И ей казалось, что брат должен понять ее. Хотя тут же, едва прозвучало ее решительное обращение к царю, она ясно заметила, как тот выпрямился, насторожился и стал весь какой-то неподвижный, словно выточенный из дерева. Не осталось и тени ласкового, родственного доброжелательства, с каким он минуту назад заговорил со старшей сестрой.

— Не пойму я никак, о чем речь ведешь, государыня-сестрица? Может, и сама поотложишь на послы. Поемши и толковать легче, — сухо заметил он, очевидно, предчувствуя неприятный разговор и делая последнюю попытку избежать лишних неприятностей и для себя, и для сестры.

— Растолкую, государь-братец. Затем и потрудила твою милость, уж не посетуй. Не велик сказ... И слов-

то немного. Про боярыню, про Морозову, Федосью Прокопьевну, да про сестру ее, про княгиню Овдотью Урусовых. Да, ошшо, почитай, не про чужова... Про дядю про роднова, про боярина Семена Лукича Стрешневых... Колико лет в опале томится, в Вологде... А мы тут, свет мой, радостно проживаем. Не грех ли? Оговорили, слышь, дядю. А ты и веру дал... Была ль нужда ему изводить тебя, государь, то бы подумал... Не взыщи, што так докучаю... Под сердце больно подступило. А и то мыслю: потиху сказать, не дойдет до сердца твоего государскова за всей заботой, за всеми трудами царскими. Уж, прямиком и скажу...

— Слышу, слышу, сестрица Аринушка. Еще чево скажешь, вали заодно...

— Што и сказать?! Вон, слышь, пыткой пытали честную вдовицу, боярыню Федосью. Мочно ли то!.. И сестру ейную, Овдотью... И на дыбе трясли... и огнем палили... Господи...

В искреннем ужасе, ясно представляя себе муки обеих женщин, Ирина закрыла побледневшее лицо обеими руками.

— А за што пытали-то, знаешь ли, сестрица?.. Не тебе, бабе, чета, — сам патриарх-владыко ко мне доведася... О той же строптивце печаловался. Вот, не похуже тебя, да поласковей, слышь, толковал, хоша и повыше будет, пастырь Божий. Баял мне, слышь, тако: «Чтобы, мол, княгиню домой вернуть, князю отдать... Заодно и боярыню ту, Морозову-вдовицу...». Сызнова ей домишко отдать да людишек-крестьянишек малость на потребу. Дело-то, говорит владыко, ладнее будет. Женское их дело. Много ли смыслят они?...

— Вот, вот, государь-братец, невместно тебе с женским полом тягаться. И моя дума такая... Вот...

— Вот, вот... Ан, не вот вышло. Я и говорю владыке: «Не жаль дать и вдвое. Да — все пустое. Уперты бабы али с кругу сбились, овсе ума рехнулись — хто знает. Давно, говорю, так бы сделал, да не ведаешь ты ихней лютости. И сказать, мол, нельзя: сколько много наругались мне они и доныне ругаются... Хто столько зла и всякова неудобства мне оказал, если не те бабы. Не веришь, призови, сам испытай их. Вкусишь ихней пряности... Вот, после и поисполню, чево попросишь». Слыхала ль о том?

— Слыхала, — видимо неохотно ответила Ирина.

— Ага, слыхала... А как далее дело было, знаешь ли? Призвал их Питирим. Поодиночке. В Чудов монастырь, в палату соборную, в цепях привезли. И власти духовные тут... И от городских начальников немало. Все по ряду. По добру спросил патриарх: «Дивно-де, как возлюбила ты, жено, железа сии да позор свой». А она таково радостно на ответ: «Не железа на мне — венец мученический грешница приять сподобилась, аки святии отцы и апостоли...». Старец святой ну увещать ее: «Откинь ересь да заблуждение. Приими причастие, яко подобает. Сам потружусь на старости лет, исповедую, причащу тебя... Все на прежнее поворотится». А безумная и патриарха поносить стала... Слугой диавола, рабом антихристовым назвала... Види старец, не в своем разуме баба. Благодатью Божией просветить ее возжелал... Елеем помазанье сотворить надумал. «Да приидет в разум, — говорит, — яко же, видим, ум погубила...». Куды тебе... Слышь, только и старца не прибила. Помазание отринула. «Не касайся меня отступным маслом! — кричит. — Не губи мой труд великий, что целый год эти цепи несла, муки принимала, — единым часом сим!.. Отступися! Ничего не хочу вашего. Все — нечисто». Што тут было!.. Увели безумную... Сестра ее — не лучше же, а почище делала. И с ей ничего не вышло у старца. Вот уж тут, воля-неволя, пришлось и пыткой пытать тех еретиц нестерпимых... Да мало еще... Жечь бы их надо, как на совете мне радили... От них, слышь, и то смута в народе пошла... Боярыня первая, Морозова... Урусовых княгиня — в поборницы за старое пошли. Дак простой люд, который и не помыслил бы, за честь сочтет с ими же против указов моих и патриарших насупротив идти! Жечь, одно и надо!

— Што ж не сжег? Слыхала и я про советы... Кабы не старец добрый, воевода князь Юрий Алексеич, не Долгоруков князь — гляди, двоих боярынь честных словно татей, али бо разбойных подлых людей, на Пожаре при Лобном месте так и сожгли бы в срубе... Царское то дело, доблесть великая! А родитель наш, блаженной памяти свет государь Михаил Федорович и думать не думывал так над женским полом и ради гнева царского своево промышляти... А вот ты, царь, иное мыслишь... По-иному, слышь...

— Ну, буде, Арина... Слышь, молчи уж. Нелеть мне

и толковать с тобою боле. Помню я, что сестра ты мне старшая... Подобрю пытался, по-хорошему... Да видно и у тебя — засад в голове... В трухлявый пенёк верей не врубишь... Я, слышь, не неволю людей... Про себя што хошь думай... Наружу лих не выноси!.. А они — прямую проруху царству чинят... Соблазн подают... Они не сдадут ничево, им тоже не будет нашей милости... Так и знай... В останний раз тебе говорю... Я, слышь, Арина, не суюся в твои дела, в холсты, в мотки, в лотки в бабы, в твои тальки-гальки да в суконья. Хочешь — даришь дармоедам всяким... Нето продаешь торгашам-пройдисветам, кои за алтын полтину купить норовят... И ты в дела наши царские отнюдь не мешайся. Моя воля — и творю по ней. Помни раз и навечно...

— Кое не твоя воля... А лепо ли так... Ладно ли... Подумай, старину да пошлину давнюю попомни... Не на своеволье земле постановлен царь. Тако, мол, хочу, тако и буде! Кабы дума у тебя была прежняя, истовая — они бы не помирволили делу такому: с бабами воевать. Кинь, Алеша. То памятуй: над тобой и над думой твоей владычней, да и над самим владыкой-патриархом суд Божий есть. Што на том свету душеньке твоей буде? Какой ответ держать станешь?.. Помысли. Любя говорю, не в укор. Тебя от греха оберегаючи, може што и уразное вымолвлю, — не посетуй на меня, на грешную...

— Али еще не все выложила?.. Гляди, из царей нас из самодержавных только што не в прикащики в думские пожаловала?.. Мукой адовой, карою Божией грозишь за то, што надумал слово Божие пристойно поправить... В новых списках книг церковных — омылки, описки повывести. Старые, от Соборов отцов святых, древлепрославленных, Святые Писания на Руси завести хочу правые... А меня за то новшаки-дураки, што чтут азы, не разумея, — чуть не клясти стали. Патриархов Московских, Господом ставленных, — они, мужики безглазые, неразумные, — ко зверю из бездны, ко антихристу ровняти стали!.. А я от их еще на попятный ступай? Николи! И впрямь будут в те поры люди кругом, и дети и внуки ихние на много лет славить: «Не царская воля творилась на Руси при Алексие Михайловиче, а черни неразумной. Да и сам он — на царь, баба был; малодух прямой — не земли охрана». Так тол-

ковать станут. У тебя, вон, волос долог, ум короток. Ни то бы и сама в разум то взяла.

— Взяла, царь-братец, все давненько взяла. Знаешь, не разговорница я. А — все гляжу, кое-што и вижу... Уж не посетуй, коли выложу... Не велит сердце молчать. Не чужая я тебе. Разве — рот завязать повелишь... А нет — так скажу... Душа горит. Воля Божия, видно, штобы от слабой жены узнал, чево мужи твои, советчики, особливо — новые любимчики, рвань худородная, голодная, — не сказывают... Терпела я, покуль мочи стало, от воронья да галочья, што в терем высокий налетели, павьими перьями поизукрасились... Немочно терпеть боле... Вон, не любо тебе, что царь повинен разума земского, Думы своей боярской и служилой слушати! А то, видать, любо царю-государю, коли блазни, лизоблюды, подлазни лъстивые кружат, ровно бы веретеном бабьим, тобою... И все видят, все знают. Неохота тебе пересуды слышать людские про милость твою, про царскую... Забота у тебя, што внуки-правнуки скажут? Так вот, и знай, каки про тебя речи идут. Таки и в века перейдут, верь, Алешенька... А и погрозней беда на виду, почитай. Гордения ты, царь-братец, на слове. Слышь, не гнешься, не ломишься... Кто тому и поверует? А не только мы, — и черный люд знает: немало раз гнулся ты, не изламывался... Коли хто гораздо навалитися умел на царя самодержавного, на великого князя Московского... Гляди, и теперя так не стало бы. Оно хоша и зовешь ты Писания церковные, кои поисправити задумал, — новиною, а люд православный инако мыслит. Деда и прадеда по той «новине» жили да умирали, дух предали свой Господу. Веру все имут великую в новины в те. «Стариной», святыней величают описки, ошибки книжные. Гляди, хоша и не бояре, смерды они, а люди, слышь, тоже. Одно не забудь: не бояре, смерды те самые в казну в твою ино последний грош несут, тебя со властями и боярами кормят... Другое: и ратная сила из тех же смердов собрана, велика да сильна стоит. Вона, ты любишь иноземных маеоров да полковников круг себя держати. То своим русским ратникам не больно любо... Стрельцы, особливо московские, первая нам всем, дому царскому и трону твоему оборона... А из них — все почитай стариною живут, кою ты «новинами» обзываешь. Титов полк, слышь, явно толкует: «Не-

ладно царь с патриархами удумал: Святое Писание по-иначил, службу церковную, благолепную — ополячил... Поляков-схизматиков нето учителями в школах поставил, в своем доме царском — явного покрутня терпит, Семена-то... Не дадим старой веры на урон...». Так, слышь, не одни титовцы толкуют... Гляди, государь-братец... Как бы неволей на то склониться не довелось, што ныне по доброй воле да на славу себе можно содеяти... Прости меня, грешную, братец... Не могла смолчать... И сугубо челом бью: не трогай ты веры людской. Душа — не осина... И ту ранней попарити надо, а гнути опосля... Богом молю: дядю верни, отпусти на волю Морозову с сестрою... Верни им их животы и честь порушенную... Не гони иноков да старцев-мучеников, как Аввакума-попа... И Бог тебе зачтет... И люди скажут: «Жив Бог, жива правда в душе царевой! Слушает он порою наветов диаволих да людей лукавых новых, кои обступили ево. Да все же и правду не овсе забыл... Серце-де царевое в руке Божией, а не в лапах у проходимцев, кои случаем в честь попали и землю не берегут, своей корысти ради». Того ради — пожалуй, государь-братец... Не гони веру старую... Кинь затеи римские... Опальных верни, твоих рабов верных... Сестрам-подвижницам покой дай...». Челом тебе бью на том, Алешенька... Хоть бы ты попомнил, братец, службу Борисову да брата ево, Глеба Морозова. Нехорошо, братец.

Совсем истощенная глубоким волнением, такой большой, несвойственной ей речью, бледная, как мертвец, с осунувшимся лицом, с темными кругами у глаз, едва поднялась после земного поклона Ирина и тут же тяжело опустилась на ближнюю скамью.

Пока быстро лилась неровная, вдохновенная речь Ирины, целый ряд ощущений проносился в душе царя, отражаясь на его подвижном лице.

Были минуты, когда он, казалось, совершенно поддавал влиянию говорившей. И остановись она тогда хотя бы случайно, он дал бы согласие на многое, если не на все, о чем молила сестра.

Но каждый намек на слабохарактерность Алексея и особенно на «новых», жадных, продажных людей, хитростью пробравшихся во дворец, — эти намеки слишком больно задевали царя. В нем поднималось все возмущение, все тупое, неоглядчивое упрямство, на кото-

рое способны не особенно умные и несильные духом люди.

Кончила Ирина, умолкла, тяжело дыша, отирая холодную, липкую испарину, выступившую на висках, и Алексей заговорил холодным, злым, глумливым тоном:

— Выдохлася... Больше некуды? А я чаял, до ночи не скончишь... Добро, сестрица, добро. Коли так нам досаждаешь, дятчишь об Федосье, — ин ладно. Тотчас готово у меня ей место получше монастыря, где к ей боярыни короткоумные съезжаются... Бояре красмольные заглядывают, на меня гнев Божий зовут.

Все я знаю... Не от черни, — от вас, с верху на меня гроза зачинается. Да — не боюсь! Люд православный, вся земля не сменяет меня, царя, всенародно избранного, Богом поставленного, на вашу орду нелепую... Знаю я, не то от Милославских, от ворогов моих, хоть и зла от меня не видели, — от сестриц родных из теремов царских — чернавки-девки, попы-смутьяны, юроды да ханжи, негоди, што ни людям, ни Богу... Все они в монастырь, к Морозовой шастали...

От Морозовой — по торговым местам да по полкам стрелецким вести-повести разносят безгодные... Все я знаю... И уж так запрячу упорщицу, што и пути к ней не найдут... Добро уж...

Подняв глаза на брата, голос которого показался совсем чужим ей, Ирина увидала, что лицо его совершенно побавровело, жилы на лбу и на висках вздулись. В невольном испуге она зашептала:

— Господи, господи...

— Што бормочешь... Али нелюбо, коли в ваши петли чей глаз заглянет, ваши лукавства раскроет?... У-у, людишки... Знаю, охота бы вам по-старому зажить, царя в руках зажать, творить, што вздумаете, о земле не думаячи. Вы о ней только и звякаете, коли других укорить норовите. А от ково тьма, от ково неурядица в царстве? Кто болей себе ворует, ничем в казну несет царскую? Вы все, люди благочестные, истовые, староверные, благоверные... Вот, подумал я земскую тяготу облегчить, житье все русское на новый лад наладить, поисправить... Вам не любо. Все, кто со мной — вам вороги. Клянете их, нож готовите из-под полы, коли прямо ударить не сила... Добро, что не малолеток я. Своим умом живу, вас не спрошу никою. Так и знай! О чем докучать, дятчить станешь, — все наизворот

сделаю. Знай... Што вам любо, то и мне, и роду всему нашему, и земле на пагубу... Так и знай!.. Слышь?.. И не буде по-вашему!.. Нет!.. Нет!..

Голос Алексея перешел почти в крик.

Стольник, пришедший было с докладом, что за стол пора, — не посмел войти и стоял за дверью. На звуки громких голосов появилось и еще несколько человек в покое, смежном с комнатой Алексея.

Анна Хитрово, по своему положению приглашенная к столу, будто бы ненароком, от усталости — опустилась на скамью недалеко от двери и старалась не проронить ни слова. Царевна Мария тоже пришла из классной и стала на пороге, между дверьми, не зная: уйти ли ей скорей или остаться на всякий случай? И тетку ей было жаль, и опасения за отца сжимали сердце.

Она знала, что крепкий и здоровый на вид Алексей страдал каким-то неведомым недугом. Особенно после приступов гнева. Сердце у него почти переставало биться, он синел. Дыхание вырывалось со свистом... И долго надо было хлопотать, звать лекарей, курить какими-то остро пахнущими травами, чтобы привести в чувство больного.

Знала и Ирина, как опасны брату взрывы гнева. Она уж только о том и думала, как бы успокоить его. И не находила слов: с чего начать, как заговорить?

А царь между тем словно закусил удила, подстрекаемый своими же словами и мыслями, собственным криком, — все больше подымал голос:

— И жив я — вам не покорюся! И помру — не видать вам воли да власти над землей! В новы меха вольется вино новое... Не знать Милославским да Морозовым с Хитрыми-лукавцами владычества над Москвой, над землей всею, над царем молодым, над моим наследником!.. Федю, знаю, коли меня не станет — живо обрачают... Не царь он родился... У их будет в покорю. Так не бывать тому!.. Знай, не бывать... И Бог тово не хочет... Ину долю царству подаст... Вот, поглядите, увидите... С женитьбой с моей — што взяли?.. По-своему сделал... И никто не мог поперек стать... Дале — то же будет! Во всем — по-моему будет... Во всем... Знай!.. Знай!.. Слышишь?.. Што ж молчишь?.. Слова не скажешь... Али онемела, али оглохла, заступница?! Грозишь мне... помазаннику Божию!.. Я без уг-

роз главу сотру всему вашему племени злему... Новы адашевцы пошли... Не сдамся!.. Жив не буду, все на свое поверну... Вот... Што ж молчишь?.. Ну, держи ответ... коли таку отвагу на себя напустила... Чево и не бывало в роду в нашем честном, в терему в нашем царском, чтобы девки-царевны царям указывали... Умолкла... А в душе клянeshь... ковы готовишь... Так, што ли?..

— Прости, помилуй, братец Алешенька, — не выдержав, с плачем упала к ногам Алексея Ирина, желая во что бы то ни стало усмирить гнев, способный привести к печальной катастрофе. — Успокой сердечушко! Не серчай боле! Помилуй...

И этот искренний, полный раскаяния, смирения и страха вопль сразу привел в себя Алексея.

Хрипло, тяжело дыша, он сдержал истерические выкрики, которые еще так и рвались с дрожащих губ. Схватил со стола жбан с холодным квасом, из широкого горла сделал несколько глотков, сжал виски руками и сказал:

— Ну, буде! Встань... Ничего я... Ступай... Не в себе я малость... Иди с Господом... Бог простит...

Сам отошел к окну, распахнул его и стал глубоко вдыхать свежий осенний воздух.

Всклипывая по-детски, растерянная, поднялась Ирина, вышла за порог, где ей навстречу поспешила Хитрово, повела под руку, охая, вздыхая, шепча молитвы и приговаривая между текстами:

— Господи Иисусе, сладчайший... — Слышала все, родная царевнушка ты моя... Болезная голубица... Богородице-Дево, помилуй ны... Эх, што прибрал царь и на тея, и на всех нас... Силен лукавый и слуги ево... Никола-Угодник, спаси и покрый нас своим предстательством... Ну! Да и Бог же крепок, защита наша...

И так, бормоча молитвы и тихонько причитывая, увела царевну в ее опочивальню.

Печально прошел именинный стол царевны Марьи на этот раз...

Прошло еще два года.

Не стало боярыни Морозовой и сестры ее, княгини Евдокии, первых знатных мучениц за «старую веру». В далеком, заброшенном Боровске-городке, на дне глубоко-

кой, темной, грязной ямы томились они зимой, полуодетые, мучимые голодом, и от голоду погибли. Сперва угасла княгиня, за ней — и боярыня Морозова.

Завернутое в рогожу тело страдальцы опустили в землю и зарыли те же сторожа, которые были тюремщиками обеих страдалец. Без обрядов и молитв хоронили этих подвижниц, которым давала сил их вечная молитва, их горячая вера... И на могиле поставлена тяжелая каменная плита, на которой высечено было: «Лета 7184 (1675) погребены на сем месте сентября в 11 днь боярина князя Петра Семеновича Урусова жена ево, княгиня Евдокея Прокофьевна, да ноября во 2 днь, — боярина Глебова жена Ивановича Морозова, боярыня Федосья Прокофьевна, а во иноцех — инока схимница Феодора. А дочери обе окольниковичего Прокофья Федоровича Соковнина. А сию цку положили на сестрах своих родных боярин Федор Прокофьевич да окольниковичей Алексей Прокофьевич Соковнины».

Не стало этих двух женщин. Старицы и иноки, которые прежде почти открыто стояли за «старую веру» в Москве, — рассеялись, скрываться стали, избегая мученической смерти от огня в срубе, как была сожжена некая старица Устинья, как потом был сожжен и первый зачинщик движения протопоп Аввакум...

Но семя розни, глухое брожение все шире раскидывалось по царству.

Видели это в Кремле, принимали меры. Однако трудно было бороться с тем, что только назревало и реяло в воздухе, как грозный, опасный, но пока неуловимый призрак.

Немало новых седых прядей появилось за эти два года в темных густых волосах Алексея. Обрюзгло, потемнело как-то все лицо.

Не чувствует он особого нездоровья, определенных болей. Но весь ослабел. И припадки удушья сердечно-го все чаще и чаще возвращаются, даже без тех минут гнева, какие прежде нередко находили на царя, служба как бы предвестниками страданья.

Ни на что особенно не может пожаловаться царь. Но чувствует, что силы уходят, тает здоровье, как тает воск в зажженной свече.

И приходит ему порою на ум старинное сказанье: как брали враги, отливали с заклятьями фигуру ненавистного человека, крестили ее, давая имя того, кого

хотели извести... И потом ставили у икон, вблизи лампадки. От слабого огонька медленно, постепенно, но и безостановочно таяла фигурка, все ближе и ближе придвигаемая к огоньку... И таял с нею тот, чье имя носило зачатое изображение.

Рассказал он о поверье Симеону и спросил:

— Как думаешь: может то быть?..

И такой тревогой звучал вопрос, что монах сразу догадался о подозрениях, о тайном страхе Алексея.

— И, не може того буты никола, великий государь. То ж диавольской силой лишень содеяти можна. А Бог же не допустить и волосу упасти с головы человека без воли Его. Сказано же есть... Не може того буты.

Успокоился Алексей, но ненадолго.

Пришло ему в голову все злое, что творится на свете. И царей лишали жизни их враги. Вон, в чужих землях. И на Москве — князей великих, не то чужие люди, — свои братья и слепили, и смерти предавали... А сколько цариц и царевичей испорчено, изведено врагами втихомолку. И Бог попустил, не покарал, не помешал совершению такого греха...

Эти думы — больше, чем заботы по царству, угнетают царя. Он прислушивается к малейшему недомоганию своему и каждый раз ожидает, что близок конец.

Проходит припадок, возвращается на короткий период прежняя бодрость, — и Алексей снова оживает. Шутит, смеется, советы собирает. Сзывает иноземных ратников своих, принимает иноземных послов... Словно торопится в эти светлые промежутки наверстать время, потерянное в дни уныния и хандры, в дни смуты телесной и духовной, все чаще и чаще одолеваящей его.

Напрасно врачи стараются и внушением и разными крепительными средствами поднять силы царя, слабеющие с каждым днем.

Он подчиняется их указаниям, принимает все, что велят... Но — толку мало.

— Видно, хворь у меня в костях, в крови сидит. Недаром Федя и Ваня — такие хворые живут. Цинга, слышь, у Феди, худосочие: Морбус скорбутикус, по-лекарскому. От ково? От меня же. Жена-покойница крепкая, здоровая была... Ваня — и слеп и головой скорбен... Юрод, а не сын царский... Все от меня... Видно, и детей Господь за грехи родителей карает.

Хоть и не знаю за собой грехов особых, а, видно, прогневил Господа...

Так часто повторяет Алексей...

И с усиленной, особой тревогой глядит на своего младшего сына, на Петрушу ненаглядного.

Все видят, как сильно любит царь ребенка.

Ни к одному из сыновей, даже к первенцу, к покойному царевичу Алексею, объявленному было в свое время наследником трона, не проявлял такой любви и внимания отец.

Сколько раз бывало, не то чтобы послать кого справиться о здоровье ребенка, — сам идет на половину царицы, в покой Петруши и спрашивается: хорошо ли спал младенец? Здоров ли, весел ли?

Ни одно новое проявление внутренней жизни мальчика не ускользает от отца: слово, которое впервые пролепетал Петруша, резвая выходка, первые шаги полных, крепких, словно налитых ножек... Первые шалости и капризы... За всем чутко, почти ревниво следил царь, словно жалея, если не сам подследил их, если мамы и сестры, даже сама мать объявляла ему какую-нибудь радостную новость о проявлениях быстро подрастающего, такого бойкого, такого смышленного ребенка.

— А уж приглядный какой... В тебя, как влитой, — любуюсь сыном, говорит Наталье часто Алексей.

— Счастлив был бы, а красота — што... Не в ей счастье, — со вздохом отвечает мать и крестит малютку, словно желая отогнать от него всякий призрак горя и недоли священным знамением креста.

И, словно чуя, какой любовью и заботой он окружен, крепнет и быстро растет царевич, как тянется кверху редкий цветок, в тепле и холе, под лучами солнца, под уходом заботливой, умелой руки садовника.

Крепнет быстро и тело и дух малютки. Уж чего он желает, то должно быть ему дано. Привык он так, что каждое желание его — закон для окружающих. И беда, если это желание не скоро исполняется или почему-либо хотят отговорить его от неудобной затеи. Часами может плакать, не ест, не пьет ничего, никого не слушает, пока не добьется своего.

Один лишь отец, и то не строгостью, а лаской да уговорами может успокоить тогда Петрушу.

Мать он тоже любит и слушает. Но она в критиче-

ские минуты только сама готова заплакать с ребенком, готова все сделать и даже не пытается обуздать строптивого, несдержанного мальчугана.

— Все мальчишки на одно. Вон, Наташенька моя и вовсе иная... — говорит она.

Только то хорошо, что почти не бывало случая, когда чего-нибудь опасного, вредного для него или окружающих требовал бы царевич.

Порою окружающие не понимают: что за охота ребенку в непогоду на воздух выбежать, любоваться вспышками молний, причем, конечно, и ноги промокают, и вся головка, с которой он даже сдергивает свой шлычек?..

Или верхом ездить попросится. А если его и на малорослого муштачка посадить — так не удержаться мальчуге.

Блестящие, красивые вещи, какие в покоях матери или у отца на поставках стоят, — все в его руках перебывали. И кубки резные, и статуэтки, часы, так заманчиво тикающие. Многое и побито при этом... И все он ближе разглядеть норовит.

В свои игрушки — в куклы да в утварь разную — и не играет почти малютка, хотя не мало их у него и у сестры Натальи.

А вот, подарили ему в день ангела купцы московские весь наряд воинский, крохотный, но тонкой работы, совсем как настоящий выделанный.

И угодили, видно, ребенку. Только и возится он с тех пор, что со своим вооружением. Запомнил, как на площади кремлевской при нем ратники саблями махали, царя приветствуя. И сам то и дело, знай, саблей машет... Гарцует на коне своем на деревянном — и с какими-то невидимыми врагами бой ведет без конца...

— Нет, — толкует мама, Голицына, — не такой это будет царевич, как иные у нас были. Вон, хошь, Федорушку взять. По-олный, бе-елый... Сидит, бывало, смирененько на руках весь день. И не слышать ево... Почитай, что до двух лет — сам и шагу ступить боялся. Чуть што, за тебя схоронится. А энтот... нет он не хоронится... За им и не убегаешься, за роженным, храни-ка ево, Христос... Феде слово скажешь, все послушает. Што в руках держит, и то кинет. А Петрушеньку и в год не уломаешь, коли чево заблажил... Совсем другой... Совсем... Он тя не послушает, не-ет!

Видит это царь и очень доволен.

Все, что задумал нового на Руси завести, помаленьку проводит в жизнь Алексей. Но сознает, что у него много лет уйдет на такое осторожное преобразование царства. А быстрее, решительнее поступать просто духу не хватает. И думает царь:

«Вот, коли бы Петруша таким вырос да остался, каким выглядит... Он все справит. Ему и легче будет. Кой-што поделано будет и до нево... И люди иные круг нево будут... И смыслить больше смогут, ничем наши обломы... Скорей бы подрастал...».

И в нетерпеливом ожидании отсчитывают дни, месяцы и годы отец и мать царевича, постепенно стараясь создавать новые рамки для жизни своего мальчика, на которого возложено так много надежд.

— Вырастет — в чужу края его самово пошлем. Он сам там все повыглядит, што для земли получче, — сказал как-то Алексей жене.

Наталья так и всполошилась.

— Ево... Петрушеньку!.. В уме ли ты?.. Да и не слыхано то... Изведут вороги нам сына тамо... Без призора, без пригляду.

— Ну, здорово на ново... Твои ли речи слышу, Наташа? Не мало раз сама меня на то подбивала, чево и не водится у нас. Мол, не было, а станет. И лучше буде жить. Сергеич што порадит, ты первая потаковщица речам ево. А энто — тот же Сергеич сказывал. Вон, погляди: персы сколь крепко по старине живут. А ихний царь, шах преславный, и то за рубеж выезжал. И на Москву заглянул. И дале побывал... Свету узнал... Што же, мы персов хуже, магометов несмысленных? А губить парня никто не станет... И оберегать можно буде добре... Не зря пустим... С людьми с верными... с надежной охраною...

Так мечтали отец и мать, любуясь резвым, красивым ребенком.

Братья, сестры тоже любили Петрушу.

Только Софья, гордая, несдержанная, сразу ставшая в очень натянутые отношения с молодой мачехой, и на Петрушу перенесла долю своего нерасположения. Иной раз и ее тянуло взять на руки крепкого, красивого мальчугана, тискать, целовать его, как это делали другие старшие сестры царевича.

Но глянут на нее два темных, навывате, глаза, так

напоминающие новую царицу Наталью, — и холодком пахнет в душу Софьи. Словно кто шепнет ей: «Нарышкиных отродье. Мать — босоногая челядница, царя-отца приворотила, што и покойницу, первую жену свою скорехонько забыл. А ныне — так к пашенку все и прилепились. Отец на остальных детей и не глядит. Все с им только и тетенькаются. Ровно бы во кремлевских теремах никово больше и нету... Забыл и дочерей и царевичей отец ради этого черномазого».

И, окинув недружелюбным взглядом мальчугана, уходит царевна.

Иное мечталось ей не раз.

Придет час, не станет отца... Хоть и не скоро, — когда-нибудь... Федя на трон сядет. Ну, сейчас видно, какой он царь будет... И тогда сестры, а больше всех она, Софья, примут участие в правлении царском.

Почему бы не так? Была же Ольга княгиней. Елена Глинская... А в Византии, о которой так много говорил им Полоцкий, о которой и сама царевна читала не мало повестей и хроник разных, «гисторий» правдивых... Там — женская власть и воля нередко стояла выше мужской... И в Англии бывало. Отчего бы и теперь не повториться этому на Руси?

А вот, негаданное появление Натальи... Ее самоуверенность, повадки, явно доказывающие, что и новая царица мечтает кой о чем, сходном с грезами Софьи... Этот мальчишка, такой же не похожий на остальных братьев... Им придется поневоле уступить, за ними будуще, за Нарышкиными...

Чует это Софья. Особенно сильно почуяла, когда увидала, как стала Наталья осторожно, постепенно, но систематически изменять прежний, вековой порядок, тяготеющий в теремах и над царицей, равно как над последней челядницей.

Уж не кроется так старательно царица московская и от своих, от народа, и от послов иноземных... Выезжать с царем стала в открытом возке, только под фатой полупрозрачной... На царских советах часто бывает, сидя в небольшом покое, из которого окно выходит в Грановитую палату. И послов там нарочно Алексей принимает, чтобы могла видеть Наталья все выходы царские.

А летом, когда послы в селе Измайловском во дворце на приеме были, царица Наталья рядом, за дверьми

была. Почти и не пряталась. Только дверь полуприкрыли да завесу опустили неплотно. Все слышно и видно, что у царя на приеме делается.

Трехлетний Петр был тут же, на руках у мамы. Царица почти никогда не расставалась с сыном, вечно тревожимая опасением за него.

Стояли, правда, стеной кругом нее и детей — вся родня Нарышкиных. Но и царь и Наталья чуяли: какая ненависть и затаенная злоба разлита кругом. И особенно берегли царевича, на которого оба возлагали так много надежд.

Пока гремели трубы, возвещающая о приближении царского посольства и о вступлении его в Палату, пока сам царевич оглядывался в незнакомом покое, куда раньше не водили его, — все шло хорошо.

Но вот вошли послы, стали по местам. Отдали поклон Алексею, который сидит на богатом троне, украшенном резьбой. Два золоченых рыкающих льва, снимки с византийских образцов, охраняют по бокам помазанника Божия...

Заговорили что-то по-латыни послы. Толмач перевел. И вдруг послышался голос Алексея. Так отчетливо, ясно прозвучал в наступившей тишине:

— Брат наш, цесарь Леопольдус, добр ли, здоров на царстве на своем?

Словно подхватило баловня-царевича, который души не чаял в отце.

— Тятя, тятя там! — сорвавшись с рук мамы, закричал ребенок и прямо кинулся к дверям, ловко увертываясь от второй няньки, думавшей перехватить его на пути.

Все растерялись.

Миг — и, распахнув завесу, показав царицу своим боярам и иноземным с ее свитой, в домашнем уборе, не набеленную, не нарумяненную, как тогда водилось, без фаты — царевич с криком:

— Тятя, миленький! — хотел уж бежать сквозь толпу бояр и послов к трону.

Алексей и улыбнуться был готов и поспешил нахмурить брови, понимая, как неуместно появление ребенка в торжественную минуту, как много будет толков о царице, которая невольно явилась всем в таком неприличном виде.

Растерявшаяся было в первую минуту мама Петра,

княгиня Голицына, забыв свою важность и почтенную толщину, успела-таки кинуться за ребенком, схватила его на руки и плачущего, брыкающего ногами, барахтающегося, словно вьюн, — принесла к матери.

Так и не доглядела Наталья приема. Пришлось унести самой Петрушу и утешать своевольного, упрямого мальчугана...

За исключением таких мелких волнений спокойно протекала жизнь и Натальи и детей ее. Ребяческие игры, болезни и ссоры — все это обычно, со всем этим знакомы матери целого мира: и царицы и поденщицы...

Чтобы ребенок имел сверстников для игры, к нему допустили по выбору около сорока мальчуганов, из «жильцовых», из служивых семей, живущих во дворце. Царевич был еще очень мал, и поэтому не разбирали — знатного или простого рода мальчик. Лишь бы здоровый, веселый был.

Часто летом, особенно под вечер, оставя пяльцы, вышивание или хлопоты по домашним делам, Наталья шла в сад, на лужайку, где Петруша резвился со своей крохотной свитой, под зорким наблюдением очередной мамы, нескольких нянек и двух-трех боярских сыновей, молодых парней, годных на всякие послуги.

Гам и звон детских голосов так и висел над лужайкой. Чаще всего играли в ратный строй. И конечно Петр был всегда во главе войска, хотя годами моложе всех. Но ростом и видом он казался много больше своих трех лет. Про смышленость и говорить нечего.

Один из сверстников, Екимко Воронин, мальчуган лет шести, сын стрелецкого полуголовы, хорошо знаком со всем ратным строем.

От него и царевич и все мальчуганы быстро переняли военные приемы.

Деревянные мушкеты, сабли, самодельные бердыши и луки со стрелами — всегда были в распоряжении роты липипутов. И впереди нее особенно важно, подражая большим, выступал полнощекий, румяный Петр, темные кудри которого так прихотливо выбирались из-под блестящего шишака, а глазки горели веселым, задорным огнем.

Устраивали мальчуганы и примерные войны, причем всегда побеждали те, кого вел на битву царевич. Отчасти сами дети старались потешить царственного сверстника. Но и сам он так стремительно вел на битву

«войско», несмотря на ребяческий возраст, так умел поднять воинственное настроение у своих, что противникам только и оставалось бегство или сдача в плен. Царевич в пылу столкновений забывал обо всем, не думал о возможности получить толчок, удар, хотя бы и очень чувствительный. Даже не плакал, если ему делали больно. Он заметил, что товарищей, задевших его, хотя бы и нечаянно, наказывали потом очень сильно и надолго запрещали появляться для общей игры.

Со слезами он бежал тогда к матери, а то и к царю, просил, чтобы вернули ему ратника, лепеча своим решительным, хотя и нетвердым говором:

— Не обизай ен Петрусу... Не дюзе бобо Петрусе...
Пусти к Петрусе Сению...

И Сению прощали, снова допускали к царевичу.

Часами любовалась мать своим первенцем. Окружающие ее боярыни что-то толковали царице. Она отвечала им изредка, почти не вникая в докучную, привычную болтовню, состоящую из дворцовых вестей и пересудов, из отрывков того, что по Москве толкуется... И все глядела на сына, думала да гадала: что ждет его в жизни?

Наведывался изредка и царь в свободные от дел минуты полюбоваться на своего любимца, потолковать с Натальей о том, кто им ближе и дороже всего на свете.

Конечно, окружающие удалялись тогда к сторонке, чтобы не мешать, не мозолить своим присутствием глаза царю.

Изредка лишь покидал царевич свои шумные игры, стрелой кидался к матери, чтобы приласкаться к ней, к отцу, поделиться впечатлениями веселой забавы, выпросить для себя и для своих товарищей яблочек, жамок, орехов, которые тут же «дуванились» поровну... И снова поднимались шум и возня, все голоса покрывал звонкий, веселый голосок царевича.

— Дал бы Бог на ноги поднять Петрушу, — часто повторял Алексей. — Вот бы царь был земле. Глядите малое, а какую отвагу да разум, сколь много даров своих отпустил ему Господь... Не Феде чета... Тому-то и жить в тяготу, не то дело царское вершители... Не глуп и Федя. Грех сказать. И душевный парень. Да больно размазня... А вот этот...

— Ох, уж молчи лучше, Алешенька. Услышат — и

со свету сживут мне сыночка Милославские да при-
сные их... И то, слышь, толкуют: научаем мы тебя с
Артамоном, слышь, с дядею, да с батюшкой моим, што-
бы ты детей старших наследья лишил, все моим детям
отдал бы... Вон што толкуют... Так уж ты не сказывал
бы и сам ничево, миленький...

Так с тревогой спрашивает мужа Наталья.

— Глупая. Никому же я, тебе говорю... Все одно,
хоть бы и не думалось мне, нешто они в покое оста-
нутся? Лютеют час от часу, вижу я, слышу, доходит и
до меня все, што круг царя деется... Не смогли в те
поры помешать женитьбе моей, теперь всяки петли
плетут, как бы тебя свернуть, и мне — крылья отсечь...
И деток наших со свету сжить... Гляди, никому боль-
шой веры не давай. Сама робят блюди. Бабушку проси,
Анну Левонтьевну, пушай за внуком денно и ночью...
И сестру свою, и...

— Да, уж и просить не приходится. Гляди сам:
вон, ровно насадка над птенцами, матушка так и кара-
улит всюды, где наш Петрушенька... Што он пьет, што
ест — все сама наперед надкушает да опробовать не-
волит того, хто яства подает... А от порчи, сам знаешь:
един Господь оберечи может... Коли сила да злоба у
кого столь велика, што могут на младенца, на душку
на ангельскую чары пушать... И мощи на ем, на ми-
леньком, на кресте навешены святые... И святой водой
омываем, коли чуть хоть бы што... Лекарь, почитай,
ежедень смотрит и язык и всево Петрушеньку... Бере-
жем, как можем. А тамо — Божия воля... Да спасет
его Великий Спас и Пресвятая Мати Богородица...

— Аминь...

И оба, замолкнув, глядят на ребенка, который без-
заботно, не чуя, какое величие и какие опасности ждут
его впереди, — носится по лужайке, покрывая птичий
перезвон своим веселым, детским щебетаньем.

Опасаясь оставить ребенка без своего призора, царь
и царица брали его с собою, куда бы ни выезжали,
хоть на короткое время из Москвы или из летних при-
городных дворцов. Ездил он и на осеннее, обычное бо-
гомолье царской семьи к Сергию-Троице.

Нравилось ребенку зрелище, которое развертывалось
всегда в виду высоких мшистых стен знаменитой Лав-
ры, еще так недавно выдержавшей грозную осаду.

Все иноки обители с местным духовенством во гла-

ве, отец-игумен, митрополиты и власти духовные, съезжавшиеся обычно к тому времени в монастырь, окрестные жители, монастырские крестьяне, с хоругвями, с иконами под торжественный звон колоколов, с пением псалмов выступали из главных ворот Лавры навстречу царскому поезду.

Царь с царицей покидал карету, которую еще тащил шестерик могучих, взмыленных от усталости коней, и, окруженный своей и царицыной многочисленной свитой, ждал с непокрытой головой приближения крестного хода.

Длинной, блестящей вереницей тянулось монастырское шествие, сверкая под лучами солнца изогнутой линией сообразно извилинам дороги. Поезд царя, кареты, кони, разноцветные кафтаны провожатых, дорожные темные шубы и головные уборы, также заполняя извивы монастырской дороги, сбегавшей здесь с полугоры, — все это красиво отличалось от первого монашеского шествия.

И пытливый глаз ребенка все замечал; еще бессознательно, но уже полно восхищался и вбирал в себя впечатления ясного осеннего утра, ласкового солнца, гармоничных красок и согласных звуков церковного пения, в которое порою нестройно, но кстати врезались оклики кучеров на балующих коней, лошадиное ржание и погромыхиванье бубенцов на парадной сбруе.

Зубчатые стены, еще носившие следы приступов и польских ядер, кой-где обвалившиеся, особенно влекли к себе внимание царевича. Ему чудилось, что там за ними кроются богатыри и грозные чудовища из сказок, какими тешили царевича старые нянюшки, когда, лежа в постели, а то и днем, порой усталый от беготни, он требовал:

— Сказочку скажи... Ха-аросую... позанятней...

И слушал сказку с затаенным дыханием, с трепетно бьющимся сердцем. То же испытывал мальчик, когда ему говорили о недавних сравнительно боях на Руси, об осаде Лавры. И эти рассказы сейчас словно выплывали в его памяти; проносились перед глазами лица воинов, дерущихся друг с другом, лестницы осадные, тучи стрел, шествия с иконами и крестами во время боя, чтобы Бог своей мощью оградил обитель от постыдного плена и разорения...

Бессвязными, но яркими картинками проносилось

это все в памяти ребенка, едва показывались впереди стены Лавры...

А войдя под своды ее ворот, проникнув в кельи, царевич, оставленный на свободе, так как опасаться здесь было нечего, обегал все кельи, все дворы и задворки монастырские. Заглядывал и к седобородым аскетам-схимникам, и в трапезную, и на поварню, где сутились молодые послушники и монастырские служки под наблюдением толстого, краснощекого отца-кухаря... Забегал и в келью отца-игумена... И везде был желанным, дорогим гостем. Все монахи расцветали при появлении мальчика, такого ласкового, вглядчивого, понятливого и веселого. Души в нем не чаяли обитатели Лавры.

— Наш царевич... Дитяtko Божие... Богоданчик радостный — так только и звали Петрушу все в монастыре.

В осенние, зачастую ненастные дни словно весна вторично заглядывала в темноватые кельи Лавры, в замкнутые, угрюмые или грустно настроенные души монахов, когда царевич являлся туда с царем и царицей.

Уезжали они — и долго еще вспоминали по кельям, как весело да радостно смеется младенец Божий, как он умен да ласков, что кому сказал забавного или милого, как шалил и проказил даже тут, в стенах монастыря, где вечно жизнь тянется так чинно, степенной и утомительно-однообразной чередой.

С каждым появлением все более и более живая и тесная связь устанавливается между царевичем и обителью.

Это впоследствии очень пригодилось Петру, как мы увидим из повести.

Любил эти поездки царевич. Но еще больше радости доставляло ему, когда Наталья одна, а то и вместе с царем брали сына в гости ко «второму» дедушке, как он звал Артамона Матвеева в отличие от Кирилла Нарышкина, первого деда.

Здесь не баловали очень Петра, не закармливали его сладостями, как дома или в Лавре. Но мальчику особенно нравилось, что с ним обращаются и говорят как с равным, не тискают, не тормозят, не пристают с лишними ласками. И «второй» дедушка и его «молодая бабушка» без всякого раболепства, просто и серьезно,

хотя в то же время очень внимательно и тепло относились к привлекательному ребенку. Они чутко откликались на каждую мысль, на каждый запрос детской, но уже полной неясными ощущениями души.

Матвеев так хорошо объяснял и рассказывал про все, что только ни пожелает узнать царевич. Раскроет большие, стоящие в углу часы, объяснит, как все зубчики двигаются, отчего звон идет из них на каждый час... И заведет такую птичку, которая, слово живая, поет. А между тем крылышки у нее золотые и вся она из чего-то сделана...

Пушечку маленькую подарил он мальчику. На колесах она, на тяжелом станке. Совсем настоящая. И мышку дал, тоже не живую, которую заводить надо. Тогда она кружится и бежит по полу так юрко, так быстро и забавно...

Раза два приводил его Матвеев в свой кабинет и раскрывал какие-то книги, в которых такие же цари нарисованы, как и царь Алексей, когда тот сидит в облачении полном на троне.

— Вот, смотри, Петруша. Это все дедушки и прадедушки твои. Все цари, великие князи и государи Московские... Они землей правили. Тебе готовили трон и царство. Теперь ты еще не уразумеешь. Мал больно. Только взглядишь в них. Как они смиренно сидят. Не носились, поди, так по хоромам, как ты... Все вниз главою не ставили. Ослухами не были. За то и люди их чтили. И Бог им давал много-много всего хорошего. И ты таким будь... Хорошо тебе будет...

— Мне и то ладно, — ответит Петр. А сам задумается.

Важные фигуры, надменные лица, блестящие венцы и бармы и ризы царские стоят перед глазами ребенка, когда уж и закрыты листы, на которых изображено все это. Непонятное влияние оказывают эти образы на душу ребенка. Он сам начинает ходить как-то ровнее, держится, как цари на портретах, глядит властно... И это еще больше прелести придает цветущему, прекрасному личику ребенка.

А в покоях «молодой бабушки», Матвеевой, тоже немало интересных вещей имеется.

Совсем не по-теремному убрано здесь, как и во всем доме матвеевском. Покои высокие, просторные, окна большие, свету много. Блестит все кругом: и по-

лы, и подоконники, словно зеркало. Ковры такие цветистые на полу лежат и через них белые дорожки протянуты. Вместо суконных занавесей везде затканые портьеры висят, гардины и подзоры красивые на окнах. Цветы стоят в разрисованных фаянсовых и фарфоровых горшках. Птицы в дорогих просторных клетках висят и так славно поют. И обезьянка живая сидит на камине, где потеплее, вечно грызет что-нибудь или почесывается так забавно...

А крошечная, покрытая белой волнистой шерстью собачка свернулась клубком, в мягкой корзиночке, у кресла, где обыкновенно сидит Матвеева. И прыгает к ней на руки по первому зову...

По стенам тоже ковры висят. Только особенные: словно живые, люди и звери и деревья вытканы на них. И писанные красками картины тут же висят. И темные гравюры, на которых баталии представлены, и портреты каких-то королей, со шлемами на головах, с чеканами в руках, вот как в сказках описывают няньки царевичу. Это все короли английские.

А на особом столике в опочивальне «молодой бабушки» чего-чего нет. Флаконы в виде цветов и драконов, фигурки фарфоровые... Зеркало такое большое, хорошее. А рама у него тоже из стекла, из разноцветного, выделанного в виде листьев цветов и золотых колосьев. Дорогой венецианской работы это зеркало. Сама Наталья с особенным интересом разглядывает его.

И еще стоит поставец, вроде горки, здесь в углу. Тут уж столько наставлено, что у Петруши глаза разбегаются, чуть он подойдет. А трогать, он знает, ничего нельзя. Все такое красивое, хрупкое. Изломает — «молодая бабушка» и недовольна будет, и побранит. Она одна только и решается делать выговоры ребенку.

— Надо, чтобы и он знал, что не все ему позволено, — говорит умная шотландка. — У нас принцев тоже так воспитывают. И это — неплохо.

Зато уж если снимет Матвеева с горки какую-нибудь безделушку, болванчика китайского, веер расписной, чашечку красивую, всю разрисованную людьми с косами на голове, и даст поддержать мальчику, — он и рад необыкновенно, и бережно держит вещь. Слушает, что ему про нее расскажут, откуда она привезена, что обозначает, как делается... И потом отдает:

— Поставь, слышь, баушка?.. Да не кокни, гляди...
Ладна забавка-то твоя...

Наглядится здесь на все и мчится к Андрюше, в его детскую.

Очень просто убрана эта комната. Проще всех в доме. Полочки для книг сделаны, стол стоит, за которым учится Андрюша Матвеев. Уже восемь лет ему. Он не только русскую грамоту и латынь, и польские азы, и греческие письма понемногу разбирает.

Но до этого и дела нет царевичу.

Андрюша показывает царственному родственнику — гостю кое-что поинтереснее книг. В больших коробах, покрытых кисеей, наколотые на шпеньки, сидят неподвижно яркие, цветистые бабочки, золотистые и бронзовые жуки невиданной величины и формы... Никогда таких Петр летом не видывал, хотя любит гоняться и ловить жуков и мотыльков.

И малюсенькие зеленые ящерки, не то сушеные, а даже живые — сидят у Андрюши в особом ящике, покрытом слюдой. Ловит мушек Андрюша и бросает в ящик.

Ящерица быстро накидывается на жертву, мелькнет раздвоенный язычок — и нет мухи, и другой, и третьей, сколько бы ни посадил к прожоре ее хозяин.

А в одном углу — целый небольшой крокодил, высушенный, отполированный, висит на шнурке с потолка. Один только раз, когда царь взял Петрушу с собой к лекарю фон Гадену, видел там царевич такое же чудище, только много больше, и напугался.

А здесь — чучело маленькое. И при Андрюше Петр не боится, хотя крокодил так и оскалил свои желтые частые зубы.

Книги у Андрея тоже занятные. Таких в тереме царевич никогда еще не видывал ни у братьев, ни у сестер, хотя те тоже учатся, как и Андрюша.

На больших листах — люди и звери и деревья нарисованы... И еще какие-то круги, которых не понять.

— Это — земля, — говорит Андрюша.

— Не! Земля — черная... Она сыплется... На ей трава, на ей хоромы стоят. Какая это земля, — возражает царевич.

А Андрюша уже новые чудеса выкладывает. Ставит на стол какой-то ящик, дернул за что-то. И ящик начинает играть, громко, хорошо так...

А потом — ведет в сад царевича. Тут позволяют везде бегать ему. Только сзади для порядку идет какая-нибудь нянька. Да где ж ей угнаться за ребятами!

И это чувство полной свободы, отсутствие любовного, но не прерывного и потому тягостного надзора особенно отрадно детской душе.

К небольшому гроту ведет хозяин гостя. В гроте — вечно звеня, под самым сводом подземный ключ пробивается наружу, каскадом падает вниз и вытекает из грота нешироким кристалльным ручьем, который весело катится дальше по ложу, выложенному, словно мозаикой, разноцветными камешками и перламутровыми раковинами.

Из темного угла достает Андрюша два кораблика, чудесно вырезанных из коры, оснащенных и полных балластом, который не дает опрокинуться им при спуске на воду.

Расправив измятые паруса, закрепив напрямую руль, пускает Андрюша свою флотилию по течению ручья.

Бегут оба мальчика за быстро движущимися вперед суденышками и вдруг очутились на берегу небольшого чистого пруда, куда впадает ручеек.

Посредине пруда устроен искусственный остров, на нем — беседка в виде колоннады, увитой зеленью и плющом.

Тут же, у берега, небольшая лодка привязана за колышек.

— Едем на остров, — предлагает Андрей. — Я умею грести. Сколько раз с тятьей и с матушкой ездил туда... Хочешь?

Петруша не решается сразу. Правда, ему никогда не случалось бывать на воде. Есть и в дворцовых парках пруды, большие, темные. Но всегда царевича остерегали, чтобы он даже близко к ним не подходил. И водяной ухватить может. И утонуть легко.

Тогда уж не видать ему ни тяти, ни матушки... И царем никогда не быть.

Да, те пруды — мрачные, окруженные большими деревьями. Порою и другого берега не видно, такие они обширные. А этот — веселый, ясный, небольшой... И кусты кудрявые кругом, цветы насажены... Раковины разноцветные кругом цветов и по берегу пруда раски-

нуты. Где тут водяному быть? И утонуть нельзя. Вон Андрюша говорит, что умеет возить по воде...

Поборов инстинктивный, детский страх, ребенок бойко, решительно говорит:

— Сади меня, Андруса... Только в воду не рони, гляди... Я утону...

Андрюша уже готов был исполнить желание гостя. Но в этот миг подросла няня, далеко отставшая от детей.

— Стойте... Стойте... Што удумали, проказники... Грех какой. Вон царь-батюшка идет. Он ужо вам...

Остановились дети, смотрят.

Петруша даже от воды побежал на аллею, усыпанную золотистым песком.

— Тятя... Где тятя?.. Ен с Петрусой сядет... По воде поплывет... Где ен?

Но, сообразив, что нянька обманула, мальчик сейчас же поспешил обратно.

— Нету тяти... Садись... Плыви, Андруса... Ты, нянька, прочь иди...

Растерялась старуха. Удержать мальчика — сил не хватит. Он, как развоюется, вырваться может из рук посильнее, чем ее старческие руки.

А все-таки с нее взыщется, что допустила царевича до такого баловства, опасного и запрещенного строго-настрого.

Ухватила за борт лодки старуха, молит Андрюшу:

— Андрюшенька, не плыви с им. Христа ради... Не велено, слышь... Лучче мне в воду головой, ничем дите пустить на пагубу... Ох, не сажай ево и сам не садись...

— Да если нельзя, я и не поеду, — отозвался степенно Андрюша. — Я нешто знал. Думалось, как меня пускают и одного в лодке, дак и Петруше можно... А то и не надо... Кинь, царевич... Идем, што я еще покажу.

— Не стану глядеть... Не надо Петрусе... Плыть охота... Плыть буду... Прочь, нянька! Иди, старая... Царю нажалуюсь... Хочу плыть... хочу... пусти...

И он со слезами, с громким криком стал оттаскивать от лодки старуху, которая так и вцепилась в борт руками. Вместе с нянькой, которую мальчик тормозил изо всех сил, раскачивалась и плясала на воде небольшая лодочка, расплескивая воду и обдавая брызгами и няню и ребенка.

Не слушая уговоров Андрюши, который видел, что добром дело не кончится, царевич с плачем стоял на своем. Лицо его побагровело и жилы на белом широком лбу проступили, как у его отца в минуты гнева.

На крик ребенка поспешили Матвеева и Наталья, тоже сошедшие в сад, и только усадив с собой ребенка в лодку и переправаясь с ним на остров, удалось им успокоить упрянца.

— Кремень будет парень, — с довольной улыбкой заметил только Алексей, когда ему рассказали обо всем.

— Пока что будет, теперь жаль, што власти нет над Петрушей, — отозвался Матвеев.

— Бог над ним власть... Да — доля ево... Пусть растет как растет, — отозвался Алексей. — Вон, меня по заветам держали по старым... Может, оттого и не вышло из меня царя такова, какой Руси теперь надобен. Ино, там людей слушаю, где надоть бы заставить себя послухать... И неладно. Пусть Бог им ведет. Авось худа не буде.

И рос царевич на полной воле, только любовь, раболепство и жаркие заботы о себе видя вокруг.

Радовался Алексей на красавца-сына. Отдыхал душою с любимой молодой женой своею. По царству — тоже все ни плохо, ни особенно хорошо шло.

А все-таки что ни день, то яснее царю, что силы слабеют. Какой-то тайный, роковой недуг точит тело, мрачит душу и тоской нестерпимой и неясными, но тем более томительными предчувствиями и подозрениями...

Раньше, бывало, спал хорошо Алексей, особенно после веселого вечера, проведенного с близкими людьми, вроде старика Нарышкина, князя Ромодановского, Матвеева, Ртищева и того же Симеона.

По складу характера все это люди очень не сходные между собой, разных взглядов на жизнь и на порядок в царстве. Но все — люди умные, способные относиться и к противникам с известным уважением, особенно в присутствии государя, когда тот созывает их не на совет, не на споры по вопросам управления землей, а просто потолковать, осушить кубок-другой в приятельской компании, без которой и Алексей скучал бы, как и простой смертный.

А теперь ни веселые вечеринки, ни усталость, ни лишний кубок вина не дают крепкого, без сновидений, сна недомогающему Алексею.

Часто просыпается он среди ночи с сильно бьющимся сердцем, в холодном поту... И вспоминает, не сон ли, тяжелый, страшный сон, который он видел сейчас, заставил его проснуться или просто плохо почувствовал он себя во сне? Оттого и пригрезилось все неприятное... Оттого он и проснулся, не может теперь заснуть, как ни старается.

Снятся ему часто дни походов, время польской войны.

Неприятен вообще вид крови и смерти царю. Особенно ярко приходит тогда на мысль, что и самому придется скоро, может быть, лечь в тесную домовину...

А во сне он видит море крови, груды тел... И враги уже теснят его... Он хочет повернуть коня, ускакать. Конь падает, пронзенный копьем... Хрипит и бьется.

Алексей решается бежать. Да ноги не двигаются.словно свинцом налиты. Чужие, мертвые... Какая-то глухая боль в пояснице усиливает мучительное состояние. Его тяготит не столько страх, что вот-вот сталь вражеского оружия коснется его груди, как эта неподвижность ног, эта неизбежная тупая боль...

Царь просыпается. Ему тяжело дышать... Ноги, правда, покорны его воле... Он вскакивает, спускает их с постели... Но боль в пояснице — она не прекращается и наяву, только становится тупее, не так ощутительна, как во сне. И сердце сжимается все больше... Удушье растет... Сделав глоток питья, которое стоит всегда, приготовленное, у постели, откидывается снова на подушки Алексей и лежит, не засыпая, целыми часами, пока наконец усталость не возьмет свое, и он засыпает.

А пока не заснет, самые неприятные думы и воспоминания приходят ему, как нарочно, на ум. Видит он трех своих сыновей, умерших так рано... Первенец его, Димитрий... Потом — тезка отца, Алексей... Такой хороший, умный юноша. Уже был объявлен наследником. Семнадцать лет ему исполнилось. Уж подумывал отец и невесту приискать сыну... И сразу, словно гроза среди ясного неба, — загадочная, жестокая хворь... И —

смерть... Умер и третий, Симеон, ребенком, правда, четырех лет не прожил... И — больной был, вроде Иоанна... А вот Иоанн — тот живет... Почти незрячий, плохо понимает, плохо может выражать свои мысли... Живой труп. А — живет... Отчего сыновья все умирали?.. Из шести — только трое уцелели. А из десяти дочерей — семь в живых... И три... да, три в могиле... И дочерей трех смерть унесла. Что это? Случайность?.. Или — знамение свыше... Кара за какой-нибудь грех...

Не помнит Алексей за собою особых грехов. Да и каялся он всегда, говел, получал разрешение... От патриарха от самого... Разве ж этого недостаточно для Божества...

А что ждет остальных детей?.. Особенно — Петрушу... И Федю... Кого лучше назначить наследником царства? Об Иване — и речи быть не может...

Старший — Федор... Вот уже шестнадцатый год ему пошел. Конечно, если смерть не даст отсрочки, если скоро наступит конец, — волей-неволей придется Федору вручить правление... С чьей-нибудь помощью... Вот, Матвеева. Да разве допустят до этого Милославские, Толстые, Хитрово... и все ихние... Не о земле, не о царстве — о своих местах, о чинах и разрядах все думают... Да о наживе скорой... Вот, если бы этих разрядов да мест совсем не было. Как в иных царствах... Там — много лучше дело идет... Сказать надо будет Феде... Если сам не успею все сделать...

Да, видно, Феде царить... Иное дело, если пожить еще лет десять — пятнадцать... Петруше будет уже к двадцати тогда. На Руси, в Московском царстве нет запрета... можно и молодшего сына на трон посадить, если отец этого желает... Вот бы тогда... И, рисуя себе, что было бы тогда, Алексей успокаивается понемногу и засыпает...

А днем и виду не подает, какую ночную тревогу пришлось пережить. Не желает он пугать Наталью. Да и бояре его, хотя и вечно непокойны они, тягаются между собой, потихоньку подкапываются один род против другого, все же не очень поднимают голос. Царь свое дело ведет, скоро нельзя ждать перемены. И им нет причины особенно заводить возню. А вот, если почуют, что скоро придется, может быть, старого хозяина хоронить, нового хозяина земли приветствовать, —

тогда всюду пойдут интриги да происки... И уж совсем покою не будет Алексею и в последние дни жизни...

Вот отчего крепится он, даже мало с лекарями своими советуется. Продажный все народ. Он их счастливит, дарами осыпает, почетом окружил. А они, может, первые, почуяв кончину государя, перекинутся на сторону тех, кто может больше заплатить, кому больше интереса узнать: когда умрет Алексей?.. Когда можно ждать воцаренья Федора?..

И стискивает зубы Алексей, чтобы не выдать гримасы страдания, порою невольно искажающей ему лицо и в храме, и на совете, и в часы веселой, дружеской беседы.

Наступил 1676 год. По обычаю торжественно справлено было Новогодие 1 сентября. И войска смотрел царь. И бояр да служивых людей принимал, дары раздавал обычные. У патриарха был и его у себя принимал с крестами и иконами.

Рождество минуло. Ничем не отличалось оно от прежних лет. Так же чинно и торжественно справлялись все обряды, проходили пиры и приемы.

1 января, когда за гранью справляют Новый год, в Москве он уже считался четыре месяца тому назад народившимся. Но все-таки и московский двор принимал некоторое участие в веселье и торжествах, с какими иностранные послы и резиденты справляли в чужом краю свои родные праздники.

А 6 января приспел большой выход царский, неотложный. Крещенское водосвятие на Москве-реке, где уж из года в год, чуть ли не веками, у Водоотводной башни прорубь для царской Иордани устраивается.

В торжественном, красивом шествии духовенства и первых чинов двора, при залпах из пищалей и орудий, в полном царском облачении, окруженный всей семьей, побывал Алексей на водоосвящении. Служил сам патриарх со всем кремлевским клиром, в сослужении митрополитов, какие только были в тот день на Москве.

Десять тысяч народу высыпали на оба берега реки, любуясь красивым, величественным шествием, всем чинном водосвятия.

Зимнее солнце, много дней закрытое тяжкими тучами, теперь проглянуло над Москвой, словно для того, чтобы придать больше блеска и красоты всей картине.

Парадные столы были после этого приготовлены во дворце. И царь сидел за трапезой, утомительной и долгой, до самого конца. Только ел очень мало. Пил больше. И не любимый свой старый мед, не фряжское вино, а квасы и легкую брагу, словно испытывал большую жажду.

— Знобить меня штой-то, — сказал он негромко Наталье, которая заметила ему, что он очень бледен, не так, как всегда. На пирах от жары и вина, которое приходилось пить, отвечая на здравицы, лицо Алексея обычно краснело.

— Знобит?.. Што же не встанешь?.. На покой бы тебе, государь... Лекаря позвать бы...

— Ништо... Пустое все... Вот велю байню завтра мне изготовить... Прогреюсь тамо малость — и как рукой сымет. Дело бывалое. Видать, продуло меня нынче на Иордани, на Москве-реке. Хошь и ясный день, да сиверко было... Помнишь...

— Да уж, веяло... Я и то опасалась... И за Петрушу. Нет. Спать лег с устатку да со свежего воздуха... А ты бы, государь, не одну баньку... Ты бы...

— Ладно, после доскажешь... Не час теперь... Видишь сама... Надо гостей отпускать...

И столованье пошло своим чередом.

Жарко была истоплена баня на самом рассвете другого дня.

В обширном предбаннике, убранном восточными мягкими коврами, кроме Алексея находился крепыш, татарин крымский, Али, любимый «мовник» царя, лекарь Данилко Жид, он же — Стефан фон Гаден, и постельничий, юноша Иван Нарышкин, брат Натальи.

По внешнему виду Алексея, всегда носящего широкие одежды царские, с лицом, правда, изжелта-бледным, но полным, нельзя было подозревать, как затаенный недуг подточил силы, изнурил крепко сложенное тело царя.

Дряблая кожа ложилась везде складками. Суставы рук и ног проступали отчетливо сейчас. А бывали дни, когда ноги вдруг разбухали и обувь представляла на них глубокие, вдавленные следы, словно на мягкой глине.

— Кровь и влага останавливается в жилах вашего царского величества, — объяснял Гаден державному больному.

Но от объяснений не становилось легче...

Сейчас, устав от несложной работы, от раздевания, в котором ему помогали Нарышкин и Али, Алексей раскинулся на белоснежной подстилке, склоняясь головой к шелковым подушкам, брошенным на тахты предбанника.

Гаден прикрыл его заботливо легким кафтаном на собольем меху, чтобы тело не охлаждалось слишком сильно.

Али вошел в парильню готовить вся для мытья.

Деревянные лавки и полки были начисто выструганы, выглажены и блестели, как серебро. Пол был устлан мягким, молодым можжевельником, как и скамьи и весь пол. От ветвей шел такой легкий приятный аромат. Большой, замурованный в печь котел с краном был полон кипятком. В углу стояла кадка с чистой холодной водой, лежали веники, губки на скамье, куски душистого мыла.

Тут же стоял большой жбан с квасом, настоящим на мяте, чебреце и других ароматных травах. Али черпнул его ковшом и плеснул на раскаленную каменку, чтобы поднять температуру в парильне.

Душистые, густые клубы пара отпрянули от раскаленных камней и заполнили помещение, быстро рассеиваясь, исчезая из виду и оставляя после себя только приятную, влажную теплоту и здоровый, бодрящий аромат.

Вошел Алексей.

После первых омовений явился сюда и Гаден с какими-то флаконами, баночками, мазями.

Он доставал оттуда понемногу, что ему было надо. Сперва мазал себя и Нарышкина, чтобы удостоверить в отсутствии всяких вредных начал. Затем наносил мазь на кожу больного. Али принимался осторожно и сильно втирать мазь с тем искусством, каким отличаются только восточные банщики-массажисты.

— Можно ль попариться теперя? — спросил Алексей, как и все москвичи, очень любивший это ощущение.

— Немного можно, государь. Я побуду рядом, послушаю, как сердце у вашего величества. А уж когда попрошу, немедленно сходите...

— Ладно, не дитя я малое и не старец столетний... Ишь, ровно младенчику дневалому, в пуху лежать не ве-

лишь ли, — ворчливо заметил Алексей, подымаясь на самый верх полка в клубах свежего, ароматного пара.

Это Али приливал квасу на каменку, зная вкусы Алексея.

И минуты не прошло после первых взмахов веником над разгоряченным, покрасневшим телом Алексея, когда Гаден, все-таки державший пульс, крикнул:

— Буде!.. Держи... Помогги... Свести надо... Как бы не сомлел...

И осторожно почти снесли они вниз довольно грузное тело Алексея, почему-то ставшего словно еще тяжелее. Он, правда, не сомлел, не потерял сознания, но почувствовал сильное головокружение, истому, мешавшую двинуть хотя бы одним суставом, лишаящую всяких сил. Состояние было и приятно и как-то томительно.

«Не умираю ли? — пронеслось в уме Алексея. — Так, говорят, перед смертью, когда душа с телом расстается, человеку бывает...».

Уложив царя на диван в предбаннике, все трое осторожно, но решительно стали растирать и осушать его мягкими «платнами». А Гаден и понюхать дал из флакона освежающей эссенции.

Алексею стало совсем хорошо.

— Буде, полно... Один пусть кто... — совсем раскрывая глаза, которые до того были полузакрыты, негромко сказал царь. — Хорошо мне... Ничего... Малость в голове замстило... А теперь совсем ладно. Как давно не было... Вот байня-то и на пользу, уж говорил я.

— Так, так, ваше величество... Все верно... А, прошу милости, и помолчите немножко... Ну, чево вам говорить. Мы и так сделаем, што надо вашему величеству. А теперь, после мытья — полежите тихо себе. Ну, и еще лучше буде государю моему... Ну, лежите же себе...

И Гаден снова осторожно покрыл, укутал до лица Алексея. Дал знак Али. Тот ушел в парильню, тихо стал за дверью возиться, все приводя в порядок. Врач и Нарышкин присели в уголке и молчали.

Протянувшись всем телом, царь закрыл глаза, которые сами невольно стали смыкаться, и скоро заснул, убаюканный полной тишиной, нарушаемой только плеском воды, проливаемой за дверью мовником.

Проспал он около часу и проснулся совсем освеженным, почти здоровым. Даже бледно-серый оттенок, за последнее время покрывающий лицо царя, уступил место более здоровой розоватой окраске.

— Без тебя, сам я себя вылечил, — улыбаясь, сказал Алексей лекарю, который с Нарышкиным помогал ему одеваться.

— Бог тебя вылечил, ваше царское величество. Бог — все может. Захочет — и сами больные себя лечить да пользоваться начнут... А нам, слугам Ево, лекарям да дохтурам — Он другое дело пошлет... Я бы и рад. Разумеешь сам, великий государь: какое легкое дело наше? Вылечил — так больной говорит: он сам себе помог. Бог ему помог. А не вылечил — больной и все ево родичи говорят: лекарь заморил. Такая уж правда живет на свете...

— Ну, не ворчи, старый колдун. Не станем тебя порочить. Всем скажу: Жидовин меня вылечил... Наживай с людей деньгу... Вот, и хрещен ты, два, не то три раза, слышь, хрещен... И католиком был, и лютером, бают. Теперя — православным стал... А все жадность Иудину из себя вымыть не можешь...

— Што делать, государь... Бог велит брать пример с избранных Ево, следовать заветам Помазанных Пророков Его. А ведь, писано есть: «Имеющий много — получит и то, што на долю нищих приходится...». Так цари делают. Берут у слабых князей у своих. Берут у соседних владык-государей. И мечом и умом — всяко берут чужое... Своей земле величье и силу несут. И знают, что Бог тово хочет... А почему же бедному лекарю не делать так, как делают большие господа? Он тоже хочет свой угол украсить, своему роду — силы дать, чтобы навеки процветал и дом и род его. Тако же и Господом Богом предсказано. За што же Иуда?.. Почему же о грехе стяжания сказывать изволишь, государь? Але ж, я не предаю... Я честно свои грошки зарабатываю...

— Да буде тебе, старый ворчун... Не взаправду, ведай, я... Сам знаешь, мил ты мне. Не первый год при мне... Али не приладился... Али — позолотить надо язык тебе, штобы не так бойко вертелся... Ладно. Скажу там казначею: выдаст тебе Ромодановский пару рублевиков... Молчи лих...

— Челом бью государю моему на милости. Я же знаю, доброе сердце у великого царя моего. А обиды я

и не имел... Я так говорил от Писания. Или нельзя говорить от Писания... А на милости — втретье челом бью, государь.

И ликующий лекарь снова отдал земной поклон царю.

Несколько дней бодрее обычного чувствовал себя Алексей.

В день именин сестры Татианы, 12 января, он посреди всей семьи простоял литургию в дворцовой церкви преподобной мученицы Евдокии. Бояре, жильцы дворцовые и приезжий чин — все поздравляли именинницу в лице царя, и он отдаривал их «именинными пирогами», по обычаю.

На неделе — смотры были воинские. После них — собрались во дворце и стрелецкие головы с полуголовами и полковниками, и иностранцы-полковники солдатских и рейтарских, конных полков, с другими старшими начальниками.

Петр, которого отец взял с собой на выход, с особым любопытством разглядывал иноземных, статных, нарядно одетых начальников.

Из иностранных военачальников, вызванных в Россию для борьбы с Польшей еще царем Михаилом, мало уже осталось в Москве. Многие выбыли в боях, умерли в мирное время. Другие, прослужив условленный срок, не получая тех выгод, каких ожидали, подписывая договор, выезжали обратно на родину, за рубеж, покидали «варварский» край, где жить было и неудобно, и недостаточно прибыльно.

Но едва кончилась Тридцатилетняя война, на Западе очутилось множество испытанных воинов, офицеров и рядовых, которые умели только воевать, совершенно потеряли всякую связь с мирными обывателями и их жизнью.

И Алексей, поддерживаемый в своих замыслах Матвеевым, стал созывать этих героев без знамени под московские стяги, предлагал им обучать и вести в бой русские рати, обещая за это вакантным кондотьери щедрое жалованье, и земли, и свободу веры, и право по окончании срока без помехи вернуться на родину.

Конечно, кто казался менее пригоден, того и не держали. Но полезных людей или таких, которые по своему положению, как Патрик Гордон, — по-

лучали много важных и тайных сведений о стране, о ее силах и слабых местах, — таких людей всеми правдами и неправдами уже не выпускали из пределов царства, не останавливаясь перед самыми крайними мерами.

Около 1661 года, как раз перед войной за Малороссию, прибыло в Москву особенно много военных инструкторов со всех концов Европы.

И сейчас, на приеме у царя, почти все они стояли пестрой толпой, где тевтоны, и англосаксы, и шотландцы с датчанами составляли главное ядро.

Полковник Крауфорд, приехавший на Москву из Польши еще с тридцатью офицерами, стоял в первых рядах, на полголовы превышая даже рослого майора Патрика Гордона, такого красивого в его наряде «гай-лендера». Низенький, коренастый, с ногами колесом, кавалерийский капитан Павел Менезиус дополнял собой эту группу. Его красное лицо, покрытое рубцами и шрамами старых ран, скрашивалось большими голубыми глазами, ясными, как у мальчика.

Цесарские рейтары, полковники: Шейн, Крайц и майор Вестендорф — в лосинах и ботфортах — продолжали ряд. Они тоже привели за собой в Москву до сорока опытных нижних чинов. Шотландец Смит, ганзеец ротмистр Шульце, датчане: полковник Эгерат и подполковник Стробель, саксонец Дикенсен, еще ганзейцы: полковники Гольм, фон Падерберг, Вильд, Ясман — дополняли число главнейших иностранных вождей московской армии.

У каждого из них было от тридцати до пятидесяти младших офицеров и рядовых разного рода оружия. И постепенно до сорока русских полков: солдатских, пешего строя, конных рейтаров, драгун и «крылатых» рот — было устроено и обучено этими европейскими наставниками ратного дела.

Из тридцати семи солдатских полков только три имели полковниками своих, русских, офицеров. Остальные тридцать четыре полковника были немцы, англосаксы, датчане, сербы и кроаты. Только в стрелецких полках полковники, носившие звание стольников, избирались из русского служилого дворянства и рядового боярства.

Из двадцати пяти полковников рейтарского и ко-

пейного строя всего пять было с русскими фамилиями: Григорий Тарбеев, полковник и стольник, полковники Михайло Челищев, Моисей Беклемишев, Михайло Зыков и Григорий Шишков.

Они стояли все вместе. Но если бы даже не различие в костюме, — самая выправка, склад фигуры и очертания лица дают возможность при самом поверхностном взгляде отличить московских офицеров-ратников от закаленных в походах бойцов и героев великих западных войн.

Ласково поздоровался со всеми Алексей. Генерал-майоров и генерал-поручиков еще раз поблагодарил за хорошее состояние их частей.

— Жалуем каждого по чарке вина... Эй, пусть там бочки выкатят.. А начальникам — водителям рати — по гривне жалуем, по серебряной, ради радостного дни, ради ангела царевны-сестрицы Татианы на многие лета...

— Да живет!

— Hoch!.. Es lebel!..

— Hip-hip-hourrra!..

— Эльен!.. Живио!..

Так на разных языках раскатывалось в сравнительно тесных сенях громкое приветствие разноязычной толпы в ответ на речь царя.

А он в это время подал знак чашнику. Выступило несколько человек «жильцов» с подносами, на которых стояли налитые чарки с крепкой настойкой.

Все выпивали, поклонившись царю, закусывали коврижкой, пряником и уступали места тем, кто стоял сзади... Более значительных вождей царь допускал и к руке. Артамон Матвеев как начальник Петровского полка в зеленых кафтанах, расположенного у Петровских ворот, тоже явился с поздравлением.

— Вот, Петруша, твой полк отныне. Сергеич, слышишь: сдавай царевичу команду. Отныне — доводи ево царскому высочеству, как надлежит, обо всем, что в полку буде деяться. И по ротам объяви, ково я вам в полковники дал...

— Челом бью на столь великой милости. Продли, Господи, веку тебе, государю нашему великому и ево царскому высочеству, царевичу Петру Алексеевичу всяя Руси. Да живет на многие лета!..

Все подхватили клич. И снова оконные рамы в покое задрожали от гула и грома голосов...¹

¹ Еще в 1657 году юный наследник флорентийского престола задал послу московскому стольнику И. И. Чемоданову вопрос:

— Какими силами располагает Московский царь и великий князь?

И Чемоданов начал перечислять:

— У нашего государя против его государских недругов рать собирается многая и несчетная. А строения бывает разного. Многие тысячи копейных рот устроены гусарским строем, другие многие тысячи, конные, с огненным боем (пищали), рейтарским строем; многие же тысячи с большими мушкетами, драгунским строем, а иные многие тысячи — солдатским (пешим) строем.

Надо всеми ими поставлены начальные люди: генералы, полковник, полуполковники, маёры, капитаны, поручики, прапорщики. Сила низовая, Казанская, Астраханская, Сибирская (казаки) — тоже рать несметная. А вся она конная и бьется лучным боем. Татары Большого и Малого Ногаю, башкирцы, калмыки бьются лучным же боем. Стрельцов в одной Москве, не считая «городовых» (род гарнизона, живущего по разным городам, особенно — на границах царства) — 40 000, а бой у них солдатского строя (пехота). Казаки Донские, Терские, Яицкие — те бьются огненным боем. А Запорожские черкасы — и огненным и лучным.

Дворяне же государевых городов бьются разным обычаем, и лучным и огненным, кто как умеет. В государевом полку, у стольников, стряпчих, дворян московских, — у жлыцов — свой обычай. Только у них и бою, что аргамаки резвы да сабли острые. Куды ни придут, — никакие полки против них не стоят (крылатые роты).

То у нашего государя ратное строенье. (См. «Статейный список посольств И. И. Чемоданова в 1657 г. в Венецию и иные государства».)

Конечно, делало честь послу, что он так ярко описал военное могущество своего государя. Но, должно быть, как добросовестный и осторожный дипломат, он очень кстати в самом начале грозного перечня употребил выражение «рать собирается» против недругов.

Действительно, только если грозила война или враг наступал неожиданно на русское царство, Военный разряд и разные Приказы со Стремянным во главе начинали слать гонцов по царству, звать из поместий, из усадеб ратных людей, которые во время мира занимались домашним хозяйством, а более бедные — хлебопашеством.

Стрельцы по городам хотя и несли сторожевую службу и полицейскую отчасти, особенно в Москве, — все-таки больше времени посвящали торговле, разным промыслам и занятиям, дающим кусок хлеба, так как казенный паек был слишком скуден и для самого ратника, не только для его семьи, если он заводился ею.

Лучше всех знали свое боевое дело и ратный строй солдаты, пехотные полки, и в мирное время не покидавшие занятий под руководством иноземных офицеров.

Самые понятливые из русских солдатских ратников, в свою очередь, получали повышение и обучали новые толпы оброчных, монастырских и царских крестьян, из которых вербовалась тогда пехота.

Всю неделю после того очень бодро чувствовал себя Алексей. Девятнадцатого января — необычное оживление замечалось во дворце. Там вечером должно было состояться любимое увеселение и молодежи царской, и самого царя с Натальей: комедия с музыкой, нечто вроде пасторали, с пением, танцами и декламацией.

В обширном покое, где наскоро была устроена «потешная храмина», стучали молотки, возились сами комедианты, устраивая декорации и обстановку. Им помогали дворцовые «жилыцы», особенно которые помоложе.

Сбоку устроенная эстрада для музыкантов была

Алексей собрал к концу своего царствования до 200 тысяч полурегулярного войска, то есть, такого, которое было обучено своему делу или иноземцами, или долгой боевой жизнью на окраинах царства, в борьбе с поляками, татарами и сибирскими кочевниками, беспокойными, воинственными и хорошо вооруженными порой. Даже Китай несколько раз высылал войска на Амур, чтобы отогнать от него передовые силы московского войска, осевшие по берегам богатой, многоводной, красивой реки.

Федор Алексеевич если не увеличил состав московских ратей, то все-таки заботился о поддержании в них порядка, о пополнении выбывающих ратников. «Русским строем» (луки, копьа, сабли, бердыши) умело драться до 60 тысяч человек. Тысяч 90 обучено было иноземному строю: огненному бою и конному учению. Были тут и пушкари, особенно — при стрелецких, пехотных полках, для защиты пехоты от нападения кавалерии.

Украинских черкасов, казаков насчитывалось до 15 тысяч. В Гетманском полку было до 5 тысяч с конями и оружием, не считая обоза. Кроме несчитанной, но огромной орды калмыков, башкиров и ногайцев, принимавших участие в такой войне, где предстояла пожива, было тысяч 8—10 Яицких, Донских и Сибирских казаков-удальцов.

Дворня боярская и дворянская, вооруженная разным оружием, под типичным названием «нахалы» составляла особый отряд, вроде иррегулярной конницы, занятой в военное время реквизицией и разъездами.

Стрелецкий полк в полном составе равнялся 1 000 человек. Сотни были под начальством капитанов, заменяющих прежних сотников. Стрельцы в Москве и в других городах жили особыми слободами полувоенного, полуобывательского, даже землевладельческого характера. У каждого стрельца была своя усадьба, огороды, пахотная земля. Первые роты каждого из 22 стрелецких полков, кроме мушкетей, бердыша и сабли, имели еще копьа и назывались «копейными» ротами.

При каждом полку находилось 7—8 больших пищалей (полевых орудий) на станках.

Пушкари набирались из тяглых людей, и стрельцы относились к ним презрительно. Вообще артиллерия была в самом ужасном виде даже для того времени.

увита зелеными ветвями и разными тканями. Перед подмостками, заменяющими сцену, устроили места для Алексея, Натальи и царевен с царевичами. Дальше шли скамьи. Ближе к дверям осталось свободное пространство для публики, которая, стоя на ногах, пользовалась случаем полюбоваться на диковинное зрелище.

На этот спектакль получали приглашение главным образом восточные царевичи, родня молодой царицы, Артамон с женой, бояре-стольники, спальники, народ из более молодых, сверстники Алексея, связанные с ним дружбой и одинаковой охотой обновить московскую жизнь, старейшие офицеры-иноземцы, как, например, полковник Лесли, генерал-майор Филипп фон Букговен, тесть Патрика Гордона, и некоторые другие. Были здесь и представители иностранных владык, для которых, главным образом, и делались самые важные шаги по приближению жизни московского двора к жизни всех остальных главнейших западных государей.

И самолюбие, и политические соображения подсказывали царю, что надо поскорее отделаться от тех завешанных стариной рамок жизни, которые богатому и многолюдному двору повелителя России и Сибири придавали вид татарской орды в глазах иноземцев.

Для послов и знатных иностранцев пристроили у стены, на подмостках нечто вроде ложи, где было удобно сидеть и хорошо видно весь спектакль.

Все уже были в сборе. Артисты ждали только знака начинать, музыканты проиграли прелюдию и приготовились играть «марш», вроде туша, под который обыкновенно появлялся Алексей с царицей и всей семьей; публика поглядывала на двери, в которые должен был появиться царь, прислушивалась — и все напрасно.

Больше получасу прошло после времени, назначенного для начала комедии, когда послышался шум за дверьми, они распахнулись, и появился Алексей со всей семьей, окруженный ближайшими сановниками и слугами.

— Ишь, как бледен нонче государь, — шепнул соседу, князю Куракину, дядьке царевича Феодора, молодой боярский сын Петр Андреевич Толстой.

Плотный, не по годам тучный, он бросался в глаза своими крупными чертами лица: широким утиным носом, чувственными красивыми губами и невысоким, но чистым, широким лбом. Все лицо его производило впе-

чатление человека, склонного широко пользоваться благами жизни, не думая ни о чем. Только глаза, небольшие, глубоко сидящие, но сверкающие юмором и умом, горящие каким-то внутренним светом и силой, говорили о незаурядной личности этого юноши.

Князь Куракин, благообразный, средних лет мужчина, по обязанности посещавший «новые затеи» царя, комедии и спектакли, так же негромко ответил:

— Не диво, крепится, слышь, передо всеми. А сам — хворает изрядно.. Што ж, года уж не молодые. А вон, погляди, и мой царевич, — ровно ему не по себе што... Смутный и на себя не похож... Еле бредет. И Иванушка — овсе ноги не волочит. Ишь, так и не отпускает руки братниной...

— Што мудреного: почитай и овсе очами скорбен болезный наш Иванушка... Слышь, што ни день, то хуже. Овсе света не видать ему... Кара Божия, одно слово, — с лицемерным вздохом произнес Толстой. — Зато погляди на Петрушеньку, на любимчика. Ему хоть бы што. Цветет, ровно яблочко, что ни зимой, ни летом ущербу не знает себе... Слыхал, поди, боярин, каки толки про дите про это идут по теремам... Насчет наследья отцова... Ась?

— Слыхал... Да не бывать тому... Рано зубы точут, кому лакомо. Велик кус. Не подавитись бы...

— Хе-хе-хе... Жирный кус, што сказать... Многи на него зарются... Поглядим. Занятно. — И Толстой своими сверлящими глазами стал вглядываться в царскую семью, занявшую места, словно по их лицам хотел разгадать, о чем думает каждый?

Представление длилось долго. Во время первого перерыва Иван подошел к отцу и слабым своим глухим голосом заявил:

— Царь-батюшко... челом тебе... повели в свои покои отбыть... Ишь, головушку разломило... Дядько-то рассказывает, без спросу твоего не вольно уйти... Я уж пойду, батюшко.

— «Головушку»... Экой ты у меня, кволой... Лучше бы и не приводили тебя. Гляди, мне самому, може, горше твоево. Сижучу. Ино — и потерпеть надо... Ну, да ты ступай. Тебе нечево маяться... Век — без заботы за братьевьями проживешь... Иди со Христом, блаженненький...

Иван поцеловал руку отцу и, держась за дядьку, вышел из палаты.

— И вправду, государь, — тихо, но тревожно заговорила Наталья. — Куды не приглядно твое царское здоровье на вид... Не поизволишь ли и сам на покой? Мы уже и досидим тута все, чтобы народ не булгачить: што ушли-де хозяева. Иди, государь. Бога для прошу. Сердечушко штой-то у меня и не на месте.

— Ну, ты, Наталья, запричитала. И без тебя тошно. Оставь. Сижу — и ладно. Перемогусь — лучше буде, ничем валяться мне. Вон, Данилку спроси... А невольно-ту стане, — я и пойду... Не робятишко я несмысленочек... Ну, и оставь, — нетерпеливо уже закончил Алексей, видя, что Наталья собирается ему возражать.

Загремела музыка. Начался второй акт.

Хотя внимание зрителей было обращено на сцену, где разворачивались смешные приключения героя комедии, все почти заметили, что царь вдруг сделал знак Матвееву и своему лекарю. Оба, стоя за спиной государя, наклонились к нему. Гаден дотронулся до лба, до руки Алексея, шепнул что-то Артамону, и оба почти вынесли его в соседний покой через небольшую дверцу, близ которой были устроены царские места.

Наталья сейчас же вышла вслед за мужем.

Федор и царевны поднялись было... Но она им дала знак оставаться на местах, и они снова уселись.

Комедианты на сцене лучше всех могли разглядеть, что случилось. Растерявшись, смущенные говором и тревогой, охватившей всю публику, музыканты и актеры умолкли на некоторое время. Потом, подчиняясь ремесленной дисциплине, снова возобновили было представление.

Но из двери, куда увели царя, появился Матвеев:

— Государь, великий царь мочь не изволит лицедействие смотреть. И все вольны по домам ехать. А хвори особливой у государя нету. От духу, слышь, от тяжкого — скружило головушку, знать, как лекарь сказывает...

Музыканты и актеры скрылись за кулисами. Зрители торопливо двинулись к двум дверям, ведущим из покоя в обширные сени деревянных царицыных теремов, где происходил спектакль.

Знакомые, друзья собирались по пути кучками, переглядывались, обменивались негромко короткими словечками, опасаясь здесь дать волю языку.

Зрительный зал сразу опустел.

Петр Толстой, словно поджидавший Куракина, который степенно и довольно медленно двигался за толпой, сказал ему негромко:

— Сбирался я отсель к боярину Хитрому, к Богдану Сергееву... Не пожелаешь ли по пути, князьенька? Чаю, он рад будет такому гостю.

— К Хитрому... Пошто?.. На ночь глядя. Чай, спит давно боярин...

— Верь, не спит. Так я и обещалси заглянуть после феатра, навестить старика, коли что новое, поведать бы ему... А тут...

— Н-да... чудны дела Твои, Господи... Дай, Боже, здоровья царю... А что ты думаешь: и впрямь, загляну с тобой к боярину Богдану, коли не спит, говоришь...

Оба они сели в широкие сани Куракина, свою челядь Толстой послал домой и повез дядьку царевича Федора к боярину Богдану Хитрову: поделиться важными вестями, а может быть, и еще для каких-нибудь дел и тайных целей...

Десять дней тревога и печаль черной тучей повисла над кремлевским дворцом и теремами царскими.

Что ни день, то хуже Алексею. Обмороки, припадки удушья — все чаще и чаще.

Тает больной, как воск. Широкий костяк так и проступает из-под кожи, обтянувшей лицо и тело царя.

Кроме царских лекарей, Костериуса и Стефана фон Гадена, собраны к постели его все лучшие доктора Москвы, какие и в Немецкой слободе живут, и у бояр у некоторых, и при послах иноземных.

Долго совещались ученые доктора. Потом, покачивая печально головой, лекарь Иоганн Гутменч от имени всех остальных заявил Кириллу Нарышкину и Матвееву:

— Ко всему надо быть готовым. Если што требуется по царству еще распорядить, лучше пускай бы исполнил то ево царское величество. А и святова причастия принять — благое самое время есть... Долго таил недуг свой царь. Еще ранней спасти бы мочно... А теперь...

Лекарь не досказал...

Это было 28 января 1676 года.

В тот же день патриарх исповедал и приобщил Алексея, который ничуть не удивился предложению Натальи совершить это таинство.

— Силы, здоровья прибудет тебе, свет Алешенька, коли примешь святых даров...

— Да... Ладно же... Нешто я против... сам хотел... Видно, уж скоро...

— И, государь, не думай, не тужи, не кручинь себя. Годы твои еще не старые... Всяку хворь одолеешь, — глотая слезы, стараясь улыбкой ободрить мужа, уверяла царица. Но сердце не выдержало. Под предлогом, что надо к детям, она поспешила уйти и в соседнем покое вся забилась в потрясающем, беззвучном рыданье.

Кончилась исповедь, причастили Алексея.

— Матвеева мне... А ранней — Григория Ромодановского... Легше мне... Пока есть силы — надобно приказ отдать... Скорее...

Явился Ромодановский.

Царь, выслав из опочивальни всех окружающих, заговорил:

— Слышь, князь, вера у меня к тебе великая. Служил ты мне по правде, пока я жив был. И по смерти — послужи. Обещаешь ли?

— Не раз я тебе, государю, обет давал... И ныне снова, коли волишь, — перед святым Крестом, перед ликом Божиим поклянуся: што повелишь, исполню. Хоша бы и смерть принять за то довелось...

— Нет... Зачем помирать... Ты — вон какой крепчак... Живи... Жить тебе надо... А я, вот... видишь, брате, помираю... Оно бы и не пора самая... Да, видно, воля Божия... Ох, тяжело и говорить то.

— Передохни малость... Не труди себя так... Потихе толкуй... Я разберу...

— Да, и разборка невелика... Есть тамо у тебя казна моя царская... Не раз, как в поход собирался... Жив вернусь, нет ли — чаялось... Вот я...

— Так, государь... Давал мне хоронить и казну твою, и рухлядь хорошую, меха, парчи, ткани... Все цело... Не мало собралось... Сохранно лежит...

— В приказе Тайном... в том покое, что я тебе показал, за дверьми за железными... Ну, ладно... А — никто не знает?.. не проведали?..

— Кому знать, государь... Без глазу чужова все туды сношено. А заглядывать никому не мочно. Приказ даден... Словно бы там грамоты особливо тайные государские ваши положены... И смертью покарать

обещано, хто попытается... Не бойсь, государь. Поправляйся скорее. Все тебе сохранным сдам...

— Э-хе... Какая уж поправка... Не мне ты сдашь... Царю новому... И то — не сразу, гляди. Слышь, брате, не надумал еще я... Буду Господа молить, наставил бы меня: ково из сыновей благословить на царство...

— Да, нешто Федор... Ево же, государь, вот год второй идет, и объявлял ты боярам, духовным властям и народу... Али...

— Што ж, што объявлял. Что в летах он совершенных есть. Так это от него и не отыметсЯ. А царем на Руси, мы, государи, умираючи, — вольны, ково Бог нам укажет, постановить, хоша бы и не старшова... Бывали случаи... Да, ты стой... молчи... Не сдужаю много... Слышь, тута, в опочивальне — ларцы стоят... да три укладки невелички... По-прежнему потайно, в ночи, што ли, — снеси туды, где и другое все... И закрой по-прежнему... И закланись не говорить, не давать ту казну, хоша бы царь али кто иной пытали тебя о ней... Молод Федор... Жадны бояре сильные... И родня вся женина, Марьи Ильинишны, покойницы. Сколь много им ни дай — все расхитят... А придет час недолги... Беда пристигнет, война ли, мор ли, али иное Божье попущение, што казна пуста стоять будет, земля оскудеет... Ох, тяжко и слово сказать... Пожди... — И, тяжело дыша, Алексей помолчал немного, потом снова заговорил: — Вот в те поры — и откроешь царю про клады про наши... А, храни Бог, тебя пристигнет час воли Божией — перед кончиной сыну своему поведай... Тоже под клятвой... да со креста целованием... да...

Он не закончил, умолк.

Широко перекрестился Ромодановский на образа, стоящие в углу, достал из-за ворота рубахи нателный золотой крест и, целуя его, сказал:

— Крест святой и мощи, кои в нем, целую на том, што все поисполню, как ты сказываешь. Не будет моей душе спасения, коли поиначу волю твою.

— Ну, вот, спаси тя, Бог, награди, Спас милостивый... Мне словно легче стало... Теперя — иди. Тамо Сергеич да тестенька... Кириллу зови сюды... Да... Нет... не надоть больше никого...

Ромодановский, сдерживая волнение, ударил челом, припал губами к руке, которую протянул ему царь, и вышел.

Когда Матвеев с Нарышкиным вошли к умирающему, Наталья, кое-как овладев собой, тоже проскользнула в опочивальню, опустилась у самых дверей на скамью, так что из-за полога над постелью царь не видел ее, и сидела тихо, неподвижно, с воспаленными, заплаканными, широко раскрытыми глазами, закусив губу, чтобы не разрыдаться. Ее постоянно веселое, розовое лицо теперь было покрыто багровыми пятнами и все пылало. А порою вся кровь отливала к сердцу, и лицо принимало сразу прозрачный, восковой оттенок, а тело трепетало от озноба частой, мелкой дрожью.

— Што поизволишь, государь?.. Пришли мы по зову твоему... Рабы твои... Дал бы Господь нам радости: жива-здрава скорей тебя узрети... Повели, государь, по-выполним, — первый обратился к царственному зятю старик Нарышкин.

Обычно этот тихий, не особенно умный, простой, мало образованный старик, помещик средней руки, только и находил отрады — вкусно поесть и особенно изрядно выпить. Приподнятое от вина состояние было ему отрадно больше всего. Но сейчас новопожалованный боярин был совершенно трезв и печален. Даже какой-то инстинктивный страх проглядывал в бегающем взгляде его глаз, в напряженном положении головы и шеи, в поджатой губе, в связанных движениях, словно он сам подстерегал врага или ждал, что на него из-за угла нападет смертельный, непримиримый соперник и уничтожит одним ударом.

Старик понимал, что стоит на карте, что связано со смертью Алексея.

Удача — значит регентство Натальи, его собственное безмерное возвышение... Упоение власти, наслаждение всеми благами мира без конца...

Неудача... О ней старался и не думать Нарышкин. Сейчас же холодный, липкий пот выступал на лбу, губы сохли, горло сжимало каким-то клубком... Язык не имел силы сделать движение, чтобы увлажнить пересохшие губы...

Раболепно склоняясь перед зятем, он вперил взор в больного, желая своим опытным стариковским взглядом уловить: как много еще осталось прожить зятю.

«Плох, и вовсе плох сердешный... Часочки, гляди, остались», — сразу пронеслось в уме Кирилла, едва он взгляделся в Алексея.

И тот с чуткостью, присущей иногда умирающим, угадал и значение взгляда и мысли растерявшегося старика.

— Да, тестюшка... Ныне сам видишь: крышка мне... теперя... Да и тебе не в долгах... Вот и порадь мне по чистой совести... отменяя всяку корысть и кривду... всякое людское да мирское вожделение... Как мыслишь для земли бы лучше: Федору царство приказать... али...

— Внучку... царевичу богоданному, Петрушеньке нашему... Вестимо, ему... ему, государь... Ишь, какого тебе Господь послал... Дитя — што и нигде не сыщешь... Не беда, што мал... Найдется и для...

— Так... ладно... Сдогадался ты, Кириллушка, о чем речь поведу. Да и я наперед ровно и слышал, што сказать нам можешь... А вот вдругое спрошу, как мыслишь: силы станет ли, сберется ли ведьмочного люду столько, штобы и уберець до совершенных лет юного царя-малолетка?.. И царству порадую дать, не завести междуусобицы, от коей и земля погибнуть может... Вот, помысли, по чести скажи... Оно, и то сказать... ранней бы мне самому многих бояр и властей опросить... Да, все думалось иначе... Не пора-де. Ан, пора и приспела... Так, говори уж...

— Сказал, государь... Инова не придумаю. А и спрашивать не надобно. Не раз со многими людьми и у меня и у других близких наших толковано... Уж не посетуй, твое царское величество... Так, про всяк случай говорилось... Очень многие на том стоят, и люди не малые: быть бы меньшому в больших, попередив и старшова... Вот, государь, моя правда, как на духу...

— Так ли, Сергеич?.. Чай, и ты... про всяк случай... о том же толковал порой...

— Нет, государь, не случилось. А на спрос твой скажу: верно боярин честной Кирилло Полуэхтович рассказывает: не мало есть народу и значнова, не простова — кои за новую семью твоего царского величества, за Нарышкиных с царевичем Петром Алексеевичем станут, Милославским да присным их — насупротив... Хотя бы и до крови и до бою дело дошло... И меня заботит дума: как бы свары да резни братской не было... Вон, сам ведаешь: по полкам ратным, особенно по стрелецким — смута всяка да шатанье пошло... С крестов да с поклонов починалось... А теперя — и ины сказки рассказывают. Все им не в уgodу... Все — не по

правилу... То и гляди, разруха, мятеж зарыкает, аки лев голодный... Тут и подумаешь... И ума не приложишь.

— Да... да... вот, ты правду говоришь... Особливо Наталью... царицу мне жаль... На ей зло первой всех выльется... коли што загорится... Ох, тяжко...

Наталья, не выдержав, тихо стала всхлипывать, но Алексей услышал:

— Здеся ты... Ну, иди уж... иди сюды на совет... Што тут... Да не плачь... Дело великое. Меня не нуди... себя не мучь... Наплачешься... Буде...

— И то, не плачу, Алешенька... И — чево? Бог даст...

— Даст... даст... А покуда — будем сами не плохи... Так, што же скажете?..

— Да, государь, есть дума одна... Вон, и отец Симеон на то же склоняется...

— И он... надо бы и ево к нам... да пусть уж... Гляди: всполошишь всех, коли много звать стану... да все не ихних... Што же вы там надумали? Говори прямо.

— И лукавить не в чем, друг ты мой... Видное дело — Федор-царевич царем станет, Милославские зацарюют... да Хитровы... да всякие с ими... Ково ты всю жизнь сторонился... Хто на всех путях твоим починам добрым помехой был, на старые пути Русь поворачивал...

— Да уж, мой Ваня, слепыш бедный — и то, поди, знает, што правда слова твои.

— Петрушу царем... Перво — и молод он... Не пустят бояре семье нарышкинской у трона стать до свершения лет полных царю-малолетку... Уж не верти головой, государь, Кирилло Полуэхтыч... правду сказать надобно...

— Сказывай, сказывай свое... Я — не помеха, — поспешно отозвался Нарышкин.

— Вот и думалось...

— Ну, ну... што... сказывай.. Пожди... вон, в чарке — питье стоит. С нево — силы прибывает мне на малый час... Дай хлебнуть... Да, хоть и не пробуй... Стефанко не отравит... Вот... Ух, и горько же... Ну, сказывай... Жжет питье. А без ево, слышь, сам чую, и не жил бы уж давно... Што же вы там надумали... Толкуй.

— Ежели бы так тебе, государь, показалось за бла-

го: призвать старшова царевича. Разумный, добрый он сын. Ево ли вина, што хворь одолевает... И сказать бы ему: на троне одному — трудно-де. Сам видел, как твое величество себя утруждало ину пору, не получче батрака последняво... А заботы, а вороги свои и чужие как одолевать начнут... Вот и хорошо, если не один человек на царстве, особливо — молодой... И взял бы он себе вторым царем — молодшего царевича... Петра, вестимо. И пока тот в молодых годах, сберегал бы брата, вкупе да влюбe со всеми родичами царевича, на коих ты укажешь, вот, хошь бы дедушка, Кирилло Полуэтович... Дядя Иван Кириллович. Разумник, на все он пригоден, слышь... Матушку царицу, Наталью Кирилловну — и подавно слушал бы царевич. Родне не давал бы ее в обиду...

Царь глубоко вздохнул. Очевидно, он и сам много думал об этом именно вопросе.

— Ну, там, кроме главных бояр, еще ково поставишь опекать Петрушу, до его лет совершенных...

— Тебя, тебя, Сергеич. Лучче — и не надо...

— Как воля твоя, государь. Послужу по совести, как и тебе, друг мой, государь...

— Знаю... знаю... Што ж, так буде ладно... Я позову сына... Я скажу. Он не отречется... И не на словах на одних... Запись возьму... Крест целовать, Евангелие будет... Так... Ладно будет так... И не станет злобы такой, как от одного гнезда... Все едино: те ли, другие силу заберут, — станут недругов гнать... О-ох, горе мое... Родня на родню словно волки... Ну, да не поиначишь людей... Так, и Бог с им... Ступай, скажи... сына бы позвали... Федю... и Петрушу... Сейчас скажу...

— Што торопишься так... Ишь, ты ровно полоску вспахал, государь, от речей от наших. Передохни, государь...

— Не-ет... Не перечь... Уж тут не до роздыху... Может, и утра не дождуся... Зо-ви... слышь...

Вид царя ясно говорил, что он прав.

Наталья снова затрепетала вся от беззвучных рыданий.

— Буде, Наташенька... Бу-де... Иди же...

— Иду, государь... А все же ранней — лекаря к тебе пошлю... Не станет ли он говорить чево против...

— Ладно, посылай... Все едино, он не посмеет... Иди же...

Матвеев вышел.

Наталья, которой царь дал знак рукой подойти поближе, сделала шаг к постели, вдруг, как подкошенная упав на колени, прильнула головой к ногам больного, целуя их с невнятными, сдавленными рыданиями и несвязной мольбой.

— Боже... Творец милосердый... Царя... сына спаси... детей моих... и ево... Спасе Милостивый... Пречистая Матерь Бога нашего.

Но и эти звуки смолкли через мгновение, и она, полусомлевшая, осталась распростертой у ног мужа, прильнув к ним губами.

Потрясенный, бессильный, он тоже не мог двинуть даже рукой, не мог сказать ни слова...

Жуткая тишина воцарилась в опочивальне.

Нарышкин, отойдя к окну, отирал крупные слезы, сбежавшие по его щекам, по седеющей бороде.

Матвеев, выйдя в соседний покой, чуть было не натолкнулся на боярыню Анну Петровну Хитрово, которая о чем-то негромко толковала с Гаденом.

Как только последний по приглашению Артамона прошел к царю в опочивальню, Хитрово, вздыхая, слезливым голосом, возводя очи к небу, поспешно заговорила:

— Охо-хо-нюшки, горе наше великое. Покидать собрался нас сокол наш ясный, государь — свет Алексей Михайлович... И на ково мы, сироты, останемся, горемычные... Вот, уж, не ждали беды, не чаяли.

— Што уж, боярыня, заживо оплакиваешь... Авось Господь...

— То-то и я баяла... Нет, слышь, лекарь иное мыслит. А кому и знать, как не Жидовину. Он в своем деле — мастак... Мало ли лет при государе. Ровно свое дитя рожное — ведает всю плоть и кровь государеву... И-хи-хи... Карает землю Господь, за грехи за наши... Мало молим Ево, Батюшку... Старину порушили... Вот...

— Вестимо, все — Божья воля. А я, боярыня, к царевичу шел. Не видала ль ево нынче? Как он... К царю надо звать... Царь...

— Эка беда... Я, слышь, и то от царевича из покоев. Грудку ему растирали при мне. Маслице есть у меня из Ерусалима-града. От Гроба Спаса нашево... Я сама принесла, недужное то местечко и помазали... И сам он болен, голубь наш, а про батюшку-государя все

знать волил. Я и рассказываю ему: «Ково пошлешь, — и не поведают иному правду-то, про царское про здоровье. Сем-ка я пойду... Мне как не сказать?!». И пошла... Ан, тут и ты за царевичем... Эка пропасть!.. Ни вдохнуть, ни шеи погнуть... Где тут подняться ему... Вон, сам поизволь, навести голубя мово... Увидишь, коли, может, на мои слова не сдашься...

Матвеев пытливо поглядел в маленькие, словно сверлящие своим взглядом глаза старухи. Не то торжество, не то насмешка светилась в них. А лицо имело самый умильный, ласковый вид.

«Сдогадались, видно... Сговорились до поры — поостеречися, не пускать сына к отцу... Али уж што и налажено у них?.. Времени выжидают...» — пронеслось в уме у Матвеева.

Но он постарался не проявить ничем своего недоверия к старухе.

— Што же, я сдоложу царю... И тревожить царевича не стану. Хворому — иным часом и видеть никою не охота, и слово — в тягость сказать. Ты сама уж, боярыня, потрудись, сделай милость, передай, што изволит государь: как полегче станет царевичу, — к отцу бы шел. Все едино, в кою пору... Ночью, рано ли поутру... Как полегчает, — и шел бы...

— Скажу, скажу... Видно, дело великое, коли ты сам позываешь!.. Видно, што и не терпится, коли и в ночи прийти можно?.. Скажу, скажу, боярин... Уже пошла... Вмиг скажу... Коли царевич осилит себя, — и в сей час придет к отцу... Живым бы только застать родителя, как чаешь, боярин?.. Не помрет государь наш так уж, нимало не мешкая?.. Асеньки?

— И думы о том нет, боярыня... Слышь, не видал сына весь день, — вот и поволит... Сын ведь старшой, наследник... Мало ль што у отца сыну сказать сыщется... Вот и зовет...

— Так, так... Ну, от души отлегло... Камень с груди спал... А то слышу: хошь в ночь, хошь за полночь!.. Не помирает ли великой государь?.. Тогда бы все честь-честью надо... И духовный чин, и боярство, и родню... А не то — сына одново, наследника, ровно бы ему какой наказ особый дать волит царь-батюшка перед последним часом. С глазу-то на глаз, без людей безо всяких...

Матвеев почувствовал, что лукавая старуха почти проникла в затею. Но он так же спокойно заговорил:

— Не до наказов теперь... Слаб вовсе государь, слышала ж от лекаря, сказываешь. А ежели напомнить хворому, что час близок, што надо и о душе, и о сыне, и о царстве подумать... Гляди, и вовсе не вынесет... Разве ж можно... А не звать царевича, коли отец желает, — опять нельзя... Ты уж передай... И знать дай: как да што с Федором?.. Скоро ль царю ждать ево?..

— Не премину, не промедлю... И царевичу в сей час сдоложу, и тебе весточку дам... Уж я пошла. Гляди, не жалею ног старых... Бегом побегу...

И, обменявшись поклонами с Артамоном, Хитрово, переваливаясь, семеня ногами, быстро вышла из покоя.

С досадой дернув себя за ус, Матвеев злым взглядом проводил старуху, которая столько лет сеет смуту и свару во дворце, и вернулся к Алексею доложить ему все, что услышал.

С вечера, в тот же день, Богдан Хитрово долго сидел наедине с теткой. А на другое утро, после обедни — собралось к боярину много вельмож и воевод, за которыми еще накануне были посланы особые позываые, ближние ключники и молодежь из родни, проживающая в доме каждого значительного боярина в ожидании, пока можно будет пристроиться к царской службе.

Все почти недруги Нарышкиных собраны в большом столовом покое боярина Хитрово, а их — не мало. Здесь и Федор Федорович Куракин, властолюбивый «дядька» Феодора, и оба брата Соковнины, Алексей и Федор Прокофьиичи, и бояре Милославские: Урусов, князь Петр, князь Лобанов-Ростовский, боярин Вельяминов, Александр Севастьяныч Хитрово, боярин Василий Семенович Волынский, безличный, на всякую посылку готовый человек. Несколько воевод Стрелецкого приказа, недовольных льготами, какие идут иноземным войскам, тоже пришли на совет. Здесь и оба брата Собакины, на сестре которых женат Иван Богданович, и судья боярин Иван Воротынский, и Яков Никитыч Одоевский, и молодой Василий Голицын — все пришли на пагубу Нарышкиным.

Все давно знают друг друга, связаны или родственными отношениями, или общими выгодами и стремлениями. Но, кроме того, с каждого хозяин клятву взял: хранить в тайне все, о чем придется толковать нынче.

— Помирает батюшка-царь наш, свет Алексей Михайлович... Надо нам помыслить: што с царством да с нами будет, — объяснял всем Хитрово.

И все поняли, что настал решительный миг...

Особенно суетился Петр Андреевич Толстой вместе с вертлявым сухеньким боярином Троекуровым. Не имея за собой ни особого влияния, ни значения в Приказах или в боярской Думе, — оба они чуют, что близок перелом, и усердием стараются придать себе цену в глазах людей, которым по всем вероятностям достанется верховная власть.

— Ну, лишний народ я поотослал, — заявил Хитрово, когда заметил, что все почти в сборе, — можно и о деле потолковать... Обещал, правда, и протопоп Василий побывать, духовник царевичев... Да, и без ево потолкуем. Он наше дело знает...

— Вестимо, ждять нечево, — нервно теребя редкую бороденку, отозвался первым боярин Одоевский. — Скорее столковаться бы... И за дело. Оно, хто знает... Сказывают, помирает царь... А може, и то, што по-старому... Как Иван Васильевич покойный не раз и не два — бояр вызнавал... Совсем, вот, помирает... «Наследнику, мол, все!» А сам — глядит: хто как и што?.. Сразу — здоровехонек станет и почнет перебирать всех... Вот, как бы и теперя... Донесут царю, што мы заживо при ем наследника поставляем... Он бы и не осерчал часом...

— Донесу-ут!.. Кому, на ково доносить-то? Нешто ты на себя скажешь, боярин? Нешто не видишь: хто да хто за столом сидит. Все — свои... Кажнаво — и без доносу Нарышкины слопали бы, кабы власть-сила... Да подавятся!.. Сиди уж, слушай да успокой свое сердце, коли оно такое... заботливое о нас... Вон, сулея близко, окропись...

И раздражительный, грубоватый Федор Куракин, сосед по столу Одоевского, подвинул ему сулею с рейнским вином.

— Поп што, без попа дело сладится, гляди. Он не отстанет, — перебил Куракина Вельяминов. — А, вот, надоть бы к нам и князь Юрья Лексеича... Сила-человек... Ему не то царь — и бояре все, и простой народ веру дают. Коли он за нас станет, — дело наше с крышей... Можно сказать — все ровно по маслу пойдет...

— И Долгорукой князь Юрий с нами же, не кру-

шись, боярин. Звал я и ево. Недужен ныне. Сказывал: «Толкуйте без меня. А к царю — разом пойдем», — поспешно заявил Хитрово.

— Ага, энто — дело... Вот, и ладно... Так — добраво конца ждать можно, — раздалось с разных сторон.

— При ем уж не скажут нарышкинцы, што-де «все бояре-стародумы мутят»... Долгорукой за неправду не станет, — подтвердил Петр Прозоровский, осторожный и рассудительный, по общему мнению, человек.

— А поверх тово — и еще подспорье нам буде, — мягко заговорил Петр Андреевич Толстой. — Там што буде, нихто не знает... А ежели правда, што новому царю нам придется скоро челом бить, — так приспел час и на Москву вернуться первому другу и родичу царскому, боярину, свет Ивану Михайловичу Милославских... Дядюшке мому любезному. И словом, советом добрым, и мощной, и дружбой всякою — всем он богат да силен... Вот при ем и тягаться нам легче будет во всею сворою со нарышкинской...

— Ну, когда-то еще царь помрет, кода за опальным пошлют!.. Коли — што будет?..

— Не будет, а есть... Уж послано... На днях и на Москву пожелует боярин... Застанет в живых царя — поопасается малость, не покажется... А не будет старого, новый царь над нами станет, словно солнышко над лесом высоким взойдет, — он и рад будет поскорее обнять дядю и друга вернаво...

— Ловко... Хитро. Кто же это, не ты ли порадил, Петруша?..

— И я, и иные, хто поумней меня...

— Ну, уж, чево-чево, а ума у тея не занимать стать, правду надо молвить... Молод ты, боярин, а инова старика помудренее... С чево же мы нынче почнем, хозяин ласковый? Ты уж говори, починай.

— А, видно, и начинать нам мало што осталось, коли так о конце мы все заодно мыслим. Надо буде не нынче-завтра, уж не позднее, — во дворце всем собраться. Царю челом ударим, волю бы свою нам сказать и поизволил. Как в животе и в смерти — Бог один Владыко. А земле — знать надобно: хто царем будет, ежели?.. Ну, там послушаем: што нам скажут... Самы ответим, што думаем... И царевич наш Федор тамо же будет...

— Вестимо, дело прямое... Только, как стража... Кто на охране стоит? Коли иноземцы, — нарышкинские да матвеевские прихвостни, — так и дела зачинать не можно. Приведут они пашенка малова... Гляди, тут же и наречет ево отец, помимо старшего сына. От их — все станется.

— Не буде тово! Быть никак не можно... Мы — улучим часок... Не рубить же станут первых бояр да князей да отца духовного на глазах царских... А сторожа-то завтра от стрельцов... Слышь, и тут нам помехи не буде, — успокоил всех Хитрово.

— Это добро... Только бы Матвеев не подсидел чевов... Он, чай, тоже не спит... Он, чай...

— Он, да не он!.. Я Матвеева отвею, — вмешался снова Толстой. — У меня на ево тоже слово есть... Отсюда — я к ему прямо... Увидите, братцы, как я одурманю нехристя энтого...

— Ну, ну, ладно... Уж ты гляди... А мы все после вечерень — и соберемся у царя... Так и других повестим, кому надо...

Недолго еще продолжалось совещание, скоро все разъехались по домам, готовиться к завтрашнему, решительному дню.

И раньше всех покинул компанию Толстой, о чем-то наедине еще потолковав с самим Богданом Матвеевичем.

Заехав на перепутье домой, Толстой только часам к шести дня, то есть, по-тогдашнему — довольно поздно, попал к Матвееву.

Обычно — незванные и неожиданные — именитые люди друг к другу не ездили, а всегда упреждали о своем приезде.

Появление Толстого, не приславшего извещения о себе, привело в недоумение и полковницу, и всю старшую дворовую челядь в доме Матвеева. Самого Артамона не было дома.

Дворецкий, встретивший возок Толстого у самых ворот, почтительно об этом доложил боярину.

— Так я и полагал, што по делам сейчас ездит друг мой любезный, Артамон Матвеевич... Да не в верху¹ же он... Так долго, чай, не позадержится. А я подожду. Дело больно спешное, не терпится, слышь... —

¹ Во дворце.

вылезая уже из саней, решительно заявил Толстой. И тут же, словно мимоходом, спросил: — А не сказывал «сам», где побывает? Гляди, ко Ртищевым, али к Долгорукому со Черкасскими князьями, либонь к Одоевским везти себя наказывал, выезжаячи... Не слыхал ли, парень?

— Сдается, што и так, боярин... Не упомню. При выезде господина не был сам, по домашнему занимался, — уклончиво ответил дворецкий, зная, что особой дружбы между Матвеевым и Толстым не было.

Когда дворецкий ввел гостя в покои, Евдокия Матвеева, выполняя долг хозяйки по европейскому, а не по московскому обычаю, — явилась сюда же.

— Выпить, закусить чево не изволишь ли, — после первых приветствий предложила она, указывая на поднос с медами, винами и разными сластями, принесенный за нею и поставленный на соседний стол.

— Выпью медку, горло промочу. Хозяйка просит — не можно отказать. Только, по нашему свычаю, милости прошу и самой пригубить малость для пущей ласки и охоты.

— Я ничего не пью. Прошу милости, боярин, не обессудь...

— Ин, будь по-твоему... Много лет здравствовать хозяйшке со всеми чадами и домочадцами... Пошли, Боже, щедроты свои на дом сей и на всех, кто в ем...

С поклоном осушив кубок, Толстой пожевал пряник. Наступило молчание.

— Мороз ноне силен, — заговорил гость, желая помочь хозяйке в затруднительном положении, так как заговаривать первой, даже с гостем — женщине не полагается.

— Да. Холодно. Недаром у вас говорят: что под конец мороз, то злее. Скоро и теплеть пора. А морозы да вьюги не стихают.

— В сей час — оно ничаво. Притихло. А с утра — и дюжо сиверко было. Кабы «сам» у тебя не зазяб больно, коли много разъезжать доведется...

— Ну, того я не опасюсь. На войне да в походах, гляди, мой Артамон Матвеевич и не таку стужу видел... Бог даст, ничево...

Опять настало молчание.

— Сынок-то как, Андрюшенька ваш? — начал было снова Толстой, но остановился, слышав

шум и движение за окнами во дворе. Кто-то въехал во двор.

— Ну, вот, — перебил сам себя гость, — видно, и «сам»... Недолго ждать пришлось.

Он угадал. Не прошло трех минут, как вошел поспешно Матвеев, предупрежденный слугой о том, кто его ждет.

— Не взыщи, Петр Андреевич, што с хозяйкой моей поскучал малость. Знал бы, вернулся бы скорее. Сам виноват, што не упредил, — стал говорить хозяин Толстому.

Тот только руками замахал.

— И, што ты, милостивец, што ты, государь мой, Артамон свет Сергеевич!.. И любо тут было ждати, и мило тебя видати. А не упредил, — не моя вина. Дело важное спешно приключилося... Только вот сейчас. Не поизволишь ли потолковать с тобою малость, господине?

— Идем, идем ко мне в покойчик... Там никто не помешает. Видно, што важное, коли ты?..

— Да уж такое... — на ходу откланявшись хозяйке и следуя за Матвеевым, быстро заговорил Толстой: — Сказать надоть вот-вот скоренько, чтобы часу не упустить. Не, кое часу! И мигу не можно прогаять, кабы горя не вышло великова...

— Што ж, толкуй, боярин. Видишь: одни мы. Никто не слышит, не помешает. Безо всякой опаски можешь...

— Ну, где же без опаски. Дело, слышь, тако... Да постой, государь мой... Перво-наперво, поведай мне начистоту: другом али недругом считаешь ты себе Петра Андреича Толстова?.. Говори, государь мой, не таючись. Лучше прямо-то... Пра слово...

— Да я и при ином при ком не лукавил николи. И тебе скажу: так оно... Ни то, ни другое. Я тебе — чужой и ты мне не близкий... Вот дума моя...

— М-да, оно и быть иначе не могло. Велика ли нужда Матвееву до Петрушки Андреева, — с хорошо разыгранной грустной обидой проговорил Толстой... — Ну, ин, слышь, государь ты мой милостивый, дозвожь тебе словно бы притчу одну поведать. Так, може, лучше мы до дела дойдем.

— Изволь, говори, коли час есть. Я полагал: в таку пору ты за чем поважнее... А притча, — так и притчу

послушаю... А там, не взыщи, проститься час буде. В верх я нынче зват на ночь... Царица присылала... Так уж...

— Не задержу, небось... Коротенька притча моя... Слышь, два матерых бирюка драчу завели. Очи — кровью налилися, когтями землю роют... Шерсть — дыбом. Хто-либонь ково-либонь да слопают... А промеж них — невеличка букашка прилучилась. Пока што — ее и вовсе под ногтем любой бирюк размножит. И ухитрись она, скок на загривок одному, первому попавшему...

— Ровно блоха...

— Блоха?.. Ты так говоришь, хозяин ласковый?.. Ин, и то пускай. И блоха — не плоха, коли в чести живет... И села меж ушами у бирюка. Што оба там ни творят — букашка-то моя и видит. Ино, — и ей только-только не попадет. Да она увертлива... И видит, на одном бойце сидючи: кому из двух скорее поколеть?.. А помимо тово, не сиди она поверху, ей бы в пыли растертой быть...

— Так, вижу, умна твоя... букашка... Да мне-то што?..

— Слушай!.. Все скажу... Ино она видит, што ей самой не по сердцу. Помехой она быть не может. Молвить громко — боится... У ково на гриве сидишь, тому и песни пой... Известно... А все же, не терпит сердце... Сказать надоть... Вот зачем и пришел я. Кем хошь, считай меня... Надо же мне свою шкуру беронить... Ежели к сильным не пристать, так и квашни не поверстать... А все же тебе нечто поведаю... Присягу я давал: не выдавать бы ково... Дела не открывать... Я и не открою, слышь, ничево... Одно скажу: постерегу малость...

— Ково остережешь-то?.. Говори прямо, не путай, брось свою замашку, боярин.

— У кажнаво своя, Артамон Сергеич. Ты, гляди, кода-либонь и спасибо мне за мою скажешь. Ну, слушай: вот, были вы аманьясь с лекарем, с Ромодановским да с царицей при царе при недужном... И лекаря вон высылали... И о чем-то с царем толковали... И все то недругам твоим и царицы ведомо... И кода вы снова к царю сбираетесь, и как к ему Петра-царевича вести замыслили... И все иное... Так, вот, остережись, Артамон Сергеич... Слышь, про ины дела попомни... Не под

охраной, почитай, крадком поведете малое дитя... Так, кабы наместо трона — во Угличе не очутился царевич... Али и похуже... Сам знаешь, каки нелюди на свете живут, што им ничево не страшно, не соромно... За корысть — отца роднова зарежут, не то... Ну, я больше сказать ничево не волен, как присягу давал... Хе-хе-хе. Слышь, ноне бирюки и от блох присягу брать стали... Вон каки времена пришли... Ну, вот и все... Не буду боле времени брать... Тебе, слышь, в Кремль пора, коли зван... Прощенья прошу... Не поминай лихом... Пусть я и какой-никакой по мыслям по твоим, Артамон Сергеич... Да, одно верь: не аспид я, не кровопийца, чтобы дозволить безневинную кровь проливать... Вот... А там, как хочешь суди... Прощай, хозяин ласковый... Поскачу к бирюкам своим... И не придется мне того схватить, на чем они не поладили... Бог их знае: хто прав... Кусок, видно, сладкий... А я только младенческу душу сберечи хочу... Вот... Прощай.

И в сопровождении хозяина гость пошел к дверям.

Матвеев был сильно взволнован всем, что сказал Толстой. Ему очень хотелось еще потолковать с хитрым гостем. Но как раз в эту минуту стенные часы стали звонко, протяжно выбивать удар за ударом, и Матвеев словно вздрогнул от их звука, не стал задавать Толстому больше никаких вопросов, не удерживал его, простился и почти неучтиво поспешил выпроводить на крыльцо, приказав людям, чтобы подавали сани гостю.

— Торопишься, хозяин ласковый... Разумею, вижу... И не можно инако: зван, слышь, к верху... Царь али там царица зовет... А все же помни и про Углич... и про Битяговского со присными... Всево бывает... Не возьму я на душу греха... Ничево я тебе не сказал, нико-во не назвал... А остерег. Штоб не остережь — не давал я присяги... Душа моя чиста... Спаси, Бог... Прощай, хозяин ласковый. Поскачем далее... Хе-хе-хе... Прости...

Не успели сани Толстого отъехать и пятидесяти шагов от ворот Матвеева, — ему навстречу прокатил большой возок, провожаемый тремя-четырьмя челядинцами в простых чекменях. Но по лошадям и по возку Толстой узнал выезд князя Ромодановского.

Повернув с площади в проулок, куда было надо,

Толстой остановил свои сани, подозвал одного из провожавших его челядинцев и негромко приказал:

— Слышь, Петька, слезай с коня, пусть Митроша в поводу ведет... Ты выезда боярские добре знаешь... Кто нам встрелся вот за поворотом?

— Никак сани да кони князя Григорья Григорьяча...

— Вот, вот. В гости он едет туда, где и мы были. И охота мне знать, ково ныне подзывал на вечерок Матвеев... Так походи околь усадьбы, только не близко, не узрили б тебя... Да примечай: чьи люди да кони въезжать во двор будут... Как увидишь, что боле не едут, — домой поспешай, мне доложи. Все ладненько спроворишь — два алтына получишь, не сумеешь — в батоги поставлю... Слышь...

— Вот как все промыслим, боярин-батюшко... Хошь вперед деньгу отсыпай...

— Ну, гляди... Што-ништо, да всыплю... Живо...

Парень отдал коня товарищу и вернулся назад. Толстой поехал дальше, убаюкиваемый звяканьем наборной сбруи на конях, скрипом снега под полозьями... Он полузакрыв глаза, словно бы ему резал глаза отблеск лучей полной луны на белоснежном насте дороги, еще не заезженной, нетронутой почти после недавней метели...

Не то дремал, не то думал о чем-то он все время, пока сани не подъехали к воротам его небольшой усадьбы.

Часа через два заявился и Петька.

— И народу же наехало к Артамонычу, — вертя головой, таинственно сообщил парень. — Слышь, боярин, я ровно бы пьяный прикинулся... Все тамо маячил... Ровно бы с чьево суседскаво двора кабальный... Вот — и вызнал все, со всеми, почитай, конюхами и толковал... Кто — незнакомые... А как вижу, што знакомый парень, — я и рыло скошу... И...

— Ну, ладно. Сказывай, хто да хто тамо есть?.. А свое — после...

— Ково нет, легче сказать... Слышь: князь Григорья Григорьяча повстречали мы. С сыном приехал. Да оба князя Одоевские, Никита Иваныч с Яковом с Никитычем... Языков, Иван Максимов, да Ртищев Михайло, не то — Семен... Не, Михайло... да Черкасские оба князи: Михайлы обое... Урусов Петра князь...

слышь, да Долгорукие братаны... Оба Федорыча... да... Стой, вот, ровно и не все... Пожди, боярин, припомню...

— Из Голицыных хто был ли? — желая помочь парню, спросил Толстой.

— Был, был... Как же... Князь Борис был... И Василий... Не... Василья не было... Да еще... эх ево...

— Лихачев, кравчий... Может, видел...

— Был, был и он... Да и поважнее... Вон, энтот, седой такой, рожа красная, ровно бы пожар на ей занялся... Борода — копной висит...

— Князь Репнин Иван...

— Ен, ен самый... Вот как ты потрафил, боярин... Вот, почитай, и все... Али, правду молвить, може, и еще трое-четверо, да все народ не такой значной, вон, как те, што сказывал тебе... Уж, как милость твоя, отец ты наш... Чем пожаловать повелишь...

И парень добил челом.

— Ну, хоша ты, видно, там успел хватить, по пути... Поди, половину и запамятовал, ково видел...

— Ни-ни... Побей меня Крест Святой... Разрази меня Владычица-Троеручица... Да лопни мои глаза, расколись моя утроба... Всех попомнил... Хошь сам поезжай, погляди, боярин...

— Ну, буде вздор молоть... И не след бы... Да уж обещано... На, вот, ступай, пропивай... Да, гляди, утром — на работе исправно быть...

Он кинул пятаки парню. Тот на лету подхватил их, стукнул в пол челом и радостно вышел из покоя, бормоча:

— Ну, вестимо, стану ровно лист перед травой... Во всяк час на деле...

Парень не обманул Толстого. Если много народу собралось к Хитрово, замышляя гибель Нарышкиных, — еще больше значительных бояр и князей собралось на совет к Матвееву, так как на другой день решено было идти к больному царю, просить от него окончательных распоряжений насчет наследника.

И долго, за полночь — были освещены окна двух-трех покоев матвеевского дома. Долго судили да рядили все: как теперь быть?

Интрига «хитровцев» помимо лукавых полупризнаний Толстого, сделанных Артамону, была известна многим.

Когда же Матвеев рассказал о посещении Толстого,

о всем, что ему говорил этот лукавец, мнения разделились.

— Не на нашу ль сторону взаправду переметнуться замыслил Петрушка-Шарпенук?.. Вороват да труслив, ровно кошка, парень, хоша и смышлен, — задумчиво проговорил старик Одоевский. — Досада, Артамоныч, што не потолковал ты с им подолей. Може, и сторговалися бы. Ен — пригодный человек для всево...

— Пустое. Он за своим дядей, за Подорванным¹ руку тянет. Все повызнать приходил, не иначе... Лукавая бестия. Предатель ведомый. Можно ль на ево слова веру класть? — отозвался хриплым, басистым голосом князь Иван Куракин, поддержанный и Репниным.

— А и то подумайте, бояре, — певуче, с нерусским говором заметил один из князей Черкасских, Михайло Алегукович. — Може, напужать нас замыслил... Не водили бы царевича к отцу, только им и надо. Они со своим Федором с хворым и повершат все на просторе, у царя, у немочного...

Своим привычным к азиатским придворным интригам умом старик князь безотчетно угадал хитрость врагов.

Но его не послушали.

— Пужать!.. Нас?.. Дураков нашел тоже Шарпенук... Не! Умен больно парень, штобы детски таки штуковины вымыслить... Он за делом приходил, не зря... Не станет такой хитряга шутики шутить, — в один голос отозвались бояре.

— Семеро скажут: пьян, так и тверезый спать ложись, — покачивая своей большой кудлатой головой, пробурчал Черкасский и умолк.

Тогда заговорил мягко, осторожно молчавший до сих пор кравчий Лихачев, потирая полные, мягкие свои ладони одна о другую:

— А, так скажем, бояре... И то сказать, не нынче, не завтра еще помирает царь наш, батюшка Алексей Михайлович... Да подаст ему Господь здравия и сил на многие лета!

— Аминь! Воистину! Подай, Господи! На многие лета, — как бы безотчетно, по привычке все сразу проговорили собеседники.

— Так, малость пообождем... А то, — продолжал

¹ Прозвище Ивана Милославского.

Лихачев, — Данилович пушай у отца поспрашивает толком: чево надо ждать? — поворачивая голову к молодому стольнику Михайлу Даниловичу, сыну врача Даниила Гадена, также призванному на общий совет. — Сыну, чай, не потаит, скажет отец правду, когда надо ждать преславной кончины нашево государя и милостивца?.. Посля — и за дело можно. Вон, сила нас какая... — оглядывая все собрание, самодовольно кивнул головой умный боярин. — Помимо нас коли што и наладят «хитровцы» с «подорванцами», с Милославскими, — гляди, мы и разладить сумеем. За ими — рать-сила стрелецкая, и то не вся. За нами — воины преславные. Охрана самая ближняя царя. Иноземские отряды, хотя числом и меней московских полков, да один пятерых стоит и по сноровке и по снаряжению. Чево же загодя, ничего не видя — трусу праздновати... Пождем. Там и увидим, как дело повернется. Наше — от нас не уйдет.

— Еще ждать-то! Мало ждали? Надо было давно дело повершить. Пока еще здоров был государь, пока слушал тех людей, кои ему добра радели... А теперь ждать — недругам в руку играть, — горячо заговорил молодой князь Василий Голицын.

Как сотник выборной сотни и стоящий в стороне от происков Хитрово, он был тоже приглашен Матвеевым.

— Слышь, нешто злое мы умышляем: приказал бы царь сыну старшему ради слабости Федора и непрочно-го здравия — ноне же объявить и молодшего, Петра-царевича вторым по себе государем-наследником... Для земли же мы все свое дело удумали. Ей на благо. Чево же тянуть и мешкать? Сказать государю. А он уже прикажет...

— Так, так, князь Василь Василич... Да, слышь, душа твоя прямая... Не знаешь ты всех путей дворских. Мы-то с чистой душой, да на нас — много черноты нанесено, много налгано. Все — своим чередом надо. Вон слух уж есть: народ задумали поднять Хитрые да Милославские... Со стрельцами — и прямо, не кроючись, петли кружат... Скажет царь... А он — на ложе скорбном. Слово ево поисполнить нам придется. Так, надо ранней все наладить да порасчесть... Я тоже стою за слова, што вон Алексей Тимофеевич сказывал, — обратясь к Лихачеву, сказал наконец Матвеев, раньше предоставлявший слово гостям.

— Дело — земское, великое! Истинно твое слово, княже. Так и спешить не след. С нами Бог. Знаешь. А поспешишь — ино и людей посмешишь... Пускай наши вороги в зачинщиках будут на плохое... На них — и Господь встанет.

— А иное сказать: гостям поздним — кости глотать, как латинянешают... Ну, да коли мое не в лад, я с им и назад... Делайте, как все надумаете...

И пылкий, самолюбивый юный князь Василий стал уже почти безучастно прислушиваться к общим речам.

Стали толковать о женитьбе молодого царевича. Наметить ему сразу невесту никто не решался, чтобы не подать повода к подозрениям в желании пробраться вперед. Но назвали целый ряд подходящих имен. Толковали о том, кому из присутствующих со своими друзьями придется взять на себя бремя некоторых должностей, если удастся свергнуть Хитрых с Милославскими и окончательно лишить их выгодных должностей и почета.

Тут, еще ничего не видя, многие стали огрызаться друг на друга, отпугивая от лакомых кусков.

— И, бояре, што нам шкуру делить, медведя не сваливши? — вовремя вмешался Артамон Сергеич. — Хватит местов и кусков на всех... Еще и останется. Велико дело земское. Одних воеводств хороших сколько, не скажу уж про все Приказы да про дворовое дело... И здесь — все разместимся... Свалить ранней врага надобно... А покуда — к столам прошу милости, перекусить, чем Бог послал.

Сели за ужин. Но и здесь, то кучками, то все вместе — вели разговор про то новое, что должно настать, едва смежит глаза навеки старый больной государь и займет престол новый, а то и два царя молодых.

— Вдвоем бы их, чево лучше, — предложил Матвей Апраксин. — При каждом царе — свой двор. Почету болей. И дела бы вершились лучше, не в одной руке. Што един царь упустит, то другой либонь — советники ево доглядят... И царице-матушке Наталье Кирилловне, аки правительнице при малолетнем сыне — место буде пристойное...

— Што ж бы... И так бы не плохо, — подхватили голоса.

— Ну, ладно... Все обсудим, обо всем померекаем. Ранней — знать надо: што Бог даст... Сказано: повыж-

дать надо; што же вперед заглядывать, — возразили более осторожные, пожилые бояре.

Очевидно, у главарей все было решено заранее и обдумано. А на таком большом собрании, где не во всех были уверены, где надо было только наметить сочувствующих, подробно толковать о деле не желал никто.

И все-таки за полночь затянулась беседа и трапеза у Матвеева.

Но, кроме Матвеева и Богдана Хитрово, во многих еще домах в Белом Городе, в Китай-городе и в самом Кремле в эти дни собирались люди разных сословий, имеющие власть или отношение к царству, и судили о том, как быть, чего ждать, как поступать, если умрет больной царь?

У самого патриарха с ближними к нему людьми о том же толки шли. Все почти доносилось ко владыке, что на Москве творится. Он выслушивал, покачивая своей седой головой, и повторял:

— Да буди воля Божья. Как Он сотворит, так и добро будет... Он — старый Хозяин земли русской... Ево святая воля. А нам — уповать подобает...

Наступило утро 29 января 1676 года.

Матвеев еще до зари был уже во дворце, наверху, вызвал царицу, которая не покидала больного, и, потолковав с ней и с врачом немного, так же тихо-тихо пробрался в царскую опочивальню, слабо озаренную всю ночь.

Хотя Алексей, пылая огнем, лежал словно в полузабытьи, Гаден успокаивал их невнятным шепотом:

— И што ж такое, што жар?.. Такая болезнь. Разве бывает какая простудная хворь без жару?.. Все пройдет. Вот проснется государь, я ему дам питье одно хорошее... Он и совсем успокоится... Разве ж я первый день лечу государя, ага?..

— Ладно, може, и правду ты говоришь, — со вздохом отозвался Матвеев.

— Господи, спаси, исцели государя, — шептала Наталья. — Всех бедных на Москве оделю, вклады великие сотворю на храмы, на обители... Боже, дай милости... Исцели болящего... С колен не подымаясь, все святыни обойду... Господи, самое дорогое, што есть, — отдам на престол Твой... Помоги ему, Господи...

Сохли у нее от волнения губы, и лепет затихал, только глаза не отрывались от икон.

Так перед ними, прислонясь головой к скамье, не поднявшись с колен, и задремала Наталья.

Матвеев и врач не стали ее тревожить.

Врач ушел готовить свое питье. Матвеев, выслав очередного спальника, чтобы и тому дать передышку от ночного дежурства, откинулся головой на спинку кресла, в котором сидел, и против воли скоро задремал, но тревожным, чутким сном.

Так в тишине прошло около часу или двух...

За окнами стало светать. Но сюда не проходили лучи рассвета. Окна были плотно занавешены и закрыты.

— Пи-ить, — вдруг прозвучало едва слышно из того конца покоя, где стояло ложе царя.

Наталья и Матвеев сразу очутились на ногах и быстро подошли к больному.

— Што изволил сказать, государь?..

— Легше ли тебе, родимый мой, светик... Чево желаешь, скажи?..

Оба эти вопроса прозвучали в один раз.

Узнав жену и Артамона, Алексей сделал слабую попытку улыбнуться им обоим.

— Со мной... вы... тута... Добро... Пи-ить...

— Пить государю. А я ж несу, вот, в самый раз, — раздался голос Гадена, словно сторожившего за дверью этой минуты.

Бережно держа в руках причудливый флакон венецианской работы, наполненный питьем, он подошел к столику у постели больного, взял небольшой кубок, налил в него питья, отлил из кубка себе на ладонь, так что видели все, и Наталья с Матвеевым, и спальник, вошедший вместе с врачом.

Эту пробу из ладони Гаден проглотил в доказательство, что питье — не ядовито и в нем нет «наговора».

Матвеев принял кубок, подал его Алексею. Видя, что больному трудно держать в руках что-нибудь, он поднес питье к губам царя, которому Наталья поддерживала голову.

Сделав несколько глотков, Алексей оторвался от краев кубка и снова опустил голову на подушки.

Матвеев вылил остатки питья себе на ладонь и так же, чтобы все видели, выпил их.

Наступило полное молчание. Только хрипло, тяжело дышал больной, полускрывши глаза.

Через несколько минут питье, очевидно, стало действовать.

Мертвенно-бледное, землистого какого-то оттенка, лицо Алексея немного оживилось, словно бы кровь заиграла под сухой, воспаленной кожей.

Он провел языком по запекшимся губам и увлажнил их немного. Дыхание стало ровнее, не так хрипло и тяжело.

— Спаси ты, Боже, Данилко... Знаешь ты... свое дело... Ишь, с разу с одинаво, легче мне стало... Ох, и от груди отвалило... А я уж мыслил: конец... Ништо... Всем — свой черед... Видно, и мне... Полно, Наташа... Помни о сыне... Не убивайся так... Подь сюда... И вы... Сон я нынче какой видел... Вот, Данилко... Ты все знаешь... Растолкуй... — Он замолк, чтобы передохнуть после долгой речи.

Царица и все, бывшие в спальне, окружили кровать. Наталья присела на самое ложе, в ногах царя.

Голова больного лежала на высоко взбитой подушке, и он заговорил медленно, но внятно, без особого напряжения:

— Неспроста тот сон. Вещий. Вот и по сей час — перед очами все стоит, што во снях привиделось... На площади, вот, я стою. Не то меня родитель покойный, не то я сам Федю нарекаю, вот, как год назад оно было... Иду я в облачении царском, в бармах, в венце Мономашьем... Бояре, Дума кругом, народ... Черно по всей кремлевской площади от народу... А под ногами у меня — не то ковры и дорожки бархатные разостланы, не то живые цветы цветут... От духу ихняво — голова кружится. Иду — и думаю: вот, сыну царство сдам, сам на охоту поеду. И, словно бы Новогодье, осень такая ясная...¹ День — красный. Самая охочая пора... И — на полпути покинул я тово, с кем был, сам словно на коня всел. Сокол у меня, мой Забой удалой, на рукавице...

Алексей, вспомнив о любимой своей соколиной охоте, еще больше оживился.

Даже глаза, блесневшие до тех пор тусклым светом, загорелись живее.

— И вот, скачу я уж с ним по полю, вдоль Москвы-реки. Место — знакомое... Ловы — богатые... Взмы-

¹ До Петра Новогодье справлялось 1 сентября.

ла цапля. За ней взмыл мой Забой... Она от ево, на угонки... Куды... Грудью бьет ее сокол... Глядь, а из цапли — коршун матерой оборотился, не то иная птица злобная, и ну Забоя рвать... Не стерпело мое сердце... Я с коня в высь рвуся, словно бы сам туды кинулся на помощь... И — чудо явилось...

— Чудо, — невольно повторила Наталья, захваченная словами мужа.

— Ну, вестимо, как во сне бывает... Легкой я стал... В высь, вот, словно птица, лечу.

А уж ни сокола, ни ворога ево нету... Чистая высь... И я, как на крыльях, несуся. И глянул сверху туды, где площадь, где нареканье шло... Вижу... так вот, ровно вас: не один тамо царевич... Много их... Все один на другога не походят... Только все в наряде царском в нашем родовом... Цепью золотой всю площадь перерезали, из Кремля, с верхов — в Архангельский собор так и идут... так и идут...

И народу — черно кругом. Уж и площадь залило. До Москвы-реки народ... За Москву... Куды ни глянь — без конца народ... Шапками машут, славу кричат... Ровно рокот али дальний гром те клики ко мне, в высь-то доносятся...

Алексей остановился передохнуть...

— Какой дивный сон, — негромко отозвался Матвеев.

— Стой, не все еще... Гляжу я, а сам — вот словно стою на воздухе. И не оглядываюсь я, а чую, стоит еще некто у меня за плечом... Да не один, а много их. Тянет меня оглянуться — и боязно. Ровно што страшное там, чево краше и не видеть. И штобы не томить себя, я уж собрался вниз, к земле ринутися... Снова туды. А слышу ровно бы родителя покойного голос: «Алеша, чево робеешь. Оглянися. Мы здесь...». Глянул я — и впрямь батюшка стоит. Да не один... И Иван Василич царь тута с сыном Федором... И Василь Иваныч... И все иные, хто на Москве да на Руси правил... Володимир-князь... И Ольга... Все Рюриковичи. И сам он тута. Высокой, хмурой, усы свои гладит... И сызнава говорит мне батюшка: «Слышь, Алеша, собралися мы встречати тебя... А ранней ты все же к им, туды вернешься. К роду нашему. Так скажи: лучше бы землей володели. От нас брали бы все, что получче. Нам уж наших грехов не поправить. Они бы хоша за-

молили все... Ступай с Господом да ворочайся поживей...».

Сказал — и ровно крестом осенил меня. Я — разом единым книзу, ровно камень пал. Дух заняло. Крикнуть хочу — не могу... Лечу, вот-вот разобьюся о землю... А голосу крикнуть — нету. Тут я и прокинулся... Вот сон мой какой нынче...

И, очевидно, совсем утомленный порывом, больной осел в подушках, прикрыл глаза, замолк.

— Дивный сон, — первый нарушая жуткое молчание, отозвался Матвеев.

— Ну, и може, государь великий мыслит, што то лихой сон? Та нет. То — добрый сон, — заговорил Гаден, на которого поднял Алексей вопрошающий взгляд. — Коли летает хто во сне — значно крепкий сон, к здоровью сон той... Вот перво дело. Другое — надо правду молвить: вещий царский сон тот, государь. Потомство свое царь видел... И все — в царских же одеждах... Вот какой хороший сон... Да посбылся бы он, пусть даст Господь... И государю — еще много лет жить и на царстве сидети... Вот моя дума какая, государь, про той сон...

— Аминь, Данилушка, — с просветленным лицом произнесла Наталья. Уверенный тон врача, его толкование сна вернули бодрость и надежду измученной женщине.

Заразили они верой очевидно и самого больного, и Матвеева.

— Аминь, аминь, — повторили оба за Натальей...

— Пожить бы, правда... Молод еще Федя. Не жаль мне себя, царства жаль. Много не налажено... Сколь много затеяно. Где ему... осилит ли парень-малолеток?... Да и не крепок он у нас. Господи, Господи... Велика доля царская... Да и бремя не легкое... Пожить бы еще... Все бы лучше... — словно про себя проговорил Алексей.

— И поживет государь. Еще долго поживет на свете, еще и нас переживет. Што бы я сам так жил, — уверенно подтвердил Гаден. — Только берегти себя надо. Силы собирать... Морбусу тогда не одолеть государя. Он одолеет всяку хворь... Пусть я так буду счастливый... Отдыхать надо теперь государю. Речей не держать долгих... Теперь, после моего питья, если сызнава в сон ударит ево, уж не будет таких снов. Спокойно заснет мой царь милосливый... Покой надо ему.

— Уж, слышим, слышим, — с невольной досадой заговорила Наталья. — Нешто мы станем мешать... Я, слышь, Алеша, помолиться выду... И, впрямь, коли полегше тебе, соколик, надо Господу хвалу воздать... Молить Ево стану, штобы...

Она не досказала. И, видимо, делала усилия, чтобы не дать волю слезам, внезапно подступившим к горлу.

— Иди, поплачь, помолися... Вестимо, у вас, у бабья, — и радость и печаль — все слезми выходит... Помолися... Дары раздай. Уж я знаю тебя, богомольницу... Скажи тамо, Артамон, пусть выдадут царице из моей казны сколько потребно буде ей... Пусть... Иди, милая... Легше мне...

Осторожно склонилась царица к больному, коснулась губами его плеча, которое выдавалось, исхудалое, острое, из-под рубахи, коснулась руки, лежащей поверх одеял, и вышла из покоя вместе с Матвеевым.

Ушел и Гаден готовить новые снадобья для больного царя.

Очередной спальник, по приказанию больного, раскрыл «Златоуст»¹ и стал читать негромким, монотонным голосом.

Алексей сначала слушал, полузакрыв глаза, потом снова задремал.

Спальник заметил это и, постепенно понижая голос, перестал читать.

Снова глубокая тишина настала в опочивальне.

На половине царицы жизнь уже шла полным ходом. Кипела обычная работа в мастерских и девичьих, готовили на поварне и в людской избе. В домовой церкви ее, Екатерины Великомученицы, что на Сенях, прошла заутреня и ранняя обедня без Натальи.

Анна Леонтьевна, Кирилло Полуэхтович, младшая сестра Натальи Авдотья, братья: Иван, Афанасий, Лев, ближние бояре и боярыни ждали царицу с вестями о здоровье Алексея, собравшись в просторной Столовой палате.

Сюда прошла и Наталья.

— Господь милости послал, — встречая дочь, проговорила Анна Леонтьевна и подала ей просфору, вынутую за здравие царя и царицы.

— Легше дал Господь царю-государю нашему, —

¹ Наизидательная книга с поучениями на каждый день.

повестил всем от имени царицы-дочери Кирилло Нарышкин, выслушав несколько слов от Натальи.

— Слава те, Спасу Милостивому!.. Подай, Господи! — откликнулись все на эту радостную весть, широко осеняя себя крестом.

— Молитесь о здравии государя, — сама проговорила Наталья, принимая общие поклоны.

По приглашению царицы отец с матерью, сестра, братья и несколько более близких и родственных боярынь и бояр с дьяком Брянчаниновым прошли за Натальей во внутренние покои терема.

Здесь царица подробно передала все, что видела и слышала у больного мужа.

Сон Алексея произвел впечатление на наивных, суеврных слушателей.

— Помрет, гляди, помрет скоро сокол наш, — шамкая, решительно заявила старая нянька Натальи, Кузьминишна.

Но Анна Леонтьевна так поглядела на бестолковую старуху, что та съежилась и отошла подальше в угол.

— Врет старая. Што она разумеет? — вмешался Нарышкин, видя, как сразу омрачилось лицо царицы-дочери. — Поживет еще с нами солнышко наше красное... Сама же, доченька, сказываешь: легше ему... И лекарь вон толкует, да не один... Других он звал... С чево помирать свету государю нашему? Не перестарок... не хворый какой... Оздоровеет. Слышь, и во сне покойный родитель молвил же царю: «Тебе еще наземь вернуться надо»... Вот, и поживет...

— Поживет, вестимо... А то — и моя какая жизнь будет?.. И Петруша наш... Што мы без нево?.. Как нам быть?! — с глубокой тоской, которую давно таила в душе, проговорила Наталья, горячо прижимая к груди сына, успевшего взобраться на колени к матери.

Плохо понимая, что творится кругом, ребенок стал ласково гладить мать по волосам, по лицу, настойчиво повторяя:

— Мамушка, не плачь. Не дам тебя в обиду. Слышь, матушка, скажи: хто обидел? Я тятю скажу... Сам голову срублю... Вот... видишь?!

И мальчик схватился за рукоятку игрушечной сабли, подаренной ему московскими торговыми людьми в день его ангела.

— Ладно... Зарубишь, вестимо. Не плачу я... Поди,

играй, — спуская сына с колен, сказала Наталья и обратилась к отцу:

— Слышь, батюшка, пообещала я, коли полегше буде государю, самой святыни обойти, а в иные — на молебны послать на заздравные. Возьми там казны у боярыни-казначеи... Вот, и он с тобой... — указала на Брянчанинова царица, — тоже пускай едет... К Николе-Мученику, знаешь, где бывал уж, за Яузой.

— На Вшивой Горке, — знамо, к нему, государыня-доченька... В сей час поеду. А еще куды, не скажешь ли?

— Куды?.. Да, много надобно... Всюды надо! Пусть молят Господа святые заступники... Вон, брата пошли, Ваню — к черным попам, в Вознесенскую обитель, к Спасу Нерукотворенному... Скоропомощник он... Мы тут с матушкой у Онуфрия-Великомученика помолимся, от скорой смерти избавителя... Близо, на Сенях тут. А тамо и посоветуем с матушкой да с теткой: куды еще... Весь день ныне ни пить, ни есть не стану... Буду молить Господа и Матерь Божию и угодников святых... Авось услышат молитву мою горячую... Авось... Поезжай, батюшко, не трать часу... А Афоня пускай в Рубцово-Покровское съездит в село, к Покрову¹... Много мне помощи было от той Святыни. А еще ково — ко Спасу на Бору надо спсылать... Ишь, родителя видел покойного государь мой во сне... А тамо — и склеп ихний, родовой, Романовых... Надо за упокой помянуть... Да еще бы в Китай-город к Николе... Да на Арбат, к нему же, к Чудотворцу... Нет, туды сама я... Помолю Явленнова-то... Да к Василию Блаженному надо бы, коли поспеем... А к Троице — пешком пойду сама... Только бы оздоровел государь! Да... Уж мы там с матушкой потолкуем, посоветуем... Езжай с Богом, батюшка... Братов посылай и еще тамо ково... Казны возьмите... Не жалеите... А мы уж тут...

— К Христофору — Песья голова надо бы, государыня-сестрица, — нерешительно заметила Авдотья Нарышкина, желая прийти на помощь растерявшейся сестре.

— Молчи, егоза, — цыкнула на нее мать. — Нешто государыне-царице жениха себе вымаливать надо? Энто уж ты бегай ко Христофору, поклоны бей, в девках не

¹ Теперь — улица Покровская, старинная вотчина Романовых.

просидеть бы... Без тебя разберем, што да как? Поезжай с Господом, старый... Видишь, государыне-доченьке не терпится. Успокойся, доченька... Мигом все поисполним... Услышит Господь молитвы наши грешные.

— И то не стою, старая. Ты уж сама помолчи, — отозвался Нарышкин. — Ну, кум, идем, — обратился он к Брянчанинову. — И ты, Ваня и Афоня... Едем... Казны возьмем. А коней и не распрягали. Готовы возки стоят. Все святыни объездим... Спокойна будь, государыня моя, доченька, Наташенька милая... Храни тебя, Пречистая Матерь...

И, низко поклонившись царице-дочери, Нарышкин вышел с сыновьями и Брянчаниновым.

— Да, матушка, в Ивановску обитель не забыть бы, да в Чудовску... Да... Господи, и память отшибает у меня... Хочу сказать — сама не знаю, о чем?.. Ровно бы разума не стает во мне... Уж больно я натерпелась да намаялась... При ем, при Алеше, при государе — молчу, терплю... Вот — и не стерпеть теперя, так тяжело мне... Ох, матушка, уж не оставь ты меня!.. Сестрица, Овдотьюшка...

И снова Наталья залилась слезами.

— Да буде, Наташенька... Доченька моя... буде... Бог не без милости... Помолим Ево. Рабам последним Он милости посылает Свои... Неужто ж отринет твое моление чистое?.. Слышь, надоть бы водицы святой да просвирки от Псковских чудотворцев поднести государю... Куды помогает хорошо ото всех недугов святыня та... Дело уж ведомое, государыня-доченька, не раз испытанное...

— Послано уж, матушка. Нынче-завтра вернется посланный, привезет. Ровно на грех, нету ни воды той, ни просфоры. А бывала всегда... Вон, Наташеньке недужилось как-то, ей и дадено... Помогло... Привезут, дам государю... Все дам... Крови бы из груди из моей рада источить ему, помогло бы только... Господи, Господи!.. Матушка, снаряжать поезд вели... Едем!..

— Ладно, доченька... Слышь, може, дождалась бы темени?.. Сама знаешь: царица днем да без государя словно и не ездит по Москве... Не бывало тово... Все больше по ночам, сама знаешь... И на богомолье и в переезды. Не след, штобы всякий глазел на поезд на твой на царский и на тебя... Не укроешься так уж от людей-то...

— И не надо... Старое то дело... Мы, вон, с государем, почитай, на виду у всех по Москве езживали... Так, на забаву смотреть, на послов иноземных... А ныне, на дело на такое, на великое... Да вот, што ты скажешь, боярин, — обратилась она к Матвееву, сидевшему все время в раздумье: — Выехать ли мне засветло али ночи ждать, истомить себя, измучати?..

— Ну, о чем толковать? Как повелишь, так и выедем. Пора уж и кидать старые свychаи, не то теремные, как их кличут, а татарские, колодничьи... Царицу ль народу не видать? Пускай видят! Любить боле станут...

— Слышь... Снаряжай же поезд сам, боярин... Да скорее, прошу...

— Я не замешкаю. Ты не кручинься, государыня Наташенька... Да поешь малость... Так и выедем из Кремля, часу не минет... Я сам все... скоренько... А слышь, мне с тобой ли ехать али поотдохнуть позволишь? Пусть бы боярин Лопухин да Матюшкин, да Прозоровский князь... Да петровцев моих я в охрану пошлю. Оно и крепко будет. А я уж больно заморился, второй день без сну...

— Ладно, как знаешь, боярин. Скорей бы оно лих...

— Говорю: часу не пройдет, в колымагу усажу тебя, государыня-матушка ты моя...

И Матвеев поспешно вышел из покоя.

Боярин точно сдержал обещание.

Наталя по настоянию матери с сестрой и невестки Прасковьи, жены Ивана Нарышкина, только успела перекусить немного, переменила домашнее платье на выездное, как уже явился с докладом Матвеев, что все готово, и сам усадил царицу в большой зимний возок, в «избушку», запряженную двенадцатью санниками белой масти. В ту же огромную колымагу уселись: Анна Леонтьевна, Авдотья Кирилловна, невестка Прасковья Алексеевна; тетка царицы, жена Федора Полуэхтовича, Авдотья Петровна, боярыня-казначей Матрена Блохина и еще несколько мам и «верховых» боярынь, на попечении которых находились взятые матерью царевичи: Петр, Иван, царевны младшие и маленькая Наталя с кормилицей.

Сестры царя и старшие царевны остались в терему, как и Федор.

Обыкновенно и он зачастую провожал мачеху в ее поездках по монастырям и по святыням. Но сегодня

царицу повестили, что «старшой царевич недужен малость», и выезд состоялся без него.

Так как монастыри и храмы, в которых хотела помолиться Наталья, были «за городом», то есть за стенами Кремля, — впереди поезда шел Стремянный стрелецкий полк Матвеева, петровские стрельцы в своих зеленых кафтанах.

По бокам колымаги, как и за нею, ехали верховые бояре, потом тянулись другие возки со свитой царицы. Ехала боярыня-кравчая, еще кой-кто из приближенных лиц; ехали верхом первый боярин и дворецкий Натальи Лопухин, стольник Иван Матюшкин, окольничий Иван Федорович Стрешнев и Тихон, брат его, с которым особенно подружилась Наталья за веселый нрав и острый язык.

Впереди колымаги ехали еще верхом, по-мужски, двадцать четыре красивые, рослые «дворовые женки», амазонки царицы, из комнатной прислуги. На голове у них были особые белые шляпы с полями, подбитые тафтою телесного цвета. Желтые широкие шелковые ленты ниспадали со шляп на самые плечи и были унизаны золотыми пуговками, жемчугом, украшены золотыми кистями. Спереди — короткая белая фата закрывала лицо до подбородка. Длинные широкие шубки и желтые сапоги довершали наряд. Этот женский отряд Москва, очевидно, заимствовала еще у Золотой Орды, где султанши имели каждая своих амазонок.

Разные дьяки, стольники и дядьки царевича Ивана — все, словом, кто дежурил на верху у царицы в этот день, — дополняли свиту, верхами или в возках, смотря по возрасту и удали или глядя по чину.

Поезд растянулся на довольно большое пространство, хотя и не достигал тех размеров, до каких доходили парадные, большие выезды царя и царицы.

Стоя у оконца своей горницы, откуда виден был выезд царицы, Анна Хитрово даже перекрестилась трижды широким, истовым крестом.

— Слава Те, Спасу Многомилостивому! Сама змея с дороги уползла. Теперя — легче буде дело все повершится...

Спустя час или полтора в ее покое собрались все главные участники в задуманном деле: оба Хитрово, дядя Богдан Матвеевич и племянник Александр Севастьянович, оба Толстых, Василий Семенович Волын-

ский, думный дьяк Титов, как лицо, необходимое для составления важного акта; явился и духовник царя Благовещенский протопоп Андрей Саввинович, упитанный, неподвижный, неуклюжий с виду, но жадный на деньги, ловкий, покладливый старик. Враждуя с патриархом, он пристал к врагам Нарышкиных, надеясь добиться особой силы при новом царе.

Когда пришли звать Федора к старухе Хитрой по важному делу, у царевича сидела Софья, князь Василий Голицын и стольник Иван Максимович Языков, судья дворцовых приказов.

Зная влияние умной, властолюбивой царевны на ее нерешительного брата, зная непримиримую ненависть девушки к молодой мачехе и всему нарышкинскому роду, и ее позвали на совещание, также как и Голицына с Языковым.

Царевна скромно уселась поодаль, почти в углу, за спиной брата и Анны Петровны, расположившихся в широких креслах. Остальные гости-соумышленники разместились на скамьях, на стульях, как попало.

Почти впереди всех уселся поближе к царевичу тщеславный, глупый, но наглый и пронырливый Василий Волинский, успевший составить себе положение на верху не столько благодаря личным заслугам, сколько работами золотошвейных мастериц, которых в большом количестве собирала отовсюду жена Волинского. И чудные вышивки золотом, серебром и шелками, приносимые в дар царской семье и важным боярам, а то и выполняемые за деньги, вызывали расположение к Волинскому со стороны нужных людей...

Боярин, князь Иван Андреевич Хованский из Стрелецкого приказа, голова полка стрельцов, которые в этот день охраняли все посты в Кремле, и еще несколько стрелецких голов и полуголов, известных своею преданностью старым порядкам и царевичу Федору, были тоже позваны. Но, кроме Хованского, остальные стрельцы не решались сесть и стояли небольшой кучкой у окна, выделяясь на темном фоне стены своими цветными кафтанами, блестящим вооружением и желтыми сапогами. Сам князь Хованский давно был известен как ярый «аввакумовец», противник «никоновцев» и Матвеева.

— Пошто так надобен я стал, матушка? — обратился царевич к старухе Хитрой.

Голос его, и вообще слабый, звучал сейчас совсем глухо. Он был бледен, чувствовал себя и на самом деле очень плохо; но не мог отказать Хитрой, которой, по старой памяти, словно побаивался немного.

Когда старуха, поминутно отирая слезы, возводя глаза к иконам и вздыхая, объяснила ему, что придется делать, — Федор и руками замахал.

— Што ты, што ты, матушка... Да нешто можно?! Грех-то какой великий. Може, государь-батюшко совсем инако мыслит, а я приду с людьми, нудить стану: волю бы свою он поиначил. Как тебе и в голову запало, матушка? Нешто сама ты испокон веку не учила меня: батюшку бы слушал, матушку бы не ослушался. А ныне ишь што...

— А што? Какой грех? Была бы жива матушка твоя, и не пришлось бы мне, старухе, тебя на ум наставлять. Сама бы все повершила. И греха тут нету. Не ты, что ли, старший сын, всему царству, всему отцову наследью — единый господин?.. А тут мачеха худородная, прости, Господи, земщина у тея все поотнять тщится для сынка для свово, для Петеньки... А знаешь ли ты...

Но тут старуха, чувствуя, что может наговорить лишнего, сразу приостановилась и обратилась к протопопу Василию:

— Слышь, про што толкует царевич: грех!.. А, подумай: гре-е-х?.. Ах ты, Спасе Милостивый... Мое дело тебе бы, царевич, дитяtko ты мое милое, добро было... А про грех — вот он пусть...

— М-да, — протяжным, густым голосом заговорил протопоп Василий, к которому обращены были теперь взоры Феодора и всех присутствующих. — Не токма што свово искати, и боле тово — греха не бывает, ежели оно по слову Божию... Сказано бо есть: «Кто многое имеет — тому еще дано будет и приумножится; а кто мало имеет, у того отнимется и то, што имеет». Тако рече Писание. А в книге Бытия не поведано ли, как произволением Божиим Иаков-Израиль отня первородство у брата Исава за похлебку за красную, чечевичную... И благословение отцово отня у Исава же, яко мать ево, Рахиль сотворила. И греха не было. Ибо — так Господь желал. Ты же, царевич, первородство не продати ли желаешь?.. Али не за своим благословением пойдешь к одру болезни отца своего, царя-госуда-

ря? Помысли и не кори ветхой деньми, рачительницы своей, боярыни, коя родительницу заменила тебе... И царство зовет тебя, и все бояре, синклиты, и духовенство... Народ весь, вся земля тебя зовут, да пожить бы снова в древнем благочестии, тихо, благодно, почестно, како деда да прадеды жили... Рано нам новины разны на Руси заводить. А молодая царица-правительница при сыне, при малолетнем царе, ежли бы Петра-царевича благословил на царство родитель... Нешто сам понять не можешь, царевич, што буде от сего?.. Не ребенок уж ты... Во, без мала пятнадцать годков тебе... И сам царь тебя же объявлял, год тому минуло... Чево же думать? Кой тут грех? За своим пойдешь!.. Свое и найдешь, слышь.

— Оно так... Вестимо, все так, отец протопоп, как ты сказываешь, — поспешно заговорил царевич. — Нарек меня государь... Я — старшой. Мне он и завещает царство. И земли я тревожить не стану. По-старому буду царить... Пошто же теперь хворого родителя нудить?.. Он и разгневаться может, што докучаю я ему не в пору. «Ишь, — скажет, — я не помер еще, а сын старшой дотерпеть не может... Пришел наследья просить»... Хорошо ли... А то все правда, што сказываешь, отче... Все истинно.

Сбитый с позиции, протопоп побагровел даже от усилия мысли, но, не находя, что дальше сказать, чем убедить отрока, такого сильного именно своей чистотой и наивностью, только обеими руками поглаживал с боков широкую бороду и негромко посапывал.

Заговорил Богдан Хитрово.

Зная мягкий, нерешительный характер Федора, способного в то же время проявить сильнейшее упрямство, если очень насесть на него, боярин начал мягким и примирительным тоном, как будто бы желая остановить и образумить тех, кто говорил раньше:

— И што это вы, други мои... И ты, боярыня — тетушка моя любезная, и ты, отец Василий. Нешто можно так? Царевич и впрямь помыслит, што мы супротив государя идем, али што неладно задумали... Душенькато у нево, ангела нашево, светлая. Он до чево разумом не дойдет, духом учует... А, лих бы, и то надо прямо поведать: каки козни да подвохи с супротивной стороны идут? Вестимо, не от матушки царицы Натальи Кирилловны со младым царевичем... Нет. От Артемона,

слышь, от Матвеева от боярина и всему царству замутилеля... Оно, вестимо, не на государя на нашего, на царевича, на Федора Алексеевича злоба матвеевская. Того сказать не мочно. На нас, на рабов царевича да на присных ево — злобится той коварник. Мы-де ему и Нарышкиным дорогу заступаем... А воссияет над землей, яко солнышко, юный царь Федор — и ему конец, старому грешнику. Наша тогда взяла. Вот пошто он и тянет в царенки Петра-малолетка перед старшим братом. А царица Наталья, первой в царстве ставши, никому иному, как Матвееву да Нарышкиным землю на пагубу отдаст, на поток, на разоренье... И на душе у царевича же у старшова, у тебя, свет Федор Алексеевич, то быть должно, коли земля замутится... Ежели — доживешь только до того часу...

— Доживу?.. Да, што?.. Да нешто? — со внезапной тревогой в голосе заговорил Федор, видя, что Хитрой вдруг запнулся и умолк на полуслове.

Лукавый боярин молчал. Юноша с вопросом переводил взор с одного на другого, на всех присутствующих. Никто не решался заговорить, и среди наступившего тяжелого молчания Федор, склонив голову, бледный, уронив руки вдоль тела, сидел, глядя перед собой немигающими глазами. А острая тревога все больше и больше росла в сердце юноши, словно тисками сжимала ему больную грудь.

— Што уж тут отмалкиваться, брат-государь. Я скажу, Феденька, коли другим не охота. Не взыщи, што девичий обычай забываючи, в боярские речи вступаюсь, — неожиданно прозвучал резкий, сипловатый голос царевны Софьи: — Дело такое... Не то, лих, тебя да царства, — и всех нас касаемое... Всево гнезда Милославских. Сестер всех нас, царевен, и брата Ивана, не одново тебя... Только во услышанье не ведутся речи, а всем ведомо, што и нас всех извести задумали прихвостни нарышкинские, да матвеевцы, да никоновцы треклятые... Кабы еще рать стрелецкая не за нас, кабы от них не опаска малая, — и не было бы давно на свете всево гнезда нашево. Може, гляди, оно и лучше, што не идешь ты к государю-батюшке. Може — и не зван им, а вороги туда зовут, по пути бы извести, али и на глазах у родителя. Хворый он, што поделает... Всего мы за Лихолетье наслышались. Видно, и вновь бояре задумали на царской крови своей корысти поискать...

Вот и причина, што доброхоты наши затеяли поживее тебя царем наречь... И государя-родителя хвораво надо на то привести, покуль жив. Штобы народу ведомо было: хто царь. Може, и государь-батюшка без прошения без твоего наследья тебе отдаст. Так нешто вороги наши не скроют приказ царский? Поставят братца Петрушу, да не малолетка, вестимо, себя поставят в цари... Нас — по кельям спервоначалу... А там... Што с сиротами бобылиться?.. Вон што было годуновским детям, то и нам буде... А тебе, гляди, первому... Вот чево не договорил боярин, так не взыщи: я досказала, тебя, себя, всю землю жалеючи, от смуты оберегаючи. Того ради и надоть тебе к батюшке-государю идти. Да за обороной крепкою. Не дать бы врагам в руки здорье твое...

Сказала и, отдав поклон брату, уселась, сдерживая сильное волнение, овладевшее девушкой от необычного поступка. Щеки Софьи пылали, глаза горели из-под опущенных ресниц.

Федор выслушал молча речь сестры. Только еще больше помертвели его щеки, еще ниже опустилась на грудь голова на тонкой, исхудалой шее.

Опять наступило молчание.

У многих заскребли кошки на душе. А что, если царевич по своей прямоте и наивности пойдет один к царю и спросит его: правда ли то, что он слышал сейчас? И испортит своим личным вмешательством весь так хорошо налаженный план...

Тогда вмешался Петр Толстой, он заговорил смело, решительно:

— Э-эх, государыня-царевна, не мимо слово молвится: девичья доля — шлык да неволя. Вон, хорошо ты удумала, как речь свою повела, а сколь опечалила царевича — света нашево... Гляди, и в тоску вогнала... Мыслит он теперя: «Дома сидеть — злу свершиться дать. Пойти на оборону роду — сызнова добром дело не покончится, свара пойдет, а, може, и до крови дело добежит... И так — грех, и инако — грех!». А еще ты молвила, может, и не зван-де царевич к родителю. То уж и не след бы сказать. Вон, сам Матвеев боярыне Анне Петровне сказывал, зовет-де царевича государь... И от лекаря Данилки, либо Стефанка, как ево там, нехристя, — те же вести были... Пошто зовет, — не ведаем мы. Так думать надо: на худое родитель сына на

смертном одре звать не станет. А и сами нарышкинцы не посмеют при царских очах, во покоях царских, где стрельцы охраной стоят, не ихнево полка... Ничево они явно не поделают супротив здоровья и персоны царевича... То лишь сотворено быть может, што поспели подговорить государя... И царь клятву какую ни на есть может взять с царевича... И клятвою тою, — ровно по рукам колодника, — свяжет ево... Вот чево беречись надо... Так, хто не ведает, што клятва насильная — и не в счет. Бог той клятвы подневольной не слышит, не приемлет. Робенок малый про то ведает. Об том и помыслить надо. К тому и царевича света нашево натакнуть: как ему быти?

Слушает Федор умную, ловкую речь боярина, который, словно в книге, читает в мыслях у царевича, — а сам юноша видит перед собой совсем не те лица, которые вокруг, слышит в душе иные звуки, любитесь картиной, которая в прошлом сентябре, всего год и пять месяцев тому назад, проносилась у него перед глазами.

В день Нового года, 1 сентября, царевич выстоял с государем долгую службу у Нерукотворенного Спаса на Сенях, и оба вышли в Переднюю палату.

Дядьки вели царевича, одетого в лучший его наряд. Бояре и думные люди стояли в Палате густой толпой. Посидев немного, царь помолился и объявил:

— Приспел час сына нашего, благоверного царевича и великого князя Федора Алексеевича Всемогущему Господу Богу дать в послужение, ввести его во святую соборную и апостольскую церковь и объявить его богомольцам нашим, святейшему отцу патриарху, всему освященному собору, вам, боярам, окольничим, думным людям и всем чинам Московского государства!

Как один человек, как колосья от ветра склонились все, кто здесь был в Палате, приветствуя царевича, объявленного отныне совершеннолетним, и прокатились под сводами громкие приветственные крики:

— Жив буди на многая лета царевич Федор! Да живет!.. Здрав буди и долголетен!..

Отсюда в торжественном шествии, со всеми боярами прошел царевич с отцом снова в церковь Спаса, там взяли Нерукотворенный образ, перешли в Успенский собор, который весь был залит огоньками лампад и ослопных свечей, в паникадилах и в свещниках перед образами.

Патриарх, окруженный главнейшим духовенством, всеми десятью митрополитами, ждал появления царя со старшим сыном.

Им навстречу грянули мощные звуки: вся патриаршая стая певчих, заливаясь, выводила:

— Многа-а-ая лета... Многая ле-е-ета... Многая лета-аа-а!

И окна дрожали от сильных голосов, огни колыхались над оплывающим воском престольных свечей.

Федор с отцом заняли свое, царское, место. Против них — патриарх.

И по два в ряд потянулись князья московской церкви, митрополиты, архиепископы, архимандриты, игумены, протопопы, трижды кланялись царю с царевичем, потом патриарху.

Медленно сошел со своего престола старец патриарх. Ему навстречу двинулись и Федор с Алексеем.

Взявши слабой рукой золотую кадильницу, патриарх стал кадить сперва святым иконам, потом — государю и царевичу, окадил и «стряпню государеву», то есть шапку и посох, которые держал оружничий царский.

Весь остальной духовный высший чин также кадил после патриарха.

А певчие — заливались, выводили сильными, красивыми голосами красивые, торжественные напевы избранных псалмов. Потом загудел густой бас протодьякона, читающего пророчества — паремии от Исайи, полные глубокого, затаенного смысла.

От этого аромата кадил, от жару в храме, от напевов — голова кружилась с непривычки у Федора, душа замирала и уносилась куда-то за пределы земли...

А вдали реяло что-то прекрасное и пугающее: царский трон, власть над всей обширной землей, над несколькими царствами и народами...

Кончилось водоосвящение.

Патриарх произнес обычное краткое приветствие царю и нареченному царевичу, с этой минуты признанному старшим в роде после царя.

Снова грянуло многолетие всему царскому роду.

И заговорил сам Федор.

Заранее заучил он, что нужно сказать. Несложных несколько фраз. Благодарность отцу за наречение свое, пожелание здоровья на многие лета... Почти — молитва.

Но Федор сам не помнит, как сказал свою первую речь, произнесенную здесь, во храме, среди торжественной обстановки, перед святынями икон, перед лицом всей земли, представленной и этим знатнейшим духовенством, и боярами, и военачальниками, стоящими поодаль толпой, сверкающей сталью и золотом доспехов...

С ласковой улыбкой слушал отец невнятный лепет смущенного сына, привлёк его к себе и поцеловал в голову.

— Да живет государь, великий князь Алексей Михайлович на многие лета!.. Княжичу великому и царевичу-государю Федору Алексеевичу многие лета! — возгласили тут же бояре и воеводы, обступая обоих густою толпой, осыпая дарами царевича.

— И вам желаю здравия и многолетия, бояре и синклиты мои честные, — ответил на клики государь.

В пояс поклонился им и духовенству Федор, тоже бормоча свое «здорованье»...

И опять длинным, сверкающим на солнце шествием, цепью парчовых облачений, воинских нарядов и золотых хоругвий, через Благовещенскую паперть потянулись все из храма в Кремлевский дворец.

Тут был пир устроен. Много даров роздал государь от своего имени и от имени царевича.

С той поры, хотя и не было объявлено всенародно, но все знали, что старший царевич Федор — будущий наследник трона.

Так велось искони, за редкими исключениями...

Так неужели же все это был сон?.. Другой перешел дорогу. Тому, другому, — пока ребенку — и блеск, и власть, и величие царское...

А Федору — долгие годы унижительной, темной жизни... Унижение перед младшим братом. Или — муки заточения, быстрая, насильственная смерть... Смерть, когда жизнь так манит... Когда он и не успел еще пожить... Насладиться этой неведомой, но, наверное, прекрасной заманчивой жизнью...

Порою, в минуты страданий от внутренних недугов, разрушающих хрупкое тело юноши, Федор помышлял уйти от мира, укрыться в какой-нибудь тихой обители и там, дальше от людей, ближе к Богу — замаливать свои и чужие грехи, ждать смерти, которая будет уж тем хороша, что избавит от нестерпимых, продолжительных мучений...

Но проходила черная полоса, царевичу становилось лучше, и благодаря помощи врачей, и при содействии собственных молодых сил. Тогда снова в нем просыпалась жгучая жажда жизни, удовольствий, даже — греха... Всего, всего, только бы не умереть, не изведав этой земной радости...

Нерешительный от природы, ослабленный болезнью, живущий различными порывами, которые сменялись причудливой чередой, Федор оставался всегда чутким и чистым по душе. В нем глохли телесные силы, но ум работал сильно, и чувство справедливости, свойственное людям, лишенным сильных страстей, преобладало почти над всеми другими инстинктами.

Поэтому и сейчас, слушая речи окружающих, он отдавал должное доводам каждого из говорящих, сам переживал немало, но в то же время, словно со стороны, глядел на себя и на свои чувства и не знал, что предпринять, на что ему решиться?

Преступного, конечно, ничего не мог бы сделать царевич. Но тут снова возник для него вопрос: все ли преступно, что люди клеймили этим именем? И не является ли порою преступление тем же подвигом, если оно совершено на гибель своей души, но для спасения ближних?..

Вот, именно теперь и надо подумать об этом. Надо решить. Губя свою душу, не спасает ли он весь род матери своей, всех сестер и брата Ивана? Не спасает ли землю от междуусобья? Если будет объявлен царем он, старший сын, тогда скорее всего кончина отца пройдет без особой смуты, хотя Матвеев и его сторонники любимы народом и имеют много приверженцев.

Все понимал Федор. Но ясное представление о многом и не дает ему решимости остановиться на чем-нибудь одном, проявить свою волю и сказать: «Я хочу именно этого, хотя бы оно было и не совсем правильно»...

И долго сидит в молчаливом раздумье царевич.

А кругом в тревоге сидят молодые и старые, бородатые бояре, сидят сестра и лукавая старуха Хитрово, «составщица дворовая», испытанная заговорщица, стоят стрельцы — и все ждут: как решит, что скажет этот бледный, болезненный, робкий юноша, почти мальчик?..

Без него, без этого знамени им нельзя выступить,

как бы ни велика была земская и стрельцовская сила, стоящая за их спиной.

Только именем Федора и во имя Федора может быть совершен желанный переворот, который принесет царевичу внешний блеск власти, а им — подлинную силу ее...

Все видят тяжелое состояние души царевича. Но каждый толкует его по-своему и боится первый слово сказать, чтобы этим неудачным, быть может, словом не испортить всего дела, кинув подозрение или чрезмерный страх в робкую душу слабого юноши.

Чувствуя на себе все эти лихорадочно, трепетно горящие глаза, полные немого ожидания и вопроса, Федор окончательно смутился. Краска кинулась ему в лицо. Из бледного оно стало багровым, а на глазах показались даже две слезинки.

Закусив губу, он вдруг обратился к Ивану Языкову, молодому, красивому боярину незнатного рода, который успел выдвинуться в качестве судьи Дворцового приказа и особенно нравился Федору своей честной прямотой, соединенной с такой мягкостью, что самые резкие укоризны не обижали людей, когда их произносил Языков.

— Ну, ты, Ваня... Што ты бы сказал?.. Ишь, молчишь все. Видишь, дело какое... Вот и скажи, как тут быть?.. По-твоему как?..

— А, что же я скажу?.. По-моему-то выйдет одно, а по-твоему — иное. Вон, люди похитрей меня толковали. И дело им видно больше, ничем мне. А ты же ни на то, ни на другое не пристал, царевич. Ишь, душа больно робеет у тебя, когда надо повершить што-либонь... Какие же советы мои и к чему?.. А, вот, одно скажу: зовет родитель-государь. Идти надо. Воля его отцовская и царская. Это — первое. В другое: с опаской идти надо. Правда, сам ты зла не мыслишь... А все быть может... Береженого, сказывают, и Бог бережет. А в третье, — вон, поди, и в голову тебе не западет николи какое супротивство родителю оказать, али бо ему поруху какую, здравию ево, али части учинить... Стало — и греха тут нету, коли сын к родителю заявился да обое они толковать о чем станут. А придете вы обое на то, на што буде воля Божия. Вот дума какая моя. И тем оно добро, што тебе, государь, в сей час и повершать ничево не надобно. Што буде, то буде, волею Господней, не нашим людским хотением...

Слушая искреннюю речь Языкова, все просветлели.

У Федора тоже прояснилось лицо, и он закивал утвердительно головой.

— Так, так, Иванушко... По всяк час ты прав... Уж и умен же ты...

— Дураком николи не звали, а и больно в умных не слыву. Так, што на уме, то и на языке у меня, как у пьяного, — шуткой ответил Языков.

Гул одобрений был ему наградой со стороны всех сидящих в покое.

— Вестимо, царевич, как не пойти, коли родитель позвал, — авторитетно заговорил молчавший до сих пор дядька Федора, осторожный и болезненно честлюбивый боярин Федор Куракин.

— Уж тут дело чистое, — громко, решительно заговорил опять Петр Толстой, видя, что все улаживается. — Проводим к государю царевича. Их царская воля. На чем их милости решат, на том и мы приста-нем... Наше дело холопское, не так ли, бояре, и вы, люди ратные?..

Говорит, а сам переглядывается со всеми.

И без слов эти немые взгляды досказали все, чего не высказал Толстой.

— Вестимо: их царская воля. Мы — рабы...

— Как они, государи?.. А надоть же и потолковать родителю с сыном со старшим!

— Господня воля во всех делах людских, а в царственном коловороте наипаче, — подтвердил и протопоп Василий.

— Иди со Господом, дитятко мое... Да хранит тебя Спас Милостивый, — осеняя питомца крестом, сказала боярыня Хитрово.

Софья, вставшая вместе с другими, отдала поясной поклон брату:

— В добрый час, братец, желанный мой... Уж и так бы я пошла с вами, да боюсь забранит батюшка, што не в свои дела мешаюсь... Небось, как постригать меня велит мачеха, то мое дело буде... А тут...

— Ну, буде, Софьюшка... Не печаль царевича, — вмешалась Хитрово. — Видишь, идет он к царю... Нешто же допустит брат сестер постригать без воли ихней?.. Все обладится, верь ты мне...

И обе женщины остались одни в покое, откуда с говором вышли за царевичем все, кто был на совещанье.

Не успели они скрыться за дверьми, как Софья с тревогой обратилась к старухе боярыне:

— Ох, мать моя, боязно, как бы тамо чево не вышло, што и не ждали, и не чаяли? Ишь, дуровой какой братец у меня. Кто ему што скажет, он на то и пристаёт. Ровно вертун на крыше. А тамо...

— Тамо будет, как нам надо!.. Вон, Петра Толстой парень не промах... Языков-то спроста уговорил царевича к государю идти... А Толстой и смекнул: туды бы привели без помехи царевича. Тамо все буде, как по писаному... Верь ты мне, старухе...

— Дай, Боже!.. Уж только бы нам мачеху мою со всей роденькой ихней сократить. Господи, сорочку последнюю отдала бы на нищих да на масло... Пойду, Господа помолю, Матерь Ево Пречистую: дали бы нам на врагов одоление... Мир тебе, матка, Анна Петровна, родимая...

И, поцеловав Хитрово, царевна ушла на свою половину.

Старуха знала, что говорила Софье.

Петр Севастьяныч Хитрово, постельничий Алексея, как раз заступил на свое дежурство, когда теплые сени и два небольших покоя перед опочивальней больного стали наполняться толпой бояр, дворян и стрелецких голов с царевичем Федором и Богданом Хитрово во главе.

Раньше здесь уже дожидался Юрий Долгорукий и с ним еще несколько бояр, чтобы получить вести о здоровье царя.

Их удивило, что царевич явился в сопровождении такой большой свиты, к тому же состоящей из лиц, не причисленных к дворне Федора.

Ответив на поклон Долгорукого и бояр, вставших при появлении царевича, Федор приказал Петру Хитрово:

— Повести батюшку-государя, по зову и приказу ево царскому пришел-де я видеть очи ево светлые. Ежели не почивает, лих, государь.

— Прокинуться изволил, а то почивал ево царская милость, — ответил Петр Хитрово, отдав низкий поклон царевичу. — Сдоложу сей миг... И о тебе, князь, — обратился он к Долгорукому. — И о вас, князь-бояре, — отдавая поклон дяде, Богдану Хитрово, и другим вельможам, вошедшим за царевичем в

этот покой. — А ты, отец протопоп, може, один к государю войти пожелаешь? О тебе — чево царю и сказывать? Без доводу вхож, чай, — с новым поклоном обратился он к протопопу Василию.

— Вестимо, чадо мое. Отцу ли духовному можно претити к государю внити, егда возжелает.

И первым, следом за спальником, прошел духовник Алексея к нему в опочивальню.

— Поизволь войтить, царевич, к царю-государю. А и вас всех, князя и бояре, жалует царь милостью, зовет пред очи свои, — объявил через несколько минут тот же Петр Хитрово, появляясь на пороге и пропуская царевича первым в опочивальню. После других проскользнул туда же и думный дьяк Титов, в широких карманах которого всегда находился особый «каламарь», длинный ящичек со всеми принадлежностями для письма и куски хартии разной величины.

Сейчас же почти этот покой, опустелый после ухода бояр, наполнился всеми, кто оставался в соседней горнице и в сенях.

Кой-кто стал заглядывать в опочивальню через полураскрытую дверь и прослушиваться, что там происходит, сообщая негромко обо всем тем, кто стоял подальше.

Алексей, после сна чувствуя себе особенно бодро, полусидел на постели, обложенный подушками. Ноги и все исхудалое тело его почти тонуло в мягкой пуховой перине, под складками одеяла, подбитого «черевами» соболиными. Только плечи и голова выделялись среди белоснежной груды подушек.

Печи были жарко истоплены в опочивальне. И царь расстегнул даже косой ворот рубахи, из-под которой выдавались костлявые очертания плеча и сильно исхудавшая шея.

Очевидно, духовник успел ему сказать несколько слов о причине прихода думных бояр и вельмож. Сказал и о стрельцах, головы которых ждали в соседнем покое.

Кивнув слегка головой на общие низкие поклоны, ответив слабым голосом на приветствия вошедших и сына, Алексей, передохнув, заговорил:

— Вот оно и ладно, што ты, сыне, не один пожаловал. Словно Господь надоумил тебя. И всех, хто с тобою. За недолгие дни хвори нашей, как слышно, мно-

гие толки негожие пошли по Москве. Люди, слышь, только что не замутились. Забота всех взяла: хто сядет царем, егда час воли Божией приспее для нас?..

— И, батюшко государь, о чем молвить изволишь, — не подымая глаз, рвущимся голосом заговорил Федор, пока больной делал невольную передышку. — Подаст Господь тебе еще здравия и сил на многи лета, нам, детям твоим, на радость, земле на славу... Што и поминать о смерти? Поживешь, гляди. Вон, Бог дал, лучше ж тебе стало...

— Так оно так. Да, слышь, сыне, на Бога надейся, сам свое дело верши. Так старые люди толкуют. А ты, голубь, млад еще... Слушай, што скажу. Ответ дашь, коли што спрошу. Не забывай, как смолоду учили тебя... Вот, и волим мы пообъявить ныне приказ наш о царстве и о всем доме нашем, и о добре, какое припасено, родовое и царское.

— Слышь, отче, — обратился он к Василию протопопу, — добудь ключи из-под изголовья. Ларец вон там невелик в укладке кованой, што в углу стоит. Добудь ево... Сюды поставь, на стол, поближе к царевичу. А другой бы хто сходил, позвал бы к нам боярина Артамона... Да царицу с царевичем Петром... Пусть бы и они послушали, о чем тута речь буде.

И, совсем тяжело дыша, очевидно, утомленный от долгой речи и напряжения, Алексей, побледнев, откинулся совсем на подушки, среди которых был усажен.

Федор, присевший на скамье, недалеко от постели, приподнялся и стал вглядываться с тревогой в лицо отца. Минутное оживление прошло. Глаза были закрыты. Под ними собрались большие мешки и обозначились черные круги.

За несколько дней болезни в темных волосах царя, изредка подернутых, как искрами, седыми волосами, проступили теперь белые пряди и полосы седины.

До боли острая, неясная тревога сжала сердце царевичу. Что это за таинственный недуг, налетевший так быстро и так сильно в короткое время подточивший крепкого до этих пор отца? Уж, не порча ли? Кому же было надо это сделать...

И невольно сорвалась с его уст робкая просьба:

— Батюшко государь, лекаря б тоже твоево сюды... На всяк случай...

Алексей только молча кивнул головой и протянул

руку к столу, где стояло питье, приготовленное Гаде-ном.

Петр Хитрово, стоящий у постели и предупрежден-ный прежним дежурным, взял флакон, налил в кубок, из кубка отлил себе в ладонь, выпил и с поклоном по-дал больному. Остатки, недопитые Алексеем, тоже вы-пил Хитрово.

— Иди, — снова, очевидно, получив силы после приема лекарства, приказал ему царь. — Зови, ково сказано...

— Исполню, государь. Да, слышь, молвить дозволю: на богомолье царица выехать изволила, и с царевичем. Боярин Матвеев с ею же, в провожатых, — не совсем решительно солгал он. — А лекаря я мигом... Еще ко-во поизволишь?..

— А далеко ль молиться царица пошла? Чай, не за сто верст. Тута ж, на Москве... Вот и пошли за ей... Пока мы тут што, она и приспееет, — тревожно вгля-дываясь сперва в спальника, потом во всех окружаю-щих, приказал Алексей.

— Надо быть, государь, куды за город снарядилась государыня, как стрельцовский полк перед поездом для охраны шел, — вмешался почтительно Богдан Хитро-во. — У тетки я был в покоях, оттуда видно было, как перед теремом царицыным поезд собирался... Да, слышь, Петруша, — обратился он к племяннику свое-му. — Чай, знают теремные боярыни, куда царица путь держать изволит? Поди, и догонить можно, повестить, што государь-де просит пожаловать на обратно.

— Да, да... Послать, догнать надо... Пусть поворо-тит, — торопливо подтвердил царь.

Петр Хитрово, провожаемый дядей, который на хо-ду ему что-то еще толковал негромко, вышел в неболь-шую дверь, которая вела во внутренние дворцовые по-кои. Здесь, как и во всех переходах, кроме дежурных сенных истопников и придверника, стоял стрелецкий караул.

— Слышьте, — приказал им строго Хитрово, — царский приказ вам грозный: ни единой живой души не допускать в опочивальню этими дверьми! Кто бы ни был... Слышите? Казни лютой всякого предадут, хто ослушается приказу.

— Как прикажешь, господине, — отозвались кара-ульные.

— А лекаря царскаво Данилку тож не пущать? — нерешительно спросил придверник. — Он то и знай в энти двери ходит-выходит. Слышь, кругом больно далеко ему бегать. А порою надобно поскореича... Так он, слышь, баял.

— Ну, потолокуй еще... Сказано: живой души не пущать. Так и знай...

И Хитрово пошел дальше по переходу.

В опочивальне царя между тем настало короткое молчание.

Щелкнул и зазвенел мелодично замок в укладке, на которую царь указал протопопу, и сама отскочила тяжелая крышка, очевидно, подпираемая сильной пружиной. Протопоп взял небольшой резной ларец, стоящий в сундуке поверх всего, и перенес его к постели, на стол, как указал Алексей.

В той же связке оказался небольшой замысловатый ключик, которым и открыли ларец.

В нем лежал большой свиток, духовное завещание царя, составляемое обыкновенно заблаговременно, на всякий случай, по готовым образцам прежних царских «приказов», но с изменениями, касающимися раздела городов, усадеб, поместий и имущества царского соответственно числу наследников.

— Читай уж пока, што там по первоначалу. Гляди, и подойдет царица, — сказал Алексей думному дьяку Титову, который уж оказался около стола, как будто для того он и явился сюда за всеми.

— Приступим со Господом, — как бы благословляя на зачатие дела, провозгласил протопоп Василий.

— Господи, благослови, — осеняя себя крестом, эхом откликнулся Титов и привычным тягучим голосом начал читать обычную вступительную формулу завещания, а потом — и статьи его, одну за другою.

Окружающие почти не слушали распоряжений, касающихся раздела родовых имуществ романовских. Они напряженно ждали главного, ради чего пришли сюда.

Вдруг показался снова Петр Хитрово и прошел поближе к постели, ожидая, пока царь прикажет ему говорить.

Дав знак Титову подождать, Алексей вопросительно поглядел на спальника.

— Ну, што?..

— В три либо в четыре места собиралася государыня царица. Я уж двоих гонцов погонил... Они уж по пути попытаются: в какой край поезд повернул из ворот из городских? А лекаря и во дворце, видно, нету... На дом за им тоже послано. Гляди, не замешкается, придет.

— Домой, — покачивая поникшей от слабости головой, повторил Алексей. — Быть тово не может... Может, стомился от бессонья. Спит где в покое... Ступай, пусть поищали бы. Сил мне надо ноне... А, чую, плохо мне сызнава... Неможется, совсем сил не стает...

— Батюшко родимый, може уйти бы нам, — быстро вступился Федор. — В иной час дочтем, как одужаешь, а ныне...

— И-и, где там... Може, последний мой и час пришел... Што откладывать... Немочно тому быть. Сиди, слушай... А ты, Петруша, сам ли лекаря погляди али спосылай ково... Лих, поживее. Да свету нам... Ишь, темно стало...

Правда, зимний короткий день стал быстро дограть, и вечерние тени уже ложились по углам комнаты, плохо освещаемой небольшими оконцами с частым переплетом.

Хитрово с помощью придверника быстро зажег несколько многосвечников, стоящих на столах, опустил на окна занавески — и сразу неверный дневной свет сменился вечерним, более ровным освещением.

Спальник вышел, а Титов, придвинув поближе один из двух канделябров, зажженных на столе, где лежала хартия, поправил большие свои очки и стал продолжать свое однообразное чтение:

«А царства все мои и великие княжества, все государство и земли, и власть самодержавную, и короны все, и кресты дедовские и прадедовские, скипетр и державу, бармы и шапку Мономахову завещаю...» — прочел он, наконец, — и сразу все словно вздрогнули, какой-то неопределенный звук, словно полувздых-полувозглас вырвался из груди почти у каждого из слушателей.

Даже Федор, растерянный, словно подавленный видом больного отца, как-то насторожился, и внутренний испуг великого ожидания мелькнул у него в широко раскрытых глазах.

— «И Царство Казанское, и Астраханское, и Каси-

мовское, и Ливонские земли, Кабардинские, Черкасские и Польские пределы, вновь покоренные, и Украинские земли казаческие и всю Великую и Малую, Белую и Порубежную Русь, все то завещаю и приказываю я...»

Тут умышленно или случайно, но голос чтеца прервался, словно бы он не ясно разобрал: что дальше на писано в рукописи?

— Што встрял?..

— Читай, слышь!..

— Читай же!..

Эти возгласы почти против воли вырвались у большинства слушателей.

— «Приказываю я, — снова повторил дьяк и повел дальше своим однозвучным голосом, словно и не слышал окриков, — сыну моему старейшему, царевичу Алексею».

Дочел и остановился теперь как следует, окидывая взором всех, словно желая видеть: какое впечатление произведет это имя покойного царевича, помещенное в завещании, составленном, очевидно, лет семь тому назад, когда царевич был еще жив.

Досадливое разочарование ясно отразилось у всех на лице. Только Алексей, знавший, что написано, остался спокоен, и что-то вроде удовольствия промелькнуло на лице у царевича. Он и хотел и боялся услышать имя свое или брата Петра. После этого, он знал, начнутся толки, может быть, споры и вражда, словом, все, чего он так боялся, чего не любил.

А тут оказалось совсем иное. Еще никто не вписан в завещание, если не считать умершего брата. Значит...

Но дальше додумать Федор не успел. Мелькнуло у него в сознании, что дело еще не устроено. Свара и смута — так же неизбежны, как и прежде, если только больной отец, жалея себя, не предоставит окружающим решить: кому быть наследником престола? Но сейчас же, как бы прочитав его мысли, заговорил Алексей, и внимание юноши приковалось к отцу.

— Недужен я. На одре лежу на смертном, быть может. Слушай же, сын мой, Федор. И вы все, бояре и воеводы мои, синклиты и советники. Как клялися мне и записи давали на послушание и службу верную царю своему и всему роду ево... Вот воля моя какова.

Снова остановился для передышки больной.

Предупреждая то, что может дальше сказать Алек-

сей, Богдан Хитрово хотел было возвысить голос, что-то сказать, но Долгорукий и Федор и еще несколько человек из его же сторонников не дали ему говорить, остановили, кто взглядом, кто движением, кто голосом:

— Нишкни... Тихо... Слушайте царя, бояре...

И среди полной тишины царь снова продолжал, обращаясь к Титову:

— Похерь, Иваныч, «Алексию»... Так... Ставь на поле: «Феодору»... Так! — следя за движением пера Титова, сказал царь.

Живое удовольствие сразу обозначилось на лицах у всех, кто был в покое.

Алексей заметил это, бледная, мимолетная улыбка озарила и его скорбное лицо.

— Написал? Дале: «...со братом ево младшим, царевицем Петром».

И словно не видя и не слыша сдавленного смятения, которое всколыхнуло всех, едва царь продиктовал эти слова, он продолжал:

— «До несовершеннолетних лет — быть старшему брату, тебе, Федору, попечителем в место отцово младшему, Петру. А как настанет ево царское совершение лет, три на десять, — объявити ево всенародно соправителем царства. А до тех пор — опеку и заботу о младом царевице вручаю матери ево, царице Наталье и мужам совета испытанным: боярину Артамону Матвееву, да князю Ромодановскому, да князю Борису Голицыну с боярином Абрамом Лопухиным, да боярам Кирилле Нарышкину, Федору Головину, Петру Прозоровскому, да иным боярам и князьям, коих царица с советниками на то изберет».

Все это медленно, с передышками продиктовал Алексей, следя, как против воли, может быть, неторопливо и четко выводил дык слова на полях бумаги.

Пока Титов дописывал, что ему было сказано, царь обратился к Федору.

— Чай, сам знаешь, сыне, слаб ты здоровьем... Оженить тебя не поспел я... Помру — и неведомо: даст ли тебе Господь потомство мужеска полу... Вот зачем велю о царстве и для Петруши... А в другое: он, коли Бог ему веку даст, силен да боек у нас, даром, што мал. Не одна и сам ты мне сказывал: «Вот, коли бы мне Господь таково здоровье послал. Трудно-де царить царю слабому, недужному». Вот, и станет Петруша,

как подрастет, в помощь тебе... И с матушкой царицей. Знаешь, как блюдет она всех вас, детей моих... Не глядя, што не родные вы... Вот в чем последняя воля моя. Все вы слышали. Так и исполнить должны... Крестом Честным и Богом тебя, сыне, заклинаю. И вас, бояре... Ну... Дописывай, Иваныч, што сказано... Я и руку приложу... Ох...

И со слабым стоном, окончательно обессиленный от всех волнений и от напряжения, проявленного сейчас, Алексей в полуобмороке откинулся на подушки, с которых поднялся было, обращаясь к сыну и боярам.

Федор готов был ответить отцу, что свято исполнит его волю, но, увидев, что тот бледнеет и клонится на бок, крикнул:

— Што с батюшкой?... Лекаря поκληчьте скорее!.. Никак, сомлел...

Кой-кто кинулся к выходу, Петр Хитрово — впереди всех.

Долгорукий и протопоп Василий подошли к постели, взяли руки царя, стали прислушиваться к его дыханию.

Алексей, слабо вздохнув несколько раз, закрыл глаза и пересохшими губами еле внятно пролепетал:

— Ништо... так, дух захватило... Царицу... Матвеева... детей повидать бы... Петрушу... Што долго они...

— В единый миг, государь... Я сам пойду... Я мигом!

И Долгорукий быстро вышел из опочивальни.

— Унесло ево вовремя, — негромко заметил Петр Толстой Богдану Хитрово. — Тово гляди, мешать бы стал... Слышь, Иваныч, пожди, не строчи, — обратился он к Титову.

Но тот уже и сам давно остановился на полуслове, как только поднялась сумятица у постели царя.

— Надоть, бояре, свое толковать, за чем пришли, — вполголоса обратился ко всем Хитрово. — Гляди, кабы не взял Господь царя на глазах у нас... Ишь, синеет весь... Пусть бы поизменил волю свою...

— Вестимо, мешкать нечево, — снова вмешался Толстой. — Вон, половина ево приказу записана. Коли бы не смог и руки приложить — все царская воля!.. Сказать свое нам надо...

— Сказать, сказать, — откликнулись почти все так же негромко.

Пророкотали — и сейчас же смолкли, словно сами испугались своей смелости.

Все понимали, что медлить нельзя. Царская воля высказана перед лицом царевича. И если сам Алексей не изменит ее — слабовольный, робкий, чистый душой Федор конечно уж не решится поступить иначе, хотя бы и не осталось подписанного завещания от умирающего отца.

Все понимали это, но никто не решался заговорить первым. Дело было слишком важное, большое. Слишком много личных и общих интересов было поставлено на ставку, и можно было играть только очень осторожно, бить почти наверняка.

Но и молчать нельзя. Вон, кроме своего посланного, Петра Хитрово, за царицей и за лекарем кинулся Долгорукий и еще несколько лиц из таких, которые заведомо держали руку Нарышкиных. Они разыщут, приведут всю ненавистную компанию, и Матвеева, и иностранную стражу, и стрельцов Петровского полка.

Весь план расстроится. Все будет потеряно.

— Э-эх, не будь Феда тут, — тихо шепнул Толстой Богдану Хитрово, — живо бы покончить можно... И вписать, што надо... И руку бы он приложил... А там — хто што узнает? Царевич поверил бы, он такой...

Хитрово только отмахнулся рукой от советника.

— Там, што бы было... Ежели бы да кабы... Ты вот, лучше дело царю скажи...

Толстой, словно не расслышав предложения, пошел кому-то еще шептать свои соображения.

И неожиданно для всех заговорил Василий Волинский, заведомый трус и «легкодуш».

Если остальные от неудачи заговора теряли особые преимущества в государстве, теряли власть и сопряженные с нею крупные выгоды, почет и силу, — Волинский терял все, может быть, и самую жизнь. Он, собственно, не имел значения сам по себе или по родовым связям. Держался своим угодничеством, заискивал перед каждым сильным человеком. Но, открыто пристав к врагам Нарышкиных, он, конечно, будет раздавлен последними, если они восторжествуют. А те, к кому он пристал, и не подумают заступаться особенно за «суму переметную», как величали боярина. Ни охоты, ни сил не будет для этого у побежденной партии.

И вот, руководимый отчаянием трусости, Волынский первый теперь заговорил среди наступившего неловкого молчания:

— Государь ты наш батюшко, Алексей свет Михайлович, не вели казнить, дай слово молвить, как оно по-старому, словно по-писаному молвится... Вестимо, твоя воля царская... Але ж и нам, боярам, рабам твоим верным, вместе слово молвити, коли што на уме да на душе лежит...

Ободренные этим вступлением, все остальные единомышленники, раньше стоящие и шепчущие по разным углам горницы, сгрудились тесной толпой вокруг постели так, что почти оттерли от нее и царевича.

К последнему подошел Языков и стал около него как бы на страже, очевидно, почуяв, что дело принимает особый оборот.

Сюда же, по указанию Хитрово, подошли Хованский и еще два-три человека, наблюдая, как повлияет вся последующая сцена на Федора, чтобы не допустить его вмешаться в события.

Алексей, очевидно, слышал и понял, что говорит ему Волынский. И раньше он предвидел: не за тем пришли к нему бояре, чтобы покорно и молча выслушать его решение. Но царю думалось, что Федор в эту тяжелую минуту проявит мужество, остановит их натиск на больного отца.

Он ошибся.

Сердце сжалось у Федора, когда он услышал неподобающее, необычное, чуть ли не наглое обращение хундордного боярина к больному царю. Но встать, запретить, прикрикнуть на него и на всех, чтобы все молчали?..

На это не хватило воли и духу у болезненного юноши. А его чуткое сознание подсказывало ему, что подобная попытка осталась бы безрезультатной. Кроме честного Языкова, он видел, никто не окажет ему настоящей помощи.

И, совсем осев на своем месте, словно желая втиснуться в стену, у которой стояла скамья, Федор сидел, опустя голову, заломив тонкие, бледные пальцы рук, оброненных бессильно на колени.

Ничего не ответил больной Волынскому. Голос ли отказался ему служить или негодование мешало, — трудно было разобрать. Он только поглядел на боярина

долгим, укоризненным взглядом и через силу покивал головой.

Принимая это движение за приглашение продолжать речь, Волинский снова заговорил:

— Вот наша дума, государь... Не только, слышь, тех, хто тута, а и всево боярства, и воинства твоего славного... Стрелецкие полки все то же ладят... Вон, боярин Хованский да головы, да полуголовы стрелецкие, што с нами пришли, да тысячники солдатскаво строю, и рейтары... И отцы духовные... Все с нами заодно... Вот, и поизволь выслушать, царь-государь, о чем просить станем, на чем челом добьем тебе... Уж не посетуй на раба твоево худороднаво, коли што не так молвил. Дело великое и час самый останний... Того и гляди, осиротеет, мы бедные, без тебя, милостивец ты наш. Вот, сказать и надобно...

Видя, что Алексей молчит, выдвинулся вперед, отстраняя Волинского, и заговорил Хитрово:

— Свет ты наш, батюшко царь, солнышко ты наше ясное... Уж, не посетуй... Може, даст Господь, и осилишь хворь... вернется здоровье к тебе... Будешь по-старому царить над землей и над нами, рабами твоими верными... А все же не ровен час. И сам ты, государь, мудро удумал: волю свою прочесть нам приказал... Вот о ней о самой и хотим молвить слово. Уж коли осиротит нас Господь за грехи за наши, не станет тебя, яснаво сокола, надежи нашей, — дай нам царя единово, настоящего, штобы смуты да свары не было на Руси... Вестимо, мудрое было слово твое: слаб твой старшой царевич... Скорбью телесною взыскан от Господа. Да разумом же светел, ровно звезда в небе ясная. И супругу возьмет себе в час добрый... А Господь, хранящий царство и державу нашу многие годы, даст ему потомство и наследье на укрепление царства, как и всем то было государям московским... А два царя на царстве?.. И рядом-то цари не уживаются мирно, в соседних землях. Все покоры идут. А тут — над одной землей — два царя! Да еще один — молодой от друга. Не царь правит — советчики, — такая помолвка есть старая... А тут — у каждого царя своя дума буде... Новая свара... Кому туго придется? Земле... Вот, государь, чего ради и молим тебя: отложи, што дале буде — на волю Божию. Свое дело поверши, дай по себе наследника, сына свою старшово, как оно и водилося доны-

не. И сам, гляди, на дело рук своих с небеси возрадуешься, как призовет тебя Господь в селения свои...

— Все молим тебя о том же, — с поклоном, один перед другим заголосили бояре.

— Молим, молим, государь! — донеслись из соседнего покоя голоса тех, кто по чину не решался войти в опочивальню царскую или не поместился в ней, так как во время речи Хитрово вся она переполнилась сторонниками боярина.

Алексей, тяжело дышащий от приступа удушья, ничего не отвечая, только разразился сильным приступом кашля, среди которого едва слышно прохрипел:

— Лекаря... На...таля... Петру...ша... Помираю...

Федор услышал хрипение и кашель отца, двинулся было к постели, но нечаянно или умышленно бояре сделали вид, что не замечают желания царевича, не слышат его просьбы:

— К батюшке, пустите к батюшке...

И все сплошной стеной сгрудились у постели, не давая видеть, что там творится.

А Хитрово громко заговорил:

— Што изволишь говорить, государь?.. Соизволяешь на просьбы наши на смиренные, на мольбы рабские... Пиши, слышь, дяк... Старшему царевичу Федору царство...

— На...таша... Петруша... Помираю... лекаря... — уже более внятно выкрикнул, весь трепеща в агонии, Алексей.

— Послано, послано по их... Гляди, подъедут... Уж потерпи, государь-батюшка... Отец Василий, шел бы ты, святейшего патриарха повестил... Ишь, кончается свет государь наш... Да лекаря там скорее бы... Може... помочь какую даст...

— Арта... Артамона... — снова выкрикнул умирающий.

— Да боярина Матвеева поглядеть прикажи, — продолжал распоряжаться Хитрово, очевидно, овладевший положением. — Вон, сказывают, не поехал он и с царицей. Во дворце где-нигде... Князь Иван, — позвал он Хованского. — Ты бы сам!.. Да, Иван Максимыч, и ты, Федорыч, вы и царевича поотвели бы!.. Гляди, ему самому, никак, не по себе стало... В тот бы покой ево... Тамо попросторнее... Што уж тут... Попам тута место...

И Федор, почти лишившийся сознания, почувство-

вал, как Языков и Куракин его осторожно поднимают и ведут в соседний покой.

Здесь слух юноши поразил знакомый голос царицы Натальи.

Она, очевидно, вернулась с пути, предупрежденная каким-нибудь благожелателем.

Выбежав из колымаги, кинулась на верх к царю, — но там уже были предупреждены, и ее не пускали в опочивальню, уверяя, что врачи запретили волновать больного под угрозой его внезапной смерти.

Князь Хованский то же самое подтвердил царице, когда показался в сенях, где на руках своих боярынь билась в рыданиях Наталья, прижимая к груди царевича Петра и умоляя пустить ее в опочивальню.

— Туды, к государю... Не стану плакать! Не потревожу ево... Туды... Туды пустите!.. — повторяла она.

— Никак не можно тово, государыня-матушка. Потерпи, слышь, малость... И сам призовет тебя царь-государь... Полегше, слышь, стало ему... А вы бы, боярыни, дело свое знали, — обратился он к провожатым Натальи, — чай, видите: не по себе государыне. Ничем с ей сюды тискаться, на ту половину, в терем бы поотвели ее милость...

Анна Левонтьевна с младшей дочерью и боярыни Натальи, растерянные, напуганные всем, что совершается кругом, хотели уже исполнить распоряжение находчивого князя.

— Не рушьте меня... Никуды не иду... Тута буду... Али не слышите, што я приказываю? — вдруг властно окрикнула их Наталья. — Али уж я тут самая последняя стала?! Уж коли на то пошло, — стрельцов кликну! Они мне путь дадут к супругу, к государю моему... Ступай, Дарья, зови голову стрелецкого, што провожал наш поезд! Сюды ево... Ты, Абрам, — обратилась она к Лопухину, — али бо ты, князь, — идите, зовите... Не посмеют они не пропустить вас...

Прозоровский и Лопухин двинулись к выходным дверям. Но Хованский, едва Наталья заговорила о стрельцах, уже предупредил их. Пока князь и Лопухин протискивались в толпе заговорщиков, умышленно не выпускавших обоих из давки, как не пропускали они к Алексею царицы, — Хованский уже был во дворе, где еще находился отряд Петровского стрелецкого полка, провожавший поезд царицы.

Стрельцы знали князя, служившего в Главном стрелецком приказе, и не удивились, когда он приказал:

— Скорее в разряд свой поспешайте. Тамо всему полку собираться без промедленья приказано от боярина, от Артамона Сергеича.

Покорно повернули ряды свои стрельцы и потянулись к дворцовым воротам.

И когда Прозоровский с Лопухиным успели-таки выбиться из сеней, они не нашли во дворе Петровского отряда. Только чужие стрельцы, сторонники Милославских, завзятые аввакумовцы толковали о чем-то с князем Хованским, стоя густой толпой перед самым дворцовым крыльцом, и недружелюбно, глумливо поглядели на обоих нарышкинцев.

— Услал проклятый князек, продажная душа, наших-то, — сказал Лопухин Прозоровскому, сжимая в бессильной злобе кулаки.

И оба поспешили обратно к царице, оставшейся теперь совсем беззащитной среди заведомых недругов там, наверху...

Наталья, видя бесплодность попыток, узнав, что матвеевских стрельцов успели удалить, в отчаянии опустилась на скамью и беззвучно рыдала, прижимая к себе перепуганного царевича.

Вдруг сквозь толпу пробился к ней Матвеев, только сейчас узнавший, что творится во дворце.

Часть провожатых царицы вернулась в терем; там стало известно, что царь умирает, а царицу не допускают к нему.

Поднялось смятение, плач.

Усталый, измученный Матвеев, спавший в одном из покоев терема Натальи, проснулся, вскочил и, поняв, в чем дело, кинулся к царю.

У маленькой двери уже стоял Гаден и спорил с часовыми, не пропускающими лекаря в опочивальню.

— Прочь с дороги! Меня не узнали, што ли? — крикнул на них Матвеев.

Но хмурые стрельцы и не пошевелинулись, особенно, когда заметили, что Матвеев безоружен.

— Как не знать, боярин. Да нам от самого государя приказ даден в энти двери никому ходу не давать. Так уж не погнепись.

И бердыши стрельцов, которыми те перегородили обоим дорогу, не сдвинулись ни на волос.

— Пустое вы брешете, собаки! Не мог царь... Пусты, говорят...

И Матвеев, толкнув сильно одного из стрельцов, ухватился за древко секиры, чтобы отвести его и очистить себе путь.

— Ну, уж, нет... Ты не толкай, боярин! Гляди, лихо бы не было... Нам своя голова твоей дороже, — грубо отрывая руку Матвеева от бердыша и отталкивая его назад, пригрозил стрелец постарше. И другой рукой потянулся к ножу, рукоятка которого виднелась из-за пояса.

Стиснув зубы до боли, закричал ими боярин, но — делать было нечего.

Гнев, брань — не помогут. Очевидно, тут что-то неспроста... Наглецы уверены в своей безнаказанности, если так поступают с ним, с другом самого царя, с родичем царицы.

Здесь времени терять нечего. Надо скорей, хотя бы дальними переходами, пройти к царю, узнать, что там делается.

И Матвеев кинулся назад.

Гаден за ним.

Обойдя двором, оба они едва пробились только в сени, где нашли новую толпу людей, возбужденных, враждебно поглядывающих на них.

И тут же в углу различили Наталью, окруженную своими боярынями.

Царица от рыданий была в полуобмороке. Царевич Петр громко плакал и тормозил мать, запрокинутая голова которой лежала на плече у старухи Нарышкиной. Сестра Авдотья и золовка Прасковья Нарышкина уговаривали мальчика, сами едва удерживая рыдания:

— Помолчи, нишкни, желанный... Тише, Петенька... Дай покой матушке... Видишь, тошненько ей... Буде... Ты уж не блажи...

— Мама!.. Мамушка!.. Померла мамушка... Вон и не глядит... Пусть глянет мамушка... Мама!.. Мамка, глянь на меня! — упорно повторял ребенок, обливаясь слезами.

От крика и плача голосок царевича, всегда звонкий и приятный, звучал хриплыми, надорванными нотами.

Увидя Матвеева, царевич сразу рванулся к нему:

— Дедушка... Сергеич, мамка помирает!.. Не дай ей

помереть, — вон глянь... Глянь! — трепеща и прижимаясь к боярину, залепетал ребенок.

Гаден приблизился к Наталье, стараясь помочь ей.

По его просьбе Авдотья Нарышкина пробились на крыльцо и скоро вернулась с ковшом холодной воды.

Наталье обрызгали лицо, напоили ее, и царица стала приходить в себя.

Матвеев сразу понял, в чем дело, и не стал даже делать попытки пробраться в опочивальню к больному царю.

— Слышь, государыня, перемоги себя... Я мигом за своими стрельцами спосылаю... Тут иначе ничево не поделать, — шепнул он Наталье.

— Нету, услали их, — еле слышно ответила Наталья и снова залилась слезами.

— Вернем, ништо... Пока царь жив, время не ушло... Вы, бояре, поберегите царицу, а я скоро назад, — шепнул он Лопухину и Прозоровскому.

— Ладно, делай, што знаешь... Мы уж тут... — ответил Лопухин.

Вдруг зазвучал колокольный перезвон. На крыльце послышалось движение.

Распахнулись двери, и показался сам патриарх, окруженный высшим духовенством, своими боярами и соборным причтом.

— Господи... Вот защита Твоя!.. — вырвалось с воплем у Натальи.

Не отпуская сына, она кинулась к старцу Иоакиму и, как птичка, бегущая под защиту от налетающего коршуна, — укрылась под рукой пастыря, простертой с благословением над головой ее и ребенка.

Как бы против воли расступились все, кто раньше стоял стеной у дверей палаты, и пропустили патриарха в соседний покой, а оттуда и в опочивальню царя.

С патриархом прошла Наталья и царевич Петр. Снова послышался шум. Показалась другая толпа: шли сестры-царевны, дочери Алексея, со своими боярынями и ближней свитой, вели царевича Ивана его дядьки; Симеон Полоцкий шел со всеми.

Явились и царевичи «служащие», потомки Казанских, Сибирских, Касимовских царей, живущих при Московском дворе.

Матвеев стоял в нерешимости.

Идти ли ему за стрельцами или прежде проникнуть

в опочивальню, посмотреть, что там произошло? Что стало с Алексеем?

Сразу у боярина промелькнула мысль: уж если позвали патриарха, позвали детей всех, значит дело кончено. И силой ничто не поделаешь.

Решив так, Матвеев прошел с царскими детьми в опочивальню, в которой теперь было гораздо меньше народу, чем перед появлением патриарха. Незначительные люди выскользнули в соседние покои, в сени. Остались только главные бояре. Был уже уставлен аналой для патриарха, дымилось тяжелое кадило в руках у протодьякона...

Алексей лежал в агонии, с потемнелым лицом, как бывает у полузадушенных людей. Гаден, подойдя к постели, только мог печально сообщить окружающим:

— Отходит великий государь...

Наталья упала у постели и снова забилась в рыданиях.

Царевич Федор, которого подняли с его места, словно во сне, подошел к ногам постели, остановился там и, тупо уставясь в лицо умирающего отца, не произнес ни звука. Только из глаз его катились одна за другой холодные крупные слезы.

Патриарх начал служить краткую литию, возложил схиму на умирающего. Скоро Алексей совсем затих...

— Скончался государь, — снова негромко объявил лекарь, опуская руку покойника, в которой уже не ощущалось биение пульса.

— Не стало солнышка нашево, государя — великаво князя Алексия Михайловича. Блаженного успения сподобился он, солнце наше красное... Челом ударим, бояре, нареченному царю и государю нашему, великому князю и самодержцу всея Руси, Феодору Алексиевичу на многая лета! — громко первый объявил всюду поспевающий Петр Толстой.

И, перекатываясь из покоя в покой, перекидываясь за их пределы, на дворцовые площади, где слышались такие же клики, — громкий гул поздравлений слился с надгробными рыданиями над новопреставленным рабом Божиим царем Алексеем...

Едва только было объявлено воцарение Федора, новый царь, совершенно потрясенный всем, что пришлось пережить в такое короткое время, был уведен на его

половину и лекаря настояли, чтобы он лег немедленно в постель.

А в том же помещении, в «деревянных хоромах» опочившего Алексея, в Передней палате, старейший из бояр и по годам и по роду, потомок князей Черниговских, почти восьмидесятилетний князь Никита Иванович Одоевский приводил «к вере», то есть, к присяге новому государю всех, кто тут был налицо.

Князь Яков Никитыч помогал отцу.

Весть о смерти Алексея скоро разнеслась и по Кремлю и по Москве. Столовая палата тоже наполнилась боярами и служилыми людьми, желающими проститься с прахом покойника и принести присягу Федору.

Сюда явился один князь Яков, и до рассвета шло целование креста и подписание присяжной записи, составленной также, как была составлена она при воцарении Михаила и Алексея.

Старик Одоевский, передохнув несколько часов, подкрепленный сном, проехал в Успенский собор, где также присягали всю ночь новому повелителю «всех России и иных земель и царств»...

Федор совсем расхворался и не вышел к телу отца, выставленному в Архангельском соборе на короткое время для поклонения.

Когда же надо было хоронить отца, больной царь явился все-таки к погребению, сидя в кресле, которое комнатные стольники несли на руках, так же как и сани, покрытые черным бархатом, в которых, по обычаю, следовала за печальной процессией вдова покойного царя, Наталья Кирилловна.

Царица сидела в санях почти без чувств, припав головой к плечу провожающей дочку Анны Леонтьевны; заплаканное лицо Натальи было закрыто густой фатой.

Вопреки обычаю, Софья уговорила остальных сестер, и они все тоже вышли в траурных нарядах провожать к могиле гроб отца. Но, чтобы не нарушать благопристойности, царевны шли как бы инкогнито, смешавшись с толпой других боярынь и бояр, провожающих тело с рыданиями и стонами.

Не было обычной свиты вокруг царевен и наряд их ничем не выделялся среди остальных...

Только на одну ночь опоздал, не поспел к похоро-

нам раньше еще вызванный из Астрахани, из своей почетной ссылки, Иван Михайлыч Милославский.

И сейчас же принял самое деятельное участие в правлении, к неудовольствию Богдана Хитрово, хотя и сам он, и тетка Анна Петровна, были тоже не забыты в первых милостях нового царя.

2 февраля была объявлена и разослана по городам царская грамота о вступлении на престол царя Федора Алексеевича. В ней говорилось так:

«Царь и великий князь Алексей Михайлович скончался в 4 часа ночи¹, на 30 генваря; а, отходя сего света, — державу всея России пожаловал, приказал нам и на свой престол благословил нас, сына своего...»

Симеон Полоцкий в то же самое время сочинил и широко обнародовал «Прощание царя Алексея со всеми ближними ему».

Витиеватым слогом излагались прощальные речи усопшего, обращенные будто бы к наследнику Федору, к жене, к остальным детям и сестрам его.

Но рядом с этими официальными документами вырвались из толстых, глухих стен дворца иные вести, нехорошие слухи...

Многих смущал вопрос: по какой причине царь раньше не успел объявить боярам своей воли или не выразил ее письменно относительно передачи престола старшему сыну? И только за три часа до кончины нарек наследника.

Очевидно, у самого Алексея до последней минуты не созрело решение, такое, казалось бы, простое и законное: старшему сыну передать землю и царство.

Почему же это?

Конечно, нашлись люди, которые по-своему объясняли желающим, почему это так вышло...

Возникли рознь и толки между стрелецкими полками, принимающими молчаливое, но важное участие в последних событиях.

Те полки, которые оказались явно на стороне Милославских и Хитрово, были особенно награждены.

Немало темных слухов проникло и в простой народ московский...

Но все это пока было бесформенно, неясно. Слухи не успевали сложиться в открытые обвинения, из подо-

¹ То есть, по-нашему, около восьми часов вечера.

зрений не зарождалось еще упорной уверенности; тем более что вести, самые разноречивые, самые противоположные друг другу, налетали со всех сторон: из царского дворца, из теремов вдовой царицы, из теремов царевен старших и меньших, от боярских дворов и посадов: Милославских, Языкова, Хитрово, Матвеева, Голицина и других... И кружились эти слухи и вести, сбивая с толку москвичей, порождая в них неясное озлобление, непонятный им самим страх и тревогу в душе...

Темные, как осенняя ночь, смутные, как туманная даль, эти слухи и толки имели только одну общую примету: они были полны ожиданием чего-то нового, желанного, небывалого еще. Не было скорби о старом, о нем говорили, словно о покойнике, как будто вместе с Тишайшим-царем умерло оно, это старое, привычное. И теперь ждали иного от юного Федора Алексеевича, хотя все знали, что он много мягче и слабее Тишайшего. Даже раздавались дерзкие голоса, обвинявшие нового владыку земли в слабоумии.

— Бабы станут теперь царством вертеть, старые и молодые! — так негромко толковал не только простой люд, но и близкие ко дворцу лица.

И все-таки у всех назревала уверенность, что старое, привычное отжило свой век, что должно настать нечто новое, может быть, и тяжелое для многих, но неизбежное, богатое важными последствиями.

Как сбылись эти ожидания, будет рассказано в следующей книге, где очерчена борьба царевны Софьи с юным Петром.

В ней развернутся картины временных побед «царь-девицы» и окончательное торжество юного властелина над честолюбивой сестрой.

С Л О В А Р Ъ

Алѣ — но, однако, да, ведь

Багрянорóдный — царственно-рожденный

Бáйня — баня

Бáрма — ожерелье на торжественной одежде со священными изображениями. Их носили духовные сановники и русские государи

Бáхарь — краснобай, сказочник

Бирюк — годовалый бычок

Блáзень, блазнѣть — искушать, совращать

Булгáчиться — суетиться, метаться, тревожиться, суматошиться

Велемóчный — весьма сильный, крепкий; весьма властный, многомогущий (вѣлий — великий)

Вѣльми — весьма

Верѣя — столбы, на которые навешивались полотенца ворот

Вершнѣик — верховой, конник

Вя́шший, вящий — высший по силе, власти

Гáить — кричать

Глúзд — ум, память, рассудок

Горлáтный — о мехах: горловой, дущатый

Горю́н — кто горюет, кручинится

Грáмата — всякое царское письмо, писание владельной особы

Деснѣца — правая рука

Довóдчик — доносчик, свидетель

Драбáнт — телохранитель

Дúка — вельможа

Дя́тьчить, дякать — беседовать

Занѣ — потому что, так как
Иже — кой, который
Избѣгъся — избываться, быть изводиму, погубляему
Исполѣть — хвала, слава
Истовый — истинный

Кадѣи — бочар, бондарь
Канѣн — здесь: молебен, панихида
Карбѣнкул — пироп, ценный камень из рода граната
Кат — палач
Кѣка — женский головной убор с рогами (*сорѣка* — без рогов, *ко-
кѣшник* — с высоким передом)
Клейнѣд — один из предметов, служащих представителем держав-
ной власти: корона, скипетр, держава
Клѣишник, клѣчник — придворный чин, заведующий столовыми при-
борами, прислугою
Колѣиска — люлька, колыбель
Копр — куча, ворох
Крѣвчий, крѣйчий — придворный чин
Крин — растение и цветок лилия
Кружѣло — кабак

Лѣстовка — кожаные четки староверов с кистью кожаных лепест-
ков

Лих — но, только; выражает злорадство (Так не дам лих)
Лишѣа, лишѣнь, лишѣ — лишь, только что, теперь

Мыслѣте — название буквы, 14-й в церковной азбуке, 13-й в рус-
ской (Все люди, как люди, а мы как мыслете)

Наипѣче — особенно, тем более
Натѣкать (кого на что) — наставить
Нѣгодь — все, что негодно
Новинѣа — новизна, нововведение

Оберѣмя — охапка
Облѣм — здесь: грубый, неуклюжий, мужиковатый человек
Облѣжный — лживый, ложный
Опаиень — широкий долгополый кафтан без воротника с широки-
ми короткими рукавами
Оплѣче — часть одежды, покрывающая плечо
Ослѣп — жердь, дубина. Ослѣпная свеча — величиною с ослѣп

Охабень — верхняя длинная одежда с прорезами под рукавами и с четверугольным откидным воротом

Охулка — дейст. по гл. *охулить*: порицать, порочить, хаять

Оцет — уксус

Па́холок — парень, малый

Печа́тник — здесь: хранитель печати

Повалу́ша — летняя спальня

По́днизь — жемчужная или бисерная сетка, бахромка на женском головном наряде

Подру́жие — супруга, жена

Поста́вец — стол, столик; посудный шкаф

По́шлина, пои́ли́на — давний обычай

Припа́док — здесь: случай

Прору́ха — ошибка

Ра́дить — советовать

Рейта́р — конный воин, всадник

Рёмство — ненависть, злоба, досада

Роже́ный, ро́жеый, рожо́ный — родной, желанный, родимый

Рёнда — здесь: телохранитель, оруженосец

Свыча́й — привычка, навык

Сиречи, сиречь — то есть, а именно

Соста́в — здесь: заговор

Сто́гна — площадь, улица в городе

Стря́пчий — чиновник-правовед, наблюдающий за правильным ходом дел

Студ — стыд

Суймовать — баламутить

Сулея́ — бутыл

Схизма́тик — раскольник

Та́лька — ручное мотовило для крестьянской пряжи

Тафта́ — гладкая тонкая шелковая ткань

Убру́с — плат, платок, полотенце

Ура́зить — бить, ранить

Ура́зная трава, ура́зница — зверобой

Фё́рязь — мужское длинное платье с длинными рукавами без воротника и перехвата

Цка — доска

Чекáн — знак сана, топорик с молоточком на аршинной рукояти

Чекмéнь — крестьянский кафтан

Чёрватый, черёватый — брюшной (о мехе)

Шáрпать — обдирать; шаркать

Шúйца — левая рука

ОТРОК- ВЛАСТЕЛИН

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ
ИЗ ЖИЗНИ
ПЕТРА
ВЕЛИКОГО



ОТ АВТОРА

Настоящая книга... правдивая историческая повесть из былых времен нашей родины является в то же время прямым завершением моей хроники «Русь на переломе», выпущенной А. Девриеном в прошлом году, и служит как бы второй частью этого труда. Даже подзаголовок у обеих книг общий — «Стрельцы у трона».

Но появление у трона московских государей стрелецкой силы только намечается в помянутой книге. Там, если читатели помнят, начинается рассказ с описания последних лет правления Алексея, Тишайшего царя; обрисовано переходное состояние государства от старорусского уклада к новым, западно-европейским формам. Перед взором читателя я старался развернуть сложные интриги и происки боярщины и последних представителей духовного и светского византизма, желавших по-старому владеть землею и править ею от имени Московского царя.

Повесть обрывается на смерти царя Алексея, с которым как бы сошла в могилу и вся «старая, допетровская Русь».

Содержанием настоящей книги служит краткое царенье Федора Алексеевича, воцаренье Петра, затем — соцаренье с ним больного брата, Ивана Алексеевича. Следует описание первых лет власти Петра, обрисованы попытки Софьи-царевны вырвать эту власть, для чего и был ею затеян целый ряд стрелецких бунтов. Наконец, в развязке найдем победу Петра, полукрепшего, но уже мощного орленка, увидим его кровавые, жестокие расправы с непокорной стрелецкой силой да и со всеми другими, кто смел стать ему на дороге к той высоте, которая словно была определена судьбой юному титану Севера.

Здесь во всем уже чувствуется мощный трепет «новой Руси». И сам Петр, который считал себя продолжателем дел, задуманных его предком, Иваном IV, Грозным по прозванию, является не только выразителем и создателем нашего царства, которое он принял в виде «затейливых деревянных хором Московии», а оставил каменным, величавым, хотя и напоминающим казармы, храмом, настоящей мировой Империей.

Первый российский император Петр, по справедливости прозванный Великим, явился и провозвестником и залогом дальнейших преобразований великого славянского царства.

Преобразования дали силу земле; их вершитель Петр именно велик больше как преобразователь, чем как полководец... Это отмечено и современниками его, и голосами истории.

Но в этом же кроется залог народных упований и сил, дающих право России на мировое место не только по численности ее сыновей, но и по вечному стремлению к совершенству, к преобразованиям, что бы там ни мешало такому стремлению, кто бы ни стоял у нее на пути...

Это — одна сторона, придающая особый интерес эпохе Петровских деяний. Но историческим интересом не исчерпывается значение царения Петра.

У многих, наверное, является вопрос: почему автор два обстоятельных тома: «Царь Иоанн Грозный» и «Царь-опричник» посвятил полному описанию жизни царя Ивана IV, а потом сразу, минуя целый вековой период, перешел к Петровским временам?

Сделано это не случайно, не под влиянием каких-либо внешних обстоятельств. Здесь именно и кроется еще одна сторона глубокого интереса, вызываемого в нас личностью Петра, его жизнью. Это — сторона психологическая.

За сто лет до Петра богато одаренный ребенок, впоследствии царь Иван Грозный, рос под ураганом боярской усобицы, бродя по колена в крови, окруженный предательством, опутанный изменой и враждой... И вырос из этого ребенка повелитель, который сумел всю жизнь брести по пояс в крови, но в то же время оставил по себе память как прозорливый государь, как храбрый воитель и строитель царства. Невольно дума-

ется: чего мог достичь такой ребенок, если бы он вырос при более благоприятных условиях?!

И вот через сто лет снова подымается величавый образ богато одаренной, могучей телом и душой личности. Это «работник на троне», преобразователь целой огромной страны, Петр, даже в «самодержавстве» своем умевший наметить неизбежные переходные ступени к новым, общественно-правовым, коллегияльным рамкам политической жизни... Что бы мог совершить такой титан духа и мощи физической, если бы его детство не было омрачено трагической тенью от фигуры властной сестры, царевны Софьи, если бы ступени крыльца в Кремлевских палатах не были орошены кровью мученика — Матвеева, кровью дядей Петра, Нарышкиных... Если бы буйные стрельцы не грозили самой царице Наталье и ему, ребенку...

Невольно являются такие вопросы... Но прошлое говорит только о том, что было, а не о том, что быть могло.

Это сходство внешних событий жизни прадеда и правнука и несходство их личностей представляет зрелище, полное захватывающего, трагического интереса!

Вот почему, минуя загадочную смерть Димитрия Угличского¹, минуя пеструю пору царенья Бориса Годунова, этого Макиавелли на троне, не затронув и красочной, богатой событиями и характерами поры Лихолетья, эпохи самозванцев, пропустив мирный заключительный аккорд — избрание Михаила Романова, я перешел от Ивана Грозного к Великому Петру, которого называли нередко и жестоким... Все темное, правда, почти позабыто и не ставится в незамолимую вину человеку, который наряду с ошибками и бесчеловечными подвигами, вроде казни собственного родного сына, совершал работу нового Геркулеса, очищая русло народной и государственной русской жизни от заносов косной татарщины, от начал византизма и патриархально-приказного строя.

Только с любовью, глубоко прощая во тьму былых времен, мы находим и себя лично, и свое историческое «я»... Прошлое учит нас понимать текущий миг и угадывать грядущие события. Вся мировая культура,

¹ Об этих событиях читатель узнает из повести «Наследие Грозного», включенной в первый том. (Примеч. ред.)

все развитие и поступательное движение человечества зависят от более или менее яркой способности и умения сберечь в памяти прошлое и делать из него правильные выводы.

Поэтому я и решаюсь продолжать свой сложный и порою, неблагоприятный труд.

В пестром узоре текущей современной жизни так странно видеть образы, вызванные во всей их простоте, во всем своеобразии из мрака времен...

Такие странные, не «модернистские» облики и очертания... Такая грубая, порою непонятная современному читателю, «корявая» речь...

Вот о речи, о языке моих повестей скажу еще два слова.

И до сих пор сохраняет силу крылатое слово Пушкина, что «русской речи надо учиться у московских просвирень»... А между тем и литераторы, и профессора русской словесности сами говорят совсем иначе и вряд ли даже легко поймут эту коренную, чистую русскую речь во всех ее оттенках и самобытных оборотах, со всеми славизмами...

Что же сказать о речи, которой говорили при Иване IV, при Петре Великом? Мы знаем, что в «посольских наказах», даваемых московскими царями отъезжающим послам, хранятся подлинные образцы тогдашнего языка... Мы находим их и в письмах того же Грозного к Курбскому, писанных не церковным слогом, а просто, как тогда говорили. И только славянские цитаты, которыми испещрены эти письма у обоих интересных полемистов, напоминают нам, что Иван был прозван «ритором словенской премудрости», а Курбский — один из ученийших людей своего века, первый русский историограф в полном смысле этого слова.

Письма и записки Петра и его современников тоже дают полные образчики тогдашней разговорной речи. И если характер речи, ее стиль обнажают душу человека, дают нам узнать его «я», то язык, каким говорили в известную эпоху, самый яркий штрих, выражающий ее.

Мы не сетуем, если Помяловский в своих «Очерках» знакомит нас с языком старой бursы, если Решетников позволяет своим «подлиповцам» говорить, как они умеют, не ломая их речи на барский лад.

И я в первых моих двух книгах оставил во всей неприкосновенности говор Ивановской поры, тяжелый,

«корявый» немного, так напоминающий язык современных вятских мужиков или вологодских поселян... Мне хотелось потом и в речах современников царя Алексея сохранить надлом, который особенно ярко выразился в смешанной, польско-малорусской речи вельмож, окружавших Софью и малолетнего Петра, перейдя затем, при Петре-государе, в ту типичную, книжно-надуманную речь, которая и до сих пор оставила следы в литературном русском языке, правда, очищенном колоссами русского гения — Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем, Тургеневым, Щедриным. Они сумели глубоко обрусить хорошее чужое и вспомнить еще более прекрасное свое, вызвав его из глубины простой народной речи.

Конечно, пору Лихолетья, где смешались все языки и говоры на арене русской исторической жизни, нельзя будет воссоздать с ее типическим языком и придется пользоваться общерусским говором, литературной ясной речью, как будто переводя подлинные мысли и слова действующих лиц на современный язык.

Так и делает большинство исторических писателей, наших и западных.

Наконец, ближайшая пора — царенье Екатерин, Павла и Александра Благословенного — почти не дает материала для таких экскурсий в области лингвистики. Но тем интереснее казалось для меня воспользоваться случаем там, где он был кстати. И если ряд живых картин, смена потрясающих событий, точно и по возможности полно мною описанных, не искупали некоторых трудностей говора, которым изъясняются мои правдивые герои, это я должен поставить в вину не их речи, а моему неискусству автора, за какое прошу не судить строго.

Исполнение очень редко идет в ногу с добрыми замыслами и в житейском обиходе, не только в творческой работе, как бы скромна ни была последняя.

Л.Ж.

ВЕНЧАННЫЙ СТРАДАЛЕЦ

(30 января 1676 — 27 апреля 1682)

Не одна сотня челядинцев, прислужниц и всякого рода работниц ютится по людским избам при царском московском дворце. У всех у них родня и связи за стенами «города», на посадах. И эта тысячеустая толпа тысячью путей разносит по Москве вести обо всем, что самого тайного творится в Кремле, за его неприступной с виду оградой. Можно спрятаться от друзей и врагов, укрыть что-нибудь от самых близких родных, но не от слуг, которые видят, не глядя, слышат, не слушая...

Своих интересов у челяди мало. Интересы эти очень несложны. Сыты, обуты, пьяны порой — и ладно. А пустоту в уме и в душе они пополняют наблюдениями над жизнью господ, действия которых обсуждают с особой строгостью и вниманием.

Вот выкатились из нижних, портомойных, ворот Кремля и подвигаются к отлогому берегу Москвы-реки тяжелые, большие сани. На них стоит что-то, должно быть, сундук, как можно судить по очертаниям, потому что сверху наброшено простое красное сукно.

Идет восемь-девять бабенок, а за ними важно шествует боярыня.

Это везут царское белье полоскать на реку.

Там у прорубей уже немало других баб моет и полощет свой белый и цветной скarb.

Подъехали «верховые» сани. Сняли сукно, под которым — большой простой сундук, взломали печать, которою он припечатан. Начинают добывать из сундука груды белья и легких платьев царицы и царя и всей семьи его и разложили все на особом месте. Полощут. Стучат вальки. Боярыня-надзирательница, поживаясь от холоду в своей шубе, только поглядывает, все бы цело вернулось в сундук.

А о чем толкуют эти прачки, царские портомои, или мовницы, и между собой, и со знакомыми бабенками-прачками, где уследить озябшей боярыне...

Конюха вывели коней поить, ушла с дежурства партия дворовых людей, и по пути в свои слободы, где они живут, заглянет иной к знакомым и родным на посадах... И тоже нельзя уследить, что успел разузнать в Кремле и о чем толкует с посадскими по душе иной царский дворовый...

А в Москве — из всех русских городов, да и не только русских, из зарубежных даже, — всегда есть наезжий народ...

И пускай дворцовые указы говорят, о чем вздумается боярам и дьякам, их сочиняющим; пускай придворные пииты пишут и выпускают свои торжественные элегии и оды... Русский народ узнает правду скорее, чем бы это хотелось кому-либо.

По монастырям иноки заносят текущие слухи, вести в свои тетради-летописи; иностранные послы и купцы за границу близким людям и государям своим пишут обо всем, что творится за высокими, крепкими, хотя и начинающими уже ветшать и осыпаться стенами Кремля; за его башнями и воротами, которые заграждены и тройными тяжелыми створами дверей, и железными опускными решетками...

Вот почему после смерти царя Алексея скоро пошли какие-то неясные, сбивчивые, но темные толки и слухи по земле.

И самые осторожные, недоверчивые люди, прислушавшись к этим разноречивым толкам, видят их нелепость и несоответствие между собою, но все-таки, покачивая головою, говорят:

— Нет дыму без огня... Вон, как помирал царь Михайло, все загодя знали: государить царю Алексею по нем... И бояре смирно сидели, и стрельцы в царские дела не мешались, знали службишку свою немудреную да торговый обиход... А ныне — вона, ждали, што молодой, Пётра-царевич, отца любимчик здоровенький, и в цари попадет, хошь бы не один, а с братом... Да намест тово... Воинством ратным, стрельцами да пешими стали бояре друг дружку пужать... Не бывать доbru... Не миновать худа... Царь-то новый, Федор Алексиевич, юный и хворый... Вестимо, не сам загосударит,

а ближние его: Милославские да Хитрово... А их мы ведаем, повадки ихние знаем... Ох, што-то будет?..

Так гадали и думали самые осторожные, не легкомысленные люди. И эти предчувствия скоро сбылись.

Но сначала — гладко на вид, все по-старому шло.

Вертелись старые колеса налаженной государственной машины, все делалось по-бывалому, как по писаному.

Федор занемог в самый день смерти отца, поправлялся очень медленно и не скоро получил возможность лично участвовать в управлении царством. Да и, поправясь, принялся за дело неуверенно, осторожно.

От природы он был нерешителен, хотя и упрям порою в то же время. А печальная ночь кончины отца наложила тяжелую печать на юношу-государя.

— Што с тобой, государь-братец, аль от недуга стал ты такой, Федюшка? — спрашивала его порой Софья, с которой царь стал еще дружнее, чем был раньше, как бы желая набраться энергии от этой сильной духом и телом, порывистой и умной девушки.

— Нет, сестричка... Так... И сказать не умею... Вот и лучше мне, телесам-то, а на сердце — ровно бы тяжелее, ничем и в скорбные дни, как хворый я лежал... Да, слышь, Софьюшка, все мне одно вспоминается... Из ума нейдет. Вот, ровно вижу наяву... А давно было... Года с три, почитай, минуло.

— Што там тебе еще мерещится? Ну-ко, поведай, чудовой, ты... Пра, чудной.

— Да, слышь, батюшка-покойник на охоту меня взял единова... На сохатых, в лес заповедный, в Лосиный бор... И матка с теленком выскочила. Псы кругом. Лосиха и бежать не бежит, теленочка ей жаль. Охота ей, видно, он бы в чащу ушел. А тот, глупый, к ей все жметса, под ноги кидается, мешает ей.

— Глупый...

— Побежит-побежит она с им рядом и обернется, собак рогами отмахивает. Псы — от них подале. Она и сызнава с теленочком науход. И под конец, видно, выразумел он, от матки в кусты и бежит. Псы не глядят на теленка, матку обступили... Она их рогами бьет, раскидывает... А как увидала, что детеныша не видать, — сама за им пустилася... Я уж стою — и не бью сам, и людям не велю... «Ушла бы!» — думаю. А псы — за ей, и не отозвать их. Хватают, рвут ее сза-

ди... Она отмахнется — и наутек... Да, слышь, — спотыкнулась ли али с наскоку псы ее sproкинули, — свалилась на миг матка-то... Тут псы разом — куды и страх делся... Накинулись, за горло... за бока...

Уж подскакал я, пристрелил сам, жалеючи... Вот и думается: не спотыкнись она... не пади на землю — не посмели бы псы рвать... А упала...

— И пропала, — договорила Софья, охотница до созвучий и даже сама, по примеру Симеона, сочиняющая стихи. — Так уж во всем, Федя. «Лежачего не бьют» — оно так ранней было... Ныне — и стоячего с ног свалят, коли надобно... Не похуже твоих псов... А ты — крепче стой, не давайся... Слышь, Федя... А еще поведай: к чему ты сказал про лося-то... да про псов?.. Не разумею я... Али?..

— Нет, так... само припомнилось... Вот я...

— Не вешай головы, царь ты мой, всяя Русии государь самодержавный... Кто тебе страшен!.. А и не один ты. Вон дядя Иван Михалыч теперь при нас... Нешто он нас выдаст... Нарышкины пускай...

— Што Нарышкины?.. И окромя их есть люди. Вон, они единым часом в землю нам челом бьют, а в тот же час могут...

— Што? И главу нам пришибить, коли им надо? Не посмеют. Только, слышь, коли я сдогадалась, про кого ты... Сам, гляди, не больно на них вставай... Всех можно помаленьку обратять, в узде повести... Верь ты мне! Не разом... так, знаешь, полегоньку... Стравить их, один с другим... Кого казной купить, кого — почетом... А там...

— Эх, не по мне все это... Знаю сам... Видел я, как батюшка государил... И читывал не раз, как Московские цари и в иных землях государи людей крепко да умненько держали... Да не охота мне так-то... Душой лукавить, в цепи сажать али бо, храни, Господь, кровь проливать... Куды мне! Подумаю — сердце мрет...

— Ну, знаю... А ты, слышь, мне державу сдай. Я бы управилась, гляди...

— Ты?! Ты управишься! Ишь, какая ты... Смехом говоришь, а на тебя поглядеть, так душа мрет, в очах у тебя — ровно свет загорается... Инда жутко... Да, слышь, не ведется того на Руси...

— А Ольга... а Елена Глинских?

— Так то давно было. И не за себя они, за сыновей княжили... А я и не сын тебе, да и летами вышел... Не мели пустого, Софка... Буде...

— И то молчу. Вон, ты повеселее стал от моих речей от глупых, от девичьих. Мне и ладно... Одначе пора мне. Богомолье ныне с сестрами да с тетками... Ох, да и тошно же в терему... Вон, по обителям, по храмам побродить — и то радость... У вас, у царевичей, и пиры, и охота, и оженят тебя... И на войну, и в Думу... Куды хошь... А мы... Ровно проклятые — и людей-то не видим по своей вольной волюшке... Замурованы, ровно колодницы, без вины безо всякой... И хто так приказал?!

— Ну, не причитай... пожди... И то уж живется вам не по-старому... А там помаленьку, гляди... и у нас все станет, как у европейских потентатов: будет вам, девушкам-царевнам, воля: и замуж, и в мир ходить... Пожди, сестра... Сделаем...

— Жди еще, што да когда?.. Вон, мне уж без мала двадцать годов... Годков на семь, гляди, всего и помоложе я, ничем матушка-царица наша названая... А все перед ей, как перед иконой, гнись да кланяйся... А она — фыррр да фыр!.. Величается... Слышь, Блохина у меня в терему... Родня казначеи царицой, Блохиной же... И, слышь, лютует царица-матушка, все у них с Матвеевым толки идут, как бы свою Петрушу в первое место, в цари бы?.. А тебя бы...

— Ну, буде, Софья. Тебе бабы в уши несут, а ты пересказываешь... Все будет, как Господь захочет... Вон, и батюшка же желал, Петруша бы...

— Ничего не желал... Думал — да раздумал! Ты — царь, о чем и толковать ей?.. Все с Матвеевым... Лукавый он... С лекарями водится... Изведут они тебя и нас всех, помяни мое слово... Посадят на царство слюнявого мальчонку. Уж понатешутся над нами...

— Софья, буде... Да ж сама ты толковала: за нас-де люди станут, не дадут нас в обиду, коли бы и на деле... задумал бы хто...

— Ну, право, с тобой што толковать... Ты — как день вешний... То солнышко, то — тучами все пойдет... Не понять тебя, Федя... Ты не думай, не страх напускаю я на тебя. На ум взбрело, вот и сказалося. А ты царствуй... Тебе много лет еще государить. Вон, тут есть одна бабенка верная... я у ей пытала, так она...

— Што, што?.. Ворожейка или знахарка? Кто такая?..

— А ты не велишь ее казнить?.. Чево вздумается тебе, ты в те поры...

— Ну, вот!.. Коли она не с черной силой ведается, за што ж казнить бабу?.. Вон, и отче Симеон наш прорицает... И иные, хто по звездам, хто по цыфири, по книгам... Он же батюшке гадал...

— Нагадал, да... Братца Петрушеньку...

— За што ты, сестра, так на братца? Што он тебе?..

— Ничего. Им матушка царица, свет Наталья Кирилловна сильна да горда... А сам он... што ж, пускай бы жил... Ну, Бог с им... Вот и гадала бабка о тебе... «Поживет, — говорит, — всем на радость... Долго поживет. Детей народит... Из роду в род — помнить будут цареньку...» Это — тебя...

— Будут помнить?! Хорошо бы... Поминали бы, да не злом. Все я думаю: неужто телесная мощь одна и славу дает?.. Хворый я... слабый я... Может, и не проживу долго... Уж, чуется мне... Што там ни толкуй... И как бы это подеять, штобы память по мне надолго была? Добром поминали бы люди... Москва... Земля вся! Я потужу... я надумаю... А то — помрешь, камнем прикроют склеп... Один камень той с записью и станет помнить, што был ты, што землей правил... Што царем прозывался. А люди — забудут... Нет, не ладно так!.. Я — надумаю...

— Да уж надумаешь... А пока — женись, вот первое дело. Дети пойдут... Сыновья. Им царство перейдет, в наш род, в Милославских, не в нарышкинский... Вот — и память по тебе. Ну, буди здрав пока... Недосужно, слышь. Господь с тобою, царь-братец...

— И с тобой Господь! За меня помолись, сестрица...

Ушла Софья. А Федор задумался. Ищет: чем бы след оставить по себе?..

И вот нашел. Лицо вспыхнуло, озарилось тихой радостью.

Сел он у стола, где лежат груды бумаг, достал чистый лист, прибор чертежный, стал чертить план храма... И совсем ушел в работу...

По этому чертежу потом стали перестраивать обветшалую церковь во имя св. Алексия в Чудовском мона-

стыре, со всеми примыкающими сюда палатами, трапезами и монастырскими службами...

Тут же деятельно принялся Федор за достройку новых больших зданий для всех московских Приказов, поднятых на три этажа, или жилья.

Целый ряд церквей поновить и заново выстроить наметил юный царь, сам принимая деятельное участие в деле, как только нездоровье не приковывало его к постели. А это часто случалось. Но и больной он больше всего думал о своих постройках, которыми как будто хотел оставить твердую память по себе.

Конечно, такую страсть к зодчеству скоро заметили ближние к царю лица.

Зашла об этом речь и на совете бояр, собравшихся во дворец по обыкновению очень рано утром: обсудить текущие дела.

Царю нездоровилось, оба доктора — Костериус и Стефан — дежурили при больном. Матвеев, пришедший с докладом посольским, был тут же. Это очень не понравилось Ивану Михайловичу Милославскому, который явился спросить: можно ли начать совет без Федора?

И вот, по окончании совета, когда «чужие» разошлись, кучка приближенных бояр осталась потолковать о делах дворцовых.

Был здесь Богдан Хитрово, Иван Максимович Языков, оба брата Толстых, князь Лобанов-Ростовский, сестра которого была мамой царевны Софьи. Федор Куракин, Василий Голицын и Волынский с боярином Троекуровым дополняли компанию.

— В дедушку, видно, пошел наш юный государь, — заметил, снисходительно улыбаясь, Хитрово. — Град свой стольный приукрасить желает, чтобы супротив иных стольных градов зарубежных не стыдно было... Што ж, оно и то не худо. Дорогонько стоит. Да авось хватит казны ево царской. Не зря рубли кинуты. Да и дело юному государю. Пока он еще к царскому правлению приобьикнет — все время не пустое. Хуже б стало, коли стал бы всюду сам входить, мешать тому, што без него многи годы налаживалось да настраивалось...

— Оно бы и так, — с недовольным видом отозвался Милославский, — коли бы казна была побогаче. И я бы сказал: чем парень ни тешится, да делу не мешает... А и то скажем: иному от затей церевых и польза

бывает. При каждом огне можно руки греть. Стройка идет, так и кирпич, и лес надобен... Мало ль што еще. От приставщиков барышок-то и набежит. А коли хто этим не завелся, тому и нет корысти от затей ото всяких. Есть поважнее дела. Вон, турки, татаре грозят; с запада тучи надвигаются... А у нас — всюды дыры... И заткнуть нечем. Тут бы и надо поудерживать государя. Вон ты, Иван Максимыч, частенько-таки при ево милости пребываешь. И толковал бы о том помаленьку.

Богдан Хитрово весь побагровел было при намеке Милославского на участие боярина в поставках. Конечно, для дворцовых людей не было тайною, что боярин — оружничий и дворецкий царский — имеет «барышок» и от поставщиков, и от подрядчиков дворцовых. Он же, — вместе с племянником Александром заведую Приказом Большого дворца, — умел из дворцовых сел и волостей переводить в свои вотчины немало всякого добра.

Дворцовые крестьяне работали на них обоих без всякого вознаграждения. Даже кладовые и амбары обоих Хитрово в Москве наполнялись запасами и вещами из московских царских дворов: Кормового, Сытного и Хлебного.

Но окружающие царя молчали об этих явных хищениях, потому что сами пользовались в тех Приказах, где сидели они.

Языков, еще непричастный к расхищению царского и государственного добра, все-таки счел нужным вступить за Хитрово, оказавшего ему поддержку и помощь при его вступлении на службу к царю.

— Чего не видал — того не знаю, боярин. А ежели люди сказывают? Так сам ведаешь: про ково толков не идет? Вон, и про нас с тобой немало трезвонят. А душа наша чиста, нам и не в обиду. Толковать же мне про дела государские невместно. Особливо неспрошеному. Тово и гляди, царь али хто иной на ум возьмет: «Ишь, Языков-де спихнуть ково хочет, сам на ево место норовит»... Чево далеко ходить: сам боярин Богдан Матвеич ладит: «Мне бы свое оружейничество сдать». Трудно ему со всем управиться. А уж толки пошли: я под ево милость подкопы веду... За чином гонюся... Уж лучше ж нам дружно да мирно жить. Вернее дело будет.

Хитрово, довольный этой мягкой, но внушительной

отповедью Языкова, так и не высказал всего, что сгоряча хотел было ответить Милославскому. Шумно передохнув, словно облегчая грудь, стесненную раньше приливом гнева, он только одобрительно кивал на слова Языкова.

Но Милославский не унимался:

— Ну, може, на ково инова и помыслят, да не на Ивана Милославских. Меня обносили. Меня в ссылку гоняли, подводили под опалу... А я еще в доводчиках, в наушниках не бывал... А уж коли говорю, так не скрываюсь. Обиняком не закидываю, с чернаво крылечка не забегиваю... Божией милостью да своей заслугой в люди вышел, а не похлебничеством, хоша бы и у дядек царских...

Такой прямой укол, направленный против Хитрово, выведенного в люди боярином Морозовым, дядькой покойного Алексея, был слишком нестерпим для Богдана Матвеича.

Но не успел он заговорить, как его предупредил Петр Толстой.

Умный интриган видел, какая ссора готова разгореться среди людей, соединенных временно и не взаимным расположением, а необходимостью справиться с родом Нарышкиных. Поэтому, не позволяя разгневанному Хитрово сказать чего-либо такого, что разладит весь заговор, Толстой поспешно вмешался сам:

— Вот, вот, о том, бояре, потолковать надобно. Всем ведомо, как некие люди и на боярина Богдана, и на тебя, Иван Михалыч, клепали зря, царю в уши несли небылицы разные.... Все вон такое, про што и боярин Иван Михалыч указывать изволит, и многое иное. Так нешто государь сам несмысленнок? Не видит: што правда, што нет? И нам невместно теми обносами да поклепами сердце свое тревожить. Мало ли што пообсудить надо. И женитьба царская не за горами. Дело не малое. И иное многое... Што ж нам, бояре, промеж себя свару заводить! Буде... Давайте што-либо иное затеем... Право.

Все поняли, что Толстой намекает на Матвеева.

Милославский был убежден, что по навету Артамона он был сослан покойным Алексеем в почетную ссылку воеводой в Астрахань. Богдану Хитрово Федор уже намекнул, какие недобрые слухи ходят по Москве насчет хозяйничанья боярина в царских вотчинах и кладовых.

— Ты, боярин, коли тебе надо чево, мне прямо говори. Я не откажу. Так оно и лучше буде... Не зазорно... — только и сказал Федор самолюбивому, хотя и жадному боярину.

При мысли, что один Матвеев мог шепнуть юному государю о хищениях Хитрово, последний пылал неукротимой злобой и ненавистью к Артамону.

Эта жгучая, общая ненависть сразу успокоила раздражение спорящих, примирила их на одной мысли: как насолить общему, опасному врагу — Матвееву?

Первый одумался Милославский:

— Правда твоя, боярин. Не время нам свару заводить. Надо бы тех на чистую воду повывести, хто наветами да чародейством всяким и покойного государя ровно в кабале у себя держал, и юному царю света видеть не дает, коли не своими очами... Слышь, Богдан Матвеич, не серчай. Я и на уме не держал задевать тебя... И впрямь, вон теперь — царю пора закон принять. Царевича Петра час приспел от мамок отымать, учить чему-ничему. Артемошка, гляди, и Федора оженил на ком захочет, как покойного Алексея оженил... А к Петру, слышь, и то уже своих приставил людей. Тот ево дедушкой зовет. Видимо дело: неспроста оно. Чарами спутал всю царскую семью... Вот о чем нам потужить бы надо: как избыться нашего врага?

— Што ж, подумаем, померекаем, как на первых порах ево избыть, — угрюмо, все еще не успокоенный вполне, отозвался Хитрово.

— Видимое дело, — заговорил Куракин, — што снюхался Артемошка и с дохтурами ево царскаво величества. Вон намерднись — изволил государь лекарство принимать, что Стефанка готовил ради немощи ево царской. И черед был Матвееву подносить снадобье. Сам он, небось, от чарки не отведал, остатки ж выплеснул поскорейча... Я сам видел... Чем ни есть — дурманят государя... Уж, как Бог свят... А мы глядим да молчим...

— Да ведь и не скажешь так без верных послухов. Он отбрешется, Артемошка проклятый: язык у него добре привешен...

— И послухи найдутся, — опять вмешался Толстой. — Есть на дворе у него карло потешный, Захаркой зовут. Тот карло моим людям жалился: побил-де ево без милости Матвеев, чуть до смерти не убил. А за

што? — пытаются наши. Тут карло таки речи повел, што, коли правда, и казни мало ведуну окаянному...

— Да што? Да ну?.. Скажи, пожалуй, — вспо- лошились бояре, ближе подвигаясь с мест к Тол- стому.

— Слышь, толкует карло: заперлись вдвоем они, Артемошка со Стефанком, в покое одном. А карло — ранней в нем был. Знобко ему стало, он за печкой и прикорнул, погреться. А как увидал, что боярин с лека- рем пришли сюды, и вовсе притаился, не досталось бы ему, что в боярску казенку забрался. Артемошка всем наказывает настрого: в те покои не входить. Притаился Захарко и видит: приходит в покой и Николка Спафа- рий, толмач Посольского приказу, с сынишкой матве- евским, с Ондрюшкой. Достали книжицу невелику да толстую, «Черною книгой» рекомую, и почали читати. Все покойницу, жену Артемошки поминали сперва, ко- торая скончалась вот, незадолго. А потом — и про царское здоровье поминали. И набралось в палату не- чистых духов многое множество... Только стали их пы- тать Артемошка с лекарем, а те и говорят: «У вас-де в избе сторонний человек есть. Повыгнать ево надо». Ки- нулся за печь Артемошка, взял за шиворот, сгреб За- харку, так о землю и ударил... Инда шубейка свалилась с ево... И ногами топтал от гнева, и вон выкинул, не подглядывал бы за ими... Захворал карло, и лечить ево позвали Давыдку Берлова, лекаришку плохова. Карло все и поведал Давыдке... Лекарь не будь глуп — ко мне... Я уж вызнал после сам от Захарки, вот, што вам рассказываю. На допросе — все то же обещал карло ска- зывать. Хоть и не платить ему, хоша бы и пытку снесет. Злые они, карлы, хто их обидит. Долго памятли- вые. Уж он себя не пожалеет, а Артемошке удружит...

— Это ладно. А все же еще послуха надо бы... Все лучше, вернее дело буде...

— Што же, и лекаришко той, Берлов Давыдко, не откажется... Да недорого и возьмет за послугу, толко- вал я уж с ним, — невольно понижая голос, заявил Толстой.

— Што ж, давай Бог, час добрый... А, слышьте, бо- яре, кому же к царю с докладом про то воровское дело явиться надо? Тоже не единым разом все и сказать можно. И пору выбрать следует. И человеку бы царь веровал...

— А што, коли жеребий метнуть? — предложил Троекуров. — Кому выпадет, тому и начать надо...

— Жеребий... Слышь, боярин, пословка есть: дуракам удача, где мечут жеребий. А при нашем деле — умного пустить вперед надобно...

— Ну, коли так — я вперед не суюся, — не обижаясь на намек, отмахнулся рукой Троекуров. — Меня уж выбирайте, коли надо буде чару потяжелее поднять да осушить... Вот я тогда и пригожуся...

— Буде балагурить, бояре, — оборвал его раздражительный Куракин, недолголюбивавший вечные кривлянья придворного забавника. — Дело кончать надо. Тебе, Иван Михалыч, не сказать ли?

— Што ж, я скажу... ежели все хотят, штобы я... Да не помыслит ли царь: по злобе-де я на Матвеева наговариваю. Как всем ведомо, што от ево поклепов меня и на воеводство, на край земли услали...

— И то верно. Как же быть-то?

Невольно глаза всех обратились к Языкову. Он еще недавно попал в силу и в милость к юному царю, не был запутан в дворовых интригах и происках. Ему, конечно, скорей всего поверит царь.

Понимая молчаливый вопрос, осторожный, уклончивый Языков мягко заговорил:

— Я бы рад радостью, бояре! В друзьях мне не бывал боярин Матвеев, а и врагом не числится... Да, слышь, таку речь от государя мне слышать довелось, вчерась еще: «За то ты мне мил, Ванюшка, что ни на ково ничего не наносишь. Зла ни к кому не таишь. За то и верю тебе»... Гляди, стану и я доводить царю пролихие дела боярские — и мне веры не будет у государя. А так, об этом деле уж он спросит меня, уж тово не миновать. Я и скажу, коли иной хто ранней доведет все до ево царской милости. Так все лучше наладится.

Переглянулись бояре. Особенно внимательно прислушивались оба Милославских к этому скромному заявлению Языкова.

Словно глаза у них раскрылись: пройдет немного времени — и этот худородный, незначительный дворянчик, так быстро преуспевший при юном царе, умной повадкой займет первое место.

Но об этом — после надо подумать. Теперь — Матвеев на череду.

И Хитрово решительно заявил:

— Ну, пускай про меня думает, как поволит государь, а я правду скажу, не смолчу. Потому — берегу же государское здоровье... Нынче ж повечеру и доведу все до царя. Послухи у вас были б готовы. Я ранней сам поспрошаю их...

— Да хоть в сей час... У меня на дворе они. Я к тебе их и пришлю, — сказал Толстой. — Только, бояре, што еще скажу. Стрелецкий полк, Петровцы, гляди, за него, за Артемошку, вступятся... Да иноземные ратники с ими. Дело надо умненько повести.

— Ну, не учи нас, боярин. Сами с усами. Все наладим. Только бы почать!

— Почнем. В час добрый! А теперя еще иные дела на череду... Про свадьбу про цареву подумать надо.

И кучка самовластных правителей земли, тайная камарилья, стала толковать: кого бы лучше всего выбрать в жены Федору из числа дочерей или сродниц своих?

Долго тянулись разговоры и споры об этом. Немало взаимных обид и угроз вырывалось у собеседников. И, ничего не решив пока, разошлись по домам.

А вечером, когда царь укладывался на покой, прослушав обычный доклад Хитрово, тот сдержал слово и подробно передал царю все, в чем обвиняли Матвеева.

— Пустое, слышь, — было первое слово Федора.

Но он тут же задумался.

Правда, ни в чем дурном нельзя было укорить Матвеева, но кто же не знал, что он с царицей Натальей уговаривали Алексея назначить царем Петра, мимо царевича Федора... Может быть, осторожный Матвеев только прикидывается таким усердным и честным слугой. А сам питает в душе честолубивые замыслы... Что же касается чар?.. Все может быть на свете... Самые ученые, умные люди — и те не отрицают, что можно иметь сообщение с мертвецами, с разными духами...

И задумался Федор.

Хитрово, словно читая в мыслях у юноши, сдержанно заговорил:

— Оно, што говорить: веры дать нельзя без доказу... А, слышь, государь, и в Библии же сказано, как царь Саул ходил к чаровнице Аэндоровской, Самуила-пророка дух вызывал... Иные бывали же примеры достоверные... Поразузнать бы надо... Это первое дело... Второе: уж коли начали на Артемона Сергеича таки поклепы возводить, значит, многим он поперек пути

стал! Уж тебе покою не дадут... Народ мутить почнут. Редкий из бояр не на Матвеева. Не стать же тебе, государь, со всем своим боярством свару вести из-за него одново... Легше одним поступиться... Как-никак — доведется услать от очей своих царских. Так оно лучше, коли за вину ушлешь. От матушки царицы Натальи Кирилловны меней досады тебе буде. Скажешь: «Не я, мол, караю. Вина на ем»... Так мне сдается.

Молчит Федор.

Он понимает, что Хитрово хотя и руководим ненавистью, но говорит правду. Знает, что не сумеет выдерживать общего натиска, не решится поспорить с влиятельными боярами своими из-за Матвеева, которого не особенно и любит, только уважает как честного и бескорыстного слугу...

Вот почему ни словом не откликается царь на речь Хитрово, не говорит ни да ни нет.

Умный боярин видит, что происходит с юношей. И не стал больше толковать об деле. Начало сделано. А там все само собой придет. Особенно когда примется за дело боярыня Анна Петровна Хитрово, тоже ненавидящая Матвеева и Нарышкиных.

Хитрово рассчитал очень верно. Месяца не прошло, как Матвеев получил указ: сдать все посольские дела и дела по полку, а самому собраться на воеводство в Верхотурье.

Конечно, и сам Матвеев понимал, и все видели, что это — опала царская, тем более тяжкая, что не было объявлено, за какую вину карают боярина.

Но спорить нельзя открыто. Воеводство — все же не ссылка.

Только криво усмехнулся Милославский, когда объявил врагу:

— Слышь, и тебе, как мне же, честь выпала на воеводстве посидеть! А государю челом бить не ходи. Недужен государь. Не до «чужих» ему...

— Храни, Господь, государя со «своими», со всей родней его, — с достоинством, спокойно ответил Матвеев, не желая обнаружить перед Милославским своего огорчения и обиды. — Послужу ему и в дальнем краю, как на очах служил.

— Послужи, послужи. Царь спасибо скажет, — зловещим тоном отозвался Милославский.

Матвеев и раньше понимал, что это — не все. А

слова боярина только подтвердили его догадки. Но поправить дела, очевидно, нельзя было. Враги одолели.

Мрачно, но сдержанно прощались стрельцы со своим любимым начальником.

Скажи он им слово — и так легко не выпустили бы они Матвеева из Москвы.

Но Матвеев видел, что делается в душе у этих людей, и твердым, решительным приказом звучали его слова, обращенные к стрельцам:

— Слышите, детушки, — службу свою верно правьте царю и государю со всем родом его. Будет у вас новый полковник на мое место. Ево слушайте, как меня слушали. Царя и землю бороните от недругов, хто б они ни были. И вам Бог воздаст, и царь вас не забудет...

Слезы текли по щекам у многих из старых стрельцов. Но молчат, как в строю полагается.

Только как уж уходить стал Матвеев — кинулись, расстроили ряды, благословляют его, иной крест снял с себя, тянет с ним руку к Матвееву.

— Храни тебя, Господь... Застени, Матерь Божия! Возьми на путь Спаса моего... На память бери... Счастливого пути, боярин...

Едва выбрался Матвеев из толпы, сел на коня и уехал.

В июле 1676 года был объявлен Матвееву указ о назначении воеводой Верхотурским. А в октябре, когда он с десятилетним сыном Андреем, со всеми своими людьми и вещами, взятыми из московской усадьбы, успел добраться до Лаишева, здесь его остановил царский гонец с приказом: дожидаться дальнейших распоряжений из Москвы.

«Вот оно когда пришло время мое», — подумал Матвеев и распорядился, чтобы для него с сыном, с семьей племянниками сняли в городке самый обширный двор. Там и расположился он с учителем мальчика, мелким шляхтичем Поборским, со священником Василием Чернцовым и ближними слугами, всего человек тридцать.

Остальная многочисленная челядь, которая не разместились в этом доме, была поселена по соседству.

Невесело, в пути, в темных домишках захолустных поселков встречал Матвеев с сыном Новый, 1677, год, наступивший месяц тому назад, 1 сентября.

А теперь еще безрадостней потянулись дни благо-

родного изгнанника в ожидании недобрых вестей из Москвы.

Ждать пришлось почти два месяца. Только 25 ноября, когда прошла распутица, явился полуголова стрелецкий Алексей Лужин и потребовал от Матвеева выдать ему «лечебник, писанный цыфирью».

— Слышь, боярин, толкуют: та книга, рекомая «Черная», у тебя для чародейства для всякого. А про ту книгу сыск у нас идет, и довод на тебя был. Да еще, слышь, двоих людишек своих мне выдай: Захарку-карла да Ивашку Еврея. Они про ту книгу ведомы.

Стал расспрашивать Матвеев Лужина. Тот, расположенный к опальному, рассказал ему все, что сам знал.

— Слышь, на тебя извет есть. А принес ево лекарь Давидко Берлов, одноглазый черт. Сам он теперь в колodки посажен, за приставы. А на тебя клевет...

И Лужин повторил, что слышно о «чародействе» Матвеева, о злых умыслах его на жизнь государя.

Матвеева словно громом пришибло.

— Я — задумал на здоровье на царское!.. И государь веру дал?

— Уж о том не ведаю. Как мне приказано — так и творю. Не посетуй, боярин.

— Што сетовать? Не по своей ты воле! Вот, бери: у меня тетрадка есть словенского письма. А в ней писаны приемы да снадобья ото всяких болезней. И подмечены те статьи словами цыфирными для прииску лекарства. Може, о ней приказ тебе дан? Так бери ее. И холопей моих, Ивашку да Захарку, вези же.

Поглядел Лужин, повертел тетрадку в руках — и назад ее отдал:

— Нет, боярин, видать, не то мне надобно. Вернусь да откажу: ничего-де не сыскал. А людишек заберу, не посетуй...

— Бери, бери... Да, слышь: сделай милость, сам поищи, поройся и в дому этом, где стоим мы, и во всей рухлядишке моей... Штоб речей не было, будто укрывал я што от тебя. Богом прошу, поищи...

— Не стану, боярин. Душа не велит. Да и приказу мне такова не дано: искать бы, тебя перетряхивать...

И, не глядя в глаза Матвееву, словно виноватый, ударил челом, поспешил уйти скорее, назад поехал. Карлик Захарка и Ивашка, крещеный еврей, с ним же покатили.

Ждет опять Матвеев.

22 декабря, чуть не в самый Сочельник, — новые гости из Москвы приехали: дворянин думный Федор Прокофьевич Соковнин, заведомый недруг Матвеева, и думный дьяк Василий Семенов.

Эти не стали церемониться. Переглядели и книги и письма все, какие были с Матвеевым. Немало грамот царя Алексея, писем и записок было между бумагами. Письма иностранных министров и владык, полученных Матвеевым во время управления Посольским приказом, указы царские, какие давались боярину, когда он отправлялся сам послом в чужие края, — все это внимательно было осмотрено и переписано.

Рукописный лечебник, не взятый Лужиным, они отложили. Потом принялись за осмотр вещей, всей «рухлядишки» боярской.

Матвеев глядел на это с наружным спокойствием, уговаривая сына, который весь дрожал от негодования и страха:

— Не бойсь, Андрюшенька. Ничего плохова не будет. Как велено, так люди те и творят. А у нас совесть чиста, так и страху нам быть не может, и обиды нет от того сыску... Уйди в покойчик лучше к Ивану Лаврентьеву... С им побудь аль к отцу Василию ступай.

И отослал сына с учителем к отцу Чернцову, в его светелку.

Утром нагрянули обыщики, а вечером еще гости из Казани наехали: тот же Лужин со стрельцами казанскими, с думным дворянином Гаврилой Нормицким.

Прочтен был указ государя, по которому оставлено было Матвееву немного дворовой челяди, а остальных пришлось отпустить обратно по деревням, а кабальных безземельных и просто на волю. Самому же Матвееву указано ехать в Казань не то под охраной, не то под конвоем и караулом наехавших приставов и стрельцов.

В Казани новая обида ждала боярина. Враги словно потешались издали над низверженным временщиком. Хотели не сразу, а постепенно заставить его пережить все унижения и муки.

Явился приказный дьяк Иван Горохов и прочитал новый указ от имени царя: отобрать у Матвеева все письма и грамоты Алексея, все официальные документы и бумаги, а также и крепостные акты на вотчины и родовые поместья, принадлежащие ему.

Велено было отобрать и все лучшее имущество, оставив боярину с сыном только самое необходимое.

Не выдержал уж тут боярин.

— Да за што, за што же все это!.. Кому я теперь помехой, што и достальнова лишить приказано?! — вырвалось у Матвеева.

— Не ведаю, боярин, — с кривой усмешечкой отвечал Горохов. — Как в указе стоит — так и повершить мне надо... А еще, чай, помнишь, сам ответ держал перед Федором Прокофьичем перед Соковниным про дела особые, про здоровье про государское. Вот о том, слышь, на Москве и суд идет.

— Без меня суд обо мне же. Нешто так водится?.. И ни слова единого про вину мою мне не сказано, а кару терплю безвинно... Ну, видно, Господь испытует раба своего.

Сказал и умолк. Пошел к себе в опочивальню, вынес две тетрадки в переплетах кожаных и две — просто сшитые из листов бумаги.

— Вот, слышь, Иван Овдеич, — дам я тебе тетрадки. Все тут написано, што есть лучшево пожитишка моево, и отцова наследства и женина, што сыну жена-покойница оставила, што на Москве оставлено в усадьбе в моей... Переписывай знай. Ничево я не потаю. Моей рукой все писано. Не для тебя, для себя писал, еще опалы не ожидаючи. Сам видишь, не хочу тебя в обман вводить. Как царь приказал — так и творить стану. Слышь, скажи тамо на Москве. Не ослушник-де я воли царской.

— Скажу, скажу уж, — быстро хватая тетрадки, ответил приказный крючкодей и стал пробегать глазами записи.

Про Матвеева ходили слухи на Москве, что за всю долгую службу успел он собрать несчислимые богатства. Их в свои руки заполучить, на Москву представить — немалую награду за это можно получить!

И два дня подряд переглядывал да наново переписывал Горохов все добро, какое было взято с собой Матвеевым. Немало нашлось всего. А на Москве, судя по описям, столько же, если не больше, осталось. И диковинные вещи заморские, часы с боем, дорогие, редкие; золотые, серебряные вещи, картины, меха, ковры восточные... Мало ли чего... Целый обоз доставил в Москву Горохов, словно с караваном вернулся из дале-

кой Индии. И за это пожаловали его сейчас же в думные дьяки, отписали на Горохова одну из нижегородских вотчин матвеевских...

Боярину оставлено было только носильное платье, белье, меховых вещей, не из лучших, часть, повозки, утварь... Все самое недорогое.

Когда уехал Горохов, полгода еще прожил Матвеев в Казани, ожидая, какие новые распоряжения будут сделаны на муку ему.

11 июня 1677 года явился стрелецкий голова Иван Садилов и объявил Матвееву его последний приговор:

— «От боярина Иван Михайловича Милославского с товарищи приказ даден: по указу царя-государя, великого князя Федора Алексиевича, всея Великия и Малыя и Белья Руси Самодержца, у холопа государского Артамона Матвеева за все великие вины и неправды его честь его боярскую отнять и написать по московскому списку рядовому. А поместья и вотчины его все подмосковные и в городах, и московский дворишко, и загородный, и животишки все, и рухлядишку всякую — отписать на его, великого государя, и приписать ко дворцовым селам. А людишек его, Артемона и сына его Андрея, отпустить на волю с отпусковыми. А вины его, холопа царского, и неправды все таковы, что в сказке его, Матвеева, какову он дал в Лаишеве думному дворянину Федору Прокофьеву Соковнину да думному дьяку Василию Семеновну, за его, Матвеева, рукою, — сказано было, что про его, великого государя лекарства во время скорби государственной, составлялися, — а составляли их докторы: Стефан да Костериус. И те-де лекарства он, Матвеев, надкушивал прежде, а потом и дядьки государевы: бояре князь Федор Куракин да Иван Богданыч Хитрово. И лекарства те самые действительные. А дядьки его царского величества против тех слов твоих показали, что тех лекарств, ты, Артамон, не выкушивал и в сказке своей написал все ложно. Да еще холопы его, Матвеева: Ивашко Еврей да карло Захарко, показали, что чел ты книгу, рекомую «Черная», запершись с сыном своим Андреем, с Николкой Спафарием да с доктором Стефаном. И нечистых духов вызывали-де вы. А карлу Захарку, который за печью заснул и храпеть стал, — ты из-за печи вытащил и смертным боем бил. Так с пытки они, холопы твои, показали. А с ними — и лекарь Давидко то же показывал».

— Холопу побитому да лекарю продажному веру дал государь против меня... Заглазно осудили меня за вины небывалые... Что же, видно, так Господу угодно... Его да царская воля, — проговорил с тяжелым вздохом Матвеев. — А далее что?

И уж спокойно дослушал конец указа, которым присужден был на ссылку в далекий, холодный Пустозерск.

Заброшен в тундрах этот посад. И хлеба туда не привозят порою в достаточном количестве. Четыре долгих года промаялся там Матвеев, посылая челобитную за челобитной в Москву и царю, и главным боярам. Но все напрасно...

А на Москве — словно перелом какой произошел с отъездом Матвеева. Совсем присмирели Нарышкины, чувствуя, что одолевают их враги. Царица Наталья почти и не выходила из терема, разве куда на богомолье. Петра с глаз не спускала. Словно ждала, что какая-нибудь беда разразится над мальчиком. Сам Федор как-то совсем в себя ушел. Только с Софьей и мог еще говорить свободно, по душе. Ее одной не опасался.

— Ладно, ничего, — толковали между собой первосоветники. — Люби — не люби, чаще поглядывай... Шло бы дело в царстве по-нашему. А там — все пустое...

— Слышь, что наново задумал наш государь? — сообщил дядька Федора Иван Богданыч Хитрово своему родичу. — На царьградскую статью весь московский «верх» переиначить мыслит. Ишь, по нраву ему пришлось, как оно, чин чином, у государей у византийских устроено. Ранней — с Полоцким Симеоном якшался. А ныне — все более с Лихудами с братьями водится. В школу ихню часто заглядывает и один и с царевной, с Софьюшкой. И ей, слышь, стали греки по сердцу... Ровно бы подменили царевну. На старую статью стала все в терему налаживать... Вот и толкует царь: наши бы чины переиначить. Царьградское старшинство завести ладит. На тридцать и на четыре степени боярство и служилый люд постановить. Вот дворецкий ты, слышь, а станут тебя domestikом величать... А который печатник — той дикеофилаксом именуется, да еще там: севастократор, да стратопедархис, да как там еще — и не упомянуть всево. Не больно-то эллинской премудрости я обучен... Вон, и ноне, сказывают, после

выходу на стройку на новую, к Приказам да ко храму новому, что в Чудове, собирается и в школу к грекам заглянуть... Да с царевной. Гляди, всех нас перекрестит наново царенька наш молодой... Как и звали нас ранней — позабудем... Хе-хе-хе...

И, забавляясь новой, полудетской затеей Федора, боярин раскатился своим густым, жирным хохотом.

— Ладно, ништо... Мало ль мы от нево затей видели. Да все не к делу... Как ты меня ни зови, только мово не бери... А наше у нас крепко... Пускай же забавляется юный государь наш. Охоты не любит он, как покойный царь Алексей. Зато до книг охотник да разны службы церковные правит. Вон и Вербная неделя не за горами. Святейшего отца патриарха на осляти поведет государь. Там — Светлое Христово Воскресенье... Глядишь, и тепло настанет. Пора к летней утехе готовиться... Так и пойдет колесом время... А мы уж за него, за болезного, черную работу всякую по царству справим, так, што ли, Ивашенька?.. — И старый мудрец тоже рассмеялся самодовольным негромким смехом.

Не замечая даже того, Федор все выполнял, на что наводили его окружающие бояре.

Видела это Софья, но еще не решила: как ей самой поступать? Соединиться ли с вельможами или самостоятельно влиять на брата в своих интересах? А у царевны все чаще и чаще являлись самые смелые грезы о той роли, которую она, подобно греческой Пульхерии, могла бы играть при слабом, безвольном брате.

Но одно твердо задумала и неуклонно выполняла Софья: старалась всюду бывать с братом, где только можно было это сделать без особого нарушения обычаев и этикета царской жизни.

И сегодня, узнав, что после осмотра новых Приказов и церкви во имя Алексия в Чудовской обители Федор собирается посетить школу братьев Лихудов, греков, иеромонахов Иоанникия и Софрония, царевна стала уговаривать брата взять и ее с собою.

— Государь-братец, миленькой, покуль ты не женат, возьми уж сестричку свою с собою! Дозволь поглядеть на дела на людские, услышать речь иную, не здешние нашепты да наговоры теремные наши... Оно ровно богомолье будет... Храм погляжу новый да школу эллинскую... Занятно, вишь, как...

И вместе с Федором побывала царевна на постройке возобновленного храма во имя святителя Алексия, что в Чудовом монастыре. Оттуда — проехали к Ивановской площади, где высились почти законченные высокие каменные палаты новых московских Приказов.

Нижнее житье, или этаж, всего двадцать восемь обширных, высоких палат были выведены еще при жизни Алексея. Лицом глядели они на Архангельский собор и тянулись вдоль нагорного кремлевского взруба, всего на сто десять аршин не доходя до Фроловских (Спасских) ворот. Задней стеной здание выходило к Тайницкой башне. Над воротами Приказов была заложена небольшая церковь взамен старой, стоявшей тут же, когда это место принадлежало князьям Мстиславским.

Федор приказал надстроить второе, верхнее «житье», почти такой же величины, как нижний этаж. Во всем новом здании должны были разместиться шесть Приказов: Посольский, Разрядный, Большой казны (вместе с Новгородским), Поместный, Стрелецкий приказ и Казанский дворец. В последнем, в одной из палат, находился глубокий колодец с хорошей водой, нарочно не засыпанный при постройке.

Большая лестница с перилами, в десять саженей длиной, выдвигалась от середины здания и вела с верхнего житья на шумную Ивановскую площадь. Справа от этой лестницы, против Архангельского собора, темнели большие ворота, ведущие под сводами во внутренний двор Приказов. По обеим сторонам средней лестницы выходило на площадь еще шесть лестниц, покороче и поуже, чем главная. Почти на шестьдесят саженей растянулся фронтон этих новых Приказов.

Здесь целый день толпятся челобитчики, снуют приказные. Тут же творят и расправу над уличенными ворами и злодеями, причем указы и приговоры от имени государя дьяки читают вслух прямо со своего крыльца.

Когда Федор со всем поездом прибыл на место стройки, работа так и кипела. Сотни людей поднимались и опускались по лесам, принося туда кирпичи, известь в растворе, балки, железные скрепы и доски.

Десятники хлопотливо сновали между народом, наблюдая за порядком, покрикивая на ленивых, налаживая всю кипучую жизнь в этом людском муравейнике.

Зная о посещении царя, тут же находились и главные строители со своими чертежами, планами. Раски-

нув листы на обломках досок, на кучах бревен или тесу, они толковали между собою, порою призывая десятников и отдавая им новые приказания.

Федор, осмотрев работу, заметил, что дело подвигается быстро вперед, и остался доволен.

— К руке изволит жаловать тебя государь, — объявил Языков, сопровождающий повсюду царя, зодчему мастеру Ивану Калмыкову, который вызвался по италианским чертежам, доставленным из Посольского приказа, соорудить все новое большое здание.

Благоговейно облобызал Иван царскую руку и добил челом Федору, приказавшему выдать награду и главному строителю, и всем рабочим, чтобы приохотить их больше к делу.

Оттуда весь царский поезд тронулся к Благовещенскому монастырю, что за Ветошным рядом.

Здесь в деревянном, старом и не особенно обширном доме давно уже приютилась греко-славянская школа иеромонахов, выходцев из Эллады, двух братьев Лихудов, Софрония и Иоанникия, или Аники, как прозвали его на Москве.

Особенное покровительство оказывал Лихудам патриарх Иоаким. И не без причины.

Когда на Москве появился Симеон Ситианович Петровский, именуемый Полоцким, московский патриарх дружелюбно отнесся к белорусу-иеромонаху, как к единоверному своему да к тому же попавшему в большую милость к царю Алексею. Даровитому иеромонаху от лица всего российского духовенства было поручено написать книгу для увещания раскольников, и в 1668 году был отпечатан труд Симеона, озаглавленный «Жезл Духовный».

Но скоро милость Алексея к Полоцкому проявилась так ярко, что стала вызывать и опасения и зависть в московском высшем духовенстве. А Симеон, не желая считаться ни с кем, не соблюдал благоразумной осторожности при введении тех новшеств, какие задумал осуществить, конечно, по уговору с самим Алексеем.

Не одни только увлекательные устные проповеди приезжего монаха не понравились московскому духовенству, и книги его сочинения вызывали самые нежелательные толки.

В Псалтире и многих догматических, как рукопис-

ных, так и печатных, сочинениях Полоцкого сумели найти прямые признаки ереси.

И патриарх постепенно стал в недружелюбные, чуть ли не враждебные отношения с хитрым, отважным и умным выходцем.

Уклончивый, мягкий характер Иоакима мешал ему выступить в открытую личную борьбу с Симеоном. Да и победа была бы вряд ли на его стороне. Это выяснилось особенно в 1676 году, когда Алексей разрешил Симеону открыть в Кремлевском дворце Печатных дел мастерскую и здесь выпускались сочинения и иные книги с пометкою, что оные печатаны с благословения святейшего отца патриарха, хотя этого благословения Иоаким и не думал давать.

Воспитанники византийского благочестия, братья Лихуды, строго-правовверные с точки зрения патриарха и всей старой Москвы и по взглядам, и по личным интересам, могли лучше всего противодействовать влиянию «польского выходца». Им помогали серьезные ученые познания и весь их домашний обиход, далеко не похожий на тот свободный, веселый, только что не греховный род жизни, какой вел сам Симеон, какой, по его примеру, стал вести царь, царица и царевны, исключая теток Алексея, слишком закоренелых в старом быту теремов.

Если в Андреевском монастыре собраны были, как в Академии, малорусские и белорусские ученые монахи — наставники и книжники, сеющие в государстве семена западничества, — в Богоявленском монастыре школа Лихудов старалась удержаться на прежней высоте все учение Византии и Домостроя.

Таким образом, Симеон, сначала призванный было не особенно ученым московским патриархом как бы в помощь для искоренения вредного церковного раскола, сам внес в царство раскол, еще более опасный и могучий, чем прежнее упорство староверов-аввакумовцев.

Вот почему Иоаким с особенной любовью и вниманием стал относиться к греко-славянской школе Лихудов, заглядывая в Богоявленский монастырь не менее часто, чем в свою собственную школу, устроенную на Дворе книгопечатного дела, у Никольских ворот, где иеромонах патриарха Тимофей также обучал мальчиков, юношей и взрослых из духовенства, дьяконов, да-

же священников славянскому книжному писанию и эллинской премудрости.

С воцарением Федора на Лихудов посыпались милости и со стороны юного государя, не слишком расположенного к новшеству в том виде, как оно проводилось Полоцким. Да и советники царя были далеко не из друзей белоруса.

Под их давлением Федор стал довольно часто навещать школу обоих братьев. Нередко вместе с Иоакимом. Иногда они встречались уже здесь. Оно было вполне естественно: у царя и патриарха занятые, служебные дни были почти одни и те же, значит, и свободные минуты, в которые можно было заглянуть в школу, выпадали почти одновременно.

И на этот раз не успел поезд царя остановиться у Богоявленского монастыря, как туда же прибыл Иоаким в сопровождении своей духовной свиты и бояр.

День был теплый, весенний, и в небольшом классе, где еще не раскрыли окон, тяжело было дышать, хотя кроме царя с Софьей, патриарха и нескольких ближайших лиц из свиты в покое были только оба Лихуда и ученики греческого отделения.

На простых темных скамьях, перед столиками вроде современных парт сидели ученики по росту. Впереди — маленькие, самые младшие, больше дети духовного звания. Но было немало сыновей приказных и думских дьяков, даже — боярские сынки, как, например, княжики Петр, Михайло и Юрий Юрьевичи Одоевские, княжич Алексей, сын просвещенного вельможи кравчего Бориса Алексеевича Голицына.

Монахи разных обителей, диаконы и даже священники, явившиеся в эту маленькую «академию» поучиться греческому языку, необходимому для более глубокого изучения Слова Божия, сидели тут же, но на задних скамьях и с трогательным старанием долбили греческие правила и отвечали уроки наравне с малышами.

Пока Иоаким задавал вопросы ученикам, вызванным Софронием, царь, не занимая приготовленного для него сиденья, подошел к первой скамье, сел рядом с самым маленьким из учеников, усадил его, смущенного, покрасневшегося, почти к себе на колени и спросил:

— А ты чей? Не видал я тебя ранней. Как звать?

— Петя я... Петей зовут. Васильев сын... дьяка тво-
во, государь, Василия Посникова.

— Ишь, какой бойкой. А много ль годков тебе?

— Девять годов. Десятый уж пошел, государь вели-
кий.

— А что ж ты больно мал? И не дашь тебе столь-
ких годков. В ково это ты? Родитель твой — куды не
мал... В мамку, што ли?

— Сказывают, с матушкой схож, государь. А вон
сестренка у меня, Глашуткой звать, та в тятеньку...
Куды долговяза... — совсем осмелев, объявил мальчик,
осчастливленный вниманием царя.

— Ну, ладно. Скажи родителю, добро задумал, што
учит тебя с малых лет... А вон тебе Иван Максимыч
даст на гостинцы... Ступай к нему.

И Федор слегка толкнул мальчика к Языкову, кото-
рый достал из заранее заготовленного кошель с мел-
кой монетой серебряную гривну и отдал мальчику. Тот
только хлопал засверкавшими глазками и отвешивал
низкие поклоны.

Царевна Софья тоже подозвала его знаком, погла-
дила по голове, сказала что-то боярыне, стоящей за ее
стулом. Та, порывшись в глубоком кармане, нашла мо-
нетку и сунула ее школьнику.

После ответов на вопросы школьники стройными
голосами пропели один из тех «кантиков», с которыми
на большие праздники ходили к царю, к патриарху, к
боярам славить рождение Христа или воспевать воск-
ресение Его.

И царь и патриарх, уходя, вызвали старост, которые
избирались обыкновенно в каждом классе из самых ус-
пешных и благонравных учеников, допустили их к ру-
ке, так же как и обоих Лихудов, и приказали выдать
свои дары: от патриарха — по калачу на ученика; в
греческом классе — по двухденежному, в славянском
классе — в денежку каждый калач. Старостам по руб-
лю серебра. От царя — всем ученикам по алтыну, ста-
ростам — по два рубля.

При общих кликах радости и привета, окруженные
детьми и взрослыми учениками, уселись высокие гости
в свои колымаги и, провожаемые настоятелем с бра-
тией, тронулись со двора монастырского.

В тот же день, под вечер, Федор отправился на

женскую половину дворца, в терем Натальи Кирилловны, где она проживала с Петром, царевной Натальей и младшими падчерицами: Евдокией и Федосьей.

За все время, год с небольшим, сколько прошло со смерти Алексея, вдова его как-то сразу сошла со сцены во всей дворцовой жизни, хотя и жила бок о бок с пасынком-царем.

Федор сначала долго хворал, затем, вступив в управление царством, был очень захвачен всеми докладами, советами, какие не могли пройти без его участия. И потому редко заглядывал на половину царицы-вдовы, как равно и к сестрам, и к теткам-царевнам.

Все лето Наталья с сыном и младшими детьми провела в Преображенском, с которым было у нее связано столько дорогих воспоминаний.

Федор, когда был здоров, проживал поочередно в Измайлове, в Коломенском, в Красном селе на Воробьевых горах и в других подмосковных дворцах; заглядывал и в Преображенское, но ненадолго. Приласкает братьев, особенно Петра, потолкует с мачехой — и снова возвращается к себе.

А в Преображенском, на короткое время оживающем при появлении царского поезда, снова жизнь затихает, напоминая собой большую богомольную обитель, а не двор, хотя и вдовствующей, но еще молодой, полной жизни, ума и сил Московской царицы.

Как в деревне, так и зимой, во дворце, — одинаково проходят дни Натальи: заботы по обширному хозяйству, советы и толки со своими ближними боярынями по вопросам, касающимся мастерских, кладовых и запасных дворов. Что нужно заготовить наново, что можно продать за излишеством, чего закупить надо или из старого, заношенного кому что подарить? Разбираются домашние споры и нелады между лицами, составляющими двор и дворню Натальи, для чего даже существует особая «боярыня-судья»... Молитва, еда, отдых днем, а главным образом работы по «обещанью» в храмы и шитье разных вещей и белья для бедных — вот чем заполняется все время.

Ложатся рано, рано встают на половине царицы. И так — круглый год.

Сейчас, заглянув к мачехе, Федор нашел ее за работой.

Когда он с почтительным поцелуем склонился к ру-

ке Натальи, она губами коснулась его лба и сейчас же заботливо, с искренней тревогой спросила:

— Што это ты, государь? Што с тобой, Федорушко? Али нездоровится? Головушка, ишь какая, горяча больно? Слышно, выезжал ноне. Не прознобил ли свое царское здоровье?

— И нет, государыня-матушка. Теплынь, благодать, слышь, настала. Ровно бы и весна близко. Так, с воздухом, должно. Сидишь все в стенах в четырех и стынешь. А как поездишь да походишь — и согреешься. Благодарствуй, родимая. Ну, ты как, Петруша?

И он обратился к брату, который при появлении Федора так и бросился навстречу, прижался сбоку к царю и ждет, когда на него обратят внимание.

Помня наставления мамок и матери, мальчик прежде всего поцеловал руку старшему брату, который ответил ему теплым поцелуем в голову.

— Благодарствуй, государь-братец. Живы твоей милостью. Как ты, государь-братец, в здоровьи своем?

И при этом обязательном вопросе царевич отвесил установленный поклон.

— Да уж ладно. Вижу: научен ты всему, как след. Иди сюды. Садись. Послушай, што скажу вам с матушкой. Занятно больно...

Усевшись у окна против мачехи, он дал знак садиться нескольким ближним боярам царицы — Ивану Нарышкину, Тихону Стрешневу и тем, с которыми он пришел: Языкову, Федору Соковнину, дядьке своему Куракину, дядьке царевича, князю Прозоровскому, который поспешно явился сюда на поклон царю; боярыням Натальи, находившимся в покое при появлении царя. Сейчас они стояли, не зная: прикажут им остаться или уходить?

Петр сел на небольшую скамеечку у ног матери, отодвинувшей в сторону пядьцы с вышиваньем, чтобы они не мешали царю.

Своими живыми, блестящими глазами царевич так и перебегает по лицам всех, сидящих кругом, словно его занимают не только их речи, а и то, что творится у каждого в уме.

По врожденному чувству пытливости, по неясному еще чутью — мальчик не удовлетворялся внешними проявлениями людей. Он видел не раз, как мать, отирая слезы, с улыбкой и лаской принимала лиц, кото-

рых надо видеть, и говорила с ними так, как будто не у нее сейчас побледневшее лицо было искажено тоской и мукой. Зачастую невольно коробили ребенка ласковые, притворные ласки, которые расточали царевичу боярыни и бояре в то самое время, когда глаза их загорались искрами ненависти...

Еще при жизни отца трехлетний Петр подмечал, что не всегда люди чувствуют то, о чем говорят. А какое-то врожденное сознание подсказывало ему, что это очень дурно. За последний же год и по рассказам окружающих, не считающих важным стесняться при ребенке, и на собственном опыте царевич узнал, как редко в людских отношениях все бывает правдиво и хорошо. Еще не умея разобраться в этих наблюдениях и выводах, мальчик был очень недоволен подобным явлением. Но он ни с кем не делился своими наблюдениями... Они были для него чем-то вроде тайной и очень приятной забавы.

Когда новое лицо в первый раз приближалось к царевичу, у мальчика почему-то являлось желание: представить себе этого человека не в его пышном, дворцовом наряде, не с заученной, выработанной обычаем и этикетом речью на губах. Петр представлял себе нового знакомого в иной обстановке. Ему чудилось, как тот говорит и поступает у себя дома, по душе, а не для виду... Так ли добра эта старуха-боярыня, какой хочет казаться? Такой ли храбрый в бою этот князь, как он выглядит сейчас, с выпяченной грудью, с поднятой головой?.. А этот дьяк, пришедший с докладом и челобитной к матушке? Он теперь совсем приниженный, еле говорит, глаз не подымает кверху. Но отчего такая жесткая складка залегла у рта, отчего порою огоньками загораются его опущенные глаза, вот словно у лисы, которую недавно подарили на забаву царевичу? Всегда ли дьяк-челобитчик такой робкий, тихий и говорит так сладко, вкрадчиво?.. Нет, должно быть, не всегда...

Чутье редко обманывало мальчика, который уже с детства искал правды и прямоты в отношениях людских.

Находясь в самой кипении дворцовых хитросплетений и интриг, царевич рано почуял сложный переплет, темную, причудливо-запутанную основу окружающей его жизни и, одаренный от природы, развивался осо-

бенно быстро, благодаря таким многосложным впечатлениям и влияниям среды.

Вот почему и сейчас царевич не только слушает, о чем толкуют кругом, но и вглядывается внимательно: как ведется беседа?

— А што ж ты один, Петруша, встречаешь меня? Иванушка где же? Здоров ли царевич?

И Федор обратился в сторону князя Прозоровского, дядьки Ивана-царевича.

— Спать завалился братец. Он с курами на нашест... Нешто ты не знаешь, государь-братец? — с лукавой улыбкой ответил Петр.

Прозоровский степенно доложил:

— В своем добром здравьи царевич челом тебе бьет, государь. А уж не погневайся: почивает в сей час. Дохтура же приказывали не раз: больше бы спал царевич. Мы и волю в том даем царевичу.

— А Ваня и рад, — опять подхватил Петр. — Вот уж сонюля. Он и не спит — а ровно спячий... Так вот...

И мальчик, сощурив глаза, удлинив свою мордочку, стал удивительно похож на болезненного, подслеповатого, слабого умом и телом Ивана-царевича, которому уже шел одиннадцатый год.

Всех насмешила выходка, но царица, сейчас же осилив улыбку, строго заметила:

— Грех так, Петруша, брата на смех подымать да рожи строить. Хворый он, вот и слаб от той причины. Да он покорный, слушает и меня и всех старших. Не то што меньшей сынок мой... С этим и сладу нет. Гляди, милей было бы, коли бы и он спал поболее. Тогда и в покоях потише, и целее все... Никово-то не обижает Ваня, порой и от тебя терпит, коли што... И выходит: смеется батог над кнутовищем, а сам и похуже.

Смущенный выговором, мальчик весь зарделся, зарылся лицом в колени той же матери, которая пожурив его, и, все-таки не унимаясь, проговорил:

— Он злой. Он карлицу Дуньку защищал... Кошку бил... А я ж не обижаю ево... Мне он люб же, братец Иванушка...

— Ну, вестимо, вестимо, — протягивая руку и гладя по шелковистым кудрям братишку, вмешался Федор. — Я знаю, ты добрый у нас... А смех — не грех... Сядь ровненько. Послухай, што сказывать стану. Где был я нынче, што видел.

Сразу выпрямился мальчик и с любопытством обратился рдеющим личиком к царю:

— В зверинце был, государь-братец. Зверья нового глядел... Али послы подносили што из чужой земли... Али...

— Да стой. Пожди. Скажу — и узнаешь. Зверье не зверье, а сходно с тем. Пареньков не похуже тебя видал полны покои. Только они не творят из лица подobia братнево на потеху. Не досаждают родительнице и всем иным присным. В науке дни проводят... Стихири всякие согласно поют.

И Федор рассказал о посещении школы Лихудов.

Не успел закончить царь рассказа, как мальчик вскочил и выбежал из комнаты.

Одна из мамушек поспешила за ним.

— Экой... огонь-малый, — не то с удовольствием, не то с оттенком грусти заметил царь. И даже словно зависть затуманила его лицо.

Федор вспомнил свое детство. Он не был таким ослабленным, полу-идиотом, как брат Иван, но все-таки почти до десяти лет больше сидел на руках у мамушек, почти никогда не бегал, не резвился, хворал часто, питался больше снадобьями из дворцового Аптекарского приказа, чем обычным царским столом... Вот почему легкая, невольная зависть омрачила душу юноши-царя. Он подумал, что и его дети, пожалуй, когда он женится, никогда не будут такими сильными, рослыми и бойкими, как этот мальчик, уже и теперь на голову превосходящий ростом всех сверстников.

Не успел Федор обменяться несколькими фразами с царицей, как мальчик появился снова, держа в ручонках несколько больших, довольно тяжелых томов.

Мамушка шла за ним, тоже нагруженная книгами.

— Я тоже умею, государь-братец! — громко объявил царевич, сваливая на скамью свою ношу и подвигая к брату табурет. — Вот, гляди...

Из груди книг он достал две-три в кожаных переплетах и перенес на табурет.

— Вот, гляди: История царства Московского... Про царей... Мне все читали... Кто был когда, как государствовал... Эту книгу дедушка Артемон складывал... Вон и лики царские... Вот дедушка, царь Михайло... Вот тя-тя... Вот — царь Иван Васильич... грозной да злой который был... Вот князь великий с калитой... Мне

все ведомы... И скажу тебе про них... Про ково хочешь?..

Живо перебирал мальчик пухлыми пальчиками листы тяжелого тома: «История в лицах государей московских», прекрасный, многолетний труд недавно со- сланного боярина Матвеева.

Неловкая тишина воцарилась в палате.

Глаза Натальи потемнели и наполнились слезами. Скрывая их, царица отвернулась к окну, словно разглядывала что во дворе.

Федор вспыхнул и невольно опустил глаза. У Нарышкина и Стрешнева сумрачны стали лица, а прово- жатые царя приняли сразу угрюмый, вызывающий вид, словно приготовились к стычке с врагами.

— Про ково же сказывать, государь-братец? — по- вторил вопрос мальчик и огляделся кругом, не пони- мая: отчего нет ответа, что значит внезапно наступив- шее молчание? Потом, как будто сообразив что-то, за- крыл тихонько книгу, отодвинулся к матери и негром- ко спросил:

— А што, государь-братец, скоро с воеводства де- душка воротится? Приказал бы ему сызнова на Моск- ву. Скушно без нево. Вон и матушка скучает... Он здесь еще про царей будет складывать... И про тебя, и про меня, как я царем стану... Слышь, братец, пошли инова на воеводство ково...

Опять не последовало ответа ребенку.

— Княгинюшка, возьми Петрушу, веди в опочиваль- ню. Молочком напоить, гляди, не пора ли. А там и на опочив. Ишь, уж не рано... Да свету нам, — обрати- лась, овладев собой, Наталья к маме Петра, княгине Голицыной, — ишь, темнеть стало... А может, госу- дарь, и потрапезовать с нами поизволишь? Готово у нас, гляди, все...

Федор, отгоняя смущение, провел рукой по лицу и даже встряхнулся весь:

— Нет, нет, благодарствую, государыня-матушка... Так, побеседовать зашел... Ну, братишко, ступай, коли пора... Доброй ночи... Послушен будь... Вон какой ты большой стал... Пятый годок без малого... И тебе за науку пора... Хочешь ли? Станешь ли?

— А коли я ладно знать буду, ты и мне чего дашь, государь-братец?

— Дам, дам, милый... Што похочешь, все дам...

— Вот люблю... Ну, я стану слушать... Я пойду с ма-
мушкой... Слышь, княгинюшка, свет Ульяна Ивановна,
веди меня. Я и баловать не стану... Тихо, слышь... Во-о
как ладно...

И, захватив свою любимую «дедушкину» Историю,
он стал кланяться поочередно:

— Доброй ночи, матушка... Доброй ночи, государь-
братец... Бояре, ночь добрая...

Мать порывисто прижала мальчика к своей груди и
отпустила его с долгим поцелуем.

Федор тоже привлек, поцеловал и перекрестил бра-
та-крестника:

— Храни тебя, Господь... Расти, здоровый будь ду-
хом и телом... Ступай с Богом...

Мальчика увели. Ушла за ним и вторая мама его,
боярыня Матрена Романовна Леонтьева.

— Пора, пора учить Петю, — после небольшого
молчания повторил Федор. — Сдадим дядькам на руки
малого. А там и учителей пристойных сыскать надобно.
Как мыслишь, государыня-матушка?

— Твоя воля, государь. Приспела пора. Так уж у
вас, у государей, оно водится... Не все же ему с нами,
с женским полом, быть... И не рада, а надо... Сама ви-
жу: пора дядькам сына сдавать... А ково изберешь, го-
сударь, не скажешь ли?..

И с затаенной тревогой она глядела на царя, ожи-
дая, кого он назовет. Не поручит ли охрану ребенка
кому-либо из заведомых недругов ее семьи, одному из
Милославских, Хитрово или иному из ихней компании?

Чуткий Федор угадал тревогу мачехи, поспешил ус-
покоить Наталью:

— Мне ли избирать? Кабы родитель был жив, по-
мняи, Господи, душу его, он бы и выбрал... Он же и
боярам приказал, коим в охрану вручил брата Петру-
шу. Из них сама и выбирай. Твоя воля родительская,
государыня-матушка.

— Челом бью на милости, сынок-государь. Поздо-
ровь, Боже, твою царскую милость. Коли поизволишь,
потолкуем о том еще, — вздыхая свободно, сказала
Наталья. — А можно бы в дядьки и князя Бориса Го-
лицына позвать. Сам знаешь: повидал он немало. Учен
много и нравом тих.

— Как поизволишь, государыня-матушка. Его, так
его. Еще про кого надумаешь, — скажи мне.

— Да вот, не позволишь ли, царица-матушка, и ты, государь, про учителя слово молвить? — вставая с поклоном, заговорил Соковнин.

— Сказывай, што знаешь, боярин.

— Да вот, коли надобно, знаю я человека, в граматах сведущий и смирной, как овца. Моих пареньков учивал. Озорные они. А с им — ровно иные стали. Сами за науку берутся. Знает, видно, как заохотить ребяток... Попытать бы его, как водится. Може, и в пригуду станет вашим государским милостям. Могу сказать: смиренник, добродетельный муж и Божественное Писание добре знает. Не хуже попа иного.

— Поглядим, што же... Коли знаешь человека — и хорошо оно. Как звать-то его?

— Никиткой звать, Мойсеев сын, прозвищем Зотов, из Большого приказа, из твоих писцов государевых, московский же сам. И родню тут имеет немалую. Не богатый люд, да худого про них не слыхать. А для первой учебы царевичу — и не сыскать другого. Так думается мне, государь.

— Ладно, поглядим, боярин. Покажи его мне... Да и матушке государыне. Как ей покажется. Вот хоть утречком же, как ко мне поедешь, и вези тово Никитку с собой. А в сей час — прости, государыня-матушка. Недосуг. Посидел бы долей — дела не велят... Челом тебе бью.

И снова Федор поклонился мачехе, целуя ей руку и принимая ответный поцелуй.

С низкими поклонами проводили все царя: Наталья — до порога, свита ее — до самых сеней.

На другое же утро Соковнин явился во дворец вместе с Зотовым, оставил его в передней, где столпилось немало своих и приезжих людей в ожидании приема у царя, а сам прошел к Федору.

Коренастый, худощавый, лет двадцати пяти писец Посольского приказа Зотов совсем растерялся, когда Соковнин объявил ему, что берет с собой во дворец представить царю.

— Пошто, боярин, помилосердуй... Где мне на очи его царского величества предстать убогому, рабу последнему... И чего для ради?

— Там узнаешь, — отрезал боярин.

Пополняя свое скудное казенное жалованье обучением боярских детей, смысленный, но робкий Зотов и

мечтать не смел о счастье: стать учителем царевича. Он, правда, знал, что Петру через два месяца, 30 мая, исполнится пять лет — пора, когда царских детей начинают учить письму и чтению. Но обычно в дворцовые учителя попадали люди, заручившиеся сильной протекцией. А Соковнин никогда не пользовался особым влиянием. И только случай, конечно, доставил такое счастье Зотову.

Но Никита знал и то, как трудно ужиться при дворе, сколько там интриг, сколько опасностей для каждого, кто приближается к государю и к его семье...

Между радостью и страхом трепетала душа бедняка, пока он, стоя в стороне, шептал про себя молитвы и поминал «царя Давида и всю кротость его»...

Иногда Зотов готов был убежать из этой прихожей, где толпилось так много знатного люда. Каждая минута тянулась бесконечно и равнялась пытке. Холодный пот покрывал побледневшее лицо и лоб приказного. Ноги подгибались.

Вдруг из внутренних покоев показался комнатный стольник, молодой Петр Матвеевич Апраксин.

— Кто здесь Никита Зотов?

— Твой раб, государь мой. Тут я, милостивец. Что поизволишь?

— Государь изволит тебя спрашивать. Ступай скорее. Да ты, никак, с места не можешь двинуться. Али ноги не несут? Не бойся, парень. Не кары — милости ради зовет тебя государь. Ну, иди, не бабься...

И Апраксин взял за руку совсем оробелого приказного.

Все обратили внимание на них. Удивлялись и спрашивали негромко: что за нужда государю звать к себе безусого, плохо одетого писца?

— Ох, милостивец... Пожди, государь мой, — взмолился между тем Зотов. — К сердцу подступило, дух перехватило, ноги не идут... Дай хоть малость опамятоваться...

— Ну, переводи дух.. Видно, труслив больно, парень.

Зотов не слушал, что говорит Апраксин, не видел никого кругом. Постояв немного, он зашептал снова молитву и быстро стал креститься. Потом, набравшись храбрости, заявил:

— Веди, государь милостивый...

Не помня себя, дошел за Апраксиным до порога царской опочивальни и сам не знал, как переступил за порог.

Тут так и повалился в ноги Федору, который в утреннем наряде сидел за столом; на столе лежали книги и письменный прибор.

— Вставай, Никитушка. Ну-ка, покажись, каков ты есть?

И он стал вглядываться в Зотова, который поднялся и стоял, не решаясь взглянуть на царя.

— Ничего, видать, прямой, не лукавый парень. Смирн, говорят. А каков в письме да грамате? Поглядим, послушаем. Вот с отцом Симеоном мы и помытарим тебя, — кивая головой входящему Полоцкому, которого тоже пригласил к этому экзамену, сказал царь.

Испытание Зотов выдержал хорошо.

— Пристойно и неошибочно читает и пишет сей муж. И в Писании Священном сведущ, — проглядев написанное тут же Никитой, прослушав чтение и объяснение отрывков из Библии, заявил Полоцкий.

— Добро, коли так. И мне сдается, правду ты толковал, боярин, — обратясь к Соковнину, заметил царь, — пристойный будет наставник Петруше. К государыне-матушке теперь отвел бы его. Как ей покажется? Ступай, Никита. Гляди, учи хорошенько братца Петрушу. И наша милость будет тебе.

Благоговейно прикоснулся губами Зотов к протянутой ему руке и вышел за Соковниным.

Внутренними переходами проводил его боярин на половину Натальи.

Окруженная боярынями, сидела Наталья на кресле вроде трона. Царевич стоял подле, держась за руку матери, и внимательно вглядывался в нового учителя.

Дедушка Кирилло Полуэхтович, дядька царевича князь Борис Алексеевич Голицын, молодые братья Натальи и сестра ее Авдотья — все были тут же. Всем хотелось взглянуть на учителя Петруши.

Царевичу не удалось хорошо разглядеть лица Зотова. Тот как ударил челом в землю перед царицей, так и не поднимался.

Величественная осанка Натальи, ее проницательные темные глаза, которыми мать так и впиалась в Зотова, словно сразу желала проникнуть в душу того, кому придется поручить сына, — все это повлияло на робко-

го приказного даже сильнее, чем лицезрение царя. Тем более что Федор принял его совсем запросто.

— Встань, слышь, Никитушка. Сказывали мне, благочинно живешь ты, писанию Божественному обучен. Волим вручить тебе сына моего, царевича. Блюда за ним, прилежно научай Божественной премудрости, страху Господню, благочинному житию и писанию. Чтению малость приучен Петруша. Мастерница царевен и ему азыказала. А то и сам наглядывал... Да встань, слышь. Что за охота так тебе пластом лежать?

Ласковый голос Натальи, которым заговорила эта величественная и суровая на первый взгляд государыня, почему-то растрогал, потряс душу Зотова. Все волнения этого утра разразились слезами.

Стараясь подавить непрошенные рыдания, не поднимая головы, Зотов, всхлипывая по-бабьи, тонким, рвущимся голосом ответил:

— Помилуй, государыня! Недостоин есмь хранить и оберегати толикое сокровище... Страхом душа исполнена. Ей, помилуй, царица-матушка. Отпусти холопа своего.

— Ну, пустое толкуешь. Говорю, встань... Вот так. Наутро — перевозись сюды, в терем. Покой тебе отведут, светелку особую. Да и с Богом, за ученье... А теперь — иди. И впрямь, ровно не в себе ты, Мосеич... Ступай с Богом...

Как ко святому причастию, прикоснулся Зотов к мягкой выхоленной руке царицыной, милостиво протянутой ему для поцелуя, ударил челом Наталье, царевичу и, пятясь, вышел из покоя.

Не помня себя от радости, Зотов не заметил, как и домой попал. Весь день словно в угаре проходил, ничего не отвечая на вопросы домашних. Всю ночь почти провел в молитве перед иконами.

На другое утро, 12 марта 1677 года, едва Никита огляделся в комнатке, которую ему отвели по приказанию Натальи в ее тереме, пришли звать учителя к царице.

— Только ранней, Никита Мосеич, вот принарядись-ка малость. Жалует тебе государыня-царица весь убор, верхнее да исподнее платье. И сапоги с шапкой. Вот, все тут. Давай помогу тебе, — объявил юноша — стольник Натальи, развязывая большой узел, который принес с собою.

Четверти часа не прошло, как Зотов сам себя не узнал, наряженный в новый, богатый, темного цвета кафтан с опушкой, в шелковую рубаху, в сапоги мягкого сафьяна с острыми носками вместо старых стоптанных чеботьев, в каких ходил он раньше.

Сердце так сильно билось от восторга и страха в груди Зотова, что вздрагивала шуршащая при малейшем движении шелковая ткань его рубашки.

Наталя была не одна. Царь с ближними боярами, святейший патриарх, царевны, сестры Федора и три тетки его собрались, как на семейное торжество, на первый урок любимого всеми царевича.

Все только и ждали Зотова. Не успел он добить им челом, как сам патриарх с духовником царицы начал править краткую обедню, окропил святой водой царевича, всех остальных и, благословляя ребенка, сказал:

— Ныне, чадо мое любимое, новой жизни, духовной, причастен станешь. Укрепляйся в ней и трудись благоуспешно, как телом цветешь и крепнешь час от часу, матери-царице, государю-брату и мне во утешение, земле всей на радость. А ты, сыне, прими отрока, ветвь древа царственного. Надели его светом знания и блюди строго чистоту дитяти духовную и телесную. Аминь!

Вторично, с благословением, возложил он руки на голову царевичу.

Зотов поцеловал руку патриарху, принял от него ребенка, повел к столу, где лежали приготовленные книги, тетрадки, стоял прекрасный письменный прибор, и в присутствии царственных свидетелей состоялся первый урок Петра с Зотовым.

Усадив царевича, учитель отдал ему земной поклон, уселся рядом на самый край скамьи, достал указку, развернул букварь и приступил к ученью.

— Се, реки, царевич: Аз.

— Аз! — напряженным, звонким голоском повторял ребенок.

Пробный урок длился недолго. Патриарх первый поднялся, похвалил ученика и обратился к учителю:

— Изрядно ведешь дело. Видно, благословение Божие почиет на тебе. Жалуем тебя казной нашей патриаршей во ста рублях... Выдай ему, брат Арсений, — приказал Иоаким своему казначею, стоявшему поодаль.

Приготовленный заранее тяжелый кошель с рубле-

виками перешел сейчас же в руки ошастливленного Никиты. По тому времени такие деньги составляли целый капитал.

— И от нас тебе пожалованье будет. Семейка, скаывают, у тебя не малая. Вот, для прожитья, чтобы угол свой был, жалуюм тебе двор наш у Никольских ворот... Боярин Иван Максимыч, — Федор указал на Языкова, — и купчие крепости тебе передаст, коли готовы...

Только молчит Зотов, земные поклоны отдает, прижав руки к груди и ловя воздух пересохшими от волнения губами.

— А это тебе — от нас с Петрушей, — говорит Наталья и указывает на полный, очень богатый наряд, который в это самое время подал на подносе стольник, приходивший одевать Зотова.

Слезы снова брызнули из глаз у бедняка, на которого, как во сне, посыпались все блага мира.

— Спаси вас... Челом вам... — пытается заговорить он. Но от волнения сжимается горло и звуки не выходят из груди.

— Ладно, после докланяешься, — успокоительно произнес старец Иоаким. — Ступай, маненько очухайся, сыне. Ишь, как тебя расшатало... Ничего, приобьнешь. Не все горького пить. Ино и сладенько хлебнуть можно... Ступай, сыне...

Молча откланявшись, вышел Зотов из покоя, действительно без вина шатаясь, как пьяный, от радости и сильных волнений, пережитых сейчас.

А царевич, такой же серьезный, затихший, каким был все это время, долго глядел вслед учителю и вдруг решительно объявил:

— Я с им стану учиться. Он знает грамату... Он любит меня.

Общая улыбка была ответом на деловитое замечание ребенка.

С этого дня Федор особенно часто стал появляться и в покоях, отведенных теперь Петру, и присутствовал при уроках мальчика. Как будто в царя вспыхнула прежняя нежность, какую он питал к меньшому брату, когда и сам еще был мальчиком двенадцати-тринадцати лет при жизни царя Алексея.

Конечно, об этом сейчас же толки пошли по всему дворцу.

Заговорила о том же и царевна София с боярыней Анной Хитрово, когда старуха пришла провести царевну.

— Откуда добыл Соковнин учителя? Мудрует тот с братцем Петрушей, что и сказать не можно. Вишь, подольстился к матушке нашей нареченной, к Натальюшке. Уж так-то Петрушу расхвалил, и-и-и!.. И смышлено, и разумен-то... И такое, и иное... Мало-де малышу грамоте да Святого Писания знать, да письму помаленьку обучиться. Куды... Учителей иных еще набрали. Никитка — старшой над ними. Истории обучать стали несмышленного, землеописанию, мало еще чему... И про бои ему толкуют, про ратное строение, и про взятие городов крепких... и... Да мало ль про што! Счету учить починают. Чертежи кажут и самому толкуют, как их чертить... А то еще мастеров назвал да красками разными расписать научил все покои в палатах брата. Там и грады, и палаты знаменитые, дела военные, корабли великие, ровно в яви бывают. Про царей истории разные изображены и прописью четко подписано про все, что оно значит... Да не столько по книгам учит отрока, как водит из покоя в покой, басни ему рассказывает. Особливо, слышно, про государей прежних воинствующих. Про Дмитрия Донского, про Александра Невского. А особливо про царя Ивана Васильевича. Мальчонко и то, бывало, с другими парнишками дни целые ратным строем тешился. А ныне — и впрямь от воинских дел без ума... Подрастет, гляди, все будет искать, с кем бы повоевать?.. А братец государь и вот как рад. Не выходит, почитай, из покоев Петрушиных. Только что сам с им не тешится. Да уж так того Зотова нахваливает! Отколь, слышь, набрался ярыжка всякой затеи да выдумки?.. И в толк не возьму, боярыня.

— Отколь?.. Ты не знаешь, Софьюшка, так я сведала, — ответила мама царевны. — Матвеевского гнезда пташка той Зотов. Еще как в Посольском приказе он служил, бывал Никитка в дому у Артемона. И ради письма своего красного, и ради послуги всякой, какую боярину оказывал. Тогда Никитка особливо к ученью Андрюшки Матвеева приглядывался. А теперь — и сам ту же кантель заводит, что у разумника нашего заведена была. Уразумела теперь. А дядьками Петруше, окромя Голицына, — двое Стрешневых приставлены: Родион Матвеич да Тихон Никитыч, заведомые дружки

Натальи, потатчики нарышкинские... Ишь, с кем они подружились, нас бы выжить... И нет Матвеева, а все дух его не выдохся. Нарышкины и без него, как при нем, живут, одно думают: Федора бы, как Алешу, родителя твоего покойного, к рукам поприбрать... Вас — повывселить из дворца... А там, помаленьку — и поставить Петрушу своего, смышленного да наученного, на царство...

— Ох, правда все, что ты говоришь, матушка... Как же быть-то?.. Дядю Ивана упредить бы... Он бы што али боярин Богдан Матвеич...

— Ничего. Заспокойся, Софьюшка. Им уж все ведомо. Знаешь, у меня тут все вести-весточки, словно касаточки, слетаются. Отсель куды надо летят... Дело просто. Оженить Федю надо. Свои детки пойдут, о брате меньше думать станет. А уж в цари сажать и не подумает. А там, с роденькой новой с царицыной соединясь, авось, с Божьей помощью и одолеем Нарышкиных... Одного же поизбавились, самого злобного... Артемона свет Сергеича... Так их всех изживем... Потерпи малость...

Софья привыкла верить старухе, знала, как та прозорлива и умна, — и, успокоенная, простилась с боярыней.

Слова старухи сбылись, хотя и не скоро.

Худосочный, хилый Федор, которому еще не свершилось и шестнадцати лет, по общему мнению врачей, не мог теперь вступить в брак без ущерба для своего здоровья.

— Годик-другой повременить надо, когда окрепнет государь от своей скорби, рекомой *morbus scorbuticus*¹, тогда и надежды будет больше, что не угаснет род царский. А преждевременная женитьба может нанести ущерб его царскому величеству...

Не совсем доверяли нетерпеливые советники Федора таким речам. Обычно наследники и цари Московские очень рано вступали в брак — и не бывало ничего плохого от этого.

Но юный царь в течение почти двух лет большую часть времени хворал, и только к концу 1678 года можно было собрать невест, из которых должен был себе избрать Федор царицу.

¹ Цинга (лат.).

Сильнейшие из вельмож, по примеру Матвеева, думали было до всяких смотрин сблизить Федора со своими дочерьми. Легче всего было это делать при помощи царевен, теток и сестер царя, куда привозили на поклон боярышень, зная, что Федору здесь легко приглядеться к девушке. И через Анну Хитрово добивались того же. Но тут интересы сильнейших бояр столкнулись, и каждый употребил крайние усилия, только бы не дать другому добиться заветной цели.

Стоит взглянуть на список отвергнутых девиц, после смотрин возвращенных по домам, и станет ясно, кто старался провести в царицы своих дочерей.

Обычные подарки забракованным девицам были розданы двум дочерям Федора Куракина, Марфе и Анне Федоровнам. Как дядька царя, он уж, конечно, имел случай похлопотать за своих дочерей — и все-таки дело не выгорело. Затем идет дочь второго дядьки, Ивана Хитрово, — Василиса; дочь окольного, князя Данилы Великого-Гагина; дочь стольника, князя Никиты Ростовского; две дочери князей Семена и Алексея Звенигородских; дочери князей Семена Львова, Володимера Волконского.

Тогда, словно по уговору, бояре предоставили самому Федору избрать себе подругу. И когда он остановился на миловидной и скромной девушке Агафье Грушецкой, из простого дворянского рода, бояре не стали восставать против этого выбора, только поставили условием:

— Пускай царь для радости своей берет кого хочет. Да родня бы незначная новой царицы в знать не лезла. И без того тесно во дворцах и теремах от «новой» знати. Стрешневых род... Милославские все. Нарышкины опять! Одних братьев-царицыных более двадцати вверху живет, родных и двоюродных... Скоро и казны всей царской не станет кормить-поить их... И мест по царству не буде: царску родню сажать. Прямой урон земле и царству от того...

Не стал спорить об этом Федор.

Он понимал, что дела царства плохо пойдут, если он возьмется за управление своими слабыми, неопытными руками. И только где возникал вопрос о его личной, внутренней жизни, там еще мог кое-как отстоять юный царь свои желания, свою волю.

Осенью 1679 года обвенчался царь с Агафьей Семе-

новой Грушецкой и свадьбу отпраздновал без всякого чина, даже скромнее, чем это было при женитьбе Алексея на Наталье. Только Симеон Полоцкий и новый придворный пиит и ученик белоруса, монах Сильвестр Медведев, сложили широковещательные оды на это «великое и радостное для всей земли русской торжество».

Словно на счастье, у новой царицы оказалось немного мужской родни. И те, кто был, не тянулись в знать. Дядя ее со стороны матери, Семен Заборовский, ограничился принятием в число думных дворян. Отцу было дано боярство. Только две красивые, скромные девушки Анна и Фекла, сестры Агафьи, были выданы за хороших женихов. Первая за Сибирского царевича Василия, вторая стала княгиней Урусовой, и щедрое приданое получили обе от милостей царя и сестры-царицы.

А молодые родичи Грушецкие были всего «жильцами», младшим чином при дворе.

Быстро шли дни за днями.

Веселая, живая первое время молодая царица скоро изменилась.

Нежное, полудетское личико ее побледнело. Глаза то загорались нездоровым огнем, то потухали надолго.

И постоянное нездоровье Федора удручало царицу, и сама она тосковала, видя, что судьба не дает ей радости: быть матерью, подарить наследника Московскому престолу.

И мольбы, и богатые дары, посылаемые в разные обители и храмы, щедрая милостыня — ничего не помогало. Призывались врачи, знахарки и знахари... Но прошло больше году, прежде чем у царицы явилась надежда на исполнение ее самой заветной, дорогой мечты.

Обрадовался и Федор, узнав, что скоро станет отцом. Но врачи, ничего не говоря своим державным пациентам, только переглядывались между собою и сомнительно покачивали головою.

Воспрянувшая духом, радостная, словно обновленная Агафья таяла на глазах у всех. И сами врачи не могли и не смели добраться до причин этой телесной немощи.

Конечно, она могла быть временной, могла зависеть от особого состояния молодой царевны... Но кто пору-

чится, что тут не замешаны те же темные силы, которые сводили с трона немало и невест и жен царских.

Вот почему врачи только покачивают головами и ждут: что будет?

Но Милославские и их друзья, не настолько опасливые, как врачи, совсем воспрянули духом.

— Вот, дал наконец Господь. Подарит царица молодая наследника на царство. Можно теперя и Нарышкиных с их царевичем черномазым с рук сбыть... Свой буде прямой царевич у нас, не брат младший, сын единокровный...

Однако, видя искреннее расположение Федора к Петру, стали действовать очень осторожно.

Наталья чувствовала, как наглеют недруги, стараясь сделать для нее нестерпимой жизнь вблизи царя. Но все сносила.

— Слышь, матушка, — говорила она порой Анне Леонтьевне. — Сказывал на днях Языков мне: теснота-де в старом дворце настала; нам-де с Петрушей царь новый двор строить хочет... Тута остаться, все терпеть — мочи моей нету. А и уйти прочь боюсь. Бок о бок с царем — все же спокойнее мне и Петруше. Коли што, — гляди, и защита будет... Все — на глазах. Не больно строг Федор с боярами, да не посмеют же они Петрушу, как Димитрия в Угличе, на глазах на братних зарезать.

Сказала — и вздрогнула сама, словно увидела наяву ненаглядного своего Петрушу с зияющей на шее раной, облитого кровью...

— Ох, доченька, и я уж про то же мерекаю... Молюсь святым угодникам... Не попустит Господь!

Толкуют обе женщины, а сами и забыли, что тут же, тихо прикорнув в углу за книгой, сидит царевич, их радость, их надежда.

И вдруг, поднявшись от стола, Петр подошел к матери, осторожно заговорил:

— Матушка, да коли обижают тебя... Уедем к себе в Преображенско. Там нет чужих. Не тронет меня там никто... Я и вырасту... А когда вырасту...

Ему не дали досказать.

Мать закрыла детские уста поцелуем, тревожно оглядываясь, словно опасаясь: не выдадут ли самые стены ее опочивальни того, что сейчас было сказано.

А старуха укоризненно покачала головой и поджала

многозначительно губы. «Вот, мол, не поостереглися — и дитя услышало, чего бы до поры ему и знать не надо».

Эту мысль прочла Наталья в глазах у матери.

А сама, расправляя непокорные, темные кудри мальчику, нежно касаясь бледными, тонкими пальцами розовых, смуглых, покрытых пухом щек, шепчет:

— Не толкуй пустое, дитятко. Где же зимою в лесу прожить?.. Там и от волков обороны мало, не то от людей... Да и помалкивай лучше. Не думай про лихо, оно и пойдет мимо. На леса, на горы, на сухие поляны... Спаси и защити, Мать Божия, отрока Петра!

Побледнела Наталья. Губы ее шепчут не то молитву, не то заклинание...

Восемь лет царевичу. Но он уж такой рослый, что и все двенадцать можно ему дать. А по уму и смелости он далеко превосходит не только одноклассников, но и взрослых товарищей, каких допускают дядьки и наставники для совместной игры с Петром.

Встряхнув кудрявой головой, выпрямившись перед женщинами, словно кидая вызов кому-то, он объявил:

— Пусть кто тронет тебя, матушка... Я весь свой полк соберу... Ужо не спустим обидчику... Да и брат государь по правде любит меня... И тебя — слушает. Ты и скажи ему... Я тоже скажу... Он нас оборонит, не даст в обиду... Он...

— Да ладно... Да будет, дитятко! Глупый ты, немысленный еще... Я так, пустое молвила. А ты вон уж што. Помолчи, слышь. Я велю. Гляди, и в беду нас впутаешь, — уже принимая строгий вид, стала приказывать Наталья, но не выдержала до конца роли и с новыми горячими поцелуями и ласками зашептала: — Ох, Петенька, солнышко мое ясное... Горькие мы с тобою сироты... Недруги нас обступили, кругом обложила сила вражья... Помалкивай лучше, соколик ты мой... Молю тебя, Христом-Богом... Лучше, коли тише, — невольно повторяя полузабытый завет покойного Тишайшего царя Алексея, уговаривает сына вдова-царица.

Ничего не сказал на это мальчик, повел густыми, темными бровями и отошел опять к столу, за книжку свою уселся...

А мать с дочерью дальше ведут печальный разговор, только потише, почти шепотком теперь, чтобы опять не встревожить этого мальчика, который дороже им соб-

ственной жизни и счастья. И имя царевны Софьи изредка доносится до обостренного слуха Петра, который, весь насторожась, глядит только в книгу, а не читает ее.

В тот же день, когда Зотов позвал царевича в обычный час к уроку, Петр, учившийся постоянно внимательно, с большой охотой, был очень рассеян, даже грустен, словно иногда и не слышал объяснений и вопросов наставника.

— Да здоров ли ты, государь мой, царевич? Ино оставим науку, коли што. Потолкуем налегке про кой-што. Вон хоть в ту горницу пойдем, где воинское дело представлено. Може, што новое скажу тебе, — предложил Зотов.

Больше всего любил мальчик картины в одном из покоев, предоставленных ему, где были изображены образцы военного вооружения, снимки с известных батальи, планы лагерей и крепостей.

Но невинная уловка не помогла.

Мальчик перешел в «батальный» покой, слушал, что говорил ему Зотов, а выражение внутренней напряженной думы не сходило с красивого личика.

— Да не поведаетшь ли мне, Петрушенька, с чего заскучал? Может, недужен ты, светик мой? — с искренней, нежной тревогой спросил наконец Зотов. — Надо государыне сказать. Лекаря покличем. Скажи, прошу душевно.

— Не надо... Зачем матушке? Здоров я... А вот спросить хочу тебя... Да не ведаю, ладно ли будет. Матушка сказывала, молчал бы. А и молчать нет мочи. С того я...

— Вижу, сам вижу: мятется душенька твоя чистая, ангельская. Да уж поведай мне. Вот тебе икона... Хрест святой порукой: а ни-ни... на духу не поведаю, попу не открою, што сказать изволишь... А, може, умишком моим худым и советишка дам пригодный. Не от разума, от усердия моего да от щедрой приязни...

Искренне любящий мальчика Зотов быстро-быстро крестился, а глаза его даже наполнились слезами от наплыва разных ощущений.

— Ну, уж скажу... Слышь, лише б никому не сказывал... Помни. Крестом поручался ты...

И, понизив голос, царевич передал наставнику весь недавний разговор свой с матерью и бабушкой.

— Мудреную задал ты мне задачу, царевич. И не ждал я никак того, што услыхать довелось. Лучче бы и не допытыватца и не дознаватца мне... Простого я роду, не обык к вашим царским делам и случаям... Што и сказать, совет какой дать, не знаю.

И Зотов умолк. Ничего не сказал и мальчик. Но с такой тоской глядел он мимо учителя в соседнее окно, что у того сердце сжималось от боли.

Наконец он снова заговорил:

— Да поведай уж: что бы ты волил знать от меня, царевич? Може, наставит Господь меня, недостойного...

— Сам подумай, чего мне надобно. Как бы матушку оберечь. Недругов наших одолеть... Видно, боязно матушке, и меня бы, как Димитрия-царевича, со свету бы не сжили людишки подлые...

— Да неужто ж царевна встанет на брата, сестра-то родная?..

— Царевна? — сразу вздрогнув, насторожился Петр. — Да нешто правда, што Софья на нас с матушкой... с врагами с нашими?.. Мосеич, што ты...

И широко раскрылись глаза у мальчика не то от ужаса, не то от омерзения.

— Господь с тобою... Нешто я сказал такое?.. Ты же мне сказывал, будто и царевны-сестрицы имя было матушкой царицей помянуто... Я, по правде сказать, слышал, што неспокойно в тереме у царевен, особливо в покоях царевны Софьюшки. Да не на грех же подбивают ее... Так в дому вашем царском дня не бывает без наговоров да составов разных... Друг дружке ногу каждый подставить норовит... А штобы такое... Храни, Боже. Ежели вороги ваши плохое и задумали, так то одни бояре... Ну, скажем, Языков той же, што в ином месте поселить тебя, государь-царевич, с царицей-матушкой собирается... Ну, Хитрово али Милославские... А штобы царевна... Храни, Господь. И не поминай ее...

— Ладно, ладно, не стану... Слышь, што задумал я? К братцу, к царю прямо пойти и поведать про все... Ужли ж не заступится братец?.. Брат же я государю. Крестный он мне. Батюшка, слышь, помираючи, при всех сказывал: мне по братце на царство сесть... Даст ли он в обиду нас?..

— Не даст, не даст, царевич! Верное твое слово. Вон Господь как умудрил тебя, младенца... Одно дело, и бояре побоятца дурное што учинить с тобой. Еще и

наследника нет у государя. А будет ли, Бог весть?.. Слышь, и то они друг дружку корят порой, што сами горе земле готовят. Второе, мол, лихолетье настанет, коли корень царский изведется. Так промеж здешних людей, промеж челяди толк идет... Иди с Господом, скажи государю. Пред его очами правда, как масло на воду, так и выступит. Может, он и не знает, што умышляют злые люди... Царь даст пораду... Только, слышь, меня не называй... што совет я давал тебе... Меня-то одним махом проглнут тут... Слышь, царевич...

Воодушевление, охватившее на короткое время Зотова, сразу пропало при мысли о той опасности, какой подвергался он сам, впутываясь в игру верховных бояр и царской семьи.

— Уж ты не думай. Тебя не помяну... Уж ты верь, — успокоил Зотова мальчик.

И Зотов понял, что ребенок действительно не выдаст его.

Не слушая благодарностей наставника, Петр снова в раздумье заговорил:

— А, постой... ежели мне ранней к святейшему патриарху... Ему слово молвить... Помнишь, как читали мы про Ивана Василича... Теснили ево в юности бояре, а он у патриарха, у святого Макария, и совет и помощь нашел... Как скажешь?..

Почесывая слегка затылок, Зотов в смущении не знал, что отвечать.

— Макарий... Так то был Макарий, — наконец негромко проговорил он. — А наш святейший кир-патриарх... Дай ему, Господи, многие лета... Благ он уж больно. Словно и нет для него злых людей, все хороши да милы... Станет ли он с боярами с главными, с сильными в спор вступать? То подумай, царевич. Да и не наш он. Из украинцев... Может, оттово и не мешается вовсе в дела московские. Церковь блюдет...

Зотов словно забыл, что говорит с восьмилетним ребенком, и толковал как со взрослым юношей. И выражение лица царевича совсем было не детское в эту минуту.

— Правда твоя... Не такой он, старец Иоаким, как был Макарий. Не будет нам защиты от него... Да што там... Прямо — лучше... Ты сиди... я приду скоро... Я только к братцу государю...

Не успел Зотов сказать что-нибудь, остановить ребенка, как тот уж выбежал из покоя и знакомыми переходами поспешил на половину Федора.

Резвый мальчик, царевич и раньше, бывало, появлялся один везде во дворце, заглядывал и к брату, спросить о здоровье от имени своего и царицы Натальи, выпросить гостинцев или новых книжек.

Теперь тоже никто не обратил внимания на Петра, когда тот появился в покоях Федора.

Здесь стольник объявил, что государь еще на совете, в Грановитой палате, с ближними боярами своими.

Мальчик даже не дослушал, что говорил дежурный спальник, и поспешил дальше.

Стрельцы и привратники были удивлены появлением младшего царевича у дверей палаты, но остановить его не посмели, полагая, что без царского зова он не явился бы на совет бояр с царем.

Тут же, почти у дверей, догнал царевича Зотов, который, опомнившись, кинулся следом за своим питомцем.

— Царевич, пожди!.. Неладно так-то, на совете на боярском... Помысли малость, — задыхаясь от поспешной ходьбы и волнения, шепнул было царевичу наставник.

— Чего неладно? Я же поклониться желаю государю — брату моему, царю Федору Алексеевичу. Не видал его давно.

И с этими словами Петр перешагнул порог.

Зотов, ни жив ни мертв, так и застыл у порога, не решаясь войти, и только квозь полуоткрытую дверь глядел: что будет дальше?

Степенно подошел царевич к ступеням, на которых стоял трон, охраняемый по бокам двумя золочеными львами, по образцу византийских царских престолов.

Федор, как и все думные бояре, сидящие тут, был удивлен появлением брата, но сейчас же ласково закивал головой в ответ на чинный, глубокий поклон мальчика, поднялся с места и поцеловал его в голову и в лицо, пока мальчик, по обычаю, приложился к руке царской.

— Што, али ты пришел с чем-либо на совет наш на царский?.. Жалуй, милости прошу... Просить, што ли, хочешь о чем? Сказывай... Поди сюда, ближе.

И, снова усевшись на троне, Федор поставил перед

собою брата, словно невольно залюбовавшись смущенным, покрасневшим, почти пунцовым от волнения личиком царевича.

Смелость, с какой Петр явился сюда, вдруг покинула его. Он молчал, не зная, с чего начать?.. Мял в руках край своего кафтанчика и кусал пухлые, свежие губки красиво очерченного рта, чтобы не расплакаться громко.

Тут же сидели почти все те, на кого мальчик хотел принести жалобу брату: боярин Языков, Хитрово, Иван Милославских...

Ребенок не думал, конечно, делать заглазного доноса. Он знал, что каждое слово против этих бояр станет им известно. Он хотел этого, сознавая свою правоту, радуясь, что придется стать на защиту горячо любимой матери и, может быть, даже пострадать при этом...

Но выступить хотя бы и с таким большим делом при двадцати—тридцати боярах и царевичах, таких важных, почти сплошь — седобородых и седовласых... При этих думских дьяках и дворянах, сидящих поодаль и с таким вниманием кидающих взоры на малыша, словно бы они и не узнали его или приняли за какое-либо, незнакомое раньше, существо... Все это лишило самообладания мальчика. Он понимал, что стоит заговорить ему — вместе со словами вырвутся из груди невольные, непрошенные слезы... Унизительный, ребяческий плач, которого вообще не любил царевич. Даже если порой приходилось терпеть боль, Петр старался не плакать. А тут...

И, крепко сжав губы, мальчик продолжал молчать...

— Ну, что же ты, братишко? Или забыл, с чем шел? Забоялся при всех... Ладно. Ступай теперя. Скоро и кончим. Ко мне попозднее приходи, там потолкуем...

Ласковое предположение, что он «забоялся», словно укололо царевича. Способность говорить сразу вернулась к нему.

— Без страху пришел я, брат-государь мой, царь Федор Алексеевич. Челом тебе бью, жалобу приношу слезную... От себя да и от матушки государыни нашей, Наталии Кирилловны.

Сразу лица бояр приняли удивленно-встревоженное выражение. Послышались подавленные возгласы. Некоторые, как Языков и другие, словно чутьем догадались, о чем будет речь, и даже побледнели.

Царевич при вспоминании о матери ощутил, что слезы клубком снова подкатываются ему к самому горлу. Но еще крепился.

— Жалобу? Што приключилось? Сказывай скорее! Поди сюда... Садись...

И царь усадил его рядом с собою на широкое сиденье трона, где раньше худошавая фигура Федора выглядела так беспомощно.

— Што ж молчишь? Обидел-то хто тебя и матушку? Говори. Видно, дело не малое, што здесь нашел меня. Я слушаю.

— Обидел хто?.. Еще нет. А задумано... Вот он, — указывая на Языкова, звенящим голосом начал снова царевич, — матушке сказывал, из терема ее, из твоего дворца царского нас переселить задумали... Тесно-де тут. В новы хоромы нас... А то и вовсе с глаз твоих... А там... матушка сказывала, без твоей охраны царской, хто ведает, што учинить могут люди злые?! Не похуже, чем в Угличе было от Бориса Годуновых на царевича Димитрия, вот как в Истории писано... Я не за себя, за матушку боюсь... Сироты мы, да брат же ты мне, государь, не чужой. Ужли не вступишься?? Ужли и угла нам с матушкой нету в доме родительском?..

Слезы снова так и брызнули из глаз царевича. Чтобы громко не разрыдаться, он умолк.

И все смолкло кругом.

Федор, прижав к груди головку брата, ласково отирал ему слезы и сам словно раздумывал о чем-то. Потом взглянул прямо в глаза Языкову, сидящему недалеко от трона, и спросил:

— Што значат речи царевича? Ну, буде, брат милый... Да не плачь же, негоже... На людях плакать неместно царевичу... Слышишь?..

Ласки, поцелуи и уговоры брата успокоили мальчика. Он затих.

А Федор снова обратился к Языкову:

— Слышь, Иван Максимыч, сказывал ты — сама государыня-матушка утеснения ради толковала тебе: прибавить бы покоев в ее терему али иное место дать для житья. А тут што слышно стало? Растолкуй, боярин.

То багровея, то бледнея, едва выдавливая слова из пересохшего горла, Языков поднялся и заговорил:

— Царь-государь, Господом Распятым клянусь: знать ничего не знаю, ведать не ведаю. Может, я одно

толковал, а государыня инако принять изволила. Ее государское дело. А мне ли от тебя, государь, твоего царского величества родню отлучать? И в уме того не было. Хоть на пытку вели. Все то же скажу...

Неловко стало всем и от клятвы, и от этих слов боярина, наглость и злоба уживались в их грубых, темных душах, но худародный выскочка Языков прибавил к этому и холопией низости.

Снова наступило тяжелое молчание.

— Так, ин пусть оно так; верю тебе, боярин. Слышал, родимый, слышал, Петруша? Знай и матушке скажи: никто не посмеет на вас! Матушку али, храни, Бог, тебя обидеть — меня обидеть, мне зло сотворить. А бояре наши не станут царям своим, коим крест целовали, худо чинить. Верим мы. Иди с Богом, Петруша... Дела у нас еще...

С просветлевшим лицом встал ребенок, снова отдал обычный поклон царю, долгим, признательным, не обрядовым, от сердца поцелуем ответил на поцелуй Федора и вышел из палаты.

Снова едва поспеть мог Зотов за своим питомцем, когда тот кинулся обратно к матери, чтобы скорей рассказать ей все, порадовать родимую.

А Языков, заметя сквозь распахнувшуюся дверь фигуру Зотова, только губы закусил и спустя немного шепнул соседу своему, Хитрово:

— Знаешь, боярин, кто все сие лицедейство настроил?

— Кто... Уж не Полоцкий ли? Он на эти дела мастер... Да, слышь, помирает он...

— Нету... Иной, не столь полету высокого... Ярыжка приказная, Зотов, учитель Петрушеньки нашего. Видать, тоже в люди захотелось... На штуки пошел... к царице подбивается, ко вдовице неутешной... Хе-хе-хе... Ладно, я ему удружу...

— Да удружить надоть, коли так... Ты помолчи куда. Вон царь в нашу сторону поглядывает. Потолкуем еще...

Они потолковали в тот же день. И решили судьбу Никиты Мойсеича.

На Рождестве того же, 1680 года пришлось снаряжать чрезвычайное посольство для подписания мира на двадцать лет с Крымским ханом. Во главе стоял наместник Переяславский, думный дьяк Тяпкин.

Расхвалив Зотова как знающего дело и умного человека, уговорили царя присоединить и его к важному посольству.

— А брата кто же учить станет? — спросил было Федор.

— Мало ль кроме есть у царевича учителей? Чему и учил Никитка его царское величество? Вон, царевич, Бог дал, не то Псалтирь — Апостол весь наизусть сказывать изволит. И пишет преизрядно. И счету всякому обучен... Иные учителя потребны государю-царевичу... А Зотов не то школярить может кого, а боле добра принесет, коли в послах поедет.

Уговорили Федора — и Зотов со слезами на глазах узнал весть о своем «повышении», под которым скрывалось несомненное желание недругов царицы Натальи удалить от нее и от царевича преданного человека.

Петр и Наталья поняли хитрый ход бояр. Но делать было нечего. И немало плакал, долго скучал потом царевич по своему наставнике. Вспоминала его и царица.

Прошла зима; весна и лето — наступили своим чередом.

Одиннадцатого июля 1681 года сбылось то, о чем горячо мечтал юный царь, чего с нетерпением просили у Бога враги Нарышкиных, чего последние ожидали с тревогою, чуть ли не со страхом.

Царица Агафья подарила Федору малютку-сына, нареченного Ильей в память деда, Ильи Милославских.

Однако эта радость оказалась слишком мимолетной.

Четырнадцатого июля не стало царицы Агафьи, и те же люди, которые сообщили Федору эту тяжелую весть, несмело добавили:

— А и про царевича Илью дохтура довести приказывали твоему царскому величеству: больно скорбен младенец, ангел Божий... Кабы и его не призвал к себе Господь... Больно ненадежен, слышь...

Только за голову схватился царь и застонал, как раненый, выслушав зловещие слова.

Еще больше врачей и сведущих баб-повитух было собрано во дворец... Чего ни делали, только бы поддержать еле тлеющую жизнь в слабом, болезненном младенце, стоившем жизни своей матери. Ребенок словно не захотел остаться здесь без нее — и царевича Ильи не стало 21 июля, через десять дней после рождения.

Мучительным, тяжелым кошмаром без сна и без еды почти пронесли эти десять дней для юного вдовца, потерявшего разом и молодую жену, и надежду царства, первенца-сына...

В иные минуты казалось, что Федор уже начинает говорить как-то необычно, дико и глядит так же бессмысленно-тупо, как царевич Иван... Еще хватило сил у царя проводить в могилу тело жены. Но когда хоронили ребенка, Федор сам лежал в жару. И эта болезнь, должно быть, спасла его от чего-нибудь худшего...

Тяжек был удар, способный сломить и более сильного человека. Но слабый, болезненный Федор перенес его. Смирение и глубокая вера царя помогли ему в этом.

Поднявшись после болезни, бледный, исхудалый, почти восковой, он, вспоминая о жене и ребенке, только шептал своими бескровными губами:

— Воля Божья. Он один ведает, што творит...

Тетки и старшие сестры царя, запуганные, робкие, совсем застывшие в своем теремном полузаточении, жадно ловили каждую весть, долетающую через высокие стены, окружающие их жилище, но сами не решались впутываться в события.

Одна царевна Софья и ухаживала за больным братом и старалась чаще быть при нем, когда он поправился немного.

Удар, поразивший царя, больно задел и весь род Милославских. Все понимали это.

— Вот, чай, теперь кадык подняли Нарышкины... Братец Ванюшка хворый у нас. Все знают. Сызнова Наталья Петруша на череду на царство, коли...

Царевна Екатерина, толковавшая с Софьей, не договорила, словно из боязни накликасть смерть Федора напоминанием о ней...

Но Софья решительно качнула головой, которая так глубоко и крепко сидела на ее пышных, даже чересчур развившихся теперь плечах.

— Не бывать тому! Не больно порадуются. Пускай тешутся покуда. Одно дело, брат Федор не в могилу собирается. Еще и вдругое оженитца может. А коли бы, милуй, Бог, не стало его... Все едино, не дадут нарышкинскому отродью землю во власть... Мало хто и стоит за них. Наши — горой подымутся... Народ за нас... стрельцы за нами пойдут. Василь Василич Голицын,

князь, — над всею ратью поставлен. А он ли не за нас? Свое возьмем. Ничем нам перед Натальей шею гнуть, да я... Вот не пушу да не пушу ее с отродьем на трон... И не будет того!

Такой силой, такой уверенностью звучали слова цариц, таким недобрым огнем горели ее глаза, что каждый невольно поверил бы, не только двадцатидвухлетняя девушка-царица, сама желающая того же, о чем говорила Софья.

Даже жутко немного стало Екатерине от слов сестры.

— Как же ты надумала, Софьюшка?.. Неужли?.. Грех-то ведь тяжкий... Не от одной матери, да брат же он нам... Подумай...

— Я думала. А тебе, гляди, поучитца надобно. Будет грех, так не на нас. А и то, што ты мыслишь, — ни к чему оно... И без того можно с пути поубрать, ежели кто помехой станет.

И, словно видя перед собой эту досадную помеху, Софья сильнее сдвинула свои темные, густые брови.

Федора тоже покоряла силой своего духа старшая сестра, как бы решившая заменить ему мать.

Постоянно и настойчиво твердили царю все окружающие о необходимости вступить снова в брак.

Но Федор отмалчивался больше или ссылался на траур, на свое нездоровье, на советы врачей: раньше, мол, надо окрепнуть ему, а потом думать о женитьбе.

И только Софье не возражал почти ничего. Он понимал: не мелкие, личные расчеты двигают ею, а родовая гордость. Он верил той горячей любви, которую постоянно проявляла сестра в своих заботах, в неусыпном уходе за братом во время частых недугов Федора.

И все-таки порою слова замирали на губах царицы, она прекращала уговоры, встретив робкий, как бы умоляющий взгляд брата.

Ей порой казалось, что так глядели в старину мученики, о которых она читала в разных книгах.

Новая женитьба была чем-то вроде мучительного, но неизбежного подвига. И Федор, зная всю его неизбежность, молча как бы молил:

— Потерпи немного. Дай собраться с духом... Я все сделаю для царства, для нашего рода... Но — не сейчас... Отдохнуть надо душе и телу перед новым испытанием.

Так понимала взгляды царя Софья. И она не ошибалась.

Нередко Софья толковала обо всем этом с Василием Голицыным, с которым очень подружилась за последние годы.

Умный, образованный боярин-воевода превосходил многих из окружающих его вельмож и быстро составил себе карьеру. Честолюбивый и решительный, князь сумел разгадать душу Софьи и пришел ей на помощь во всех делах и планах.

Раньше, конечно, немыслимо было никакое сближение или дружба между затворницами-царевнами и людьми даже самыми близкими к царю, кроме ближайшей родни самой царицы.

Теперь же, когда и общий ход событий, и постоянные болезни царя выбили из колеи размеренную жизнь в московских дворцах и теремах, никого не удивляло, если царевны чаще обыкновенного появлялись и на народе, и на мужской половине Кремля. Не удивляло и то, что бояре, духовные лица и даже стрелецкие головы и полуголовы появлялись в пределах теремов не только во время редких торжественных событий и выходов царских, но даже в неурочные дни, под предлогом деловых докладов, челобитья или для посещения родственников, постоянно живущих при теремах цариц и царевен.

Конечно, старухи, строгие блюстительницы древних нравов и обычаев, покачивали с сокрушением головой и потихоньку судачили между собой. Но так как все происходило в пределах приличий, они не решались даже погромче огласить свои сетования.

Так понемногу распадались запоры, наглухо замыкающие двери старого русского дворцового терема, осторожно надрывалась вдоль и поперек густая фата, закрывающая от мира лицо и душу женской половины царских дворцов.

Слабоволие, вечное нездоровье царя, родовая распря, хотя незаметно, глухо, но упорно и грозно kloкочущая в стенах дворца, яркая личность умной, настойчивой и осторожной при всем этом царевны Софьи — вот что заронило некоторым смелым, дальновидным честолюбцам мысль о новом государственном порядке, возможном на Руси.

С помощью одной из враждующих сторон — удалить другую, объявить слабоумного, но довольно креп-

кого, живучего Ивана царем по смерти Федора, жениться на одной из царевен, стать опекуном царя, посаженно-го для виду на престол... Потом постепенно приучить народ к мысли, что дети царевны-сестры могут наследовать власть после дяди... Регентство... и вдали, кто знает, может быть, по примеру Бориса Годунова, даже царские бармы... Почему бы нет?

Царство сиротеет. Умный и смелый человек разве не вправе поднять то, что может оказаться в один прекрасный день ничьим?

Только Петр мешает... Но он пока ребенок, трудно ли обойти это препятствие?

Вот какие планы в числе многих питал в душе Василий Васильевич Голицын и сошелся на них с царевной Софьей. И, как бы подготавливая почву для новых событий, для новых людей, — он со многими другими боярами уговорил царя на важный, решительный шаг. Задумано все дело было еще царем Алексеем.

Древний обычай «местничества», родового и служебного старшинства, отголосок дружинного строя, во многом вязал еще руки Московским государям и на пути их к самовластию, и при введении новых начал в народной жизни. Алексей не решился докончить дело, начатое еще кровавой рукой Ивана Грозного.

И вот при слабом, податливом Федоре недавнее, неродовитое боярство, считая, что принижение древних родов возвеличит их самих, добилось большого и важного решения. На торжественном собрании всех государственных чинов, с участием патриарха и духовных владык, 12 января 1682 года прозвучала речь Федора о вреде местничества. Тут же было составлено и подписано «соборное деяние», постановление об уничтожении местничества на Руси. Из Разрядного приказа вынесли все списки и книги, на которые опирались бояре при спорах о первенстве и о местах. Целой грудой свалили их на площади и сожгли!

Василий Голицын был одним из главнейших лиц, склонивших царя на такой решительный шаг.

Теперь призванный на совет, слушая Софью, более нетерпеливый, чем сама царевна, не связанный с Федором ни родством, ни привычкой детства, Голицын не мог разделить добрых порывов, которыми озарялась порою душа девушки, такая мужественная и непреклонная всегда.

— Што же, оно и подождать не беда, — с притворным смирением выслушав царевну, заявил князь. — Ево воля царская, што станешь делать. Мы все — рабы царя... Тут не поспоришь. Оно, скажем, и то... Завтра умри государь — и всядет на трон царевич юнейший... Матушка его царица — первой станет. Припомнит она в ту пору всем, от ково што плохое видела али к кому недружбу питает. Это одно. А другое... Нешто царям можно жить, как нам, простым людям? Над ними — милость Господня. Я — женат, нет ли, с меня не спросится. А государю Федору Алексеичу, коли суждено помереть, — он и не женатый помрет. Судил Господь ему оставить наследника царству — так и женитьба станет не на вред, а на исцеленье ему. Верить в Господа надо и нам, смердам, а царям — наипаче. На то и Божии помазанники они... По вере дано будет каждому. А царю — и поболе того... Уж коли ты сказываешь, свет государыня-царевна, — так в вере окреп государь, — по моим словам и толковала бы с ним. Вреда не будет.

Слушает вдумчиво Софья, молчит.

Ловко построенная, вкрадчивая, умная речь Голицына навела ее на новые мысли.

«Конечно, колебаться не следует. Если только все готово, надо скорее ставить последнюю ставку. Будет жив Федор, явится у него наследник — все-таки главная цель осуществится. Наталья Нарышкина со всем ее родом отойдет далеко-далеко на задний план. Она, Софья, будет первой и по близости к царю Федору, и потом, по малолетству наследника...

Если же правда, что женитьба может ускорить смерть брата... Воля Божия! Тогда...»

Софья не захотела довести до конца цепь соображений и картин, загорающихся у нее в душе.

— Добро, боярин... Твоя правда, Васильюшко. Не время ждать да откладывать. И сама потолкую с братцем, и боярыню Анну наведу. Он ее слушает... А на ком бы оженитца царю? Неужли сызнова невест собирать... да... Стоит ли? Сам сказываешь, нельзя тратить часу напрасно. Кого ж бы посватать?.. Штоб с нами царица заодно была и родня вся ее... Не скажешь ли? Может, было уж на уме у тебя...

— Думалось... Не потаю. Как ты скажешь, государыня-царевна?.. А у Апраксиных — сестрица подросла, пятнадцатый годок пошел девице. Тихая, богобоязнен-

ная девица, собой куды хороша. Ино и царь на нее поглядывал, чай, ведаешь. Ровно распуколка вешняя боярышня.

— Да уж не расписывай... Знаю ее. На моих глазах, почитай, и росла Марфуша... Не перехвали, гляди.

— Мне што... Мне она в дочки годится, — поймав на себе внимательный взгляд Софьи, заметил Голицын. — А братовья Апраксины — нам люди верные. И сам старик из наших же рук глядит... Вот чево бы лучше...

— А Языкова позабыл? Слыхать, Иван Максимыч сам присватывается к боярышне. Тоже давно знакомы они. Соседи и дружбу ведут старинную. Как он скажет?

— Што ж, што Языков? «Ау, брат», — только и скажем. Неужто царю не уступит? Мало ли боярышень на Москве. И познатнее и побогаче... Утешится.

— Да, может, князь, люба ему девица, всех дороже.

— Потерпит. Мало кому што любо. Ино дело, близок локоть, да не укусишь. Не так живи, как хочется, — почему-то со вздохом, печальным голосом произнес этот воин, такой суровый, строгий на вид, никогда почти не меняющий выражения своего красивого лица, на котором вьется почетный знак, след от вражеской сабли.

Вспыхнула и Софья. Помолчав, она только и сказала:

— Добро. Так и дело поведем. А теперя — не взыщи. К государю-брату пора. Звал он меня на богомолье с им ехать... Родителей помянуть.

— Вот и ему ты помяни, царевна, о чем мы толковали с тобой...

— Да уж сказано. Свое не забуду. С Богом, князь. Они расстались.

Решение, принятое обоими, было поддержано и остальными вожаками партии Милославских. Работа закипела.

Сумели уговорить и патриарха принять участие в благом деле.

Федор часто видал и ласкал, как сестру, как ребенка, боярышню Апраксину, веселую, красивую, пышущую здоровьем девушку.

И когда ему предложили взять ее в царицы, он не стал отговариваться долго. Покойная царица Агафья успела пробудить в душе царя чистую, теплую привязанность к себе. И даже после ее смерти Федор не мог

отрешиться от этого первого чувства, пережитого им.

Так не все ли равно, кого избрать теперь, кто займет место на троне и в терему, но не в душе царя?

Когда согласие было получено и о нем узнал Языков, он ничего не сказал. Только усмешка недобрая, как судорога, проскользнула у него по лицу.

И в тот же день, вечером, боярин-оружничий, появившись на половине царицы Натальи, долго наедине беседовал с ней.

О чем? Никто не мог узнать, хотя и проведали Милославские и Хитрово о таком необычном свидании Языкова с Нарышкиной.

Когда Богдан Матвееч Хитрово прямо задал вопрос Языкову, тот нисколько не смутился:

— Да ужли ж ты и сам не догадался, боярин? Время подошло горячее. Бог един знает, што наутро всех ждет. Заявился я к государыне-царице, ровно бы ее руку держать собираюсь. А сам повызнять надумал: што там, у Нарышкиных, деется? Што затеяно сейчас всей ихней стороною? Им тоже ведомо, что государю, тово и гляди, смертный час прискпеть может. Чай, готовят нам отпор, штобы молодшего царевича на трон посадить... Вот и толковали...

— И... што же... толковались?

— Нету покуда. Не верит мне государыня, Наталья Кирилловна. «Все-де врагом нам был. С чего дружба одолела?» — так сказывает.

— Гм, правда-то оно, правда... Умен ты, боярин. И в слове, видно, тверд. За нас стоишь, — прослушав объяснения Языкова, где правда перемешалась с ложью, проговорил Хитрово. — А ныне и больше можешь нам помочь подать. Слышно, задумал царь и женитьбы не ждать, а про всяк случай — наречи наследника, Петра-царевича. С чево — не знаю, а остыл ко мне государь. Ровно бы гневен стал. Ты у него в милости. Потолкуй о затее об новой. Да не мешкая. Ежели правда — поотговорить надо. Сказать ему... Да што тебя учить? Сам других поучишь... Как скажешь, Иван Максимыч, идешь ли на то?

Пытливо стал всматриваться Хитрово в лицо Языкову.

Тот снова и бровью не повел.

— Добро, што упредил меня. Нынче же о деле таком царя спрошу. Мой черед быть при нем...

— Ладно. Бог на помочь! Да ответ дай скорей...

— Не замедлю, боярин. Не ты ли меня и к царю приставил? Заместо отца родного мне был. Уж тебе ли я не послужу, боярин, Богдан Матвееч?

Слушает Хитрово: так правдиво и открыто звучит речь Языкова. Не может, в самом деле, быть предателем этот человек.

И приветливо распростились они.

Языков сдержал обещание, в тот же день завел разговор с Федором о разных вестях, какие ходят на Москве, особенно при дворе.

— Какие вести, Иванушка? — отрываясь от чертежа нового храма, который задумал построить, спросил царь.

— Да, слышь, што не дожидаячи радости своей государевой, венца честного, волишь меньшого царевича, Петра Алексеича, нареши наследником на престол Всероссийского царства.

— Што ж, коли бы и так? Кому оно помехой?

— Помехи никому. Лише б толков не было. А их уж не мало пошло по царству.

— Сказывай, какие еще толки там? Мне бы знать их надобно.

— Скажу, государь. Первое дело: молод царевич. Так рано не нарекали вы, государи, и сыновей, не то — братьев ваших на царство. Другое: поминают, средний брат есть у тебя, царевич Иван Алексеич. Не то, лих, одново отца, а единой и матери. Уж коли нарекать, ему первое место подобает по тебе.

— Да, слышь, хворый, почитай што благой брат Иван у меня. Кто тово не знает? Ево ли над землей поставить могу? А Петруша — гляди какой. Родитель покойный, помираяючи, его же приказывал мне наречи. Видимо, благословение Господне почиет на отроке. Кого же поставить иначе?

— И никого ставить не надобно. Земля потерпит, пока свой у тебя, государя нашево, наследник будет. А народу ж всево не втолкуешь. Скажут: «Молодшего перед старшим нарекают. Дело неспроста». И смута, гляди, настанет сызнава. Мало ль и бояр, и воевод, и люду черного, и стрельцов, кои... уж надо прямо сказать... Многим нелюбы Нарышкины. Вон сам давно ль ты Ивана Кириллыча от очей своих в опалу удалил, что озорной да гордения он... И немало недругов у них...

Земли всей не пожалеют, твоей воли не послушают, смуту заведут. Помяни мое слово... Не нарекай пока царевича. Может, оно послы помаленьку и сладится. А то... храни, Господь, и малолетнему царевичу станут зла желать. Не так, как на меня он челом тебе бил, государю... А младенцу много ли надо...

Побледнел даже Федор. Он понял, что Языков прав, хотя трудно разгадать: оберегая Петра говорит так боярин или просто хочет помешать решению царя?

— Ин правда твоя, Максимыч... Погодить с тем лучше, — наконец усталым голосом проговорил Федор.

И, очевидно желая покончить тяжелый разговор, снова погрузился в разглядывание чертежей.

Когда Иван Максимыч передал Хитрово и Ивану Милославскому решение Федора: отказаться от немедленного, всенародного признания Петра своим наследником, у обоих старых заговорщиков исчезло всякое сомнение насчет Языкова.

А Языков прямо от них прошел снова к царице Наталье и так же прямо и верно передал не только свой разговор с царем, но и всю беседу с боярами-первосоветниками.

Ни слова не сказала Наталья. Только с вопросом подняла на него свои большие, темные глаза, в которых набегали слезы.

— Што, али невдомек тебе: чего ради я так? Потерпи малость, послушай, што скажу, — все выразишь. Только ранней-то подумай: не прошу и не ищу я ничего от тебя. Они в силе. А я к тебе пришел. Неволит ли кто меня? Нет. Сердцем загорелся я против них. Мало ль девиц-боярышень на Москве, на ком бы хворого царя оженить можно? Так нет, мою суженую взяли! Я же у них в отместку много што отыму... Только лише б не сдогадались они, откуда грому ждать... Дал я тебе клятву великую и сызнава скажу: тебе послужу с твоим царевичем, не им, идолам. Да умненько надо. Научен я от Богдана, как под людей подкопы вести. Все они теперя изготовились. И Софья-царевна, и советчик ее первый, воевода преславный, Голицын-князь... И другие с ними... Пусть же думают, што все на их лад пошло. Скажу тебе тайну великую: мало жить осталось царю. Да не пугайся. Не то што изведут ево... Сам на ладан дышит. Свадьба да пиры, гляди, к худу, не к добру повершатся... Вот до той по-

ры и поберегай царевича своего. Што бы ранней царя хворого не отпели бы ево злодеи. Да с отцом патриархом столкуемся ладком. Опаслив старец не в меру. Да душой кривить не станет. Не потатчик будет злодеям, когда час придет. Слухи давно по земле идут, что Петру отец царство отказал, коли не станет царя Федора. Тогда и поглядим, што они поделают: царевны все со своим Иваном-царевичем, што и на людей мало походит?.. А двинут они стрельцов своих, так и у нас есть рать иноземная и своя, московская... Вот живу мне не быть, а им, окаянным, тебя с царевичем не выдадим!..

Теперь неподдельной, глубокой ненавистью звучал голос боярина. И Наталья невольно также доверилась ему, как сделали это и более опытные, седые интриганы дворцовые.

И только сам Языков, как бы со стороны наблюдая за собой, думал в глубине души: «Кажется, теперь мое дело крепко стоит. Кто ни станет у власти, я своего не потеряю, а еще и выгадать могу».

Успокоив царицу, прошел боярин к патриарху Иоакиму и успел уговорить осторожного, умного малоросса принять участие в делах Натальи и царевича Петра и, как бы в подтверждение своих планов, подробно перечислил и подсчитал все роты и полки, на которые могут положиться нарышкинцы и сильная кучка бояр, желающая выставить наследником царевича Петра, если Федор умрет, не имея сына.

Наступило Рождество. Миновали Святки. И Масленицу проводили в Кремле без обычного шума и веселья. Федор себя почувствовал немного лучше.

Двенадцатого февраля 1682 года патриарх в полном облачении явился в покои царя, где застал уже духовника царского, трех братьев Апраксиных, теток и старших сестер царя, главнейших первосоветников и Марфу Матвеевну Апраксину в полном царском облачении.

Красивое полудетское личико девушки пылало от волнения, от невольной гордости, а в то же время открытые, светлые глаза ее были затуманены не то грустью, не то воспоминанием о чем-то утраченном, но дорогом...

Языкова не было. Он сказался больным.

Совершив обычное наречение в царевны, патриарх благословил царскую невесту.

Монах Сильвестр Медведев, новый ученый друг Федора, заменивший скончавшегося недавно Симеона Полоцкого, в качестве придворного пиита поднес витиеватое поздравление в стихах, начертанное на пергаменте, украшенное заставками, рисунками...

Иоаким вышел затем в Переднюю палату, где были собраны все думные бояре, духовные власти, иностранные послы.

Осенив всех благословением, первосвященник объявил о желании государя вступить во вторичный брак.

— А того ради нарекли мы государыню-царевну и великую княжну Марфу Матвееву дочь Апраксиных в невесты государю, великому князю Федору Алексеевичу, самодержцу и царю всея Великия, Белыя и Малыя России. Да подаст им Господь многолетнего и благоденственного жития и чадородия на радость земле и царству.

Челом ударили бояре патриарху, а потом царю и принесли обычные подарки. Но во дворце мало кто был оставлен, вопреки обычаю.

Не было устроено предсвадебных столов. И самая свадьба, совершившаяся 15 февраля, состоялась «без всякаго чину».

Никаких торжеств не было после венчанья, которое совершил духовник Федора здесь же, в домашней, дворцовой церкви во имя Воскресения.

Как и во время свадьбы царей Михаила и Алексея, наглухо были заперты все ворота в Кремле, и только свои могли пробраться домой за его высокие стены.

А в пределы дворца — и вовсе нельзя было проникнуть без особого зова.

— Не свадьба, а похороны свершаются, — не выдержав, шепнула царевна Екатерина Софье во время большого стола.

Софья только плечом повела и кинула взгляд на сестру, словно напоминая о неуместности таких замечаний.

Но и ей самой казалось, что глубокие синие тени под глазами и землистый цвет лица служат плохим предзнаменованием для Федора.

Сам же он словно воспрянул духом. Был весел, шутил с родными, осушил два-три кубка с вином, чего обыкновенно не делал никогда.

И два ярких розовых пятна под конец пира выступили на исхудалом лице молодожена-царя, еще больше оттеняя худобу и прозрачность этих щек.

Еще не окончился пир, когда новобрачных отвели на покой, так как болезненный Федор был не привычен долго сидеть по вечерам.

Чужие тоже, посидев еще немного, откланялись и разошлись.

За столом остались только свои: тетки и сестры царя, Иван Милославский с дочерью и с женой, Анна Хитрово, двое Апраксиных, а в углу, на кресле дремала почтенная старуха Анна Ивановна, выкормившая Федора... Так и осталась она потом во дворце, не то приживалкой, не то на положении дальней родни.

Около полуночи, когда собирались уже расходиться на покой, громкий, протяжный крик донесся из опочивальни царя.

Все вздрогнули, кинулись на крик.

Навстречу им показался испуганный, бледный Федор Матвеич Апраксин, дежуривший в покое рядом с опочивальней царской.

— Лекаря, скорее! Отходит государь... — только и мог он крикнуть, а сам снова кинулся назад.

После мгновенного оцепенения все поспешили туда же, в опочивальню. Только второй Апраксин, Андрей Матвеич, бросился за лекарем, который дежурил тут же, неподалеку, ради постоянных недомоганий царя.

В опочивальне было мало свету. Пока из соседних покоев принесли огня, пока здесь зажгли все канделябры и свечи — можно было только разглядеть царя, который без движения лежал на самом краю постели.

Юная царица, обезумев от ужаса, соскочив с пуховиков, забила в угол, с распущенными чудными волосами, совсем не одетая, и только инстинктивно куталась в парчовое покрывало, брошенное ею на плечи при появлении людей.

— Водицы бы, скорее, — первая распорядилась Анна Хитрово. — Не помер он... Так это. Обмер малость... Ивановна, давай-ка уложим его повыше, — обратилась она к старухе кормилице.

И обе бережно приподняли голову Федору, уложили его повыше, поудобнее, отерли липкий, холодный пот со лба, легкую кровавую пену, выступившую на устах.

Прибежал фон Гаден и второй лекарь, Костериус.

— Зачем так тревожить и государя и себя? И разве нужно так бояться? Это же теперь бывает с государем. От сердечной тоски — обмирание. Может, вина

пил государь али настойки какой? Ему не надо... И покой теперь надо ево царскому величеству... Наутро все пройдет...

Так успокоил лекарь родных, обступивших ложе больного. А сам стал приводить в чувство Марфу Матвеевну, которая вся трепетала и билась теперь от неудержимых рыданий и рвала с себя сарафан, заботливо накиннутый на царицу рукой боярынь.

Софья глядела вокруг, слушала, что говорит врач. Но в глазах ее так и застыл один вопрос, одна мучительная мысль: «Конец скоро. Что ждет теперь ее, весь род Милославских, все русское царство, над которым словно навис какой-то мрак, насылаемый злым, прихотливым роком?..»

Несколько дней еще плохо чувствовали себя оба: и царь и царица.

Потом Федор поправился. А Марфа Матвеевна и вовсе порозовела, как раньше до свадьбы была.

Только часто выходила она из своей опочивальни с усталыми, как будто заплаканными глазами. Словно потемнела такая ясная прежде их глубокая синева.

И, безучастная ко всему, что творилось кругом, только в одном проявляла всю душу свою Марфа: в желании облегчить участь всех несчастных, о ком только могла услышать или узнать от окружающих.

Кроме обычной милостыни, которую раздает новобрачная царица, Марфа Матвеевна щедро одарила главнейшие обители московские и другие, чем-либо прославленные в молве народной. Добилась освобождения заключенных за провинности и за долги в казну государя, хлопотала за опальных.

Когда Наталья, узнав об этом, явилась к молодой царице, рассказала ей о невинности сосланного Артамона Матвеева, Марфа упростила царя. И боярину, недавно переведенному из Пустозерска в Мезень, Федор позволил поселиться в городе Лухе, лежащем в четырехстах верстах от Москвы, вернул ему разоренный, опустелый дом в столице, а взамен отнятых пожитков и вотчин пожаловал дворцовое село Ландех с деревнями и угодьями, всего в семьсот дворов.

Как только Языков доложил Наталье о такой милости Федора и добавил, что, главным образом, упростила государя молодая царица, Наталья сейчас же позвала царевича.

— Пойдем поскорее, Петруша, надо царицу Марфу Матвеевну навестить, челом ей ударить. Слышь, выручила она дедушку Артемона. Он к нам скоро с Мезени повернет. В Лухе житье ему указано. Увидишь его. Не забыл, чай.

— Где забыть, матушка. И Андрюша с дедушкой же? Правда? Я в Москву возьму его, в генералы сразу поставлю в своем полку. Я помню: он храбрый... Чай, велик ноне стал...

— Должно, што не мал... Вон ты у меня как вытянулся... А еще и десяти годков тебе нету. Андрюшеньке же нашему, гляди, семнадцать пошло... Сравнишь ли? Да не болтай зря. Принарядися ступай. Ишь, какой растрепа ты у меня...

Взгляд матери с любовью и гордостью остановился на Петре, который еще больше подрос и выровнялся за последние два года.

Тряхнув кудрявыми волосами, обняв с налету мать, царевич звонко поцеловал ее и выбежал из покоя.

Пошла и Наталья одеться понарядней, чтобы в пристойном виде явиться к молодой царице.

Марфу Матвеевну нежданные гости застали в большом просторном покое, в передних теплых сенях царского терема.

Скучно ей стало со старыми чопорными боярынями, и, окруженная молодыми боярышнями, сенными девушками, по прозвищу «игрицами», Марфа вышла в эти сени, где в ненастную и холодную пору тешились разными играми и водили хороводы царевны. Дурки, карлицы и потешные девки, наследие покойной царицы Аграфены, высыпали сюда же, но держались поодаль, ожидая приказаний государыни.

Уселась царица на обитую бархатом скамью, на качели, устроенные тут же, среди покоев, и приказала раскачивать себя и песни петь разные — протяжные, подблюдные, и простые, народные, то заунывные, то веселые, подмывающие.

Порою сама царица подхватывала знакомый напев и негромко подпевала ему. И, против воли, самые веселые песни вызывали слезы у нее на ясных, почти детских глазах.

Увидя Наталью с Петром, Марфа Матвеевна поспешила им радостно навстречу.

— Вот гости дорогие... Милости прошу в покои...

Не взыщите, што не в уборе уж я... Так вот, с санными позабавитца надумала... Пожалуй, государыня-матушка...

— И, государыня-царица, доченька моя богоданная, свет ты мой сердешный... Не труди себя... Сиди, как сидела. Забавляйся. А я вот тута присяду, погляжу, на тебя порадуюсь... Уж давно я не слыхивала голосу веселого у нас в верху, не видала лица благого, радостного. Дай на тебя полюбуюсь... Ишь, ты ровно маков цвет цветешь. Храни тебя, Господь, на многие годы... Я и ненадолго, слышь... Челом тебе добить пришла. Спасибо сказать великое, што выручила душу безвинную, боярина Артамона Сергеича. Зачтется тебе, верь, царица-доченька, радость ты моя!

Застыдилась по-детски Марфа от слов и похвал свекрови. Бросилась целовать ее, спрятала голову на груди Натальи и тихо повторяет:

— Молчи уж, матушка... Не надо... Што ж я... Не кланяйся. Мне стыдно...

— И в ноги поклонюсь вот при всех, душенька ты моя ангельская, зоренька ясная! И не за то, што родня он мне. Нет. Дело великое ты сделала. Безвинного страдальца ровно из гробу оживила, честь оберегла... Воздаст тебе Господь. Бей челом, Петруша, государыне-царице да к руке приложись.

Неловко, угловато ударил челом Петр и двинулся взять руку Марфы, чтобы поцеловать.

Но та решительно отдернула руку:

— И не дам... Што-то, братец... Так целуй, коли хочешь. А то руку. Нешто ты не брат государю-свету, господину нашему... Так и мне же братцем доводишься.

И крепко, звонко расцеловала царица красивого юношу — своего деверя.

Совсем пунцовым стал от этой неожиданной ласки царевич и еще прелестнее показался всем.

— Ой, и я бы похристосовалась с царевичем, — вдруг громко заявила одна из бойких прислужниц молодой царицы, — да уж Светла Христова Воскресенья погожу. Оно не за горами...

Сдержанный хохот прокатился среди остальных санных.

Подталкивая друг дружку, они зашептались, зашушукались невнятно и звонко в то же время, вот как камыши под ветром шепчут порою на тихом пруду.

— Будет вам, хохотушки, — стараясь принять строгий вид, приказала Марфа. — Вот мы сядем с братцем. А вы покачайте нас лучше... Да хорошенько. Можно ли, как скажешь, матушка царица, Наталья Кирилловна?

— Да коли тешит тебя — и качайся, государыня-доченька, светик ты мой. А он и рад, поди. Куды охоч на все забавы. На ученье на книжное небось не так охотитца...

И, подперев рукой подбородок, задумалась Наталья, любуясь на сына и невестку. Теперь рядом они сидели на доске и плавно подымались и опускались вместе с нею под толчками сильных девичьих рук.

И тут же снова грянули-полились звуки разудалой хоровой песни, которую оборвали было сенные с приходом Натальи и Петра.

Захваченная веселым напевом, довольная близостью такого симпатичного, красивого юноши-брата, забыла и недавнюю грусть свою молодая царица. Щебечет, болтает с Петром, то вторит звонким своим голоском общему хору...

А Наталья сидит пригорюнясь. И рада она, что не врага, а друга нашла в новой жене Федора. И горько ей, что скоро судьба подрежет все радости, каких может ждать и требовать от жизни беззаботная молодая царица, и по годам и по душе — почти еще дитя.

Умрет Федор... Что ждет Марфу?

Да тоже почти, что выпало на долю самой Натальи. Вечное одиночество, если не вражда окружающих, новых господ во дворце... И придется ей, такой юной, уйти в монастырь или затвориться в своих покоях зимой, летом — проживать где-нибудь в подгородном дворце, вот как сама Наталья проводит в Преображенском долгие летние месяцы уж шестой год подряд...

Любуется Наталья на молодую пару: на царицу-невестку, которой не минуло еще и пятнадцати, и на своего ненаглядного Петрушу, который тоже выглядит ровесником невестки, хоть и моложе он ее на целых пять лет...

А веселая песня сменяется новой, протяжной...

И в лад этой песне плавно подымается и опускается нарядная, бархатом и сукном обвитая доска качелей...

БЕЗВЛАСТНЫЕ ЦАРИ

(9 апреля 1682 — декабрь 1686)

Радостно, ярко разгоралась утренняя зорька на 9 апреля 1682 года.

Едва первые лучи солнца ударили в слюдяные оконницы домов, вся Москва зашевелилась, из посадов и ближних деревень конные, пешие и на подводах потянулись туда люди, по направлению к Кремлю, к Пожару, как звали в народе Лобную площадь.

Сегодня — Вербное Воскресенье. Народу предстоит прекрасное зрелище: сам царь совершит «вождение осляти», на котором патриарх объезжает Кремль в память вшествия Христа в Иерусалим.

Еще снега лежат кругом, на полях и особенно в лесах, подбегающих со всех сторон почти к самой столице царства. Но в городе и на посадах грязный, истоптанный снег обратился в жидкое месиво, по-вешнему парит, прелью несет от земли, большие прогалины чернеют в обширных садах и на огородах, которыми перемежаются жилые гнезда огромного человеческого поселка, раскинутого вокруг высокого Кремля.

Не сразу город принял такой прихотливый, разбросанный, обширный вид. Постепенно с веками он разрастался, захватывая в свои пределы не только ближние к кремлевским стенам пригороды, но сливаясь с посадами и слободами, с деревнями, с большими селами, которые с самого начала густым кольцом раскинулись вокруг «крепости», Кремлена-града, и городов: Китая и Белого, как назывались три части древней, в незапамятные годы основанной Москвы.

Несмотря на грязь, радуясь ясному, солнечному дню, сменившему мартовские дожди и ненастье, люди живым, шумливым роем высыпали из жилищ своих. И непрерывными многоцветными ручьями и потоками стремятся сюда, к Кремлю.

В самом Кремле, особенно на Ивановской площади и у Лобного места, уже заканчивались приготовления к торжеству, начатые ночью, задолго до рассвета.

Колодники, тюремные сидельцы метут грязные переходы и бревенчатую мостовую на всех улицах и площадях, где пройдет шествие. Лобное место покрыто красным сукном и коврами. Вокруг него кольцом расставлены стрельцы, чтобы народ очень близко не подходил, не загромождал дороги для процессии.

Между церковью Василия Блаженного и Кремлем стучат топоры, молотки, десятки плотников достраивают обширный, довольно высокий помост, откуда иностранные послы со своими семьями и иноземные торговые гости познатнее будут любоваться процессией.

Большая, «татарская» пушка, стоящая за Лобным местом, направлена жерлом прямо туда, к дороге, по которой показываются татары при набегах на Москву. Вокруг нее устроена временная деревянная решетка, покрашенная в красный цвет, и поставлен отряд пушкарей, пищальников и стрельцов.

Еще больше затей видно на Ивановской площади, куда выходят все соборы, семь лестниц от Приказов, лестница от Посольского двора и дворцовое Красное крыльцо.

По краям всей этой обширной площади расставлены «галанские и полковые» пищали, легкие орудия. Вокруг устроены резные и точеные решетки, причудливо раскрашенные в разные цвета. Пушкарские головы и пищальники с развернутыми знаменами, в цветных нарядах стоят каждый при своем оружии.

Против Посольского приказа устроен второй помост, устланный сукном. Цветные ткани и ковры свешиваются с перил на каждом из семи крылец новых Приказов, с навесов, устроенных над папертями церквей, над Красным крыльцом и над другими входами в дома и дворцы кремлевские.

Папёрть Благовещенского собора, откуда начиналось шествие, тоже устлана красным сукном, которое тянулось дорожкой и дальше, к самому Красному крыльцу, сейчас вполне оправдывающему свое название: ни одного вершка камня не было видно из-под сукна.

Еще раньше, чем толпы народа успели сплошной многоцветной стеной залить Ивановскую площадь, со-

седние улицы и переулки, разлиться целым морем на обширном пространстве у Фроловских (Спасских) ворот, — стройными рядами потянулись отряды стрельцов, пушкарей, рейтаров, иноземных ратников и заняли заранее указанные места, особенно по сторонам пути, по которому должно проходить торжественное шествие.

Развернув знамена, с барабанами, со всем ратным строем, в нарядных цветных кафтанах, каждый полк — иного цвета, стояли ряды стрельцов, представляя красивое и внушительное зрелище.

Богатые кафтаны и оружие, насеченное золотом, выделяло стольников дворцовых, стрелецких полковников, занимающих места у самых знамен.

Полукафтаны и шляпы иноземных майоров, полковников и солдат, их вооружение и выправка выделялись особым пятном на общем фоне цветистой, шумной, многокрасочной толпы.

Солнце вошло уж довольно высоко и стало пригревать толпу, одетую еще по-зимнему. Быстро пустели жбаны с квасом и другими напитками, которые ухитрялись удерживать на голове или на плече разносчики, с трудом пробираясь между тесными рядами глазющего народа.

Огромные груды и целые возы пушистой вербы, связанной пучками, приготовленные во многих местах, были живо разобраны; все запаслись ими вместо пальмовых ветвей.

Подростки и даже взрослые, пользуясь обычаем, хлестали встречных, приговаривая: «Не я бью, верба бьет... Верба-хлест, бей до слез...».

Смех, брань, шутки и переборы стоном стояли над толпой.

Особенно тесно и шумно перед Торговыми рядами, которые тянутся между Лобным местом и Неглининским монастырем, отделенные от последнего Никольской улицей.

Здесь вырос за ночь целый городок ларей, лавчонок и столиков, на которых разложены и лакомства, и мелочные товары, и съестные припасы, мелкие украшения, крестики, детские игрушки, домашняя утварь, домотканые холсты и бумажные ткани — словом, все, что могло найти сбыт у этой многотысячной шумливой толпы.

Немало также народу сгрудилось в другом конце Красной площади, у самого Фроловского моста, перекинутого через широкий проточный ров, соединяющий воды Неглинки с Москвой-рекой.

Здесь стояло здание Вивлиофики, единственного и главного склада в Москве, где каждый мог купить всякие печатные и рукописные сочинения, бывшие в обращении тогда. Но толпу, конечно, привлекали не книги.

У стен Кремля и вокруг Вивлиофики раскинулись легкие лавчонки и лари, где ярко пестрели вывешенные напоказ картинки, раскрашенные от руки красной, зеленой, голубой краской, тиснутые тоже самым простым способом, что называется, с лубка.

Но содержание этих картин, по большей части сатирического или сказочного характера, надписи к рисункам, приправленные грубой, но сильной солью, присущей народному остроумию и юмору, — вот что создавало прекрасный сбыт «лубочным» картинам у Фроловских ворот.

Гулкий, мощный удар колокола, покрывая все голоса и звуки, пронесся в высоте.

Как у одного человека, обнажились сразу все головы, замелькали руки, совершая крестное знамение. Гул и говор на мгновение затих. Только дрожали в воздухе отголоски колокольного удара, слышно было воркованье голубиных стай, ютящихся под крышами домов и колоколен, от Ногайского конного рынка доносилось ржание коней и перекличка пастухов.

За первым второй, третий удар пророкотал в высоте. Как будто звонко, протяжно вздохнула сама небесная глубина.

Полился, посыпался со всех сторон перекрестными трелями и перебоями серебристый, малиновый перезвон всех бесчисленных московских колоколен, со всех «сорока сороков» храмов первопрестольной столицы.

И, не переставая, время от времени прорезал эти задорные, веселые голоса, схожие с голосами стаи веселых детей, густой, протяжный удар «Бойца» — колокола с высокой Ивановской колокольни, как привет патриарха-великана малюткам-внучатам и правнукам.

Под гул и немолчный перезвон колоколов, под клики и приветствия многотысячной толпы показалось из Благовещенского собора давно ожидаемое шествие.

Стоящий наготове Стремянный стрелецкий полк

развернулся шпалерами от паперти до самых Фроловских ворот, по обе стороны пути, оставленного для крестного хода. Полковники и головы стрелецкие, занявшие тут же свои места, обнажили головы. Их бархатные или из объяри фerezи горели на солнце яркими пятнами, как и кафтаны из турецкой шелковой ткани. Оружие рядовых стрельцов: пищали, бердыши, чеканы — сверкали золотой насечкой. Синие суконные кафтаны и желтые сапоги ярко выделялись на красной полосе сукна, брошенного по всему пути, где должен двигаться кортеж.

Тяжелые знамена и хоругви, шитые золотом на них лики святых и орлы Византии, принятые в герб Московских царей, сверкали над головами богато разодетых в бархат и шелк стрелецких рядов.

Высыпал из собора и стал вытягиваться и строиться весь в одну ленту «выход царский и патриарший».

Впереди, по три в ряд, — нижние «чины»: жильцы дворцовые, ближние дьяки, дворяне, стряпчие, наконец, стольники и дворецкие царя и обеих цариц. За ними — думные бояре, окольные, воеводы Приказов.

На всех горели под лучами солнца богатые парчовые шубы и кафтаны, золоченое оружие, поблескивали парчовые верхушки высоких горлатных шапок.

Чаще, сильнее затрезвонили колокола, как будто хотели раздаться их бронзовые пасти и груди, готовились оторваться их тяжелые языки.

Густая кучка служилых царевичей и родни царской, высыпавшая в этот миг на паперть, раздалась, пропуская царя и патриарха.

К паперти подвели смиренного, рослого коня; на голове у него были надеты длинные «уши» из сукна, для сходства с осликом, на котором Христос вступил в Иерусалим.

Белый клубок патриарха, усыпанный крупными жемчугами, был еще украшен золотой короной, которая широким кольцом обогнула тиару Московского первосвященника. Большой золотой крест, горящий бриллиантами и сапфирами, со вложенной внутри частицей Древа Господня был у Иоакима в правой руке, вместо обычного посоха.

Боком сел он на «осля», покрытого вместо попоны дорогими шальями и мехами, и осенил благословением весь народ.

Боярин Хитрово взял шелковый повод поближе к узде. Конец его подали царю, тоже наряженному в самые лучшие ризы.

Сибирский царевич, князь Ромодановский, Иван Милославский и Языков поочередно «поддерживали», по чину, вели под руки царя.

Из-за собора выехала особая, очень широкая, большая телега, вроде помоста, на деревянных низеньких колесах, покрытая коврами и тканями.

Посредине этого движущегося помоста было укреплено довольно большое дерево, с толстыми ветвями и листьями.

Ветви его были густо увешаны яблоками, винной ягодой (фиги) и кистями сушеного винограда.

Здесь же на ветвях уселись четыре мальчика в белых стихирях, дисканты и альты из патриарших певчих. Они громко воспевали: «Осанна» — и по данному им знаку должны были раздавать фрукты, висящие на ветвях.

Колесница тронулась вперед. За ней — царь и патриарх, окруженные свитой и царевичами восточными.

Сейчас же из собора потянулся белой сверкающей лентой, в серебряных парчовых ризах весь духовный клир, с образами, с Евангелиями в тяжелых золотых «досках», с блестящими кадильницами, кидая ими клубы синеватого ароматного дыма в тихий теплый воздух, откуда он струйками подымался к синющим ясным небесам. Здесь чинно шли все митрополиты, протопопы, иереи кремлевские и наехавшие в Москву к этому торжеству.

Все семь станиц (хоров) царских и восемь станиц патриарха, в светлых нарядах, слившись в один громадный хор, выводили стройными, чистыми голосами ликующие церковные напевы под гул кремлевских колоколов.

Московские именитые «гости» (купцы) также разряженные в парчовые кафтаны и шубы, в собольих шапках, шли за духовенством.

Шествие замыкалось снова рядами стольников, дворцовых стряпчих, дворян и «верховых жильцов».

А за ними — опять ряды ратников.

Громкие приветствия, которыми встречали толпы царя и патриарха, заглушали рокот барабанов, покрывали пение многоголосого клира и гул всех московских колоколов.

Только затихли народные клики в самом Кремле, не успела голова шествия показаться из ворот на Фроловском мосту, как новые приветственные клики словно переплеснулись через высокие каменные стены, ударились в бесчисленную толпу, сгрудившуюся тут, отпрянули от этой толпы с удесyтеренной мощью и ширью и покатились дальше, дальше, вдоль берегов Неглинной и Москвы-реки, перебросились на другие ее берега и понеслись дальше над темнеющими вершинами окрестных рощ и лесов.

Около полусотни юношей из числа дворцовых «жильцов» шли впереди царя и постилали на дорогу верхние свои плащи и куски цветного сукна, по которым и ступал Федор, проводя за собою патриарха на «осляти».

Часть народа хлынула из Кремля за шествием, чтобы видеть и то, что произойдет на Красной площади.

Но стрельцы, стоящие у ворот, с невероятными усилиями погнали толпу обратно. Послышались крики, стоны, проклятья. В гуще и давке многие были сбиты с ног и измяты до полусмерти.

Счастливы, имевшие возможность взобраться на кремлевские стены, глядели сверху, как из огромной логи, на все, что происходило и в Кремле, и на Красной площади.

Такую же выгодную позицию представляла из себя колокольня Ивановская и другие. Все выступы, ведущие к семи лестницам новых Приказов, крыши соседних зданий тоже были покрыты зрителями.

Никто не вспоминал, что минет ночь — и у этих самых Приказов, на их крыльце появится дьяк, станет читать приговоры. И внизу, у этих самых лестниц, зазвищут палки и батоги, оставляя кровавые следы и полосы на спинах истязуемых бедняков, зачастую виновных только в том, что не могли откупиться от напрасного доноса, от мздоимца-судьи.

Ничего печального не вспоминал народ московский. Он забыл все обиды и притеснения, какие терпел на каждом шагу от бояр, не боявшихся кары со стороны царя, всегда — больного, безвольного, помышляющего о небе, а не о скорбной земле с теми несчастными, кто осужден жить на ней, вынося угнетение и нужду...

Ярко сияет весеннее солнышко. Звонят колокола, поют детские голоса: «Осанна... Осанна...».

Исхудалый, тщедушный, почти сгибаясь под тяжестью царских риз, идет Федор, смиренно ведя в поводу духовного владыку... Жарко, душно в короне и бармах. Лицо покраснелось. Он часто оттирает пот, выступающий у него на лбу и на шее крупными каплями.

Глядит народ — и умиление проникает в самые черствые, сухие души. Злоба тает в груди у самых несчастных, обиженных людьми и Богом бедняков.

— Ишь, какой он... царь-то, — негромко говорит товарищу какой-то мужичонко из толпы. — Тощой да неказистой... Все, слышь, хворает. А ликом, вот, ровно на иконах пишут... Очи-то, очи, погляди... Простой, видно. Боярам ли ево не обойти? Вот и дурят, окаянные... Соки из нас сосут, свою мощну рóстят... Соль, брат ты мой... Сольца, на што уж?.. А и к той ноне приступу нет. И с нее дерут, ироды...

— Со всево дерут... Да ладно. Их пора тоже не минет... А што ты про него толкуешь... — и сосед ткнул в сторону Федора, — так за то не берись, коли чего не можешь. Царь — так он знать должен, что для земли надо?.. Вон у нас толкуют: молодшего, Петра-царевича, волил покойный государь постановить на царство. Да бояре не дали... А тот, слышь, бают — куды помозговитей энтого, хоть и молодой... О-хо-хо... Грехи наши тяжкие... А што богомольный царь... Энто што же... Энто — ему же лучше. Грехи свои отмолит, в рай попадет. Чай, нам не легче от того, что богомольный он. Больше бы царскими делами занимался, и часу бы не стало на богомолье... Энто уж верно...

Какой-то юркий человечек, снующий в толпе, не столько глаза на шествие, как ловя общие речи и разговоры, стал было и тут прислушиваться к толкам двух приятелей.

Но в это самое время особое движение, крики и даже брань долетели от Фроловского моста и привлекли общее внимание.

Перед помостом, устроенным для иностранных послов, сгрудилось слишком много народу, и послы ничего не могли видеть, хотя некоторые, сидящие на конях, даже вставали на стременах.

Между тем царь остановил «осля» как раз перед этим местом и, подозревав из свиты своей главного переводчика, приказал ему что-то.

Толмач передал приказание ближайшим стрельцам,

те построились в небольшое каре и врезались в народную гущу, освобождая проход, по которому толмач и двинулся к посольскому помосту.

Развертывая каре, стрельцы успели оттеснить на довольно большом пространстве народ от помоста, и оттуда теперь было прекрасно видно всю процессию с царем и патриархом посредине.

Сейчас же все послы отвесили глубокий поклон государю. Подойдя поближе, толмач снял шляпу и отдал низкий поклон стоящим на помосте иноземцам.

— Государь, великий князь и царь всея Великия, Малыя и Белыя России, самодержец Федор Алексиевич о здравии послов и резидентов всех спрашивать изволит: каковы они во здравии своем?

Сейчас же выступил вперед польский посол, как старейший по годам, и снова отвесил поклон в сторону царя.

— Передай его величеству, что все послы и резиденты челом бьют на приветствии его царском и молят Бога: послал бы он здоровья и радостей царю и государю Московскому на многие годы.

Толмач вернулся к Федору, передал ему ответ, и шествие тронулось дальше, к Лобному месту.

Только раньше патриарх, обернувшись к Фроловским воротам, отдал поклон чудотворному образу Богоматери со Спасом, висящему над самой аркой, и сотворил краткую молитву.

На Лобном месте был совершен обряд освящения и раздачи вай.

После короткой службы, совершенной в церкви Василия Блаженного, патриарх снова воссел на «осля».

От духоты храма и тяжелых одежд теперь не только Федор, но и Иоаким изнемогал.

Выйдя на паперть, чтобы вернуться обратно в Кремль, оба они были порадованы переменой, происшедшей во время богослужения. Подул порывистый, холодный ветер. От Сокольничьей рощи показалась темная туча, стала быстро-быстро надвигаться и расти... Не успели от паперти дойти и до Фроловских ворот, как упали первые капли дождя, чаще, сильнее с каждой минутой. Ветер подул яростно, порывами... Дождь сменился серебристыми, круглыми, полуоленными снежинками, «крупой», как зовут ее... И сразу, неожиданно, надвинулась сплошная туча. Кругом по-

темнело. Крупными, влажными хлопьями посыпал густой снег...

Народные толпы быстро стали редеть. Только торжественное шествие таким же размеренным, медленным ходом продолжало подвигаться вперед.

На патриарха и на царя накинули меховые плащи. Но Федор чувствовал, что его пронизало уже холодом до костей. Ни движение, ни теплый плащ не согревали иззябшего царя, озноб и дрожь все сильнее и сильнее одолевали его.

Врачи, которым пожаловался царь на нездоровье, приказали растопить баню, чтобы Федор мог выпариться там и натереться горячительной мазью, во избежание серьезной простуды.

С тяжелой головой, с горечью во рту поднялся на другое утро Федор. Спину ломит, жар так и пышет от него.

— Полежал бы, светик, покуль полегче станет, — решила было заметить царица Марфа.

— Пустое, Марфушенька. Недосуг лежать. Страстную перемогуся, Бог даст. Светло Христово Воскресенье встречу... А то и всем будет праздник не в праздник, коли царь хворым в постелю ляжет... Сама знаешь... Да и лучше на ногах. С недугом надо не сдавать, наперекор ему идти. Тогда хворь сама слабеет. Ты, гляди, и не сказывай никому, прошу тебя... Наскучать станут. А мне тошней, как пристают ко мне...

— Да уж как твоя воля... Я молчу... Как сам знаешь, — печально ответила кроткая молодая царица.

Страстная неделя настала.

Будничная жизнь овладела Москвой. Только в храмах идут особенно долгие моления. Но торговому и трудовому люду даже помолиться порядком некогда.

Перед праздником особенно бойко идет торговля, усиленно работают всякие мастера и ремесленники.

После такого чудесного утра, как минувшее Вербное Воскресенье, завершившееся снежной бурей, погода сразу потеплела. Потянулись серенькие, туманные дни. Тучи не сбегали с неба, сея частым, мелким, совсем не весенним дождем.

Как будто убрали красивую декорацию, озаренную ярким светом, и обнажилась обычная грустная действительность.

Скинули свои нарядные, цветные кафтаны и стрельцы, стянули они пояса на темных расхожих чекменях и полукафтаньях, вздели армяки и уселись торговать в лавчонках и лавках, вместо пищали и бердыша взяв в руки аршин и весы.

Пользуясь издавна дарованными правами беспошлинного торгова, большинство служилых стрельцов, их жены и дети постарше занялись торговыми делами, сначала просто чтобы увеличить скудное казенное «жалованье», а потом взманили всех и те большие барыши, какие стало приносить новое занятие.

Торгует, молится, всякими «рукомерами» занимается московский люд. Готовится к Светлому Празднику.

Готовится к нему и царь Московский и вся Русь Федор Алексеевич. Отстаивает долгие службы, принимает патриарха и духовных властей, приказывает, какую милостыню раздавать в эти великие дни покаяния и скорби, сам ходит по колодникам, деньги, калачи им раздает, выпускает на волю кого можно...

Но на очах у окружающих тает он, как воск от пламени.

И правда: пламя постоянно горит в груди, в голове, во всем теле царя.

Врачи, видя упорное, болезненное нежелание Федора лечь в постель, стараются разными снадобьями уменьшить разрушительную лихорадку, утушить предательское, убивающее жизнь внутреннее пламя.

И после приемов разных снадобий на короткое время лучше чувствует себя больной.

Тогда он объявляет радостно:

— Вот сказывал я: перемогуся — все и пройдет. А коли слягу в постелью — не встану боле... Серцем чую, што не встану... Так уж лучше не ложитца. Рано помирать... Хошь и плохой я государь, а все же порядок при царе, какой ни на есть... Наследника нету своего... Братья?.. Один — и вовсе без разума... Петруша — куды мал... Не хотелось бы теперь помирать... Рано...

Царица Марфа начинает плакать, ничего не отвечая на такие слова.

Софья нахмуривает брови и тоже молчит. Разве скажет изредка:

— Што ж, государь-братец, коли охота тебе и свою милость печалить, и нас сокрушать, твоя воля. А мы уж сказывали твоему царскому величеству... И врачи и

прорицатели — все в одно толкуют: долгое житие суждено тебе, государю. Разве што иные... ближние недруги, Бога позабыв, извести задумают. Да авось не допустит Господь до этого.

С первой минуты, когда проявилось нездоровье царя, Софья почти не уходит из его покоев. И он рад этому. Своей духовной силой, подъемом и энергией она отрадно влияет на Федора, помогает ему справляться с собственной телесной немощью и слабостью духовной.

В одном только не сходятся они.

Стоит заговорить царю, что он хотел бы видеть своим преемником царевича Петра, как и покойный отец завещал, — Софья темнела лицом, обрывала всякий разговор, напоминая, что у Нарышкиных и так одна забота: извести его, Федора, посадить на трон Петра. Нередко после этого Софья удалялась на некоторое время к себе, в терем. Но затем — снова появлялась и ревниво следила за всем, что касалось брата: за приемом лекарств, за его сном и отдыхом, за его выходами и приемами царскими и домашними.

Как-то незаметно и окружающие привыкли, что у царя есть двойник, только в женском, пышном наряде с фатой — царица Софья.

Отлучалась порою от брата в свой терем Софья и без всякой особой причины, стоило прибежать любимой постельнице царицы, Родимице. По-настоящему звали ее Федора Семеновна. Родом хохлушка, из украинских казачек, это была хитрая, отважная бабенка. Царица, пошептавшись с Родимицей, сейчас же спешила к себе.

Здесь уже ждал ее Василий Голицын, часто заходивший к матери, боярыне Ульяне, бывшей прежде мамкой царевича Петра.

С Голицыным делилась Софья всеми думами, опасениями и надеждами своими. От него черпала советы и указания в тех случаях, когда сама не могла принять какого-нибудь важного решения.

Встревоженный встретил царицу Голицын, навестивший ее в самую Страстную Пятницу.

— Што с тобой, Василь Василич? Али беда какая? — торопливо спросила Софья, умевшая читать малейший оттенок мысли на выразительном, красивом лице князя.

— Пока — ничево. Плохого нету, да и доброго не

слыхать же. Ты лучше поведай: как царское здоровье?

Софья молча и безнадежно покачала головой.

— Так, так, — раздумчиво, негромко произнес Голицын, пощипывая и почесывая свою волнистую, выхолощенную бороду, поглаживая длинный вьющийся ус. — Так как же быть-то? Дело плохое заваривается. Как был я последний раз у государя — прямо толковал он про Петра... Ево-де на трон надо... Матвееву, слышь, милость послана. На Москву ворочается главный недруг вашего роду... Надежная опора Нарышкиных... Не нынче-завтра и сам буде здесь. Уж эта старая лиса живо дело скрутит. И помереть не даст государю — Петрушу постановит на царство. И то уж Нарышкины да все ихние мутить народ стали. Не то своих похлебников московских собирают... Из городов съезжатца к им дружки стали... По кружалам, по дворам, по торговым местам ихние люди шмыгают, вести всякие разносят... К стрельцам подбираютца... Особливо в тех полках, кои и к Милославских роду склоняютца. Деньги сулят, толки толкуют всякие: «Бояре-де, советники нонешние царские вас грабят и ворах ведомым, полковникам вашим, тысяцким и десятникам, мирволят грабить же... Налоги налагают не по приказу царскому, не по думскому решению, а по вольной своей волюшке, для своей корысти и наживы...». Вот што толкуют, оканные...

— Эки аспиды... Ну, уж коли бы только воля мне... — до боли сжав крепкие белые зубы, глубоко втиснув пальцы в ладони, злобно проговорила Софья... — А, слышь, што ж наши-то? Али не знают... Они-то што же?.. Сам-то ты как попускаешь, князь? Али не веришь: што нам — то и тебе будет? И почету и казны не пожалеем. А от Нарышкиных не то казны — казни дождешься... Сам знаешь...

— Эх, не из почету я... Тебе добра желаю... А уж ты не толкуй. Што можно, все налажено... Да, слышь, раскололся народ... Да, еще...

Досадливо дернув плечом, он не досказал.

— Што уж там?.. Не тяни. Не терплю. Што бы ни худое, да знать поскорей. Што там, сказывай?

— В полку у Грибоеда, да и в иных полках, большие нелады пошли... Сызнова челобитную сбираютца подать, вон как о Рождестве на Богдана Пыжева жалобились. Ныне, по скорби царской, смекают, не допу-

стоят их на очи к государю. Так они писать челобитную приказывают. Не нынче — так завтра и подадут...

— Пускай. Боярин Языков сызнова разберет их, как и ранней разобрал... Ково — казни предаст, ково — сошлет, иных в батоги поставит. Дружков себе, крамольник лукавый, предатель, Иуда ведомый, приготовит. От них и награду примет, как ему час придет.

— Так оно так. Да сама, царевна, ведаешь: чернь на Москве какова? Словно море бурливое. Расколышется — не уймешь в те поры. Заодно с виноватым и правых пожрет утроба их мятежная, несытая... Сами службы не правят воинской, живут-богатеют, брюхо ростят, не службу несут воинскую. А туды же: стрельцы, оборона царству!.. Эх, кабы не нужда в их теперя, я б им показал...

— То-то, боярин, што нужда... Потерпи, все своим чередом. С их бы помощью нам Нарышкиных сбыть, стаю окаянную... А тамо и на стрельцов батоги найдутся... От стрельцов от тех народ московский немало обид видел. Поболе, гляди, чем сами стрельцы неугомонные от своих начальников... Народ и натравим на их, как час придет. А теперя пускай мятутся... Мы мятеж их подхватим, на ково надо и наведем... Што задумался? Али не так я сказала? Научи сам, князенька. По-твоему сделаем.

— Чево учить? Все верно, што надумала. Так, гляди, и будет. Да жаль: много крови прольетца... Невинного люду сколько загублено будет.

— На все воля Божия, Васенька. Без воли Божией — и волос с главы не падет. Али забыл заповеди святые?

— Ох, не забыл... Не та одна заповедь... Иные тоже есть... Ты вот...

Начал Голицын и не досказал... Только в раздумье поник своей красивой головой.

Не часто, но просыпалась в нем совесть, врожденная мягкость души. И жгучее честолюбие уступало тогда место другим, более прекрасным чувствам.

Вспыхнуло яркой краской смугловатое лицо царевны. Она умела понимать мысли своего сообщника, и словно невольным укором прозвучали теперь его слова. Но самая эта нерешительность в таком отважном, умном человеке нравилась проницательной девушке.

Если князь желал быть добросовестным даже с вра-

гами, то уж в дружбе можно, конечно, положиться на него, как на каменную гору.

Теперь, желая развеять печальное, нерешительное настроение Голицына, Софья тихо, задушевно проговорила:

— Што ж, правда твоя, князенька. Тяжко и моей душе стало притворство да проницательство всякое... Сдадимся на волю Божию. Я и то надумала: не уйти ли в обитель, вон как сестра Марфуша? Видно, рука Божия на нашем роду, на Милославских, налегла. Батюшка — безгодно помер... Федор — и вовсе юным покинуть нас собирается... Иванушка-братец и живой не получше мертвого. Очами скорбен, разумом слаб... Вон, не хуже леженки того, нищего последнего, што на мосту на Неглиненском лежит, милосердием людским жив и оден... Ходить по терему — и то не ходит без помочи людской, злосчастный Иванушко... Нас, сестер-царевен, Господь здоровьем не обидел и разумом, слышь, как порой толкуют те же вороги наши. Да к чему и разум, и здоровье, и юность текучая, коли в терему век вековать суждено, по горькой доле нашей девичьей... А там, гляди, у них... у ворогов... Один царевич, да двоих стоит... И воцаритца... Матушку свою, свет Наталью Кирилловну, возвеличит... Стрешневы в гору пойдут... Особливо — Тихон-Тихонюшка, да Нарышкиных стая, да Матвеевы, да Одоевские... Перебежчик Языков да... Мало ль хто?!

Нам — все едино. Нам — дал бы Бог до смерти дожить, в скарёдном уделе дни скоротать... И забудется все скоро... И блеск царский, и думы гордые, и почет, и воля... Другим место — кто посильнее, поупрямее. Как в лесу, в бурю бывает: трухлявые вязы сразу валит... А дубки коренастые, крепкие — растут да ширятся, над истлелыми пнями только краше зеленеютца...

Едва хватило выдержки у Голицына, чтобы не перебить царевну.

Каждое слово ее, простое, безобидное на вид, острым уколом вонзалось в гордую душу князя. Ярко нарисовала Софья картину полного ничтожества, какое ожидало его, если не доведет он с другими до конца затейного давно заговора.

Слишком явно стоял Василий Васильевич на стороне Софьи и Милославских, чтобы когда-нибудь Нарышкины простили ему это.

И личная распря с Иваном Нарышкиным, таким же заносчивым, как бывал порой Голицын, только с более невоспитанным и грубым, — эта тяжелая рознь больше всего толкала князя на борьбу с родом царицы Натальи.

Уступая шурина царя, брату царицы, Голицын не раз молчаливо сносил надменное, обидное отношение к себе. Но в душе поклялся: отомстить за поруганную честь. И только при общей смуте, при бесповоротном падении Нарышкиных могла свершиться затаенная мечта. Знала и Софья о вражде князя с Иваном Кириллычем. И недаром нарисовала картину величия всего рода царицы Натальи.

Выслушав Софью, молча поднялся Голицын, тряхнул головой и почтительно поклонился царевне:

— Не обессудь, государыня, Софья Алексеевна... А не пора ли нам и оставить байки те, сказки ребяческие? За дело, поди, пора приниматца. Там, пускай грибоедовцы как хотят. А мы и в иных полках потолкуем... К Ивану Михайлычу нынче же побываю... Наших всех созовем... Ковать надо полосу, пока не остыла. Да покрепче хватим молотом... Пусть дробитца, што дряблкое... А крепкое — крепше станет.

И такое, слышь, читывал я... У латинян пишут еще: *fortes fortuna juvat*. А по-словенски, по-нашему: отваге Фортуна служит. Так отваги хватит у нас. Бог бы счастья послал... Как все покончим, в те поры и попомню я тебе, царевна, все печальные речи твои. Небось, сама посмеешься над ними. Челом тебе бью, государыня-царевна, Софья свет Алексеевна.

Сказал и быстро вышел.

«В обиду принял. Ничево... Шпору дать коню — шибче поскачет», — подумала царевна.

Подошла к окну и стала смотреть на Кремлевскую площадь, на соборы, на высокие покатые крыши дворцовых строений, на дальние улицы и переулки, какие были видны из теремного окна.

«Велика Москва. Велик весь край, царство русское. И вот она, слабая девушка, держит, хоть и потаенно, всю судьбу этого города, этого царства в своих руках».

Потаенно — пока... Но что-то говорит ей, что и открыто, при звоне всех колоколов выступит она, царевна Софья, перед народом, перед лицом всей земли... И земля признает ее повелительницей, как некогда в Ви-

зантии — Пульхерию, как Елизавету Английскую... Народ явно поклонится ей, и, не таясь, она будет держать бразды правления, всю судьбу царства в своих девических руках.

«Будет ли так? — вдруг шевельнулось сомнение в душе царевны. — Да, будет! Верю, што будет. А по вере и дается... По вере и сбудется оно».

Вслух почти повторяет гордая, властолюбивая девушка одно заветное слово:

— Будет... будет...

А сумерки все гуще и гуще ложатся на затихающий город, на кремлевские соборы, на дворцовые и теремные сады, где ветви деревьев, опущенные светло-зелеными почками, тихо шелестят и колышутся под налетами ветерка.

В ночь на 16 апреля, через силу перемогая себя, вышел Федор к пасхальной заутрени в Успенский собор. Но, стоя на царском месте, он тяжело налегал на руки Апраксиных и Одоевского с Милославским, которые поочередно поддерживали царя.

Бледнее смерти был он и потом, принимая поздравления патриарха, духовенства и бояр.

Порою невнятный стон слетал с его посинелых, пересохших губ. Жадно проглотил он глоток вина с водой из кубка, поданного догадливым Языковым.

Кое-как был dokonчен торжественный обряд, чтобы не смутить тысячи молящихся во храме, которые ловили каждое движение царя.

И из храма, внутренними переходами, почти на руках донесли Федора до его опочивальни, раздели и уложили в жару, почти в беспамятстве.

Врачи, Софья, царица Марфа и ближние бояре всю ночь попеременно стерегли больного, который то впадал в забытье, то начинал метаться, стонать и хриплым голосом бормотать невнятные слова.

Печально встречен был Светлый Праздник Возрождения в царской семье. Заливались перезвоном пасхальным колокола, горели смоляные бочки на площадях и на улицах. Ликовало от мала до велика все население Москвы. То и дело всюду слышались радостные слова:

— Христос воскрес!.. Воистину воскрес!..

И даже недруги, встречаясь, на этот миг забывали вражду, обменивались троекратным братским поцелуем.

А там, в кремлевских покоях, где так торжественно и пышно встречали всегда пасхальный рассвет, где милости и дары в Великую ночь лились рекой, — теперь было тихо, печально.

Только на черных дворах, у конюшен, в жильях дворцовой челяди горели огни, звучали струны домры и балалаек, откликалось эхо топоту пляски, громким песням и смеху...

Здесь еще не знали, как плохо царю. Здесь пока не реял своим черным крылом призрак смерти, низко-низко пролетающий в этот миг над кровлею кремлевского дворца.

Всю ночь до утра светился огонь и в покоях Натальи.

Придя от заутрени, она послала людей на половину Федора с приказанием разузнать, что с царем.

Печальные вести приносили со всех сторон к Наталье. Отпустив всех, стала она молиться. Потом сидела в кресле и думала о чем-то... И снова молилась, и так — до самого утра.

Кто знает: чего просила у Бога, о чем так упорно думала царица?

Постепенно стихала, замирала на улицах и площадях необычно шумная ночная жизнь, разошлась по своим углам толпа, встретив любимый, Великий Праздник.

Только в стрелецких людных слободах, в пяти-шести гнездах, какими широко раскинулись вокруг Кремля поселки стрельцов, кипело буйное веселье, не умолкая.

Ночная оргия перешла в буйное утреннее бесчинство. Кружали и кабаки так и не запирали своих дверей. У стрелецких сборных изб, осененных высокими деревянными вышками, каланчами, толпились стрельцы со своими женами, такими же нетрезвыми и буйными зачастую, как их мужья.

Больше всего стрелецких полков, до восьми, проживало одним ядром в Замоскворечье, на юг от Кремля.

Целые посады, потом ставшие улицами, были застроены жилищами стрельцов.

Большие богатые храмы высились тут, построенные на пожертвования разгульных, но набожных и щедрых ратников-купцов.

Вешняки, Калужская площадь у самых ворот и вся нынешняя Калужская улица были сплошь заселены стрельцами.

В Земляном городе, у Пимена, что в Воротах, у св. Сергия в Пушкарях, у Троицы, где поднялась потом Сухарева башня, в память верного Петру Сухаревского полка, наконец, у св. Николая в Воробине и за Яузой, на Чигасах — везде раскинулись стрелецкие слободы. Из Чигиринского похода двадцать две тысячи человек вернулось на Москву.

А теперь всего девятнадцать полков считалось стрелецкого войска в Москве, то есть пятнадцать тысяч мушкетов. В каждом полку находилось от восьмисот до тысячи строевых. А сто тридцать лет назад, к концу царствования Грозного, их насчитывалось меньше двух тысяч воинов.

В разных областных городах: в Астрахани, в Казани, в Курске и Владимире, в Галиче, в Белеве и других были свои стрельцы, но главную роль играло московское войско.

Всякую службу служили государям стрельцы.

Пока не явилось на Руси иностранцев, которых особенно много выписал Алексей; пока не было рейтар и пеших солдат, набранных Михаилом и сыном его, Тишайшим-царем, стрельцы отважно и стойко дрались и дома, и в чужих пределах, куда приходилось идти за царскими знаменами.

Но постепенно выправка и отвага их пропадала. Больше была им по душе домашняя, городская служба, охрана царских выходов, прислуживанье послам иноземным, сторожка на площадях, у рогаток, при городских воротах и у проезжих застав, где, кроме вороватых лихих людишек, не было других врагов, а выгоды набегало немало.

Еще больше распустилось это войско, когда, пользуясь заслуженными раньше вольностями и льготой стрелецкой, те, кто посмышленнее из них, принялись за торговое дело, втягивая понемногу и остальных товарищей в свои интересы и купецкие дела. Покупая большие, богатые лавки в гостиных рядах, стрельцы умело наживались сами и давали наживаться товарищам.

Привольная, безбедная жизнь, отсутствие постоянных учений, как это было принято в пехотных солдатских и иноземных полках, дружное, стойкое едине-

ние — все это создало особые нравы у московских стрельцов.

Чванные, наряженные как напоказ, незнакомые с новой боевой наукой, отвыкшие от железной дисциплины, обычной в регулярном войске, стрельцы являли из себя нечто среднее между преторианцами древнего мира и наемными воинами, наводнившими Европу, особенно после Тридцатилетней войны.

И раньше было трудно полковникам, пятисотенным и пятидесятиникам стрелецким справляться со своими подчиненными. А тут, после бунта Стеньки Разина, в 1672 году были свезены в Москву и причислены к городовым стрельцам все самые опасные бездельники и шатуны из астраханского войска.

Расчет на то, что московские, более спокойные, товарищи хорошо повлияют на астраханцев, не оправдался. Напротив, астраханцы быстро заразили своим вольнолюбием и бунтарством сдержанные до тех пор стрелецкие полки.

Еще при Алексее бояре, правившие Стрелецким приказом, умели кое-как справляться с этим буйным народом. А при кротком, не любящем сильных расправ Федоре князь Юрий Алексеич Долгорукий и сын его, Михаил, не знали, как и управляться с распущенными ратниками.

Только Стремянный полк, приближенный к царю, выезжавший на его охрану верхом, на конях из конюшен государя, и сохранял еще кой-какой порядок в службе. Но и он, заражаясь общим недовольством, открыто нередко роптал на обиды и притеснения, какие терпит от своих полковников и голов.

Сейчас особенно бурлили стрельцы. И Софья со всеми сторонниками и родней незаметно, но постоянно старалась подливать масла в огонь.

Не раз уже и раньше стрельцы вызывали к сборным избам тех из ближайших начальников, десятников и выборных своих, лихоимство или строгость которых не нравились толпе. Здесь, как в войсковых кругах казацких, совершался разбор дела, произносился приговор и зачастую немедленно приводился в исполнение. Если обвиненный товарищ не догадывался откупиться вовремя, его подымали на каланчу и, раскавав, кидали вниз, под крик и рев почти всегда опьяненной толпы:

— Любо!.. Любо!.. Любо!..

И оставляли искалеченного, полумертвого на земле.

Далеко разносились эти крики, нагоняя страх на соседей, мирных горожан, заставляя вздрагивать от тяжелых предчувствий даже надменных бояр в далеком Кремле.

Но явиться в буйное гнездо, покарать виновных, завести порядок и тишину — на это ни времени, ни сил не было у правителей царства, занятых сейчас иными делами и заботами.

Все Светлое Воскресенье и следующий день стрельцы провели в диком, бесшабашном веселье.

Но уже со вторника какие-то чужие люди показались на затихших улицах в стрелецких слободах, заглядывали в домишки, где мертвым сном отсыпались после кутежа стрельцы и стрельчихи.

Хозяева подымались с тяжелыми, одурелыми от похмельного угара головами, толковали с незваными, но желанными гостями, потому что те не только сулили журавлей в небе, а давали и синицу в руки...

Звонкие рублевики и полтинники вынимались из кошель и исчезали в цепких руках стрельчих, в корявых пальцах их мужей. И нисколько не удивляло хозяев, что такой тугой, тяжелый кошель появлялся порою из кармана и складок рубища какого-нибудь нищего старика или калеки-побирушки, заглянувшего в слободу под предлогом сбора милостыни.

Стрельцы знают, что во дворце, особенно в теремах у царевен и цариц, всегда призревается много нищих, юродивых и бездомных людей Христа ради. И нередко обитательницы терема, не имея возможности выходить за пределы позолоченной темницы, пользуются услугами этих убогих людей в качестве передатчиков и пособников в своих делах и сношениях с внешним миром.

Особенно часто, одевшись совсем попросту, навещала постельница Родимица двух подполковников стрелецких: Озерова и Цыклера. Первый из них считался даже женихом красивой, умной девушки. Толковала она с ними от имени царевны Софьи, сперва наедине, а потом стали звать на беседу и несколько человек староверов из выборных стрелецких, которые открыто выражали недовольство против новых порядков во дворце и слыли коноводами при всяком волнении, возникающем в буйных военных слободах, раскинутых по Замоскворечью.

Эти выборные приставы или урядники: Бориско Одинцов, Обросим Петров, Кузька Чермной, Алешка Стрижов, Никитка Гладкой и другие, в свою очередь, вербовали союзников из рядовых товарищей своих.

И заговор рос быстро, не по дням, а по часам.

Душою заговора, незримою, но властной, кроме Софьи, явился и опытный дворцовый «составщик» Иван Михайлович Милославский. Правда, напуганный недавней опалой, старый хитрец стоял как будто в стороне от всех дворцовых и стрелецких волнений и интриг. Он даже, подобно другому ученику Макиавелли — кардиналу Ришелье, вечно притворялся больным, лечил припарками и всякими мазями свои пораженные будто бы ревматизмом и подагрой ноги. Из дому почти не выезжал, открыто никого не принимал.

Зато боярыня Александра Кузьминишна с дочкой Авдотьюшкой, любимицей отца, каждый день под предлогом родства навещали царевен, теток и сестер Федора.

А по ночам преданные люди особыми путями, через садовую калитку и задними ходами, пропускали к боярину каких-то таинственных гостей, с которыми Милославский толковал порою подолгу, отпуская от себя, как только начинало светлеть темное ночное небо, предвещая близкий рассвет.

Вместе с недовольными стрельцами собирались сюда по ночам и бояре — враги Нарышкиных: оба брата Толстые, Александр Милославский, Волынский, Троекуров — словом, все те, которые при смерти Алексея не допустили сесть на трон царевича Петра.

Конечно, Нарышкины знали многое, если не все, относительно нового заговора. И у них были приняты свои меры, как это мы видели из предыдущих страниц нашей правдивой повести. Но, зная многое, никто не решался принять каких-нибудь сильных мер против открытого брожения в слободах. Первый сильный натиск на стрельцов мог явиться началом междоусобной войны. А этого опасались больше всего разжирелые, нерешительные бояре-правители. Потерять они могли очень много, не выигрывая ничего.

И потому с тупой покорностью судьбе глядели на возникающую бурю даже люди, которые искренно желали добра и царству и народу.

Общее недоверие друг к другу еще больше порожи-

дало смуты и тревоги при дворе умирающего Федора. Кто знает, может быть человек, которому надо предложить действовать против одной из партий — Милославских или Нарышкиных, — проданся и тем и другим или предаст доверчивого приятеля, только бы выслужаться у сильных людей.

А сомнения в том, что Федор умирает, не было больше ни у кого из лиц, хотя бы чем-нибудь связанных с дворцовой жизнью.

Знала это почти вся Москва, особенно хорошо знали стрельцы.

Но все-таки 23 апреля, в самое воскресенье, на Фоминой в Стрелецкий приказ явился выборный от всего стрелецкого полка с челобитной на своего полковника Семена Грибоедова.

— Никого из бояр и в Приказе нету. Нешто не знаешь, голова с мозгом, какой нынче день. Али не проспался после праздничка, — сонным, сиплым голосом проговорил «очередной», приказный дьяк Павел Языков, сам еще не пришедший в себя от недавних угощений. — Черти бы побрали вас, стрельцов. Ни часу покою нету от окаянных. Одни вы и шляетесь, времени не знаючи...

И дьяк громко, протяжно зевнул, недовольный, что разбудили его, спокойно спавшего перед этим на скамье в прохладных сенях Приказа.

— Ну, не разевай глотки, душа чернильная. Леший вскочит. Ишь, каку утробу отострил на нашей крови, на казенных харчах... Не надобно мне и бояр твоих, и тебя самото. К царю-батюшке челобитная... Веди во дворец. Там доложи боярину какому следует: допустили бы меня на очи ево государевы. Ему и подам челобитье.

Дьяк даже глаза раскрыл на такие дерзостные речи. Наконец присвистнул и заговорил:

— Ну, видимое дело: ума ты рехнувшись, миленький. Вязать тебя надо да на съезжую вашу... Не пускали бы таких по городу бегать... Коли ты видал али слышал, чтобы вашу братью так, поодиночке, и здоровые государи пускали на очи на свои? А не то к скорбному царю, что и близким видеть не мочно, — тебя, дуболома, допустить... Прочь поди и с челобитной своею. Заутра приходи, коли вправду велено тебе бумагу подать. Проваливай, слышь...

И дьяк уже собрался вернуться на свою, нагретую лежаньем, широкую скамью.

— Ой, гляди, не пожалей, што гонишь... Дело не малое... Нас, слышь, пока тысяча рук подписано. Да за нами еще не одно — десять тыщ стоит... Гляди, наутро — не поздно ли будет.

Обернулся снова дьяк.

Он знал, как и все, что большое брожение идет в стрелецких полках. Никого не устрасил пример стрельцов, жестоко наказанных знатным родичем этого самого дьяка, Иваном Максимычем Языковым, за жалобу на полковника Пыжова, поданную два месяца тому назад.

Окинув снова более внимательным взглядом необычайного челобитчика, Языков медленно протянул руку за бумагой.

— Ну, давай уж... Небось, я сам нынче ж передам боярам... Ивану Максимычу да Юрью Алексеичу, князю Долгорукому со товарищи... Може, коли и важное што, они ноне же к царю заявятца, доведут о просьбе вашей, о челобитье смиренном...

— Да уж тамо пускай сами разбирают по пятницам: смиренность али несмиренность нашло на нас... А правый суд должен нам быть произведен. Уж боле терпеть и мочи не стало... Так и скажи.

— Скажу, скажу, молодец... не знаю, как звать тебя...

Дьяк остановился, выжидая ответа.

— Зовут Зовуткой, величают Дудкой... А кода же нам ответ буде, сказывай, семя крапивное, а?..

— Отве-ет... Да хошь завтра пожалуй, господин стрелец... Коли дело твое такое неотложное, как сказываешь... да не одново тебя, а мирское, слышь, круговое ваше...

— Так, верно... всем кругом писали... Тута вот сказано... все прописано.

Он ткнул пальцем в челобитную, которую дьяк уже успел развернуть и теперь читал про себя.

— Так, так... Знакомы дела. Видать, жох у вас полковник ваш, Грибоед энтот самый. Ишь, поборы берет тяжкие...

— Совсем разорил...

— Жалованье царское не сполна выдает...

— Ворует, собака. Уж писари наши знают. Прямо

говорят: ворует, аспид, денежки наши кровные, заслуженные...

— Да еще и работать на себя задарма неволит... Ахти-хти...

— Измаял работишкой дармовой. Мало што под Москвою, в усадьбе домишко ему поставили... И сараи рубили, и черные избы... Идол, на самый праздник, на Светло Христово Воскресенье отдыху не дал. Кончай ему, да и все тут... Хуже нехристя... Поработил православных, как турецкий салтан какой. И управы на него не найдем. Погибаем от ево мучительства от немилостивого. Неистово затиранил весь полк...

— Ах, батюшки... Прямой он разбойник... И всех так, скажешь, замытарил?

— Ну, всех — не всех... Которы урядники с им, да пятидесятники, да маоры, начальство там главное — тем хорошо. И они по следам тово скареда на нашей шее уселись. А еще из наших такие, кто побогаче: вон, коли лавки в рядах имеет али на торгу. Не гляди, што рядовой стрелец, наш Грибоед с им не брезгует и хлеб-соль водит... И посулы берет немалые... Им хорошо...

— Што же, богатеи-то ваши и не подписали челобитной, видно? Не ото всево полка она подана, стало быть...

— Ну-у... Не подписали! Смели бы они... Так мы бы из них тоже кишки все повыпустили бы... От своо брата отшибатца никак не можно... Купец не купец, а родовой стрелец. Так со всеми и руку тyani... Энто у нас уже так завсегда, спокон веку... А другое сказать, сами наши богатеи и подбивали нас... Толкуют, ихня толста мошна — и то трещит от нахрапу от полковничьяво. Знаешь, дьяк, как приговорка есть: «Злющему борову — все не по норову...». Так и Грибоед наш. Нам ево не избытца добром — прогоним силом... В те поры хуже буде. Так ты и скажи...

— Ладно, ладно, скажу... Уж будь покоен, — по-вызнав все, что казалось ему интересным, торопливо ответил дьяк. — Ты с Богом поезжай себе. А я твою челобитную в ту же пору и боярам понесу казать... Как они там?..

— Ладно, неси... Пушай они. Слыхали и мы на слободах: помирает царенька, подай ему, Господи, доброе здравие... Што ж, пушай бояре примут от нас душегу-

ба, кровопивца Сеньку-полковника... Али новый царь наступит — он пущай разберет. Только бы нам Грибоеда к лешему... Так, слышь, и скажи боярам...

Тяжело взобравшись на костлявого, высокого коня, привязанного тут же, в низу лестницы, стрелец еще раз обернулся, кивнул головой в спину дьяку, который был уже у двери Приказа, выходящей на площадку, и потрусил рысцей по площади, даже затянув какую-то песенку от удовольствия, что так легко и удачно выполнил поручение товарищей...

Когда старик князь Долгорукий прочел челобитную, переданную ему в тот же день, под вечер, дьяком, он спросил:

— Што так спешно припожаловал с челобитьем, на дом ко мне заявился? Али не терпелось, пока я наутро сам загляну в Приказы?

— Не по своей воле то, боярин, князь Юрья Лексич... Я было к Ивану Максимычу ранней побывал. Он меня к тебе и послал. Уж больно грозился стрелец, всяки беды сулил, коли задержу челобитье.

— Грозил стрелец?.. Тебе?!. Да што он, шалой али пьяный? В царский Приказ заявился да с угрозою!

— Не потаю греха, так уж пьян, што и лыка не вязал! А супротив ваших боярских милостей: Ивана Максимыча, да твоей, да сына твоего Михаила Юрича, князьеньки, — такое городил и прибирал... и-и... язык не повернется и вымолвить...

— Ла-адно... Зажирели собаки стрелецкие... Мало им батогов, которыми недавно их велел потчевать... Еще прибавлю. Как звать-то нашево челобитчика? Знаешь ли? Я ему покажу...

— Не сказывал, как ево зовут... Я уж и то пытал. Сдогадался — не дал ответу. Да он наутро за ответом быть хотел...

— За ответом... Получит ответ... Ступай. Я утром буду поранней. Сам все разберу.

На другой день, хотя и рано, явился за ответом выборный стрелец, но ему пришлось недолго ждать... К приказам подъехал со своей свитой старик Долгорукий, поднялся наверх и первым делом спросил:

— А што, от грибоедовского полку посланец тут ли?

— Тут, уж давненько ждет.

— Покажите мне его!

Позвали стрельца.

С шапкой в руке, отдав поклон важному боярину, стоит выборный, ждет, что у него будут спрашивать.

— А, так энто ты тут неподобные речи в царских Приказах ведешь? — вдруг багровея от гнева, закричал князь. — Узнаешь, пройдоха, как на нас, на слуг государевых, лаю непотребную изрыгать... Эй, берите его!..

Приказные служители двинулись вперед, сразу скрутили опешившего стрельца. Он даже не стал особенно сопротивляться.

По приказу князя немедленно был написан и подписан приговор. Дьяк сел на коня. Несколько сильных приказных сторожей, обычно выполняющих приговоры над обвиненными, потащили стрельца прямо в слободу, к съезжей избе грибоедовского полка.

Ударили в било. Барабаны забили сбор. Двадцати минут не прошло — больше половины полка стояло уже на площади перед каланчой.

Дьяк, не слезая с лошади, откашлялся и стал читать приказ:

— «По указу... и прочая, мы, думной боярин, начальник-воевода Стрелецкого приказу, князь Юрий Алексеевич Долгорукий со товарищи приказали: стрельца, имярек...»

Тут дьяк остановился:

— Как звать-то тебя?

Угрюмо стоявший со связанными назад руками стрелец недоумело посмотрел на приказного.

— Ондреем зовут, по отцу Васильевым. А кличут — Шука.

— Та-ак. Выходит, карась — не дремай. Добро.

И, крикнув, дьяк продолжал читать указ, словно так и было написано в бумаге:

— «...Стрельца грибоедова полка, Ондрюшку, сына Васильева, Шуку кнутом наказать за его облыжные, наносные речи и всякую лаю, всего дать двадцать ударов. А для примеру — сечь его на полковом кругу у съезжей избы, чтобы иным было неповадно»¹.

¹ На конце кнута привязывались три ремешка из твердой, дубленой лосиной кожи, длиною в палец. После каждого удара на спине оставалась кровавая полоса.

Подписи прочел, число и год.

Говор смутного недовольства пробежал между стрельцами, кучками обступившими дьяка и связанного товарища, которого держали приказные каты-прислужники.

Но никто не решился первый сказать что-нибудь. С утра не успели еще охмелеть иные, способные на безрассудство в пьяном виде. И сильна еще была в них привычка к повиновению.

Но стоило дать самый легкий толчок — и эта напряженная толпа могла стать неукротимо опасной.

И толчок был дан.

Как только по знаку дьяка два прислужника стали валить на землю стрельца, чтобы исполнить приговор, тот вырвался у них из рук и кинулся прямо в толпу.

— Братцы... Да што же... За што же, родимые... За вас же, товарищи, за весь полк муку принимать должон... Застойте, заступите, товарищи! Вашу волю творил, подавал челобитную... А ноне даете на поругание посланца своего. Грех, товарищи... Стыд головушке, коли дадите меня на истязанье...

Кинулся на колени бедняк и, не имея возможности шевельнуть связанными руками, припадал головой к ногам стрельцов, губами ловил руки товарищей.

Дрогнула сильнее, зашевелилась, зашумела вся громада стрельцов.

Но еще не знали: что делать? Одно оставалось: прогнать дьяка с палачами. Но за этим должно последовать нечто бесповоротное. Не пройдет такая дерзость безнаказанно. Как ни слаба теперь царская власть, как ни идут вразброд бояре, вступая вечно в свару из-за доходов и выгод, в ущерб общему делу, — подобной дерзости стрельцам они не простят.

Пользуясь замешательством толпы, палачи снова схватили Щуку и стали валить его на землю, тут же срывая одежду, чтобы обнажить до пояса приговоренного к истязанию бедняка.

— Выручайте, братцы! — прерывистым, отчаянным воплем прорезал воздух Щука.

Палачи изловчились и сейчас же заглушили крик, заткнули чем-то глотку стрельцу.

Но нервы больше не могли выдержать у окружающих. Всякие благоразумные соображения были забыты.

Приземистый, широкоплечий стрелец из бывших ас-

траханцев, откинув палку, которую держал в руках, как будто она мешала ему, подскочил молча к приказным, схватил одного, оторвал от товарища, толкнул его так, что тот кубарем полетел прочь. С размаху налетел палач на другого стрельца. Тот наотмашь ударил приказного, свалил его с ног, а сам кинулся туда, где другие приказные служители стояли, не решаясь: отпустить стрельца или продолжать свое дело?

— Прочь, идола... Пока живы, уходите! — замахиваясь тяжелой палкой, крикнул второй стрелец.

И, не ожидая даже, пока палач исполнит приказание, опустил ему на голову удар, сам даже крякнув при этом:

— Э-х... Получай, аспид...

Бледные, окруженные десятками озлобленных лиц, видя над собой занесенные кулаки и палки, палачи оглянулись, ожидая, что дьяк заступится за них или скажет, что им делать. Но тот при первом же ударе, нанесенном служителю, быстро повернул своего коня, и теперь только насмешки и гиканье стрельцов неслись ему вдогонку.

Пустились следом за дьяком и все прислужники, нагнув головы, подобрав полы кафтанов, только побряхтывая при каждом ударе, который получали на бегу от кого-нибудь из стрельцов.

Расправляя затекшие, натертые веревкою руки, которые кто-то поспешил развязать узнику, Шука заговорил возбужденным, визгливым от озлобления голосом:

— Убегли, кровопийцы... Деру задали, собачьи прихвостни... За подмогой пошли. Верьте слову, братцы, — за подмогой пошли... Приведут драгун, солдатов да рейтаров... Всех нас изведут... Я сам в городе слышал: рать стрелецкую извести порешили бояре, как потачки мы им не даем. Постоим за себя, братцы... Не дадим в обиду себя, и жен, и детей своих... Начальство покличем... Куды подевались они, грабители?.. Как нужно — и нету их... Полный круг созывайте... Другие полки повестить надо. Нынче — нас обратают. А посла и за их примутся... Солдатам сказать надо. Им тоже солоно пришлось от командеров... Сами знаете: не раз подсылы были к нам и от бутырцев, и от иных полков... Бейте сбор... В колокол вдарим, братцы!.. Не дадим себя в обиду... Царь помирует. Так бояре и рады измываться

над нами. Защиты-де не сыщем. Врут! Сыщем... Звони, робя... Бей в барабаны...

И, невольно заражаясь исступленным настроением товарища, большинство стрельцов кинулось бить в набат, затрещали барабаны, зазвонили колокола на соседней колокольне.

Напрасно более опасливые и благоразумные старые стрельцы пытались осторожно уговорить толпу, остеречь ее от того, что ждет бунтовщиков в случае неудачи.

— Не слушайте их... Это — предатели, подкупни боярские... На каланчу их — да вниз кидайте... Мы тут примем окаянных... За оружие беритесь... Теперь — по домам, за мушкетами, за пиками... Всем с припасом воинском идти на сход... — так кричали зачинщики.

Напуганные угрозой, смолкли те, кто думал удержать живую лавину без вина опьянелых, обозленных людей.

Всю ночь почти длился сход грибоедовцев. Поскакали отсюда гонцы в другие полки. Везде почва была готова и товарищам обещали немедленную помощь против притеснителей: начальников и приказных бояр...

Наутро первосоветникам-боярам сообщили очень тревожную весть:

— Шпыня доносят: шестнадцать полков согласились с грибоедовскими стрельцами. Да к им же пристал солдацкий Бутырский полк... И заставили приставов своих заодно идти, а попы ихние, все больше староверские, кресты и Евангелие выносили. И на том Евангелии да на кресте все присягались: друг за дружку стоять и до самой смерти. Всех-де не казнят. Москову без стрельцов не оставят... И коли бояре полковников на правеж не поставят, иску стрелецкого не выполнят, самим надо начать расправу с кровопийцами, со мздоимцами-начальниками... А починая с первого Ивана Языкова, вора потатчика, да кончая князем Михайлой Долгоруких, што и сам правды стрельцам не дает, и отца-старика с пути сбивает...

Так доносили шпионы, подосланные в слободы, где разгорелся полный мятеж.

Теперь все полки решили составить одну общую челобитную и подать ее самому царю, выступая на это дело целым скопом. И только не решили: с оружием собираться им перед Красным крыльцом или на пер-

вый раз прийти безоружными и выслушать: какой ответ будет на челобитье?

— Как же нам теперя? — невольно бледнея от только что сообщенных вестей, спросил Языков у Долгорукого, с которым съехался утром, 25 апреля, в Стрелецком приказе. — Крутая заварилась каша. Оно, положим, и половины правды тово нету, што в жалобе на Грибоеда написано. Не хуже других полковник. Может, и пользовался малость от своих людей. Так один Бог без греха... А не миновать тово, што разобратъ придется челобитную да для успокоения горланов как-либо покарать полковника.

— Покарать... Да статочное ли дело? Будь начальник и втрое виновен, не можно по жалобе каждой холопской все творить, как они желают. Ныне — на полковника челобитная. Там — на тебя али на меня подымутся. «Не хотим-де, штобы Приказом нашим боярин Языков правил, али князь Долгорукий. Сеньку Шелудивца в начальники волим...». Так на кругу загалдят. И надо творить по-ихнему? Моя дума такая: войско собрать, которое не замутилось, окружить слободы. Попугать пищалями, две-три избы разнести ядрами. А там и крикнуть: «Несите оружие все сюды. Сдавайтесь на нашу милость». Разборку сделать как надобно. Зачинщиков — перевешать али башку долой безразумную. Ково — в колодки... Иных повыслать... Вот, останные-то ровно из шелку тканые станут. Так я мыслю.

— Да и я бы не прочь. Не пора, слышь, боярин... Сам знаешь: царь, почитай, одной ногой в гробу стоит. Помрет — кабы смута иная, куды грозней стрелецкой, не загорелася. Ратные люди в пригоде станут все до последнего... Эй, боярин, давай поступимся на короткий час. И подержим недолго полковника под стражей, а там ево на волю пустим. Стрельцов бы замирить. А пройдет смута — разочтемся с ими своим чередом. Будут помнить, как челобитные писать, властям грозить, мутить по царству.

— Што же, пусть так, коли так, — неохотно согласился гордый старик, сознавая, что Языков в данном случае прав.

Грибоедов, заглянувший тоже в Приказ, чтобы узнать, в каком положении его дело, немедленно был взят под арест. В слободу послали извещение, что жа-

лоба стрелецкая рассмотрена и полковник-лихоимец арестован.

Обрадовались, зашумели стрельцы.

— Вон, братцы, наша взяла!.. Слышали?!

— Любо!.. Пускай и от нас грабителей-полковников уберут, — отозвались на это стрельцы других полков.

И быстрее закрипели перья полковых писцов, выкладывая на бумагу все обиды, настоящие и мнимые, какие терпели ратники от жадного и распущенного начальства.

Когда же через день стрелецкая громада узнала, что Грибоедов был арестован для виду и на другое же утро потихоньку отпущен домой, озлобление, ослабевшее в этих людях, вспыхнуло с новой силой.

— Эки проныры, обманщики! Морочат только нас... Время тянут. А там — и пожалуют с иноземцами да рейтарскими полками, перебьют нас или зашлют на край света, — как бы угадывая тайные планы бояр, толковали на сходках стрельцы.

И одно общее решение постановили почти единогласно:

— Взять челобитную и к самому царю идти. Пусть он казнит и милует, пусть по правде рассудит своих верных слуг, стрельцов, с лихоимцами-начальниками да с боярами, которые тех воров покрывают, дружбы и корысти ради.

Решение состоялось 26 числа. Тут же начали подписывать челобитную, почти того же содержания, как и первая, поданная грибоедовцами.

Между прочим, там было так написано:

«На наших полковых землях, на наши деньги сборные выстроили себе полковники загородные дома; жен и детей наших посылают в деревни свои подмосковные: пруды им копай, плотины, мельницы строй, и сено коси, и дрова секи. Нас самих гонют тоже им служить, не то чистую работу делать, а иное што. И по дому, и по двору, ровно скот тяглый, работаем, что людям ратным и не подобает. И принуждают нас побоями и батожем за наш счет покупать себе цветные кафтаны с нашивками золотыми и всякими и шапки бархатные. и желтики (сапоги желтой кожи), чтоб от других богатых полков без отлички. А из государева жалованья нашево вычитают себе и хлебные запасы, и деньгами

немало. И за многие годы нам окладных и жалованных кормов не плачено. А тем воровством полковники те безмерно побогатели. А не будет нам дано суда и правды — так хоть самим доведется тех ведомых воров-лиходеев перебить, а дома их по бревну разнести».

Так заканчивалось челобитье.

Тут же был приложен список полковников, которых обвиняли стрельцы, и бесконечные списки — счет всего, что, по их расчету, недополучили челобитники из своего оклада деньгами и припасами всякими или сукном, холстами, которые тоже отпускались им по известной росписи.

Подать на другой день этой обширной челобитной не удалось.

Вечером царь отпустил Иоакима, с которым часто и подолгу толковал наедине всю эту неделю. Полежал немного спокойно и вдруг слабо застонал:

— Где Стефан? Плохо мне вдруг... темно в очах — што-й-то...

Врачи поспешили к больному.

Очевидно, очень плохо стало Федору. Силы быстро падали. Приходилось чуть не каждый час давать укрепляющие средства, чтобы сердце не остановилось. Царь то впадал в легкое забытие, то приходил в сознание и, с трудом дыша, наконец приказал:

— Всех зовите скорее... Помираю... Хочу видеть братьев... Сестер... Святителя просите. Матушку государыню... Петра... Петрушу...

Эти слова, угасающий голос, искаженное смертной тоской лицо так повлияли на царицу Марфу, которая с Софьей была в опочивальне больного, что она лишилась сознания.

Перенесли ее в соседний покой, отдали на попечение старухи Клушиной и другой постельницы, дежурившей там.

Рано на рассвете поскакали и побежали гонцы в Чудов монастырь, к патриарху, к первым боярам — во все концы московские.

Искрой пронеслась печальная весть по городу и по его посадам: «Царь умирает...»

Вместе с теми, кто был зван во дворец, толпы разного люду стали подходить, наполнять пределы Кремля, и все жадно ловили слухи, долетающие сюда из покоев царских, из царицыных теремов.

Быстро наполнилась людьми самая опочивальня Федора и соседние покои.

У постели столпилась вся семья: тетки, сестры, царица Наталья с Петром, Иван-царевич со своим дядькой, князем Петром Ивановичем Прозоровским, не отходящим никуда от питомца.

Несколько раз в течение долгой агонии, тянувшейся до четырех часов дня, Федор пытался что-то сказать, делал движение головой, слабо шевелил пальцами, словно подзывая кого-то.

Патриарх и Наталья, царевна Софья и боярин Милославский поочередно наклоняли ухо к самым губам умирающего.

Но только невнятный, прерывистый лепет срывался с этих посинелых губ.

Можно было различить отдельные слова:

— Матушка... Петруша... брата Ваню... Батюшка... царство... Петруша...

И даже от такого слабого шепота, от этих несвязных фраз силы его истощались. Он закрывал глаза, сильно вздрагивал, хрипло, тяжело дышал.

И не помогали ему самые сильные средства, какие решились дать умирающему Гаден и другой врач, чтобы поднять на короткое время силы, дать возможность хотя бы на словах объявить свою волю по царству, так как письменного завещания Федор сделать не успел, а бояре, случайно или умышленно, не торопили его с этим.

Садилось солнце, клонился к вечеру, догорал уже день так тихо, так печально, одевая пурпуром и золотом закат, затканый дымкой весенних облаков.

И тихо угас Федор, догорела молодая жизнь, все время бледным, неровным огнем пылавшая в слабом, подточенном болезнью организме.

— Душно... окошко... брата на царство... Господи... Пресвятая... Душно!..

Прозвучали последние слова... Несколько судорожных движений... И не стало на Москве царя Федора Алексеевича. А нового царя — не было названо умирающим.

Как только патриарх смежил глаза мертвецу, первой мыслью у святителя и у всех был тревожный вопрос: «Кто займет трон? Иван из рода Милославских или Петр из рода Нарышкиных?.. Или они оба вместе,

как толковали еще при жизни Федора некоторые бояре, думая этим примирить обе враждующие партии».

Первым патриарх совершил последнее целование, и, пока остальные прощались с усопшим, пока омывали и облачали тело в царские ризы, поверх савана, — Иоаким, приказав трижды ударить в «Вестник»-колокол, прошел в свою Крестовую палату, куда за ним последовало все духовенство.

Помолчав, он обратился к попам:

— Там — плач и рыдание у тела государя почившего. Но на меня Господь возложил тяжкую заботу: устроить престол и землю, чтобы не сиротело царство, как сиротеет ныне царская семья. Известно вам, отцы и братие, что остался по усопшем второй брат, и совершенного по царским звычаям возраста: ибо шесть на десять лет исполнилося Яну-царевичу. Та только ж не нарекал ево при жизни царь Хвеодор, бо ведомо нам всем: скорбен телом и духом той царевич. Другой у нас есть отпрыск древа царского. Юный Петр, коему десять лет исполняеца лишь в сем року. Но цветущего здравия, редкого разума отрок и скорее на такого похож, коему уж и шесть на десять годов минуло. А еще к тому — мать государыня, великая княгиня Наталья Кирилловна жива у сего царевича, што буде на пользу царству. Ибо может избрать благое правление, доколе отрок-царь придет в совершенные годы. Как мыслите, обсудя все сие: кого наречи на царство?

Первый по старшинству Чудовский настоятель Адриан, потом занявший и престол патриарха, опросив остальных иерархов, ответил Иоакиму так, как и можно было ожидать:

— По воле Божией надо быть царем государю, великому князю Петру Алексеевичу. Да подаст ему Господь сил и мудрости на подвиг царства.

— Аминь. Теперь прошу вас, не забывайте: глас народа — глас Божий. Я к боярам выду, к царевичам, ко всем ближним вящим людям. Али бо к себе их позову. Они пусть обсудят и решат. А вы — грядите на дворы дворцовые и на площади кремлевские, где уж собрался народ. И еще собирайте. Пусть станут на обычном месте все: от гостей и гостиных черных сотен люди, и от купцов, и от разных чинов, и от стрелецких слобожан, и от слобод хамовных — кадашевских и иных... Единым словом — ото всево люду московского

штоб стали лучшие люди... И скажите им, как вам Господь на ум послал избрати. И выйду я, вопрошу их: ково они нарекут? Чин надо исполнить всенародный, штобы потом помехи и неладов не было на царстве, ково ни укажет нам Господь. Воистину — помазанник земли и Бога будет той избранный... Идите.

Разошлись по всем площадям иереи, стали на крыльце дворцовом владыки, послали бирючей: кликать и звать народ к Красному крыльцу.

Скоро пройти уж нельзя было от толпы.

И духовенство пересказывало народу, что им говорил Иоаким. Повестило, что ими, духовными лицами, избран Петр, один, без Иоанна, так как последний здоровьем слаб.

— Выйдет святейший патриарх, вас, люди московские, большие и малые, пытаться станет: ково хотите на царство? Дайте ответ по душе, как Бог вас наставит...

Так заключили свои речи попы.

Как рокот волны или далекого грома, имя Петра прокатилось по толпе.

Поднялись было отдельные голоса:

— Ивана бы... Старшой тот царевич...

— Обоим бы государить... Оно бы лучше...

Но этих несогласных с общей волей вынуждали молчать.

В то же время патриарх прошел снова к царевичам, к боярам-первосоветникам, к думским и ратным, служилым людям.

Здесь явно обозначилось два течения.

Друзья Милославских с отчаяньем видели, что власть уходит из рук. Стрельцы, еще не подготовленные к делу, сейчас заняты личными вопросами. Партия родовитых бояр, иноземные войска, влиятельное поместное дворянство, подчиняясь авторитету патриарха, его выбору, о котором узнали сейчас же во дворце, решились стоять за Петра.

Ближайшие к Нарышкиным лица даже явились сюда с кольчугами под шелковыми кафтанами, с оружием, спрятанным под одеждой, готовые на смертельный бой, только бы отстоять свое дело.

И когда патриарх, повторив почти все те же доводы, какие приводил попам, задал вопрос:

— Государи-царевичи, думные бояре, окольничьи, воеводы, служилые и «верховые» люди, Христом закли-

наю вас Распятым, по чистой совести скажите: ково на царство волите?..

— Петра... Царевича Петра Алексеича... Ево государем, — так почти единодушно ответили все бояре, наполнявшие обширный передний покой дворца и сени перед этим покоем...

Как и в народе, так и здесь — один, два голоса не смело прозвучали в разрез другим сотням голосов:

— Ивана Алексеича на царство. Ево волим... Старшова царевича, роду Милославских... Единоутробнова почившему государю...

Окриком, бранью были встречены эти слова.

Но Иоаким усмирил бояр из партии Нарышкиных, которые уже собирались кинуться на расправу с смельчаками:

— Стойте, чада мои! Господним именем молю вас: воздержитесь от насилья. Здесь — вольно каждому свое слово сказать. Тем святее и тверже будет общее избрание ваше. Пусть выступит, хто казав, шо не Петра на царство. Пусть изложит мнение свое.

Из толпы недругов Нарышкиных, очевидно ободряемый своими, вышел простой, небогатый дворянин Максим Исаич Сумбулов и торопливо, запинаясь от волнения, заговорил:

— А как я помышляю: царевичу Иоанну Алексеичу, как он старший есть и летами совершен, и подобает быть единым государем, царем-самодержцем и всея Руси...

Сказал и умолк. А по лицу, по лбу так и выступила испарина.

Понимает захудалый дворянчик, что сильные покровители выставили его застрельщиком, хотят посмотреть: не пристанет ли еще кто к этому заявлению...

Но неодобрительный гул был ответом на быструю, сбивчивую речь Сумбулова.

Старец Иоаким добродушно улыбнулся, погладил свою редковатую бороду и начал наставительно и кротко:

— Чадо мое! Не ведаю, как звати тебя, как величати... Почтено есть, что старость чтить и ей первенство желаешь. Но спрошу я тебя: слыхал ли, што тут мною объявлено было о двух царевичах? И еще спрошу: вот два древа — рослое, но бесплодное, ветла али вяз там подорожный... А вот — невеликая вишенка, юная, кудрявая, вся не токмо цветом, но и плодами обремененная. Што изберешь? Ково из двух почтишь... то ли

древо, што старей и без пользы, или плодовитое, хотя и юное? Тако и оба те брата-царевичи. И снова пытаю тебя: ково изберешь?

— А как я помышляю: царевичу Иоанну Алексеичу, как он старший есть и летами совершен, и подобает быть единым государем всея Руси, — только и мог повторить, как заученный урок, совершенно обескураженный Сумбулов.

Но его уж и слушать не стали.

Патриарху со всех сторон кричали:

— Петра... Ево, вот ево... Царевича Петра на царство!

И все глаза и руки обратились к Петру, которого сторонники догадались в эту минуту вывести из спальни почившего брата.

Милославские с друзьями пытались было заговорить. Но Иоаким поспешно возгласил:

— Аминь, и я реку, как уж единожды сказал. Теперь еще народ испытать надо. Народа воля повершит наш выбор. Как Москва желает, так и мы сотворим. Идемте, царевичи, князья и бояре... А ты, государь-царевич, тут помедли с государыней-матушкой да с присными твоими. Я позову, как надо будет.

Петр и вся семья Нарышкиных остались в палате, а патриарх, окруженный всеми боярами, властями, вышел на площадь, что у церкви Нерукотворенного Спаса за оградой.

Едва задал Иоаким свой вопрос, одним кликом, одним именем ответила многоголовая, густая толпа:

— Петра на царство... Хотим царевича Петра!..

— Единого его ли? Или оба да обще царствуют, с братом Яном Алексеичем? — для большей ясности повторил вопрос патриарх, твердо уверенный в том, как ответит народ, заранее умно подогретый и настроенный посланцами самого патриарха и Нарышкиных.

— Петра одново... Ему одному государем быть... Не надо Ивана... Петра на царство!..

И без конца гремел, повторялся этот же народный приказ...

— Так буде воля Божия!.. Иду нарекать царя. А вы все, и простые люди, и ратные, идите во храмы кремлевские. Там все приуготовано. Примите присягу царю и государю, великому князю Петру Алексеичу, самодержцу всея Великия, Малыя и Белыя России. Аминь... Да живет на многие лета!..

— На многие ле-ееета...

Восторженный клич потряс окна дворца и долетел до царевичей и царевен, до семьи Нарышкиных, до всего гнезда Милославских, которые здесь в одном покое стояли и ждали: чем разрешит судьба их многолетний спор?

Услышав эти крики, вздрогнула, кверху вскинула головой царица Софья и вышла из покоя, а за ней и все царевны, старшие и меньшие.

Радостью засветилось лицо Натальи, когда она с молчаливым благословеньем опустила руки на голову царевича-сына, в этот самый миг призванного на престол волею народа и неба.

Вернулся патриарх, с ним вместе все прошли в Крестовую палату. Грянул хор: «Аксиос...», «Осанна!».

И совершилось наречение на царство царя Петра Алексеевича, первого Императора и Великого в грядущем...

Всю ночь толпы народа, переходя из одного собора в другой, совершали поклонение перед телом усопшего Федора и присягали новому царю-отроку, Петру Алексеичу и всему роду его. Везде на посадах, в стрелецких слободах, на окраинах столицы, как и в Кремле, разосланные гонцы собирали стрельцов и народ во храмы — и все приносили присягу новому государю, а попы служили панихиды по усопшем Федоре.

Крупными быстрыми шагами, совсем не по-девичьи, ходит взад и вперед по своему покою царица Софья.

Остальные сестры уселись тут же, теснятся на скамье друг к другу, словно опасаясь чего-то или взаимно защищая одна другую.

Самая старшая, Евдокия, которой пошел тридцать третий год, — рыхлая, почти совсем увядшая, сидит в углу, прислонясь к стене, уронив на колени пухлые, белые, унизанные перстнями руки, и тупо глядит перед собой глазами, без выражения, словно и не видит ничего, — ни Софьи, мятущейся по тесному покою, ни сестер Марфы, Марии и Федосьи, прижавшихся к ней с обеих сторон.

Порою слезы набегают на глаза царице, собираются в этих неподвижно уставленных, маленьких глазках, выкатываются из-под обрюзглых век и падают, скатываясь по щекам, на высокую, ожирелую, медленно вздымающуюся грудь.

Екатерина, самая миловидная из сестер, но тоже тучная, двадцатичетырехлетняя девушка, кажется много старше. Она сидит немного в стороне, облокотясь на стол, и перелистывает большой том: «Символ Веры», сочинение Симеона Полоцкого, на первом листе которого красивым, четким почерком, с разноцветными украшениями было написано посвящение от автора царевне Софье.

Придвинув поближе канделябр со свечами, слабо освещающий покой, довольно медленно разбирает царевна писанные строки, испещренные замысловатыми завитушками и росчерками искусного каллиграфа.

Тоскливые думы одолевают Екатерину, как и остальных царевен. Но она не любит печального, грустного в жизни. И чтобы отогнать черные мысли, вчитывается девушка в давно знакомые ей, размеренные строки, которыми как-то не интересовалась раньше:

О, благороднейшая царевна София.
Ищещи премудрости выну (непрестанно) небесные.
По имени тому (Мудрость) жизнь свою ведеши,
Мудрая глаголеши, мудрая дееши.
Ты церковны книги обыкла читати,
В отеческих свитцах мудрости искати...

Дальше пиит говорит, как царевна, узнав о новой книге Симеона, «возжелала сама ее созерцати и, еще в черни бывшу, прилежно читати»... И как ей понравилась книга, почему и приказала переписать сочинение начисто, как его поднес Софье Полоцкий. Вместе с книгой — и себя поручает он вниманию и милостям царевны и кончает льстивой, витиеватою похвалой:

Мудрейшая ты в девах, убо подобает,
Да светильник сердца твоего светлее сияет:
Обилуя елеем милости к убогим,
Сию спряжа доброту к иным твоим многим.
Но и сопрягла еси, ибо сребро, злато —
Все обратила еси милостивне на то,
Да нищим расточиши, инокам даеши,
Молишь о отце твоём теплых требуеши.
И яз грешный многажды сподобился взяти,
Юже ты милостыню vele щедро дати...

Почти вслух дочитывает Екатерина напыщенную оду, а сама думает: «Вот какие люди хвалили сестру. Умела же добиться. И все мы ей верили, что сделает

она по-своему, не пустит на трон отродье Нарышкиной... А тут...»

И темной, беспросветной тучей рисуется ей будущая жизнь, какая предстоит всем им, сестрам-царевнам. Так же заглохнут, завянут они, как их старухи тетки, вековые девули, больные, обезличенные, вздорные, доживающие век в молитве, в постах, в среде своих сенных девок, шутих, дурак и юродивых...

Не в такой ясной, отчетливой форме, но эти мысли теснятся в душе царевны.

И свою тоску, свое предчувствие печального будущего она связывает только с сестрой Софьей, ее винит во всем. Уж если ей все верили, она должна была дойти до цели, не останавливаясь ни перед чем... Мало ли есть средств? Можно проникнуть и в терем Натальи, и в покои Петра... Не бессмертные же они... Грех, правда, великий грех... Так всякий грех замолить можно. И, наконец, расплата за грех еще не скоро будет, там, в иной жизни. А прожить так, как теперь, придется много лет... Это же хуже ада... И во всем — Софья виновата...

А Софья, которая думает почти то же, что и сестра, и тоже винит себя теперь в нерешительности, молча шагает мимо сестер и только сильнее сжимает, ломает себе пальцы; порой — подносит их к губам, схватывает зубами и зажимает почти до крови, чтобы не дать вырваться бешеному, злобному рыданью, подступающему к самому горлу, от которого грудь так и ходит ходунгом.

За дверью слышались шаги и голоса.

Вздروгнули царевны. Неужели это идут за ними от Нарышкиных? Узнали, конечно, о сношениях со стрельцами, с боярами. И, пользуясь удачей, властью, попавшей к ним в руки, отвезут всех в монастырь, заставят насильно постричься...

Это опасение сразу охватило всех сестер. Шесть сердец забилося с тревогой и страхом, широко раскрылось шесть пар глаз.

Софья остановилась, Екатерина даже книгу уронила, вздрогнув. Остальные — застыли на своих местах.

Но сейчас же прозвучал знакомый голос Анны Хитрово, творящей входную молитву. Вошла она и Иван Милославский.

Пока вошедшие закрывали за собою невысокую тя-

желую дверь, в полуосвещенной комнате рядом обрисовались еще и другие фигуры, женские и мужские. Но те остались за порогом.

— Што пригорюнились, касатки мои, царевны-государыни? Али жалко брата-государя, в Бозе почившего Федора, света нашего Алексеевича? — запричитала протяжным, плаксивым голосом Хитрово. — Смирение подобает во скорбях. Не тужите, не печальте душеньку святую, новопреставленную. Чай, ведаете, до сорочин до самых круг нас летает чистая душенька. Скорбь вашу видит — и сама скорбить почнет... Не надо. Божья воля творитца. Грех роптать на нее. Горе-то — поручь с радостью шествует. Вот новый государь у нас есть... Юный царь Петр Алексеич. Только што, Господь привел, здоровали мы ево, красавчика милова, на царстве. А там, слышь, толкуют: вам, государыни, и поспеть не довелось челом ударить брату государю на ево новом царстве. Я сказываю: в горести по брате, в слезах царевны-государыни... Може, пошли себя обрядить: достойно бы, с ясным лицом, не в обыденном наряде государю бы кланятца. А злые люди зло и толкуют. «Гордени-де царевны... Не по сердцу им, што их единоутробный брат Иван не воцарился... И ушли потому...». Эки люди завистники. Адовы смутители. Ссорить бы им только родных, смуту заводить в семье царской... Ну слыханное ли дело? Как скажешь, Софьюшка? Ты у нас — самая разумница слывешь. Такое делать и говорить можно ли?.. На рожон чево прати, коли не мочно ево сломати. Верно ли?..

Софья, как и все царевны, хорошо поняла смысл причитаний Хитрово. Они ясно сознавали, что поступили неосторожно. И за это были наказаны минутою панического страха, сейчас пережитою сестрами.

Кроме Софьи — остальные царевны поспешно двинулись к дверям.

— Ахти мне... Правда твоя, Петровна... Наряд скорее бы сменить... Идем, сестрички, поклонимся... Воздадим «Кесарево — Кесареви», — первая откликнулась Евдокия.

Но Софья, сделав движение, как бы желая удержать сестер, заговорила напряженным, нервным голосом:

— Поспеем, куды спешить. Минули годы наши, штобы в жмурки играть. И там знают: каково легко

нам челом им добить?.. И нам ведомо: милее было бы роденьке нашей царской и вовсе нас не видать, ничем челобитья примать наши... Не из камня мы тесанные, не малеванные. Люди живые, душа у нас... Куклу вон ребячью за тесьму дерни — она руками замашет, ногами запляшет... Али и нас ты, Петровна, так наладить собираешься?.. Пожди, поклонимся идолам... В себя дай прийти. Скажи вот лучше, старая ты, разумная... И ты, дядя... Правда есть ли на земле? Закон людской да Божий не то подлым людям, черни всей, а и нам, царям, вам, боярам, исполнять надо ли? А закон што говорит?.. Молодшему поперед старшова на трон сесть — вместе ли то? Собрались горла широкие перед Красным крыльцом, крикнули: «Петра волим царем...». Што ж, он и царь?! А крикнули б они: «Тереньку-конюха царем...»? Так и сотворить надо боярству всему московскому, преславному, патриарху и клиру духовному, пресветлому?.. Скажи, боярыня?.. Ответ дай, дядя!

Злобой, негодованием горели глаза девушки. Она выкрикивала каждое слово, так что все было слышно в соседнем покое...

— Нишкни ты... Там чужих много, — прошептала Хитрово, поплотнее прикрывая дверь и опуская суконную портьеру.

— Нешто же можно государя-брата единокровного к конюху Тереньке приравнять? — только и нашелся возразить царевне Милославский, недоуменно разводя руками.

Софья ничего не возразила больше. Выкрикнув все, что накопилось у нее в груди, она сразу ослабела, рыданья, которые долго накалились и рвались наружу, так и хлынули потоком.

— Петровна, милая... Да как же... Да можно ли... Где же правда?.. — с плачем принякая на плечо к старухе, запричитала Софья. И рыданья долго колотили ее, как в лихорадке, долго лились давно не выплаканные слезы, пока царевна не стала постепенно затихать.

Хитрово даже не пыталась словами утешить это бурное горе, этот неукротимый взрыв отчаянья. Она только отирала, как могла, глаза и щеки девушке, залитые слезами, и порой тихо проводила рукой по волосам, не то приводя в порядок их разметавшиеся пряди, не то с любовной старушечьей лаской.

Милославский, тоже молчавший, пока рыдала

Софья, подошел к ней поближе, когда рыдания стали умолкать.

— Слышь, Софьюшка... Нишкни... Послушай меня, девушка... Пождать — не совсем отменить. А и так бывает: ныне ликует, а наутро тоскует... Слышь, заспой свою душеньку горячую, неоглядчивую... Наше нас не минет, а ворог сгинет... Верь ты слову моему. Али уж и розум затмился у моей Софиюшки?.. Помни, как звать-то тебя... Мудрость... А ты причитаешь в запале, слезы точишь без толку... Всему пора. Вон, настанет утро. Понесут государя хоронить — и вопи, што вздумаешь... Сестра брата хоронит, нихто не осудит... А но не — помолчи... Только вот помяни меня и слова мои: трех деньков не минет — может, иные хто волком взвоют... Потерпи. А на поклон государю пойти — это надобно. Может, и недолго ему государить... А все чинчином выполнить надо... Иди, девушка. Сестер веи и сама ступай...

— Правду сказывают тебе, государыня-царевна, родимица ты моя, — вдруг прозвучал за спиной Софьи чей-то женский голос. — Надо челом ударить государю... Штобы в людях толков лишних не было...

Все оглянулись в испуге.

Говорила спальница Софьи, любимая подруга и наперсница, пресловутая Федосья Семеновна, незаметно для всех вошедшая в покой во время рыданий царевны.

— Ух, напужала даже. Откуда ты? — спросила хохлушку Хитрово.

— Где была — там нету... Посля скажу... А лышень, родимица, государыня ты моя, добре казали их мосць. — Бабенка кивнула на Милославского. — Недолго ждаты... Таган кипит. Скоро и пину сниматы... Идить же государыня-царевна, родимица ты моя...

— Правда? — с загоровшейся порывистой надеждой, вставая и овладевая собой, спросила царевна. — Добро. И то правда, с чего нашло на меня?.. Не ушло наше дело... Поглядим, што потом Бог пошлет... И нынче бы, не вмешайся старец-святитель... Нет, Аким-то наш... Аким простота. Кир-патриарх блаженный... Лукавый старик, хохол... Не ждал нихто от нево прыти такой...

— Ужли так и не ждали?.. Не зря же усопший все с им глаз на глаз беседу вел...

— Беседу... У брата одна беседа была вечно: о души своей спасении... Вот и думалось, исповедует старец брата, грехи с него сымает, каких и не творил он... А вышло...

— Ничево не вышло, верь, Софьюшка. Што мы выведем, то и выйдет... Ну, буде. Не мешкай. Эй ты, родимица... Зови сенных, ково там. Принарядить царевен надо. И с Богом идите... Не спят, поди, тамо...

— Куды спать... В единый миг в уборе выйдем... Уж поглядишь, боярин... Ступай, не мешай нам...

И Хитрово, проводив Милославского, с помощью Родимицы и других прислужниц быстро привела в порядок царевен.

Было около полуночи. Палата, переполненная весь вечер всякого звания и чина людьми, стала пустеть. Не только Наталья сидела смертельно измученная, даже крепкий, живой отрок-царь едва мог заставить себя прямо сидеть и принимать поздравления, держа руку на поручне трона для обычного целования. Глаза у Петра посоловели, личико побледнело. Он подавлял зевоту и мечтал, как сладко будет протянуться в своей постельке, в которую еще никогда не укладывался так поздно, разве кроме пасхальных ночей.

Но тогда в воздухе веяло весной. Он высыпался с вечера и уходил на всюнощную бодрый, ликующий... В храме стоял и молился, а не вынужден был сидеть, как теперь, целые часы неподвижно, кланяясь каждому поздравителю, отвечая хоть словом на поздравления более знатных и почтенных царевичей, бояр, воевод и князей...

Борис Голицын, Родион Матвеев и Тихон Никитыч Стрешневы стараются по возможности облегчить своему питомцу первое всенародное выполнение царских обязанностей, нелегких даже для взрослого человека, не только для резвого мальчика, каким был Петр.

Во время коротких перерывов между поздравлениями они оттирают лоб, лицо и шею мальчику влажным холстом, дают ему пить, негромко повторяя:

— Уж и как любо глядеть нам на тебя, государь. И где ты выучился так все говорить и делать складно... Вон матушка государыня души не чует от радости, видя такова сына-государя... Потерпи еще малость... Скоро и конец... Не три глазки... Да не усни, гляди. А то зазорно. Скажут люди: на трон посадили государя, а он и уснул, ровно дитя в колыбели...

— Ну, где уснуть, — отвечает Петр.

И правда, глаза его, потускнелые было, сразу загорелись от похвал дядек, от сознания, что мать может гордиться им.

И величаво, как это делал когда-то отец, кивает боярам мальчик-царь. Дает руку целовать, приветливо говорит:

— Благодарствую на здорованьи. Пусть Господь пошлет мне — сил на царстве, тебе, боярин, — служить и прямить нам, государю и всему роду нашему.

Умиляются люди:

— Уж и разумен же отрок-государь. Иному старому так не сказать, как он подберет. Благодать Божия над отроком.

И сразу встревоженным, подозрительным взглядом окинул Петр группу, которая оказалась в палате.

По три в ряд вошли все старшие его сестры, сопровождаемые несколькими ближними боярынями, и приблизились к месту, где сидел мальчик.

— Поздравляю тебя, государь-братец, Петрушенька, на государстве твоим самодержавном на многая лета, — первая по старшинству подошла Евдокия и склонилась к руке брата, чтобы поцеловать ее по обычаю.

Но Петр весь вспыхнул и, слегка заикаясь, как это бывало с ним в минуты смущенья, сказал:

— Благодарствуй, сестрица-душенька... Дай, поцелуемся.

И вместо обрядового лобзанья в лоб с теплым, братским поцелуем коснулся ее бледных, полных губ.

Марфа затем подошла. За ней настал черед Софье. Но царевна незаметно отступила, и выдвинулась на очередь Екатерина. С нею, с Марией и Федосьей поцеловался Петр, но царевны все-таки приложились и к руке брата-царя.

Когда уж все пять сестер отступили от трона и стали отдавать поклоны царице-мачехе, Наталье, подошла к трону Софья.

Все насторожились, ожидая чего-то.

Занялся дух и у мальчика-царя.

Странное ощущение испытывал он сейчас. В нем проснулась способность не то читать в чужой душе, не то переживать те самые настроения, какие испытывают окружающие мальчика люди.

Дух перехватило у Петра. Холодок побежал по спине, как бывает, когда глядишь вниз с высокой колокольни или предчувствуешь скрытую опасность. Так, должно быть, бывает на поле настоящих боев, а не тех потешных сражений, какие устраивает мальчик у себя в Преображенском порой. Врага почуял перед собой Петр. И это было тем страшнее, тем тяжелее мальчику, что этот непримиримый враг — родная сестра. Все говорит, что не обманывает его догадка. Красные, воспаленные от слез глаза горят холодной, немою ненавистью, и даже не пытается скрыть царевна выражения своих глаз, не опускает их перед внимательным взором прозорливого ребенка.

Как из камня вытесанное лицо, сжатые губы, напряженный постанов головы, опущенные вниз и плотно прижатые к телу руки со стиснутыми пальцами — все это напоминает хищного зверя, которому только мешает что-то броситься на врага.

И против воли — темное, злое враждебное чувство просыпается в душе ребенка. Он весь насторожился, как бы готовясь отразить вражеское нападение. Но в то же время ему невыразимо жаль сестры. Он как будто переживает все унижение, всю муку зависти и боль раздавленной гордой души, какая выглядывает из воспаленных, наплаканных глаз царевны. Он даже оправдывает ее ненависть и вражду по отношению к себе самому.

Ребенок годами, но вдумчивый и чуткий, Петр давно на собственном опыте понял, как тяжело переносить унижение, заслуженное или незаслуженное — все равно.

А теперь, с возвеличением его рода, рода Нарышкиных, неизбежно падет и будет унижен род Милославских... Только царь Алексей при жизни и мог кое-как сглаживать роковую рознь. При Федоре — страдали Нарышкины, страдал он сам, Петр. И за себя, и больше всего — за мать, за бабушку Анну Леонтьевну, за дедушку Кирилла, за другого деда, Артамона Матвеева.

Всех теперь он возвеличит. Постарается, чтобы они забыли печальные дни унижений и гнета. И, разумеется, все это будет неизбежно куплено падением Милославских, обезличением этих самых сестер, особенно — Софьи, игравшей такую большую роль при Федоре.

Вот почему, сознавая, какой опасный враг стоит перед ним, мальчик в то же время жалеет, любит... да, любит, несмотря ни на что, эту надменную гордую девушку, стоящую перед ним, царем, не с притворным смиреньем других сестер, а с немым, но открытым, гордым вызовом.

Эта отвага, этот открытый вызов — по душе Петру, полному такой же гордой и безрассудной отваги. Он ценит ее в девушке, в царевне и чувствует, что, даже враждуя, Софья остается ему более близкой, родной по душе, чем остальные, неяркие, заглохшие в терему царевны-сестры...

Ждет юный царь: что скажет сестра? Наверное, что-нибудь особенное, не тот заученный привет, какой он слышал сегодня из сотен и сотен уст... Важное что-нибудь, такое, что проникнет в самую глубину сознания и заставит дать ответ из глубины его... И боится больше всего мальчик, что не найдет настоящего ответа, не подберет слов, таких же режущих и важных, тяжело-звучных, какие сейчас вот произнесет ученая, мудрая старшая сестра.

И сразу для всех станет ясно: не зря добивалась царевна поставления царем Ивана, слабоумного, больного, вместо которого, конечно, правила бы царством она, Софья. Увидят все, что рано было отдать трон ребенку, за которого другие должны говорить «да» и «нет»...

Боится всего этого Петр. До лихорадочной дрожи, до скрытого трепета боится.

И потемнели его большие блестящие глаза. Как мрамор, побледнело лицо. Губы, нежные, полные, сжались так же сильно, как и у царевны. И, всегда не похожие, они оба стали походить лицом друг на друга, эта некрасивая, чересчур тучная, начинающая расплываться двадцатипятилетняя девушка, этот красавец мальчик, полный детской прелести, несмотря на крупное сложение и строгое сейчас выражение глаз.

Выдержав небольшое молчание, металлическим, громким голосом, медленно и раздельно начала царевна:

— Челом бью царю-государю, великому князю Петру Алексеевичу, Московскому и Киевскому, Володимирскому, Новгородскому, царю Казанскому, царю Астраханскому, царю Сибирскому, царю Псковскому и вели-

кому князю Смоленскому, Тверскому, Югорскому, Пермскому, Вятскому, Болгарскому и иных земель, царю и великому князю Новагорода низовые земли, Черниговскому, Рязанскому, Ростовскому, Ярославскому, Белозерскому, Обдорскому, Кондийскому и всех северных стран повелителю и государю Иверские земли, Карталинских и Грузинских царей, Кабардинские земли, Черкасских и Горских князей и иных многих государств и земель восточных и западных, и северных, отчичу и дедичу и наследнику, государю и обладателю, ево царскому величеству, царю и самодержцу всея Великия и Малыя и Белыя России на многие лета... В законе тя, благочестивого государя, Бог да утвердит!..

С каждым новым титулом все больше и больше крепнул голос царевны, она и сама будто вырастала, и окружающим казалось, что разворачивается перед ними какой-то огромный древний свиток, на котором золотом, огнем и кровью были начертаны не только эти названия, а все события, все битвы, усилия и жертвы, какими ковали, звено за звеном, государи Московские этот бесконечный, громкий свой царский титул, словно тяжелым плащом одевающий каждого русского повелителя, вступающего на трон его предков, на трон Рюрика, Владимира Мономаха, Дмитрия Донского, Александра Невского, Ивана IV и других...

Так казалось всем, потому что и сама Софья, вызывая из груди каждый титул, перед собою видела все, что хотела внушить окружающим.

И особенно ярко представилась Петру вся необъятность и тягота царского бремени, возложенного на его детские плечи сегодня вместе с бесконечным, грозным и блестящим титулом...

Окружающим и самому Петру казалось, что его детская, но такая значительная перед этим фигура — делалась все меньше, меньше, стала ничтожной до жалости по сравнению с пышной, царственной мантией, с бесконечными звеньями царских титулов, которые так почтительно, на первый взгляд, перечислила царевна своим металлически-звучным, выразительным голосом.

И не величанием впивались слова сестры в душу и сознание ребенка-царя, а острыми стрелами, жгучей обидой, тем более тяжелой, что глумливая насмешка была слишком глубоко и хорошо прикрыта под золотом внешне почтительных речей... А последний намек

об утверждении в законе был слишком явным упреком младшему брату, который незаконно захватил наследство старшего.

Величие, тяжесть венца и власти, которую случайно кинула судьба в его детские руки, так подавила в этот миг Петра, что он всею грудью глубоко, протяжно втянул несколько раз воздух, как будто начал задыхаться в этом обширном, наполовину опустелом покое.

«Ничтожество, посаженное на трон великого царства... Незаконно сидящее на нем!» — так переводил на обычный язык мальчик-царь притворно хвалебные слова сестры-царевны.

Не одна обида сдавила грудь Петру. Он угадывал, что Софья не посмела бы так говорить, бросать подобный вызов, не стой у нее за спиной какой-нибудь надежной опоры, могучей ратной силы, вот хотя бы вроде тех стрельцов, о мятеже которых донесли и до мальчика вести как раз сегодня утром.

Отрок-царь сам читал много книг по истории русского и западных царств, немало и рассказов слышал о том же. И уже понимал, что решают судьбу царства не слова, не желания отдельных людей, как бы высоко они ни стояли над всеми, а столкновение двух или нескольких сил, вооруженных ратей. Кровью и железом куют властелины новые царства, отымают старые друг у друга.

Сомнения нет: сестра решила отнять у него царство. Она думает, что на это хватит у нее ратных людей, сторонников и слуг... А у него, у Петра, неужели их меньше?.. Нет. Быть не может. Иначе не он, а брат Иван сидел бы сейчас на троне. Не царица Наталья, а Софья принимала бы поздравленья и низкие поклоны всех, до старших царевен, сестер Алексея-царя, включительно.

И эта мысль влила силу и бодрость в грудь мальчика. Он почувствовал как бы дуновение какой-то незримой, нездешней силы над собой. Конечно, это сам Господь повеял духом своим над ним, помазанником Божиим...

Все эти ощущения, все мысли быстрее молнии пробежали одна за другой в душе Петра.

Не успела Софья выпрямить свой бесформенный, чуть не уродливый по толщине, грузный стан, склонившийся в поясном поклоне, как поднялся с места отрок-царь.

В первое мгновение ему хотелось сказать что-нибудь такое же жгучее, как все, что сейчас сорвалось с уст царевны. Но тут же сознание величия сана, врученного ему, уверенность в себе, откуда-то прилетевшая и наполняющая душу, жалость к сестре-сопернице, но близкой в то же время — все это заставило его заговорить спокойно и твердо, не с вызовом, как Софья, а примирительно и властно в то же время.

— Сестра-царевна... Благодарствую на челобитьи. Пошли, Господь, и тебе много власти и радости. Хорошо вот сказала ты... Про закон вот... Я не умею так... А все скажу. Все государи — преславные были, кто по закону правил. А я и не хотел. Как стал отец-патриарх мне сказывать... Я говорю: «Иван, он старший царевич. Ему и на трон». А патриарх на ответ: «Тебя Бог избрал»...

При этих словах вытянулся во весь рост мальчик, словно вырос на глазах у всех. Его речь, не совсем свободная, неровная вначале, сразу окрепла, стала плавной, связной, как будто в самом деле Дух Божий или Демон Сократа овладел Петром. Он продолжал:

— Верю в Господа моего и послушал святителя. Помнить надо, сестра, что сказано: «Послушание воле Господней — возвеличит человеков»... Смирение мое и полагаю в славу себе. А без веры и страстей своих смирения — счастья быть не может, государыня-царевна. Не раз сказывали мне: велика слава и власть — своей волей и душой, злобой и любовью владети. Нет выше той власти. Памятовать о том, сестрица, всегда надо. Тогда Господь и власть и счастье на земле пошлет...

Умолкнул Петр и смотрит: поняла ли Софья его слова? Готова ли смириться, протянуть ему руку и примириться навсегда так же охотно, как он сам готов? Но на Софью слова брата произвели странное действие.

Она несколько мгновений вглядывалась в брата, как будто в первый раз в жизни увидела его, слышала его голос.

Слова о смирении, о подвиге, об умении властвовать над собой и над своими страстями, — конечно, это прямо говорится для нее, для Софьи. Не может не знать Петр, чего желает так пламенно и сильно душа сестры.

И как он сумел оправдать свое возведение на трон! «Воля Божья»... Конечно.

О той же воле Божьей ей говорили сейчас и Хитрово и дядя... Но совсем в ином смысле...

Но не в этом сила. Откуда у мальчика этот прожигающий душу, властный и в то же время сострадательный взгляд? Как смеет он жалеть ее, Софью?.. Враждовать с ней он может. А жалеть — не смеет...

И резкое, непоправимое слово готово было сорваться с губ царевны.

Но она не выдержала открытого взгляда больших темных глаз брата, ничего не сказала, опустила голову и, резко повернувшись, вышла из покоя.

На другой день рано утром Софья послала к патриарху, просила заглянуть к ней на короткое время для важного разговора.

С неохотой пошел святитель на половину царевен. Он предвидел, о чем пойдет речь. Тут уж нельзя будет уклониться от решительного ответа, как он обычно делал в важных случаях, угрожавших его высокому и властному положению.

Отговориться нездоровьем — нельзя. Все равно придется столкнуться с царевной и со всей семьей Милославских сегодня же, на похоронах Федора.

И потому со своим постоянным ясным и кротким выражением лица, подавляя недовольство, — двинулся внутренними переходами святитель в терем к царевне. Здесь он застал уже немало духовных владык, царевичей и бояр.

— К тебе прибегаю, святой владыко, — после первых приветствий сразу заговорила о деле Софья. — Вести недобрые стали ко мне доходить. Может, и ты о них известен. Давно идут толки. А ныне — и вовсе вслух заводят речи... Либо иным по старому обычаю — старшему бы брату на трон сесть... Ивану Алексеевичу. А не будет того — и мятежом грозят людишки безразумные. О царстве, о люде христианском сожалея, прибегаю к вам. Не можно ли отменить, што постановили вчор?.. Мир тем упрочите.

Говорит, волнуется царевна. Видно, всю ночь не спала.

До утра ходила по опочивальне и решила сделать

последнюю попытку: миром, без крови кончить последний спор между двумя родами — Нарышкиных и Милославских.

Ее словно отравило наивное, бессознательное величие души, какое вчера проявил мальчик-брат. Ей как будто больно и стыдно стало перед самой собой, что не попыталась она так же открыто добиваться своего, как открыто предложил ей Петр дружбу и примирение.

И, пользуясь тем, что с утра дворец снова переполнился важнейшими в царстве людьми, царевна, убедив и Милославского и Хитрово, созвала бояр, пригласила патриарха и открыто дала понять, что междоусобица неизбежна, если только не будет посажен на трон царевич из рода Милославских.

Молча бояре выслушали Софью.

Иоаким обвел всех глазами и, убедясь, что никому не по душе желание Софьи, мягко проговорил:

— От имени Господня и народным хотением, купно со властями духовными и бояры, поставлен государь Петр Алексеевич на царство. И несть власти, коею низринуть либо низвести можно государя того. Милостию Божию, не людским хотеньем царем наречен. Так и пребудет. Напрасно, государыня-царевна, трудишь себя.

— Ин так... Твоя правда, владыко. Соблазна не след заводить... О другом тода прошу. Не чести рода своего ради... Жалея людей и землю, молю и заклинаю: постановите, пока не поздно... Не было еще венчания царского. Тебя молю, святейший отец: изволь наречи и царевича Ивана купно с Петром в государи, да купно воссядут на престол всероссийский и вместе царствуют.

С досадой поднялся с места патриарх, опасаясь, что такое предложение может быть принято боярами ради избежания грозящей распри. И торопливо он заговорил:

— Всуе тревожишь себя и нас, царевна. Сама знаешь: многоначалие — зло есть для царства. Един царь да будет у нас, яко Бог изволил...

Благословил царевну, всех окружающих — и вышел из покоя старец.

Молча, отдав поклон, разошлись и бояре, кроме Милославских с друзьями.

Совсем потемнело лицо у Софьи.

— Не примают мира. Так стану воевать! — кусая губы, объявила громко царевна.

И в тот же день показала, что первая не отступит ни на шаг.

Закончились над телом Федора все обряды, какие полагалось совершить во дворце.

Гроб был поднят на плечи, и его в торжественном шествии понесли в Архангельский собор. За гробом по строго установленному чину мог следовать только наследник престола и вся мужская родня покойного государя.

Но в этом выходе, кроме Петра, приняла участие и Наталья, так как царь был еще слишком молод. И мать его являлась, естественным образом, временной соправительницей по царству.

В небольших, обтянутых черным сукном санях несли Наталью стольники ее. В других санях сидела, окутанная траурной фатой, юная вдова, царица Марфа. Старуха Нарышкина шла сзади с некоторыми важнейшими боярынями, с женами царевичей и князей.

На Красном крыльце шествие на короткое время остановилось.

Стольники передали с рук на руки свою царственную ношу молодым дворянам, которые должны были донести сани до самого собора.

Вдруг говор прошел по всем рядам похоронного шествия, и, как зыбь на воде, докатилось смущение до обеих цариц.

Наталья оглянулась и не поверила глазам.

Царевна Софья в траурном наряде в сопровождении трех-четырех женщин показалась из дверей, выходящих на дворцовое крыльцо, вошла в ряды провожающих и, пользуясь тем, что все ей давали дорогу, быстро приближалась к голове шествия; минуя обеих цариц, все духовенство, она шла прямо туда, где на плечах бояр колыхался гроб с останками Федора.

Вся кровь кинулась в лицо Наталье.

Не одно негодование на дерзкую выходку волновало царицу. Ей стало до боли стыдно за Софью. Поступок царевны не имел себе примера. Это было такой же позорной выходкой, как если бы она, Наталья, полуодетая, явилась в мужское общество, да еще состоящее из чужих людей.

Послать кого-нибудь остановить царевну. Но посланный от Натальи, конечно, не будет иметь успеха.

Софья пойдет наперекор, устроит что-нибудь более нехорошее.

Знаком подозвала Наталья свою мать, когда шествие остановилось на одном из поворотов.

— Матушка... иди скорее... Бей от меня челом царице Марфе... Отрядила бы к Софьюшке ково. Ну, ста-точное ли дело? Видно, себя не помнит девушка. Вишь, што надумала. Стыд-то какой... Сором и стыд головушке... На нас покор и позор. Явно, на очах всех бояр, на очах всего народа, плюет в лицо нам царевна. Вперед царицы-матери, вперед вдовы-царицы затесалась. Никто-де так не любит усопшего, как сестрица-девица... Да пешая, гляди... Царевна Московская... Плечо в плечо с черным человеком идет... Небывало... неслыханно... Ступай скорее, матушка... Пусть в разум придет, коли не вовсе отнял его Господь... Коли стыда хоть малость есть в глазах у девицы...

Все пересказала царице Марфе старуха, что говорила ей дочь.

Марфа сейчас же поручила боярыне Прозоровской подойти к царевне, уговорить ее вернуться в терем.

Степенно подошла боярыня к царевне, пошла с ней рядом и, наклоняясь к Софье, ласково, мягко передала все доводы, какие приводила Наталья, закончив просьбой: скорее вернуться в терем.

Но Софья тихо, в ногу со всеми шла вперед, словно и не слыхала речей Прозоровской. Только время от времени сдержанные рыданья, глухие стоны вырывались у нее из-под фаты...

И чем ближе к собору подвигалось шествие, тем громче, резче и жалобнее звучали эти вопли... Очевидно, сначала царевна опасалась, что ее силой принудят немедленно удалиться в терем. Но чем дальше от дворца, чем ближе к собору, где черно вокруг от толпы московского люду, тем сильнее крепла уверенность царевны, что не будет затеяно никакого столкновения на глазах народа.

Прозоровская только покачала головой и поспешно вернулась к саням царицы Марфы.

Вся дрожа от негодования, стыда и гнева, вышла Наталья из своих саней на паперть, где ее поджидали оба брата: Петр и Иван.

— Видел, Петруша, что Софьюшка-то делает? — задыхаясь, едва могла прошептать царица сыну.

— Уж видел... Так-то уж зазорно. И глаза бы не глядели. Ровно и не в себе сестрица. Как мыслишь, матушка?..

— Ну, тово и разбирать не стану... Идем, простись скорее с усопшим государем-братом... Да во дворец вернемся... Не вместно нам быть с тобой и во храме, коли озорничает старшая сестра... На нас покоры пойдут... Идем же скорее...

— Твоя воля, матушка... Как люди сказывали, до конца мне, царю, стоять тут пристало, пока усопшего погребут... А не приказываешь, родная, так я тебя слушаю...

И вслед за матерью мальчик подошел к останкам брата, уже возложенным на возвышении, среди храма.

Слезы брызнули из глаз Петра, когда он с благоговением прикоснулся к оледенелым рукам и челу мертвеца своими горячими губами.

Быстро отерев слезы, творя частое крестное знамение, сошел с возвышения Петр и, следуя за матерью, боковыми вратами покинул храм.

Этот поспешный уход, нарушающий старый, веками установленный уклад, весь обиход церковной и дворцовой жизни, поразил окружающих не меньше, чем присутствие царевны-девушки при гробе брата-царя.

И даже Иоаким как-то нервно, быстрее обыкновенного dokonчил служение, как будто и он был выбит из равновесия тем, что произошло на его усталых от жизни глазах.

Еще больше поразила всех царевна, когда гроб был опущен под своды склепа и шествие в том же порядке двинулось обратно во дворец на поминальную трапезу.

Искуснее любой наемной плакальщицы, «вопленицы», проявляла свое безутешное горе царевна. Волоса выбивались прядями из-под головного убора... Она ломала руки, хваталась за голову, горестно раскачивалась на ходу и громко, крикливо, с рыданиями и воплями причитала нараспев:

— Государь ты наш батюшка... Федор свет Алексеевич... И на ково ты нас, сирот, сестер своих пооставил. Извели покойного брата-государя лихие, злые люди... Остались мы теперя круглыми сиротами... Нет у нас ни батюшки, ни матушки, ни родни какой верной да приятной... Нету никакова заступника... Брата нашево Ивана на царство не выбрали... Из чужова ро-

ду-племени, не от матушки нашей царь-государь... Помилосердуйте над нами, сиротами, люди добрые, весь народ московский... Коли в чем провинились мы перед вами, и братец Иван, и мы, сестры-царевны, и род наш, Милославские, — отпустите нас живых во чужие края, к королям христианским. Не дайте извести до корня род весь царский...

На вопли царевны, на ее жалобы и мольбы о спасении, так громко и всенародно оглашенные почти над гробом брата, невольно стал откликаться весь окружающий народ.

Люди прислушивались, качали головой, шептали друг другу слова, после которых сами пугливо озирались, словно опасались, не подслушивает ли кто из окружающей толпы. Все знали, что бояре повсюду рассылают своих шпыней. Шнырят те в народе и подводят под батоги и палки ни за что ни про что порой...

Только и могла отвести свою душу Софья, пока шествие не достигло дворцовых ворот. Но здесь, почти насильно, ее взяли посланные Натальей боярыни и проводили в покои царевен.

И в самой Софье наступил перелом. После недавнего иступления и такого резкого вызова решимость ослабела, отчаянная отвага исчерпала все почти душевные силы. Медленней стала работать мысль, труднее воспринимала ощущения усталая женская душа.

Зато другие союзники затеянного дела работали вовсю, хотя не так напоказ, как Софья.

Через день после похорон — в воскресенье, 30 апреля, около полудня — большие толпы стрельцов разных знамен, а с ними и солдаты-бутырцы появились в Кремле и прошли к самому Красному крыльцу.

— Царя нам видеть надо, — решительно заявили незванные гости.

В руках у передовых забелели челобитные. Семнадцать человек выступили с просьбами из толпы тех шести-семи сот стрельцов и солдат, которые постепенно собрались перед золоченой решеткой заветного царского крыльца.

В другое время — сейчас бы появились иноземные пешие и конные роты, вызваны были бы рейтары или иное войско и смельчаков разогнали бы очень скоро.

Но теперь не та пора. Пожалуй, и вызванные перейдут на сторону буянов, сольют с ними свои ряды, и

только большой соблазн и урон будет для авторитета власти.

Вот почему царь не заставил себя долго ждать и вышел к челобитчикам в сопровождении начальников Стрелецкого приказа, обоих Долгоруких, Ивана Языкова и приказного дьяка. Царица Наталья и дядьки отрока были тут же, как бы желая оградить его от всякой возможной опасности.

Но личная опасность пока не угрожала Петру.

Ударили в землю челом стрельцы, едва увидали ребенка-царя, которому с полной охотой присягнули на верность всего два дня тому назад.

— Здорово, верные стрельцы мои. Бог на помочь, ребята. С чем пришли, говорите. Слышно, челобитные у вас... И вы с ими, бутырские?.. Как будто и не одново полету птицы, а летаете стаей... Ну, што тамо у вас?.. Я слушаю.

Сказал Петр и ждет, стоит: что дальше будет?

Сверху, с площадки, не довольно ясно долетает до стрельцов хотя и звонкий, но не особенно сильный голос отрока-государя.

Однако все поняли вопрос и как один человек заголосили:

— Не казни, дай слово молвить... Заступись, царь-государь, солнышко ты наше... Светик ясный... Ишь, какой ласковый... Не серчает...

— Тише вы... Не галдите все... И не слыхать, чай, царю, — окрикнул своих один из стрельцов постарше и посановитей, выборный пристав, держащий в руке челобитную.

И, подойдя совсем близко к крыльцу, поднял бумагу над головой, громко объявляя:

— Челобитную приносим... Вели принять, отец ты наш... Солнышко красное...

Воину-старику невольно при виде мальчика-государя вместо избитых обычаем величаний шли на язык более теплые и простые слова почти отеческой ласки.

Эту ласку, это невольное расположение сейчас же почувал стоящий наверху Петр.

И сразу исчезло неясное опасение, с которым он появился на крыльце, заражаемый, конечно, тем ощущением страха, какое отразилось на лицах окружающих царя при докладе, что его хотят видеть буйные, очевидно, нетрезвые, озорные стрельцы.

— Давайте мне сюды... Вон боярин возьмет... Разберу вас... Велю разобрать... По правде вам все будет сделано... Уж верьте вы мне!.. — так же просто, тепло заговорил со стрельцами Петр, как и они обратились к царю.

По знаку мальчика Апраксин сошел, принял все челобитные у стрельцов и у солдат Бутырского полка, которым командовал полковник Матвей Кравков.

— А теперь — с Богом, по домам. Коли охота, дадут вам по чарке. Выпейте за наше царское здоровье, — снова крикнул стрельцам Петр.

Кивнул головой на их земные поклоны и вместе с боярами покинул Красное крыльцо.

Долгорукие и Языков заранее знали, что написано в жалобах, знали и то, что сегодня они будут поданы. Но не имели возможности помешать этому. И уж наперед решили многое выполнить по просьбе стрельцов. Все-таки они уселись с царем и стали внимательно просматривать поданные листы, которые Петр вручил им тут же, на крыльце.

— Што за челобитье? Чево просят? Сделать можно ли?.. Как скажете, бояре? — спросил царь, видя, что бояре успели прочитать челобитную.

— Да што, государь? Старые дрожжи поднять горланы затеяли. Дела не новые, стародавние, позабытые, почитай. Ишь, сметили, подлые смерды, што пора для них хороша. И завели свое... Обиды, вишь, от полковников. Недодачи ищут за много лет. Оно бы не след и начальников позорить. Так все и ранней велосся... Они по-старому же дело вели... Да не та пора... Доведется и покарать для виду полковников, на ково челом били молодцы. С жиру бесятся, стрельцы-собаки!.. Добро, придет и на них череда...

— Для виду покарать?.. Да можно ли, бояре? Нет, уж лучше не надо так... Виновен хто — с тово и взыщите, как закон велит. А нет вины на человеке — как и покараешь ево? Можно ли, бояре?

И прямо своими живыми, ясными глазами, как олицетворение совести, смотрит в глаза постарелым дельцам ребенок-государь.

— Так-то так, свет государь, — тепло заговорил старик Долгорукий. — Вина есть, как не быть. Без вины и те бы не пришли на начальников челом бить... Да вина вине рознь. И кара не одна за каждую вину... А

теперь — придется быть построже. Не то, гляди, самочинную расправу учинят ратники. Хуже потерпеть доведется полковничкам-господам... Вот о чем толк...

— Так... Разумею... А все же дай мне одну челобитну, боярин, сам погляжу: што в ей?

И мальчик внимательно стал вчитываться в строки, неровно выведенные плохими чернилами на синеватой бумаге.

— Да неужто ж все правда, што пишут стрельцы? И вы, бояре, знали! И не казнили воров-лихоимцев? Тати на большой дороге коли грабят, казнят же их. А тут наших ратников полковники грабили... И кары не было им... Да как же, бояре?.. Да почему?.. Али не ведомо было вам?.. Вон сколько этих воров тут написано.

Петр стал пробегать по челобитным имена обвиняемых полковников — все хорошо знакомые имена: генерал-майор Бутырского полка Матвей Кравков, полковник Грибоедов, Полтев, Иван Колобов, Карандеев, Титов, Григорий Дохтуров, Воробьин, богомольный Матвей Вешняков, Глебов, Борисов, Нелидов, Щенин, Перхуров, Конищев, Танеев и иноземный полковник Конрад Кроме.

Всех их видел не раз Петр, говорил со многими. Знает, что это веселые, ласковые, brave люди, к которым окружающие, даже государь и главные бояре, относятся с уважением.

А теперь — на этих же людей, имеющих за собой не только мирную, но и боевую заслугу, возводится обвинение в воровстве, в казнокрадстве, в бесчеловечном отношении к подчиненным.

Это ошеломило Петра.

Вызванный для принятия челобитной, он сразу столкнулся с таким печальным явлением, которое иначе и не дошло бы до мальчика-царя, а если б и дошло через Приказы, то раньше бояре хорошо сумели бы подготовить Петра, по-своему истолковав челобитье.

И вот в первые же дни своего вступления на трон силой роковой случайности мальчик узнал одну из самых опасных язв, которые разъедали строй всего Московского государства.

Лихоимство, воровство, угнетение слабых сильными.

Смотрит на бояр отрок-повелитель своими ясными глазами, в которых и недоумение, и уже загорается гнев.

— Неладно оно, што тебе в руки, государь, подали эти смутьяны челобитню свою. Вон как смутили душу юную, — мягко заговорил Языков. — Тебе знать бы надо ранней, што святых да некоростных людей куды как мало. А царству слуги нужны надежные, дело бы свое понимали. Оно и в дому случается: дворецкий — и вор, и пьяница, да дело блюдет, порядки знает, всех холопов, челядь домашнюю в руках держит, ровно в ежовой рукавице. Так хозяин и видит плутни дворецкого, бражничанье ево — а ровно не видит. Другова возьмешь, пить, тянуть не станет — так хуже будет. И порядок весь в дому вверх дном пойдет. Так оно и по царству... Служат ладно те полковники. Смелые все, дело свое знают. А што там нелады какие у них со стрельцами домашние — нам бы и знать не надо, и вам, государям, в то не мешатца бы... Да вот пришлось... Зашатались стрельцы, ради твоего малолетства, ради двухдневного на трон вступления... А еще скажу...

Языков огляделся и стал говорить потише:

— Может, и люди такие есть, и очень велемочные, которым по душе стрелецкое шатание да бунтарство. Они, может, всю бучу и сбили... Да это погода разобрать можно. Теперя помыслим, как с челобитной быть?

— Ужли холопей послушать?.. Выдать им головой столько славных начальников? — не выдержав, спросил Долгорукий.

— Ужли не послушать? Штоб у них смелости прибыло — самосуд учинить, как вон тут писано? — спросил старика Языков.

Наступило молчание.

У Петра от усиленной работы мысли даже слезы проступили на глазах. Все, что он услышал, было ему понятно. Но в то же время неиспорченная привычкой к власти, незатуманенная государственной мудростью душа не могла мириться с необходимостью закрывать глаза на преступления и пороки людские, отказывая порою в правосудии тем, кто нуждается в защите.

Если бы ему еще сказали о всепрощении, о том, что и сами угнетатели-полковники не виновны в своем грехе, что они так выросли, так воспитались... Если бы ему дали надежду, что зло можно исправить постепенно, просветив и господ и рабов, причем последние не допустят даже до того, чтобы их смел кто-нибудь угнетать... Это могло бы успокоить царя-отрока.

Но ни Языков, ни Долгорукие, сами выросшие в растлевающей атмосфере насилия и лжи, не умели найти слов для успокоения смятенной детской, чистой души.

И, помолчав, робко, неуверенно задал мальчик новый вопрос:

— Да если правы стрельцы... Как же им не жаловаться? И наветов, поди, они бы ничьих не послушали, не стали бы бунтовать, коли самим бы плохо не было... Так я мыслю.

С удивлением поглядел Языков на мальчика:

— Вон оно што, государь... Ну, и видать, што мало тебе дела московские стрелецкие ведомы. Живут они, подлые, как дай Бог всякому люду хрещеному на Руси. Сыты, пьяны от казны твоей царской. Земля им дана и всякое пособление... Торгом — богатеют, почитай, все, хто не вовсе пропил душу дьяволу. Лодырничают, службу не несут, почитай, как иные ратники твои царские... Не то в сборных избах — каждый с семьей своей в своем дому живет, с детьми, с родителями... У редкого бывает, што своей челяди нет. Старых да хворых — на твой же государев кошт примают, по обителям их кормят-поют... Повинностей городовых да посадских не несут, как прочие люди земские, торгом да промыслом заниматься могут безданно-беспошлинно. Бывают тяжбы али сделки у них и промеж себя и с иными людьми — пошлины на том не дают твоей государевой, суды-расправы дармовые для их. Бывает радость у вас, у государей, — им же милости да жалование идет, не в пример прочим. Окромя разбоя и татбы, ведают стрельцы все дела свои по своим Приказам... А знаешь ли, как другие ратные полки на Руси скаредно живут? Казна куды небогата.. На черных людях и так тягло тяжелое лежит. Сами люди черные, ровно скоты, в грязи мрут... Повидаешь царство свое, тогда узнаешь... Где же им больше дать, собакам, стрельцам этим буйным, за жирелым?.. И жалеть-то их грех. Вот дума моя какая...

Кончил речь Языков. Легче стало всем. И бояре, и сам Петр как будто нашли оправдание той несправедливости, которая творилась раньше и которую им пришлось продолжать теперь.

— Да коли так, на што и стрельцы нам, государям? — снова задал вдруг вопрос мальчик, очевидно, глубоко заинтересованный всем, что сказал Языков.

— А ни на што, почитай... Ранней — нужда в них была, пока солдатских да иноземных полков не было. А ныне — и сами они поиспортились, обленились, да и войско иное у нас завелось, вот, по примеру зарубежных царств. Посылали стрельцов на войну, и недавно, слышь... Так сам знаешь: посрамили себя бабьи ратники... Не с поляками, не с турками али с казаками астраханскими им воевать, а со свиньями да с курами али со своим братом, землеробом, коли дреколья нет у мужика в руке... И надо бы их разогнать... Да сразу — опасно. Они тоже так легко куска жирнаво не упустят. Скажут: «Все одно помирать, не в бою, так с голоду». И совсем забунтуют. Хлопот тогда наделают, и-и... А их помаленьку почнем сокращать... Разошлем по окраинам али куды иначе... На их место — добрые войска и рати заведем... Вот и не станет смутьянов этих...

— Так, слышь, боярин... Може, и не след карать полковников тех, на ково они челом бьют? — опять нерешительно задал вопрос Петр.

— И не след бы, а надо. Вишь, обнаглели... Засилье взяли в сей час, ироды. Говорю ж тебе, Петр Алексеевич, государь ты мой милый, мутят их люди сильные... Поди, и деньгами наделяют... И... Ну, да не время об этом... Как ни крути, а не миновать тех начальников им головой выдавать... На разбойный суд и расправу. Обычай, слышь, таков.

— Ох, не надо, бояре... Коли стрельцы — людишки подлые... и суд станут не по правде творить, и кару дадут не по вине... Не надо давать, слышь, Максимыч. Тебя прошу, князь, Юрья Алексеич. Не придумаю я... Не знаю по государству, как што надо... Сам не скажешь ли?.. Жалко мне этих. Особливо Кравкова да немчина Кроме... Я их видел, знаю. Какие молодцы... Как быть, бояре?

— Да, одно и есть, — отозвался старик Долгорукий, — отца патриарха просить... Как полковников под караул возьмем, послал бы к стрельцам из духовенства людей повиднее. Просили бы те окаянных, пусть не своим судом судят. Здеся, в твоих государских Приказах, в Разряде стрелецком суд дадим. Все лучше, ничем на ихнем сходе оголтелом. Тамо — с каланчей станут кидать людей, на куски рвать станут, хто им не по нраву пришел. Видали мы расправу стрелецкую...

— Да неужто?.. — всплеснув с ужасом руками,

спросил Петр. — Такое творица... А што же вы, бояре?.. Как не закажете?..

— Э-эх, царенька... Дите ты, так и спрашивать с тебя нечего... Поживешь, узнаешь. Поди сунься к им. Не одново было, что и полковников они своих с круга палками гнали в три шеи. Одно на них и есть: пищали полевые навести, перебить половину, другая половина повинитца...

— Ну, и так бы ладно, коли иначе нет способу, — сразу меняя выражение лица, сверкнув глазами, совсем как делает порою Софья, сказал Петр.

— Эко легко это, думаешь? Своих на своих повести? Первое дело — междоусобица. По всей Еуропе говор пойдет: не стало страху в войсках царских. Расшаталась сила русская. И набросятся соседи, ровно коршуны, на окраины царства... Да и домашним соблазн великий. Вот-де, не сумели бояре с царем и войска своего в порядке содержать... А смуты и свары по земле и без тово не мало. Раскол растет... С югу — казаки буйные, Астрахань беспокойная... На закат солнца — Польша да Литва спит и видит у нас што ни што урвать... На Поморь — немцы подбираются к нашим исконным вотчинам да областям вековечным... Время ли усобицу подымать?..

— Правда ваша, бояре... Я, слышь, пытаю только. Нешто не вижу, што не пора моя в дела входить в государские?.. А знать хочу... Челом вам бью за все, што открыли мне по чести, по совести, бояре. Вижу: прямите вы по правде царству и мне. Не забуду тово. А ныне — делайте как лучше. Отца патриарха я и сам попрошу...

— Да, уж не миновать... Вот еще боярам доложим думным все, што с тобой, государь, толковано. Без их — не можно решать. Такой обычай...

— Толкуйте. Скорее лише б... А то и вправду мятеж пойдет по земле... Ну, с Богом идите по делам своим, бояре...

И Петр расстался с ними, торопясь скорее к Наталье, чтобы рассказать ей про первый тяжелый урок государственной мудрости, который получил сегодня.

Все помянутые в челобитных полковники и Кравков немедленно были взяты под караул. Обвиненные полковники поспешили и, кто сколько мог, внесли деньги на раздачу стрельцам по челобитной. Но уже 3 мая

явилась к царю вторая толпа стрельцов с требованием: передать виновных в их распоряжение.

— Приказная правда нам ведома. Кто богат, тот и прав, — кричали, обнаглев, стрельцы. — Откупиться думают, кровопийцы! Ты больно юн, государь. Твои бояре и тебя морочат, и нас хотят на век закабалить.

Едва удалось патриарху успокоить мятежных. Митрополиты, архиереи, попы и монахи, даже придворный пиит и любимец Сильвестр Медведев в том числе, в Кремле и в слободах увещали стрельцов, заклинали, порою со слезами, об одном:

— Сделано по-вашему, дети Христовы. Слыхали указ государя милостивый, по коему головой выданы вам все ваши обидчики. Одно молим: не имайте тех полковников, не берите в ваши приказы стрелецкие. Негоже так. Перед всей землей не пристойно так делать: словно суда нет царского на злодеев. Челом добейте государю, детки, он бы их судить приказал по закону. Верьте Богу, чада: не будет потачки злодеям вашим. И сами при том станьте, видеть будете: какая кара постигнет лихоимцев. Сам кир-патриарх, святейший Иоаким послал нас. Ужли для нево не сделаете, для богомольца, заступника нашего перед престолом Божиим?

Буйные, но набожные стрельцы, особенно те, кто постарше, согласились на увещания духовенства.

Это было так ново для воинов-слобожан. К ним, к ихним плохим съезжим избам, к «приказам» приезжали и приходили властители духовные, князья церкви, и попы и проповедники, просили, уговаривали, не угрожая ничем, а призывая к милосердию, поминая о правде Божьей, о благе государства, о таких вещах, которые никогда здесь не поминались.

— Волим так, как желает святейший отец патриарх, — ответили повсюду стрельцы.

И арестованные полковники, после разбора их дела, были приведены и поставлены перед Стрелецким рядом, на Ивановской площади.

Тяжелая получилась картина.

Выборные от всех шестнадцати полков и от бутырцев, не совсем трезвые, но сосредоточенные, суровые, стояли у самого крыльца Стрелецкого приказа, как стоят на похоронах. И любопытствующие рядовые стрельцы плотными рядами теснились за этими выбор-

ными. Дальше кучками и небольшими группами толпился люд московский.

И чем дальше от места наказаний, от приказного крыльца, тем больше толпился народ, окаймляя, по обыкновению, все выступы зданий, взбираясь на колокольни и звонницы соседних церквей.

Кипучая площадная жизнь шла своим чередом. Площадные приказные, стряпчие и писцы строчили просто-му, темному люду кабалы и челобитные, продажные и торговые записи. Разносчики со всяким товаром и напитками, стригуны-цирюльники, забегающие сюда со Вшивого рынка, барышники, продавцы с ларьков — все они уделяли порой внимание печальному событию, которое сейчас происходило у Стрелецкого приказа. Но, привыкнув к ежедневным казням, совершаемым здесь же, скоро опять принимались за свои дела.

У самой лестницы Стрелецкого приказа, под охраной стрельцов, стояли в грязных, изодранных местах, но дорогих нарядных кафтанах полковники, выданные стрельцами «головой», то есть на полную волю челобитчикам, как было принято в старой Руси.

Все шестнадцать обвиненных стояли, разбившись на три-четыре кучки. У самых ступеней, опустясь на выступ лестницы, сидел, раздавленный горем и стыдом, седой, грузный генерал-майор Бутырского полка Матвей Кравков. Он опустил голову на руки, словно закрывая лицо от людей, и только большие, еще не совсем поседелые усы свисали длинными концами наружу из-под рук боевого начальника, отданного теперь во власть его собственным солдатам. Плакать он не мог, не умел. Глаза, воспаленные и сухие, жмурились даже под прикрытием рук. Как будто свет майского веселого дня, пробиваясь сквозь пальцы, резал их нестерпимо. Порою только широкая, мощная грудь старого бойца судорожно вздымалась высокой волной и сразу опадала. Он напоминал огромную, обомшенную годами рыбу, выброшенную на сушу и задыхающуюся в чуждой среде.

Рядом с ним сидел всегда спокойный, невозмутимый Кроме. Высокий, костлявый, но тоже крепкий человек, он и квадратной головой, и таким же угловато-прямолинейным телом производил впечатление вытесанной из дерева фигуры.

Рыжеватые усы, не особенно длинные, но жесткие, всегда торчали у него прямо, задорно. Так и сейчас

они пыжились у Кроме, придавая ему сходство с разозленным котом.

Он тоже старался не видеть всего, что делается кругом, пытался свое лицо укрыть за толстым плечом Кравкова. И только порывистые движения, с которыми Кроме сжимал и разжимал кулаки, выдавали всю затаенную, сдержанную работу сильной, неукротимой души.

Со стороны жутко становилось при мысли: что может произойти с тем, кто сейчас попал бы в тиски этих бессознательно сжимающихся и разжимающихся пальцев?

Краснощекий, вечно принаряженный и веселый Перхуров, красавец и общий баловень, и Григорий Титов, напоминающий своими гладко причесанными волосами и мужицким лицом раскольничьего попа, а не стрелецкого полковника, — эти оба тоже почти обернулись лицом к стене, у которой стояли. Только боязнь насмешки со стороны толпы удерживала Перхурова от слез, даже больше: от бурных воплей и рыданий. Он не сделал ничего, что не было обычным в среде равных ему начальников. Он знал, что и в других полках, во всем войске московском, даже у строгих иностранных генералов, принято пользоваться услугами солдат, принято не очень церемониться с казной.

Высшее начальство глядело сквозь пальцы на это и само принимало долю, какую считали нужным принести своим генералам полковники.

И вдруг им, шестнадцати случайным несчастливцам, приходится быть искупительной жертвой за общий застарелый грех.

Вон, недалеко Посольский двор, где не раз и по службе, и по дружбе с наезжими послами бывал красивый, бойкий, неглупый Василий Перхуров. Жены и дочери послов нередко заглядывались на веселого «московита».

А теперь они же могут видеть со своего крыльца, как он, полковник, не раз шедший рядом с царем, охраняя особу государя, — сейчас, словно уличенный вор, со связанными ногами, на площади у Приказов ожидает своего приговора и казни батогами наравне с последним смердом, утянувшим каравай с лотка.

Порою он готов был кинуться на окружающих стрельцов, вступить с ними в драку, чтобы тут же пасть под ударами, нанося удары.

Но одна мысль останавливала его: «Все стерплю... перенесу все. А потом... потом — отомщу...».

Он ясно еще и не знал: кому надо мстить? Порой казалось, что виною его позора и гибели — эти ненавистные стрельцы, ради которых верховные бояре привели на площадь и будут казнить батогами своего верного слугу.

Перхуров знал, что царю и правителям он служил верно. Земли не предавал. Но тут же являлась новая мысль: «Если бы не трусили бояре, будь на троне настоящий царь, а не ребенок, который может только глядеть из чужих рук?! О, тогда и пикнуть не смели бы собаки-стрельцы... Эти трусы, в сущности, наглеющие, когда видят, что их боятся, убегающие без оглядки, чуть перед ними станет настоящий, серьезный противник и враг...».

И месть себялюбивым, глупым, жадным боярам казалась ему и справедливее и слаще, чем месть грубым, темным, вечно пьяным мужикам с пищалями и бердышами в руках, какими, в сущности, были стрельцы.

Мечта о мести заслоняет собой в душе Перхурова даже весь ужас того, что вот-вот сейчас разразится над ним здесь, на людной площади, в глазах всего народа...

Почти такие же думы одолевают Титова, и его лицо покрывается пятнами от тех же тяжелых ощущений. Но утешается Титов иначе: «Ково не казнили у нас на Руси?.. Бывало, и царским родичам не то батогами всыпали, а до смерти убивали, душили, топили, глаза выжигали... Не я первый, не я последний... Вон, Христос, куды святее нас, окаянных... Сын Божий, а боле терпел. И нам так велел. Зачтется это. Бог видит правду, хоша и не скоро скажет. Он заплатит гонителям, еретикам, иконовцам...».

Утешает себя так Титов. А все-таки совсем в угол уткнулся лицом. Зазорно ему, властному, общему наставнику, чье слово было законом не для одной сотни и тысячи людей, стоять здесь и ждать торговой унижительной казни...

Шарообразный, ожирелый, совсем омертвелый Грибоедов — и сесть не может. Прислонился плечом к лестнице, опустил короткие, заплывшие жиром, волосатые руки на свой необъятный живот и стоит в оцепенении. Ему все равно сейчас, что скажут люди, что

ждет его. Вся жизнь сломлена, опрокинута, смята... Но и эта мысль тупо, сонно проползает в утомленном мозгу.

И только что-то сосет под ложечкой. Сейчас время, когда обычно этот обжора садился за трапезу. Голод, мучительный, сверлящий внутренности и вызывающий ломоту в костях, — вот что ощущает сейчас полковник. И отдал бы сотню червонцев за сочный кусок мяса, за хороший, жирный пирог или звено свежей рыбы.

Худенький, остроносый, юркий Глебов стоит, бегая кругом своими сверлящими глазками. Не то он соображает: нельзя ли убежать? Не то думает: как бы и кого подкупить, чтобы отвертеться от кары, от грозящего неизбежного разорения?

А может быть, раскидывает умом: за что приняться после, как повыгоднее пристроить деньги, припрятанные при появлении людей, посланных арестовать его? Чем после казни можно будет вернуть и потерянные богатства, и положение? Думает это Глебов и все-таки волей-неволей кидает изредка взгляды на зловещие приготовления, которые делаются тут же, у Приказного крыльца.

Видит, как приносят связки тонких, гибких прутьев, батогов, как сходятся сторожа, заменяющие палачей... Как пробегают наверху из одних дверей в другие писцы и дьяки приказные...

Глядит на это и полковник Нелидов, угловатый, костлявый, рябой человек лет пятидесяти. Тупой и жестокий от природы, он не был жаден на деньги. И только копил излишки для дочери, единственной своей наследницы, желая выдать ее получше замуж.

Жесток он был со стрельцами по убеждению, видя в них лентяев и мятежников. А свои вымогательства не считал преступлением или грехом. Так уж заведено было. И неожиданно-негаданно его, усердного, верного служаку, безупречного начальника, отдали на позор, клеймят названием вора, лиходея.

Этого никак не могла уяснить себе исполнительная, но темная, ограниченная голова Нелидова. И, словно во сне, сидит он тут, глядит на все и ничего не видит или видит сон, который не имеет реального значения, который рассеется при первом движении спящего...

Почти то же думают и остальные преступники, те девять человек, которые стоят, растерянные, поруган-

ные, понуря голову, на этом позорном месте суда и казни...

Сон, правда, скоро рассеялся, но не так, как бы хотели обвиненные.

Движение усилилось наверху, на крыльце Приказа. С вышины лестницы послышался сипловатый голос:

— Тута ли все полковники, маеоры? Указ им государев объявить надо.

Сразу встрепенулись обвиненные. У них мелькнула надежда: не милость ли это приходит с неба?

Надежда могла явиться. За последние два дня, — полковники знали, — все их близкие и приятели, люди влиятельные, богатые, хлопотали, бегали, ездили, сулили богатые взятки; матери и жены плакали и валялись в ногах у дворцовых боярынь, у царевен...

Правда, везде был один ответ:

— Против воли, а придется покарать всех... Мятежом грозят стрельцы. А смирять их нет средств и возможности сейчас...

Но все-таки надежда теплилась еще у всех в груди.

И, кроме Кроме, за которого почти некому было хлопотать, все обвиненные живо сомкнулись и стали лицом к лестнице, с высоты которой тот же сиплый голос начал обычную перекличку:

— Семен Грибоедов.

Толстяк с трудом отдал поклон и отступил на шаг от товарищей, влево.

Один за другим были вызваны остальные пятнадцать человек.

Затем дьяк развернул длинный свиток-указ и стал однозвучно читать:

— Великой государь и великой князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белья России самодержец, велел сказать тебе, Семену Грибоедову:

«В нынешнем, 7190 (1682) году, апреля в 30-й день били челом великому государю на тебя пятидесятники и десятники и рядовые стрельцы того полкового приказа, у которого ты был. Будучи-де ты того приказа, им, стрельцам, налоги и обиды и всякие утеснения чинил. И, приметываясь к ним для взятков своих и для работ, бил их жестоким боем. И для своих же взятков, по наговорам пятисотников и приставов, многих из стрельцов бил нещадно, взяв по два и по три батога в руки, и по четыре. И на их стрелецких землях, кото-

рые им отведены под дворы, и на выморочных местах построил загородные огороды и всякие овощные семена на тех огородах своих велел стрельцам покупать за сборные, полковые деньги. А для строения и на работы на те огороды жен и детей стрелецких же посылал. И в деревни свои, прудов копати, плотин и мельниц делати, лес чистить, сено косить и дров сечь. К Москве все то на их, стрелецких подводах возить заставлял. Для тех же своих работ велел покупать им лошадей неволею, бил батогами. Кафтаны цветные с золотными нашивками, шапки бархатные и сапоги желтые неволею же делать им велел. А из государственного жалованья вычитал ты у них многие деньги и хлеб и теми сборными, полковыми и остаточными деньгами и хлебом корыстовался. Да из караулов: стенных и прибылых¹, из недельных, и в слободах, со съезжих караулов — отпускал стрельцов очередных в отпуск по тридцати, и по сороку, и по пятидесяти человек и больше отпускал.

А за то имал ты с человека по четыре и по пяти алтын, и по две гривны, и больше. А с недельных — по десять алтын, и по четыре гривны, и по полтине. И теми деньгами корыстовался.

Да ты же, стоя в Кремле на стенных караулах, получал на них, на стрельцов государева жалованья, как полагается: деньги и запасы с дворцов. И то имал себе, а им не давал... Велел припасы продавать — и теми деньгами корыстовался ты сам.

И на дворовое свое строение лес и всякие запасы покупать им велел на сборные деньги и тем чинил ты им тесноты и разоренье.

И на двор себе, сверх денщиков, гонял на караул многих стрельцов и тех заставлял их всякую работу работать, и навоз чистить.

А как ты с приказом бывал на государственной службе (в походах) — с тех, кто хотел на Москве оставатца, имал ты великие взятки с боем да многих из тех, кто на Москве оставался, на свой двор гонял караулом и для работы. А будучи на государственной службе, в походах, в полках и в малороссийских городах, и в дорогах, чинил стрельцам всякие тягости: на их подводах свои запасы возил и добро всякое.

¹ При посольстве.

А блаженные памяти брата его, государева, великого государя, царя и великого князя Федора Алексеевича указом тебе с великим подтверждением о том обо всем было сказано: чтобы никаких взятков со стрельцов не иметь и на Москве работать на себя не заставлять, в деревни свои и к друзьям и свойственникам ни для каких работ стрельцов не посылать.

А для того тебе на пополнение дана была великого государя жалованная деревня в поместье, чтоб у полкового приказу твоего быти тебе бескорыстно. А ты, забыв такую великого государя милость и жалованье, твоего приказа стрельцам обиды, и тесноты, и взятки чинил, и налоги всякие, и бил их напрасно.

И великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич указал и бояре приговорили¹: за ту твою вину к стрельцам, за такие налоги и обиды и за многие взятки тебя от приказа отставить, и полковничий чин у тебя отнять, и деревни, что даны тебе, к Стрелецкому приказу отписать, а у Приказу быть на твое место иному полковнику.

А за то, что, будучи у того полкового приказа, у съезжей избы, от пятидесятников имал сборные их стрелецкие деньги и вычеты делал из денежных сборов, и хлебных, и иных взятков ради, — то все на тебе доправить и отдать челобитчикам против их росписей и челобитья.

А что ты имал в неволю мастеровых, работных, конных и пеших людей, и в деревню к себе их, и к свойственникам, и к знакомцам своим для работы посылал, — за то все доправить на тебе деньги и отдать челобитчикам.

Да за те же твои вины, что ты, будучи у приказа, чинил им, стрельцам, всякую тесноту и обиды ради своей корысти, великий государь указал: учинити тебе наказанье бить тебя батоги».

Тихо стало после прочтения этих слов и на площадке, наверху, и внизу, где стояли стрельцы и осужденные полковники.

Совсем помертвело лицо Грибоедова.

Исказились лица и у остальных его товарищей. Надежды, значит, нет...

А дьяк уже начал своим сиплым, безучастным голо-

¹ Обычная формула допетровских судебных приговоров.

сом читать и второй такой же указ, и третий, и все шестнадцать прочел.

С небольшими изменениями — они все слово в слово одинаковы, эти указы.

И лучше бы уж сразу, покороче сказали несчастным приговор. А это протяжное, медлительное чтение приносит лишние муки. Ожидание казни — гораздо тяжелей, чем самая казнь.

Кончено чтение.

Начинают обнажать до пояса первого Грибоедова... Вот повалили побагровелого, близкого к удару толстяка на землю.

Пухлая, жирная спина, похожая на пуховую подушку, обтянутую красным глянцеви́тым шелком, еще ярче краснеет под яркими лучами солнца.

Один из катов сел на голову полковнику, другой тяжело опустился на короткие, пухлые ноги. С двух сторон стали два прислужника-палача.

Свист издала гибкая лоза, опускаясь на спину... Багрово-темный рубец прорезал глянцеви́тую поверхность кожи. Вторая полоса легла на перекрест...

Визгливый, бабий вопль вырвался у Грибоедова.

— Помилосердуйте... Все уплачу сполна... Последнее отдам... Помилосердуйте... Застойте за меня, ребяташки... Ой-ой-ой... Не могу... помилосердуйте...

Визг становился все пронзительнее, перешел в какие-то нечеловеческие, животные вопли.

— Полно, — отсчитав известное количество ударов, сказал было сверху дьяк.

Палачи остановили на воздухе занесенные уже кверху батоги.

— Сыпь!.. Мало собаке этой... Самый окаянный был у нас... Въедчивый, как клещ... Ишь, как разнесло ево. Нашей кровью налился, ирод... Сыпь еще, — властно приказали стрельцы, выборные грибоедовского полка.

Остальные тоже поддержали товарищей.

— Жарь ево! Спина толстая. Вынесет... Катай, продажная твоя душа! Не то самово под батоги подведем...

Палачи не стали и ждать приказаний дьяка-начальника.

Снова засвистали лозы, которые после двух-трех ударов ломались в руках. Быстро отбрасывали их служители и брали свежие. Еще минут десять тянулась отвратительная, гнусная казнь.

— Полно, — крикнули наконец стрельцы.

Подняли Грибоедова, уже переставшего и вопить под конец.

Лицо у него было багрово-темное, как у задушенного, все перекошилось. Он не мог издать ни звука, только раскрывал рот, и что-то хрипело, kloкотало в горле, в груди.

Вода стояла тут же, наготове. Целым ведром обдали толстяка.

Он затрепыхался и понемногу пришел в себя.

Вдруг, полуодетый, избитый, с лицом в грязи, в крови, упал он на колени, повалился ниц перед стрельцами и заголосил:

— Отпустите, братцы... Отцы родные... Все верну, что на мне ищите... Вдвое прибавлю... Отпустите... В обитель уйду... Душу только отпустите на покаянье... Христом заклинаю... Христом Распятим, Пречистой Матерью Ево...

Потолковали стрельцы между собою, и один объявил:

— Ладно, поглядим. Коли наутро внесешь все, што ищем с тебя, — иди с Богом на все четыре стороны.

Пока толстяк стал поспешно одеваться с помощью тех же палачей, другие подошли к угрюмому, мертвенно-бледному Кроме. Полковник стоял неподвижно, стараясь не видеть отвратительное наказание товарища — Грибоедова. Палачи схватились за кафтан, чтобы раздеть и Кроме.

Но в тот же миг здоровяк сразу встряхнулся, быстрым ударом сбил с ног одного палача, оттолкнул другого и угрюмо озирался кругом, выглядывая: с какой стороны ждать нападения, чтобы дать такой же отпор.

— Свини погани, — прорычал он. — У нас нет можна бить офицер... Я — эдельман¹. Убить, вешить можна. Бить пальки не можна... Свини... свини... русски свини... свини...

Так с пеной у рта, яростно выкрикивал без конца Кроме.

Но палачи, сперва оторопелые от неожиданности, разозленные сопротивлением, разом, с нескольких сторон кинулись на «басурмана».

¹ Благородный человек (нем.).

— Ловко, немчин треклятый... Наших бьет да еще лается... Ах, аспид...

Это закричали стрельцы, которым и понравился поступок отважного человека, и в то же время было обидно, что бьют исполнителей их собственной воли.

Несколько дюжих стрельцов кинулись на помощь палачам. Завязалась почти молчаливая, отчаянная борьба. Как бульдог, оскалив зубы, рыча порою глухо и отрывисто, Кроме руками и ногами отбивался от нападающих. Чтобы не могли его обойти, он прислонился спиной к выступу крыльца и раздавал удары, пинки, кусал тех, кто вплотную подходил и обхватывал его... Ловкий, опытный в боксе, полковник долго бы не сдался палачам, но один из них подполз сбоку и потянул его неожиданно за ноги. Сразу рухнул во весь большой свой рост Кроме, сейчас же полуподнялся, но уже на него навалилось несколько дюжих, озверелых людей.

Началась новая схватка.

Вся одежда была почти оборвана на Кроме и висела лохмотьями. Лицо, шея — исцарапаны, избиты, покрыты струйками крови.

— Ломи... вали... вяжи ево, — хрипло, отрывисто кидали друг другу нападающие.

Рычание вырывалось из груди жертвы. Долго еще шла отвратительная свалка. И неожиданно — все стихло.

Силач перестал сопротивляться, сразу повалился навзничь, потеряв сознание.

— Ишь, прикидывается, как барсук на охоте, — подымаясь и отряхываясь от пыли, решил пожилой стрелец, тоже порядком потерпевший в драке. — Бери ево. Сыпь сколько надо. Собака немецкая...

И он, пнув ногой полковника, разом перевернул его вверх спиной.

Над бесчувственным человеком засвистали гибкие батоги.

Стрельцы глядели, словно пьянея от жестокой расправы.

Народ, хотя и роптавший открыто против обнаглевших стрельцов, зачастую обижающих мирных москвичей, сейчас тоже с каким-то болезненным вниманием следил за мерзкой сценой, и все были словно недовольны в душе, когда около вечерень дьяк заявил:

— Буде на сей день. Заутро — сызнава начнем раз-

борку... Кончено сиденье приказное. И по домам пора...

Унесли Кроме, так и не пришедшего в себя до конца истязания...

Увели Грибоедова и всех других под караул, который держали те же стрельцы.

Совершенно растерянные, шли полковники, не понимая, как еще могут они ходить. То, что прошло у них перед глазами, окончательно ошеломило их, спутало все мысли, стерло все желания и ощущения.

Одна мысль сверлила всем умы: «Как избежать позорного, мучительного наказания?..».

На другой же день при помощи родных, которых допустили к полковникам, они собрали все деньги, какие могли достать. Заложили и продали свои деревни и дома те, кто имел их. И все это было внесено на уплату начетов, указанных в челобитной.

Но стрельцы не расстались так легко со своими обидчиками. Кто не мог уплатить всего сразу или кого особенно ненавидели, — как Грибоедова, Нелидова, Глебова, Полтева, — таких ставили под батоги по два раза в день.

И не наказывали вовсе, по предложению стрельцов, тех полковников, которые успели заслать в слободы родных и закупить главных вожakov стрелецких.

Пощадили и начальников более человечных, как Перхурова, Кравкова, за которыми была к тому же боевая слава.

Но все-таки дней шесть выбивали из остальных все недоборы, которые в таких широких размерах насчитали стрельцы за полковниками.

А в то же время новые грозные вести стали доходить до слуха царя, бояр и Натальи, которая являлась как бы необъявленной правительницей при малолетнем сыне-царе.

Стрельцы, опьяненные первой большой удачей, совершенно потеряли голову. Мало им показалось того, что с осужденных полковников взыскали с каждого почти по две-три тысячи червонных в пользу стрельцов.

Пока на Ивановской площади истязали главных, ненавистных полкам начальников, у съезжих изб шла своя расправа. Там с раската, с вершины каланчей сбрасывали пятисотников, сотников и приставов, которых обвиняли в пособничестве лихоимцам-полковникам. И даже не давали убирать исковерканные трупы.

Потом пошли и дальше: царю была принесена жалоба на самого боярина Языкова. Его обвиняли в укрывательстве и потачке лихоимцам. И эту челобитную подкрепили самой наглой угрозой.

Прежние сотоварищи Языкова, Долгорукие и Милославские, которым стало очевидно, чью руку решил держать оружнический царский, были довольны этим требованием мятежников. Милославские даже, без сомнения, сами дали толчок новой просьбе.

Наталья, успевшая уже вызвать из опалы брата Ивана, нашла удобным посадить его на место Языкова.

Тут же было объявлено стрельцам, что царь исполнит немедленно их волю и желание, уберет воеводу.

Но когда появился указ о возведении в бояре Ивана Кирилловича Нарышкина, сразу награжденного и званием оружнического, поставленного наряду с Долгорукими во главе Стрелецкого приказа, — недовольство вспыхнуло в среде всех бояр, не только Милославских.

— Ого, быстро шагает молокосос Ивашка, — злобно хихикая, заговорил Милославский, лежа у себя и охая от воображаемых болей в ногах. — Надо скорей укоротить побегжку молодецкую. Гляди, поспеют всюду рассовать своих Нарышкины, возьмут засилье. Тогда и не выкурить их.

И послал старик Александра Севастьяновича созывать на беседу главнейших руководителей давно налаженного переворота.

Понеслись гонцы и к Софье. Милославская долго шепталась с царевной, призвав на совет юркую Родиницу.

Вечером постельница оставила дворец, но вышла не пешком, а выехала в колымаге, объявив, что собирается на денек-другой в Новодевичий, погостить у знакомой инокини да помолиться.

Несколько простых, небольших, но очень тяжелых сундучков и укладочек было поставлено под сиденье и в ноги Федоре Ивановне.

— И грузны же укладки, — заметил истопник, выносивший их.

— Как не быть тяжелым. Серебром набиты, рублевиками, — не то в шутку, не то серьезно ответила Родиница.

— Ладно. Толкуй по пятницам. Середа ныне... По-

мрешь — эстольких рублевиков не зацепишь. И в каз-
не царской не набрать их эстолько.

— Вестимо, не набрать, родимой ты мой, шучу я.
Полотна везу. Чай, знаешь — полотна куды серебра
тяжеле, коли они добротные... А мне царевна приказыва-
ла — матушке игуменье дар отвезти при случае...
Вот и тяжело...

С каким-то ликующим смехом уселась в колымагу
хохлушка и уехала.

Но не попала в Новодевичий Родимица, а очутилась
у Озерова, где и оставила всю свою кладь. А сама по-
шла по другим избам, к стрельцам и стрельчихам, с
которыми давно вела тайные переговоры.

Озеров до полуночи был у Милославского. Там ему
и всем другим главарям стрелецких мятежников розда-
ли небольшие клочки бумаги — списки тридцати чело-
век, обреченных на смерть, если только удастся под-
нять все полки и повести их уже не против своих
обидчиков-полковников, а туда, в Кремль, на пагубу
рода Нарышкиных, для возвеличения имени Милослав-
ских. Во главе списка стояло имя Артамона Сергеевича
Матвеева.

— Дело нелегкое, — в один голос толковали вожа-
ки из стрельцов. — Ишь, по душе пришелся нашим
царь юный, Петра Алексеич. Ровно обвел всех. Петру,
хоть ты режь их, никто худа не сделает.

— Да и не рушьте ево, — досадливо поводя плечом,
откликнулся поспешно Милославский. — Бог с
им. Ивана царем просите. А там все образуется само
помаленьку. Вторым царем — Ивана бы...

— Так можно... Хоша и много есть такова дубья,
што не уломаешь. «Есть-де царь один, — толкуют. —
Патриархом постановлен. Народом назван... Чего еще
царей?» Слышь, Стремянный весь полк, с им весь пол-
тевский да еще Жукова стрельцы. А про сухаревских и
толковать неча. Все за Петра. Вот как тут быть, не
скажешь ли?

— Как быть? А так и быть, што повестить надо:
собираются родичи царя ихнего желанного, малеванного
за все помстить стрельцам, чево те добились доныне.
Отольютца-де волку овечьи слезки. Так и толкуют На-
рышкины. Окружить все слободы хотят. Ково — пере-
резать, ково — сослать. Не один Языков так царю по-
радил. И Нарышкины. Особливо — Ивашка, боярин

новоставленный... Вот и повести своих. Што на это скажут? Да еще — новый-де царь, Иван, и вперед лет за десять оклады дать стрельцам велит. Вот.

— Это... да... это — не шутка... Это... гляди, и в крутую кашу заваритца, коли уверуют.

— Уж это ваша забота, штоб мужики веру дали... Орудуйте. А вот вам и помогатые.

И тяжелые кошели из рук скаредного боярина перешли в руки стрелецких полуголов.

Гримаса как от мучительной зубной боли исказила лицо дающего. И улыбкой радости озарились лица принявших дар.

— Твои слуги, боярин. Да коли Бог даст доброму делу быть — не забудь в те поры своих верных рабов. Места-то полковничьи — за нами штобы...

— Не то полковниками — и выше станете... Дал бы Бог час да удачу. Только, слышь: торопить дела нечево. Покуль не приедет Артемошка — и ни-ни. Ево нам надо первой всего. Он жить будет — и нам несдобровать.

Разошлись по своим слободам, разъехались Озеров с товарищами. И всю ночь вместе с Родимицей сеяли слухи, толки да деньги и в избах, и на ночных сходках стрелецких. И трудно было разобрать, что больше поджигает толпу, что дает отвагу, будит злобу: вести ли тревожные, деньги ли, раздаваемые щедрой рукой, или чарки и полные стаканы пенного вина, зачерпнутого из бочек, выставленных наружу для бесплатного, широкого угощения стрельцов и стрельчих.

— Изведем Нарышкиных.. Всех ворогов царевича Ивана изведем, — не стесняясь, орали здесь и там пьяные, хриплые голоса. — Ведите нас... Бери, хватай оружие... Бей сбор...

— Тише вы, оголтелые, — стали уже сдерживать коноводы слишком ретивых пособников своих. — Али не слышали: приезду Матвеева надоть ждать. Хоша всех изведешь лиходеев, он уцелеет — нам добра не видать. Один всех стоит... Без ево што без головы змия, вся порода Нарышкинская... Вот и пождем. Голову прочь — и змий подохнет... Помни это, братцы...

— Ладно. Повременить можно. Над нами не каплет. Пушай злодеи готовятца...

Открыто повели речь об этом в кружалах слободских, в торговых банях, везде, где только бывало со-

брание стрельцов. Конечно, Нарышкины скоро узнали про все. Узнал и сам Матвеев.

На другой же день смерти Федора, по воцарении Петра, поскакал к опальному в город Лух стольник Натальи, Семен Ерофеич Алмазов, с поклоном от всей царской семьи и просьбой: поскорей ехать в Москву.

Только один Матвеев мог объединить те силы, на которые опирались пока и новый царь, и вся родня его.

— Не даст себя Артемон Сергеич стрельцам в обиду, — говорили все братья Нарышкины, выслушав опасения Натальи по поводу заговора стрельцов на его жизнь.

— Он ли стрельцов боитца? Он ли их не знает? Вся крамола сгинет, только боярин ногою ступит в Москву.

Против воли должна была поверить Наталья.

Сам Алмазов даже не был хорошо осведомлен обо всем, что делается в стрелецких слободах.

Но не добрался еще Матвеев со всем своим обширным поездом до Москвы, как на одной из ночевок застал боярин семерых стрельцов, выехавших по торговым делам из Москвы, как они всем объявляли.

Матвеев, постарелый, болезненный, измученный годами тяжелого изгнания, лишениями и нуждой, которую часто приходилось выносить, рано ушел на покой в небольшую горенку, отведенную ему хозяином постоялой избы.

Улуча минутку, один из семерых ратников-купцов осторожно вызвал за хату Алмазова и тут, в тени, озираясь, не следит ли кто за ним, стал шептать:

— Слышь, боярин... Не погневайся, имени-отечества твоего не ведаю, чину не знаю... Дело великое сказать надо. Самому бы Артемону Сергеичу... да как к ему подойдешь, чтоб люди не видали... Гляди, и среди челяди боярской шпыни есть, от ваших недругов поставленные. Мне своя голова тоже дорога. А дело — важное...

— Што за тайность? Сказывай. Я боярину передам. Одно мне дивно: какая тебе забота о боярине? Што он тебе...

— Што... Не признал он меня... А я с им не раз и в походы хаживал, и в бой выступал. Доселе люб он мне... И Бога я боюсь... Неохота душу свою лукавому закабалить, как и тем шестерым товарищам. А дело учиняется адово...

— Говори ж, коли так, да живее. Сметят нас...

— Сметят, сметят... Я живо... На Москве вороги ваши да нарышкинские мятеж поднимают, стрельцов мутят. Списки пошли по рукам. Гляди: один и у меня есть... Вот... ково извести надо, как резня пойдет. Их сперва было имен тридцать прислано. А стрельцы на сходах еще с полсотни прибавили. И бояриново имя в первое место поставлено... Чтобы в этом злом не быть — мы все семеро и прочь от Москвы едем подале.

Сразу изменился Алмазов.

Взял список, свернул и поспешно спрятал за обшлаг рукава.

— Ну, спаси тебя, Бог, коли ты от сердца... Иди в избу... Я боярину скажу. Может, тебя поκληчет. А уж награды жди изрядной... Ступай.

И Алмазов кинулся к Матвееву.

Грустно улыбнулся старик, пробежав список, и сейчас же перевел взгляд на сына, бледного, но красивого юношу семнадцати лет, спавшего тут же на другой скамье крепким сном молодости.

— Што же, боярин. Ужли-таки назад не повернешь? — спросил негромко Алмазов, не замечая, чтобы весть о гибели встревожила старика.

— Видать, што молод ты еще, Ерофеич. И меня не знаешь. Помирать-то мне уж давно пора. Неохота было там гнить, в тайге, в бору медвежьем, ни себе, ни людям добра не сделавши... А про бунт той я давно сведал. И все затеи Милославских не зная — знал. Старые мы приятели... Привел бы Бог до Москвы доехать. Уж там — Божья воля. Либо тот бунт, все составы их злодейские порушу, либо там и голову сложу за Петрушеньку, за государя мово... Оно и лучше, коли старые очи мои скорее сырой землей покроют. Не увижу горя семьи царской, не увижу земли родной поругания и печали...

Наутро дальше тронулся Матвеев, торопя всех больше прежнего.

Только у Троицы-Сергия сделал привал на короткое время, чтобы поклониться мощам святителя.

Здесь явился к нему второй посол от царя, думный дворянин Юрий Петрович Лопухин, и прочел указ, которым опальному возвращались все его чины, боярство, все отобранные именья и пожитки.

Еще ближе к Москве, в селе Братовщине бил челом старцу от имени Натальи брат ее, Афанасий, юноша

лет девятнадцати, необыкновенно гордый и довольный тем, что был так рано возведен царем-племянником в чин комнатного стольника.

Бедняк не чуял, что это возвышение было для него смертным приговором.

Одиннадцатого мая довольно торжественно въехал Матвеев в столицу. Встреченный Нарышкиными, проехал в свой дом, заранее наскоро устроенный и приведенный по возможности в жилой вид.

Невольно слезы выступили на глазах у отца и сына, когда оба они, безмолвные, печальные, обошли давно знакомые, теперь опустелые, запущенные покои, оглядели стены, на которых грубые людские руки и беспощадная рука времени оставила следы разрушения.

Здесь, по этим комнатам, так уютно обставленным, с тикающими и звонко бьющими порою курантами по углам, ходила когда-то кроткая, веселая женщина, которую и старик и юноша так горячо и нежно любили: жена Артамона, мать Андрея...

Она давно лежит в родовой усыпальнице.

И почему-то обоим сразу пришло на мысль: скоро ли им придется лечь рядом с нею, незабытой, дорогой и доньше?

Каждый прочел мысль другого — и оба торопливо заговорили о чем-то постороннем, чтобы отвлечь ум от печальных предчувствий и ожиданий.

На другое утро пришлось принять целый ряд незваных гостей, и бояр, и стрелецких пятисотенных и пятидесятников, навестивших «с хлебом-солью» Матвеева, как своего бывшего начальника и покровителя. Потом оба они, отец и сын, поехали во дворец.

Петр с почетом, как деда, как старшего в роде, принял Матвеева. После парадного приема семья царская удалилась на половину Натальи — и там не было конца расспросам, рассказам, ласкам и слезам.

Когда же Андрей помянул про стрелецких полуголов и пятисотенных, утром навестивших отца, и назвал при этом имена Озерова, Цыклера, Гладкого, Чермного, помянул братьев Толстых, Василия Голицына и Волынского с Троекуровым да Ивана Хованского, — Нарышкины все только переглянулись с негодованием.

— Вот уж воистину: целованием Иудиным предаст мя... Первые заявили Шарпенки-братья оба... И Таруй-Хованский... А Подорванный ужли не был?

— Иван Михалыч Милославских? Не порадовал. Присыла от него удостоил чести. Был родич Александра. «Дядя, мол, без ног лежит... Котору неделю... А чело-м-де бьет заглазно»... Я и мыслю: не мне ли ноги подшибить собирается?..

— Давно собирается, — живо отозвался порывистый Иван Кириллыч. — Эх, жаль, его не пришлось мне за бороду потаскать, как трепал я анамнясь тово же племянника, Сашку-плюгавца. Недаром не любят они меня.

— Буде спесивиться, — остановила брата Наталья. — Слышь, родимый, горя много. Для тово и торопили мы тебя: скорей бы к нам поспешал... Сократить бы надо лукавого боярина и со присными его.

— Сократим, сократим, хоть и не сразу...

И Матвеев стал совещаться со всей семьей: что делать? Какие меры принять для подавления бунта, готового вспыхнуть каждую минуту?

— За царя бояться нечего, — в один голос объявил семейный совет. — Царь наш миленькой, Петруша-светик, даже тем извергам по душе пришел. Одно только хорошее и слышно про Петрушу. Вот роду нашему прочему — капут, коли им уверовать, — всех изведут...

— Вот оно как дело, Артемон Сергеич. Чай, и к тебе уж попали списки окаянные. Нас — под топоры всех. Матушку с батюшкой по кельям, под клобук да кукуль... Сестру Наталью — туды же... Ванюшку-братца — царем, не одним, так с Петрушей разом. А Софьюшку — шкодливую да трусливую кошку злобную, — ту наместо охраны обоим государям дать. Таковы их помыслы. Денег кучу роздали. Посулов — и больше сулят... Вина — море разливанное... А толки такие лихие идут и про нас, и про все боярство, что, не веря, душа не стерпит слушать их. Стрельцы как ошалелые стали... И бутырские с ими... Вот и порадь теперя: как быть? — задал вопрос Иван Нарышкин.

— Как есть — так пусть и будет. Не трогать их лучше пока. Орут они там, а сюды не сразу кинутся... Мы же им и от себя вести дадим. Даров пока пошлем, милостей, льгот ли каких посулим. А тем часом — иноземное войско да пища изготавим, по городам весть дадим, спешили бы дворяне и ратные люди всякие сюда, от обнаглелых дармоедов, от стрельцов стать на защиту всему вашему роду-племени царскому. Да

изготовитца поскорее, к Троице уехать хоша бы. Там поспокойнее, ничем здесь для всех для вас...

Общее одобрение вызвали слова Матвеева. Камень свалился с души. Что-то светлое зареяло в том безысходном мраке, которым были окутаны уж несколько дней все Нарышкины в своем высоком дворце.

Петр, молча, внимательно слушавший все разговоры из уголка, куда он засел вместе с девятилетней, черноглазой, хорошенькой сестрой Натальей, держа за руку малютку, быстро подошел к старику:

— Слышь, дедушка. Я и ранней не боялся... А как тебя послушал — и совсем покойно стало на сердце... Уж нет, с тобой ничево не поделают мятежники. Велю я наутро и плахи готовить... И колодки для них мастерить... Узнают теперя, крамольники...

И снова что-то, придающее мальчику сходство с сестрою Софьей, проглянуло на миловидном личике отрока.

Улыбнулся Матвеев и другие за ним.

— Не томашишь. Всево на них хватит... Дал бы Бог изымать медведя, а шкуру содрать сумеем. А то, слышь, гишпанцы и так толкуют: не побивши зверя, не дели шкуры. Помни это, внучек-государь, светик ты мой, Петрушенька...

И нежно, любовно притянул он к себе на колени отрока, стал гладить по шелковистым темным кудрям, целовал и полные румяные щеки, и ясные глаза, и пунцовые губы.

— Совсем вылитая Наташенька... Капля в каплю... И огонек таков же. Где што, а он уж — вяжи их... И загорелся. Ничево. Обладится. Хороший, истовый будет государь, земли держатель и охрана... Подай, Господь, как чается мне...

— Аминь, — общим легким откликом, словно эхо далекое, отозвались все на слова деда, такие таинственные, словно пророчески звучащие в этом тихом покое, в этот важный, решительный миг.

Потолковали еще и разошлись.

А когда покой опустел и в соседних горницах стало тихо, раскрылся футляр больших стоячих часов, оттуда быстро выюркнула фигурка уродца, карла царицы Натальи, Хомяка, и ужом выскользнула из комнаты.

Через какой-нибудь час тот же Хомяк вышел из

дворца и, пропутавшись, точно заяц на угонках, по разным кривым улочкам и переулкам Москвы, также незаметно, по-змеиному пробрался на двор и в хоромы Ивана Милославского, потолковал с ним довольно долго. А потом с Александром в закрытом возке выехал из ворот прямо к Замоскворечью, в кипень мятежа, в гулливые, бесшабашные стрелецкие слободы.

Злобные, мстительные крики, проклятия и брань слышались всюду на сходах, как только сообщали стрельцам, что Нарышкины послали за помощью по городам и даже в Черкассы, к гетману Самойловичу.

Многие с места готовы были схватить оружие, бежать в Кремль на расправу с правителями и родней Петра. Пришлось сдержать этот поток, готовый ринуться вперед раньше времени.

Кстати заговорили некоторые из стрельцов постарше, поблагоразумнее:

— Ну, можно ль всему, што скажут, веру давать? Сколько годов мы жили, никто из царей и бояр не трогал наши слободы. Одни милости видели мы с верху. А и то подумайте, братцы: какая власть у бояр на нас, коли царь не пожелает? А царя мы видели. Говорил он с нами. Што обещал — так и сделано. Ужли царю юному, кроткому не поверите?.. Без ево воли и Нарышкины засилья не возьмут.

— Не возьмут? — вдруг пискливым, птичьим своим голоском снова затараторил карлик, ненавидящий особенно Ивана Нарышкина за постоянные насмешки и обиды. — А вот слушайте, ратнички Божии, народ православный, што надясь учинил антихрист ходячий, Ивашка Нарышкин, враг ваш главный. Только поспел из опалы воротиться, оболосся во весь убор царский, державу и посох и корону взял. На троне прародительском расселся да и кочевряжитца: «Ни к кому-де так корона не пристала, как мне одному...». И кудри свои неподобные, длинные поглаживает. А тут вошла царица Марфа с царевной-государыней Софьей Алексеевной. И почали они корить нечестивца. «Как-де смеешь бармы царские, ризы помазанника и венец государев на свои грешные плечи облекать? Да еще при царевиче старшем, при свете Иване Алексеиче». А Ивашка Нарышкин как вскочит, как заорет: «Всех вас изведу, а ево — первого...». Как зверь дикий кинулся, за грудь царевича ухватил — и давай душить. Известно, пьяный озор-

ник... Ему што! Уж через силу и отняли царевича у разбойника. Вот он каков. Вас ли пожалеет?..

Слушают пискливую речь стрельцы — и не знают: верить или нет?

Крестится, клянется со слезами карлик. Что за нужда ему врать? И с новой силой крики и проклятья Нарышкиным прозвучали в теплом весеннем воздухе.

Только к вечеру вернулся предатель-уродец домой и снова, как мышь, как ящерица, заскользил по темным углам дворцовых покоев, ловя толки и речи, приказы и распоряжения дворцовые...

Ураганом понеслись события, начиная с субботы 13 мая.

Сходки в слободах происходили и днем и ночью. Тревоги, набат колокольный и барабанный треск сменялись один другим.

Каждую минуту можно было ждать, что мятежники, рассчитывая на слабую охрану Кремля, двинутся в город. Но они не приходили. И во дворце уж привыкли к этим слухам и толкам о том, что «стрельцы выступают из всех своих гнезд с оружием и пушками».

Сначала у всех ворот кремлевских были поставлены усиленные караулы с приказанием: при первой тревоге запираť тяжелые ворота, опускать крепкие железные решетки.

Несколько раз так и делалось, но тревога оказывалась ложной — и снова скрипели ржавые блоки и цепи, завывали на штырях крепостные стопудовые створы ворот, распахинаясь настежь, по-старому.

Особенно насторожились в Кремле в воскресенье 14 мая. Обычно в воскресный день являлись уж который раз незваные, буйные гости в пределах Кремля, у решеток и лестниц дворцовых.

Все иноземцы-ратники, какие сейчас нашлись налицо, были стянуты в Кремль. У Красного крыльца стояли полевые орудия. Фитили дымились у пушкарей. Но какое-то зловещее затишье сошло в этот день на Кремль.

Ни одного стрельца не показалось ни с какой стороны.

Одних во дворце успокоило это затишье.

Другие толковали:

— Ой, быть худу. Кот также пригибается, дыхание таит, а потом и прядает на свой кус... Гляди, и они, окаянные, притихли перед наскоком наглым.

Матвеев также склонялся к последнему мнению, но ничего не говорил.

— Мы готовы. Што можно — сделано. А там — воля Божия.

Ночью, как и днем, особенно напряженной жизнью жила вся охрана Кремля.

Но и ночь тихо прошла.

Только к рассвету пришли вести из разных слобод:

— Изловили каких-то гонцов стрельцы. Будто за подмогой послали Нарышкины по городам, стрельцов бы извести вконец... Вот и пытали их до свету.

Думные бояре, съехавшиеся уже во дворец на большой совет, послали проверить слухи.

Вести оказались верные.

По указанию Хомяка стрельцы успели перехватить двух-трех из верных людей, посланных по городам с царскими грамотами.

Это явилось последней каплей, переполняющей сосуд.

Только что разошлись на короткий отдых отряды, сторожившие целые сутки у городских ворот, охраняя дворец и Кремль, как от стрелецких слобод двинулись передовые отряды мятежников, вооруженные одними копьями. Стрельцы толковали:

— Пищали — неспособны в тесном бою. И тово убьешь, ково не хочешь. Бердышами драться — тоже места нету в покоях да в переходах узеньких... А копье лучше всего. Надежная рогатина. И на медведя годится, не то на боярина...

Мятежники валили потоком, одна толпа за другой, со всех концов, со всех посадов, где были раскинуты гнезда стрелецкие.

Не по своей, конечно, воле двинулись в путь стрельцы.

Ровно в девятом часу утра, в понедельник 15 мая к сборным избам мятежных полков прискакало несколько всадников на взмыленных кровных жеребцах.

Это были Александр Милославский, братья Толстые, Василий Голицын и другие с ними еще.

Каждый из вестников гибели направился к заранее намеченной съезжей избе, где стрельцы, согласно уговору, стояли уже под ружьем, в походном строю, с барабанами, знаменами, с полковыми орудиями наготове.

И везде одну ложь громко объявляли всадники:

— Нарышкины царевича Ивана задушили. На царевен посягают, на старших, из роду Милославских. Спешите, ратные люди, как вы крест целовали, — выручайте род царский, племя царя Алексея... Нарышкин и Петра заточить хочет, сам на трон умыслил воссесть...

Звон набата слился с треском барабанов, призывающих выступить в поход.

Опытные в боевом деле люди, Василий Голицын и Петр Толстой, сейчас же сметили, что слишком тяжело вооружены стрельцы.

— Стой, ребята! Не с кем, почитай, и дратца во Кремле. Вести есть, што караулы там сняты крепкие. Оставьте пищали, бердыши. Кидайте мушкеты. И копыя на них, собак, на Нарышкиных с Артемошкой-чародеем, и тово хватит... Ни одна душа за их и не заступитца...

Послушали стрельцы. А чтобы совсем удобно было идти в рукопашный бой, обломили об колено длинные древка у своих старых, испытанных копий.

Вот почему с короткими рогатинами прихлынули и первые и другие все отряды стрельцов к заветному месту, к дворцовым стенам в Кремле, к его крепким мостам и воротам.

Боярин Матвеев, ночевавший во дворце, около десяти часов утра собрался ехать домой. Только что окончился обычный боярский совет, начавший обсуждение дел, по обычаю, еще на рассвете. И все остальные бояре домой собрались. К так называемому Спешному дворцовому крыльцу уже подали карету Матвеева и других думных бояр и царевичей.

От этого крыльца отъезжали обычно, кого спешно посылали за чем-нибудь из царских хором, и сюда же подъезжали все гонцы, чтобы не спешиваться на самой площади Ивановской, как того требовал дворцовый обычай.

Старик Матвеев уже неторопливо спускался по лестнице, опираясь на руку сына, когда за ним раздался тревожный оклик:

— Пожди маменько, боярин Артамон Сергеич!

Отец и сын остановились и невольно оглянулись назад.

Их звал князь Федор Семеныч Урусов, видимо чем-то сильно напуганный и угнетенный.

— Што приключилось, боярин? — спросил Матвеев.

— Идут... идут... все полки, до единого... Изо всех

слобод выступили. Земляной город уж миновали. В Белом городе показались... А иные отряды передовые уж и тут, у ворот кремлевских... Слышишь, боярин?.. Што буде теперь?..

— Э, как не приелось, князенька, трусу праздновать. Который раз уж приходят крамольные. А все их не видать. И ныне, видно, так...

— Ну, нет уж... Глянь сам... Видно сверху-то... Сам погляди...

Не говоря больше ни слова, повернул назад Матвеев и стал взбираться на лестницу быстрее, чем этого можно было ожидать от старика, хотя бы и с помощью юноши-сына.

Пока они втроем дошли до хором Натальи, несколько человек подтвердили справедливость сообщения Урусова.

У Натальи уже собрались многие из бояр, бывших на совете.

— Ворота припереть надо скорее кремлевские. Беда, что не солдаты, не иноземные роты ныне на карауле, а стрельцы те же, полку Стремянного. Гляди, предадут нас ради товарищей. Да на все воля Божья. Зовите полуполковника сюды, который с караулом, — приказал Матвеев.

— Да отца бы патриарха просить надо... Все с им покойней, с молитвенником Господа Иисуса Христа нашево... Слышь, государь, Артемон Сергеич — предложила Наталья.

— Как не позвать, покличем. Оно и для народа — препона. Не посмеют озорничать так без оглядки, коли сам патриарх тут будет... И святейшего зовите скорее.

Появился Григорий Горюшкин, полуполковник Стремянного полка, отдал всем поклон и стал у дверей, ждет приказанья.

— Поближе подойди, Григорьюшко, — ласково позвала Наталья. — Вот слушай, што бояре тебе станут сказывать. Выручай государей своих. На тебя и надежда. А мы тебя век не забудем.

Снова поклонился и подошел поближе позванный.

Смотрят на него все, особенно — царь Петр.

Сейчас хочется узнать отроку: что думает стрелецкий голова? За кого он станет? Чью сторону будет держать: товарищей с Милославскими или их, царя с Нарышкиными?

Но у Горюшкина лицо какое-то деревянное, непроницаемое. Не видно ни злобы на нем, ни сочувствия к тем, кто просит о защите. Только затаенное любопытство. Словно он любитесь на очень редкое, занимательное зрелище и ждет: какой исход будет из всего, что сейчас происходит пред его глазами?

— Первей всево — ворота загородить-запереть надо. Решетки спустить, рогатки поставить. За воротами, на мостах — малость людей оставить, а больше — на стены. И ни единой души ни в город, ни из городу не пропускать. Да еще...

Горюшкин сделал движение, словно желая заговорить.

— Што, Гришенька? Али сказать што собираешься?

— Доложить думал. Сам вот с докладом шел, когда позвали меня перед ваши, государей, царские величества. Прибежали от ворот кремлевских, от караулов стрельцы мои. Толкуют, ко многим-де воротам приступили шайки невеликие стрельцов и бутырцев. Зла пока не чинят никакова. А, гляди, станем ворота закрывать, тут и помешают. Так как нам быть? В бой идти с ими до смерти али как иначе?

В тяжелом раздумье опустились боярские головы. Теряют выхолощенными руками свои седые и темные бороды, усы потрагивают.

За всем наблюдает, подмечает всякое движение, ловит каждое слово царь-ребенок. Ждет: что скажут бояре?

Потолковал негромко с ними Матвеев и снова обратился к Горюшкину:

— Тяжкое дело — кровь проливать. Особливо ежели первому быть. Не надо крови. Смуты кровью не зальешь, сильнее разгоритца, гляди. Вас, поди, больше у ворот, ничем их, покуда. Скорее и делай дело... Станут мешать — потеснить малость вели. У них тоже рука на своих не подымется, драка не кровавый бой. И дело свое сделаете, и масла в огонь не плеснете. Беги скорее, не поздно бы стало.

Вышел Горюшкин, послал ко всем воротам приказ, как ему Матвеев сказал. Но посылать стрельцов же пришлось. Иные — честно исполнили приказание. А многие тогда только добрались до отрядов у ворот, когда и здесь стояли целые отряды бунтующих, и у самого Красного крыльца уже плескались волны мятежа.

Вся площадь между Успенским и Благовещенским соборами кипела котлом.

Отряды Стремянного полка, поставленные для охраны у входов во дворец, стояли безучастно, как будто ждали минуты, когда можно будет присоединиться к товарищам-бунтовщикам. А перед ними, лицом к лицу, все нарастая, сплошными рядами теснились стрельцы и солдаты, возбужденные, иные — без кафтанов, в одних рубахах, и, поджимая отсталых товарищей, перекликались друг с другом, слушали, что говорили в разных местах подстрекатели — попы раскольничьи и посланцы Милославских, шныряющие везде и всюду.

Отдельные крики, угрозы, брань сливались в нестройный, но зловещий шум. На Ивановской площади, где стояли кареты бояр, окруженные челядью и вершниками, особенно громко гикали и кричали стрельцы. Разогнав холопей, они в щепы изломали экипажи, калечили лошадей, ломали им ноги и орали:

— Не убежать боярам от наших рук! Все попались!

Не медля нисколько, заняли матазники караулы у всех кремлевских ворот, у городских рогаток.

Бояре еще не показывались, хотя толпы и кричали не раз:

— Бояр к нам сюды... Нарышкиных нам, Матвеева Артемона... Ответ держать должны! Бояр подавайте!

Во дворце ждали патриарха, одно присутствие которого должно было сдержать хотя немного эту буйную, пьяную толпу.

Пока патриарх облачался и собирался выйти из своих покоев, вся царская семья, окруженная кучкой бояр, сбилась в страхе в одном покое, в окна которого так и ударяли неистовые крики стрельцов.

Особенно часто долетало два имени:

— Ивашку долгогривого с братьями сюды подавайте... Артемошку-чернокнижника... К нам их сюды.

При этих криках Иван Нарышкин безотчетно подбирал, словно спрятать хотел, свои волнистые длинные волосы, которыми гордился, как лучшим украшением.

Он, как и братья его, по примеру западных принцев, в отличие от бояр, довольно коротко носивших волосы, не стриг кудрей, и многие молодые дети боярские переняли эту моду у Нарышкиных.

— Слышь, Кирюша, и ты, Левушка, подите сюда... И всех зовите. Андрюша, и ты с нами, — каким-то не-

обычным для него, мягким заботливым голосом позвал Андрея Матвеева, всех родных и двоюродных братьев Иван Нарышкин.

Привычной надменности и задора теперь не осталось ни капли в этом гордеце.

Отойдя подальше от других, он стал шептать братьям и Матвееву:

— Слышали? Все про волоса про наши кричат. Ворвутся если звери эти, так сейчас и признают всех. Не срезать ли кудри поскорее.

— Э, пустое, — отмахнулся от брата Афанасий и вернулся к матери и отцу, которые молились в углу перед иконами, обливаясь слезами.

Набожный юноша опустился с ними рядом на колени и стал также горячо творить молитву.

Пришел наконец патриарх Иоаким с несколькими митрополитами и попами кремлевскими. Чудотворный крест литой из золота, с частицей Древа Господня, блестел у него в руке.

Потолковав немного, — кому выйти к народу? — старец двинулся из покоя, а за ним князь Михаил Юрьевич Долгорукий, как начальник Стрелецкого приказа.

— И я пойду туды... Меня зовут, спрошу, чево им? — твердо объявил Матвеев.

— Помилуй, не ходи, — обнимая старика, торопливо заговорила Наталья. — Слышь, тебя ищут изверги! На тебя натравили псов этих насытых. Тебя не станет, кто нам защитой будет!

— Господы! Пусти, Наташа. Может, наша трусость нам только и страшна. Нет на моей душе греха. Знают стрельцы Артамона Матвеева. Чист я перед ими. А коли оболгали и меня, и род ваш нарышкинский, так я открою им глаза.

— Што поделаешь с извергами? Пьяные, безумные, поди... И слушать не станут.

— А коли правда твоя — и сюда их дождемся. И в покоях отыщут. Не пристало мне от смерти хоронитца за женской душегреей... Пусти, Наташа... Андрюшу моего побереги, гляди, коли...

Он не досказал и вышел за патриархом и Долгоруким.

В этот самый миг новый гул покрыл прежние крики и ропот, долетающие до напуганной царской семьи.

Зловещий набат, тревожный, пугающий, заставляющий сильнее биться самые смелые сердца, сгоняющий краску с самых розовых щек, заметался короткими, частыми звуками в высоте над Кремлем, здесь, над кровлями царских покоев, над древними стенами и башнями твердыни Московских царей. Этот наглый, вызывающий набат, до сих пор гудевший только в слободах, в гнездах мятежа, властно звучит сейчас со всех кремлевских колоколен.

Напуганная уж и без того Москва сразу дрогнула; во всех углах и жилищах напуганно переглянулись люди, заслышав этот, все растущий, все более зловещий и пугающий, набатный звон кремлевских колоколов...

А семье Нарышкиных и Петру, даже слабоумному Ивану-царевичу показалось, что каждый удар набата не только врывается в окна покоя, где сидят они, затихшие, оцепенелые... Нет, они точно видели, как выбивают эти звуки из стены кирпич за кирпичом, мнут, ломают все, что встречается им на пути... Рвут тело и душу на мелкие части...

Необъяснимый, панический страх охватил и мальчика-царя.

Но в то же время он не перестает наблюдать и за окружающими, и за самим собой, словно два существа сидят в его груди: одно — страдающее наравне со всеми, другое — ко всему безучастное, не знающее страха и радости, только зорко наблюдающее мысли и дела людей.

Вдруг так же неожиданно, как возник, умолк этот колокольный вопль, вихрь медных звуков и стонов, судорожные вздохи и угрозы, мятежные оклики, вылетающие из груди незримого, но рядом, совсем близко стоящего гиганта.

Яркое солнце, как одинокий глаз, заглядывающее в окно, казалось оком этого загадочного чудовища, которое уж наклонилось над дворцом, выглядывая: кого бы избрать себе первой жертвой?

Не один набат замолк в Кремле; как-то разом стихли все голоса и клики, потрясавшие раньше воздух.

— Должно быть, кир-патриарх с мятежными говорит, — подумали все в покое — и не ошиблись.

Кроме Анны Леонтьевны, кончившей молиться и державшей на руках внучку Наталью, и царевича Ивана, все кинулись к окнам, приоткрыли их и стали прислушиваться.

Иван в своей обычной неподвижности сидел на скамье в одном из углов и забавлялся ручной белочкой, любимым своим зверьком. Она возилась и бегала по рукам, по плечам, по голове юноши, а он даже закрывал от удовольствия глаза, когда когтистые крошечные лапки проворно скользили у него по волосам, по шее.

Но едва приоткрыли окна Наталья и Нарышкины, сейчас же все откинулись назад. А тяжелые рамы, как будто дернутые снаружи кем-нибудь сильным, большим, с шумом распахнулись настежь, впустили в покой тучу пыли и сору.

Не ветер, настоящий ураган налетел на Москву так же неожиданно сверху, как внизу разыгралась буря людских страстей. Заклубились тяжелые, свинцово-синие, с багровым оттенком, тучи. Они быстро затягивали небо. Не успели передовые звенья этих воздушных драконов коснуться края солнца, как через минуту все оно было закрыто тучами, потонуло в них, и ясный майский день сменился вечерней печальной мглой.

Гуще и гуще наплывали тучи, сильнее становились порывы ветра, бросающего новые тучи пыли туда, к небу, навстречу клубистым облакам. Но дождь не начинался. А между тем ливень был бы так отраден. Он освежил бы сгущенный, полный зноем воздух; охладил бы, может быть, и воспаленные головы мятежников, снова поднявших шум там, у Золотой решетки широкого крыльца.

Прокатился удар грома, далеко-далеко... Другой, третий, уже поближе. Раскаты его на миг заглушали народный ропот. Но дождь все-таки не начинался. Сухая гроза, подбираясь все ближе и ближе, опаляла молниями совсем почернелые тучи, грозно ударял гром... И ни одной капли дождя не упало все-таки с разгневанного неба на разъяренную толпу людей.

Отойдя от окон, все уселись в тоскливом ожидании.

— А ведь нынче память царевича Димитрия — отрока, во Угличе-граде убиенного от злодеев, — вдруг почему-то негромко проговорила Максимовна, нянька царицы Натальи, доживающая свой век при своей питомице, богомольная начетчица-старушка.

Пугливо переглянулись сидящие в покое.

Одна мысль пробежала у всех: «Что это — случай или печальное предзнаменование?»

Но раздумывать было некогда.

Поспешно вошел митрополит Адриан:

— Государыня-царица, поизволь, послушай, что возвещу тебе. Такие речи воровские злодеи те ведут, што и слушать неподобно. Видимо, враг лукавый смущает души людские, князь тьмы уловляет рабов и слуг своих в яве и...

— Батюшко, отец митрополит, буде про души-то, — впервые подняла голос Анна Леонтьевна. — Ты про дело-то нам скажи. Про речи мятежные. Што несут они? Чево им надоть, окайнным? Денег, што ли ча? Казны али водки?..

Снисходительно поматывая головой, как бы давая понять, что он извиняет старуху, охваченную волнением, Адриан заговорил не так витиевато и поживее:

— Все не то, государыня-матушка ты моя, Анна Левонтьевна. В одну душу орут: «Извели, удушили-де лиходеи-изменники Нарышкины и другие лихоимцы царевича Ивана. И Петра-государя извести-де хотят, сами бы сесть на царство»... А многие тут же Матвеева-боярина да Языкова поминали... Да на крик кричат: «Подавай-де нам изменников, губителей царских, Нарышкиных. А не выдадите — всех вас смерти предадим»... Господи, сколь велико озлобление и слепота человеческая, — снова впадая в русло проповеди, заключил Адриан.

Никто не успел ему ничего ответить.

Быстро вошли Матвеев и сам патриарх.

— Слышали, бояре? Што скажешь, государыня-царица, Наталья Кирилловна? Может, Бог дал, все и обойдется, — торопливо, почти радостно заговорил Матвеев. — Омманули нагло всех вороги наши. Може, и на свою погибель. Теперь, гляди, как бы на их голову не пала гора, нам на пагубу воздвигнутая. Покажем народу Ивана. Жив-де он. И государь-де, Петруша, — дал Господь милости, — жив, целехонек. А тамо — потолкуем с ними, со всеми, шалыми... а тамо... Идем поскорее.

Петр первый двинулся было к Матвееву и патриарху, стоящим ближе к дверям.

Но Наталья даже не поднялась с кресла, в котором сидела, роняя беззвучно и часто слезу за слезой.

— Што же молчишь, государыня? Поведай што-ли-бо. Тебе подобает к народу вывести детей своих, госу-

дарей, царя и царевича. Слово свое скажи царское — и заспокоишь мятеж. Верь ты мне, Натальюшка.

— Государыня, помилуй! Изволь выйти. Ворвутся — всех нас перебьют! Скажи им: жив-де царевич старшой... Вот он... Покажи его народу, — молил растерявшийся совсем Языков.

— Выйди, государыня, — просили все другие: Салтыков, Григорий Ромодановский, Нарышкин.

— Мне... вести сына... туда?..

Только и спросила с тоской, заламывая руки, Наталья. Встала во весь рост перед патриархом и боярами, быстро притянула к себе Петра и прижала к своей груди.

Такая сила, такая мука и заразительный страх были в этих словах матери, которой предлагают вывести ребенка-сына к бунтующей, озверелой, полупьяной стрелецкой толпе, что ни у кого ни единого звука больше не сорвалось с губ.

А крики и вопли, вместе с порывами бушующего ветра, все громче и наглее врываются в распахнутые окна.

И от этих криков еще глубже, еще зловещее казалась тишина, наступившая в покое. Как будто все к смерти готовилось и молилось в душе или исповедывалось перед своей душою.

— Белушка, прочь, больно! — неожиданно нарушил тишину глухой, суюсюкающий голос царевича Ивана.

И он с тихим, глуповатым смешком стал добывать из-за шивороты зверька, который забрался туда вниз головой и теперь, чувствуя неловкость, пятился задом из-под ворота рубахи царевича, шевеля торчащим кверху пушистым хвостом.

На миг оглянулись все на бедного недоумка и сейчас же снова обратились к царице, ожидая, не скажет ли она чего, не изменит ли решения?

Толпы мятежников росли. Видимо, ими руководили искусные руки... И, конечно, долго они не будут стоять и кричать там, внизу, у крыльца... Сюда ворвется вся буйная ватага. И уж поздно тогда уверять их в чем-нибудь, призывать к благоразумию, молить о пощаде.

Понимали это все, как понимала и сама Наталья. Но никто не решался первый приступить к матери и требовать, чтобы ради общего спасения она подвергла опасности свое дитя, царя-отрока.

Не тронут его стрельцы. В этом все убеждены. А как знать, не стоит ли уже за порогом несколько подговоренных злодеев, вроде Битяговского, и не будут ли нанесен удар с той стороны, откуда никто и не ожидает?

Понимают это все. Видят грозящую им гибель — и молчат.

— Уйти отсель... бежать, ужли не можно? — опять с тоской вырвалось у Натальи.

Никто ей не ответил.

Только Матвеев молча, безнадежно покачал головой.

Он уж успел узнать, что все пути отрезаны. Везде стрелецкие караулы. Коней стерегут в конюшнях мятежные стрельцы... Бежать невозможно.

— Наташенька, дочушка моя, а пошто ж и не выйти тебе со внушеньком?

Этот вопрос негромко, но внятно задала царице Анна Леонтьевна, подойдя и слегка касаясь рукой плеча дочери. Рослая, красивая женщина лет сорока шести, она казалась старшей сестрой царицы.

— Слышь, милая: чево боишься? Не грозят же внученку мому, Петруше-голубчику. И, словно бы добрые люди, толкуют: пришли-де за брата ево, за Иванушку, постоять. Милая доченька, чево ж боишься? Бог с тобой и с Петрушенькой с нашим... Ждать, слышь, хуже. Смерть — не там, куда человек не идет. Она там, где сам стоишь. Вот она, здесь, со мной рядом... и с тобой... и с ним, с младенцем, рядышком. И так все ходит, все ходит, покуль Господь не скажет: «Пора приспела»... И скосит она всякого, кому пора придет. Ему — так ево, младенца, унесет ко Господу... И глаза мои от слез затуманятца, солнышко видеть перестанут... А все жить буду, хошь и старая, дряхлая стану, никому не нужная. Што же боишься, доченька? Господь с тобой. Он, Петруша-царь. Ево зовут, слышь... Дети зовут. Старые, буйные, пьяные... Да все же дети ему, отроку, помазаннику Божию. Надо пойти. Может, выйдет он, слово-другое скажет — и души их спасет. От греха удержит. Падут ковы адовы. Кто знает? Слышь, Наташенька. Крепи сердечушко. На Бога положишься. Иди. Не там смерть. С нами, тут она... везде она... Не бойся смерти, доченька. Так и внучка учи. Ступай с Богом!

От этих простых, но таких значительных и по

смыслу, и по неожиданности своей слов чем-то новым пахнуло всем в душу. Стал бледнеть, исчезать животный, ослепляющий разум страх, в котором цепенели они раньше.

Словно себя нашли эти люди, с безмолвной мольбой окружающие сейчас Наталью и Петра. Им уж как будто и все равно стало: выйдет ли царица, выведет обоих братьев или не успеет этого сделать? И все они падут под ударами озверелой толпы, когда, потеряв терпение, стрельцы ворвутся сюда, в покой.

Что-то всем зашекотало горло, как будто слезы подступили к нему. Но не прежние слезы ужаса и бесильного гнева, от которого все раньше задыхались.

Нет. Стоило хлынуть этим новым слезам, и, наверно, сразу хорошо, легко станет на душе, как после покойного, крепкого сна...

И у первой хлынули эти слезы у Натальи.

Тихо плача, не говоря ни слова, взяла она за руку обоих братьев и пошла к дверям. Обливаясь слезами, двинулись за нею и Нарышкины, и все бояре и боярыни, бывшие при царице в покое.

Только не пошла мама с царевной Натальей, горько, неутешно рыдая и отирая глазки девочке, которая тоже плакала, хотя и плохо сознавала: отчего ей так хочется плакать? По приказанию царицы мама отнесла царевну в ее покои, в терем. Туда же увели трех братьев Натальи: Мартемьяна, Льва и Федора, которым было всего четырнадцать, одиннадцать и шесть лет от роду.

Чем ближе подходили все к той части дворца, где стояла Грановитая палата и широкое Красное крыльцо вело к соборам, тем слышнее стали крики мятежных ратников.

Страх снова прокрался в более робкие сердца, особенно тем, кто чувствовал грехи за собой.

Незаметно отстал Афанасий Нарышкин и прошел в церковь Воскресения Христова, что на Сенях государственного дворца. Там он распростерся ниц перед престолом в алтаре и молился о спасении своем и всей семьи их.

Иван Кириллыч с братьями тоже отстал от всех, повернул к царицыным хорам и заперся там, в светелке маленькой царевны Натальи, приказав прислужникам не говорить, что они здесь. Скоро к ним пришел старик Нарышкин с Андреем Матвеевым, которых На-

талья и бояре послали сюда, как в более безопасное место.

Как только Наталья с сыном и пасынком показались на площадке крыльца, их так и шатнуло назад ударами ветра, кидающего тучами пыли в лицо. Но царица словно и не замечала ничего. Только прижмурила глаза и направилась прямо к каменному барьеру, который невысокой и довольно широкой стеной обошел всю площадку.

На этой стенке, доходившей до половины роста человеческого, обычно устанавливали полковой барабан дежурных полков при особом часовом для подачи сигналов всем караульным во дворце. Ветром барабан давно снесло вниз. Часовой отошел к дверям Грановитой палаты, укрываясь там от бури.

Как раз в это время, когда Наталья с сыновьями появилась на крыльце, на площади пронеслась весть:

— Царевна Софья у Аптекарской лестницы угощение поставила гостям... Три бочки пенного пива поставлены. Пей, сколь много душа просит...

Самые бесшабашные головы кинулись на зов. Задние ряды поредели. Остались впереди люди, убежденные, что во дворце действительно совершилось преступление, желающие произвести свой суд и расправу с злодеями царскими. Поэтому, как только показалось большое шествие на верху Красного крыльца, стрельцы сами стали укрощать друг друга:

— Тише, не галдите... Идут... Бояре, кажись, нос показали... Гляди, никак, и святейший сызнова с ими... Да и царица сама... Не обманули бояре. Сказали, что выйдет... царя-де приведет с братом... Вот и есть она.

Хотя было довольно темно от бури, но кто из стрельцов не знал наряда государыни-царицы? И все невольно притихли.

Когда же по сторонам Натальи обрисовалось два детских облика, удивление стрельцов выразилось новыми криками:

— Гляди, никак, сам царь тута... И царевич с им... Гляди, братцы... Глаза отводят... Удушен царевич... А энто — другой хто?..

— Молчите... Царица говорит, никак. Не галди, ребята... Слушать дайте.

Как можно больше напрягая голос, чтобы ее услы-

шали внизу, несмотря на шум ветра, Наталья заговорила к стрельцам:

— С чево мятеж затеяли, стрельцы государевы? Вам ли так делать надо? Пошто крамолу сеете по земле, врагам царства радость даете?.. Ложные вести поведали вам. Вот оба они, государи, живы и здравствуют. И Петр Алексеич, царь-государь, и брат ево, царевич Иван Алексеевич. Глядите, коли не верите... Вот...

По знаку Натальи Михаил Алегукович Черкасский и Борис Голицын поставили обоих братьев на самый каменный барьер — так, что со всей площади стало видно.

— Царь... Это царь наш малолетний, Петра Алексеич... Видим, знаем... Гляди, братцы, он! — закричали передние стрельцы остальным.

И даже в этом мгlistом освещении издалека все узнали своеобразную фигуру, поступь и стать отрока-царя.

— А вот другой хто — не знаем, — опять закричали вожаки. — Може, он — и не он. Не часто видали батюшку царевича Ивана... Попытать бы надо...

— Попытайте, попытайте, — подтвердили отовсюду голоса.

А в это же время какой-то дюжий стрелец при помощи товарища уже тащил высокую лестницу, стоявшую у Благовещенского собора, где делались какие-то поправки. Приставленная к крыльцу лестница достала до самой стены, на которой стояли Иван и Петр.

Два стрельца постарше, выдавшие царевича во время торжественных выходов, живо взобрались на самый верх лестницы и, обнажив головы, пристально разглядывали Ивана.

— Ты, слышь, государь, ты Иван ли царевич? Не извели тебя Нарышкины? Не удушил Ивашко Нарышкин? Ты сам и есть он?

— Вестимо, я царевич. Кем же мне быть-то? Мужик ты. Я бы тебя! Ишь, напужали у нас всех... Чучелы... Станет дядя Иван душить меня. Пошто?

И царевич носком сапога сбирался ткнуть в лицо бородачу, но тот уже стал спускаться к товарищам вместе со вторым стрельцом.

— Царевич энто, сам он сказал. Облаял меня государь. Никому быть, как он. Може еще хто попытает, робята?..

Еще несколько стрельцов поднялись один за другим. Иван уж и отвечать не мог спокойно на их вопросы.

— Провалитесь вы, идола! Слепы, што ли... Я вон плохо вижу... А то бы уж ткнул вас...

— Он, он... И слепой, почитай, вовсе... Никому иному быть, как царевич то... — стали объявлять люди, побывавшие на лестнице. — Нет подмену. Напраслину сказали нам.

Очевидно, в настроении мятежников наступил перелом. Им и страшно и стыдно было всех бесчинств, какие натворили они сгоряча.

Раздались голоса:

— Помилуйте нас, государи наши, и ты, государыня... Налгано нам. Шли не для мятежу. Ваши царские величества хотели застоять... От изменников оберечь. Помилуй, царь-государь, светик ты наш... Земно тебе бьем челом... Не казни рабов своих...

— Христос с вами, люди добрые, — необычно звонким, девическим каким-то голосом далеко в толпу крикнула Наталья, чувствуя, что ее как на крыльях поднимает сознание минувшей огромной беды и опасности. — Идите с Богом. Другим скажите, кто еще не знает. Нет на вас вины... Вот сам царь то же скажет...

— Идите с Господом, — звонко, тоже свободным теперь, радостным голосом крикнул Петр, — нет вины на вас. Кто обманул — те виною...

— Ништо... Мы и сами с ими разведемся, — раздалась кой-где голоса.

И с новыми поклонами толпа была готова уже отхлынуть от крыльца и очистить площадь.

Но тут случилось что-то неожиданное.

Братья Толстые, Александр Милославский, Василий Голицын, Куракин и иные сторонники Милославских поспешно прошли на то же Красное крыльцо, как только узнали, что Наталья повела детей.

Когда выяснилось, что стрельцы, стоящие тут, склонны к мирной развязке бунта, часть заговорщиков бояр двинулась к Софье, в покоях которой сидел и Милославский. А другие, помоложе, попроторней, прямо кинулись обходом на площадь, чтобы подобрать людей порешительнее и не упустить удобной минуты.

Должно быть, не суждено было этому бурному дню закончиться добром.

У бочек с вином, выставленных по приказанию Софьи под тем предлогом, что это успокоит горланов, пособники царевны нашли больше народу, чем было даже перед Красным крыльцом. Кто в полугаре дошел до Кремля, тот теперь совсем был пьян. Трезвых здесь ни одного не было. Немало завзятых питухов и опилось тут же даровым вином.

Они лежали на земле, страшные, противные, грязные, потеряв сознание.

И остальные уж не разбирали: что они делают, где они сейчас?

— Што ж так загостились, ребяташки? — обратился Петр Толстой к тем, кто был пободрее. — На площадь поспешайте. Покончат там без вас все дело товарищи. И награды им будет больше...

Кинулись гурьбою стрельцы к Красному крыльцу.

Громкие их возгласы, брань и угрозы опять бросили тревогу в душу Натальи и бояр.

Матвеев быстро, настойчиво заговорил:

— Ступай, государыня-царица, хотя сюды, в Грановиту палату, поблизости, на всяк случай. И со святейшим патриархом, с господином нашим. А мы уж тут с князем вот, авось образумим и тех, што бегут, как прежних образумили.

— Нет, уж я здесь, с вами побуду, — сказал Иоаким.

Наталья же беспрекословно исполнила совет Матвеева. Несмотря на все самообладание, она чувствовала, что последние силы покидают ее.

В Грановитой палате все уселись как попало, обесиленные, напуганные. Петр и царевич Иван рядышком взобрались на большой, широкий царский трон, стоящий под навесом, в царском углу, и тоже отдыхали от пережитых волнений.

В это же время Матвеев бесстрашно спустился с крыльца и громко, взволнованно обратился к тем стрельцам, которые кучками стали подбегать к самым дверям золоченой решетки, замыкающей собою вход на Красное крыльцо.

— Здоровы живете, ратники Божии, славное православное воинство. Давно не видался с вами. Узнаете ли?

— Куды не узнать... Боярин Матвеев, Артамон Сергеич... Хозяин наш старый... Тебя нам и надо... Сказы-

вай, как покойного государя извел... Как нового извести собираешься. Говори, старый грешник! Куды подевал Ивана-царевича, заступу нашу?.. А?..

Крики, злобные, пьяные голоса и угрожающие взгляды буянов не смутили старика.

— Снова-здорово. Где были до сих пор? Вон товарищей спросили бы. Они не то видели и царя и царевича, — говорить с ими изволили государи. Нет в их царском доме изменников...

— Были здесь оба... Видели мы... Толковали с ими, — раздались голоса тех, кто раньше был при появлении царской семьи.

— Ладно. А все же вы по городам посылать надумали... Твои все козни. На нас, на стрельцов, служилых людей иноземных да дворян городских, всю земскую рать собираете. Стереть нас с лица земли норовите... А ты — первый... Ну, иди сюда... Поспешай Варвара на расправу. Не кройся за решеткою. Мы и ее сломать умудримся, коли сам не придешь...

— Не придется ломать вам затворов во дворце царском... Вот, видите, раскрываю дверь: не боюсь я вас. Потому — совесть моя чиста... А вы — земской силы боитесь, про иноземные рати толкуете. Видно, за собой што плохое знаете... Болит душа моя. Так ли встретить чаял войско свое любимое? Царскую охрану самую ближнюю. Што дурнова вы от нас да от роду царского видели? А теперь... Вон сидит во Палате царица-матушка. Вам она ли не родная мать была? И птенчики при ей, сыны царя Алексея, кой не то отцом — другом, слугою вашим был... Да и Федор тоже... И вот расплата стрельцкая... Стыд и горе... Плачут они там: и мать-государыня, и царь-отрок, и брат ево недужный... А стрельцы, страмные, буйные, пьяные, инова дела не знают, собираются двери в жилье царском ломать, убивать хотят не то верных слуг царских, а родню самую близкую?! За што?.. Виновен кто из нас, хоть бы самый ближний к трону, — жалобьтесь, челом добейте. Будет дана вам правда. Не попустит государыня и юный царь с боярами никому, даже брату родному, вину или грех какой. Видели, как начальникам вашим было по челобитью вашему? А вы — все забыли... Наущения злобного слушаете... Все заслуги свои бывые в грязь затоптали... Так уж и меня скорей убейте, старика, не видал бы я позора в войске моем, не слышал бы

про горе и позор всей земли русской... Убивайте меня, скорее.

И прямо в толпу шагнул Матвеев.

Как от чего-то грозного, страшного — отхлынула пьяная, бесшабашная толпа от этого беззащитного старика, покоровившего их темные, смущенные души силой, величием духа, красотой подвига.

— Што ты, Господь с тобой... Ступай с Богом, боярин. Не медведи мы дикие. Не кровь пить пришли... Смутили нас... Прости уж... Коли жив Иван-царевич, коли все благополучно в терему вашем царском... Уж мы по домам тогда...

Нерешительно, с каким-то детским, наивным и грубоватым смирением звучат голоса стрельцов. Переминаятся они, не знают, как им и уйти теперь отсюда.

— Ну, ладно. Бог простит. Идите с Богом. Товарищам скажите скорее, собирались бы в место во одно да шли по домам... Идите...

И, отдав поклон толпе, Матвеев стал подниматься наверх мимо Михаила Юрича Долгорукого, который стоял тут же, как бы наготове защитить старца в случае беды.

Князь дал пройти мимо себя Матвееву и остался внизу, темный, нахмуренный, словно не зная, на что ему решиться? Как начальник Стрелецкого приказа, Долгорукий считал и себя виновным в том, что допустил разыграться мятежу. Мягкие, душевные речи Матвеева, правда, достигли цели. Но они не нравились Долгорукому. Не так бы он поговорил с этими скотами...

Но начинать без повода — тоже нельзя было. Долгорукий уже стал было подниматься за Матвеевым, который скрылся в дверях, ведущих в Грановитую палату.

Исход речей Матвеева не понравился не одному Долгорукому.

Оскалили зубы, как волки, и Толстые, и младший Милославский, которые, уже не стесняясь, явились на самой площади перед соборами, чтобы подогреть толпу, подстрекать ее к буйству и резне.

Новую волну пьяной черни, стрельцов и солдат толкнули они на площадь к самому концу речи Матвеева.

Но Долгорукий не дал даже долго шуметь этим крикунам. Нагнувшись низко через ограду крыльца туда, к новым буянам, он властно, раздраженно крикнул им:

— Не смей горло драть, ироды... Собачье племя... Холопы безглазые. Мало вам, скотам, толковано было? Все не заспокойтесь. Так уж будет!! Иначе я с вами, с крамольниками, потолкую. Жалели вас, кровь проливать не хотели. А вы и стыда не знаете. И вправду, видать, на расправу к мастерам заплечным захотелось. Вот я кликну челядь... Прочь, по логовам по вашим по грязным, пока целы... Не то... в топоры да в плети вас... Ах вы... висельники...

И вспылчивый, несдержанный князь разразился грубой бранью, грозя кулаком пьяной толпе, наглость которой окончательно лишила его самообладания.

— Слышь, братцы, — закричал из толпы стрельцов Александр Милославский, который, пользуясь мглою, вмешался туда без опасения, что его узнают с крыльца, — прислушайтесь, как лаетца мучитель наш, боярин, князь Долгорукий, да еще петлей и плетью грозит... Потерпите ли, братцы?..

Но и без этих подстрекательств в стрельцах проснулся зверь, которого смирили, успокоили было твердые и разумные речи царицы и Матвеева.

— Што!.. Нас в топоры?! Лаетца еще, окаянный... Буде зря время терять... За работу, робята... Починайте с ево первого, собаки... Заткнем глотку боярскую, нена сытную, широкую... Гайда, кверху вали...

Патриарх, сообразив, что дело кончится плохо из-за одного неосторожного поступка князя Михайлы, поспешил было навстречу толпе разозленных стрельцов, взбегающих на крыльцо, и, высоко поднимая крест в руке, молил:

— Христом Распатым заклиная... Пойдите, чада... Послушайте меня...

— Ступай с Господом, святой отче... Не надо нам теперя уветов твоих... Не пора. Время пришло разобратъ: кто нам надобен, кто нет... Бери ево, князька, ребята. Тащи к Пожару... На Лобном месте — тамо всех наших недругов судить станем... Всех их труды приведем!

Но не успели стрельцы, оттолкнув Иоакима, наброситься на Долгорукого, как блеснула сабля в его руках, и один за другим двое ближайших стрельцов упали, обливаясь кровью. Голова одного была так разрублена пополам, как будто нарочно изловчился князь, нанося страшный удар.

— Кроши, руби ево на месте, коли так! — заревели стрельцы.

Два-три бердыша засверкали у него над головой и опустились, с глухим треском раскалывая череп.

Князь повалился мертвым.

— Гляди, да он в кольчуге... То-то и копье ево не берет, — орал какой-то приземистый парень, нанося с размаху копьем своим удар по телу князя, прямо в живот.

От первого удара, попавшего по кольчуге, — загнулось жало копья. Но при втором все железо до древка вошло в живот, и, вынимая изогнутое острие, стрелец разворотил все внутренности мертвецу.

— Подымай ево, робята... Вниз кидай... Гей, становите копьа, примайте князя, честь честью... Любо ли, гей, робя?.. Михайла Юрьева Долгорукова князя миром встречай... Любо ль?

— Любо, любо... Ох, любо, — кричали в ответ стрельцы, стоящие внизу и окончательно разнуздавшие себя при виде первой крови.

Грузный, тяжелый труп, с которого была сорвана почти вся богатая одежда, очутился в руках двух злодеев. Они, взобравшись на стенку крыльца, раскачали князя и бросили его вниз, прямо на подставленные копьа.

Кровь так и хлынула из пяти-шести отверстий, пробитых в трупе остриями этих копий. И сейчас же тело рухнуло на землю.

— Пусти, я ему тоже поднесу гостинчика, — расталкивая других, орал совсем опьянелый, на мясника похожий, стрелец. — Он меня надысь под батоги ставил... Так вот же тебе, окаанный...

Одним ударом секиры он отсек у трупа руку, которая легла на отлете, когда князь рухнул на землю.

— Мой черед... Я... — раздались голоса...

Засверкали секиры, и только тогда оставили злодеи свою гнусную работу, когда на земле вместо человека лежали куски чего-то бесформенного, кровавого, как те небольшие куски мяса, которые лежат на ларях у мясников для мелкой продажи.

— Любо, ребята... Лихо, — снова выдвинулся Александр Милославский, рядом с которым теперь стоял и Толстой. — Теперь, благо почин сделан, — за других берися... Матвеева изловить надо... Он главный ваш враг.

— Врешь, боярин. Али не слыхал, што тута сказывали цари да Артемон Сергеич? Сам-то ты проваливай, пока не влетело, — крикнули подстрекателю стрельцы, еще не позабывшие гордых и благородных слов Матвеева.

Зубами заскрипел Милославский.

— Шут их возьми, Сашка, — увлекая его за собой, сказал Толстой. — Идем, иных поищем, посговорчивей... Видишь, началась потеха. Теперь наша взяла...

Петр Толстой не ошибся.

У того же Аптекарского крыльца нашли они новую кучку мятежников, допивающих подонки из бочек.

Эти не слыхали речей Матвеева. Они недавно появились в Кремле, куда не решались по трусости прийти первыми, а уж нагрянули потом, едва дошли к ним вести, что отпору мятежникам нет и все в их власти.

Кругом, знакомыми ходами, Толстой и Милославский повели эту шайку прямо к Грановитой палате.

Услышав шум свалки на площадке, узнав от вбегавшего сюда патриарха о свалке стрельцов с Долгоруким, о страшной участи, постигшей князя, — все сидящие в Палате снова ощутили на себе холодное дуновение смерти.

Не успел патриарх кончить свой рассказ о гибели Долгорукого — со стороны дворцовых сеней ворвались убийцы, наведенные Милославским и Толстым.

— Вон он, вон где отравитель, лиходеи, чернокнижник ведомый, — заорали они, увидя Матвеева, — хватай его, робя... Волоки на крылечко. Тесно тута. Жарко, гляди, его боярской милости...

И, как стая голодных псов на затравленного зверя, кинулись на старика.

— Прочь, изверги!.. Не дам... Не позволю... Не дам, — не помня себя, крикнула Наталья, обнимая голову Матвеева и стараясь прикрыть его от здоровых, мускулистых рук, которые протянулись к боярину.

Но две чьи-то руки грубо оттолкнули защитницу. Она в полубесчувственном состоянии упала на скамью и только видела, как стали уводить любимого ею ее воспитателя, старого, беззащитного друга.

Ни кричать, ни плакать, ни молить не имела сил царица. Только потрясающий ужас владел ее душой. Прочь оттолкнули патриарха с дороги стрельцы, не слушая его увещаний. И старец стоял в стороне, закрыв глаза руками.

Как изваяния вдвоем на троне сидели оба брата, крепко обнявшись и прижавшись друг к другу.

— Молчи, нишкни... Меня убьют, — вдруг совсем осмысленно проговорил Иван, когда Петр сделал было движение, желая остановить стрельцов, крикнуть им, чтобы оставили Матвеева.

И как во сне, не зная, что творится кругом, — Петр послушал того самого брата, о котором и думал не иначе, как с презрительным сожалением.

— Правда, убьют... Ты не видишь, какие они... противные... страшные... Хорошо, што не видишь, — шепнул брату Петр, и оба затихли снова, притаились в глубине обширного отцовского трона.

С глумливым хохотом, с прибаутками мимо бояр повлекли убийцы Матвеева.

Он не сопротивлялся, но его потащили чуть не волоком, тут же срывая одежду, чтобы убедиться: нет ли панциря внизу?

— А то и топоры не возьмут! — крикнул кто-то из палачей. И тут же обратился к Наталье: — Слышь, государыня, Наталья Кирилловна, боярина Кириллу да брата Ивана нам готовь — придем за ими. Волей-неволей отдашь.

Затем мимо трона, мимо патриарха и всех стоящих в ужасе бояр и боярынь злодеи повлекли Матвеева к выходу.

Не вытерпел старый заслуженный боярин, князь Михаил Алегукович Черкасский.

— Оставьте, убийцы... Не троньте ево!.. Возьмите выкуп... Все возьмите... Не троньте его, — стал он просить стрельцов.

А сам ухватился за плечи Матвеева, пытаясь поднять, поставить на ноги своего давнишнего друга, отданного на произвол палачей.

— Али сам с ним в разделку захотел? Прочь, старый... Мы боярами не торгуем. Довольно они торговали нами и братьями нашими... Отходи!

Но Черкасский не отошел.

Видя, что Матвеев даже не держится на ногах, а, обессиленный, повалился на помост, Михаил Алегукович так и накрыл друга своим телом, как наседка птенцов накрывает от коршуна.

— Меня убейте... коли нет в вас души... Бога нет! Меня рубите, его не дам. Катые... звери...

— Гей, не лайся, старая собака. Моли Бога, што тебя нам не надобно, а то бы несдобровать и защитнику самому... Прочь...

Грубые руки вырвали Матвеева от Черкасского, изорвали в борьбе все, что было на князе. Его оттолкнули, а Матвеева, оглушенного, окровавленного ударом пики в голову во время схватки, потащили на Красное крыльцо.

Миг — тело старика мелькнуло в воздухе. Принятое на копья — оно уже бездыханным достигло земли... И тут Матвеева постигла та же участь, что и Долгоукогого.

Еще звучали на крыльце громкие крики радости, лихое гиканье, которому снизу стрельцы отвечали своим обычным откликом:

— Любо, любо, любо... Лихо...

А со стороны церкви Воскресенья Христова, что на Сенях, донеслись вопли, призыв на помощь, мольбы.

Знаком, близок был этот голос всем, кто сидел в Палате.

Это молил о спасении Афанасий Нарышкин, которого за волосы волокли убийцы на Красное крыльцо.

От Успенского собора ворвалась во дворец новая шайка убийц. И прямо стали шарить они по покоям, ища обреченных по списку бояр и родню Нарышкиной.

— Чево надо, люди добрые, ратники Божие? — вдруг пискливым голосом спросил передового карлик Хомяк, как из земли вырастая вблизи входа в церковь Воскресенья на Сенях.

— Тьфу, нечистая сила! Отколе ты такой? — даже шарахнувшись в сторону, грубо спросил коновод шайки карлика, которого раньше не знал.

— Здешний я. Холоп, как и вы, боярский... Своим товарищам помочь охота. Чево ищите? Авось — найду вам.

— Не чево — ково!.. Нарышкиных... Не видал ли, где они?..

— Иные попрятались... Не сметил куды... А одново — покажу вам... Блиско...

И с ужимками Хомяк показал на двери домово́й церковки царской, у которой они стояли.

— Тута?.. Эка, шельма, — почесывая в затылке, — пробасил стрелец... Как ево взять, вора окаянного, из храма Господня?.. Чай, непристойно будет...

— Ну, баба ты, не стрелец... Твоя ли вина? Не крылся бы в таком месте... Тебе взять надо — бери, где сметил... Другим попадет эта птица — перья и ощиплют... А перышки богатые... И кошель есть при парне...

— Ну, леший тебя подери. Гляди, и правду баешь... Не наша, ево вина, коли в божницу залез... Гайда, братцы...

В алтаре, под покровом престольным нашли Афанасия и поволокли за волосы на роковое Красное крыльцо...

Услышали вопли юноши сидящие в Палате отец и мать и сестра его... Но никто не смел пойти на помощь... двинуться не решался никто с того места, где прикован был каждый ужасом и тоской...

Влекут Афанасия убийцы на крыльцо. А на плече у одного из них сидит, оскалив зубы, злобно ликующий карлик, напоминая собой тех выходцев из ада, которых рисует порой напуганная человеческая мысль в минуты кошмарных сновидений... Нарышкина постигла участь первых двух мучеников.

Так на плече у палача остался Хомяк, когда повел его с товарищами по всем знакомым комнатам дворца и терема: искать ненавистных Нарышкиных.

Всюду шарят шайки стрельцов, во всех покоях. Врываются и в царские опочивальни, и в домовые церкви, которых несколько есть во дворце, — прокалывают копьями перины, подушки, опрокидывают пышные царские ложа для убеждения, что никого нет под ними... В церквях — шарят под алтарями, повсюду... Рвут покровы, тычут остриями копий...

И постепенно — находят все, кого внесла Софья, Милославские и сами стрельцы в кровавые списки смерти, где против каждого имени должен стоять один зловеющий знак, знак креста, знак муки и гибели...

Всюду бегают и шарят во дворце стрельцы, потерявшие и страх и совесть. Только не успели забраться они в горенки, где помещается девятилетняя царевна Наталья. И не заглядывает ни один из мятежников в терема сестер-царевен, дочерей Алексея, к царевне Софье и к царице Марфе Матвеевне.

Самые пьяные, самые обнаглелые палачи отступают, как только услышат от сенных девушек и старух, расставленных у всех выходов, сердитый оклик:

— Мимо проваливай, рожа идольская. Здесь — царевнин терем...

— Ладно... Нешто я што?.. Я сам понимаю, — пробурчит иной стрелец-коновод.

И крикнет:

— Гайда мимо, робята. Не туды попали!..

Затем с бранью, с проклятиями или с залихватской песней, с гиком бегут мимо...

Немало народу, боярынь и бояр, собралось в покоях у царевен.

Но к Софье пропускают очень немногих. С царевной сидят бояре: Милославский и Куракин. Волынский снует из покоя на крыльцо теремов и обратно, принимая донесения от всякого рода пособников и поджигателей бунта, разосланных отсюда не только по всем концам Кремля, но и в Белгород, в Земляной городок и по слободам стрельцким, откуда то и дело выходят новые толпы стрельцов на помощь товарищам. Даже бабы их, пьяные, красные, бегут гурьбами с веселым хохотом, с разухабистыми песнями, перекликаясь одна с другой.

— Бежим, пощупаем боярынь за жирелых, колупнем им бока толстые! Сыдем с их наряды златоцветные, што из нашево поту-крови нашиты-настроены. Слышьте, наш праздник. Ишь, как на кремлевских колоколах стрельцкие звонари нажаривают...

И новые кучи стрельчих выходят из домов, присоединяются к бегущим.

Набат в Кремле, то затихающий на время, то снова потрясающий воздух рокот барабанов — словно зовет все темные силы, раньше угрюмо таившиеся по своим грязным углам.

Уж не одни стрельцы теперь принимают участие в разгроме бояр. Лихие воровские людишки, тати, площадные дельцы-пропойцы, кабацкие заседатели — тоже втираются в толпы вооруженных, грозных стрельцов, надеясь урвать для себя кой-что в общем пожаре. Куда ни заглянут во дворцовые покои эти шакалы — все ценное забирают с собой.

— Што же, плохо ли, коли московский люд пристал на нашу сторону, — заметила царевна, которой донесли об участии таких «добровольцев» в стрельцкой резне.

— Не скажи, царевна, — отозвался осторожный

Милославский. — Дать волю этой шайке, она не то Нарышкиных — отца родного душить станет за чарку вина. С черным людом — опасно надо... Это первое... А второе, слышь, толкуют: Москва почитай вся — непокойна стала. Толкуют люди мирные: «Пошто бояр режут, Нарышкиных бьют и иных...». Гляди, мешать бы нам не стали. Заспокоить надо Москву... И челядь боярская за дубье приняться собираетца. Толкуют: «Перебьете бояр — кому служить будем?». Тревога по Москве пошла.

— Не одна Москва — вон и на Посольском дворе присылы от всех иностранных резидентов да послов уж были, — заговорил и Василий Голицын. — «Что, мол, у вас делается? Как мятежа не смирите?». Дан был ответ, што больно сила велика стрелецкая, не можно крови начать проливать. И вовсе тогда царству не быть. А, мол, стрельцы государей не касаются. Ищут и изводят недругов своих да царских. Да царевича старшева — на царство зовут, как по закону. Только и есть... Мол, один Сухарев полк не бунтует. Не пристал к той альянции. А мятеж во всех полках. Погодить-де надо... И трогать нихто их, иностранных послов, не станет...

— А они што на ответ?

— Пока — ничево. Да все же надо дело скорее кончать али как-никак оправдать всю свару нашу... С соседними маэстатами дело еще доведется иметь. Надо с ими ладить.

— Как не ладить. Што же, бояре? Как быть, по-вашему? С чево начать?

— Трудно и быть. Теперь взаправду не сдержат стрельцов. Себя под обух подведешь, гляди. Нешто так вот...

Милославский остановился.

— Как? Говори, боярин.

— Нарядить как-никак ровно бы суд. Пусть кого стрельцы изымают — не секут тут же на месте, без оглядки... И то вон, плохо одно дело вышло...

— Какое дело еще? — нетерпеливо спросила царица.

— Да стрельцы-то молодые. Не знали добре в лицо Афонасья Нарышкина. А Федька Салтыков и попадись им, малость схож с Афонькой-то. Его живо и прикончили... Уж потом опознали другие. Я приказал отнести

тело к отцу да челом ударить хорошенько... Мол, по недоглядке дело сделано. Наш-то Салтыков боярин. Да, ау! Мертвого не подынешь...

— Плохо, плохо... Да досказывай, дядя, што начал-то.

— Вот и надо: кого из ворогов найдут, на допрос ставить... А после — казнить всенародно. Да не по углам, а на том же месте на Лобном, ровно бы так и от государей приказ даден. Вот народ и подумает, што не зря казни...

— А не подумает, как просто страх ево возьмет... Это ты ладно надумал, дядя... А с послами как быть?.. Нешто нарядить к ним дьяка Лариона Иваныча. Старый он знакомец тамо со всеми... Васенька, — обратилась Софья к Голицыну, — сделай милость, погони ково за Москву-реку, где дом ево. Мол, как начальник приказу Посольского, пускай скажет иноземным послам от имени от царскаво...

— Не погневися, государыня, не приведется послать Иваныча... Побили и ево... и с сыном Ваською, — с явным смущением прервал царевну Голицын.

— Побили?.. Да за што? Не за Нарышкиных был он. Што прикажут — то и делал. А старый слуга, дело знал. И, Васенька, слышь, на листе он не стоял. Имя не было вписано. За што же? Не пойму...

— Стрельцы сами нашли да расправились, — овладевая собой, глядя прямо в глаза царевне, спокойно отвечал Голицын. — Слышь, счета были у них со стариком. Как еще правил Стрелецким приказом старина, — обиды всем чинил... Теперя и припомнили... Да еще — в дому у дьяка нашли чучелу сушеную, рыбу каракатицу. Австрицкий посол подарил на беду ему. И сочли стрельцы ее за змия чернокнижного... А сына... как стал он отца не давать да поранил одново-двух стрельцов — тут и с ним прикончили... На Пожаре так и лежат обое. И рыба та, чучело, при теле Ларивоновом... Што уж тут поделаться...

— Да, уж ничево не поделаешь... Ково же к послам послать?

— Кого, государыня-царевна? Да вот хоша бы князя Василия, — вмешался Милославский, во время рассказа не спускавший своих пронизательных глаз с Голицына.

Тот так и вспыхнул, не то от удовольствия, не то

пристыженный, что разгадали его какую-то темную проделку, затаенный, честолюбивый план.

— И то, — поспешно откликнулась царица, — не съездишь ли? Ты в тех делах сведущ. А как стихнет гроза — на место Ларионово и стать бы тебе. Как мыслишь, дядя?

— Кому лучше, коли не князю те дела ведать посольские, — хитро, но добродушно улыбаясь, согласился Милославский. — Ишь, ровно и вытесан на показ. Умом взял и лицом Господь не обидел, и статью, и поступью. Не скажут после, што замухрынца каково к им нарядили дела ведать государские. Он же и в латинской, и в эллинской, и в немецкой речи сведущ... Кому же иному и быть?

— Вот и ладно. С Богом, Васенька... Ступай.

Голицын вышел.

— Кто там еще? — услышав за дверью новые голоса, спросила Софья. — Войди!

Вошел князь Иван Хованский, который с сыном своим Андреем принимал самое живое участие в событиях грозного дня.

Они вдвоем с сыном Андреем поспевали всюду, общая отдельным отрядам стрельцов распоряжения Софьи и Милославского и донося последним об общем ходе мятежа.

Потомок литовских князей, древний родом, но не богатый, честолюбивый и пронырливый старик Хованский соединял в себе замашки надменного вельможи с низкими проявлениями угодничества перед высшими и трусил в минуты опасности, особенно на войне. Поражением и бегством оканчивались все стычки русских войск с польскими и шведскими отрядами, если только начальствовал Иван Хованский, прозванный за это Тараруем.

И особенно не любили его воины, так как перед битвой Тараруй громко грозил врагу, говорил пышные речи отрядам, призывая стоять за землю русскую до последней капли крови, обещая полную победу при первом натиске, так как враг слаб и ничтожен, а за русское воинство стоят все силы небесные с Господом самим во главе.

И непременно служились торжественные молебны перед каждой стычкой.

А начинался бой — Хованский, теряя голову, сам

уходил подальше, оставлял войско без руководителя, этим подавая сигнал к отступлению, вызывающему неизбежный разгром. Только там, где можно было отличаться без всякой опасности, как, например, в настоящем мятеже, Хованский и сын его были в первых рядах.

Сохранив свой литовский тип, с длинными усами, с нерусской складкой, в полупольском наряде, рослый, красивый Ягеллоныч, как он величал себя, Иван был очень привлекателен на вид. А сын его Андрей — и совсем считался красавцем. И оба честолюбца вовремя предложили свои услуги царевнам из рода Милославских, обещая помогать до конца. Вот почему они попали в расположение и милость в теремах царевен, когда затеян был переворот.

Шумно-болтливый, снисходительно-фамилиарный с низшими, князь в обычное время хорошо умел ладить с воинами. Потому Софья и Милославский наметили его в начальники Стрелецкого приказа. В виде опыта они предоставили ему главное распоряжение мятежными отрядами и были довольны выбором.

Все шло пока довольно гладко, почти так, как и предвидели главные руководители переворота.

Возбужденный чарками вина, которые он на ходу разделял со стрельцами, подбадривая их, довольный и своими успешными действиями, и быстрым развитием мятежа, удачный исход которого сулил много выгод, князь Иван грузною, развалистой походкой вошел в покой царевны, как в свою горницу, и отдал всем почтительный, но в то же время полный достоинства поклон.

— Чем порадуешь, князь Иван Андреич, поборник наш крепкий и оборона? — ласково, хотя не без затаенной усмешки спросила Софья.

— Покойна будь, государыня-царевна. Я дело свое справляю. Еще ночь не настанет — все недруги наши сгинут с бела света. Уж не будь я князь Хованский. Вот как дело облажу с Андрюшкой с моим. Он у меня и в сей час тамо. Приглядывает, как я ему приказал... Што за сын! Без похвальбы скажу. Такова и не сыскать другова. А уж вам, государыням, каков доброхотен... Удержу нету. Говорит: «За Софьюшку-царевну да за Катери-ну свет Алексеевну живот положу, души не пожалею...». Да, говорит... А я ему сказываю: «Сынаша...».

— Добро, добро, князь Иван Андреич. Кто не знает, што оба вы с сыном — витязи преславные. И не корыстно прямите нам, по доброте души своей. А не поведаете ли: по што заглянул сюды к нам, сиротам печальным? Нет ли дела какова, что ты войско покинул, заявился в терем наш бедный, неукрашенный? Да испить не хочешь ли чево с устатку? Чай, жарко на площади, на вольнице тамо.

— У-х как жарко. Дело кипит. Добро, што еще ветерок Бог послал... А то, правда твоя, мудрая царевна: пересохло горло у слуги твоего покорного, у холопа вернова... Чарочку медку али романей — не мешало бы... Веришь ли, от раннего утра, с восходу солнечново и по сю пору не то куска во рту, капли на губах не было...

— Ах, родимый, князь, индо жаль в сердце ударила... Мигом подадут... Садись покуда. Сказывай: по што пришел?

— Да запытать надо. Никово послать не мочно. Сам пришел. Дело такое...

В это время девушка подала на подносе кубки, чарки и сулеи с медом и романеей, которые были уж наготове в соседнем покое.

— Э-э, — крякнул князь, быстро взяв и осушив большую чарку. — Не осуди, коли еще одну я... Веришь ли...

— Выкушай, на доброе здравие... Хошь три... Милости прошу...

— Э-э-эх... Ладно. Кх... кх... вот и горло прочистило... Так дело, слышь, хитрое... Немчина... тьфу, жидовина искали мы, Гадена... от коево и смерть приключилась государю нашему, Федору Алексиевичу, вся...

— Так, так... Што же, нашли ево?..

— Почитай што нашли. Шпынь к нам был, знать дали мне, што на дворе у резидента данскова, Фанро-зенбуша, кроются оба: лекарь — жидовин и сын ево, стольник Натальин, Михалко-еретик. Послал я туды двоих-троих стрельцов, а им и сказывают: «Прочь-де идите. Место не ваше тута, не русское, а посольское. И никово нет из тех, ково ищите». Наши было в ворота ломиться стали. А там не то холопы Розенбушевы — и рейтарский караул, и ратники Лесливские. Хоша и не много, да стрельцы — трусы они, государыня-царевна; коли кто им спуску не даст — сами тыл кажут... И

ушли, мне сдоложились. Я к тебе. Как быть? Не искать на посольских дворах? Али набрать силу познатнее, нагрянуть к резидентишке да задать ему такую баню, чтобы до конца века помнил московски веники. Как скажете, бояре?

И, покручивая лихо свой молодецкий, хотя и седеющий ус, Хованский выпуклыми голубыми, но помутнелыми от времени и вина глазами обвел всех сидящих.

— Ишь, как распетушился резидентишка. Державато ихняя не больно велика, а он туды же. Им больше в нас нужды, ничем нам в них. Коли уж стал Розенбуш в дела домашние московские нос совать, прячет лихих людей у себя, пусть не погневадается, коли и к нему нагрянут, — вспыхнув, проговорила Софья. — Мы законное дело творим. Народ на царство желает Ивана-царевича. Вот и казнят изменников царских.

— Вестимо, государыня. Коли за обиду почтут при данском дворе — нам тоже не велика печаль. Одно лишь знать бы: правда, что там они кроются все, про ково тебе сказано? — примирительно покачивая головой, спросил осторожный Милославский.

— Слово гонору князя Хованского. Нешто буду я... я сам — зря говорить? Верный человек мне вести подал.

— Ну, так с Богом, пошли вынять тех лихих людей... А резидентишка тот — и другим послам не велик друг. Пустой человек, бражник. Посылай наряд за теми-то. Хлопова, окольничева с ими пошли. Недалече он тут.

— Вот, вот, так и я сам полагал, — шумно заговорил Тараруй. — Только все же поспросать надо. А с Бушем с этим — чево и думать! Уж как я решил, так и надо. В сей час пошлю... Выберем всю рыбу, которая там спрятана... Хе-хе-хе... Уж от меня никто не уйдет. Будь покойна, царевна-матушка, и вы, бояре. Все слажу, все повершу. Стрельцы у меня — молодцы! Глазом им мигну — черта к дьяволу спровадят и назад вытащат... Вот как у меня...

— Благодарствуй, спаси ты, Бог, князь Иван Андреевич. Уж не оставь ты нас... — с поклоном отозвался Милославский. — Уж и царевна-государыня и государь Иван Алексеевич не позабудут твоей послуги...

— Надо полагать, и про меня, холопа вернова, помнят государи, как поставлю я на трон Российский

ково надобно, — хитро подмигивая и самодовольно откидываясь в кресле, сказал Хованский, не замечая тонкой иронии старика.

— А Языков, что с им? Ужли не нашли, — сухо, отрывисто задала вопрос Софья, которой показался неприятен тон и слова князя. — Это опасный змий. Ранней всех надо бы прикончить изменника.

— Хо-хо, не нашли... Вот он где у меня.

И, опустив руку в свой глубокий карман, он снова вынул ее, держа что-то, зажатое в ладони.

С невольным любопытством окружающие сделали движение: посмотреть — что в ней?

— Вот, — громогласно объявил князь и раскрыл ладонь, где лежало большое кольцо с крупной бирюзой, испещренной золотыми знаками, — талисман, который всегда носил на пальце оружничий.

— Убит. Где, в кою пору? — спросил Милославский и за ним Софья. — Не слышно было, не доводили нам о том.

— И не могли довести. Жив еще, собака, — радуясь впечатлению, произведенному появлением кольца, забасил Хованский. — Да все равно как мертвый... Успел сбежать из дворца, предатель... Знал, што несдобровать ему. Чужала кошка, што сало съела. И кинулся на Хлыновку, к батьке своему духовному, к попу Андрею, где церковь святителя Николая за Никицкими... Чай, знаете...

— Ну, ну...

— Укрыл ево поп... Известно, не все пастыри государей чтят. Иные врагов царя и веры хоронить готовы у себя... Корысти ради. Вот хто по старой вере живет, те инако. А энтот, никоновец, — и рад был...

— Дале, дале...

— Я же и рассказываю. Укрыл боярина. А Господь и не дал уйти еретику. Повстречал на дворе на поповском ево холоп один, из приказу Стрелецкого. Признал и челом бьет: «Мол, здрав буди, боярин Иван Максимыч...». А тот — затрясся, ровно стена помертвел. «Нишкни, — рассказывает, — вороги ищут меня. Вот тебе перстень. Все деньги роздал. Ево бери. Дорогой-де, заветный. Спасет меня Бог — приноси перстень, много отсыплю за нево...». А холоп, не будь глуп, и принес ко мне колечко-то. Коли там еще ему журавля посулят, а я шельмецу полтину целую отвалил... И повел он

стрельцов за боярином. Поди, приведут скоро Максима...

— Ево — не убивать одним разом. Попытать надо: как он к царице Наталье перелетывал? Как тайности наши все выдавал, слышь, боярин?.. И тебя прошу, князь...

— Хо-хо... Попытаем... В застенке в Константиновском и то все налажено¹. Стрельцы иных изменников, кои успели казну свою схоронить, туда водят, поджаривают, подстегивают, правду выпытывают... Хо-хо-хо-хо...

Князь снова раскатился довольным смехом...

— Ну, добро, добро, — оборвала Софья, которую, видимо, стала тяготить шумливая кичливость и панибратство старика. — С Богом, кончай дело... Ладно бы нынче все прикончить... Ивана бы Нарышкина сыскать... и все зубы ядовитые повывраны будут у змия... Другие — помоложе. Не так опасны...

— Што же, али помиловать надо молодых Нарышкиных? — осторожно снова задал вопрос Милославский. — Али крови испужалась, царевна?

— С чево надумал! Не испужалась я. На то шла. А сказываю: Иван всех главнее. Пока ево не возьмут — пусть не отстают ребята наши... Да старика Кирилку в иноки. Вот дело, почитай, наполовину сделано.

— Да, немного довершить останется. Иди же, князь. Слышал: Языкова бери. Да сыскать Гадена-волшебника. Да Ивашку Нарышкина, да...

— Уж знаю. Сам знаю: хто стоит на списке, тово и розыщем... Ни синь-пороху не останется. Я же сказал вам. Чево ж тут еще языком молоть? Челом бью...

И пошел было совсем к выходу князь Хованский, но неожиданно повернул назад:

— Эка, што было позабыл... Добро на ум пришло. Еще боярин Иван Фомин, сын Нарышкин, долго жить приказал: в дому у нево, за Москвой-рекой, изловили гадину — и дух вон... Да, еще... Вот потеха была... Как пошел отец патриарх из палаты из Грановитой прочь, между попами да святителями затесался и князенька, гордения, дружок матвеевский, Григорий Ромодановский с сынишком Андрюшкою... Попы на патриарший

¹ У ворот Константино-Еленинских, где теперь башня, рядом со Спасскими воротами к Москве-реке.

двор — и те двое за ними. Да, видно, побоялись отцы духовные, не укрыли ево. Тут, промеж патриарших дворов да Чудова подворья, на улочке, и пристигли стрельцы-молодцы отца с сынишком, ровно зайца на угонках. Только их и видели, вечную память им дали... Хо-хо-хо... Попомнили князю походы Чигиринские, как изводил он стрельцов тяжелой службою, поборами своими... А то, слышь. Вот как ты, царевна-матушка, про змия, про зубастова, яд источающа, помянула — еще одно сказать надо... Затейники же, стрельцы мои... Уж им на чеботы не наступишь... Пришло их ни мало ни много на двор ко князю старому, ко Юрию Долгорукому. Бердыши, копыя в крови, сами — тоже. А ему — рабски челом бьют: «Не погневися-де... Ныне поутру ненароком убили-де сынка твоего, свет Михайла Юрича. Лаять нас зря стал, сердце и не стерпело...» Толкуют, сами ждут: што буде? Вытерпит ли старый волк? Вытерпел. «Воля Божья!» — только и сказал. А сам стонет — лежит на одре, ноги, вишь, болезнуют. И двинуть ими не может... «Бог, мол, вам прости. Сами не весте, што натворили... не вами то дело затеяно! Не вы виною». — «А коли простил от души, — бают, — не поднесешь ли чарочку? День больно хлопотный. Да и жарко, не глядя, что буря...» И на то пошел, угостить приказал. Дивуются наши. Одначе с чево на старика напасть, коли так пришипился, присмирел. Да и больным-больной... Только что не поддыхает. Не тронули. Пить пошли.

— Ну? ну? — захваченная рассказом, сказала Софья, когда Хованский оборвал свою речь и тоже протянул руку к новой чарке.

— Кхм... Пить, говорю, пошли, што там выдали им. Меду, сказывают, и вина крепкова дали. А в опочивальню и вбежи старуха Долгорукая. Сама не своя... Ведьма ведьмой. Седые космы рвет на себе, вопит, голосит: «Сынок ты мой родименький, любименький, единственный ты мой, ненаглядненькой... Убили тебя злые вороги, псы лютые... Прокляты буди они и навеки...»

Хованский, увлекаясь рассказом, даже придал старушечий оттенок своему голосу.

— А князь и цыкнул на бабу. «Молчи, дура! Чай, мне не менее твоего сына жаль. Да воем беды не поправить... И им, вора, кары не избыть... Знаешь, по пословке по старой: «Щуку съели, да зубы оставили»...

Отольютца им наши слезы. Коли Бог поможет, будут все висеть, как Иуды на осине, на зубцах каменных по стенам Земляного да Бела-города»... И случись тут холоп один, што не захотел боярина покрывать от товарищей, за своих руку держал. Пошел из покоя и сказал все стрельцам... Кинулись ребята, вмиг с хитрым злодеем со старым прикончили... Руки-ноги ему обрубили... Да в кучу навозу тута же, перед воротами кинули. Да еще... сбегал один на погреб, из бочки рыбу взял невелику соленую, с головою — и ткнул в рот князьенке: «Грызи, мол, щуку и с зубами»... Хо-хо. Да еще...

— Ладно, князь, вдругорядь доскажешь. Не пора ли посылать к Розенбушу, как хотел?..

— И то, и то... Иду, государыня-царевна...

— Слышь, а святейший отец патриарх где? У себя, што ли? Не кроет ли на дворе своем ково? — спросил торопливо Милославский.

— Нету. Все там перешарили... Сам Аким в собор прошел. А в подворьи у него не то под олтарями, в мышиных норках копыями шарили. Никово нету... Молит Бога теперь в соборе все. И домой не идет.

— Не тронул бы хто ево. Пускай молит.

— Ну, хто тронет. Я не то никоновцам, а и нашим, капитоновцам, сказывал да иным: пальцем бы не рушили владыку. Вестимо, не след свару подымать из-за него, из-за Акима из-за нашево, в народе... И то, слышь, боярин, холопы боярские не покойны стали. И Нарышкины, слышь, надумали их собрать, оружие им дать и на стрельцов вести. А того холопья — куды больше, ничем наших наберетца. Они задавят, коли накинутся, голыми руками, ослопами — и то одолеют... Кабы плохо не было, боярин, — сразу спадая с веселого тона при мысли о возможной опасности, заботливо произнес Хованский.

— Пустое несут люди. Пусть и не думают стрельцы. Где холопей собрать... Сколько бояр на нашей стороне. Поболе чем и за Нарышкиными... А другое дело, вот што надо: отряди-ка поболе людей в Холопий да в Судный приказ... Да малость кабальных записей, да книги старые по ветру развей, поизорвать прикажи. Вот холопи на радости и станут за стрельцов да за царя Ивана, волей-неволей. У ково не лихой господин — тово холопи сами не кинут. А лихим господам и холо-

пей иметь не надобно... Только не все изорви, гляди. Спусти время штобы можно было и поправить беду, слышь.

— Вот, вот, и я так само сделать хотел. А все же лучше спросить, думаю. Уж, небось, будет сделано. Наша Москва — и не возьмут ее не то Нарышкины, сами черти из пламени адова... Одно лишь жаль, што не приспела пора и Акимку сменить. Ково из старых попов на ево бы место. Не из никоновцев проклятых... Да сам вижу, не пора... Всево сразу не обладить.

— То-то. Сам понимаешь, князь. Разум-то у тебя орлиный. Вера — велико дело. За Нарышкиных мало кому охота под обух лезть. А тронь святейшего патриарха — не то мужики, бабы все в драчу полезут... Ну, с Богом...

— Челом бью... Да, вот... Одна еще докука, царевна-государыня... Овдовела ныне женка дьяка Ларивона Иванова. И сына не стало. А достатки у них изрядные были... Вот кабы мне ваши милости бабу посватали... Вот бы...

— Што же, сватай, князь, поможем, — не скрывая нетерпения, ответила Софья. — Што потом скажешь?

— Да все, почитай, сказано. Челом бью.

И вышел наконец из покоя.

— А што, слышь, дядя: не учинить ли нам вправду царем князя Ивана Хованского? Ишь, и теперь еще, ничего не видя, он ровно отец родной нам. «Я да я... да попова свинья...». А как дело завершитца, он силу у стрельцов возьмет... Не трудненько ль нам станет тогда?..

С таким вопросом обратилась Софья к дяде, едва вышел князь.

— И не думай, царевна-матушка. Кому Тараруй вреду али страху наделает, кроме как себе? На то он — и Тараруй. Ведешь ево, а он и величаетца. Словно на крыльях летит. А руку отнять — и носом в грязь зароет. Ково ни есть, надо иметь, дело бы совершить. А с князем с этим, с Ягелонычем, все легче будет сладить потом, ничем с другим, хто поумнее... Вон и сынок ево к Катюше к нашей в женихи норовит. Ужли отдадим? Не кручинься о них, Софьюшка. Ино теперь дело подумать надо... Другая забота есть.

— Какая, Иван Михалыч?

Милославский не успел ответить.

— Царица Марфа Матвеевна к тебе, государыня, жалуется, — доложили Софье.

— Вот оно, мое дело само на пороге, — шепнул Софье старик, когда она поднялась навстречу царице Марфе.

Заплаканная, измученная, вошла молодая царица в покой и сразу зажмурилась от света, бросаемого многочисленными свечами, которые горели уже здесь ввиду неожиданной тьмы, вызванной сухой грозой и ветром.

— Челом я бить пришла тебе, царевна-государыня, — напряженно-нервно заговорила царица. — Што творитца вокруг — не скажешь ли? Как быть, не научишь ли меня, вдову бедную, беззащитную?! И в мой терем стали забегать лютые мятежники... Ищут коварства, грозят... Твое имя поминают да брата-государя, Ивана Алексеича. Ужли от вас приказано ругательство такое чинить мне, вдове честной! Знаешь жизнь мою. Как пред Господом, так перед тобой стою, царевна-сестрица. За што же поношение терплю?.. Еще и не отмолила я души государя-супруга усопшего. Вон, в четверток, двадцату панихиду служить надо... А я из терему выйти не смею. Как жива до тебя дошла — не знаю... Сестрица, Софьюшка, али ты не знаешь? Али не видела?.. Глянь... Што творитца, глянь... Кровь всюды... Олтари Божии кровью залиты... Отцов при детях на куски рвут. Сынов на отчих глазах топорами секут... На папертях храмов соборных — трупы нагие лежат... Я ненароком глянула... Сестрица... Страшно, страшно мне... Укрой, защити, коли можешь... Софьюшка...

И в ноги повалилась царевне напуганная, потрясенная царица Марфа, трепеща от истерических рыданий.

Пока позванные боярыни приводили в себя молодую вдову, Софья сидела как изваянная, и серым цветом лица, и чертами, крупными, твердо очерченными, напоминая гранитные статуи египетской работы. Только в немигающих глазах то вспыхивало, то угасало пламя какой-то мучительной мысли, тяжелого переживания.

До этой минуты царевна выслушивала с интересом все доклады об ужасах, творимых, главным образом, по ее воле. Правда, слыша о пролитой крови, о зверских убийствах, брезгливо морщилась девушка. Но она знала, что нельзя иначе. «И яишни не состряпать, коли

яиц не поколотишь», — успокаивала себя эта властная, честолюбивая душа. И отгоняла назойливые мысли обо всем, что творится сейчас в Москве, имея в виду одну великую цель: посадить на трон Ивана и самой таким образом воцариться.

Но вот вошла эта слабая, юная, хрупкая женщина. Не очень умная, не очень заботливая о людях. Но она увидела ужас, пришла, сказала о нем — и в глазах, в душе Софьи вырос во всей его величине образ того несчастия, какое по ее воле началось и должно еще не скоро кончиться.

Трупы, кровь, отнятые жизни, голые, изрубленные тела...

Раньше это были простые звуки, ступени, может быть, и грязные, но по ним только и можно взойти и на трон Московский...

И вдруг по одному слову, от первого вопля царицы Марфы эти ступени получили какую-то страшную, кошмарную жизнь. Тела, нагие, ободранные, конвульсивно стали изгибаться, ворошиться под ногами. Раскрылись мертвые, залитые кровью глаза... Бледные руки поднялись с угрозой, потянулись с мольбою к небу...

Зашевелились онемелые языки, и из перерезанных гортаней вырвались проклятия и крики:

— Мечь... мечь и тут и там... за гробом...

Спокойно сидит Софья, видит, как, приходя в себя, садится на скамью бледная царица. Видит сияние свечей, движение народа в комнате, портреты на стенах, листы в богатых рамах, исписанные хвалебными виршами в честь ее, Софьи, и от Полоцкого, и от Сильвестра Медведева, его заместителя...

И так же ясно, как все это, видит девушка ту страшную картину, которая, словно блеск молнии, озаорила ее глаза сначала, а теперь так и стоит, мучительно-неотвязная. И бледнеет, как мел, серое лицо царевны, зубы начинают стучать, как в лихорадке.

«Разума, што ли, я лишуюсь», — мелькнуло в голове у Софьи.

Вскочив, она большими глотками осушила ковш с водой, принесенный для Марфы, и снова села, стала спокойнее размышлять: «Как же быть?! Не поверни я так дела — меня и наших всех извели бы Нарышкины. Уж они бы не пожалели... Теперь бойню остановить —

тоже дела не будет. Матвеева нет — Иван Нарышкин жив. Он да и другие помстят за все. Выходит, эти трупы — бесцельной жертвой, камнем, незамолимым грехом лягут все-таки на душу ей, Софье. Так и не стоит назад ворочаться... Поздно теперь... Кто знает, если бы раньше ей показали ясно, ярко, вот как сейчас: что значит — поднять мятежных стрельцов — она бы и не пошла на это... Но теперь — поздно...»

— Да, не пора еще! — вслух почти проговорила царевна.

И снова спокойное выражение овладело ее большим, тучным лицом, расправились густые брови, расжались зубы, стиснутые раньше до боли.

— Вестимо, не пора, — негромко отозвался Милославский. Он все время наблюдал за племянницей и словно читал в ее душе все мысли, все смятение чувств.

Ничего не ответила царевна. Не любит она, когда кто-нибудь заглядывает ей в душу, даже такой близкий, умный и необходимый человек, как старик Милославский.

И потому она обратилась к царице Марфе:

— Легше ль тебе, сестрица, голубушка?

Давно уже на половине сестер-царевен не слыхали от Софьи подобного вопроса, сделанного таким задушевным, ласковым, любовным голосом.

Давно, когда еще ребенком была царевна, никогда не ладила она с братом Федором и сестрами, восстающими против властолюбивой сестры, но вот родился Иван-царевич, слабый, больной, беспомощный, и Софья так и прилепилась к братишке Ване.

Как самая внимательная нянька, семилетняя девочка ухаживала за ним. Самые нежные любовные слова расточала слабому ребенку своим звучным голосом, и необычайной нежностью дышал этот голос...

Так же заговорила Софья в этот миг с царицей Марфой.

Марфа вошла сюда в порыве отчаянья, желая отвести душу, излить тоску, негодование...

И неожиданный, искренний, любовный призыв Софьи, ее теплый вопрос изменил все в душе молодой женщины.

— Ох, што я, горемычная!.. Ты тем, злосчастным помощи... Все, слышь, толкуют: от одново слова твое

во — все по-иному стать может... Скажи же... Не дай!.. Ужли ты так сотворила?!. Ужли ты тово желаешь?.. Сестрица, Софьюшка...

— Пустое толкуют... Не желаю я тово да и поде- лать уж ничево не могу, — не глядя в глаза невестки, устремленные на нее, отвечала Софья. — А што мож- но — сделаем, вот с боярином Иван Михалычем... да с иными... Верь мне. Слово тебе даю. А мое слово — свято... И вот што... Ты нынче не в себе, невестушка... Иди, поотдохни. А наутро — приходи ко мне. Уви- дишь, што делать стану. И ты в помощь станешь...

— Вот, добро, Софьюшка. Господь тебе воздаст. Мы, стало, и Ивана Кириллыча им не дадим, и других, ково можно... И батюшку царицы-матушки... Отмолим у злодеев... Правда? Сестрицы же нас обеих послу- шают... Иванушку научим. Он просить станет. Ко- ли они ево царем зовут — должно же им царя слу- шать.

— Не думаю тово, Марфушенька. Уж разошлись больно эти... люди-то все эти, которые... — Софья не находила слова, как назвать своих же сообщников. — Ну, там, што Бог даст... Приходи, увидишь... Христос с тобою...

И любовно, под руку проводила царицу Софья до самой двери, передала ее провожатым боярыням.

— Прости, Иван Михалыч, уж и ты с Богом ступай... Неможетца мне. Поранней приходи наутро... Да, слышь... Вон, толкуют, стали люди всякие хитить добро наше царское... и чужое... И тех, корысти ради, побива- ют да грабят, ково бы и не надобно... Уж порадей, штоб не было тово... И сором, и грех лишний на... на- шей... на моей душе будет. Слышь, молю тебя, боя- рин... Поставь стрельцов особых... там уж, как веда- ешь...

— Слышу, розумею, Софьюшка. Духу не теряй... Не легко оно, што говорить... Да, слышь: вон скамью эту двинуть?.. Што сил надо. Пустое?.. Дело нестою- щее. А трон попытайся с места тронуть... Да целу де- ржаву великую... што не одну тысячу лет нарастала, осаживалась... Тронь-ка ее... Не то руки подерешь в кровь — а и душе достанетца... Так о том надо было ранее думать, как дело мы с тобой починали... А ны- не — ау, Софьюшка. И хотел бы иной раз посторонит- ца, в крови, в грязи не обвалятца... никак нельзя... Мо-

ре крови кругом... Не плыть поверху — так тонуть в ней надо... Помни, Софьюшка...

После этих слов, звучащих печальным предсказанием, невольной угрозой, откланялся и ушел старик.

А царевна всю ночь провела без сна, то кидалась на ложе, то босая, в сорочке металась по опочивальне, подходила к распахнутому окну, за которым шумели старые темные деревья дворцового сада.

Ветер убегся, буря стихла. Тучи еще проносились тяжелой грядой, но уже в просветы между ними кой-где проглядывало темно-синее ночное небо, трепетно выглядывали ясные звезды.

Но прохлада ночи, ее спокойная красота и тишина не давали отрады царевне.

Видела она неотступно перед собой бесконечную лестницу, сложенную из окровавленных тел... Идет она, Софья, все вверх по этой лестнице. А ступени-трупы шевелятся, извиваются под ногами; лепечут проклятия мертвые, бледные уста, глядят с укором остекленелые глаза, поднимаются к небу с мольбой о мести мертвые, заостренелые руки...

Пока в тереме Софьи намечались пути и цели дальнейших событий, резня и бойня в Кремле и по всей Москве шли своим чередом.

Кроме всех, о ком говорил царевне Хованский, стрельцы изловили и убили еще в Кремле приказного дьяка Аверкия Кириллова, подполковника Григория Горюшкина, не хотевшего пристать к мятежникам. Тела их, как и других убитых, были унесены через Спаские и Никольские ворота к Лобному месту.

— Шире дорогу... Боярин Ромодановский идет, — глумливо кричали пьяные злодеи, волоча по земле изуродованное тело...

И так величали каждого мертвеца по чину-званию, по имени его.

А там — двумя рядами вдоль дороги бросали трупы... Сюда же валили и тех, кто был убит в свалках, имевших место по Земляному и Белому городу за весь этот день.

После полудня, пробив поход во все двести барабанов, главные стрелецкие отряды вышли из Кремля, оставив везде караулы. Но до самой ночи отдельные от-

ряды рыскали по дворцовым дворам и везде по Москве, разыскивая по списку осужденных людей.

Настала темная, безлунная ночь.

Постепенно стали откатываться обратно последние волны бунтующих стрельцов в свои слободы и посады...

И закопошились иные темные силы.. Убийцы, тати, рассчитывая безнаказанно поживиться в грозной суматохе, вышли на работу.

Но тут их ждала неожиданная и быстрая кара.

Отряды стрельцов останавливали каждого, кто шел в темноте с какой-нибудь ношей. При малейшем подозрении, что вещь украдена или взята грабежом, пойманного тут же убивали без пощады и труп относили на Красную площадь, валили в общую кучу...

До сорока таких убитых набралось за всю ночь...

И московский люд, слыша безумные крики о пощаде, разрезающие ночную тишину, дрожал от страха в своих жилищах, плотнее прикрывал двери и окна, жарче шептал молитвы о спасении от зла...

Порою большие отряды стрельцов с фонарями, с пылающими факелами проходили по улицам под начальством всадников, одетых не в стрелецкое, а в «дворцовое», придворное платье.

Это искали по указаниям доносчиков людей, которые успели убежать днем от предназначенной им гибели.

Один такой отряд появился и в Немецкой слободе, у ворот дома датского резидента Бутенанта фон Розенбуша.

На громкий стук вышел сторож:

— Чево надо? Ково черти носят по ночам?

— Отворяй по приказу государя-царя Ивана Алексеича, слышишь, собака, да поскорее, пока жив...

— Царя... Ивана... откуда такой?.. Петра-царь, сказывали... Ково надо, сказывайте. Што за люди? Не то и отпирать не стану...

— Резидента самово... Сверху мы присланы... От царя... от царевны Софьи, слышь, собака... Отворяй...

— Ну, так бы толком и сказали, — заметил сторож, раскрывая ворота и унимая огромных датских псов, норовивших кинуться на незваных ночных гостей.

Розенбуш, неодетый, уже был на крыльце.

— Кто там?.. Што там?.. Кафари... какой люд?.. За-шем польночни нападай?..

— Без напасти мы, Андрей Иванович, к тебе безо всякой. От царя посланы. Обыск учинить, как весть нам подана, што кроются у тебя недруги ево царскова величества, государя Ивана Алексеича, лекарь-иноземец Данилко фон Гаден, да сын ево, Михалко — стольник.

— Нет, это врот ваши шпион. В мой дом нет никакой чужой шеловек... Ищите, если надо... Но я долъжен вам скажайт, я буду жаловать на мой король...

— Ну, там, жалуйся... А мы — оглядим, как надо, все норы твои. Вали, робята...

Был осмотрен весь дом, перешарены сундуки, шкапы — нигде не нашлось тех, кого искали.

Ушли обыщики.

А через час снова подняли весь дом, опять вломились в ворота:

— Эй, немец, подымайся, вялая твоя душа. Изловили сына Данилина; а он толкует, што у тебя отец прятался весь день. Велено поставить вас на очи друг другу. Бери его, робята...

Резидент, неодетый, напуганный, стоял и не знал, что делать.

Жена его кинулась в ноги окольному Хлопову, который вел отряд:

— Помилуй. Дай хоть одеться мужу... Он захворает, если поведете его так, ночью. Я матерью твоей прошу.

Так лепетала по-немецки, обливаясь слезами, госпожа Розенбуш.

— Што она лопочет, растолкуй мне, слышь, Андрей Иванович, — обратился Хлопов к резиденту.

Тот, сам глотая слезы, перевел речи жены.

— Ну, ладно, одевайся... Поспеем и то. Ишь, светать начинается... Всю ночь из-за вас, окаянных, в седле торчи... У, идолы...

Быстро оделся резидент. Подвели ему оседланного коня.

— Ну, вот, еще на коня ему... С нами и так, пеш, пойдешь...

Снова пришлось жене вмешаться, упрасивать Хлопова.

Тот согласился наконец. И рядом выехали они из ворот. А стрельцы скорым шагом двинулись за ними.

Первые жертвы вчерашней бойни, которых увидал по пути резидент, наполнили душу его ужасом. Он ехал, стараясь не глядеть по сторонам.

Караульные стрельцы у Никольских ворот выбежали им навстречу:

— Изловили-таки чернокнижника-лекаря!.. Вон он, доктур Данилко!.. Давай ево сюды... Сами расправимся, и водить не стоит далеко.

— Дорогу, черти, — крикнул Хлопов. — Какой вам Данилко? Посла ведем, слышь, к государю да к царевне-государыне... К Софье Алексеевне...

Недоверчиво поглядывая на иноземца, раскрыла ворота стража. Как только отряд Хлопова миновал их, тяжелые створы снова захлопнулись с визгом на тяжелых ржавых петлях...

Не успели сделать они десятка шагов по грязной бревенчатой мостовой, как им навстречу показалась густая толпа стрельцов и солдат.

Впереди шел стрелец и тащил за волосы труп молодого человека, лет двадцати двух, совершенно нагого, избитого, изуродованного. Несколько ран от копий зияло на груди, на животе у него. Раны были свежие, кровь не успела свернуться по краям. И при толчках о выбоины бревенчатой мостовой из них сочилась сукровица и брызгали остатки крови, еще не успевшие вылиться из сосудов.

— Шире дорогу. Стольник Михайло Данилыч Гадин шествовать изволит...

А за этим телом волокли другое, старика лекаря, Гутменча, друга фон Гадена.

От ужаса и горя Розенбуш едва удержался на седле.

— Ишь, покончили с Гадиным... С кем же теперя тебя на очи постановят? — спросил у него Хлопов. — Вон и другого немца ухлопали. И за што бы это?

Розенбуш молчал, провожая взглядом дикое шествие.

Снова распахнулись ворота — и с гиком, со свистом убийцы миновали их своды, прошли по мосту и потащили дальше оба трупа, туда, к Лобному месту, где гряда мертвецов росла и росла...

У Постельного крыльца, выходящего во дворцовый двор, недалеко от теремов царевен, сгрудилась большая толпа стрельцов и разного служилого люду, когда подъехал сюда Розенбуш со своим провожатым.

Кое-как пробрались они вдвоем на крыльцо, для чего Хлопов то и дело возглашал:

— Пропустите, скорее... Посол идет к царю-государю да к царевне...

Вот прошли они передний покой, но на пороге второго пришлось остановиться. Дальше идти не было никакой возможности: так много народу, особенно стрельчих начальников, набилось в палату.

В глубине, на возвышении сидели царица Марфа и царевна Софья.

Кругом — ближние бояре, Милославские, Голицын, оба Хованские и все другие.

Софья имела усталый, истомленный вид, но на лице ее нельзя было подметить ни следа колебаний или той жалости, которой вчера была охвачена душа царевны. Ясно глядели ее глаза. Властно держала она голову, упрямо и твердо сжимала свои полные, яркие губы.

Князь Иван Хованский говорил со стрельцами:

— Призвали вас государыни наши, царевна Софья Алексеевна и царица Марфа Матвеевна, чтобы благодарить за службу усердную и верную. Скоро, видно, все придет к доброму концу. Весь народ московский, и бояре, и царевичи служебные, — все склоняются: Ивана-царевича — на царство посадить. Надо лишь самых лютых врагов царских: Ивана Нарышкина и Кирилу Полуэхтовича да иных немногих разыскать и судить их. А тамо — што Бог даст... Любо ли так?

— Любо! Вестимо, любо! — крикнули как один все стрельцы и дворяне. — Как ты скажешь, батюшко наш, князь Иван Андреич, так нам и любо...

Царица Марфа, когда Хованский заговорил об Иване Нарышкине, сделала движение, словно собираясь говорить. Но Софья удержала ее. А крики, от которых задрожали стены покоя, совсем лишили мужества и сил царицу.

— А как ведомо всем, што той Кирилло Нарышкин о царе промышлял лихое, то и надо ево в монастырь куды в дальний послать, постричь навеки. Так любо ли?..

— Любо... Любо...

— А и Наталью Кириловну, государыню вдовую, в покаях бы царских не мучила, — тоже постричь надо, от верху подале сослав. Любо ли?..

— Любо... Любо... Любо... Меней свары буде про-
меж государей... Вестимо...

— А еще государыни изволят: бабу бы эту, хворую,

отпустить бы ко двору, как она к лихим делам мужа не причастна.

И Хованский указал на женщину лет сорока, скромно одетую, со следами побоев на лице, всю в пыли и грязи, которая робко прижалась на полу, за креслами обеих государынь.

Это была жена Данила фон Гадена.

Ее вместе с лекарем Гутменчем приволокли в Кремль. Лекаря убили за то, что он не мог верно указать, где спрятался Гаден. Принялись и за жену Даниила. Но вышли обе государыни, и мольбы Марфы успели повлиять на мучителей. Ее оставили пока, желая знать, что скажет царевна Софья, впервые открыто выходящая из своего терема к ним, верным ее слугам, покорным исполнителям замыслов и планов.

От имени Софьи Хованский объявил им волю царевны.

Едва умолк Хованский, Марфа поднялась с места и заговорила:

— Люди добрые, прошу вас, не троньте ее. Я и царевна вас молим о том. Што люди скажут, коли говор пойдет, што жен изводить вы стали?.. Не мужское то дело... Грех и стыд... Оставьте ее.

— Чево оставить?.. Мужа не крыла бы... Другой день ищем аспида, как в землю пропал. Ее не станем изводить... Лишь попытаем малость...

Так закричали было со всех сторон в ответ на просьбы Марфы.

Но тут случай выручил напуганную, полумертвую от ужаса докторшу.

— Нарышкина поймали!.. Эй, все вали сюда... Поймали ево, изменника...

Эти громкие крики донеслись со двора до самых покоев.

Мигом кинулись во двор все стрельцы.

Только Розенбуш с Хлоповым остались за порогом этой комнаты, не решаясь: войти или нет?

— Ну, вот и ладно, — заговорила в первый раз за все утро Софья. — Слышь, Елена Марковна, уходи скорее... Вон, Севастьяныч проводит тебя... Авось стрельцы не вспомнят... С Богом...

И, не обращая внимания на благодарность обрадованной женщины, Софья обратилась к Марфе:

— Сама теперь видела: и мы с тобой — не в своей,

в ихней власти покуда... А што можно, все делаем... И поудержим, где надо. Вон, слышала, как князя Ивана полюбили стрельцы. Иначе не величают, как батюшко наш...

— Еще бы не величать, — самодовольно поглаживая усы и поправляя богато расшитый воротник своего кафтана, вмешался было Хованский.

Но Софья, словно и не слыша его голоса, продолжала:

— А попробуй тот же Хованский им што не по нраву сделать, посмей не по шерстке погладить их, безудержных... Так и от «батюшки» — одни ошметки полетят...

— А што ты думаешь... Твоя правда, царевна, — насколько не смущаясь невниманием Софьи, опять вставил словечко князь Тараруй и стал в раздумье крутить свой ус и поглаживать выхоленный жирный подбородок.

— Вот, то-то и есть... Так потерпим, царица. Немного осталось. Горше было — минуло. Меньше осталось... А еще знай...

Софья остановилась.

— Иван Андреич, погляди, хто там стоит? Никак, данский резидент. Хто, пошто привел ево сюды? И не звала я...

Хованский оглянулся, узнал Розенбуша и через весь покой крикнул ему:

— Здорово, Андрей Иваныч... Пошто ты к нам?.. Хто звал?..

— Да твоя же милость посылать изволил, на очную ставку с сыном докторовым, с Михалком требовал... А ныне мы... — стал докладывать Хлопов, выступая вперед.

— И то, и то... Запоматовав я... Пожди...

И, обращаясь к Софье, Тараруй негромко сказал:

— Наврали все, слышь, про немчина этово. Не крыл он никоу у себя. Пустить ево — и лучше. Немчин добрый. Я сам с им пировал сколько разов.

Софья только рукой махнула в знак согласия.

— Гей, слышал, Осипыч, — крикнул Хованский Хлопову. — Царевна приказывает отпустить немчина. Дело уж разобрали и без ево... Да побереги сам Бушато. Наши больно разошлись. Подвернетца кому под руку — и поминай ево, как звали... А потом хлопот не оберешься с им, с колбасной душой... Гайда....

Розенбуш и Хлопов, отдав поклоны, вышли.

— Пойду и гляну, матушка государыня, какова там Нарышкина еще изымали. Ужли Ивашку? — объявил Тараруй.

Но не успел он дойти до двери, со двора послышались громкие вопли, безумный крик, мольба о пощаде, полная тоски и боли...

Тараруй почти бегом кинулся из покоя, бормоча:

— Эх, жаль, коли без меня прикончат парня...

Марфа при первом вопле, долетевшем сюда, зажала руками уши, закрыла глаза и кинулась на высокую грудь Софьи, где ее небольшая красивая головка совсем казалась детской, маленькой.

Софья не шевельнулась, пока не вернулся Хованский.

— Ну, кто там? — спросила она князя.

— Ваську, Филимонова сына, Нарышкиных, прикончили... А Ивана все нет. Наши уж серчать стали. К Наталье много раз заглядывали, да, видно, далеко спрятан. Не нашли. Сказывали ей: не выдаст ево да Кирилу Полуэхтовича — так худо будет. Всех с корнем изведут, кто тут во дворце и есть... Придет время — сама выведет, уж не миновать... А Наталья-то, как немая. Сидит да молчит, глазами только водит... И где она их только запрятала? Знать бы мне... Было бы укрывальщикам...

Слова князя словно обжигали царицу Марфу. Она вздрагивала от них, как от сильных укулов. И будь Тараруй не так ограничен, он понял бы, как поняла Софья, что царица Марфа знает, где нашли убежище эти двое и другие из Нарышкиных.

Но Софье не хотелось натравливать на молодую царицу безумных палачей. Она решила действовать иначе.

— Вот, так всево лучше, — обратилась царевна к Хованскому, — сказать стрельцам, што не стоит и время терять, шарить попусту... Как пригрозить покрепче Натальюшке — сама, вправду, отдаст братишку любимова, смутьяна, составщика наиглавново ихнево... Я ноне и то поговорю ей... Може, послушает... Только бы знала Наталья, што без тово — конца делу не будет... Поразумел, князь, али нет?

— Ну, вот... Я же про то сказал тебе, да я — не поразумею!.. Уж ты меня слушай, царевнушка ты моя, матушка. Все ладно будет... Чистенько станет перед

троном, как вот на ладошке... И ступай... И веди царя Ивана Алексеича... А мы, ваши рабы и слуги, на вас станем радоватца да поминать, как мы вас, государей, на царство ставили. И будет нам от всей земли слава вечная...

— Будет, будет... Уж што и говорить. Я вот, князь, попытаюсь, к Наталье пройду. Може, ныне все и прикончитца... А ты за своими ступай...

— Иду, иду, матушка царевнушка... Да вот, послушай, еще одно сказать тебе надобно. Как вот и бояре... Стрельцы мои сказывают: пожитки да дома опальных бояр, какие от побитых да от сосланных остались, да еще какие будут, — штобы на вольный торг пустить... По цене по самой дешевой... А покупать бы тех пожитков никто не смел помимо их, стрельцов же... По той причине, что обиды чинили и протори стрельцам все те побитые да сосланные бояре... Да они же, стрельцы, вам, государям, службу верно правят, им-де и жалованьишко какое ни есть от вас, государей, видеть надобно... И еще...

— Ладно, добро... Так и сделай, как просят... Бояре потолкуют с тобой... Слышь, дядя... И ты, князь Василий... А ныне то сделаем, што сказывала. К Наталье пойдем...

— Пусть ищут, пусть берут! — только и сказала Наталья Софье в ответ на все доводы царевны. И так поглядела на золовку, что даже эта твердая девушка почувствовала смущение.

— Как знаешь. Стрельцы до завтра сроку дали. Завтра я еще приду, — сказала Софья и вернулась к себе.

На другое утро, около полудня, когда царевна Софья с царицей Марфой и боярами направились опять к Наталье, зазвучали набатные колокола. Новая жертва попала в руки стрельцам.

Доктор фон Гаден, одетый в нищенское рубище, два дня скрывался в Марьиной роще, не смея выйти из чащи даже для того, чтобы попросить у кого-нибудь из окрестных жителей кусок хлеба. Его лицо и наружность были всем слишком хорошо известны, и бедняк не решался идти на явную опасность. Но голод сломил старика.

Прикрыв, насколько было возможно, лицо, пробирался он по улицам Немецкой слободы к знакомому аптекарю-голландцу. И уже был близко от его усадьбы, как показалась кучка стрельцов.

— Стой... Што за птица?.. Не из верху ли подослан, от лихоедеев царских?.. Оттуда много таких старцев шлют... Пощупаем и этово... Не зря приказ дан: всех бродяг имать...

И один из стрельцов сбил шапку с Гадена.

— Ну-ка, разглядим, што за старец, откудава?

— Братцы, — крикнул радостно другой, пожилой бородач, — да энто ж Данилка проклятый... Знаю я ево... Как в верху был — он и мне раз снадобья своево давал проклятова. Занедужалось мне тогда... А я при государе был... Он, он, еретик, чернокнижник, дружок матвеевский... Волоки, робята, ево прямо к батюшке нашему, ко князю Ивану... Пожалует он за такую находку... Тащи...

И старика, оглушенного, полубесчувственного, приволокли в Кремль, к Золотой решетке, где проходили в эту минуту царица и царевна по галерее Красного крыльца.

— Софьюшка, голубушка, слышь, гляди, — старика волокут... Пойди, скажи им, — стала молить царица Марфа Софью.

И не хотела глядеть царица, а взоры ее были прикованы к отвратительному зрелищу.

Дряхлое, худое тело моталось в руках у палачей, которые хотели допытаться у Гадена: где он крылся все время? Требовали, чтобы сознался он в колдовстве и в том, что отравил царя Федора по наущению Нарышкиных.

— Не послушают они меня, — покачав головой, сказала Марфе царевна Софья. — Вот сама увидишь.

И двинулась со всеми окружающими туда, почти к самому месту, где палачи играли роль судей, подвергая допросу полумертвого старика, истощенного голодом, обессиленного страхом смерти.

Хованский тут, конечно, разыгрывал главную роль и, допрашивая Гадена, пересыпал вопросы крупной бранью и проклятиями.

— Ты, жидовин треклятый... Еретик, волшебник, семя адово. Што молчишь? Отмолчатца мыслишь?.. Ну, уж не жди тово... Тут мы судим, а не бояре безмозг-

лые, которых морочил ты... Видишь, какие молодцы... За веру святую, за государя-батюшку душу положим, спуску никому не дадим... Кайся же, как на духу, треклятой... Ткни ему по скуле, Сенька... Раскроет зевото... Ишь, и губы склеил... Ровно мертвый... Слышь, еретик. Скажешь все, не станешь покрывать Нарышкиных, объявишь народу, как они подкупали тебя: царя бы усопшего, Федора, извести... Милость тогда явим тебе, собаке. Одним разом покончим с аспидом. А молчать станешь... Ну, не взыщи тогда... Гей, огоньку несите... Да шпынечков. Мы и тут не хуже, как в застенке, с им поуправимся...

— Стой, не надо, — властно заговорила Софья, совсем приближаясь к месту пытки. — Слышь, князь, — облыжно на доктора донесли... Я вот и царица Марфа Матвеевна своими очами видели: по правде службу правил Гаден... Все дни была я при брате-государе. И каждое снадобье, какое готовил, сам опробует, бывало, сперва... И остаточки допивал. Можешь мне поверовать. Чай, и вы знаете меня, люди добрые. Так пустите старца... Пусть живет.

— Пустите, ох, пустите... Што вам от нево? Я за нево и выкум дам, коли надо... Не повинен дохтур... Я не раз видела... Вот на крест вам божуся, на церковь Божию... Откушивал он и питье... И порошочки всякие пробовал... Пустите ж его. Челом вам бью... Князь, не губи старика... Люди добрые, не убивайте ево...

И до земли поклонилась стрельцам и Хованскому царица Марфа.

Палачи, державшие Гадена, против воли отпустили старика. Другие — переглядывались, негромко переговаривались между собою. Задние, которым плохо было видно и слышно, что творится на месте допроса, влезали друг другу на плечи, кричали передним:

— Што же стали?... Кончайте с жидовином — да на Пожар ево... Али царицы сами, государыни допрос ведут?..

Передние им не отвечали. Они поглядывали на Хованского, ожидая, что скажет их «батюшка», Тараруй.

Гаден при первых звуках знакомых женских голосов весь словно ожил.

Раньше — чтобы не глядеть в глаза смерти, в лицо своим мучителям-убийцам, — он зажмурился крепко, сжал плотно бледные, тонкие губы, на которых темне-

ла засохшая липкая пена, и только мысленно молил Небо о спасении, мешая старые, полузабытые молитвы израильского народа с новыми, потом заученными, когда он последовательно становился католиком, протестантом и, наконец, принял православие, подобно своему сыну.

Костлявая, бескровная рука была прижата у него к груди, и ею он то осенял незаметно себя латинским крыжем, то творил безотчетно троеперстное знамение креста, то ударял слегка в грудь кулаком, как это делал еще юношей, совершая моление в синагоге.

И голоса Софьи, царицы Марфы показались ему райскими голосами. Очевидно, Бог услышал мольбы старика, прислал спасение.

Преодолевая страх, раскрыл Даниил-Стефан старческие, воспаленные глаза, сделал осторожное движение и вдруг с раздирающим воплем кинулся прямо к ногам обоим женщинам. Он приник к их коленям, целовал их платье, жалобно выл и охал и бормотал, невнятно, прерывисто, жалобно шептал своими пересохшими губами:

— Ангелы Божии... Спасли... спасли... Да воздаст вам Господь Адонаи... Бог Израиля, Христос Распятый и Богоматерь, Пречистая Дева и все пророки... Я же знал, што вы спасете. Разве ж я не лечил мою царевну Софьюшку, когда она еще вот какой девочкой была... Когда ей бо-бо было... И старый Данилко разве не помогал ей?.. И ночи проводил у ее постельки... И царицу Марфу лечил старый Гаден... И всем помогал... Всем помогал... А если Бог не хотел дать веку царю Федору Алексеевичу, моему благодетелю... Чем же виноват старый лекарь?.. Он старый. Ему и так скоро помирать, Данилке... За что же мучить ево?.. Бог увидел... Бог спас...

— Ну, буде, продажная душа... Не погневайтесь, государины... А не жить ему, еретику. Вон, и тут колдует... Глаза отводит вам, государыням, как отводил при самом государе опочившем... Вам виделось, пьет свои снадобья да зелья пагубные жидовин-колдун. А он и не отведывал их. Глаза вам отводил... Ступайте с Богом по своим делам государским... Вон, и тут он свои чары творит... Крыж латинский из руки делает, да троеперстное знамение... Один конец еретику. Собаке — смерть собачья...

Так неожиданно, грубо прозвучал голос Тараруя.

Князь сам рванул с земли Гадена, отбросил его от обеих заступниц — прямо к палачам, которые сейчас же снова ухватили старика.

Марфа задрожала, видя, что делают с Гаденом. Но не могла двинуться с места.

Тогда Софья, лицо которой потемнело от сдержанного гнева и ярости, охватила рукой царицу и почти насильно повела ее прочь. Только взгляд, которым обменялась царевна с Милославским, не предвещал ничего доброго Хованскому.

Жалобные крики старика, которого тут же стали добивать стрельцы, долго доносились до слуха женщин, торопливо покидающих место казни.

Тяжела была сцена, которая разыгралась сейчас на площади, у Золотой решетки.

Но не меньше перестрадала Марфа и во время короткого свидания Софьи с Натальей, на которое почему-то сочла нужным привести ее царевна.

— Как скажешь, матушка государыня? Надумала ль, о чем я толковала вчор? Мешкать не приходится. Слышишь, што у решетки творит народ? Видела, какую они расправу чинят с боярами и с другими, хто не по их воле делает... Пожалей себя... нас всех... бояр... И сына свою пожалей, царица. Гляди, волна хлестнет — все слизнет... Богом тебя молю, дай весть Ивану Кириллычу: вышел бы сам... Не ждал бы, пока дворец и терема со всех четырех концов подожгут... Тогда поневоле выйдет...

Ни звуком не отвечает Наталья. И только горящие ненавистью и презрением глаза прожигают своим взглядом Софью.

— Матушка государыня, — заговорили тогда тетеньки царевны, которых тоже позвала Софья за собой, — смилуйся надо всеми нами... Скажи, где Иван Кириллыч. Пусть выйдет. За што нам погибать?..

— Да, может, и нет ево в терему... ни во дворце... Может, бежал он... Вот и скажите вашим душегубам... Не была я Иудой и чужим людям, и своих не предаю на казнь смертную, на лютое мучительство... — ответила тетенькам Наталья.

А сама все не сводит глаз с Софьи.

«Иуда»... это мне она», — подумала царевна. Но не смутилась нисколько. Большую муку пережила девушка позапрошлой ночью. Теперь только взгляда царицы

Натальи не может выдержать Софья. А все другое ей нипочем.

И тут же снова заговорила:

— Государыня-матушка, што уж так разом: и казнь и пытку поминаешь. Гляди, не звери же они... Люди тоже! Увидят, што волю их сотворили — и по-добрее станут... Ну, сослать куды али бо в монастырь, в келью уйти прикажут и брату и родителю твоему... Уж, видно, такова воля Божия. Он из праха людей подьмет и во прах низвергает...

Сказала — и глядит: дошла ли до цели стрела? Удачно ли напомнила царевна ненавистой Наталье о низком происхождении, о бедной доле, из которой царь Алексей вознес ее на высоту трона.

Но Наталья словно и не слышит ничего. И не плачет даже. Теперь заплакать нельзя. Лучше пусть разорвется грудь, только бы Софья не видела слез, не слышала рыданий и жалоб Натальи.

— Государыня, — заговорили наперебой бояре, боярыни, тетки, все, кто тут был, — и вправду... Велика милость Божья... Под Ево святым осенением... Пусть выдут обое... Патриарха позовем... Иконы возьмем... Ужли не послушают?... Чай, уж напилися крови изверги до горлушка... Може, не отринут слез и молений наших...

Долго слушала, не двигаясь, Наталья. Потом поднялась, обратилась к матери:

— Матушка, иди в терем к царевне Марье... Зови брата... Веди ево к Спасу Нерукотворену... А там да буди воля Божия... Скажи... скажи брату... не предавала я ево... Скажи... Да ты сама слышала... Да Петрушу туды поклещь... Пусть видит и он... Пусть помнит... пусть...

Она не досказала. Ноги подкосились, не стало голоса, померкло в глазах.

И снова безмолвная, как мертвая, опустилась она на место, сидит, не шелохнется.

Подняли ее боярыни, повели в дворцовую небольшую церковь на Сенях, где хранился древний, чудотворный образ Нерукотворенного Спаса.

Привели и Ивана Нарышкина туда.

Пока пришлось прятаться по чуланам и похоронкам в покоях доброй царевны Марьи Алексеевны, исхудал красавец Нарышкин. Обрезанные коротко волосы еще

больше сделали скорбным, страдальческим весь облик заносчивого, легкомысленного прежде юноши.

Словно отпевание над живым мертвецом совершалось в тесной, небольшой церкви. Кончилось моление, Иван исповедался, приобщился и был пособорован, как умирающий.

А глаза его горели жаждой жизни и огнем молодости... Молодая грудь вздымалась так порывисто и сильно...

Не выдержала Наталья:

— Софьюшка, доченька моя милая... Прости, за все прости, в чем виновата перед тобой... В чем мы с роднею провинились перед вами всеми... перед сыном Иванушкой!.. Пускай... пускай он царит... Петруша хоть и погодит мой... Софьюшка... Не губи... Все от тебя идет... Ты все можешь... Спаси... Не губи брата... Гляди: молод он... Гляди: какой он... Пожалей его... Молю тебя...

И, валяясь в ногах у Софьи, Наталья ловила ее руки, целовала их, обливала слезами.

С непонятым, не детским спокойствием смотрел до сих пор Петр на все, что творилось перед ним. Полуоскалив стиснутые зубы, сжав кулачки, мальчик боялся сделать малейшее движение, издать один звук. Ему казалось, что тогда он станет каким-то страшным... Кинется на нее, на ненавистную сестру Софью, будет выть, кричать, вонзит свои зубы глубоко-глубоко в большие, обвисающие щеки царевны, станет рвать их... А за это — будет горе и матери, и дедушке Кириллу, и всем... Вот почему стоял и молчал мальчик. Только когда упала Наталья в ноги падчерице, он с недетской силой, стараясь поднять ее, отчаянно, громко зарыдал. Подбежал Куракин и почти унес на руках Петра, потерявшего сознание.

Все стояли, потрясенные, безмолвные, не имея сил вмешаться, сказать что-нибудь, на что-нибудь решиться.

— Матушка, царица-государыня, — наконец заговорила и Софья каким-то сдавленным, горловым, не своим голосом.

И сильными руками подняла Наталью, прижав ее к своей рыдающей груди, только и повторяя:

— Матушка, государыня... Да што ты...

И наконец, подавив громкие рыдания, заговорила быстро, повышенным, но искренним голосом:

— Кабы могла я... Богом клянуся... Вот на сей об-

раз чудотворный Спаса Пречистого, Христа Искупителя возлагаю руку свою... Не стала бы говорить тебе... Не искала бы гибели Ивановой... Да, слышь, нет помочи иной... Коли не сделать по прошению стрелецкому — и Ване и Петру — братьям-государям не жить... Сама ли не слышала, какие речи вели с тобой стрельцы?.. Угрозы их помнишь ли? И совершат, как грозили... Вот и подумай: братьев ли государей на смерть отдавать нам али Ивана, дядю, на крыльцо вести?.. Сама решай... сама думай...

Но Наталья все силы исчерпала в последнем порыве. И только молча взяла под локоть брата. Софья с другой стороны держит его и говорит:

— Я попытаюсь... Я скажу им... Пусть не отымают жизнь... Не страшись так уж, дядя, Иван Кириллыч... Бог даст... Охранит тебя Спас Нерукотворенный...

Патриарх встал сзади с образом Одигитрии Владычицы в руках. Нарышкин обернулся к Софье:

— Челом и я тебе бью, царевна... Прости за обиды мои, вольные и невольные. Дай, Господь, моей бы кровью и кончилось все смятение... Стерплю до конца... Как Бог заповедал, за ны Распятый...

И трижды, по обычаю, прикоснулся к губам предательницы своей.

Силой веры вдруг словно возродился этот человек и твердо умел встретить минуту смерти.

Колебалась, как огонек в лампаде, слабая надежда на спасение, которая теплилась в душе у всех присутствующих, подогреваемая властным внушением царевны Софьи.

Как только Иван Нарышкин с Натальей и Софьей показался на крыльце, в виду мятежников, заполняющих всю площадь, пьяных, возбужденных, страшных на вид палачей в одних рубахах с обнаженными руками, всем стало ясно, что спасенья нет.

Бессознательно вырвался Иван из рук женщин и кинулся к патриарху, под защиту образа Богоматери. А Софья и Наталья, упав на колени, стали молить о пощаде стрельцов.

Затрещали барабаны, загудел набат... Однако толпа, не ожидавшая такого зрелища, колебалась.

Сердца начали смягчаться. Послышались голоса:

— В келью ево!.. Навеки заточить лиходея!..

Но тут вмешался рок.

Пьяный, с раскрытой грудью стоял впереди других стрелец, избитый плетью по приказанию Нарышкина боярскими вершниками за то, что вовремя не свернул коня перед поездом боярина. И теперь, не глядя ни на кого и ни на что, видя перед собой только ненавистное лицо обидчика, здоровый парень медленно, грузно взошел по ступеням, ухватил за волосы Ивана и потащил вниз, не чувствуя, как за боярина цепляются в судорожном усилии слабые пальцы царицы Натальи.

Упала ниц, головой на ступени сестра, чтобы не видеть мучений и гибели брата...

А стрельцы с гиком, с воплями радости, лавиной живых тел ринулись к Константиновскому застенку, где заранее решено было сделать «допрос» и пытать Нарышкина.

Недолго пытали его.

Стиснув зубы, юноша не произносил ни звука, когда ему жгли пятки, вбивали гвозди под ногти, рвали кнутами кожу и тело. Только порой, собрав немного влаги в пересыхающих, потрескавшихся губах, брызгал он слюной и пеной прямо в лицо мучителям.

— Не гнешься, гордения?.. Ладно, подрубим спесь, коли так, — крикнул Хованский. — На Пожар ево. На Красную площадь ведите, ребята. Согните кадык боярский гордый, неподатливый... С головой срежьте злобу лютую...

Почти обнаженного привели Нарышкина к Лобному месту, поставили среди груды изрубленных тел и отрубили сперва руки, потом обезглавили страдальца и отсекли ему обе ноги.

А в это время опьянелый стрелец громко возглашал те мнимые вины, за которые четвертуют Нарышкина. И даже эти куски еще долго дробили ударами секир озверелые мучители. А голову, наткнув на пику, выставили здесь же, на всеобщее поругание...

В это же самое время бояре выдали другой толпе стрельцов старика Кириллу Полуэхтовича. В келье Чудовского монастыря, куда его привели, посидел он недолго, пока все изготовили для пострижения; здесь же Чудовский архимандрит Адриан совершил обряд, и боярин Кирилл стал иноком Киприаном.

Ночь пробыл в келье старик под крепким караулом, а рано утром его повезли в Кирилловскую пустынь, далеко, на Бело-озеро...

Казнь Ивана была как бы последним взрывом, последней вспышкой кровавой бури, которая целых три дня бушевала над Москвой, особенно над Кремлем и царскими палатами.

18 мая снова пришли мятежники всей толпою в Кремль, но уже без оружия.

Да и ни к чему было оно. Одно имя стрельцов наполняло ужасом сердца. Все, чего бы они ни пожелали, исполнялось без малейшего возражения.

Входили они в дома — их принимали, словно самых дорогих гостей, поили, кормили, одаряли вещами и деньгами.

В кабаках и кружалах — тоже не было ни в чем отказу «верным слугам государевым», как стали величать себя стрельцы.

В кремлевских палатах — только место царя не было попираемо сапогами стрельцов. А то везде побывали эти незванные гости. И потому как только утром 18 мая выборные заявили, что хотят видеть государей, их сейчас же привели в Грановитую палату.

Здесь уж собрались все бояре, окольничие, патриарх, духовенство. Сидели Петр и Иван, окруженные близкими и родными. Но теперь Петра охраняли только дядьки его и царица Наталья. Не видно было многочисленных Нарышкиных, которые прежде наполняли терема сестры-царицы и покои Петра.

Из царевен была только Софья, сидящая наряду с Натальей.

Один из выборных, пожилой, краснощекий, по виду скорей торговец, чем воин, заявил:

— Присланы мы от товарищей: челом бить. Порядку на царстве стать надо. А как ево завести — о том боярин, князь Иван Андреич, батюшка наш, заступник, добре знает. Вот он и поведает про наше челобитье государям и всему боярству и царевичам служащим, кому ведать надлежит.

Челом ударил, отошел.

Прежде чем кто-нибудь успел отозваться на слова выборного, Софья первая заговорила:

— Знаем мы все, и государи ведают добрую службу вашу стрелецкую. Мыслим, и новое дело, о коем челом бьете, на добро будет. А все же — потаить нельзя — много и буйного излишества творит народ за эти дни. Сказывали мне, не от старых, коренных стрельцов та

смута. Не наказные то поселяне, пришлецы подгородные грабежи да татьбу творили. Да молодежь безусая, пьяная, котора и старших не слушала, и Бога не боялась. А боле штоб того не было. Вот уж и мирные люди собираются добро свое хоть смертным боем оборонить. И град весь опустел. Суда-правды нигде не найти. Приказы опустели... Не везут и хлеба в Москву ниоткуда, убося лихих людей. Мы вас и государи слушать рады. А и вы, стрельцы, мои слова послушайте. Сами замиритесь и других смиряйте. Ей, лучше будет. Обещаете ли?

— Твои рабы, царевна... Разумница ты наша... Тебе и государям — послужим. Бог видит: все бесчинства сократим... Себя не пожалеем... Любо ли, робята?

— Любо, любо, — крикнули выборные своему вожаку.

— Бог слышал. Ну, сказывай, што надо, князь Иван Андреич, — обратилась к Хованскому царевна.

Князь вышел вперед и поклонился. Сын его, Андрей, тоже занял место за плечами у отца.

— Во имя Господа Всеблагого вот што поведать должен вам, государи Иван Алексеич да Петр Алексеич, царица Наталья Кирилловна, да государыня-царица Марфа Матвеевна, и царица-государыня Софья Алексеевна, да отец патриарх со всем собором, и бояре, князья, царевичи, Дума царская. Многие беды нашли на землю от той причины, што царь наш, великий князь и летами мал, и не старший в роду царевич, на трон вошел родителя и брата своего, государей усопших. А посему челом бьют защитники трона царского, стрельцы московские и солдаты в полку, што на Бутырках, и народ весь, и власти все духовные: стать бы на царство старшему брату, царевичу Ивану Алексеевичу, первым царем. А младшему брату, Петру Алексеичу, оставатца на троне ж вторым царем. Как было во времена былые, в Царь-Граде, при братьях-императорах Гонории и Аркадии, также при Василье да Константине, земле во благо, людям на радость, государям на прославление. И так тому быть мочно: приедут иноземные послы — выходить к ним и принимать их царю второму, Петру, как первый царь здоровьем слаб и глазами скорбен. Войско вести на неприятеля — тому же Петру-государю. А Московским государством, землю всею править купно с боярами — первому царю, Ивану Алексеичу. Так любо ли? — обратился к выборным князь.

— Любо... Любо!.. А ежели хто не пожелает, воспротивитца тому, сызнава придем с оружием, и будет мятеж не малый, — не выдержав, послали угрозы выборные. И обратились прямо к царевичу Иоанну: — Што же, государь, сам слова не скажет нам, рабам своим? Волишь ли быть первым на царстве?

— Не молчи. Скажи свое слово! — внушительно, хотя и не громко заметила брату царевна Софья.

— А што мне им сказывать? — щуря свои больные глаза, угрюмо заговорил Иван. — Поставили — так буду царь. Первым-то уж и не надо бы мне... А и то сказать, буди воля Божия.

— Вестимо: выборные не собою говорят, но Богом наставляемы, — перебила упряма царевна. — Дальше что скажешь, князь Иван Андреич?

— А другое челобитье стрелецкое и земское, всенародное, такое: в пособие юным государям для многотрудности царского управления — да помогает сестра их старейшая, премудрая царевна-государыня Софья Алексеевна на многи лета. Так любо ль?

— Любо!.. На многие лета!..

— И нынче штобы от патриарха святейшего собор был созван и приказ был дан: присягу примать тем обоим государям. И все бы присягою крепко стало. Любо ли?

— Любо, любо!..

И один из выборных, подойдя к окну, стал махать шапкой стрельцам на площади.

— Любо, любо!.. — громовым откликом долетело сюда немедленно, и зарокотали барабаны, зазвонили колокола...

Софья выждала, когда стих шум, и в ответ на такую просьбу, похожую на приказание, с поклоном отвечала:

— Все так и повершим, как вы просите, ратники славные, пехота наша верная. Верую: не вашей то волей — Божиим хотением все объявилось. Челом бью за доброхотство ваше. Отныне не стрельцами московскими — надворной пехотой государевой именовать себя почнете. И в начальники назначается вам верный и храбрый слуга царский, князь Иван Андреич Хованский. А в подмогу ему — сын ево же, князь Андрей Иванов. Так — любо ли?

— Любо, любо!..

— Да еще за все заслуги ваши, за промыслы о царстве, о спокойствии земском — жалуюм вам, полкам всем стрелецким и солдацкому, што в Бутырках, сплошь, по спискам, мал, велик ли человек, все едино — по десять рублей. Ежли ж в казне нашей государственной враз таких денег не станет — брать вам ту дачу с патриарших, и властелинских крестьян, и с монастырских, и с бобыльских, также и с приказных людей по окладу, какой идет им от казны. И с дьяков, и с подьячих. Любо ли?

— Любо, любо!.. Любо, государыня-царевна!.. — восторженно отозвались выборные.

От площади снова откликнулось им тысячеголосое, мощное эхо толпы:

— Лю-юю-юбо!..

— Святейший отец патриарх, тебя вопрошаю, — только теперь задала Иоакиму вопрос царевна, — оклады те брать с крестьян твоих и властелинских дозволишь ли али иначе укажешь казну собрати?

— Кесарево — Кесареви, мудрая царевна-государыня, — только и ответил евангельской отповедью святитель на лукавый, фарисейский вопрос.

Но стрельцы, в большинстве — аввакумовцы, капитоновцы и никитовцы, закоренелые староверы, и внимания не обратили на смирение Иоакима.

Снова заговорил Хованский:

— Еще челом бьют тебе и государям слуги ваши верные, надворная пехота государственная. Штобы и на многие годы потом знали люди, внуки и правнуки наши: отчего настало великое побиение за дом Пресвятыя Богородицы и за вас, государи; какое великое пособие оказали полки стрелецкие с солдацким Бутырским полком купно, штобы всем то было ведомо — за какие вины побиты столь многие и высокие персоны, даже царской крови близкие, — на том месте, на Красной площади, где изменников тела ныне лежат, поставить каменный столб с надписями и все действие стрелецкое, службу их верную, и вины изменников начертать. И никто да не посмеет стрельцов тех бунтовщиками либо изменниками звать. Так — любо ли, товарищи?

— Любо!.. Любо!.. Столб поставить... Уж тово не миновать... Знали бы все... Столб на Пожаре... на Красной площади... Чтобы все видели... Читали бы ваши

слова государские. Чтобы нас не казнили потом за вины за старые!

Софья не была предупреждена о такой затее стрельцов, вернее — Хованского с сыном, пожелавших не только оправдать зверства стрельцов, но и увековечить свое имя вместе с их именами.

Но думать было некогда.

Не умолкая звучало стрелецкое «Любо...» и здесь, под сводами Тронной палаты, и там, на площадях кремлевских.

Стоило сказать — нет, кто знает, что выйдет из этого.

— Волят государи, и мы согласие даем на челобитье ваше, — сухо произнесла царица. — Все ли теперь?

— Да, все, кажись, царица-государыня... Челом бейте, братцы-товарищи, государям, государыням да Думе всей их царской... А патриарха просите: недолго бы и увенчал обоих государей, как искони бе, венцами царскими...

— Челом бьем... Венчайте государей поскорей...

Отдали поклоны и вышли все вместе с Хованским.

На площади снова заговорил перед стрельцами болтун Тараруй.

И на каждое его слово громкими, дружными кликами одобрения отзывалась толпа.

— Ну, Софьюшка, вот и в цари попала ты ныне, голубушка. Челом бью на радости, — тихо в этот самый миг сказал царевне Милославский.

— Не я... тот царь еще покуль, вон, што толкует с горланами на площади...

— И то слово твоё верное... Да, слышь, сама сказала: «Покуль»... Верь, недолго повеличаетца...

В раздумье, недоверчиво покачивая головой, молча поднялась царица.

Но время показало, что старый хитрец Милославский был прав¹.

¹ Подлинный текст надписи на четырех сторонах каменной пирамиды, построенной на Красной площади, близ Лобного места, под наблюдением Озерова и Цыклера, см. в конце повести.

ПАДЕНИЕ СОФЬИ

(23 мая 1682 — 12 сентября 1689)

Все, что заранее было решено в опочивальне царевны Софьи, на советах ее с Милославскими, Голицыным и Хованскими, что было оглашено перед боярами и царями устами выборных стрелецких и того же Хованского, — все это скоро получило торжественное, хотя и запоздалое подтверждение обычным в государстве путем.

Собран был духовный Собор и боярская Дума, постановили решение, огласили указ, и на 25 июня было назначено коронование двух братьев-царей.

По случаю этого торжества новые милости были дарованы ненасытным стрельцам... И начиная с 29 мая каждый день по два стрелецких полка получали полное угощение во дворце.

На большом листе бумаги была дана им жалованная грамота за государственной печатью. Скреплял грамоту Василий Голицын, друг Софьи, объявленный начальником Посольского приказа и государственной печати оберегателем, подобно тому как назывался знаменитый московский канцлер Нардын Нащекин.

Грамота была выдана 6 июня, и с торжеством, с музыкой и ликованием, держа на голове лист, отнесли его стрельцы в свою слободу.

Когда в Успенском соборе патриарх совершил двойной обряд венчания на царство обоих юных царей, Петр с Натальей скоро переехали в свое любимое Преображенское. А Москва и власть остались на долю Софьи и... князей Хованских, отца с сыном.

Оба они окончательно потеряли голову, как это и предвидел Милославский.

Чтоб избежать столкновения с наглым временщиком, Милославский даже прибег к старому средству: не

только перестал появляться при дворе, но и уехал в одну из своих вотчин. Но оттуда неусыпно следил за новым недругом своей семьи, хотя и считал его гораздо менее опасным, чем Матвеева и Нарышкиных.

Князь Иван и Андрей Иванович не захотели долго ждать и, опираясь на преданность стрельцов, решили не только из-за кулис править царством, а выступить полноправными властителями людей и всей земли русской.

Приверженец старой истинной веры, друг Аввакума, который до самого сожжения своего, то есть до 1681 года, укрывался в доме князя¹, Хованский надеялся, что стоит заиграть на этой струнке — и вся Москва пойдет за ним, вся русская земля.

Успех майского мятежа, в котором Хованский, по его собственному мнению, сыграл решающую роль, опьянил князя.

Недалекий фантазер-честолюбец позабыл, что весь решительный переворот подготовлялся много лет сильными, умными людьми, имевшими возможность затратить огромные средства на подкуп властных лиц, на подкуп духовенства, целых полков, целых сословий, которым сулились и давались огромные выгоды еще до начала дела.

Забыл он, что в игру вмешали людей, интересы которых самым насущным образом были связаны с успехом или неуспехом заговора.

И переворот совершился не благодаря Хованскому, а при помощи его, и помощи не совсем толковой, даже вредной порой, потому что крайняя наглость стрельцов, порожденная угодничеством и потачками Хованских, раздражила против них всех других ратников и даже целую Москву.

Стрельцы это чуяли и потому стали вести себя осторожней.

Они и просто устали после всех последних волнений. Им хотелось отдохнуть.

И уж, конечно, не стали бы они из-за веры снова подымать мятеж и разгром. Ясно было, как день, что все партии, все роды, стоящие у власти, забудут свою

¹ Историческая неточность. Протопоп Аввакум был сожжен в 1682 г., проведя последние пятнадцать лет жизни в земляной тюрьме в Пустозерске. (Примеч. ред.)

рознь и сольются, чуть вспыхнет какая-нибудь религиозная распря. Ее погасят при самом возникновении, чтобы не было опасности для царства, чтобы оно не распалось в самой ужасной, в религиозной междоусобице.

Все это видели и понимали, кроме Хованских да небольшой кучки фанатиков-попов, готовых, по примеру Аввакума и попа Лазаря, и на сожжение пойти, только бы хоть на миг доставить торжество «истинной вере Христовой и двоеперстному знамению Креста»...

Упорно, без оглядки Хованский повел свою игру. И не одна вера вела его на такую решительную ставку. Свергнуть патриарха, женить сына на царевне Катерине Алексеевне, поставить своего святителя на Москве, убрать обоих малолетних царей, объявить государем сына — Андрея Ивановича Хованского, из рода Гедиминов, Ягеллонов, Корибута и других литовских великих князей, — вот какова была затаенная цель старика, которую поддерживал, конечно, и князь Андрей.

На первых порах, где угрозой, где посулами, Хованский успел добиться того, что в Грановитой палате 23 июня, за три дня до венчания царей, подали раскольниковы попы во главе с Никитой Пустосвятом челобитную, в которой обличали мнимую ересь правящей церкви и требовали водворения старых книг и древнего порядка богослужения.

Сначала челобитная встревожила патриарха и царей, вернее — царевну, которая думала, что снова все двадцать полков стрелецких затеяли поиграть судьбой царства. Но скоро выяснилось, что только девять полков стоят за старый крест. А остальные довольно равнодушны к этому вопросу.

Ответа на челобитную решили сейчас не давать. Но все-таки 5 июля под предводительством исступленного изувера, расстриженного попа по имени Никита, прозванного Пустосвятом, — большая толпа стрельцов и московских староверов так грозно на Лобной площади требовала к ответу патриарха, что, во избежание вспышки народной, всех крикунов позвали в Грановитую палату.

— Потому-де, — уговаривал бунтарей старик Хованский, — что и царевны и царицы волят быть при том словопрении. А на Красную площадь, на Пожар, выйти им не вместно.

Сначала раскольники не решались пойти, опасаясь, что это ловушка, что во дворце их всех переловят, как мышей, и посадят на цепь. Но Хованский и стрельцы обнадежили своих наставников, расколоучителей:

— Головы за вас положим, а в обиду не дадим. Как вам — так и нам...

Имея за собой подобную поддержку, раскольники, особенно Никита, вели себя вызывающе. И даже, в споре, Пустосвят ударил по лицу архиепископа Афанасия Холмогорского. Раньше Афанасий сам был начетчиком у аввакумовцев, но потом нашел более благоразумным и спокойным пристать к правящей церкви. Конечно, бывший раскольник особенно сильно возражал неистовому Никите, и тот собственноручно покарал «отпадшего», аки Люцифер отпал от Господа...

До вечера длились прения. Патриарх сам принял в них участие. Но, конечно, к соглашению не пришли. И когда Софья за поздним временем распустила собор, назначив его продолжение на другое время, раскольники кинулись к Лобному месту с криками:

— Перепрехом и посрамихом всех архиереев и патриарха самого. Тако веруйте... Тако творите...

И всему народу показывали двоеперстное крестное знамение...

Торжественно принял своих попов-подвижников Титовский староверческий полк. Это встревожило Софью.

На другое же утро вызвала она к себе выборных от всех стрелецких полков. Они явились. Только закоренелые титовцы не прислали ни одного человека.

Взволнованная, вышла к ним царица и сразу стала рисовать печальную картину, какая ждет царство, если они, опора трона, последуют за безумными изуверами, не умеющими понять того, что читают...

— Нас ли, государей ваших, и земли спокойствие променяете на шестерых чернецов-распопов? Ужли святейшего кир-патриарха им предадите на поругание?.. Горе мне... Не вы ли спасли и наши персоны, и все царство? — со слезами уж заговорила эта лукавая и умная правительница. — Кровь свою проливать за нас не щадили. И мы помним о душах ваших. Верьте, спасетесь и без тех юродов... Не слушайте и иных людшек лихих, хотя бы и високова были звания и поставлены над вами. Как встали — так и сведены будут. А наши к вам милости — не престанут притекать. Не

хватит казны — государи-цари и я сама кику останую в заклад отдам, продам крест золотой нательный — вам все дам, коли надо будет, коли нужду какую узнаете. Служите и нам, государям, как служили, прямите по правде, по присяге святой, как во храме Господнем присягали.

Первые отозвались выборные Стремянного полка:

— Да не крушись так больно, государыня-царевна... Уж, сказать по правде, мы за старую веру не стоим. И не наше это дело. То — дело и власть патриарха да всего священного Собора.

— И нам до веры дела нет. Верим — про себя. А в дела государские да патриарши мы не суетимся, — в один голос поддержали и остальные выборные.

Такой ответ сразу успокоил Софью. Она теперь знала, как ей поступать.

Выборные были одарены деньгами, чинами. Их тут же угостили хорошо и отпустили домой.

И везде по полкам было объявлено выборными:

— В споры о вере, какая лучше, старая, новая ли, мешаться стрельцам не надо.

Но далеко не все рядовые стрельцы согласились с таким решением. Они понимали, что выборные не даром так поддерживают волю Софьи. И им хотелось получить тоже долю в милостях двора.

А титовцы из преданности расколу грозили новым мятежом и, намекая на рокот барабанов из собачьей кожи, которые гремели в мае, толковали по кругам:

— Добром с ними, с дворцовыми, не разделаешься. Пора сызнова за собачьи шкуры приниматься..

Этот полный угрозы каламбур не по душе пришелся Софье.

Она послала своих клеветников и к себе призвала рядовых стрельцов, попов слободских, вообще всяких коноводов, подкупала их словами и рублями, и кончилось тем, что к концу недели стихли всякие толки о «старой вере» на стрелецких сборищах.

Сейчас же царевна дала приказ: все главари раскола были переловлены и засажены за крепкими затворами на Лыковом дворе.

Недолго тянулся суд.

Никите Пустосвяту отсекли голову как раз на седьмой день после прений в Грановитой палате, 11 июля 1682 года. А остальных — кого засадили в тюрьмы,

кого разослали по дальним местам. Немало из мелких участников этой короткой смуты успело разбежаться по разным городам.

Безнаказанными остались главные виновники нати-ска раскольников на патриарха, на самих царей: Иван Хованский и сын его Андрей.

Но и на них уже Софья ткала крепкую паутину. И потому раньше времени не трогала этих крупных недругов своих и царства, чтобы не пришлось жалеть о несвоевременном выступлении.

Мятежный дух нет-нет да вспыхивал в стрельцах, старательно подогреваемый Хованскими.

Но Софья умышленно делала вид, что не замечает ничего. По совету Милославского и по своей осторожности, царевна хотела, чтобы Хованский совершил целый ряд поступков, способных восстановить против наглеца не только бояр, но и всех других, до стрельцов включительно.

Ждать пришлось недолго.

Мало того, что Хованский угрожал всем, несогласным с его мнениями, обещая натравить стрельцов, — он унижал самых заслуженных бояр.

— Ни один из вас, — говорил он им часто, — не служивал, подобно мне, государям моим. Где вас ни пошлют — везде и всюду государство вред терпит от худой, неразумной, нерачительной службы вашей... Только поношение было земле русской от вашей безумной гордости и спеси боярской... Мною лишь все царство и держится. Меня не станет — будете все вы на Москве по колени в крови бродить...

И сам же сеял князь смуту в полках.

Больше месяца прошло, пока Софья решилась действовать, и то не раньше, чем пошли толки, что Хованский готовит стрельцов к новому мятежу, поджигает умы рассказом о том, как на совете отказали выдать стрельцам в пополнение жалованья сто тысяч рублей.

— Дети мои, уж и мне за вас стали грозить бояре... Мне боле делать нечего. Как хотите, так сами и промышляйте, — открыто объявил «батюшко» своим детям.

Немудрено, что те снова стали точить свои бердыши и копья.

Только Стремянный полк по-прежнему не принял участия в волнениях.

И вот, когда настал чтимый Москвою праздник Донской Богоматери, когда двор, окруженный стрельцами и народом, должен был совершить торжественное шествие в Донской монастырь, — с крестами, с хоругвями, — оба государя и царевна в крестном ходе участия не приняли, опасаясь убийства, как пронеслись слухи по Москве.

Вместо этого Софья и оба государя съехались вместе в селе Коломенском, и оттуда был дан приказ Стремянному полку: явиться в полном составе на охрану царской семьи.

— Не дам полка, — заявил было Хованский. — В Киев его посылать надо...

Но стрельцы и сами возмутились против этого назначения, и от государей пришла строгая грамота: прислать немедленно Стремянный полк.

Хованский, никогда не отличавшийся твердой решимостью, и тут уступил.

Стрельцы были посланы.

Первого сентября, когда справлялось Новолетие, то есть первый день Нового, 1683 года, к торжественному богослужению в Успенский собор не явился никто из царской семьи, вопреки древнему обычаю.

Патриарх огорчился, а вся Москва пришла в смущение.

— Покинули нас государи. В ином месте стол поставят. Слышать, от московских стрельцов небезопасно им тут.

Такой слух все настойчивее ходил в народе, конечно, не без помощи людей, преданных Софье.

Смутились и стрельцы... Вся их сила была, конечно, в их близости к трону, в том, что они служили охраной, защитой царям, наподобие римских преторианских когорт...

А без этого, — как воины, как войско, — они никуда не годились. И самим стрельцам, и всей Москве это было слишком ясно.

Скрытое недовольство забродило в полках против Хованского.

— Из-за Тараруя-батюшки и на нас разгневались государи и царевна-матушка. А уж от ней ли нам было мало милостей...

Так толковали в слободах...

И снова появились там какие-то неведомые прежде

люди: шептались, уговаривали, давали деньги, сулили награды и почести.

И когда, по мнению Софьи, почва была достаточно подготовлена, на воротах Коломенского дворца появилось подметное письмо, порешившее участь Хованских.

Это было 2 сентября.

Надпись на письме была такая:

«Вручить государыне-царевне Софье Алексеевне, не распечатав».

Собрав весь двор, который был там, в Коломенском, при государях и царице, Софья велела огласить письмо.

Думный дьяк Шакловитый, с недавних пор вошедший в милость к Василию Голицыну и царевне, откашлялся и стал читать:

— «Царям, Государям и Великим князьям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу, всея Великия и Малыя и Белыя России Самодержцам, извещают московской стрелец да два человека посадских людей на воров и на изменников — на боярина, князя Ивана Андреевича Хованского, да на сына его, князя Андрея Ивановича: на нынешних неделях призывали они нас к себе в дом — девять человек пехотного чина да пять человек посадских людей — и говорили, чтоб мы помогли им достигнуть царства Московского, и чтоб мы научили свою братию, чтоб ваш царский род извести, и чтоб прийти большим собранием, изневесть, в город и называть вас, Великих Государей, еретическими людьми, и побить вас, Государей обоих, и Царицу Наталию Кирилловну, и Царевну Софию Алексеевну, и Патриарха, и властей; и на одной бы Царевне князю Андрею жениться, а достальных Царевен постричь и разослать в дальние монастыри; да бояр побить: Одоевских трех, Черкасских двух, Голицыных трех, Ивана Михайловича Милославского, Шереметевых двух и иных людей из бояр, из дворян, из гостей за то, что будто они старую веру не любят, а новую заводят. И как то злое дело учинят, послать смущать во все Московское государство и по городам, и по деревням, чтоб в городах посадские люди побии воевод и приказных людей; а крестьян научать, чтоб они побии бояр своих и холопей боярских; а как государство замутится, и на Москве б выбрать на Московское царство его князя Ивана, а Патриарха и властей поставить, кого изберут народом, которые б старые книги любили; и целовали нам на

том Хованские крест и образ Николы Чудотворца, и мы им целовали тот же крест, чтоб нам злое дело делать всем вообще; а дали они нам всем по двести рублей денег человеку, и обещались они нам перед тем же образом, что, если они Московского государства доступят, и нас, стрельцов, которые в заговоре были, пожаловать в ближние люди, а нас, посадских людей, гостинным именем и торговать вовеки беспошлинно; а стрельцам велели наговаривать: которые будут побиты, и тех животы и вотчины продавать, а деньги отдавать им, стрельцам, на все приказы. И мы, три человека, убоясь Бога, и памятуя крестное целование, и не хотя на такое злое дело дерзнуть, извещаем вас, Великих Государей, чтоб Государское здоровье оберегли; и мы, холопи ваши, вам, Государям, объявимся, и вы, Государи, нас, холопей своих, за наши верные службы пожалуете; а имен нам своих написать невозможно; а приметы у нас: у одного на правом плече бородавка черная, а у другого на правой ноге поперек бедра рубец посечено, а третьего объявим мы, потому что у него примет никаких нет».

— Пречистая Богородица, што слышать довелось! — с прекрасно разыгранным ужасом воскликнула царевна. — Где же укрыть нам себя и весь род царский от злоумышлений всяческих?..

Сейчас же, не теряя ни минуты, Голицын и Шакловитый составили окружные грамоты, чтобы разослать их по городам, призывая дворян и всякого роду служилых людей с оружием и конями на защиту царской семьи и всего государства, которому угрожает гибель от заговорщиков — Хованских.

А затем весь двор двинулся дальше, сперва — в обитель Саввы Сторожевского, что за Звенигородом, но, найдя убежище это ветхим и ненадежным, поспешно укрылись за высокими каменными твердынями Троицко-Сергиевской лавры.

И сюда немедленно стало стекаться молодое и старое служилое дворянство, радуясь случаю: послужить государям и при этом получить награды и разные выгоды, неразлучные с близостью к царскому двору.

Как громом поразило Хованского известие, что по городам посланы «призывные грамоты». Старый хитрец понял, что все пропало. Но думал еще отыгаться и на прежних заслугах своих, и на показной покорности.

Еще на полпути к Лавре получено было письмо от Хованского.

На Москву ехал сын Малороссийского гетмана Самойловича с важными поручениями. И «батюшко стрелецкий», делая вид, что не догадывается о грозящей ему опале, спрашивал: как поступить с почетным гостем? Как принимать и посылать ли его немедленно к государям в их местопребывание?

— Ишь, старый дурак, чем отыграть свою душу мыслит от секиры, — проговорила Софья, пробежав письмо. И тут же велела Шакловитому написать самый ласковый ответ от имени государей: пусть-де сам пожалует к государям в Воздвиженское. Там и потолкуют.

На первое письмо Хованский не ответил и не поехал.

Тогда были написаны приказы стрелецким полкам: выслать выборных к государям. Вслед за этими грамотами сама Софья поспешно выехала в Москву.

— Очами увижу и ушами услышу: жить ли нам еще, государям, на Москве или отойти надо в иные земли, — объявила она перед отъездом.

Первым делом — повидалась царевна с Иваном Хованским.

Спокойно выслушала девушка град жестоких упреков, какими осыпал ее несдержанный гордец, и со слезами на глазах отвечала:

— Вот и вижу: навет был ложный на тебя, князь. Говоришь не как лиходей и губитель, а как верный слуга и друг, коему обиду нанесли государи, сами не желая. Да не кручинься. Дворяне, что съехались, и на войну идти пригодятся, куда ты стрельцов посылать ладил. А ты со стрельцами при нас останешься, как и был. Я сама вперед поеду. Все скажу государям. И ты за мною следом жалуй к ним. Опаски не имей... Там — и сестра Катерина. Может, и доброе дело сделаем. Вот и родней станем. Не найдешь причин губить родных своих, хоть и желал бы...

И Хованский и стрельцы были обмануты такими речами. А тут, не успела уехать Софья, пришла вторая грамота от царей, еще более ласковая, чем первая.

Бестолковый всю жизнь, Хованский нелепо сам сунул голову в мертвую петлю.

В Москве, среди стрельцов, князь еще мог чувство-

вать себя более безопасным, мог поторговаться с Софьей, если бы даже нагрянули за ним отряды дворян.

Но, как трус, он не умел спокойно обсудить дела. Отчаяние, часто заменяющее людям трусливым отвагу, толкнуло князя на явную гибель.

С тридцатью семью стрельцами всей свиты выступил Иван Хованский из Москвы по зову царевны. Софья не верила известию о такой скромной свите. Она заподозрила, что здесь кроется какая-нибудь хитрость, которой не могли проникнуть ее агенты в Москве: дьяк Горохов, Плещеев, Хлопов и Сухотин.

В виде разведочного отряда высланы были копейщики, рейтары и городовые дворяне под начальством князя Лыкова.

В Пушкине настигли они Хованского, старика, схватили и взяли под караул со всеми его стрельцами.

Молодой князь Андрей был также недалеко, в своей усадьбе, на Клязьме-реке. Его тоже взяли без сопротивления.

Не давая возможности обоим явиться перед царями-братьями, бояре во главе с Милославским нарядили скорый и безжалостный суд. Без допроса, не вызывая свидетелей, не принимая оправданий, объявили приговор.

17 сентября, как раз в день ангела Софьи, судили обоих князей: отца и сына, приговорили к смерти и тут же казнили.

Стрелец Стремянного полка, понаторевший в убийствах во время майских мятежей, обезглавил первым отца, так как палача при царской свите не нашлось.

— Умираю безвинным, как и отец мой, — в последний раз произнес Хованский. — Не дали нам и сказать: кто виной тех составных действий, кои нам в вину поставлены. Или побоялись, што первые персоны от тово устыдятся. Да простит вам Бог нашу безвинную кончину, бояре. Сами не дожидетесь такой же... Есть Бог в небесах...

Сказал, поцеловал труп отца, лежавший обезглавленным, ничком на земле, и положил голову на плаху, которая была заранее приготовлена здесь, на площади, еще до прибытия Хованских.

И всем тридцати семи выборным, захваченным с князьями, тоже срубили головы.

Но бояре не подумали о том, не вспомнила и Софья, что на казнь отца глядел второй, младший сын князя Хованского, Иван Иванович, стольник царя Петра.

Ночь еще не настала, как он прискакал в Москву, прямо в стрелецкие слободы. С ним вместе прискакал товарищ его, Григорий Языков.

— Братья, други, што поведаю вам. Слов нет от горести. Не стало моего родителя и вашего общего отца-защитника. Убили его бояре без суда, без розыска, без ведома царского, как режут пастухи овцу чужую, забеглую...

— Переведут они и вас всех в одночасье, — кричал Языков. — Одоевские да Голицыны хотят всю надворную пехоту вырубить. Едучи дорогою, мы видели: несметное множество воинов со всех сторон идут к Москве великим боем, чтобы в слободах ваших извести всякую душу живую, до последнего младенца... И дворы пожгут... Князь Андрей с северцами от Твери идет. Князь Петр Урусов от Владимира полки ведет. Боярин воевода Шеин на Коломенском пути с рязанцами своими. А воевода Волынский от Можайска подошел... Конiec вам приспел, коли не станете за себя, за жен, за детей ваших...

Было дело уже к полуночи. Недолго совещались стрельцы и решили: отсидеться в Москве, не пускать сюда ни друга, ни недруга.

— От татар отсиживались и своих не пустим, коли што...

После многих дней тишины — снова зазвучал набат в самую полночь.

Поднялась на ноги испуганная Москва: неужели снова мятеж? Или горит весь город?..

Все высыпали на улицы...

А по ним — двигались отряды стрельцов, с мушкетерами, с пиками... У городских ворот ставили караулы. В Кремле заперли все входы и выходы, забрали всю артиллерию, все припасы с Пушечных дворов и развезли их по полкам.

— Пусть теперь сунутца... Встреча готова, — вызывая толковали стрельцы, — не холопы мы али торгаши безоружные, сами воевать умеем...

— Да чем тут бояр ждать, гайда в Воздвиженское, покуда там сила великая не собралася, — предлагали более отчаянные головы.

Но их не послушали.

И так у многих с первыми лучами рассвета отвага стала остывать, более благоразумные мысли являлись в голову.

Часть стрельцов из начальных людей, окруженные и рядовыми, еще ночью ворвались в покои самого патриарха, в его Крестовую палату, где он, облаченный, сидел, услышав о приближении незваных гостей, старых знакомых по майским бесчинствам и разбоям.

— За нас постой, отец патриарх, — кричали все, кто проник в палату, — грамоты пиши на Украину, во все города, шли бы казаки не к государям, а сюды, на Москву, тебе и нам на помощь. А не захочешь, с боярами заодно встанешь — тебя, гляди, не помилим. Нам своя шкура — всево дороже...

— Чада мои, — взмолился Иоаким, — разве ж послушают меня украинцы? Давно я оттуда. И не знают там, гляди, что я и сам — украинец... Всуе помыслили. Лучче Бога да государей молитесь: не покарали бы вас за буйство...

— Поди ты, старец... Што розумеешь... Гайда, братцы, упредим бояр, на Воздвиженское.

— Не спеши в петлю, сама придет. Пождем, што от бояр, каки вести будут, — останавливали другие нетерпеливых товарищей...

Так время прошло до рассвета.

Вдруг топот коней и голоса слышались перед палатами патриарха.

— Иди, иди к святейшему. Поглядим, каки таки грамоты у тебя, — кричали возбужденные, хриплые голоса.

Стоящие у застав караульные не спали всю ночь, но перехватили-таки посланца царского, стольника Зиновьева.

— Вот, читай наголос, отче, што пишут тебе государи, — потребовали стрельцы, подавая послание Иоакиму.

Он сломил печати и прочел вслух извещение о казни Хованского.

Когда дошло до места, где говорилось, как старик Хованский оговорил московскую надворную пехоту в заговоре против царей, так и всколыхнулись все, кто был здесь. Тут же прочел патриарх приложенный к письму царей донос на Хованских.

— Неправда все это... Быть тово не может!

— Слушайте же дале, чада мои, — остановил их патриарх.

Конец послания обещал полное прощение надворной пехоте и забвение всем, если стрельцы перестанут волноваться, не станут слушать «прелестных» слов и лукавым письмам веры не дадут.

— Слыхали мы посулы всякие... Пока у нас спицы в руках — потоль мы не в дураках. А сложим свои рогатины — тут и бери нас голыми руками. Не на таких напали... Слышь, батько, пиши ты государям: смуты-де никакой нет. Служить мы им волим по-прежнему, как и родителям ихним трудились да служивали. А без опаски тоже не мочно. Вон государи силу какую — войско собирают... Москву покинули... Пошто это? Пущай назад ворочаютца. Мы им крест целовали — и страху пусть не имут. А покуль государей на Москве не будет, все думаетца нам: против нас гневны, на нас пойти собираютца.

— И што вы, чада мои? Нешто сами не знаете: пора осенняя, издревле есть обычай у государей шествовать во святую обитель ту, к памяти преподобного отца Сергия. А о прощении вашем, им на Москву быть в скорости, я писать стану царям. Вот архимандрит Адриан с Зиновьевым наново и повезут мои грамоты.

— Ладно. Да ты нам, слышь, почитай, што писать станешь.

Быстро было составлено послание Иоакима к царям, конечно, в том смысле, как требовали стрельцы. Отдал он при выборных пакет Зиновьеву и Адриану, и те поехали в Лавру. Но не знал никто, что патриарх наедине дал устный наказ свой посланцам.

— Што було тута — сами бачили, — говорил он обоим. — Так и сдоложить их царским величествам и самой царевне. А ихать сюды пока неудобно и опасно. Як час придет, я знать дам государям. Беречися надо стрельцов, все помышляют, буи, о побиении невгодных им бояров...

Но и без советов осторожного малоросса Софья знала, как можно доверять обещаниям стрельцов.

А надворная пехота первый день до глубокой ночи не покидала улиц и площадей. Ожидая нападения, они застроили надолбами, прочными баррикадами, проезды ко Кремлю, укрепили Земляной городок и Китай-

город, семьи свои перевели в Кремль. Неумолчно на улицах раздавалась пальба из ружей и пушек, отчасти для устрашения врагов, а в то же время и для поддержания бодрости в самих стрельцах.

Привычные только ходить в бой под чьим-нибудь главным начальством, теперь стрельцы своего ближайшего начальства не слушали, не доверяя ему; друг с другом спорили из-за каждого пустяка... И только боязливо думали, что все принятые меры, конечно, не спасут их, когда цари со всей земской силой придут на них, как на новых опричников.

Но и у Троицы было не совсем спокойно. Начинать междоусобье не хотел никто. И снова прискакал посол царский, думный дворянин Лукьян Головин на Москву.

— «Строго приказываем, — объявляла от имени царей Софья, — смирить себя. Всполоху и страхования по Москве не вчинять, за Хованских не заступаться. И тогда гнева не будет на надворную пехоту от государей. А судить изменников им, государям, от Бога власть дана...».

Прочитав послание, патриарх от себя, по поручению царевны, объявил:

— За смятение опалы на вас не будет. Не вы, а Ивашка Хованский молодой виною в том вашем шатании. Ему и кара. А вы челом бейте государям. Пошлить от каждого полка по двадцать хотя человек лучшей братии, пусть повинятца за всех. Вот все и кончится миром да ладом, по слову Божию.

Боярин Михаил Петрович Головин, явившийся на Москву, чтобы привести в порядок и взять в свои руки военную силу иноземную и слободских людей, не представших к волнениям стрельцов, — то же самое подтвердил.

Не сразу решились стрельцы послушать доброго совета.

Каждый день собирались на свои полковые сходы. Старые стрельцы, бородачи, по-детски обливались слезами и причитали:

— Конец приходит нашим слободам, нашей вольности... Сами на смерть первых товарищей посылать собираемся... Вон уж последние смерды, торгаши базарные, холопы боярские, слуги кабальные и те над нами потешатца стали. Толкуют: «Не вам бы, мужикам, володеть разумными почестными людьми, князьями да боярами.

Не вам великим государям указывать...». А давно ль то время было, недалеко ушло, когда и вся Москва нам в ноги кланялася...

Кинулись к патриарху стрелецкие головы:

— Не иначе пойдем к царям, как пошлешь, батько, с нами владыку какова получче. Пусть молит за нас царей. Не казнили бы лютою смертью. А мы языком работать не горазды. Все больше саблею государям служивали... Уж ты не оставь нас, батько!

— Вот как нужда — и я стал батькой... А то хотели распопа безумного на мое место постановить, — не удержался от упрека патриарх. — Ну, да я зла не помню. Бог простит. А пошлю я с вами митрополита Ларивона Суздальского. Зело разумен муж и царям угоден. Той вас отмолит...

Как на явную смерть, шли выборные к Лавре, окружая колымагу Иллариона. Каждый отряд войск, собранных Софьей, какой попадался на пути, стрельцы принимали за облаву, посланную на них.

Село Воздвиженское, в десяти верстах от Троицы, было полно войском.

— Тут нам и конец, — решили между собой стрельцы.

И многие из них тайно вернулись в Москву.

— Вы откуда? — спросили беглецов.

— Да с плахи сорвались, из петли ушли. А другие все — на том свету уже..

Плач и ужас воцарился в слободах.

А посланные стрелецкие в это самое время были уже в Лавре и стояли, понуря головы, перед разгневанной царевной Софьей.

— Не пускают вас цари на очи свои. Больно и скорбно им. Люди Божие, — сверкая глазами, заговорила она. — Как вы не убоялись Бога, подъяли руку на благочестивых государей своих, на их царский дом, на синклит боярский. Али забыли свое крестное целование многократное. Не стали помнить милостей деда, отца и братьев наших, што выше меры на вас изливались? Для чево возмутились? Пушки вывезли, припас военный разобрали... По Москве с ружьем ходите, круги завели злосоветные, по-старому. Москва — не Дон, не Астрахань. Вы — не вольница понизовая. Вот к чему привело то своеволие ваше: со всех концов земли собралось воинство ратное для вашего укрощения, на

защиту державы нашей. Трепещите, злодеи. Недостойны и зреть лица царского. Именуете себя слугами нашими, а где покорность и служба ваша? Мятеж и своеволие — одно и видно от вас...

Ниц упали выборные, стали молить о прощенье, обещая все поправить, все вернуть, что взято из казны, и выдать злодеев, кто бы ни пытался смущать их.

Тридцатого сентября вернулись в свои слободы выборные и были встречены как воскресшие из мертвых.

Сейчас же все, что было захвачено в арсеналах, стрельцы вернули начальству и написали от имени всех полков слезные покаянные грамоты.

В день Покрова Богородицы стрельцы снова били челом Иоакиму:

— Будь наново нам покровом, с Пречистой Матерью Господа, — пошли с выборными и со слезницами нашими владыку повиднее. Уж больно за нас хорошо заступался твой Ларивон. Из петли выручил, прямо надо сказать.

Теперь поехал с ними в Лавру Адриан.

Примирение совершилось. Стрельцы согласились подписать все, чего ни потребовала царевна. Кроме того, они же, конечно по наущению бояр, ударили челом Софье:

— Дозволь, царевна с обоими государями, разломать той столб, што на Пожаре стоит, штоб не было от иных государств царствующему граду стольному, Москве, зазорно. Лучче и памяти не иметь о том, што было. И молодых наших охальников подбивать той столб на озорства не станет...

Конечно, позволение было дано.

Второго ноября стрельцы Ермолаева полка явились на Красную площадь и срыли до оснований позорный этот столб, прославлявший мятеж и убийства, совершенные ради личных целей и по воле той же царевны Софьи, которая, когда понадобилось, умела живо справиться со своими прежними единомышленниками-стрельцами.

Так, после живых двух главных свидетелей и пособников ее коварных дел, после Хованских, был уничтожен и каменный свидетель происков лукавой, властолюбивой царевны. «Царь-девицы», как уже стали звать Софью и в народе.

Власть над стрельцами была передана осторожному

и ловкому Шакловитому, который на деле доказал, каким прекрасным и непритязательным на вид пособником может служить в самых опасных и сложных положениях государственной жизни.

Шестого ноября двор торжественно вступил в Москву, и все, казалось, было забыто...

Почти полгода непрерывных волнений, убийств и мятежа утомили всех.

Казна пустовала. Люди мирные страдали от лишений и вечного страха за свою жизнь, имущество и свободу...

Доносы, подозрительность, как ядовитое море грязи, разлилось по лицу земли за то время, и все задыхалось в смрадном воздухе, полном испарений крови и слез.

Поэтому Софье было легко понемногу приступить к осуществлению широко задуманного плана.

Всюду на первые места в управлении царством посажены были преданные ей люди или такие ничтожные и безличные, которые слепо готовы были исполнить всякий приказ свыше.

Иван Милославский ведал приказы: Судно-Володимерский, Челобитный, Иноземский, Рейтарский и Пушкарский. От него зависели суд и расправа в главных русских городах, начальство над иноземными войсками, над всей артиллерией, над рейтарскими и иными полками, кроме стрелецких, и над крепостями. Василий Голицын, кроме Посольского приказа, ведал Малороссию, слободские полки, Новгород, Пермь, Смоленск, Киевскую лавру и иные важнейшие монастыри, богатые казною и влиянием на народ, заведывал иноземными храмами в России и даже склонялся к католическому блеску и формам церкви, ведал и Немецкую слободу в Москве, а равно и всех торговых иноземцев, в качестве верховного консула по торговым оборотам, совершаемым в чужих краях. Умер в 1686 году Милославский, и все Приказы, оставшиеся без начальника, Софья поручила Голицыну. Таким образом, он фактически стал как бы главой всей правительственной машины, диктатором, без объявления о том, и сам же вел войска в походы.

Шакловитому, кроме Стрелецкого приказа, царевна поручила и Сыскной приказ, Тайную канцелярию свою.

Безродные и не особенно способные, но послушные

люди занимали иные важнейшие посты. В Разряде, исполняющем обязанности генерального штаба, сидел думный дьяк Василий Семенов. Окольный, худародный дворянин, Алексей Ржевский ведал финансы России в качестве начальника Большой казны и Большого прихода.

Удельное ведомство, так называемый тогда Большой Дворец, поручен был не одному из первых бояр, а простому окольному, из рядовых, Семену Толочанову. Он же оберегал и всю государственную сокровищницу, Казенный двор.

Земские дела ведал думный дьяк Данило Полянский, в Поместном приказе дворянские, вотчинные дела вершил окольный Богдан Палибин.

Если эти скорее прислужники, чем сановники большого государства и были удобны, как покорное орудие, то, с другой стороны, положиться на них было невозможно в случае решительного столкновения с какой-нибудь опасностью.

Софья скоро узнала это на самой себе.

Постепенно разворачивая пружину, туго затянутую для нее стрелецкими волнениями в малолетство царей, Софья, уже через месяц после возвращения в Москву, стала всюду показываться на торжественных выходах наравне с царями.

Сильвестр Медведев и иные придворные льстец-борзописцы не только слагали в честь царь-девицы оды и панегирики; Шакловитый постарался выполнить в Амстердаме хороший гравированный портрет ее в порфире и венце. Был прописан титул, как подобает царице-монархине: «*Sophia Alexiovna, Dei gratia Augustissima*»¹. Копии портрета на Государственном Орле печатались и в Москве, в собственной печатне Шакловитого.

Петр видел, как сестра посягает на царскую власть, вопреки воле народа, воле покойного Федора. Но что было делать? И он молчал. Только царевна Наталья отводила душу у себя в терему, обличая замыслы царевны.

Однако и тут нашлись предательницы, две постельницы Натальи, Нелидова и Сенюкова. Они дословно переносили Софье все толки о ней, все, что слышали в теремах Натальи.

¹ «Августейшая и благороднейшая Софья Алексеевна» (ит.).

— Пускай рычит, медведица. Кохти да зубы надолго спилены у ней... — отвечала рассудительная девушка, но приняла все к сведению.

И только через два года, в 1685 году, решилась открыто объявить себя не «помощницей» в государских делах малолетним своим братьям, а равной им, полноправной правительницей земли.

И вот с тех пор на челобитных, подаваемых государям, на государственных актах и посольских грамотах повелено было ставить не прежний титул, а новый, гласящий: «Великим государям и великим князьям Иоанну Алексеевичу, Петру Алексеевичу и благородной великой государыне, царевне и великой княжне Софье Алексеевне всея Великия и Малыя и Белья России С а м о д е р ж ц а м»...

И на монетах с одной стороны стали чеканить ее «персону».

Три года после того спокойно правила царевна, хотя и смущало ее поведение Петра.

И почти сразу положение круто изменилось.

Еще до майской «маяты» и мятежа Наталья с Петром при каждой возможности выезжала из Москвы в Преображенское, возвращаясь лишь на короткое время в кремлевские дворцы, когда юному царю необходимо было появляться на торжествах и выходах царских.

А после грозы, пролетевшей над этим дворцом, сразившей так много близких, дорогих людей, и мать и сын только с дрожью и затаенной тоской переступали порог этих палат, когда-то близких и дорогих по светлым воспоминаниям тех дней, когда был еще жив царь Алексей.

В Преображенском, почти в одиночестве, окруженные небольшой свитой самых близких людей, в кругу родных, какие еще не были перебиты и сосланы в опалу, тихо проводили время Наталья и Петр.

Мать — всегда за работой, еще более сердобольная и набожная, чем прежде, только и видела теперь радости, что в своем Петруше.

А отрок-царь стал особенно заботить ее с недавних пор.

Во время мятежа все дивились, с каким спокойствием, почти равнодушно на вид, глядел ребенок на все, что творилось кругом.

В душу ребенку заглянуть умели немногие. Только мать да бабушка чутьем понимали, что спокойствие это внешнее, вызванное чем-то, чего не могли понять и эти две, преданные Петру, женщины.

Но в Преображенском, когда смертельная опасность миновала, когда ужасы безумных дней отошли в прошлое, Петр как-то странно стал переживать миновавшие события.

— Мама, мама, спаси... Убивают! — кричал он иногда, вскакивая ночью с постели и мимо дежурных спальников, не слушая увещаний дядьки, спавшего тут же рядом, бежал прямо в опочивальню Натальи, взбирался на ее высокую постель, зарывался в пуховики и, весь дрожа, тихо всхлипывал, невнятно жаловался на тяжелый, кошмарный сон, преследующий его вот уж не первый раз.

— Матушка, родненькая... Знаешь... Такой высокий... страшный... Вот ровно наш конюх Исайка, когда он пьян... И рубаха нараскрыт... Глазища злые... Софкины глаза, как на тебя она глядела... Помнишь?.. И я на троне сижу... Икона надо мною... Я молюся... А он подходит... Нож в руке... Я молюся... А он и слышать не хочет... Нож на меня так и занес... Вот ударит... Я и прокинулся тут... Уж не помню, как и к тебе. Ты скажи князю Борису, не бранил бы меня, — вспомня вдруг о дядьке, Борисе Голицыне, просит мальчик.

— Христос с тобой... Ну, где ж там?! Пошто дите бранить, коли испужался ты. Не бусурман же Петрович твой... Душа у нево... Спи тута, миленький... Лежи... А утром и вернешься туды...

— Ну, мамонька, што ты... Я уж пойду. На смех подымут. Ишь, скажут, махонький... К матушке все под запан... Я уж большой... Гляди, почитай, с тебя ростом...

— А хоть и вдвое. Все сын ты мне, дите мое родное... И никому дела нет, што мать сына спокоит... Не бойся, миленький... Вот оболью тебя завтра с уголька — и не станут таки страхи снитца...

— Да не думай, родимая... Не боюсь я... Наяву будь, я бы и не крикнул, не испужался... Сам бы ево чем. А не устоять бы, так убечь можно... Я не боюсь. А вот со сна и сам не пойму, ровно другой хто несет меня по горнице да к тебе прямо.

— Вестимо, ко мне... Куда ж иначе?.. Себя на куски порезать дам, тебя обороню... Недаром меня сестричка твоя медведицей величает... Загрызу, хто тронет мое дитятко.

И Наталья старалась убаюкать мальчика, который понемногу успокаивался и начинал дремать.

— А што, матушка, как подрасту я, соберу рать, обложу Кремль, Софку в полон возьму, к тебе приведу. Заставлю в ноги кланяцца. И потом штобы служила тебе, девкой чернавкой твоей была... Вот и будет знать, как царство мутить... Наше добро, отцовское и братнее, у нас отымать... Вот тогда...

— Ну, и не в рабыни, и то бы хорошо. Смирить бы злую девку безбожную... Да сила за ей великая. И стрельцы и бояре... Все ее знают, все величают. Всем она в подмогу и в пригону. Вот и творят по ее...

— Пожди, матушка. И я подрасту — силу сберу, рать великую... И по всей земле пройду, штобы все узнали меня... И скажу: я царь ваш! И люблю вас. Свое хочу, не чужое. И править буду вами по совести, как Бог приказал, а не по-лукавому, как Софья, вон, с боярами своими, с лихоимцами. Все наши, слышь, челядь, и то в один голос толкуют: корысти ради Софка до царства добираетца... А што я мал... Ништо!.. Подрасту — и научусь государить... Про все сведаю, лучше Софьи грамоту пойму... Вот ее и знать не захочет земля... и...

— Ладно, спи... Пока солнце взойдет, росы очи вымоют, так оно, сказывают... Спи, родименький. Господь тебя храни...

И Петр засыпал, обвеянный лаской матери, успокоенный тем, что над ним стоит, как ангел-хранитель, эта страдальца — мать.

Наутро мальчик вставал немного усталый, словно после трудной работы, и потом целыми днями ходил задумчивый, озабоченный.

Учился он внимательно, но порой словно и не слушал объяснений Менезиуса и других учителей своих.

— Што с тобой, царь-государь, скажи, Петрушенька? — обращался к мальчику Стрешнев или другой дядька.

— Сам не знаю. Все што-то словно вспомнить я хочу, а не могу. И от того — не по себе мне. Ровно камень на груди лежит... А, слышь, скажи, Тихон Никитыч: много ль всех стрельцов на Москве?

— Немало. Девятнадцать тыщ, а то и боле наберетца...

— О-ох, много... Хоть и не очень лихие в бою они... Больше на посацких хваты, у ково ружья нет... А все же коли добрых воинов на их напустить, меней чем шесть либо семь тысящ не обойтиса, штобы побить их вчистую.

— Ты што же, аль бить собираешься?..

— Соберусь, как пора придет, — совсем серьезно глядя на воспитателя, отвечает мальчик. — Аль ты не видел, што они, собаки, на Москве понаделали? И по сей час еще не заспокоились. Я им не забуду... Э-х, кабы иноземная рать не такая была. Вон, слышь, што Гордон али иные сказывают: «Наше дело — с иноземными войсками воевать. А што у вас, в московской земле, недружба идет, нам в то носа совать непригоже. В гостях мы у вас — и хозяевам не указ...». Слышь, Тихонушка, энто выходит, хотя убей меня на ихних очах, им дела нет?..

— Ну, не скажи, Петр Алексеевич... Тово они не допустят. А ино дело — и правда в их речах. Однова они за правое дело станут. А другой раз, гляди, и во-рам помогу дадут. Лучче уж их не путать нам в свои дела, в московские...

Опять задумался мальчик.

— А, слышь, ежели земскую рать собрать. Ее спросить: можно ли так быть, штобы девка-царевна, поправ закон всякий, рядом с братьями-царями на трон лезла? Не было тово у нас. И быть не должно...

— Погляди, мой государь, и ответ себе увидишь. Написали вы, государи, грамоты. А посланы энти грамоты по городам ею, царевною, девицей, не мужем-государем. И все же пришли на помощь дворяне, и рейтары, и копейщики, городовые служивые... Им царство да державу надо знать, землю беронить. А хто ту державу в руках держит, почитай, им и все едино. Не больно начетисты. Правды не ищут. Было бы жито в закромах да сусло в браге...

— Вот, и то нехорошо, Тихонушка. Я сметил: што разумней, умней, ученей человек, то он учтивей и ко всему доходчивей... Как сам царить буду, повелю всем науку знать всякую... Вон, как сказывают, в чужих землях заведено. Редко хто и не книжный бывает, не то мужики, а и бабы простые.

А у нас и попы, бают, есть, што Псалтири кверху пяткой читают...

— Есть, есть, што греха таить...

— Ну, добро... Я подумаю... Я уж што-либо да измыслю... Нельзя же так, — с наивной убежденностью проговорил мальчик.

И он надумал, гениальным чутьем своим уловил, что надо делать, как создать силу свою, русскую, преданную ему, Петру, для восстановления справедливости в семье Петра, для восстановления правды во всей земле и порядка в управлении царством.

Потолковал на досуге Петр с несколькими из мальчуганов-сверстников, с которыми по большей части играл в войну:

— А нет ли у тебя ково из родни постарше, хто охоч был бы с нами потешитца? Пришло мне на ум взаправдашнее ученье воинское наладить. Вон, меня хотят, как подрасту, на войну посылать с ратниками, землю оборонить. А я ничево и знать не буду... Зови, ково знаешь, хто захочет.

— Ладно. А жалованье какое?

— Какое солдату полагаетца... Да сверх тово — от себя я дам, што хватит. Уж сыт будет. А и дело будет не велико. Ты приводи. Мы столкуемся...

А сам потом к матери и к дядькам обратился, им тоже повторил, что и товарищам говорил, и прибавил:

— Научусь на малом, большое буду знать. Мне так учителя мои не однова сказывали.

Прослезилась Наталья:

— Господь почует на тебе, дитятко мое, рожоное. Дите и забаву в дело ставит. Потешайся. Все дам, што потребуешь. Свои выложу гроши последние. Да и то сказать, — как бы нащупывая идею сына, прибавила Наталья, — из этих потешников, конюхов твоих, гляди, охрана добрая подровняетца для тебя же...

Так были основаны потешные полки: Преображенский и Семеновский, окончательно сформированные Петром в марте 1687 года.

Сначала на Москве не обратили внимания на затеи мальчика.

Тем более что и военные игры сменялись у Петра сплошь и рядом веселыми песнями, детскими играми, даже плясками. А когда мальчик подрос и его парни потешные стали обрывать бородой и усами, появилось

на сцену для оживления и пиво, и мед, и вино порою.

— Девушка — пей, да дельце разумеи, — говорил молодой инструктор нового войска и не мешал забавам своих потешных, их веселым пирушкам и посиделкам.

Зато и эти «потешные», очень скоро посвященные во все тонкости полевого и крепостного строя, готовы были душу положить по единому слову своего царя и рядового, каким вступил в полк державный его основатель.

Инструкторы из иностранцев, которых подбирали образованный, тактичный и знающий людей Борис Голицын, дали постепенно войску «потешных» всю выправку и военные познания, какими обладали лучшие западные войска.

Даже своя артиллерия и фейерверкерский отряд зашелся в «потешных» полках.

Тут Софья сразу широко открыла глаза на невинную, как сначала казалось, затею брата, постепенно вырастающую в величине и представшую перед ней как готовое ядро сильной и преданной Петру военной силы.

И главное, устремля внимание на внешнюю политику, на военные столкновения у крымских пределов и в других местах, Софья упустила момент, когда можно было еще все привести к нулю и запретить брату играть в такие опасные «потехи»... Но когда Софья оглянулась, Петру было уже пятнадцать лет, «потешных» насчитывалась не одна тысяча человек с настоящим штабом опытных начальников... И оставалось мириться с фактом, ожидая, что будет дальше?

Ждать Софье пришлось недолго.

Хотя Петр занимался не одним военным строительством, а волей случая, как сам о том написал, пристрастился и к воде, ездил на Переяславльское озеро, строил своими руками и спускал там «галеоты» и корабли военные, но все, что делалось в государстве и за пределами его, не ускользало от внимания мощного юноши, каким стал в пятнадцать лет царь, выглядывающий и на все двадцать.

Видя, как плохо сражаются русские воеводы и войска всюду, куда ни пошлют их, даже под начальством широко прославленного Василия Голицына, Петр как будто пожелал дать всем урок «настоящей баталии».

Кстати, и самому при этом хотелось ему узнать, какую силу имеет он в руках, да и другим, то есть Софье не мешает показать, какой выходит посев, если, подобно Язону, сеять драконовы зубы...

На Яузе-реке был построен «городок», земляная крепостца «Пресбург».

Сюда призвал Петр музыкантов-флейтщиков и барабанщиков-бутырцев.

Все войско свое Петр разделил на две части, меньшая оборонялась, большая нападала. Сам царь-отрок шел в рядах солдат с ручными гранатами, изготовленными из глиняных горшков, наполненных горючей смесью...

Осада и бой шли по всем правилам до решительного приступа, когда участники так разгорячились, что не на шутку стали драться, нанося серьезные повреждения друг другу, и человек двадцать чуть не потонуло при этом, так как атакующие загнали их далеко в реку, а сдаваться они не желали...

Не только Софью — теперь и Наталью стали тревожить опасные забавы Петра, его частые отлучки в Переяславль-Залесский, где на большом озере, имеющем до десяти верст в квадрате, Петр сам строил небольшие корабли, ставши заправским «корабельного дела мостильщиком», не хуже приглашенных из Голландии корабельщиков. Пригляделся юноша и к «щегольному», маотовому, делу.

И вот, чтобы отвлечь сына от опасных его странствий, царица Наталья задумала его женить, так как в то время юноша семнадцати лет считался вполне женихом.

Были обычно собраны красивые девушки-невесты. Но мать сама выбрала подругу сыну, красивую, хотя и недалекую по уму девушку, Евдокию Лопухину, дочь боярина Федора, давнишнего друга семьи Нарышкиных.

В январе сыграли свадьбу, а в апреле царь-работник уже был на своем любимом озере, на Переяславльской корабельной верфи.

Мать и молодая жена писали ему письмо за письмом, кой-как вызвали в Преображенское, на семейные панихиды по царе Федоре. Но вернуться опять на озеро Петру не удалось, так как недобрые вести дошли из Москвы в тихие горницы Преображенского дворца.

С тех пор как 19 мая 1686 года, в день святого митрополита и чудотворца Алексия, царевна наравне с царями, в порфире и короне, появилась на торжественном царском выходе, шествуя рядом с братьями, когда стала писаться наравне с малолетними государями самодержицей российской, не было сомнения ни у кого, куда направлены планы Софьи.

Не чувствуя за собой крепкой опоры, Петр сносил смелые выходки сестры.

Но в июле 1689 года в Успенском соборе наступил час, когда юный царь счет возможным дать первый отпор притязаниям Софьи.

Оба царя и царевна прослушали литургию в честь чудотворной иконы Казанской Божьей Матери, после чего свершается всегда большой крестный ход из Кремля на Красную площадь, в Казанский собор.

Одни цари обычно являются в этом шествии.

Но Софья, вопреки ритуалу, взяла образ Богоматери, именуемый «О Тебе радуется»... и заняла место наряду с обоими братьями.

— Скажи царевне-государыне, негоже ей с нами, государями, вровень идти да и вовсе нелеть открыто на народе с крестами ходить. Осталась бы лучше, так я прошу, — бледный, словно сам опасаясь своей отваги, сказал Прозоровскому Петр.

Прозоровский, покачивая в недоумении головой, не смог ослушаться и передал царевне слова брата.

— Сам бы не шел, коли ему зазорно со мной рядом быть, — громко и резко отрезала Софья.

Вспыхнуло все лицо Петра. Какая-то судорога пробежала по нем.

Изредка, но появляется эта неприятная гримаса на красивом лице царя. И впервые появилась она после майских убийств.

Не говоря ни слова, Петр поставил икону, которую должен был нести, вышел боковыми дверьми из храма и поскакал в свое Преображенское...

С той минуты поняла Софья, что Петр подсчитал свои силы и только ждет удобной поры, чтобы явиться и сказать:

— Оставь место, которое заняла не по праву.

«Нет, — думала царевна, — лучше уж я вперед поспею, братец любимый...».

И стал после этого быстро созревать большой,

опасный заговор на жизнь Петра, на жизнь его матери, заговор против всех, кто ему предан, кто мог бы постоять за юношу-государя.

Пути и выходы в таких делах были хорошо знакомы, давно испытаны непреклонной царевной. Подкуп, жалобы, уговоры, посулы и угрозы — все было пущено в ход.

И вот 7 августа 1689 года, накануне дня, когда решено было привести в исполнение хитро задуманный план, по Москве пробежала тревожная весть:

— Подметное письмо объявилось в верху, в царских хоромаш: «В ночь на 8 августа внезапно придут потешные конюхи царские из Преображенского на избивание царя Иоанна и всех сестер его, царевен, с Софьей во главе...».

Сейчас же был отдан приказ: ночью кремлевские ворота держать на запоре.

Повсюду в стрелецких слободах получен был указ от Шакловитого и Василия Голицына: посылать от каждого полка по сотне людей в Кремль для охраны царской семьи.

Были поставлены отряды и в других местах: на Лубянке, на Красной площади.

Никто не знал хорошенько, для чего собирают стрельцов в полном вооружении, против кого они должны действовать, куда их поведут?

Только самые близкие люди знали правду.

Никитка Гладкий, посредник и клевет Софьи, полагая, что дело уже бесповоротно затеяно царевной, открыто говорил в Кремле товарищам по караулу:

— Я, гляди, уж и веревку привязал ко Спасскому набату. Как пойдем на Патриаршие палаты... Примеся за казну патриаршую богатую... А я так и зыкну громким голосом на Акимку-простоту: «Гей, из риз-то из цветных долой, никоновец... Возденут их на плечи истового пастыря Христова, не на твои, што, подобно волку, хитишь стадо Божие...».

— А ково же на место ево? — спросил другой приятель Софьи, Стрижев. — Али отца Селиверста Медведева таки поверстают в патриархи?

— Вестимо, ево... Нет лучше попа на Москве. И учен, и приветлив, и за нашу веру стоит... А нарышкинское племя пора и вовсе выполоть из царства...

— Чево зевать, — поддержал Кузьма Чермной, и

тесперь ставший в первые ряды мятежников, — хоть всех уходим, а корня не выведем, пока не убьем старой медведицы...

— Наталью-то убить?.. Гляди, сын не даст. Во как заступитца. Он — малый бравый... Всем бы царь, коли бы не никоновец...

— И ему спускать нечево... За чем дело стало?.. На всякова коня узду найти можно. У бердышей глаз нету. Ково хватит, тот и сватом...

И стрельцы рассмеялись в ответ на зверскую шутку...

Но судьба спасла Петра.

Всегда доступный простому люду, умный, решительный, прямой, он имел много искренних, хотя и тайных, ему неведомых друзей среди рядовых того самого Стремянного полка, на который больше всего надеялись и Софья, и Голицын, и осторожный, увертливый Шакловитый.

Главным таким приверженцем Петра был набожный и добродушный пятисотник Стремянного полка Ларион Елизарьев, которому Шакловитый, не опасаясь ничего, раскрыл весь план нападения на царя и Наталью в Преображенском.

К Елизарьеву пристали: пятидесятник Димитрий Мелнов, десятники Ладогин, Феоктистов, Турка, Троицкий и Капранов — все приближенные денщики того же Шакловитого. Они должны были передавать приказы начальника своего во все концы, на заставы, в полки стрелецкие.

Когда протазанщик Андрей Сергеев позвал всех этих людей на сборное место, на Лубянке, и они убедились, что «дело зачинается», сейчас же Елизарьев с товарищами вошел в церковь святого Феодосия, стоящую по соседству с площадью, и здесь на святом кресте и Евангелии дали клятву спасти Петра.

Ладогин и Мелнов поскакали в Преображенское, а остальные решили наблюдать, что будет дальше?

В Преображенском было темно и тихо, когда около полуночи прискакали туда спасители-стрельцы. Очевидно, вести о сегодняшнем нападении преображенцев на Москву были пустою сказкой.

— К государю допустите нас. Дело тайное, слово и дело государево имеем сказать.

Только услышал Стрешнев эти речи стрельцов, сто-

ящих на крыльце, куда и сам боярин выскочил полуодетый, испуганный ночной тревогой во дворе, сейчас же у него мелькнула тревожная мысль: «Мятеж... Не подосланы ли эти тоже?..»

— Нельзя пустить, — проговорил он. — Ранней осмотреть вас надо.

— Смотри, боярин, да скорее... Поздно бы не стало...

И сами скинули с себя почти все, до рубахи. Дали оглядеть карманы шаровар, сняли сапоги.

— Ну, идите... Да потише. Почивает с устатку государь... Не испугать бы...

Спальник Петра тихо стукнул в дверь.

— Што там еще, ужли вставать надо?.. Рано, кажись, — спросил звучный молодой голос.

— Государь, не все здорово в Кремле... Вести пришли... Выслушай, изволь, — доложил Стрешнев.

Быстро распахнулась дверь. Царица Евдокия только успела скрыться от чужих глаз в соседнем покое.

— Што?.. Мятеж?.. На меня... на матушку идут? — словно отгадывая события, тревожно спросил Петр.

Он стоял на пороге в одной длинной шелковой рубахе, с расстегнутым воротом, и все большое, красивое тело и лицо юноши стало подергиваться мелкой дрожью.

— Покуда — нет еще беды, а близко, — заговорили оба стрельца.

И все рассказали, что сами знали о заговоре, что видели в Кремле и на московских площадях.

Стоя слушал их юноша, словно и плохо понимал все, что ему говорили. Потом, вдруг закрыв лицо руками, крикнул:

— Матушка... Зовите... Дуня... Беги... Сейчас придут... убьют...

И кинулся вон из покоя, только успев захватить на бегу легкий охабень, который как раз собирался накинуть на плечи зябнущему царю спальник.

Несколько человек поспешили вслед за Петром, чтобы не потерять его из виду.

Только шагах в пятистах от дворца, в чаще деревьев остановился Петр.

— Кто тут бежит?.. Свои? — спросил он. — Ты, Никитич?.. Вернись, вели сюды подать одежду... И коней сюды... И для цариц снаряжайте колымаги поско-

рее... В Троицу спешить надо. Едино там будет без опаски на время...

Здесь же оделся Петр, вскочил на коня и поскакал по знакомой дороге, окруженный десятком-другим потешных, к Сергию-Троице. А через час, на самом расвете, туда же налегке выехали и обе царицы со всем двором, выступили все потешные и немало стрельцов того же Стремянного полка, проживающих обычно при царе в Преображенском.

Сильно поразила всех весть о бегстве царя в Лавру.

Денщики Шакловитого явились и доложили:

— Согнали, слышно, из Преображенскова царя Петра. Ушел он бос, только в одной сорочке, неведомо куда...

Хитрый заговорщик на это только плечами пожал.

— Вольно же ему, взбесился, бегать. Видно, не проспался с похмелья...

Но тут же поспешил с докладом к Софье.

— Ну, теперь об головах пошла игра, — решительно по своему обыкновению заметила царевна.

И она не ошиблась.

Петр был умный ученик. По примеру Софьи, с помощью образованного и сильного своим здравым смыслом князя Бориса Алексеича Голицына, юный царь теперь проделал все, что в свое время выполнила Софья, желая разрушить происки князей Хованских.

В Лавру съехалось множество ратного люду, готового стоять до смерти за юного, такого даровитого и смелого в своих начинаниях царя.

Конечно, манило многих и то, что здесь можно было сделать карьеру скорее, чем при дворе Софьи, где все места были уже разобраны.

Но и личным своим обаянием Петр привлекал сердца.

Утром же послал Петр запрос к царю Иоанну и к царевне Софье: для чего было такое большое собрание стрельцов ночью в Кремле? И тут же потребовал прислать к нему полковника Стремянного полка Цыклера с пятьюдесятью стрельцами.

Этот самый Цыклер был одним из коноводов в майские дни, потом играл роль преданного слуги у Софьи. Но, чуя, что звезда ее близка к закату, спешно послал тайную весть в Лавру: «Пусть-де государь позовет меня. Я все дело злодейское то раскрою».

Софья, ничего не подозревая, послала Цыклера.

За ним появились в Лавре Ларион Елизарьев и все его товарищи, которых горячо принял и обладал царь.

Все сразу выплыло наружу: подговоры Шакловитого убить Петра и Наталью, наветы Софьи на Петра, ее жалобы перед стрельцами, ее решение занять самой трон, а супругом своим избрать кого-нибудь из главных бояр.

— Да, што еще творили те лихие людишки, — показал капитан Ефим Сапогов из Ефимьева полка. — В июле месяце минувшего года одели в верху у царевны ее ближнево подьячего Матюшку Шошина в белый атласный кафтан да в шапку боярскую. И так он стал на боярина Льва Кириллыча Нарышкина схож, что мать родная не отличит. И нас взяли, тоже по-боярски одев, меня да брата Василья. И двоих рядовых с нами, ровно бы конюхов. Верхами мы и ездили по ночам по заставам, по Земляному городу. Да караульных стрельцов у Покровских да у Мясницких ворот как пристигнем, и до смерти колотит их Шошин той обухами да кистенями, а то и чеканом. Пальцы дробит, тело рвет. Да приговаривает: «Заплачу я вам за смерть братьев моих. Не то вам еще будет». А мы и скажем при том: «Полно бить, Лев Кириллыч. И так уж помрет собака...». А те побитые стрельцы к Шакловитому ходили с жалобами, а он и сказывал им: «Птица больно велика, нарышкинская, высоко живет, ее не ухватишь, на суд не поведешь... Вот бери лекарство. Да от меня малость в награду за бой... за увечье... А, гляди, Нарышкины будут еще таскать вас за ноги на Пожар, как их шесть лет назад таскивали вы со всей братией... Берегитесь, мол...». Так вот и поджигали стрельцов.

Петр ушам не верил. Но те же братья Сапоговы твердо стояли на своем и объявили, что их подговаривал и Шакловитый и Софья: убить и Петра и Наталью. За это сулили большие милости и награды...

Хотя Петр и его советники знали, что все грамоты, посылаемые из Лавры на Москву, царевна будет перехватывать, все-таки часть этих посланий и приказов успела проникнуть куда надо; стрельцы узнали, что царь их зовет в Лавру под страхом смертной казни.

Последние колебания у стрельцов исчезли. Так писать мог только настоящий повелитель, уверенный, что

располагает силой, способной привести угрозу в исполнение.

Быстро наполнилась Лавра и пригороды всеми почти московскими ратными людьми. Все заявили, что готовы повиноваться только Петру. И когда Петр стал настоятельно требовать от брата выдать ему Шакловича, Василия Голицына и всех участников заговора, Софье, с которой через голову Иоанна говорил Петр, ничего не оставалось больше, как выдать своего верного пособника.

Но раньше она решилась на последнее средство.

Окруженная небольшой свитой, Софья сама двинулась в Лавру, желая лично поговорить с братом, надеясь смягчить его гнев, отклонить подозрения.

Умная, красноречивая, отважная, она надеялась на себя. Думала и то, что стоит ей очутиться там, среди стрелецких полков, когда-то обожавших свою «матушку царевну», сразу все изменится.

Может быть, и Петр опасался того же.

И вот, в селе Воздвиженском ее встретил комнатный стольник царя Иван Бутурлин и объявил:

— Не изволит государь Петр Алексеевич тебе бы, государыне, в Лавру прибыть. К Москве повернуть прикажи, ничем туда пойти.

— Всеконечно, пойду и пойду! — топнув ногой, крикнула царевна, и поезд двинулся вперед.

Скоро новый гонец, весь в пыли, остановил поезд царевны.

Впереди уже виднелись стены обители. А гонец, боярин, князь Иван Троекуров, вечный прихвостень того, кто сильней, резко, почти грубо объявил поверженной правительнице:

— Слышь, государыня, Софья Алексеевна, ей, не ходи далее... А то сказать царь приказал: в случае твоего дерзновенного прихода под стены той обители, будет с тобой поступлено нечестно, как с ведомыми злодеями царского здоровья.

Сказал и даже глаза зажмурил от страха, видя, какая ярая злоба исказила лицо Софьи. И без того старообразная, грубая чертами и выражением лица, царевна вдруг стала похожа на одного из тех китайских или индейских богов зла и вражды, какими украшаются их мрачные храмы.

— Скажи ты ему, што он... — прохрипела сквозь

зубы Софья. — Пусть у старых бояр спросит, кто он?.. Конюх, псарь потешный, не царь...

И поток грубой брани вырвался у нее из уст вместе с пеной и слюной.

Но все-таки она повернула назад.

Вслед за Софьей прискакал в Москву Некрасов с отрядом стрельцов за Шакловитым, которого Петр приказал взять живого или мертвого.

Как ни старалась Софья возбудить на мятеж своих приверженцев, все были угнетены страхом.

Многие из главных заговорщиков с Сильвестром Медведевым разбежались и попрятались по разным глухим уголкам России.

Но Шакловитого сторожили на всех путях. Ему бежать было невозможно. И он укрылся на первых порах в покоях царевны.

Софья сначала приказала Некрасову явиться к ней и так разгневалась на посланца царского, что приказала обезглавить его в ту же минуту.

Но бояре поостереглись исполнить такое приказание. И были правы.

К вечеру Софья успокоилась и объявила Некрасову, что прощает его.

Но уступать еще не собиралась. Напротив, приказала составить воззвание ко всей земле, которая должна-де разобрать ее тяжбу с братом. И не позволила подвозить к Лавре ни денег, ни съестных припасов, как приказал это Петр.

Но 2 сентября в помощь Некрасову приехал с новым большим отрядом полковник Спиридонов.

Царевна уговорила Иоанна вмешаться. Тот написал Петру, что сам приедет в Лавру, а Шакловитого выдаст головой.

Но в это время все иноземные войска, раньше бывшие простыми зрителями грозных событий, уяснили себе, что дело царевны проиграно, и, вопреки ее запрещению, тайно выступили в Лавру, выразили свою верность и покорность молодому Петру.

Это было последней каплей. Софья осталась совершенно одинока.

И 6 сентября, вечером, явились к царевне выборные от стрельцов, какие оставались еще в Москве.

— Выдай, государыня, Шакловитова царю. Не миновать тово, видно. Чево тут мотчаться? — заявили они.

Напрасно молила и грозила Софья.

— Брось, царевна, — раздался почти рядом с нею какой-то грубый голос. — Знаешь по-нашему: сердит, да несилен... Так и за дверь вон!.. Гляди, поднять мятеж не долга песня! Да помни, как загудет набат, многим шею свернут тогда, а и Шакловитому от смерти не уйти. Што же народ мутить понапрасну?..

Рыдая, кусая от бессильной злобы пальцы, выдала Софья своего пособника стрельцам, опасаясь не столько за него, как за себя, когда под пыткой Шакловитый все откроет Петру.

И он открыл все. Подтвердил речи Сапоговых и других...

Боярский суд постановил: окольничего Шакловитого, Обросима Петрова, Кузьку Чермного, Ивана Муромцева, пятисотного Семена Рязанцева и полковника Дементья Лаврентьева казнить. Остальных девять главных зачинщиков наказать нещадно кнутом и сослать в Сибирь.

— Не стоит казнить собак тех. Не свою волю твоирили. Большой есть виновник, коего и не судили мы, — объявил громко Петр. — Пусть и эти шестеро понесут с другими одну кару. И только сослать всех подале.

Встал тогда служитель Христа Иоаким, уже давно переехавший в Лавру:

— Так ли слышу? А где же правосудие людское и Божие? Не от себя глаголать надлежит тебе, государь, не от доброго сердца твоего, а от разума. Кто выше стоял, кому боле дано было, с того и больше спросится. А первым тем злодеям чего не хватало? И они не то на твою драгоценную жизнь, на мать, рождшую тебя, посягали! То простить смеешь ли? Да и пример надо. Вспомни, как в недавние лета на Москве кровь лилася присных твоих. И по сей час неотмщена, вопиет к Богу. За тех простить смеешь ли?.. Нет, глаголю во имя правды и строгой истины Господней, во имя возмездия людского и божеского. Мало — государство, они и церковь православную хотели смутить, поставить раскольников попу в патриархи. И то простить можешь ли, яко защитник православия и веры Христовой?

Долго угрюмый, задумчивый сидел в молчанье Петр. Потом черкнул свое решение на листе, и трое —

Шакловитый, Петров и Чермный — были все-таки преданы смертной казни, по воле патриарха.

Приговор совершен на площади перед Лаврою, у самой Московской дороги. А «главной виновнице», Софье, опять через руки Иоанна, этой куклы в бармах и венце, было послано письмо, вернее, грозный указ: «Уйти навсегда со сцены русской государственной жизни».

И нельзя было не послушать этого грозного послания, полного ума и твердости, где так стояло: «Теперь, государь-братец, настает время нашим обоим особам Богом врученное нам царствие править самим. Понеже пришли есми в меру возраста своего. А третьему зазорному лицу, сестре нашей, с нашими двумя мужскими особами в титлах и в расправе дел быти не изволяем!»

Конечно, Иоанн дал полное согласие на все предложения брата.

Немедленно указом имя Софьи повелено было исключить из всех актов, где оно раньше поминалось вместе с именами царей. Тот же боярин Троекуров явился в Москву и передал приказ царя: поселить Софью навсегда в Новодевичьем загородном монастыре.

Не сразу, но пришлось подчиниться и этому.

В конце сентября заняла она в обители ряд обширных келий вместе с целым штатом оставленных ей прислужниц.

Только публично не смела показываться царевна.

— А то, — заметил Петр, — в церкви поют: «Спаси, Господи, люди твоя...» — а на паперти наемным злодеям деньги раздают на убийство близких... И штобы нищенки ни к ей, ни во дворцовых покоях не терлися, ни юроды, ни калеки всякие. Тоже людишки ничемные... Комнатные вытерки... Стены обтирают спиной, сор из избы выносят. Давать им можно деньгами, как обычай есть... А во дворцы — не пускать...

Еще один «главный виновник», Василий Голицын, первый актер во всей разыгравшейся трагикомедии, остался почти безнаказан.

Петр по просьбе дядьки своего, Бориса Голицына, не довел до конца следствия об участии князя в происках царевны. И только сослал его сначала в Каргополь, потом в Яренск, в деревушку верстах в семистах от Вологды.

Так кончил свою карьеру Василий Голицын, полный властный хозяин русской земли в течение многих лет, живший по-европейски в полутатарской еще Москве, скопивший миллионное состояние, не считая всего, что он проживал ежегодно...

Все ставленники его и Софьи были удалены, и Петр отдал власть в руки новым людям.

Лев Нарышкин, опытный дипломат, Емельян Украинцев, князь Федор Урусов, Михайло Ромодановский, Иван Троекуров, Тихон Стрешнев, Петр Прозоровский, Петр Лопухин Меньшой, Гаврило Головин, Петр Шереметев, Яков Долгорукий и Михайло Лыков — вот кому вручил всю власть молодой царь. А сам — снова принялся за учение, за свои мастерства и работу, которую пришлось оставить на время, чтобы очистить царство от старой плесени и гнили, веками накапливавшейся в стенах московских дворцов и теремов...

КРОВЬ ЗА КРОВЬ

(Март 1697 — октябрь 1698)

Вместо эпилога

Больше шести лет пронеслось после событий, описанных в предыдущей главе. Великан ростом, могучий телом, с мощным умом, неутомимый в труде, молодой царь Петр, как будто нарочно, был создан судьбой, чтобы поставить на новые пути русское царство, богато одаренный, но задавленный вековым невежеством и гнетом народ.

Никогда история более зрелых народов не отмечала такой усиленной деятельности самодержавного правителя во благо своей земли, какую проявлял Петр, разумеется, действуя по силе своего разума, не как пророк-моралист, а как деятельный государственный преобразователь и захватчик во имя будущих великих задач, достойных великого славянского племени.

Почти семь лет Петр один волновал стоячее русло московской жизни. Но и в дому его, и по царству дела шли сравнительно спокойно.

И неожиданно в феврале 1697 года снова забродили старые дрожжи, вернее, упорное, предательски затаенное, вечное брожение пробилось наружу.

Веселая пирушка шла в обширном, богато и со вкусом убранном жилище нового любимца государя Франца Лефорта.

Было это 23 февраля 1697 года. Наутро назначен отъезд за границу большого посольства, в котором, под видом простого дворянина Петра Михайлова, должен принять участие и сам царь, в это время написавший на своей печати девиз: «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую»...

Научиться самому лучшим порядкам жизни, чтобы потом научить родную землю, такова была сознательная, продуманная цель настоящей поездки за море,

первой, беспримерной до этих пор во всей русской истории.

Гремела музыка. Юноша-царь от души веселился, плясал с миловидными обитательницами Кокуя, или Немецкой слободы, и с русскими боярышнями, которые так забавно выглядели в своих новых нарядах.

— Петруша, тебя спрашивают, — шепнул ему в разгаре вечера Тихон Стрешнев. — Вон в том покое, что за столами накрытыми...

Петр миновал столовую и увидел двух давно ему знакомых стрелецких начальников: юркого, востроносого и всегда оскаленного, словно векша, полуполковника Елизарьева и полусотенного Силина.

— Вам што? Погулять захотелось? Так сюды без зову не ходят. Ступайте в кнейпу али куды... Да вы и не пьяны, я вижу... Ровно не в себе... Уж не беда ли какая?..

И от одного предчувствия у Петра задергалось лицо, голову стало пригибать к плечу, глаза остановились.

— Да што же вы? — уж нетерпеливо окликнул их царь. — Али со мной шутки шутить задумали, благо дни такие веселые?! Ну, выкладывайте, коли што есть...

— Есть, государь, Петр Алексеевич. На твою особу злодеи помышляют...

— Кто?.. Где? Говори! Да потише, слышь... Идем сюды...

И Петр отвел обоих подальше, к сторонке, за большой резной шкаф, в самый угол комнаты, где и без того никого не было.

— Вот, может, через час-другой сюды нагрянут злодеи. Поджечь дом надумали. А в суматохе тебя, государь, в пять либо в шесть ножей изрезать... И за море не поехал бы ты, и земли не губил бы своими новыми затеями да порядками...

— Ага!.. Вот оно куды погнуло!.. Кто ж это?.. Говоришь, все собираются злодеи сюда... Где ж собрались они?.. Кто главный?.. Скорей говори!

— Двое поглавнее — Цыклер Ивашка да Соковнин Алешка...

— Ага, знакомые ребята!.. Цыклер — старый дружок, прощенный вор што конь леченный, не вывезет никогда... А иные... Из вашей же братьи, из стрельцов?.. Где они?

— Стрельцы же, государь... У Цыклера и собраны теперя. Знаку ждут, поры полуночной. Да собраться бы всем получче...

— Добро. Спасибо, Силин. Тебе — сугубое спасибо, Ларивон. В другой раз ты выручаешь из беды наше здоровье. Бог тебе воздаст, и мы не забудем. На крыльцо ступай, никому ни гу-гу... Ждите...

И вернулся в зал.

Весело объявил Лефорту и гостям государь:

— Не взыщи, хозяин дорогой с хозяйшкой, и вы, государи, товарищи мои, что противно обычаю покину вас на часочек. Дельце одно неважное приключилось.

Вышел, велел двум своим денщикам ехать за собой, а другим направить к полуночи отряд человек в сто к дому Цыклера и по знаку царя войти в комнаты.

А сам подъехал прямо к дому полковника-предателя, недавно еще возведенного в думные дворяне за помощь против Софьи.

Здесь тоже не спали, как и в доме Лефорта. Горели огни, пробиваясь в щели ставень. Когда вошел Петр, Цыклер и зять его, стольник Федор Пушкин, и донской казак Рожин пировали за столом, чтобы вином придать себе решимости и мужества для предстоящего дела. Гром с ясного неба не поразил бы их так, как появление царя.

Пушкин подумал, что за Петром войдут сейчас солдаты, и двинулся было к выходу.

— Штой-то, али я испугал вас, господа-кумпанство?.. Не желал того. Ехал мимо, вижу, не спит Ваня; не гости ль? Горло бы можно и мне промочить.. Вот и угадал...

Засуетился хозяин. Из мертвенно-бледного лицо у Цыклера стало красным. Понемногу, собравшись с мыслями, он стал подмигивать остальным заговорщикам, как бы желая сказать: «Судьба сама предала жертву в наши руки».

Но иноземец Цыклер плохо понимал душу русских, способных отравить повелителя, убить его в суматохе, исподтишка, и не смеющих прямо взглянуть в лицо даже ненавистному государю, чтобы вернее нанести удар...

— А што, не пора ли наконец? — Не выдержав, шепнул одному из соучастников хозяин.

Петр услышал.

— Давно пора, негодяй, — крикнул он. Выпрямился во весь свой не человеческий рост, замахнулся, и Цыклер от одного удара свалился с ног.

Вскочили остальные. Рожин кинулся к оружию, которое было снято перед тем, как сесть за стол, и стояло в углу.

Но Петр до этого не допустил, обнажив свой тесак.

А тут же распахнулись двери, и вошел Елизарьев с верными стрельцами и солдатами. Заговорщиков связали, отвезли в Преображенское, и в ту же ночь начался допрос, потому что царь не хотел откладывать своей поездки за границу.

Злодеи недолго запирались; пытка и улики Елизарьева развязали им языки. Но они не оговорили никого больше. Царь не стал распытывать много. Он и сам догадался о тех «скрытых» сообщниках, которые подожгли Цыклера. И только сказал:

— Добро, захотели воскресить мятеж да злобу стрелецкую? Подыму и я покойников из гробов.

И вот, ровно через 9 дней, 4 марта, Москва увидела странное и отвратительное, душу потрясающее зрелище.

К церкви святого Николая Столпника на Покровке рано утром подъехал небывалый поезд — двенадцать больших свиней влекли сани. Палач вел упрямых животных. Другие помощники его и отряд стрельцов дополняли шествие.

При церкви в родовом склепе еще одиннадцать лет тому назад был похоронен Иван Милославский, посеявший первые семена стрелецкого бунта на Москве, долго бывший вдохновителем замыслов Софьи и всех злых начинаний, какие только были направлены против рода Нарышкиных.

Тело с гробом было вынута из склепа, гроб был раскрыт. Останки старого заговорщика в сухом месте сохранились еще довольно хорошо, и в село Преображенское повезли труп боярина Милославского, а палачи кричали при этом:

— Дорогу его милости, верховному боярину Ивану Михалычу Милославских...

И крики эти, как косвенное, но грозное предостережение, должны были через десятки уст дойти и до царицы Софьи в Новодевичьем, откуда рука ее незримо вложила нож и деньги в руки Цыклеру.

В Преображенском гроб с телом боярина был поставлен под самым помостом плахи. Когда палач рубил Цыклеру и Соковнину руки и ноги, когда он срезал головы двум стрельцам и казаку, их сообщникам, кровь хлестала прямо на труп Милославского, наполняя гроб до краев.

«Глотай, старый крамольник... Любо ли, кровопийца?.. Доволен ли? — мысленно спрашивал Петр, лицо которого от гнева и злобы казалось страшным. — Вот твой друг старый, Цыклер, твой выученик... И Соковнин, ваше староверское семя. Тошно вам, што я Русь задумал из тьмы на свет поднять, державой сделать великою. Неохота вам выпускать меня на вольный свет, чтобы свет и волю я мог принести народу моему... Так пей же...»

Сестре Софье он велел только передать:

— Сказал государь: сестру родную, дочь отца своего он жалеет еще. Одна, мол, вина — не вина. Две вины — полвины... Три вины — вина исполнится. В ту пору — пусть не посетует, горше всех ей станет...

Кончена была казнь, и обезглавленные тела на саях, гроб Милославского на тех же свиньях — все это было перевезено к Лобному месту, где когда-то лежали кровавые куски тел, изрубленных в майские дни.

Тут стоял высокий столб, сходный с тем, на котором были начертаны «подвиги» надворной пехоты царевны Софьи. У вершины этого столба торчало пять острых спиц. На каждую воткнули по голове. А тела вместе с полуистлелым Милославским разложили внизу, вокруг столба.

Долго лежали и тлели здесь трупы, наполняя смрадом воздух, кидая ужас в души.

Петр понимал, что подстрекало Цыклера, честлюбивого, хитрого иноземца, обиженного успехом других из его братии, позднее приехавших на Москву, но опережающих в карьере старого заговорщика и предателя. Царь видел, что старик Соковнин был наведен на мысль об убийстве и влиянием Софьи, и ненавистью старовера-капитановца к царю-новоделу... Чтобы очистить воздух, он сослал подальше от Москвы всю семью Цыклера, весь почти род Соковнина и Пушкина.

И, совершив жестокое дело возмездия, уехал в чужие края учиться, чтобы просветить потом свой край.

Софья услышала угрозу, поняла намек. Но не толь-

ко отдаленные угрозы — самая опасность влекла ее, как влечет порой человека темная бездна, по краю которой идешь, чуя замирание сердца.

Правда, перед отъездом Петр позаботился, чтобы в Москве не осталось ни одного стрельца. Все полки были разосланы на службу по разным окраинам.

В слободах остались только жены и дети стрельцкие, чего не бывало никогда.

Обычно московские стрельцы несли службу только летом по городам, а на зиму почти все возвращались к своим семьям, к своим торговым занятиям и промыслам.

Вместо стрельцов караулы в Москве несли полки Бутырский, Лефорта, Семеновский и Преображенский.

Вдруг, постом 1698 года, появилось в Москве до двухсот беглых стрельцов с литовского рубежа, из полков Гундертмарка, Козлова, Чубарова и Черного, из тех полков, которые особенно были недовольны «новыми порядками» цыгана-царя, как бранили староверы Петра до того, когда возвели его в чин «антихриста».

Несмотря на крепкие караулы у ворот монастыря, где жила Софья, стрельцы сумели при помощи нищих побирушек из стрельцких баб войти в сношения с царевной. И раньше чем беглецов изловили и выгнали из Москвы, посланные от всех четырех полков успели передать Софье свою жалобу на новые, тяжелые, мучительные порядки, вручили ей призыв снова стать во главе правления.

Ответ был получен немедленно. Вот что писала царевна:

«Вестно мне учинилось, что из ваших полков приходило к Москве малое число. И вам бы быть к Москве всем четырем полкам и стать под Девичьим монастырем табором. И челом мне бить: идти к Москве против прежнего на державство. А если бы солдаты, кои стоят у монастыря, к Москве пускать не стали, и с ними бы управиться, их побить и к Москве быть. А кто бы не стал пускать с людьми своими или с солдаты, и вам бы чинить с ними бой».

С этим письмом поспешили стрельцы в Великие Луки, где стояли все четыре полка.

Но еще на пути, в сорока верстах от Москвы, догнала их новая посланная нищенка, стрельцкая жена

Ульяна, с новым письмом; царевна писала младшим стрелецким начальникам:

«Ныне вам худо, а впредь будет и хуже. Идите к Москве. Чего вы стали? Про государя ничего не слышно».

Вот на что особенно надеялась Софья. Она понимала, она чувствовала, что грозный облик Петра нагнал трепет на самые отчаянные души. И только за его спиной, во время его отсутствия, и есть надежда достичь чего-нибудь, запугав трусливых, безвольных бояр, стоящих во главе правления.

Расчеты царевны не оправдались.

Правда, ее письма подняли все четыре полка. Особенно заволновались они, когда повсюду был рассеян слух, что Петра нет больше, что он погиб там, за морями, в чужих краях. Прибавляли, что бояре собираются даже удушить царевича Алексея, мать которого, Евдокия, как и весь род Лопухиных, предана старому, «древнему благочестию» и стремится воспитать сына в духе «старины»...

После долгих колебаний стрельцы решились. Из Торопца, где в мае на короткое время были поставлены все четыре полка, их хотели послать опять в разные места.

Но ратники взбунтовались. Первыми подали пример те зачинщики, которые бегали в Москву к Софье. Постепенно и остальные, всего две тысячи двести человек, решили идти прямо на Москву. Если на них выйдет войско, уклониться от боя, засесть в Туле или в Серпухове и ждать подмоги от донских казаков, тоже начавших шевелиться.

Бояре в Москве, узнав о большом бунте, потеряли голову.

«Бабий страх на них нашел», — как потом выразился Петр.

Десятого июня все-таки бояре-правители поручили воеводе, боярину Шеину, и товарищам его, генерал-поручику Гордону и князю Кольцо-Масальскому, собрать войска и выступить на Ходынку. От всех четырех верных полков, стоящих в Москве, было взято по пятьсот человек. Собраны были также дворцовые ратники, недоросли, конюшенные служители в военном снаряжении и приданы строевому войску в подмогу.

Осмотрев войска, Шеин двинулся к Тушину, где

стал лагерем. У воеводы было не меньше трех тысяч семисот ратников при двадцати пяти пушках. 18 июня произошла встреча. Сначала Гордон, по поручению Шеина, несколько раз делал попытки образумить бунтовщиков.

— Выдайте сто сорок пять зачинщиков, тогда вины ваши будут все прощены и забыты. И вам выдадут что по службе полагается.

Стрельцы ничего и слышать не хотели.

Гордон вернулся в московский лагерь.

У стрельцов начались приготовления к бою. Полковые попы, капитановцы, служили молебны. Ратники молились и исповедывались.

Шейн, расположив войско для боя, послал еще раз к стрельцам Кольцо-Масальского.

Но стрельцы слушать его не стали, а только отдали челобитную, в которой были перечислены все обиды и лишения, какие перенесли стрельцы за эти последние три года в чужой стороне, голодая, холодая, не видя жен и детей.

— Што делать. Будем боем решать спор, — сказал Шейн и дал знак Гордону.

Первый залп из двадцати пяти полевых орудий был дан на воздух. Никто из стрельцов, конечно, не пострадал.

— Братцы, Господь за нас! Да, гляди, и пушкарская рука на товарищей не подымается. Пали в семеновцев да в преображенцев. Сергиев! Сергиев!

При этом кличе полетели вверх шапки стрельцов. И они стали стрелять из ружей, из пушек.

Грянули неровные залпы. У Шеина оказались раненые.

Тогда полковник Граге навел орудия как следует и новым залпом выкосило немало людей...

В тот же миг паника охватила стрельцов. Они дали тыл. Повсюду путь был отрезан отрядами Шеина. Грянул третий залп...

И враспынную кинулись теперь стрельцы, кто куда. А большинство, опустив знамена, стали молить о пощаде.

Их всех обезоружили, окружили караулом.

И часу не длилась эта «война»; пятнадцать убитых и тридцать семь тяжело раненных у стрельцов, четыре раненных у Шеина — вот все потери тушинского боя.

Все свободные кельи соседнего Воскресенского монастыря, подвалы, амбары переполнились арестованными зачинщиками мятежа и беглецами, которых переловили до одного. Розыск делал сам Шеин, пытал, жег огнем.

Стрельцы объяснили свой мятеж недовольством на вечные походы, на лишения и нужду. Никто ни звука не сказал о письмах царевны Софьи.

И Шеин приговорил к виселице сперва пятьдесят шесть человек зачинщиков, а потом, по приказу бояр из Москвы, приказал удавить в мертвой петле еще семьдесят четыре человека.

Молча, творя крестное знамение, клали голову в петлю осужденные стрельцы.

Сто сорок человек менее опасных бунтарей были наказаны жестоко кнутом и сосланы в Сибирь.

Остальные, всего тысяча девятьсот шестьдесят пять человек, разосланы по разным городам и посажены в тюрьмы.

Седьмого июля Шеин уже мог вернуться в Москву.

Но в сентябре вернулся Петр и иначе взглянул на дело.

— Сами, толкуют, замутились, без всякой сторонней руки... Ну, нет... Я допрошу их построже вашего. Дознаюсь до дела... Хоть и так вижу, откуда ветер снова подул. От монастыря от Девичья... Из-за Москвы-реки... Ну, ежели... уж теперь не прощу.

И он сам стал в Преображенском «с пристрастием» допрашивать стрельцов.

В Москву свезли их всех, в числе тысяча семьсот четырнадцать человек, и рассадили по тюрьмам.

Отсюда партиями возили в Преображенское.

Всего четырнадцать застенков, или следственных камер, учредил для разбора этого огромного дела Петр. Ближние бояре и дядьки его заведывали этими застенками.

Целый месяц длился розыск. Кроме воскресений, ежедневно по шесть—восемь часов тянулся допрос, очные ставки, пытки и битье кнутом.

Главнейших коноводов пытал и допрашивал сам царь.

Семнадцатого сентября, в день именин Софьи, словно нарочно, чтобы сделать «подарок» сестре, начались допросы. На дыбу поднимали и жгли огнем трех рас-

попов стрелецких, которые служили молебны и причащали мятежников, во время боя пели молитвы.

Главным образом, Петр хотел добиться, не было ли от Софьи писем к этим мятежным полкам. И, конечно, правда была раскрыта. Не все сумели молча переносить огонь и кнут. А жгли до трех и четырех раз. Били кнутом нещадно...

Узнав про письма, царь взял на допрос и женщин царевны, чтобы узнать, кто их передавал. И это раскрылось. Обнаружилось и участие сестер Софьи в заговоре; особенно Екатерины и Марфы. Только тихая, робкая Мария осталась непричастна.

Царь лично допрашивал и Софью и Марфу. Но они отперлись ото всего, зная, что их пытать брат не станет.

Правда, он не решился коснуться их тела. Но душу измучил.

Когда кончилось следствие, сначала триста сорок один человек был приговорен к петле.

Тридцатого сентября у места главной казни, близ Покровских ворот, несметные толпы народа, все иноземные послы собрались как на невиданное торжество.

Около двухсот телег под сильным конвоем потянулось из Преображенского, и на каждой сидело по два стрельца с зажженной восковой свечой в руках.

День был тихий, и у многих огни не гасли до самого последнего мгновения, когда казнимый поступал в руки палача...

Явился и Петр, верхом, просто одетый, как всегда, окруженный свитой иноземных своих генералов и бояр. Он подал знак, шум толпы умолк. Дьяк выступил вперед и стал читать:

— «Воры, и изменники, и бунтовщики, Федорова полку Колзакова, Афонасьева полку Чубарова, Иванова полку Чернова, Тихонова полку Гундертмарка стрельцы!..

Великий государь, царь и великий князь Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец, указал вам сказать:

В прошлом, в 206 (1698) году пошли вы без указа великого государя, забунтовав, с службы к Москве всеми четырьмя полками и, сошедшись под Воскресенским монастырем с боярином с Алексеем Семеновичем Шеиным, по ратным людям стреляли, и в том месте вы

побраны. А в расспросе и с пыток вы сказали все, что было сговорено: прийти к Москве, и, на Москве учиня бунт, бояр побить, и Немецкую слободу разорить, и немцев побить, и чернь возмутить, то вы всеми четырьмя полки ведали и умышляли.

И за то ваше воровство великий государь и прочая указал казнить смертию».

Отсюда повезли под грохот барабанов всех осужденных к местам казни к десяти воротам в Белом городе, к трем воротам на Замоскворечье и в стрелецкие слободы.

Там и повесили двести человек. Остальным клеймили щеки, били кнутом и сослали в Сибирь.

На короткое время Петр прервал розыски и поехал к Троице, навстречу своему первому адмиралу, Крюйсу, который через Архангельск прибыл в Россию из Голландии.

Расспрос шел и без Петра. Было точно установлено, что царевны-сестры подбивали стрельцов к мятежу, особенно Софья.

Тогда еще девятьсот пятьдесят стрельцов было приговорено к смертной казни. Из них семьдесят два человека обезглавлены в Преображенском. Палачей не хватало, и конюхи, преображенцы, семеновцы, бояре своей рукой рубили мятежные головы...

С 11 по 21 октября было повешено на Москве всего семьсот восемьдесят пять стрельцов.

И, как последняя угроза, на Девичьем поле перед кельями царевны Софьи, уже постриженной в том же монастыре под именем «смиренной инокини» Сусанны, повисло сто девяносто пять трупов.

А у троих из стрельцов, которые своими неподвижными глазами глядели прямо в окна кельи Сусанны-Софьи, которые при порывах ветра раскачивались вместе с веревкой, касаясь мертвыми руками самого окна, — у этих троих в руках белела «челобитная», призывающая царевну Софью снова на «державство», на трон Московский...

И так целых полгода висели и разлагались трупы повешенных, ежедневно возобновляя бескровную пытку, которой подверг сестру возмущенный и потерявший сострадание брат.

На площадях тоже горами валялись неубранные тела казненных. Вдоль дорог на телегах лежали стрельцы, как бы говоря:

— Берегитесь! Царь долго терпит, но мстит жестоко, беспощадно...

И ужас объял всех...

Только иноземцы толпами ходили к Новодевичьему монастырю поглядеть на «челобитчиков», позлорадствовать, чуя, какую муку терпит царица, готовившая мятеж, чтобы вырезать всех немцев и водворить старый строй на Руси.

Опустели стрелецкие слободы. Жен стрелецких разослали по деревням. Их там разобрали холостые поселяне.

Сгибла навсегда бесшабашная, но грозная сила стрелецкая, так долго державшая в своих руках судьбу Московского царства.

С той поры преображенцы и семеновцы взяли на себя роль, заняли место стрельцов допетровской Руси, тех стрельцов, которые в свое время сменили собой злой памяти опричнину царя Ивана Грозного.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Надпись на стрелецких столбах у Лобного места (к с. 466)

«Божиею милостию мы, Великие Государи, Цари и Великие Князи Иоанн Алексеевич, Петр Алексеевич, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержцы. В нынешнем 7190 (1692) году, Июня в 6 день, били челом нам, Великим Государям, на его Царского Величества Московских полков надворные пехоты пятидесятники, и десятники, и рядовые, и солдатских выборных и всех полков урядники, и солдаты, и пушкари, и затинщики, и гости, и гостинной сотни, и посадские люди всех черных слобод, и ямщики всеми слободами: в нынешнем-де во 7190 году, Мая в 15 день, изволением Все милостивого Бога и Его Богоматери Пресвятыя Богородицы, в Московском Российском Государстве учинились побиение за дом Пресвятыя Богородицы, и за нас, Великих Государей, и за все наше Царское Величество, от великих их к ним налог, и обид и от неправды в царствующем граде Москве, боярам князю Юрию да князю Михайлу Долгоруковым, за многие их неправды, и за непохвальные слова, и без наших Великих Государей указов многих их братью, бив кнутом, ссылали в ссылку в дальние города; да он же, князь Юрий Долгоруков, будучи у наших государских дел в Стрелецком приказе, им учинил из нашей Государской казны денежную и хлебную недодачу все в перевод; а думного дьяка Лариона Иванова убили за то, что он к нему ж, князю Юрию и князю Михайлу Долгоруковым приличен; да он же Ларион, похваляясь, хотел ими безвинно обвешать весь земляной город вместо зубцов у Белого города; да у него ж Лариона взяты гадины змеиным подобием; а боярина князя Григория Ромодановского убили за его к нам, Великим Государям, измену и нерадение, что он, будучи на наших государских службах, у наших Государевых людей воеводою, город Чигирин турским и крымским людям с нашею Государскою всякою казною и с служилыми людьми отдал, забыв страх Божий, и крестное целование, и нашу Государскую к себе милость, и с турскими и с крымскими людьми письмами ссылался; а боярина Ивана Языкова убили за то, что он стакался с прежними их полковниками, налоги им великие чинил, и взятки великие имал, и прежним их полковникам на их братью наговаривал, чтобы они, полковники, их братью били кнутом и батоги до смерти; а боярина Артемона Матвеева, и

Даниила дохтора, и Ивана Гутменши, а сына его, Даниилова, побили за то, что они на наше Царское Величество злое отравное зелье, меж себя стакався, составляли, и с пытки он, Данило жид в том винился; а Ивана да Афанасья Нарышкиных побили за то, что они, Иван да Афанасий, применяли к себе нашу, Царского Величества, порфиру, и мыслили всякое зло на нас, Великого Государя, Царя и Великого Князя Иоанна Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержца; а преж сего они ж, Иван да Афанасий, блаженные памяти на брата нашего Государева, Великого Государя, Царя и Великого Князя Феодора Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержца, мыслили всякое зло, и за такое злое их умышление были сосланы в ссылку; а Полковников: Андрея Дохтурова и Григория Горюшкина побили за то, что они, будучи на наших Государских службах, ругаяся их братья, били кнутом и батоги без нашего я Государского указу до смерти; а думного дьяка Ларионова сына Василья убили за то, что он ведал у отца своего на наше Государское Величество злые отравные гадины и в народе не объявлял; а думного дьяка Аверкия Кирилова убили за то, что он, будучи у наших Государских дел, со всяких чинов людей вселикие взятки имал, а налоги народу и всякую неправду чинил; а боярина Петра Михайловича Салтыкова сына его Феодора Петровича, умысля воровски они, бояре князь Юрий Долгоруков, с товарищами, подменили вместо Ивана Нарышкина, хотя его от зломысленных дел и от смерти свободить, велели его, Феодора, с крыльца бросить; и они, побив их, князя Юрия с товарищами, за их всякие неправды и измены, ныне бьют челом и просят у нас, Великих Государей, милости всего Московского Государства все служилые люди, и гости, и гостинных сотен, и кадашевцы, и дворцовые и конюшенных слобод и посадские люди, и ямщики всех слобод, чтобы за их многие службы и за верность пожаловали мы, Великие Государи, указали среди своего Московского Государства учинить в Китае городе на Красной площади столб, и тех побитых злолихоимателей, кто за что побиты, на том столбе имена подписать, чтобы впредь иные, помня Государское крестное целование, чинили правду; и против того им, надворной пехоте, и в солдатские во все полки, и пушкарям, и в гостинные сотни, и в Кадашево, и в дворцовые, и в конюшенные, и чернослободцам, и в ямские слободы дати им наши, Государские жалованные грамоты, за красными печатями, чтобы на Москве, и на наших Государских службах, и в городах их, надворную пехоту, и солдат, и пушкарей, и гости, и гостинных сотен, и черных слобод, и посадских людей, и ямщиков, Московского Государства бояре, и окольные, и думные люди, и весь наш Государский синклит, и никто никакими поносными словами, и бунтовщиками и изменниками не называли, и без наших Государских именных

указов, и без подлинного розыску их всяких чинов людей никого бы в ссылки напрасно не ссылали, и безвинно кнутом и батоги не били и не казнили, потому что они служат искони нам, Великим Государям, со всякою верностию и без всякой измены, и нигде на наших Государских службах измены, и прослуги и городам от них сдач не бывало; и складывают их свои головы на наших Государских службах за дом Пресвятыя Богородицы, и за нас, Великих Государей, и за православную Христианскую веру; и кровь они свою проливают, и против наших Государских неприятелей бьются, не щадя голов своих; по ныне стоят, и служат, и радеют, потому ж за дом Богоматери и за нас, Великих Государей; грабительства-де их и никакого злого умышления на наш Государский дом и на синклит и на все чины Московского Государства думы нет и не бывало; а что кто ныне всякого неслужилого чину грабительства чинил, и с таким было потому же наказание. А впредь обещаются они служить и радети нам, Великим Государям, со всякою же верностию; а что ныне бояр, и окольничих, и думных людей, и всего Государства домов боярские люди к ним приобщаются в совет, чтобы им быть из домов свободным, а у них с ними боярскими людьми ни с кем приобщения никакого и думы нет; а когда по нашим Государским указам бывают они посылаемы на службы, и им для наших Государских служб дается на подъем наше Государево жалованье, денег по два рубли человеку, и на те деньги покупают лошади и всякую служилую рухлядь; и в дорогах и на службах те лошади, покупая корм дорогою ценою своими деньгами, избывая с себя платье, кормят, и от того они денежного малого подъему разоряются вконец, без остатку; а которые под пушками станки и колеса кованы были в разных годах для наших Государских служб и с посольских выездов разными образцами, и знамена, и барабаны, и всякие приказные полковые строения, делано выворотом из наших Государских полугодовых жалованьев и из их паев великие вывороты; а прежде сего, при бывших Государях, на те полковые строения были деньги даваны из нашей Государской казны, а не из их дач; и нам бы, Великим Государям, пожаловати за их многие службы, и за кровь, и за раны, и за полонное терпение, и за осадное сидение велети против сего их челобитья наш, Великих Государей, милостивый указ учинить. А кто их учнет называть у какими поносными словами, или бунтовщиками и грабителями, и тем людям, кто кого назовет, про то розыскав в правду, велети наш Великих Государей милостивый и рассматрительный указ учинить без всякия пощады, а буде кто на кого такие слова напрасно взведет, или по какой недружке учнет ложно бить челом, и о том подлинно сыщется, что он таких слов не говаривал, и тем бы людям, кто на кого напрасно взведет, потому ж наш, Великих Государей, указ учинить без всякия ж

пощады, и о том дати ведомости в царствующем граде Москве всяких чинов людям; а на Москве и на наших Государских службах без них им, женам и детям их велеть и давать наше Великих Государей жалование без всякого вывороту, и от дьяков и от подьячих без выкупу; и чтобы будучи у наших Государских дел во всяких приказах начальным людям, дьякам и подьячим со всяких чинов людей никаких посулов не иметь, и всякие невершенные да и крепостные дела вершить безволокипно. А начальные люди, кто у которых полков будет, для своих прихотей за их малыя вины без ведома пятидесятников и урядников кнутом и батоги не били; а что кому доведется за какое дурно наказание учинить, и о том они впредь за тех людей не стояли бы; и на Москве и на наших Государевых службах, и идучи на службы и с служеб по дорогам на всяких начальных людей и на друзей их никакой работы им не работать; из нашего Государского жалования дворовых денег, и недослуженного на их братья на отставных, и после их на женах их и на детях никаких денег не править; и у наше Великих Государей казны, у денежного сбору, быть сборным людям изо всех посадских и черных сотен, из гостей, из гостинной сотни в приеме и в расходе во всех приказах потому, чтоб нашей Государской казне никакой порухи не было; а которые на наших Государских городах на кабаках, и в таможнях и во всяких сборах сидят головы и полуголовы, тех считать на городах по книгам, и деньги присылать без посулов; а которые Великих Государей деньги на гостях, и гостинной, и суконной сотен и слобод долги, и на них выбирать нашей Великих Государей казны не давать, потому что-де дьяки и подьячие нашу Великих Государей казну дают из посулу многие годы; а на гостях и гостинной и суконных сотен и всяких чинов на людях на Москве и в городах долговые деньги выбирать по нашему Великих Государей рассмотрению; и их надворную пехоту и солдатских полков на наши, Великих Государей, службы посылать по очереди полками без выписок, и на наших, Великих Государей, службах в городах быти им погодно; а на наших же Государевых житных дворах у хлебного приема и у раздачи быти в целовальниках из черных сотен посадским людям, а не из их Московских полков надворной пехоты людям. И мы, Великие Государи, указали по челобитью их Московских полков надворной пехоты и солдат и всех вышеописанных чинов людей в Китае на Красной площади сделать столб, и кто за что побиты, подписать; а их, надворную пехоту, и солдат, и пушкарей, и гостей, и гостинных сотен, и черных слобод посадских людей, и ямщиков на Москве и на наших Государевых службах и в городах боярам нашим, и окольных, и думным людям и никому бунтовщиками и изменниками не называть, и без именного нашего, Великих Государей указа их и никаких людей не казнить, и в

ссылки ссылать и без подлинного розыску наказания чинить не велели; а велели винным за всякие вины чинить указ по розыску, смотря по винам, кто чего достоин; а им, надворной пехоте и солдатам всех полков, и всех вышеописанных чинов людям ныне и впредь к боярским людям не приставать, и в совет их к себе не принимать; а будет и впредь боярские и иных чинов люди в каком воровстве объявятся, а они про них сведают, и им их имать и приводить в Стрелецкий приказ. Да пожаловали мы, Великие Государи, их надворную пехоту и солдат за их многие службы велели им впредь давать нашего Государского жалованья для дальних полковых и городовых служб на подъем к прежним подъемным деньгам в прибавку по рублю человеку, которым наперед сего на подъем дачи бывали; да у них же в полках на наших, Великих Государей службах быти у пушек пушкарям по-прежнему, а им, надворной пехоте, у того дела не быть; а под нашею, Великих Государей, всякою полковою казною быти подводам с проводниками во всех службах с приезде до отпуску, каких чинов людям по нашему, Великих Государей, указу быть доведется, а впредь надворной пехоте и в солдатских полках пушечные станки и колеса оковывать, и знамена, и барабаны, и всякое полковое строение делать из Стрелецкого приказа нашею, Великих Государей, денежною казною, а у них надворной пехоте и у солдат годовых их окладов и денежного жалованья на то строение не вычитать; а что до сего их челобитья у них, надворной пехоте, и в солдатских полках полкового строения построено, и тому всему строению в тех приказах и в полках быть по-прежнему; а им то все вышеописанное полковое строение беречь всякими обычаями, чтобы потери и порухи ничему не было; а буде ему от кого учинится какая поруха, или кто что испортит небрежением, и то сделать тому, кто что испортит. А буде кто учнет их называть бунтовщиками и грабителями, и тем людям, кто кого назовет, про то разыскав подлинно, чинить наш, Великих Государей, рассмотнительный указ без пощады; а буде кто на кого такие слова взведет напрасно, или по какой дружбе учнет ложно бить челом, и о том подлинно сыщется, что он таких слов не говаривал, и тем людям, кто на кого напрасно взведет, потому ж чинить наш, Великих Государей, рассмотнительный указ без пощады ж, и о том наш, Великих Государей, указ на Москве всяких чинов людям сказать, чтобы они всех чинов люди про то ведали; а буде боярские люди походят из дворов бояр своих быти из холопства свободны, учнут такие слова на бояр своих затевать, и тому извету не верить; а наше Великих Государей жалованье на Москве и на наших Государских службах им, надворной пехоте и солдатам и без них женам их и детям годовые их оклады давать им сполна, без вычета, и дьякам и подьячим от того посулов не давать, и ни малого им у них ничего не имать; а которые на

Москве в приказах начальные люди, дьяки и подьячие, и им со всяких чинов людей посулов никаких не иметь же, и дела всякие делать и вершить безволочитно; а полковникам для своих прихотей им, надворной пехоте и солдатам безвинно никому никакого наказания не чинить, а винным наказание чинить с подлинным свидетельством, смотря по вине, кто чего достоин, при пятидесятниках и десятниках, а солдатам при урядниках; а кнутом их, надворную пехоту и солдат, на Москве без нашего Великих Государей указу и Стрелецкого приказа, и в полках и в городах, без ведома бояр наших и воевод, им полковникам не бить; а им, надворной пехоте и солдатам у них полковников и у начальных людей, и у пятидесятников, и у десятников быть во всяких наших Государских полковых и в приказных делах во всяком послушании; а буде кому до кого в чем какое дело, а им на тех людей бить челом нам, Великим Государям, и приносить челобитные в больших делах в Стрелецком приказе, а в малых на съезжие избы к полковникам; а будучи им, надворной пехоте и солдатам, на Москве и на службах, и в дороге идучи на службы и с службы на них полковников, и начальных людей, и на друзей их никакой работы не работать, и изделья никакого не делать. Да мы же, Великие Государи, пожаловали их, надворную пехоту и солдат, за дворы денег и недослуженного на их братья на отставных, и после их на женах и детях иметь не велели; а на Москве во всех приказах у нашей, Великих Государей, всякой казны и у денежного сбору быти выборным людям, у приему и у расходу из гостей, из гостинной сотни и из черных сотен, изо всех слобод посадским людям; а в городах таможенных и кабацких голов и товарищей их по сборным книгам считать в тех городах, а деньги, и счетные списки, и что по тем счетным спискам доведется взять недобранных денег, и то все присылать к Москве, и из нашей Государевой казны денег и товаров и никакой казны без нашего, Великих Государей, именного указу из приказов начальным людям, и дьякам, и подьячим давать не указали; да мы же, Великие Государи, указали впредь на наших, Великих Государей, службах в полках и в городах и с боярами нашими и воеводами быти им надворной пехоте и солдатам по очереди с полками без выписок, и служить им в городах pogodно во время нужды и неприятельского наступления; а в Астрахани быть по-прежнему по два года, потому что та служба дальняя, и в год переменяться не можно; а на Москве на житейных дворах у приему и у раздачи стрелецкого хлеба быть в целовальниках черных сотен разных слобод посадским людям; а им надворной пехоте людям у того дела не быть, и им Московских полков надворной пехоте, так же всех полков солдатам и пушкарям, и затынщикам, и гостям, и гостинных и суконных сотен, и дворцовых и конюшенных и иных черных слобод посадским людям, кадашев-

цам и ямщикам, нам, Великим Государям, служить и прямити по своему обещанию, как они обещались пред святым Христовым Евангелием, и во всем всякого добра хотети со всякою верностию без всякия хитрости, и быти им в нашем Государском повелении по своему обещанию непременно безо всякого прекословия, так же как деда и отцы их и они служили, и во всяком послушании были при деде нашем, Великих Государей, блаженныя памяти при Великом Государе, Царе и Великом Князе Михаиле Феодоровиче, всея России Самодержце, и при отце нашем, Великих Государей, блаженныя памяти при Великом Государе, Царе и Великом Князе Алексее Михайловиче, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержце, и при брате нашем, Великих Государей, блаженныя памяти при Великом Государе, Царе и Великом Князе Феодоре Алексеевиче, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержце.

К сей нашей Великих Государей грамоте наша, Великих Государей, Царей и Великих Князей Иоанна Алексеевича, Петра Алексеевича, всея Великия и Малыя и Белья России Самодержцев, печать приложена».

Л. Ж.

С Л О В А Р Ъ

Али бо — либо

Бирюч — глашатай

Вайя — ветка

Вёкиа — белка

Взруб — срубленные из бревен четыре стены со связкой по углам

Гордёня — гордый человек

Горлатный — о мехах: горловой, дущатый

Глузд — ум, память, рассудок

Доправить — взыскать

Застенить — заслонять

Изневесть — нечаянно, внезапно, вдруг; тайком

Кат — палач

Кика — женский головной убор с рогами (сорока — без рогов, ко-
кошник — с высоким передом)

Кнёйка — сеть кошелем на обруче

Кра́вчий — придворный чин, заведующий столовыми приборами,
прислугою

Крыж — крест; говоря о кресте христианском — крест католиче-
ский

Мастер́ица — здесь: учительница

Мотча́ться — тянуть, мешкать

Начётчик — церковный чтец

Нёлеть — непристойно

Объя́рь — шелковая волнистая ткань

Осло́п — жердь, дубина

Омману́ть — обмануть

Охабе́нь — верхняя долгая одежда с прорезами под рукавами и с четвероугольным откидным воротом

Приго́да — потреба, польза, надобность

Пора́да — помощь, спасенье, утеха, отрада

Порфи́ра — багряница, верхняя торжественная одежда государей, широкий длинный плащ багряного шелка, подбитый хвостатым горностаем

Прото́ри — издержки, расходы

Прямíть — выпрямлять; говорить и поступать прямо

Примёты́ваться — придира́ться

Распу́лка — цветочная почка

Романе́я — сладкая настойка на фряжском вине

Скорбе́ь — болезнь

Соста́вщик — доносчик, заговорщик

Суле́я — бутылъ

Тарару́й — болтун

Фёря́зь — мужское долгое платье с длинными рукавами без воротника и перехвата

Цыфи́рь — счисленье, счет

Чекáн — знак сана, топорик с молоточком на аршинной рукояти

Шпынь — балагур, шут

Яв — явь, состояние трезвое, сознательное

Яры́жка — низший служитель полиции для рассылки и исполнения разных поручений

ВЕНЧАННЫЕ ЗАТВОРНИЦЫ

ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ-
ХРОНИКА



Часть первая

ВЕСНА В ТЕРЕМАХ

I

На необозримое пространство расстилаются-зеленеют поля, луга и леса, окружающие стольный град Москву, «третий Рим нерушимый», как величает его нередко сам юный царь и великий князь Московский, Иван Васильевич IV, всея Руси.

Молод государь, шестнадцати еще не минуло, а по виду, по стану, по взгляду пытливому — много больше можно дать венчанному отроку. Правда, немало и горя вынес он за свою недолгую жизнь, особенно за последние семь-восемь лет, когда схоронил Иван государыню-мать, великую княгиню Елену. И сильному духом человеку взрослому иные дни, пережитые ребенком-царем, за годы показались бы. А Иван целые долгие годы, день за днем, выносил и угрозы, и унижения, и обиды, даже до страха смерти...

Тяжело было. Но юность все одолела, со всем справилась.

Исполнилось Ивану 15 лет, пришло совершеннолетие царское, как и покойный отец завещал. Теперь боярам-правителям волей-неволей, а надо было признать юношу властелином, снять с него опеку, приходилось отныне его именем все делать; приговоры, дела и указы — за его подписью выпускать.

Иван IV вот уже около года лично вступил в правление, ведает все дела земские и государские... на словах, конечно. Так же как ведали их бояре-правители. Они только старались изо всего извлечь побольше выгод для себя. А всеобщее дело в государстве шло как машина огромная, пущенная в ход еще дедом царя, Иваном III.

Правда, за полвека работы состарилась машина, порасшаталась немного, кое-где заржавела; скрепы в ней

ослабели, колеса иные повизгивают... Да и надстроено было немало за последние годы жизни царя Василия Ивановича. Много новых земель, городов завоевано, не мало новых порядков заведено. Не совсем даже иные части постройки государственной соответствуют одна другой. Но еще хорошо работают гладко отлитые, крепко окованные колеса и шестерни механизма. Одно только новое, могучее колесо в машине сейчас работает: это личная воля юноши-царя. Воля, порою неукротимо дикая! Но она больше пустых, неважных, ребяческих вещей касается. И тонет новый, такой властный, молодой голос в том шуме и шорохе, который издают все части государственного механизма, вплоть до последней мелкой цевки, до мужичка-оратая включительно... До той самой цевки, из которой создана прочная основа земли русской, великого Московского царства.

II

Рано проснулся царь-отрок Иван Васильевич. Молодой спальник Алексей Адашев, которому по череду пришлось в царской опочивальне спать, с рассветом уже поднялся, сторожил пробуждение царя.

У спальника все, что следует, приготовлено. Омылся свежей водою царь, одеваться стал, только прежде другого спальника, племянника своего, князя Ивана Федоровича Мстиславского, к бабке, княгине Анне, со здоровьем отослал.

— А што, Алеша, — обратился Иван к Адашеву, обувавшему в эту минуту царя, — после думных трудов, после докладов боярских на полеванье нам с тобой не поехать ли поблизу куда?

— Как повелишь, осударь.

— Ну, так скажи псарям сготовиться... Копчика мне под седло. Того, что от салтана в дар прислан... Стой, кольчуга чтой-то мулит в поясу!

И царь с помощью Адашева распустил широкий панцирный, тонкий, но превосходно закаленный пояс, которым была стянута миланская, дивной работы, кольчуга, надетая у него прямо поверх полотняной рубахи.

Этой надежной защиты не снимал с себя юный царь ни днем ни ночью.

— Спасибо за дар дуку медиоланскому! — шевеля колечками стальными, тонкими, как кружевное плетение, с горькой усмешкой заметил Иван. — Поправил сзади? Ладно. Добро теперь. Вот погляди... Это и есть они, царские вериги мои, — теребя кольчугу и пояс, живо заговорил отрок, всегда охотно делившийся мыслями, если видел, что не враг перед ним. — Видишь: ни день ни ночь не сымаю тяготы такой. Не хуже схимника иного, веригонящего праведника! Я царь Московский, владыка стольких земель, стольких тронов земных! Так поменьше брови своди, когда я сердцу моему волю даю порою. Ежели что и погрешу — за подвиг мой тайный, неведомый, за тяготы несение, — отпустит Господь многие прегрешения. А, как мыслишь?

— Думаю, осударь.

— «Думаю, осударь»! А сам в сторону быком вззрился. Не больно, видно, сголошаешься со мною...

— Смею ли я, осударь?

— «Смею ль, сумею ль?..»! Эх, ты! Видно, тоже лукавить подучился во дворце моем. А мне ты только за правду твою и люб. Помни.

— Я неизменчив в худом, што и в добром, осударь. Вся моя службишка холопская перед очами твоими.

— Ну, ладно. Вижу, верю. Вот и знай: как на плоти грешной вериги у меня, так и душа вся в цепях. Словно жернов оселский на ней. Грудь так и завалило. О чем не думно, чего желаю — нету тово. Как хочу на полной своей волюшке жить — не мочно мне! А если б... Эх, и тоски бы в те поры никакой я бы не знал! И не обидел бы я ни души единой. Не дурил бы я так, ровно с цепи сорвался да несется без пути аргамак степной. Тоска... Уразумей, Олеша! Меня, царя, владыку вашего, тоска, змея лютая, так и гложет! Напущено ли это от врагов, что обступили мой трон кругом? Так ли само сердце мечется? Только места я, покою себе не сыщу. Сердцу отдых дать бы... Простору мне мало. Куды-то тянет душу... И то творю в ину пору...

Замолк внезапно, не досказал Иван. Не могут, не умеют уста его в чем-либо постыдном сознаваться. И протопопам благовещенским, духовникам своим, на исповеди, кидает он одно короткое, властное:

— Во всем грешен!

А много не говорит с ними.

Тут же, хотя и полюбил царь спальника своего, все

ж таки раб, холоп перед ним, да и летами почти погодок, ровня. Пусть будет и тем доволен, что услышал.

Но, помолчав, снова заговорил словоохотливый, одаренный пылкой душою и мечтательный юный царь:

— А знаешь, как оно хорошо да ладно было бы: всех врагов извести... На покое пожить, хоть малость. Штобы можно было и жалеть людей, и приголубить кого... И не трепетать измены али чар бесовских, царю на пагубу пущенных! Сколь хорошо бы... Пойми: никого не бояться! В постелю спать ложиться — без обороны без энтой, без панциря. Так, вольным телом, на ложе ли своем на пуховом пораскинуться, в лесу ли, на траве ли упасть на муравчатой, на зеленой.... на духовитой... и спать, спать сколько хочешь! Спать — снов не видать, тех тяжких, томительных, что в ночь за полночь меня томят... вставать не велят, грудь давят. И сижу на ложе, и слушаю. Ты дышишь во сне... ровно, спокойно таково. Мышь грызется где-то. Шаги по переходам: дозорные, над быть, бродят... А все же страх берет, жуть на меня набегают, Олеша! И сам не знаю с чего. И своих многих дел страшусь... И те мне порою чудятся, кого казнить доводится. Всего, всего-то страшно.

Словно сейчас переживая в душе ночные страхи свои, побледнел Иван, нервно плечи задержались, грудь ходуном заходила, забегали непроизвольно глаза...

Адашев очень не любил таких минут у Ивана. Уговаривать, спорить с юношей, хотя бы и для его собственной пользы, — это всегда оказывалось бесполезно. В отроче, словно демон какой, просыпался злобный, упорный дух противоречия. Только если удавалось незаметно навести его на известную мысль, вызвать известное желание, как будто бы оно самостоятельно зародилось в уме, в душе царя, — тогда он все исполнял, чего хотелось бы добрым советникам, Макарию, Адашеву, оберегавшим Ивана от полного одичания...

И сейчас Адашев ни звуком не отозвался на речи государя, измышляя, чем бы отвлечь в другую сторону его мрачные мысли. Такое настроение в Иване нередко завершалось припадками черной немочи, с четырех лет овладевшей ребенком.

Неожиданно за дверью опочивальни раздался тоненький, словно бабий, голос:

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!..

Это проговорил обычную входную молитву Юрий, младший брат царя, мальчик лет 14-ти, очень толстый, но приземистый, а по уму совсем недоразвитый ребенок.

— Аминь! — ответил на голос брата Иван, давая этим разрешение войти.

Адашев, обрадованный появлением царевича, подоспевшего вовремя, до земли ударил ему челом, едва отрок показался в опочивальне.

— Добр-здоров ли, брате милый! — ласково отвечая поклоном на глубокий поклон брата, заговорил первым царь. Одной рукой привлек поближе Юрия и поцеловал его.

— Как тебя, брата-осударя, Господь Бог хранит? — вторично кланяясь, пропищал Юрий, хорошо вышколенный дядьками в отношении дворцовых обычаев. — Ты жив-здоров был бы, а нам, холопам твоим, што деется? Челом бью на здорованье осударю моему, брату старшему!

И в третий раз склонился чуть не вдвое толстый мальчик, пыхтя и тяжело затем выпрямляясь.

— Ну, буде маяться. Раскачался, долу клонишься, словно верба плакучая... Повидать пришел али за делом за каким? — нетерпеливо заметил Иван.

Он заботливо, нежно относился к брату, жалея слабоумного. Но все-таки не очень выдавал эту самую любовь и жалость, чтобы «не распустился больно дура-Юра, боров жирный», — как звал он шутя брата.

— С челобитьишком, вестимо, осударь-братец... На ловы собираюсь, на полевые, на рыбные. Денек-то во какой... Светло, тепло. Дозволишь ли, осударь? С небольшой я челядью... Так, поблизу.

— Ловы? Ну, поезжай, — отвечал Иван. — С собой не беру тебя нынче. Нудно мне с тобою... Да и не пара мы на ловах... Сбирайся, с Богом. Дядьке скажи, да стремянным твоим, да ловильщикам, которые едут, что не позволил я забираться далеко от Москвы. Не дале Воробьевых.

— Попамятую, осударь! А еще просьбишка... Уж потешь братишку-то свою молодшего, — совсем по-детски, с умильным лицом затанул Юрий, видя, что брат ласков нынче.

— Выкладывай уж, да поскорейча. Видишь, готов, одет я. За дела пора приниматься за государские. Молиться тоже надо...

— Мигом скажу, братичек. Пустяковинки и загадываю. Зверка тебе из Царьграда, от патриарха, прислано... Таково ли забавен, шельмец: ровно люди, лапами все берет и жрет, а то за щеку прячет... Подари, осударь, пожалуй.

И снова поклонился.

— Это обезьянку мою новую облюбовал? Да к чему тебе? Мало, што ли, своих есть зверей потешных?

— Да уж больно забавна эта... аблизьянка-то. Я ее в красный кафтанчик наряжу. За столы брать стану. Спущу: она у гостей, у бояр бородатых, станет куски рвать из рук, за щеку прятать... А те ругаться начнут. То-то забава пойдет...

И Юрий засмеялся от души, так же пискливо хохоча, как и говорил.

— А, бери! — невольно улыбаясь, сказал Иван. — Да ну, не кланяйся, ступай со Христом! — торопливо остановил он ошастливленного брата, собиравшегося опять бить поклоны и высказать благодарность за желанный подарок.

Когда Юрий вышел из опочивальни, отвеся последний поклон, царь, оправляя кушак на богатом кафтане, который был подан и одет на него Адашевым, заметил:

— Шибко уж озорничать стал Юрка... И так-то он не больно умен, а с ловами его, гляди, и вовсе... Что ни как, а жаль семени царского.

— Истинно, осударь... Пора женить царевича. Молоденек, оно слова нет. Так кровь-то в нем не наша, холопья... Ваша, осударская кровь на все про все скорее зреет.

— Женить? Только и знаешь одно. Недаром тебя самого так рано окрутили. И товарищ ты мне плохой из-за женитьбы твоей глупой. Где бы удали дать разойтись, а тебя к жене тянет. Краснеешь, соромишься, ровно затворница, от слова лишнего, от молодецкой повадки вольной... Чтой-то батьке твоему приспичило так рано окрутить молодца?

— Отец ему духовный, Сильвестр-протопоп, порадел. Толковал вишь, осударь, што от Бога так положено! Мужеску полу без женска не быть... Так и жени, мол, скорее. Греху, соблазну будет меней...

— Ино, што и так... — раздумчиво отозвался Иван.

— Да ошшо толковал батько отцу моему, — гораздо живее и внушительнее прежнего подхватил Адашев, ви-

дя влияние своих речей, — ошшо баял: «Скорее парня оженить — раньше добра видать. Деток повыведет. Будет про кого стараться, трудиться, добро преумножать. Дом возвеличит, гляди, а не расточит. Хошь и не царское наследие у вас, что загодя надо готовить приемника, а все же гнездо»...

Серьезно выглядит сейчас Алексей. Голос звучит так властно, торжественно, словно врезаться желает в слух и в душу юного царя.

Тот совсем задумался на мгновение.

— Сильвестр? — протяжно произнес он затем. — Да откуль ты ево знаешь?

— Из наших он краев, новгородчанин...

— Вот и брат Владимир ево хвалил же... Сказывает: святой жизни старец... Да я и сам примечал: хороший он поп. Не шатун, не бражник... На иных не похож. Хошь бы Федорку взять Бармина, батьку духовного мово. Гм... Надоть ощупать попика. Може, и мне понадобится, ежели иным-прочим так угодил. А я не одних скоморохов, гудошников, лизоблюдов, чревоугодников жаловать умею. И добрых, изрядных людей круг себя видеть желал бы. Да штой-то мало таких! Што вот впереди будут? Поживем-повидим.

И замолк Иван.

Вдруг тишина в покое была прервана резким криком:

— Да приидет царствие Твое!

Это выкрикнул говорящий попугай, присланный в дар от того же патриарха константинопольского и читавший всю Господню молитву.

Улыбнулся Иван.

— Приидет... да не сразу, поди! — сказал он, подходя к клетке, чтобы приласкать умную птицу.

И вдруг, меняя вид и тон, обратился к Адашеву:

— А знаешь, не мало бы я дал, кабы привелось мне на свадьбе на твоей в дружках там али в сватах быть. Поглядеть бы, как ты там со своей молодкою первую песенку, зардевшись, пел!

И Иван несдержанно захохотал от воображаемой забавной картины. Щеки вспыхнули у него, глаза за сверкали.

Покраснел и Адашев, только иначе. Склонил он голову, потупил глаза.

— А слышь, сказывали мне: красива твоя женка.

Што, какова она? — не унимался властелин, словно забавляясь смущением слуги своего — человека, никогда ни перед кем не опускавшего глаз. Наоборот, когда все кругом видимо не выносили пытливого, тяжелого взора, каким пронизывал царь собеседников, — перед горящими темными глазами Адашева потуплялись нередко против воли большие, иссера-голубые, холодным блеском сверкающие глаза самого Ивана. — Как звать-то ее? — продолжал допытываться Иван. — Стройна, больно пригожа?

— Настасьей жену звать, осударь, — вдруг, овладев собой, поднимая голову, ответил спокойно Адашев. — Мне белого свету, всей жизни она милее. А там как сказать, красавица аль нет, не ведаю, того не знаю, осударь, и сказать не могу...

Твердо, задушевым, глубоким голосом проговорил свой ответ Адашев. Смело глядит в глаза отроку-повелителю, словно отыскать и вырвать из души у него хочет неясные, дурные помыслы, налетевшие на Ивана.

И сразу погас тревожный румянец щек, масленистый блеск глаз у отрока. Словно снова подменили его. Побледнело лицо, такое доброе, простое стало. Мягко заговорил он:

— Ладно. Кроешься... Боязно, штоб не отбили? А я вот и загляну к тебе нынче же. На гнездо на твое погляжу. Поучусь... Юру ранней меня, брательника старшего, женить невместно. Може, на твой уют глядя, и меня потянет? Тогда и «борова» мово окручу... Слышь, после стола первого к тебе заглянем. Полевань не сряжай, не надо. Только мотри: попросту принимай, без затей... Не царь у тебя в гостях будет, а так... парнишка молодой. Хочу я цареванье мое избыть, позабыть на малый час. Тяжко с ним, вот не хуже, чем с веригами этими кольчужными. Легки, защитливы да и наскучливы зело. По себе хочу быть хошь часочек. Без бояр, просто без челяди. И у тебя штоб про царя ничего не знали и не поминали. Слышь? Гостем быть хочу.

— Слышу, осударь. Разумею. Да и силы-достатку мово не хватило бы царя достойно встретить, владыку мово. А все же помилуй, не снимай головы у меня и у хозяйки моей. Дай ей хоша к простым гостям изготвиться. При тебе послать дозволь. Ну, так скажем: упрежу Настю, что гость из Новагорода нынче жалует. А то ведь...

— Ин так... Знаю, знаю. В грязь лицом ударить боишься. Медов твоих, яствий али прибору не видал я? То-то, поди, заваруху там подымут? Сундуки, укладки раскроют... Наряды, ковры, узорочье, серебро да золото... Што ни есть в печи, все на стол мечи. Ин будь по-твоему! При мне лишь спосылай. Не хочу обездолить тебя. Покажи, чем тебя родитель наградил. Моих еще мало даров у тебя. Не тужи, будут. А теперя лоб перекрестить да к казначею моему верному, к Володьке Головину, выглянуть пора. И то, слышь, давно он в соседней горнице сопит, толчется. И ошшо с ним кто-то...

— Осударь великий князь Володимир Андреевич, — подсказал Адашев, успевший выглянуть в соседнюю комнату.

Иван между тем, обернувшись к переднему углу, где был устроен небольшой киот с иконами в драгоценных, золотых окладах, залитых самоцветами, совершил краткую молитву, осеняя грудь, и лоб, и плечи широким, истовым крестом. Сотворив несколько земных поклонов, он достал нательный крест на гайтане, благословение еще отца покойного, с частицами святых мощей, приложился, опять осенил себя крестным знаменiem и быстрым своим, тяжелым шагом переступил порог невысокой, сводчатой двери, раскрытой рукой Адашева.

III

Хорошо начитанный по своему времени, пылкий по природе, мечтатель по душе, Иван IV далеко не доволен тем, что видит и слышит вокруг. Но до времени он таит свои думы, замыслы смелые... Редко с кем и толкует по душе. Разве что с добрым, умным митрополитом-стариком, с Макарием. Из юных сверстников самолюбивый, недоверчивый царь одному любимцу недавнему, скромному, богомольному Алексею Адашеву изредка только и поверяет кое-что. А больше все глядит вдаль из окон дворцовых да думает... О чем? Бог весть. И дворец красивый, белокаменный, недавно, почти перед смертью, отцом Ивана построенный, затихнул, стоит, словно помешать боится думам отрока.

Немного дней прошло, как затих дворец. Чуть только занялся сгоряча Иван делами царскими, начал доклады бояр, дьяков приказных принимать, реже стал он ночью и днем бесчинствовать, бражничать, скоморохов и дворню женскую собирать... Тут и дворец затих. Хотя не совсем. Нет-нет да подымется шум и гомон порою, словно метель заметет среди тихих, вешних дней, какие стоят на дворе.

Бубны загремят, домры зазвелят, песни разудалые, соромные так и польются, вместе с медами, с вином, с наливками крепкими. И льются всю ночь напролет, а то и двое-трое суток подряд. Богатырь не по летам, юноша и силы свои тратит богатырские нерасчетливо, без раздумья...

Стены дрожат, пол ходуном ходит. Воздух полон кликов и гомона. Сквозь окна во дворы, в сады дворцовые шум пиров вырывается. А если во дворцах летних, пригородных, в Воробьевском, в Коломенском веселье идет — леса соседние на раскаты смеха, на дикие пьяные вопли звонким эхом так и откликаются... Порою жалобный стон пререзает общую ноту веселого гомона. Устав просто веселиться и бесчинствовать, Иван затекает порой разные игры кровавые, жестокие.. Заставляет псарей своих или тяглых людей с медведями, с цепными псами медиоланскими на борьбу выступать: кто одолеет? И воют жалобно звери, падая с раскрытым черепом; стонут визгливо, как звери, жалкие люди, измятые, истерзанные когтями и зубами четвероногих противников. А юный Иван хохочет-заливается. Тешит его забава такая кровавая.

Да, не всегда тишина стоит во дворцах, в садах и на дворах у великого князя Московского и царя всея Руси.

Только в одной части дворца Кремлевского мир, тишина и покой царит ненарушимый — в теремах высоких, где княгиня Елена жила, а теперь поселилась бабка царя, княгиня Анна Глинских, чтобы дом царский совсем не сиротел, без хозяйки не стоял.

В самой глубине Кремля, позади лицевых построек дворцовых, затерян среди дворов и садов внутренних, стоит женский терем великокняжеский. К Куретным воротам¹ он подошел, но и от них стеной и частоко-

¹ Теперь — это Троицкие ворота.

лом огражден. Только одно широкое крыльцо сюда выходит, через которое в терема проникнуть можно. Крыльцо это в большую высокую Переднюю палату ведет. А от нее целый лабиринт сеней, крылечек и переходов крытых и полуоткрытых позволяет сообщаться с тем городком, который носит название Теремов царских. Большие срубы и здания с парадными палатами царицы и царевен, небольшие жилые избы, рабочие светлицы, аршин по 20—25 в длину, покои под крышей со светелками, повалуши, кухни, черные, людские жилья, амбары, подвалы, коровники, хлева и конюшни, и чего-чего тут нет. А в середине — большая палата, Крестовая, царицына. И церковь своя близко: во имя Великомученицы Екатерины. Рядом — Троицкое подворье, еще ближе — Патриарший двор. Собор Успенский — за стеною, на площади ближней. Кругом святыни: храмы, монастыри, подворья монастырские. И таким же монастырем стоит, обителью тихой выглядит теремной городок цариц московских, сиротеющий сейчас. Сюда не долетает соблазнительный шум веселых, бесчинных пиров царя, отклик охот и забав жестоких, за которые зачастую кровью и жизнью платятся холопы вместе с боярами.

До свету встают здесь, молятся, за работу садятся. Опять молятся, вкушают пищу в полдень, молча, степенно, словно справляют священнодействие. А монахиня-чтица, как и в заправском монастыре, тут же сидит в стороне от столов, из святых, назидательных книг читает, что на какой день приходится.

Тихо жизнь в теремах идет, словно в царстве каком замороженном, заколдованном. Разве только шепотом вести туда передаются застенные. Отголоски жизни кипучей сюда, как на дно моря глубокого, невнятно доходят. Так и лучи солнца, ярко озаряя гребни волн, зеленоватым, неверным, слабым отблеском разливаются внизу, под водою...

Мужской речи, мужского облика почти и не видно в теремах. Разве старики сюда допускаются или дети, ребята голоусые. Двигутся все здесь неслышно, степенно, опустивши глаза, отдают поклоны при встрече, и идет каждый дальше за своим делом.

На поварнях у скотных дворов теремных — пошумнее, голоса слышны, работа идет гулкая... В садах и на огородах — работницы порой песню стройно выводят,

но все-таки с опаской: не побранили бы за лишнее веселье!

Тихо, скучно в теремах царских жизнь идет-тянется... Правда, старуха-княгиня хозяйкой здесь теперь. Нездорова все она; Богу только молится, со своими двумя лекарями-иноземцами снадобья готовит, себя лечит, другим помогает, кто захворает из боярынь или из дворни близкой. Но будет и молодая царица у царя — немногим иначе пойдет жизнь в теремах золоченых государя Московского. Веками выработался здесь особый склад и лад. Светским, мирским монастырем выглядит терем. Так он и должен быть.

Ночь спускается, теплая, влажная, майская... Мужние жены из мастерских царских домов в слободку свою особую, Хамовную, так называемую, побрели... Там семья ждет, муж, дети... А живущие в теремах девушки сенные и мастерицы разные улеглись по клетушкам своим... Тихо светит месяц, озаряя высокие стены теремов, высокий частокол, ограждающий сад... Собаки где-то лают далеко, на пригородах... Петухи звонко, протяжно поют, полночь повешают...

Чу! Где-то в било ударили... В другом месте отозвались, подхватили... Переключка пошла: сторожа знать дают, что не спят. Старые все больше сторожа. Дремлют, гляди, а сами сквозь сон в било побрякивают... На стенах Кремлевских, которые неясными очертаниями темнеют в прозрачной голубоватой мгле внешней лунной ночи, — там тоже переключка пошла:

— Слу-ша-аа-ай... Тверь...

— Не дремай!.. Мос-кваааа!..

Но стены далеко. Не видно на них даже этих часовых-воинов. Голоса только, сильные мужские голоса будят тишь ночную...

Словно в сказочном сне стоят терема, тихие, темные, навеки замолкшие.

Чуть солнце блеснет, едва утро проглянет — жизнь закипает в теремах опять, но тихая, беззвучная, затанцованная жизнь, вся в труде и молитве.

А вокруг иная, бурливая жизнь кипит-разливается... Торг на площадях и на улицах в городе и по пригородам Московским, подковой обогнувшим надежный оплот свой, стены Кремлевские, высокие, до того широкие, что поверху можно телегой проехать. На Ивановской площади на Кремлевской — подьячие сделки вер-

шат разные. Челядь дворцовая, которую не пускают за господами в пределы дворца царского, станом стоит, потешается, бесчинствует, драки заводит порой... У Крестца попы бесприходные, наемные с людом разным, с паствой торгуются, на службы в церкви разные расходятся. Кони ржут и у Фроловских¹ ворот, где главный торг табунами ногайскими происходит. У Приказов — служилый люд, и дьяки, подьячие, и челобитчики, истцы и ответчики кучками чернеют. Зеваки сбегаются смотреть, как тут же преступников за плутни разные, за подлоги, за воровства, как тогда говорили, за бесчинства плетями и батогами стегают. А нередко у Лобного места иная кровавая расправа идет с злодеями земскими и государскими, предателями, убийцами, с колдунами и наговорщиками. Этих чаще всего колесуют, четвертуют или просто вешают и обезглавливают палачи в назидание и устрашение люду крещеному. А москвичи тесным кольцом обступают всегда место казни, и бабы с детьми тут же. Всем охота полюбоваться на такое сильное зрелище. Кто жалеет, кто ругает преступников... А среди голытьбы, которой немало в числе зевак, — там иные речи слышны... Озлобленные взоры сверкают... Кулаки сжимаются... Бормочут бледные уста, клятвы мести и возмездия за товарищей. Звучат глухие угрозы боярам-притеснителям, дьякам и подьячим, мшелоимцам, хабарникам... И самому Ивану много недоброго сулят. Ишь, за землей не смотрит, больше беспутством занят, чем делом своим великокняжеским.

А тут же, в этой оборванной, озлобленной, напряженной толпе, и обыщики государевы, послухи наемные, шныряют. Слова на лету подхватывают, лица бледные, исхудалые, истомленные запоминают. Злодеев в удобную минуту хватают, в приказы сыскные ведут.

Кипит жизнь сложная, земская; словно морские волны народ переливается. И все эти волны, как у подножия могучей скалы, у высоких новых стен Кремлевских и дворцовых замирают, разбиваются.

На семи холмах раскинулась Москва, в сердце земли русской, среди необозримых полей, лугов и лесов. А в середине Москвы — Кремль со дворцами высится. А в Кремле стоят укрытые терема царские, где семья

¹ Мясницкие теперь.

царская проживает, жены, дети царей Московских ютятся, где радости семейные, утехи душевные, царские живут. И надежды земли и государей здесь кроются. Терема эти высокие совсем от внешней, грязной, неприглядной жизни отошли, в стороне стоят. Только какой-то незримой, но могучей силой терема потаенные с внешним миром связаны. И незримые нити какие-то протянуты, сильные токи идут из души у затворниц-цариц, сидящих по теремам. И влияют они на царей, великих князей московских, влияют и на всю жизнь государства.

В свою очередь жизнь бурливая, внешняя потаенными ходами изгибами и извивами, как струя свежего воздуха в отверстие подземной тюрьмы, пробивается за высокие стены, проникает в окна расписные, в двери тяжелые, сукном околоченные, чрез которые только и можно пройти в покои женской половины дворца Московского, в терема царские.

Так бывает, когда женат царь Московский и всяя Руси, когда царит и правит в теремах златоверхих молодая государыня-царица.

А сейчас больная, дряхлая старуха, не матушка даже, бабка Ивана, властвует на женской половине дворцовой.

И кажется, что совсем замурованы от мира терема... Последняя струя свежего воздуха, кипучей жизни замерла в тяжелом, затхлом, стоячем воздухе теремных покоев, где пахнет так сильно травами, мазями лечебными да ладаном.

Особенно не по нутру эта мертвая тишина, этот застой могильный юному царю Ивану. Заходит, конечно, чуть не ежедневно он к бабке-княгине и «обсылается» с нею каждое утро. Боярин царский, из близких лиц, является к старице, чуть проснется она, от имени царя о здоровье пытается.

И боярыня ближняя, княгиня Анисья Великогагиных, степенно отдав поклон царскому посланцу, отвечает:

— Не больно бы ладно спала осударыня. Да теперь ништо. Хвала Господу. Как юный царь наш, солнышко красное? Добр-здоров ли живет?

Получив утвердительный ответ, боярыня шла и оповещала старуху...

Так каждый день ведется, если царь во дворце. А

если нет его, гонец приезжает, нарочно за тем же посланный... Помнит юный царь, что после мамки его, Аграфены Челядниной, — никто еще так не берег и не баловал по возможности заброшенного во дни опеки боярской малютку — царственного сироту, как эта кроткая, осторожная всегда старушка-бабушка... Особенно заботилась она о внуке, когда мятежные бояре в одну печальную ночь схватили и увезли в ссылку Аграфену Челяднину после того, как покончили с братом мамки царской, со всеильным раньше князем Иваном Овчиной-Телепнем-Оболенских.

Помнит все это Иван. Вот почему, против воли порой, пересилит себя, идет туда, в веющие затхлостью женские покои на половину бабки, и толкует о делах с ней; почтителен, ласков со старухой, словно бы и не он это, всегда суровый и надменный со всеми окружающими.

Особенно проявилась эта надменность с той страшной минуты, когда, по приказанию царя-отрока, псари царские зарезали, словно овцу, на одном из дворов боярина-первосоветника, князя Андрея Шуйского, больше всех угнетавшего в свое время Ивана.

Бояре, князья, весь двор словно ошеломлены были. А Иван сразу переродился. Оставил прежний робкий вид и детский тон.

Четырнадцатилетний отрок вдруг сразу почувал себя властелином над окружающими, царем и заставил всех почувствовать это очень сильно.

И только ради бабки-пестуны меняет свой норов теперь Иван. Посещает ее, но явно неохотно. Все это видят, кроме старухи. Та вечно одно толкует:

— Ишь, побледнел, извелся как, внучек-осударик ты мой! Чай, дела все, заботы царские! Да поможет тебе Пречистая Матерь Бога нашего!

— Дела, бабуся! Дела, милая... — целуя осторожно, словно мощи, дряхлую княгиню, отвечает Иван, простится наскоро и уйдет...

Все замечается во дворце царском. И неохотные заходы царя в терем женский давно замечены, как и каждое движение, каждый взгляд государя.

Покачал своей седою, умной головой митрополит Макарий, когда Адашев при Сильвестре, протопопе Благовещенском, первом друге святителя, стал говорить:

— Нет гнезда, нет семьи у царя нашего юного. Оттого, може, столько и дурости творится отроком... А будь оно по-иному?..

И не договорил молодой спальник царский, недавно лишь, при посредстве Макария, попавший в приближение и в милость к Ивану.

Немногим и старше Адашев повелителя: 20 лет всего красавцу Алексею. Смуглолицый, сухощавый, но, очевидно, сильный, мускулистый станом, он уж третий год как женат на Анастасии Сатиной, роду старинных Козельских князей, чуть не Рюриковичей. Только то колено, от которого жена Адашева идет, потеряло во дни какой-то старой опалы свое княжеское имя и звание... А все же старинный, почетный их род... Адашев незнатен. Скорей торгового роду, чем боярского. Но отец его, Федор, потомок итальянских выходцев, проживавших многие годы в Суроже, часто толковал:

— Предки мои были из тех торговых людей, владычных купцов, какие и флорентийским престолом владели и в венецианских дворцах на тронах сживали.

Так люди и почитали Адашевых. Особенно Макарий, митрополит, ценил Федора. Правой рукой своей его называл. Сына его старшего, Алексея, по дружбе сперва приблизил. А потом за ум, за способности, за чистую душу как родного полюбил...

Третий с ними Сильвестр-протопоп всегда. Выезжая из Новгорода, желая не одиноким быть на Москве, Макарий, недавно избранный на престол митрополиций, потянул за собой и Сильвестра, друга и приятеля своего старого. Если не умом блестящим, так примером чистой жизни, преданностью Макарию мил этот священник новому первосвятителю всея Руси. Высокий сан, поставивший кроткого, умного, образованного Макария чуть ли не наряду с самим Иваном-царем, конечно, приносил за собою много силы и почести. Но немало было завистников и врагов у каждого, кто бы ни забрался на высокое седалище первосвятителя московского.

— Враги подкопы поведут... Мне далеко будет из

покоев моих митрополичьих углядетъ за всеми, брат протопоп... Так ты уж подсобишь мне... упредишь, коли-ежели сведаешь что сам или чрез подружий своих...

Так говорил Макарий Сильвестру, когда звал за собой на Москву, для чего зажиточному, хозяйственному Сильвестру надо было целый обширный двор подымать — перевозить в Москву из Нижнего.

Но Сильвестр снялся и перевез. Недаром они с владыкой такие приятели давнишние. Дружба ведь по делам, не по речам верстается...

Вот отчего сейчас все трое сидят они в «казенке» у Макария, о царе юном по душе толкуют, без опасений, без осторожности вечной, с которой каждое слово следует говорить про царя вблизи дворцовых стен, таких чутких, таких сторожких, словно не из камней — из ушей людских они сложены...

Качает умной седой головой Макарий и говорит Адашеву:

— Пождем, поглядим... К тебе царь когда не соби-рался ли?

— Обещал побывать на днях. И под Коломной сказывал... И тут говорил... Про жену мою допрашивал. Видеть ее хочет.

Вспыхнул Адашев. Сказал бы еще что-то, да не решается.

— Не печалуйся, сын мой! — зорко поглядев в открытое лицо Алексея, убедительно заговорил Макарий, — кроме добра, ничего худа не будет. Только так все подлаживай, как мы толковали с тобой. А там — воля Божья...

— Постараюсь, отче-владыко! — тихо отозвался Адашев. — Не ведаю, слажу ль я...

— Все сладится по воле Божьей. Знаешь, видал уж не единова: все, почитай, так и выходило, как мы с тобой мерекали? А?..

— Да, кабыть што и тако...

— Ну, то-то ж. Так сам о дурном не думай — дурного не станется. Сам чистое в голове, в душе держи. С этими помыслами могучими, чистыми, прямо в глаза тому гляди, кого опасешься. И руки упадут у него... Все замыслы его черные, как тучи ветром, развеются... В миг единый человек словно иной на свет народится. Может, на пагубу чужую соби-рался, а тут себя не по-жалееет, чтобы врагу помочь... Верь мне... И себе в те

часы верь, когда душу умягчить, просветить взором своим хочешь. Да уж не раз тебе и толковано! Глаз у тебя такой, что можешь ты волю всякого человека подневолить себе. Так никого не бойся! И тебя пусть не страшится, а любит тот самый человек, кого ты покорить душой сбираешься! Веришь ли, чадо, что можешь творить тако по слову моему?

— Верю, отче-господине! — негромко ответил Адашев. — Верю воистину... Я вить уж так не единова и налаживал... Глазам, себе не верилось даже: вдруг гнев его на милость сменялся... Ровно кто ветром срывал с души у него тучу грозую.

— Да штой-то вы? Про когой-то вы? Про царенка? Не пойму, в толк не возьму! — с легкой досадой вмешался Сильвестр, видя, что разговор принял какой-то загадочный оттенок.

— Про царя, друже, про него самого... Толкуем с Алешей. Видает он ежеден осударя. Так што бы молился покрепче, когда тот гневаться задумает али что непогожее деять учнет. Алеша толкует, что пробовал молитвы читать. И помогает...

— Ну, вестимо: молитва — она всему помогает! — важно произнес протопоп, не замечая легкой дружеской снисходительности, с какою Макарий всегда обращался к своему преданному, но не очень глубокомысленному приятелю.

Затем на иные дела, на обиходные, речь перешла.

V

Обеды отошли во дворце. Обычно спят москвичи после обеда, и старые и молодые. Но Иван вообще-то мало спит. А днем — и совсем редко. Разве если ляжет на заре, после ночи угарной...

С полчаса передохнул царь после трапезы, нелюдной и скромной на этот раз. Кроме двоюродного брата царского, князя Владимира Андреевича Старицкого, красавца юноши, тремя-четырьмя годами старше царя, за столом сидели двое дядьев царских по матери: Михайло да Юрий Васильевичи Глинские. Ели-пили застольники усердно, кроме самого Ивана. Он, очевидно, волновался, ждал чего-то, хотя и сам не отдавал себе ясного в этом отчета.

Побалагурили немного после стола. Иван поднялся, простился с гостями и, оставшись один с Адашевым, спросил:

- Кони готовы ли?
- У крыльца, осударь.
- Так едем...

Звонко стучат копытами по бревенчатой настилке бесконечных дворцовых проездов два чудесных аргамака, оседланных не по-царски, но все-таки богато, для Ивана и Адашева.

У спальника — свой конь, чудный арабский жеребец, не уступающий и царскому. Выписал для сына дорогого коня старик Адашев при помощи друзей своих, купцов восточных. Двух купил. Одного спальник царю подарил. На другом сам ездит... Этим подарком тоже немало расположил к себе Алексей повелителя. Едут оба по затихнувшим дворцовым пределам... Все почти спит теперь, до псов хортов на псарне и на поварне царской. Высоко солнышко забралось майское, вешнее, жаркое. Поди, уж и под гору скоро катиться начнет. Самая пора для отдыха всему живущему. Воробьи и те как-то сонно в пыли щебечут-возятся. Голуби вяло воркуют.

И молча едут оба спутника. Не то чтобы разморило их тоже. Но оба в думы свои погружены. Иван Бог весть о чем мечтает, солнышком разогретый, воздухом вешним, ласковым обвеянный... А Адашев?... Тот глубокую думу думает. Ссора, гляди, с царем, опала, бегство, быть может, нищета предстоит, если загорятся злые страсти в отроке, а он, Адашев, не пожелает, подобно остальным холопским душам, жену на государственную потеху отдавать.

Если же повезет, если все так сбудется, как Макарий чаёт? Высоко теперь Алексей стоит. А тогда, пожалуй, так взлетит, что оком не докинешь.

Не жажда честолюбия говорит в душе Алексея. Любит он царство Московское, новую родину его и всей семьи Адашевской. Жаль ему темного простого люда русского. Много горя терпят здесь те, кто послабее... Вот таким и можно будет помочь, если... если царем по имени будет безудержный отрок Иван, а править Иваном и землею всей он, Алексей Адашев, станет... конечно, не без участия Макария, этого доброго, прозорливого старца-первосвященника.

Вот уже оба всадника миновали задние ворота дворцовые, что выходят на пустынную площадь у Куретных ворот Кремлевских. Час такой, что кишашее обычно людьми широкое пространство перед воротами в этот миг почти безлюдно. Стихла суета даже в лавчонках и пристроечках, которые, словно гнезда ласточек, прилепились вдоль всего Каменного моста, перекинутого от Куретных ворот через Неглинку для сообщения с посадами. Даже здесь, на этом торговом шляху, по виду совсем сходным с знаменитым Флорентинским мостом, сохранившимся до позднейших веков, — и здесь полдневная истома всех одолела. Торговцы, склонясь над прилавками, дремлют. Ремесленники, тут же в конурах работающие, поели и прямо протянулись на отдыхе где попало, всему миру напоказ...

Справа у всадников осталось обширное, богатое Троицкое подворье... Основанное еще, как гласит предание, при Святом Сергии, много претерпело оно изменений за 200 лет. Теперь монастырский угол этот полон церковей богатых, строений жилых и обиходных разных. Здесь же царь Василий, вопреки обычаю, крестил царевича Юрия, отдавая его под покров святителя Сергия. Монастырской братией, проживающей на подворье, правит особый игумен.

Молятся на кресты церковей Иван и Адашев. Отвечают кивками на поклоны редким встречным людям. Не узнает никто царя в безусом, тяжеловесном юноше, который так надменно сидит на высоком седле, небрежно поводя удилами и заставляя плясать горячего коня от нажима острогранной узды — мундштука того времени... Царь всегда появляется перед народом в полужреческом наряде, в золотой парче, сверкая камнями самоцветными, залитый жемчугами, осененный шапкой — венцом царским, наследием Мономахов. Не то — в уборе сверкающем воинском видят москвичи порою царя. Кто теперь признает его? Голоусый парень верхом скачет, княжич или боярский сын... Одного знают в этом углу: Адашев, спальник осударев. У другого лицо тоже знакомо всем. Да разве сообразишь сразу? Без челяди едут... Словно дворяне какие беспоместные. И ломает шапки народ. Но больше перед Адашевым, чем перед его спутником. Это даже стало тешить Ивана.

— А, как сдается тебе, Олеша? — спрашивает

он. — Крикнуть бы мне: «В землю лбами, смерды! Царя не признаете державного?». Опешат, поди? Перепугаются?

— Так ли, осударь? Сдается: не поверуют нам. Нешто когда цари Московские, хотя бы еще и не венчанные, так, в одиночку, по площади, по проулкам езжи-вали ль?..

— Венчанные, невенчанные — все едино... Твоя правда: им, гляди, не случалось... А я, когда и увенчаюсь, своей повадки не оставлю. Особливо если врагов поизбудусь. Люблю простецов. Любо мне меж них быть, чтобы людей видеть, а не спины рабские, когда все ниц перед царем падают. А тут ошшо — вокруг меня бояр десятки. Воинов ряды. Попы сотнями. И только издали толпы народные темнеют... Так вот мне боле до души. Царь я народу, не бог земной. Хочу народ свой видеть...

Снова умолкли оба.

Миновали Симоновское подворье, церковь Входа-Иерусалимскую. По ту сторону широкой площади за-пестрели у высокой Кремлевской стены хоромы го-дуновские, чуть не на полверсты протянулись... До самой башни до угловой. А пораньше их, притулясь к дво-ебашенным Ризположенским воротам, раскинулся и не-большой, но усадьбистый двор Алексея Адашева. Раньше он с отцом за стеной, у Никольских ворот, про-живал. Но, заняв должность спальника, ближнего чело-века государева, был допущен в черту Кремлевских стен, где и откупил себе уголок как раз через дорогу от под-земных тюрем, от мешков каменных... Многие старым владельцем налажено было в усадьбе: сад тенистый, хоть и небольшой, с прудком, с беседками, и огоро-дик. Кой-какие избы и жилые покои тоже пригодились. Остальное разнес, новое жилье построил Адашев и зажил домовито.

Челядинец, задремавший на скамье у ворот двора адашевского, прокинулся от топота конского, узнал хозяина, кинулся ворота растворять.

— В терему ли хозяйка али по домашнему где? — спросил Адашев дворецкого, очевидно бывшего начеку и спешившего навстречу хозяину с гостем.

— В добрый час, добро пожаловать! — земно кла-няясь, ответил приветствием на вопрос сметливый, плу-товатый домочадец, желая и честь высокому гостю воз-

дать, и не показаться нескромным, если выдаст, что узнал он царя...

— Осударыня-матушка Анастасия Ивановна с гостями, боярынями и боярышнями, в сад прошли-изволили. Покликать не будет ли приказу? А у нас в столовой палате все поизготовлено...

— Гости? Боярыни? Боярышни? — живо вмешался Иван. — Вот любо. Пройдем в сад. Не зови никого...

Адашев дал знак — и дворецкий, вместе с двумя челядинцами, принимавшими коней, с глаз словно сгинули.

— Как тебе приказывать угодно, осу... то бишь гостенька дорогой. Ты здесь хозяин. Мы все — холопы твои. Вот калитка садовая...

И хозяин указал налево от дома, на калитку в дощатом заборе, которым двор отделялся от тенистого сада. По улице все владение было обнесено высоким частоколом, подбегавшим к самой стене Кремлевской.

— Слышь! — у самой калитки, понижая голос, заговорил Иван. — Манилось бы мне крадком подобраться к бабьей стае. Не знали бы оне, что молодцы тут. Как на воле поводят себя? О чем толкуют? По душе, без притворства, не расписанные сурьмой да белилами. Поди на выход такой, на суседский, не пишут лица себе? Удружи! Подкрадемся, Олеша!

— Твоя воля, осударь... Попытаем счастья! — шепнул хозяин.

VI

Адашев не побоялся последствий этой прихоти царя, так как жена была уведомлена задолго, *какой* гость неожиданный к ним собирается.

Посылка с вестью о новгородском приятеле была условным знаком. Умная баба знала уж, кого созвать и что готовить, когда муж из дворца о гостях повестит...

Свернули и гость и хозяин с аллеи, березками, яблоньками да кустистым крыжовником усаженной, в сторону оба кинулись, зарослью садовой пробираются, стараясь ступать полегче.

— У малинника все, поди... Прудок там и беседка. Место прохладное, жены любимое! — шепчет хозяин.

Правда, через две-три минуты, обогнув лужайку, сиренью и черемухой обсаженную, оба очутились за живой зеленой изгородью, сквозь которую видна была на небольшом насыпном холме беседка, полуоткрытая, увитая светло-зеленым молодым хмелем. И по высокой стене Кремлевской, сквозившей в просветы соседних кустов, плети хмеля взбирались. За холмом сверкал прудок небольшой, загорааясь под солнечными лучами. Лужайка зеленая огибала и холм с беседкой, и пруд с полоскавшимися в нем яркоперыми заморскими утками. Пара лебедей тут же белела в траве, словно две груды пушистого снега живого, нetaющего...

В беседке, на скамьях, укрытых полавочниками суконными и коврами, перед столом, заставленным сладостями всякими, сидели гости — девицы, замужние... И среди них — Настасья Адашева, добрая, ласковая на вид, восемнадцатилетняя женщина-красавица. Волосы цвета спелой пшеницы прятались под волосником и кикой, без которой не ходят замужние бабы. Лицо, белое, оживленное легким румянцем, озарялось ясными серыми глазами навывкате. Порой зрачки этих глаз расширялись непомерно, и тогда глаза казались черными. Была Адашева только в двух сорочках: нижней белой и верхней цветной, шелковой, заменявшей тогда платье женщинам. А поверх был накинут легкий летник, тоже шелковый, тканый, узорчатый... Гости были тяжелее одеты, особенно замужние: в парчовых опашнях, иные — в сложных головных уборах, унизанных драгоценностями. Девушки тоже были в летниках. На головах красовались повязки девичьи, с поднизями жемчужными, украшенные переперами — чеканными и самоцветными украшениями, которые трепетали на ножках из витой серебряной проволоки... Волосы у девушек были неприкрыты. Косы у них тяжелыми змеями спускались от затылка и на концах, у стана, заканчивались треугольными косниками, тоже золотыми, серебряными, украшенными самоцветами. Пышные кисейные, расшитые рукава нижней сорочки — рукава длиною по 8—10 аршин, сдержанные у запястья узкой застежкой, сбегались в тысячу сборочек на всей руке, очевидно сысподу чем-нибудь подхваченные, чтобы не свешивались через кисти рук, а вздымались волной белоснежных мелких складок.

Эти рукава были вместе с рукой пропущены в про-

резы второй, «красной» сорочки, то есть платья. А рукава этого платья висели от плеча, как рукава у польских кунтушей.

Кроме двух-трех замужних тут сидело пять девушек. Два подростка, лет 10—11, очевидно младшие сестры, приведенные старшими, бегали по лужайке, гонялись за утками, пугали лебедей и сами пугались, когда те неожиданно взмахивали широкими крыльями, переходя с места на место.

Замужние женщины, по обычаю, были безобразно набелены, нарумянены, совсем как куклы базарные. Брови, замазанные слоем белил, были наново искусственно выведены черной и коричневой краской. Колесом темнели брови. Под глазами — тоже подрисовано... Живые куклы.

Резко выделялся при этом натуральный цвет лица хозяйки и девушек, сидевших ненакрашенными. Адашева и вообще редко размалевывала себя. Разве если знала, что придется к гостям-боярам выходить. В этих случаях считалось просто неприличным показываться со своим лицом. Девушки, прежние подруги Анастасии, шедшие к ней запросто, тоже не накрались, как это обычно водится...

Царь так и впился глазами в молодые, красивые лица девичьи.

Заметил это Адашев, зорко наблюдавший за спутником, и даже вздохнул свободнее. На краю стола, тычась носом, сидит и старуха одна, дряхлая, морщинистая, но не хуже остальных расписанная. Поела, попила и дремлет, утомленная жарою. А молодые, избавленные от докучного надзора и от старческого брюзжания, рады-радешеньки. Смеются, шутят, стрекочут. О пустых вещах, сдается, щебечут, а сами так и заалеют или вдруг бледностью переключаются, словно бы совсем не о том и думают, о чем уста их говорят...

— Слышь, Настя, гостя, толкуешь ты, приведет нынче твой-то? — спрашивает полная, рыхлая, несмотря на молодость, Алена, жена Тарха, старшего сына протопопа Сильвестра. — А кто таков? Не знаешь ли?..

Ясно доносится каждое слово к царю. Он переглянулся насмешливо с Адашевым, опять слушает.

— Не повестил меня сам-то! — отвечает хозяйка. — Только и сказано: из Новагорода... Може, сродник али так, из былых дружков какой...

— Холостой? Женатый ли? И того не чуть? — живо спросила небольшого роста, задорная и смешливая Оля Туренина, прежняя соседка по двору Адашевых.

— Не, и того не чуть... А ты не замуж ли собираешься?..

— Куды мне! Знаешь: уже и рукобיתье было... Пропил меня осударь-батюшка. Последние денечки с моей черной косой дохаживаю. Снимут скоро головушку, отымут волю девичью. Шлык-колпак напялят, как и на вас вот, не лучше.

— Чего же забегалась: холост? женат?

— Так пытаю. Поди, угощать гостя позовут. И мы бы вышли... целовать — то ваше дело... А мы бы, красивые девицы, хошь подозрели на добра молодца.

— Поди ты, хохотушка! А еще невеста. Не грех такое болтать?

— На языке греха нетути. Жених-то мой вдовый. Не молодой и не скорый. Ни на што не гожий! Дьяк из приказа разбойного... Вот кто он. Только што с матушкой, с батюшкой не рука воевать... О-ох... А, другое дело: вон сестра у меня, Оринка, налегке ошшо. 16 лет, а жениха не видно.

— Брось... О себе думай! — досадливо отозвалась сестра хохотушки, тоже миловидная русоволосая девушка.

— Ты што ж молчишь? Слова не скажешь, — обратилась Адашева к одной из подруг, погруженной в глубокую задумчивость.

Как раз в эту минуту и царь из своей засады обратил на нее внимание. Смугловато-бледное, с матовой, нежной кожей лицо девушки не поражало на первый взгляд своей красотой. Только глаза, миндалевидные, большие, темные, но не сверкающие, а словно бархатные, излучали какой-то особенный свет. Если раз взглянуть в них, так невольно тянуло глядеть еще и еще, как в бездну опасную, под ногами раскрытую. Но не опасностью грозили глаза, нет. Скорбное что-то чудилось в них, словно это были глаза прозорливого ангела, видящего скорбь людскую и вечно тоскующего за этих людей... Так, по крайней мере, показалось Ивану.

В тонких пальчиках белой, нервной руки девушка держала наконик своей пышной светло-русой косы и в раздумье покачивала им. Пряди пышных волнистых

кудрей, выбиваясь из-под повязки, составляли красивый контраст с темными глазами девушки.

— Ньюша, ай оглохла! — громко позвала Адашева.

— Нет, милая Настюша... О чем ты? Я слышу! — глубоким, грудным голосом отозвалась Анна Романовна Захарьина, роду Кошкиных, подруга хозяйки еще из Новгорода, где жил ее отец на воеводстве.

— О чем? О женихах толкуем, слышишь... тебе не охота ли?

Анна потупилась только и слабо отмахнулась рукою.

— Ей простого не надо. Ей — королевича! — пошутила Арина Туренина.

— Куды! Гни выше. Сама ведь — государыня-царевна... Ей из земель неведомых самово царя самоглавного подавай... Меньше не берет...

— Царевна? Што это значит? — не то звуком, не то движением спросил Иван у Адашева.

Тот зашептал:

— Пожди... Постоим послушаем уж, коли стоим... Я все скажу. Потерпи, осударь...

— Кто она? — зашептал Иван, очевидно, на этот раз соглашаясь послушаться своего спальника.

— Анна... — начал было Адашев...

Но тут произошло нечто совсем неожиданное.

Две девочки, резвясь по лужайке, прятались друг от дружки за кустами. И в эту самую минуту одна из них влетела туда, где стояли оба соглядатая. Мгновенно с пронзительным визгом кинулась перепуганная шалунья к беседке, восклицая:

— Парни... Разбойники там... Ай! Парни за кустами!

Все вскочили, всполошились. Поднялась и старуха, протирая глаза и ничего не разбирая спросонок.

Анна Захарьина, стоя на пороге, прижала к себе перепуганных девочек и старалась успокоить их. Адашева, догадываясь, в чем дело, пошла навстречу гостю и мужу, который приближался, громко возглашая:

— Простите, гости дорогие, что всполошил ненароком. Я сам, хозяин дому, пошел прямо садом по следам гостей желанных. Да еще гостя веду... Уж не взыщите: приезжий человек. Не томашитесь. Не осудит!

Все женское гнездо, так и заматававшееся при визге девчонки, снова стало успокаиваться, замужние задер-

нули лица фатой. Девушки в кучу сбились, стояли, рдели, рукавами прикрывались. После обмена поклонами сели все. Анна Захарьина, растерявшаяся меньше всех, держалась спокойнее и проще других. И даже решилась не украдкой, как подруги, а прямо взглянуть на незнакомца, так неожиданно попавшего в их среду. Глаза их встретились, и девушка почему-то невольно вздрогнула. Вздрогнул против воли и царь.

Адашев между тем обратился к жене:

— Вот, жена, прймай гостя дорогого, приятеля моего давнего. Князь Иван, сын Васильевич, роду князей Белоозерских, осчастливил домишко наш, честь оказал, припожаловал... Угощай, женка. Што получше есть — все выкладывай. Сама обноси, о чарке проси!..

В пояс поклонившись гостю, потом мужу, Адашева отвечала:

— Твоя раба. Гость желанный — велика радость в дому!.. Ничего не пожалею, не осудил бы только нашего убожества да за проволочку не гневался бы. Не ждали такой Божьей милости... Все сейчас в дому изготовить велю.

— Зачем в дому, хозяин ласковый? — вмешался Иван. — Здесь бы куда как хорошо. Ежели вам, хозяевам, не в отягощенье.

— За радость сочтем угодить гостю, — в один голос слились и муж и жена.

И быстро скрылась хозяйка, чтобы сделать все распоряжения.

— А еще у меня просьбишка будет, уж не обессудь, хозяин! — не вытерпев, после небольшого молчания заговорил Иван. — Не посетуйте, осударыни. И вы, девицы-красавицы. Подходили мы с хозяином неторопко, на вас залюбовались издали и слова речи последние слышали краешком уха этак... За што-прошто тебя, красавица... как звать-величать — не ведаю, уж не взыщи.

— Анной, по отцу — Романовой, роду Кошкиных, Захарьиных, — подымаясь с места, ответила девушка. И снова села.

— Вот, вот оно што?! Славного роду. Почетного... Много про всех слышал, и того и другого случалось. А про Захарьиных род одна добрая слава идет в народ! По роду и девице честь. Оттого, поди, и царевной-королевной позывали тебя подруженьки. Оттого ты и...

— Нет, вовсе не оттого! — бойко заговорила Ольга Туренина. — Прорицанье было Анночке. Оттого вот...

— Прорицанье? А знать не можно ль какое? Кто произрек? Когда? Челом бью: нам не скажешь ли, Анна Романовна? Лиха не будет оттого!

— Скажи, боярышня! Приятель мой — добрый человек, не зазорный, — поддержал просьбу гостя хозяин.

— Што ж, сказать можно... Тут ни греха, ни тайности нет никакой, — спокойно и скромно заговорила Анна. — Только, вестимо, я по-своему разумею. А подружки по-своему. Мне старец блаженный про Небесное Царство прорицал, про жениха — Царя Небесного, Спаса нашего Многомилостивого. А он на земное. Старец провидел, что в келью у меня душа просится...

— В келью? Тебе?.. — пылко начал было Иван, но сдержался, умолк.

Затем снова спросил уже обычным тоном:

— Что же тебе сказано? Кем? Все поведай... А мы разберем...

Анна уже готовилась заговорить. Но старуха-барыня, княгиня Троекурова, пришедшая в гости к Адашевой с дочкой и теперь только очнувшаяся совсем от своей дремоты, вдруг засуетилась, завертелась на месте, зашамкала торопливо своим беззубым ртом, скрипучим, дрожащим голосом:

— Стойте... Подождите... Девушки!.. Ахти мне!.. Да ослепли вы, што ли?.. Царь вить энто... Сам царь-осударь!

Да так и распласталась перед Иваном, которого нередко видала у бабки его и потому узнала теперь.

Все гости вскочили, сбились в одну кучу и застыли, еще более напуганные сейчас, чем раньше вестью о парнях-разбойниках... Кто не знал на Москве, каков с девицами был юный царь...

Наконец опомнились, отвесили поклон земной, застыли на местах. И новым, странным взором глядели все эти юные создания на красавца царя, на гостя неожиданного, кидая взгляды украдкой из-под опущенных долу ресниц...

Смутилась и Анна. Но не так, как другие. Какой-то ужас священный, предчувствие чего-то большого, неотразимого холодом сдавило ей грудь, змеей проползло по плечам. И странно, но Иван тоже вдруг почувствовал, что его сейчас нечто важное ждет.

— Што же? Видно, рожна в калите не укроешь! — с улыбкой начал Иван, желая сломить лед, вдруг оковавший все кругом. — Хоша и царь я, а все же человек. Не бука из бучила. Бояться меня нечего... Вижу я, Анюта, ты меней подружек твоих от меня отпятилась. Так и я на своем постою. Сделай милость: поведай про твое прорицание. Охоч я до всяких делов таких.

— Изволь, осударь! — звенящим, рвущимся, не своим голосом заговорила Анна, стараясь концом языка увлажнить внезапно пересохшие от волнения губы. — Поведая, как все было оно... Вдовая моя матушка... четвертый год честно вдовееет.

— Ведаю, ведаю. Любил и знал я отца твоего. Не помри он — и мы бы, поди, ранней повстречались с тобою. Далей...

— Добра к странным, к блаженным, к сирым людям моя матушка. Хоша и не велики достатки у нас. На Москве уж мы жили, после воеводства батюшкиного. Из Нова-города переехавши. И прибыл в град твой стольный, осударь, преподобный старец Геннадий.

— Из пустыни Любимоградской? Костромской он? Знаю, знаю.

— Тот самый, осударь. С двумя учениками пожаловал. Наш убогой двор посетил. Матушка с братанами с обоими насустречь выбежала. Благословил их старец... А там матушка и бает: «Дочка-сиротинка у меня, не благословишь ли?». Соизволил... Слышу: сам ко мне в светелку подымается. Вериги, слышу, побрякивают. Посох по ступеням цокает. Вошел. Уж не помню, как я в ноги ему кинулась... Руки целую. Молитвы прошу. Чтобы и за меня, и за всех молился, кому тяжело. А он и цыкает: «Тебе-то што же, девонька? Какое горе? Родителя потеряла — так у тебя Иной Родитель жив на веки вечные: Отец наш Небесный... Он и отца твоего земного успокоил по многих трудах. Так ты не печалуйся. Покой несет могилушка. Мать сыра земля слаще жены, милей детушек. Сила в ей, ласка в ей. Могила в ей. И ты, и все мы там уляжемся. Так не тоскуй...» — говорит.

Что дальше, то больше оживлялась Анна, словно опять переживала событие, о котором рассказывать ей пришлось.

Иван так и не сводил с нее глаз, ничего не замечая вокруг.

— А я ему на ответ, — передохнув немного, продолжала девушка теперь уже громко, почти спокойно, — я и говорю: «Не мертвых, живых жалко. По них болезнью. Жизнь не больно красна земная. В монастырь, чаю, лучше: горя, обиды, слез менее...» — «Нет, — говорит старец, — и тамо всякого жита по лопате нагребешь. И в миру спастися можно, ежели душа у тебя спасенная. А у тебя она, и-и! — совсем она спасенная. Слушай же, дочь моя, слово мое. Не я глаголю, Дух Божий глаголет во мне! Благого корени благая отрасль и лоза плодовая! Возлагаю руки мои на главу твою, призываю на тя Божие благоволение. И будеши ты по времени всем нам оспожа. Яко царица благоверная над миром надо всем!»

Произнося последние слова, Анна выпрямилась во весь рост, словно взаправду нездешняя сила какая-то заговорила в ней¹.

Полная тишина воцарилась в беседке и кругом. У входа — виднелась толпа челяди. С подносами, уставленными снедью разной, с ендавами, кувшинами и сулеями стояли все. Хозяйка, одетая в свой лучший убор, виднелась впереди, тоже с чаркой и стопкой на подносе. Но и она с другими замерла, ожидая конца чудесного рассказа боярышни.

— Аминь! — громко вдруг вырвалось у Ивана. — Спасибо тебе, Анна Романовна, за повесть твою дивную, за благость, нам открытую. Но гляди: хозяйка стоит-дожидается. Никак поить меня хотят. Так уж пусть сама ранней откушает, целовать себя велит. А уж тогда. Подозволь, хозяин ласковый?

— Мне ли позволить? Рабы мы, осударь, твои самые низкие. Осчастливы! Святым обычаем хозяйку мою целуй, чару пригубь. Освети хижину рабскую.

Медленно взошла Адашева на низенькую, широкую скамью, которую принес и держал наготове челядинец.

Иван подошел, поклонился ей, касаясь самого помоста, цветным сукном перекрытого. Хозяйка ответила гостю-царю поясным поклоном, отпила из чарки, которую держала на подносе, и с новым поклоном подала ее царю. Тот ступил на помост, трижды, со щеки на щеку, облобызался с Адашевой, выпил чарку, снял с

¹ См. «Житие Геннадия, Костромского и Любимоградского Чудотворца».

руки перстень с рубином и опустил в кубок. Третий поклон хозяйки — и она сошла с помоста. Муж после царя не стал уж целовать ее, как бы оно в ином случае следовало.

— Што же, может, и другие гости дорогие твои царя угостить желают? По ряду уж следует... Штобы обиды никому не было. Не то, гляди, Анна, мирская печальница, осудит, скажет: гордения-де царь...

Вспыхнула девушка, молчит. От смущения бархатные глаза даже слезами заволокло. А они от этого еще лучше стали.

Взобралась на помост старуха Троекурова. Все опять повторилось... Так и пошло: замужние сперва, девушки потом — все Ивана угощали. Всех одарил он. И так вышло, что Анна последней встала на помост. Бледнее смерти стоит. Глаза как звезды светятся. Так и колышет от волнения бедную.

Уж Оля Туренина сзади совсем близко подобралась, чтобы поддержать подружку, если сомлеет та. А этого ожидать можно.

Медленно подошел Иван, не спуская глаз с девушки, сиявшей неземной красотой в этот миг. Медленно склонился высоким станом и дважды приник губами к щекам Анны. А в третье не стерпел: быстро, словно ужалил, прямо в розовые губки так и поцеловал. Охнула слабо девушка, покачнулась, но устояла. Только не сама уж сошла с помоста — подружки сойти помогли.

— Нездоровится, видно, девушке. Прости, осударь! — решилась заговорить Адашева. — Можно ли увести подружку?

— Пусть пойдет. Пусть отдохнет-поправляется. А матушке мое здраванье передай, гляди не забудь, Анна Романовна. Я еще, и сама ведаешь, поди, перед батюшкой твоим, пред Никитушкой, в долгах. Кабы не он, не догадка его — не уйти бы мне под Коломной от пищальников оголтелых, от мятежных новгородцев, когда они на жизнь мою умыслили. Сам ин заеду, матушке вашей за сыновей челом ударю, за верных мне слуг и пособников. Иди с Богом, боярышня!

И снова отдал поклон юный царь уходящей, сразу очаровавшей его девушке. Так закончилась первая встреча между Иваном и Анной Захарьиной-Кошкиной, в грядущем названной именем Анастасии, когда ее нарекли царицей Московской и всея Руси.

Воротаясь во дворец после этой встречи, Иван долгое время ходил радостен, светел и тих, словно переродился совсем. Даже не слышно было несколько дней гнева царского, не говоря уж о тех обычных бесшабашных пирах, без которых дня не проходило прежде.

— Что стало с царенькой? Осовел наш парень вовсе! — недовольно толковали прежние застольники Ивана, лизоблюды, «маньяки» дворцовые.

— Остепенился, малый! — степенно поглаживая бороды, замечали старшие бояре: Милославский Федор, Бельский Иван и Глинские оба — Михайло и Юрий.

Очень скоро дело яснее обозначилось.

Летние жаркие дни царь с ближними боярами думными в своих подмосковных дворцах проводил, в Коломенском да Воробьевском, но часто теперь и в Московском Кремле засиживался, вопреки обычаям. Стали замечать все... И допытались.

Еще раза два, случайно или нет — кто знает, но повстречался Иван с Анной Захарьиной у Адашева.

А там, недельки через две, как снег на голову, нагрянул сам царь, также попросту, и на двор ко вдове честной, боярыне Иулании Захарьиной-Кошкиной. Жила боярыня недалеко от тех же Никольских ворот, где раскинулся посадистый двор старика Федора Адашева. Мост большой, каменный, перекинутый здесь же по правее через Неглинку-речку, широкий, установленный крытыми лавками и помещениями по бокам, соединял Китай-город с Занеглименьем. А чрез ближайшие Никольские ворота подмосковные посады соединялись с Кремлем.

Ради сыновей Никиты да Алексея, которые вместе с царем ездили и с ним же часто в Москву возвращались, жила боярыня в городском доме, не отъезжала в свою тверскую вотчину. Все-таки успевала чаще сыновей видеть. А то бы за все лето и не удосужились они заглянуть к матери.

После первого смущения, вызванного неожиданным приездом царя, все пошло по-хорошему. Иван умел, когда пожелает, очаровать людей.

— Челом бить тебе за сына, боярыня свет Иулания Федоровна, припожаловал. Не гони прочь гостя

незванного! — объявил Иван, почтительно кланяясь хозяйке дома.

Та прямо в ноги царю кинулась.

— Батюшка ты мой! Светик ясный! Царь-осударь милостивый... Да стоим ли мы и словечушка твоего бранного, не то чести-почести такой? Да я то место святить велю, где ты с коня слезть поизволил. Тафтой шелковой покрою... Да я...

— Да ты подозволь из покоев — на вольный воздух. Душно теперя в теремах, хошь и просторны покои у тебя. Веди в зелен сад. Похвалялся мне Никита: густой он у вас, уветливый. Моих Воробьевских садов не похуже. Да дочку покажи... Видал я ее в чужих людях. Дома поглядеть твою умницу-разумницу больно манит-ся.

Таким образом Иван и завоевал окончательно старуху и ясно показал, зачем пожаловал: в доме у нее девушку на воле поглядеть, не в чужих людях.

Переглянулась мать с сыном, стоящим за плечом у царя, и выкатилась делать свои распоряжения.

На счастье, Анна не одна сидела в светлице. День выпал праздничный, и несколько подруг пришли навестить боярышню.

После обычного угощения девушки песни стали запевать, величали державного гостя. Он шутить принялся, дарил им деньги.

Игры скоро затеялись... горелки.

Иван, сбросив с себя обычную угрюмость и надменность, в первую пару стал. Никита с Ольгой Турениной стоят за царем. Иван Андреевич Челяднин, молочный брат Ивана, в следующей паре. Адашев, третий спутник Ивана, сзади поместился, по приказу царя.

— Женат я, осударь. Некуды уж мне бы погарывать, побегивать, в игры поигрывать... — застенчиво улыбаясь, заметил было Алексей.

— А я велю. Вот и вся недолга! Ну, мышонок! Гори побойчей! — крикнул царь бойкой Оле Турениной, которой выпал жребий «пнем гореть», и стал что-то шептать своей соседке Анне Захарьиной.

Сначала боярышня была напугана появлением у них красавца царя, такого милого, такого ласкового. Но за две-три встречи с Иваном у Адашевых она пригляделась к повелителю, увидала, что он такой же ласковый, веселый юноша, как те из молодых ее родственников, с

которыми приходилось все-таки встречаться девушке, несмотря на полузатворническую жизнь, обычную для женщин зажиточного круга.

Теперь, у себя дома, Анна совсем развернулась. Откуда смелость взялась. Явно радует ее внимание царя. Гордо порою головкой девушка встряхивает. А сама весела, смеется, бежит с прибаутками. От Ивана увернуться норовит, в руки Оле попасть, кричит Ивану:

— Поскучал бы и ты малость, осударь! Погорел бы в одиночку!

— Ну нет, шалишь, попал на пару — не пущу! Одному и то быть надоело!.. — отвечает ей Иван, нагоняя и хватая за руку. Ведет на место, а сам так и впился глазами в лицо красавице.

И Анна подняла на него свои темные бархатистые глаза. Прекрасные они, такие детски-чистые. Глядят так доверчиво, так прямо... Невольно замечает Иван, что чувственное волнение, вызванное было по привычке близостью такой очаровательной девушки, понемногу улеглось. Совсем потонуло оно среди тысячи новых, непривычных ему, тонких ощущений. Тут как-то все смешалось: жалость к сироте, восторг от близости чистого существа, готового открыто поклониться ему, царю Ивану. И чуется юноше прилив неудержимого, детского веселья, какого никогда почти и не знал, даже малюткой, печально возраставший Иван. Этим беззаботным весельем заразился царь сейчас от Анны. И то вспомнил Иван: незнатный, но славный род бояр Захарьиных за многие годы ни в единой крамоле боярской не был замешан. Поэтому Иван, обыкновенно не дававший спуска боярским и княжеским дочерям и молодкам, теперь совсем иначе отнесся к Анне. Свое уважение к роду царь перенес и на молодую девушку-сиротку.

Анна почуяла это — и так хорошо ей стало!

Незаметно время летит. Песни сменяются играми. На качелях качались, даже хоровод завели, хотя Семик уже минул давно.

«Роща зелененька, а я молоденька!» — заливается Анна.

Вдруг гулкий удар пронесся в летнем теплом, дрожащем воздухе. Зазвонили к вечерне. Сразу затихли все, перекрестились, оборвав смех и говор и песню на ползвуче. Расходиться настало время.

Но это посещение было не последним...

Скоро толки пошли по Москве, в Кремле особенно:

— Зачастил штой-то царь ко вдове честной, к Ульяше Кошкиной-Захарьиных. Не спроста оно...

Иные задумались. У иных прояснились лица.

VIII

В день своего ангела, 22 июня, до свету поднялась боярыня Иулиания. Все во дворе и в доме тоже почти не спали ночь напролет: к именинному пиршеству готовились. День поздно погас. Рассвет куды рано загорелся над землей. Если часика три поспали — то и ладно. А уж в шестом часу честную вдову сам Макарий-митрополит принимал, когда она к нему со своим именинным пирогом заявила. Да мало что принял раньше всех, стоящих в большом переднем покое, — увел, в «казенку» свою позвал и там не короткое время с боярыней беседовал. За пирог иконой одарил, святительским благословением... И к бабке царевой доступ нашла незнатная боярыня. Та благодарила куском тафты именинницу за челобитье. Царь молодой в Коломенском случился в тот день. Не то, гляди, сам бы на пир ко вдове пожаловал. Но и так полон двор и дом у нее. Одни уходят, другие подъезжают и пешком подваливают. Много знакомых было у мужа-покойника, не только что из боярского круга, а из служилого и приказного. Теперь проведали люди про особую ласку, какую семье царь Иван выказывает. И особенно много званых и незваных гостей явилось в день ангела «здороваться, честь отдать ангельской душе, имениннице»...

Приехал попозднее и думный боярин, Михаил Юрьевич Захарьин. Он, после смерти Романа, главой в роду считается. С ним сын явился его, Данила, и второй брат хозяйки, Григорий... Никита Захарьин, у царя не дежуривший как раз эти два дня, тоже дома сидит, на радость матери.

Не только за весельем съехались родственники. Опустели дворы и палаты, когда к вечерням дело подошло. Не решались гости и гости засиживаться у вдовы, хоть и «матерая» она, в своей семье — голова. Все-таки не водится во вдовьем доме долго засиживаться...

За вечернюю трапезу только своей семьей уселись. Анна, уставшая за день, не сошла к столу.

— Оно и ладно! — заметил Григорий Юрьевич. — Речь такая пойдет, што девчонке лучше не слушать.

— Какая речь такая? — всполошилась Ульяна. — Што, право, за беспокойный норов у тебя, братец Григорий Юрьич! Денька по-милому, по-хорошему, любо не поживешь.

— Рад бы милить, да суседи насилят! Так ухо надо востро держать. Да ошшо ежели сестра с дурцой. Тут вдвое забот...

— И за што обида такая извечная? — плаксиво отозвалась хозяйка. — Што вдовица я сирая... Так хушь бы вы, брательник старшой, вступились. Батюшка Михаил Юрьич, как ты у нас заместо отца родного таперя. А то мне, бедной, вдове горемышной, в моем же дому...

— Ну, буде! Запричитала! — решительно, но не строго произнес старший из братьев, боярин Михаил Захарьин. — Дело надо толковать, а ты запричитала. Никто тебя, сестра, не обидит. А Гриша — он уж за- всегда так: лотошливый да суматошливый. Ранней пожару в било колотит. Хоша и то сказать: дымком-гарью папахивает.

— Пожар? Загорелось? Ахти мне! — вскочив, пугливо озираясь, запричитала хозяйка, но видя, что оба брата так и покатались со смеху, а молодежь едва сдерживается, чтобы тоже не смеяться, опять перешла в тягучий, плаксивый тон: — Ну вот... ну вот... И повсегды так вот... Потеху творит себе из меня, бедной, вдовицы сирой.

— Ах Ты, Господи! Да кинь причитанья. Слышь, што баять будем.

— Слышу, молчу, — сложив полные ярко-красные губы сердечком, подпершись рукой, сугубо-смирненно отозвалась боярыня, но тут же не выдержала. — А тебе бы, племянничек, — накинулась она на Данилу Михалыча Захарьина, — тебе бы и вовсе не пристало хиханьки да хаханьки над теткой творить. Отцу бы еще сказал учливенько, как ты царский ближний слуга, мол, «батюшка»...

— Матушка, смолкни! Останови колесо язычное. Всего воздуху не смелешь. Не то, гляди, уйдем в ину хоромину каку. Без тебя толковать станем, мать честная вдова-разговорница! — пригрозил Михайло.

— Молчу! Молчу! — зажав рот рукой, прошептала хозяйка и смолкла на самом деле, но приняла еще более обиженный вид, чем раньше.

— Теперь сыпь, — обратился Михайло к Григорию, — что нам сказывать собрался? Каки таки рос-сказни про нас идут? Что судачат?

— А то и бают, что царь молодой у сестры у нашей любезной, в дому ея вдовьем почестном, опочивальню себе завел. Да ошшо не где инако как в терему де-вичьем, во светлице у племяннушки нашей, Анюты.

— Ах, вороги, ах, злодеи, ах, душегубы подлые! — так и взвизгнула, не вытерпев, боярыня. — Знаю я, чьи энто вымыслы! Ведьма Наташка Поленина, сусед-ка-дьяконица, склыки пустила. Да я ее...

— Помолчи, сестра! — уже более решительно при-крикнул Михайло. — Да Полениной за такие речи можно бы язык к пяткам вытянуть.

— Я суседок твоих не знаю! — раздражительно отозвался Григорий, и без того вечно злой, подозри-тельный и раздраженный по натуре человек. Теребя свою длинную, жидкую черную бороду, он продол-жал: — Круг царя такие речи ведутся. Бояре главные о том же проведали. Нешто единый шаг царев без по-гляду останется? А теперь — и пуще всего. Скоро по-ра приспееет: оженить царя надобно. Уж все первые ро-ды между собою сносятся, пересылаются, сговаривают-ся. Судят-рядят: на ком осударя женить? Так со всех концов по сотне гонцов готово: не скользнул бы куды вьюнош, мимо ихних мережей не проплыл бы. Пока он с дворовыми али припосадскими женками хороводит-ся — оно и ладно. Ежели с иной боярыней замужней али княгиней какой позадержится, и то не беда. А тут, слышь: боярышня запуталась. Все ныне и заворуши-лось, как осы в улье в своем. Узнать всем надо: што да как? Невесту ль готовит себе осударь али так, приспособил сударку повседневную? По видимости — на по-следнем все сгодились.

— Ахти мне! — в неподдельном отчаянии хватаясь за кичу, завопила было боярыня, но тут же и замолкла, увидя поднятый с угрозой палец брата Михайлы.

— Што ж, все энто и мне добре ведомо! — после небольшого молчания заговорил он. — Оно, гляди, и лучше, что такой, не иной говор идет. Для племянной целее, да и для тебя, сестрица. Стали бы главные боя-

ре супротив вас опаску держать — давно бы и ее и тебя смели с пути с дороги. Извели бы зельем лихим как-никак. Не то хоромы подождли бы, живьем поджарили.

— О-ох! — только и простонала, задрожав, боярыня.

— Теперь одно знать бы нам доподлинно надо: правду злые люди болтают али наговаривают на племянную? Ась? Поведай, сестрица любезная. Да, гляди, без хныканья, без вытья, без речей пустых, залишних.

— Ох, скажу. Все выложу, братец Михайло Юрьич! Ничего не потаю. Стыд головушке! Каки речи облыжные про девицу пошли! Да нешто я не мать? Да рази вместимо? Да позволю я, штолича? Да я ее лучше этими руками.

— Ну, вижу: толку не быть от сказов твоих. Так я спрашивать буду, а ты покорооче отвечай. Что суть спрошено. Ночевывал когда осударь на дворе на твоём?

— Батюшки! Да нешто можно?! Да как же?!

— Ладно. Не было, значит, тово. В другое: часто ли счастливил-заглядывал?

— Да, батюшка... Сказать, так и не считала, а припомнить можно.

— Я, дяденька Михайло Юрьич, знаю! — вмешался Никита. — Без меня, почитай, ни разу не заглядывал. А со мной — раз пять бывал.

— Выходит: раз на неделе. Ошшо не больно часто-много, — ухмыляясь в бороду, заметил боярин. — А один на один с боярышней бывал ли гость дорогой?

— И-и, да нешто? — начала было боярыня, но сын снова перебил ее:

— Штобы совсем наедине, без призору, хошь бы дальнего, незаметного, — того не случилось. Не матушка, так я, не я — иной хто энтак неприметно, а все поглядывали. Но сидеть вдвоем — они сиживали. И в покоях случилось, и в саду, под наметом, али в купине хмелевой. Речей не подслушано всех. А што слышали, то все по чину велось. Ни озорных, ни улестливых слов осударь сестре не сказывал.

— Ах, очи твои подлые! — опять заволновалась, не выдержав, боярыня. — И не сын ты мне! И не брат сестре. Пожди: станет она царицей, осударыней вашей, — отместит тебе! Попомнит, как плохо ты за честь ея девичью вступался, чужих людей непохуже.

Ну, как же чужим молчать, коли свой шатается: мол, знаю не знаю, а сказать не могу! Да ты за сестру, за нее должен не то кому, дядьям родным рот заткнуть! Да ты бы царицу свою грядущую...

— Эй, молчи, сестра! Пра, уйдем. Звени тогда одна в пустой горнице. У нас уже в ушах зык пошел. Ежели можешь, лучше толком скажи: все ли знаешь, что царь с племянной толковал? Да об ея будущем осударенье-царенье помалкивай, пока цела!

— Все знаю. Все мне доченька без утайки сказывала. Как только смекнула я, что залюбил осударь девицу, норовит на ей жени... Молчу, молчу! Как смекнула я, — давай девку допытывать, ее научивать, как с царем речи вести, слова не молвить бы лишнего. Ну, што греха таить — у самой дума было прожужжала в уме: не смутить ли ее на грех — парню манится? А она у меня прямая, простая, вся в меня! Николи воровством-утайкой не жила! И до последнего словечушка переносила, о чем с глазу на глаз речи у них ведутся. Складно так говорила, ровно вот в Апостоле али в святцах написано. Энто царь ей все так сказывал, а она мне. И про царство, и про дела великие, про земли, про войны разные, што он задумал. Ровно бы с боярином думным, с Аннушкой моей толкует. Известно, хошь и царь, а молодо-зелено ошшо. А там ее пытал: пойдет ли она, за кого он посватает? Она в слезы. Словно Богдите надоумил, так и отрезала: «Ни за кого не пойду! Христос — мой Жених желанный...». И, говорит, так энти слова царя порадовали, што он взял за руки, в очи поглядел... и молвил: «Ин добро! А ежели б, говорит, Христос тебе власть над царством дал? Как бы ты володела им?». А она ему: «Всех бы, говорит, жалела... Всех бы призрела, ково только люди злые али судьба-злодейка здесь избидела. И всем бы слабым помогу дала...». А он ей: «Вот и меня обижают. И я не в сладость живу. Жалеешь ли?». А она ему: «Тебя ли жалеть, осударь? Ты всех ясней, всех могучей в земле. А только ежели тебе что горько, пусть бы лучше на меня смерть пришла, только бы тебе радости придать». Вестимо, глупа девка. А он ей...

— Глупа не глупа, а кстати молвила!

— Вот-вот. И сам святитель, митрополит, отче-владыка, тоже мне нынче сказывал, как в казенку свою зазвал, а я все ему поведала.

— Эка шалая баба! Так тебе бы с тово и зачинать надо. Сам Макарий, толкуешь ты?

— Што ж што *сам*? Я, може, и не то нынче от владыки слыхивала. Лих, молчать велел. А я вот и проболталась.

— Угу! Вон оно дело какое?! Сам владыка за нас? И ни слова ранней не сказывал? На старца похоже. Творить многое, а и не слышно, не видно его. Словно само все деется. Только ежели где што доброе прилучилось, — уже его тут рука. Беспременно так.

Сказал и задумался Михайло.

— И вовсе не доброе! Старец — не мирской человек. Он по святцам целу работу кроит. А в миру — дьявол портняжит. Забыл, брат осударь: нешто первые бояре до благого конца допустят? И Милославские, и Старицкий князь. А особливо Бельские да Глинские! Живьем сглонут. Сами на все пойдут, да не пустят наш род в родню царскую, в свояки царицыны! — отозвался желчно Григорий.

— Пустить не пустят. Оно вестимо. Вот и лучше, што святого дела они здесь не чают, в полюбовницы царю племяннушку посулили. Пушай. А мы ошшо поглядим. И их роды попервоначалу не больно высоко летали. И Сабуровы, и Годуновы, и Шуйские — о Бельских уж не поминаючи, — все не доблестью, а по свойству, через терема царские поднялись. Дочек да сестер туды засадили, так и сами знатны, велики и богаты стали. Може, и нашему роду Бог пошлет. Поглядим-пождем. Попытаемся. Вы, молодежь, языки за зубами держать. Живет царь с Анной — ну, пускай живет. Не такайте да и не отнекивайтесь больно. Мол, такое счастье кривое привалило, такое дело зазорное, што не клич же кликать о нем на Ивановской на площади.

— Как же, дядя, — вспыхнув, начал было Никита, обиженный ролью, которую навязывал ему и брату старик боярин.

— Тако же, племяш! Целей и сестра, и все мы будем. А от слова не останется. Доведем до царских теремов Аннушку — с нея, што с лебеди белой тина озерна, все людские наговоры скатятся. А пока, што потемней для нас, то получше. Мути поболе напустить надо. В ней только рыбка добре и ловится. Пусть над нами, над именем, над родом нашим честным малость

потешутся. А уж потом и мы свою душеньку отведем, как станем чрез разряды скакать. Впереди таких бояр усядемся, поручь царицы, сестры и племяннушки, котормы и верхом шапки нам намаргивали, век не кланивались! Плохо ли, Никитушка?

Убежденный блестящими планами дяди, тот умолк да так и замечтал сразу: о власти, о силе думает, какая привалит к нему, к шурина царскому.

Григорий Юрьич и тот сдался, очевидно.

Семейный совет покончился.

IX

За хлопоты оба боярина принялись. У Бельских, у Глинских побывали. Челом били:

— Стыд головушке! Подвели под поруку честь нашу Сабуровы да Шуйские. Вас извести похваляются, а для того царю на боярышень красивых показывают, грехом тешут. К ним бы получше стал! Вас бы отринул, што вы за бесчинство журить царя юного дерзаете!

Приласкали первые бояре Захарьиных. Думают: «Вот еще новый подсобник против родовых врагов извечных заявился!».

А Михайло Захарьин — к этим самым «недругам» кинулся. Против Глинских и Бельских песню завел... И этих умненько так-то обошел, что если не будут друзьями, так и помехой не явятся эти важные, родовитые бояре бедному роду Захарьиных. Все неволью стали подумывать: «Не плохо, кабы царь женился на какой-нибудь девушке из незнатного роду. Родичей новой царицы тогда легче закупить будет и на свою сторону перетянуть. А царица молодая и родня вся ее во дворце да в теремах московских — всегда сила великая. Малые дети это знают».

К Бармину, к духовнику царскому, заглянула боярыня, вдова честная, Иулиания Федоровна. Там и дарила, и сулила, и плакала. Адашев, покорный влиянию Макария, первый навстречу Никите пошел в этом важном деле. Без договору уговор у них составился. Всячески молодой, незнатный, но влиятельный Алексей направлял волю и мысли царя в известном направлении.

События быстро последовали одно за другим, словно с горы покатались.

Видела все это простоватая на вид, но лукавая, опытная вдова-боярыня — и только Богу молилась горячо, да как ястреб над цыпленком так и витала над дочерью: сама питала ее, своими руками еду-питье готовила, чтобы не окормили, не опоили, не испортили девушку. Сама чуть ли не постелю ей стлала. Со старухой-нянькой боярышни сторожили будущую царицу Московскую — грядущее счастье и величие свое, как обе они были уверены.

Заражалась порою их надеждами и девушка. Но счастье было так велико, что дух перехватывало у красавицы. Искры начинали плясать в глазах, и кидалась она ниц перед божницей, горячо шепча:

— Господи! Избави от искушения! Владычица, умири душу мою! Отведи горе от сироты. Смири дух мой гордый, не карай за думы суетные. Тебе, Господи, обручиться хочу... Никому больше! Помоги, Господи.

Осень давно уж стояла. Деньки выпали теплые, ясные, бабье лето пришло.

В один из этих дней Иван заглянул к Захарьиной, как все чаще и чаще делал за последнее время.

По обыкновению, прошел он с Анной в сад, в беседку, увирую хмелем, жгуты которого поредели и пожелтели теперь.

— Как жила без меня эти три дня? Што делала?

— По домашнему, осударь! Знаешь наши дела девицы... Золотом шила битью. Покров новый готовлю на престол храму нашему приходскому. Были подружки, заглядывали. Сама разок, гляди, у Нasti Адашевой побывала. Все одно и одно у меня, осударь! Труда не слышать тяжелого у нас, у дочек боярских, вон как у люда простого, вольного. Так зато он «вольный» зовется. Ихние девушки инако живут. А мы — по старине, осударь!

— По старине? — машинально, очевидно не думая о том, что ему говорят, повторил Иван. — Не все оно по старине и ладно бывает.

— Толкуют люди: не все и новое ко двору да в пору. А ино дело: тебе лучше знать, осударь! Каков ты, сокол ясный, в здоровье своем? Смутен штой-то? Не докука ли какая новая?

— Нет, особливой докуки нету! — зорко вглядываясь в девушку, отвечал Иван. И вдруг быстро проговорил: — Нютушка! А ведь нынче я прощаться приехал!

— Што ты, осударь? Што ты, Ванечка? Да за каким делом? Далеко ль? На долго ль собираешься? Не слышать было ничего. Уж не поход ли? Поведай скорей, осударь!..

Допытывается девушка, а у самой голос дрожит, обрывается. Слезы из глаз градом так и посыпались, скользят часто одна за другой по щекам помертвелым. Скатываются на грудь, которая дышит сейчас тяжело и порывисто.

— В поход? Эко што вывезла! Вот и видать: коротенок он, разум-то девичий. Кто же того не ведает: по осени в поход не собираются, спустя лето — по малину в сад не хаживают. Весной да зимой — и походы все. А осеннее дело — иное. Свадьбы! Нагрянет Покров — и веселье со дворов. Венцом парней-девок покрывают. Вон оно што!

— В толк мне не взять речей твоих, Ваня. Какой венец? Свадьба-то чья?

— Моя, вестимо! Не век же мне чужих белых лебе-душек подлавливать! Свою белоперую пора завести...

— Ты, Ваня... ты, осударь, женишься?

— Надо. Года такие выходят. В животе и в смерти Бог волен. Нельзя мне сиротой землю всю оставлять. Умру — пускай моим детям престол московский будет, не дядьевым сынкам. С них ихнего довольно!

— Умрешь? Женишься? Помилуй, не мучь, осударь! Толком скажи...

— И то толкую ясно. Жениться задумал. Ежели бояре, злые вороги, изведут раньше времени, штобы хошь семя мое осталось. Чего же молчишь? Не спросишь: на ком? За кого сватаюсь? Али знать не охотишься?

Анна, ухватясь за край скамьи одной рукой, чтобы не свалиться от налетевшей слабости, сидела, не говоря ни слова.

— На цесарской, слышь, сестре женюся. Уж и посольство наше вернулось. И персону невестину мне прислали. Пригожа на диво! И богатое вено за королевной цесарь, слышь, дает. Да, Нюша, што с тобой? — испуганно спросил он, заметив, что девушка как-то мягко, мешком, валится прямо на землю со скамьи.

Подхватив ее, Иван снова усадил обомлевшую красавицу, ворот ей раскрыл-распахнул, стал в чувство

приводить: в лицо ей дует, зовет по имени, встряхивая слегка:

— Очнись, Ньюша. Опомнись, милая!

Заметил, что полуоткрыла глаза девушка, но все еще бледна, как мертвая. И зашептал:

— Вижу, вижу: не ложно любишь меня! Да ведь и не расстаемся мы. Пошутил я. Какое там прощанье! Так все вместе век и проживем с тобою!

Девушка сразу оживилась, порозовела даже, снова от сердца кровь к лицу прихлынула. Подняла свой кроткий взор на красавца царя, словно ждет, что он дальше ей скажет.

— Не поймешь никак? Слушай... Я оженюсь, по долгу царскому, хошь и не любя мне королевна далекая. Тебя, слышь, за кого-либо из похлебников моих замуж тоже выдадим, честь-честью. Так лишь, для прилику единого, сама разумеешь. И будешь ты век со мной. Первая да единая. Выше царицы венчанной... Разумеешь? Так согласна ли?

— Осударь, што пытаешь? Што спрашиваешь? Знаешь, видишь: на все твоя воля царская. Только не жилища я на свете. Ты, Ваня, добр-здоров, счастлив будь с осударыней-царицей твоей богоданной. А я... я в монастырь уйду, усердно за вас Бога молить стану... за счастье да за долгоденствие ваше.

Каждое слово, каждый негромкий звук ее голоса дышали такой правдой и тоскою, что слезы выступили на глазах у впечатлительного юноши царя.

В неукротимом порыве он искренне, горячо зашептал, откинув всякое притворство, всякое выпытывание:

— Буде! Не плачь, не горюй, отри слезы, кралюшка. Ласточка ты моя сизокрыленькая! Щебетушечка веселенькая! Защебечи повеселее, по-старому. Ни на ком, кроме тебя, не оженюсь. Ни с кем-то не повенчаюся. Ты моя нареченная, моя царица, подруга богоданная. По гроб жизни! Вижу я, уверовал, што не царства домогаешься — меня самого любишь.

— Тебя... тебя... — вдруг зноем пахнуло на юношу признание девушки, позабывшей о всяких границах и рамках благоразумия.

Но тут же, словно против воли сдержалась... Словно сразу отрезвела от налетевшего упоения... Снова головой поникла, задумалась. Голова кружится от речей царя. Дух захватывает так, что больно груди становит-

ся. И тут же холодком пробирается злое сомнение в душу девушки, полную восторга и радости.

— Да што ж ты все не веришь мне? Сызнова, гляди, очи затуманились? — спросил Иван. — Уразумей ты, девица: шутил я ранее, а вот сейчас всю правду-истину говорю. Хошь, крест целовать стану!

— Верю, милый, верю, желанный... Тебе ль не повею? Не о том я кручинюсь теперь. Не та дума пала на сердце. Ты-то не обманываешь. И сам так мыслишь, как сулишь. Да иные, лих, не позволяют. Хошь и царь, да не один ты. Вельможи, родня особливо вся близкая — гордени; князи да бояре первые!

— Родня? Энто хто же? Бельские разве одни. Так не послушаю их. Уж были речи, как же! Окромя их — все, гляди, и рады, што близ тебя я потишал, прежние свои повадки буйные забывать стал. И сам отец-митрополит хвалит тебя же. А до Бельских, до Глинских мне и дела мало. Хошь и дядевья, да не свои они — литовцы. Им бы славы да корысти поболе добыть. А у меня и так вдоволь есть всего! Я царь всея Руси. И могу по своему хотенью невесту брать, хошь из посадских дворов, как отцом, дедом заведено. Штоб сильные роды, враждебные царю, дочек в царицы не вели, сами чрез то не крепи! Нешто я не смыслю. С митрополитом, гляди, уж говорено... Все обсказано. Дело по чину сотворим, штобы на царицу, на тебя, потом зависти да обиды боярской и всенародной не было. Не сказали бы: «Помимо всех девиц в царские терема шмыгнула!». Мы и это обкалякали. Сбор невест по царству назначу. И смотрины нарядим. А выберу я тебя! Так и знай. Поняла ль, горлинка?

Молчит, слушает его девушка — и грезит наяву, вся опалемая сладкими мечтами.

Голоса послышались: мать и брат подошли — зовут хлеба-соли откусать гостя желанного. Не то Бог весть куда бы занесли любовные грезы сердце неопытное, горячее сердце влюбленное, девичье.

Х

С начала зимы, когда из вотчин своих, из городов далеких бояре-князья в Москву понаехали, особенно горячо стал обсуждаться вопрос: «Дума царская с мит-

рополитом и родней Ивана вкупе кого-то юному царю в жены укажут?».

А уж пора оженить государя, видимо, приспела. Очень многие слышали о слабости юноши к сестре одного из стремянных его, к Захарьиной, но значения этому не придавали.

— Тешится осударь. Хошь и царь он, спору нет, а все — отрок. В конце концов, послушает, што ему старшие, мудрейшие, дядья и бояре, вкупе с отцом духовным, порадят-посоветуют.

И ждали, будущую царицу намечали-угадывали. У кого связи или богатство было большое — те за дело принялись. По влиятельным людям ездили, подсылали, узнавали, дарили, записи давали на целые состояния. Если девушка из ихнего дому в царицы попадет — все вдесятеро вернется!

Дворцовая мелкая челядь за передачу вестей и слухов — в вине да серебре купалась. Особливо ближние женщины из бабкиного терема царского... Все же такое дело, как женитьба внука, не минет рук бабки, княгини Анны Юрьевны.

Главный узел всех интриг и происков, связанных с близкой женитьбой царя, сплелся и свился вокруг владычного старца Макария. Но тот неразгадан остается у себя в кельях митрополичьего подворья. Где можно, на сан свой духовный сошлется.

— Мое ли дело в мирские дела мешаться? Негоже мне. Придет царь совету спросить — я скажу по совести.

Если же кому нельзя так ответить, он и помогать не отрекается, но добавляет:

— Плоха твоя надежда на меня!

— Почему так? — спросит гость.

— Отбился от меня царь. Молод. Прелести всякие на уме. А я ему об ином поминаю. Вот он и не тово...

— Да, разбаловался отрок вконец! — замечает гость. И уходит, довольный сочувствием пастыря, хотя бы и таким несущественным.

А Макарий всех выслушивает, все в уме взвешивает. И вот в один вечер, когда Адашев с каким-то присылом царским — а может, и без всякого дела — к владыке пришел, тот ему и сказал на прощанье:

— Пора бы уж царю и волю свою объявить. Кажись, теперь время самое. Толковали мы с осударем.

Так вот, передай ему слово мое такое. Только не при людях. Слышь?

Было то о посту Рождественском, так в самой середине декабря. А дня через четыре-пять вестовщики митрополичьи всех думных и радных князей, бояр и восточных царевичей, все духовенство кремлевское, всех служилых людей постарше стали на первое воскресное богослужение в Успенский древний собор позывать — слово митрополичье слушать.

В субботу вечером позыв пришел. Кто бы из старших бояр и хотел к владыке раньше кинуться, узнать, в чем дело, — так уже поздно. Наутро вся площадь Ивановская народом пестрила. Занимало всех, какое такое торжество готовится неслыханное. У собора Успенского и по всей площади — ряды пищальников, ратных людей своих и заморских всюду понаставлены. Хоругви веют. Изо всех храмов кремлевских духовенство главнейшее в лучшем облачении в собор стекается. Колымаги, возки, сани крытые подъезжают. Сторонних людей и не пускают никого близко к паперти. Что-то необычайное творится.

— Оженить сокола нашего, царя юного бояре сбираются, — с присущей толпе прозорливостью сейчас же порешила чернь.

И она почти что угадала. Не его женят, он сам жениться порешил. Проследовал и сам митрополит в собор внутренними переходами крытыми. Там клир загремел:

— Ис-полла-эти-дэспота!

Служба началась торжественная.

Прошла и закончилась служба.

На амвоне темнеет сухошавая высокая фигура Макария. Звучит его мягкий, приятный, но отчетливый, звонкий голос:

— Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!

Пред ним море голов, наполняющих от края до края весь просторный храм, древнюю усыпальницу первосвятителей московских и всея Руси, творение великого итальянца, зодчего Аристотеля Муромля.

Все сюда созваны, даже бояре опальные. Стоят и ждут: что скажет верховный пастырь всего православного стада?

Недлинна речь Макария.

— Чада мои духовные, великую радость поведать

вам хочу. Близок час благодати Божией. Юный благочестивый осударь наш, царь Иоанн Васильевич Московский и всея Руси, — яко некий крин райский, дивий, произрастая, не по дням, по часам зреет телом и гладычным разумом. За его здравие, споспешествование и долгоденствие молитвы мы zde возсылали к престолу Божию пред чудотворным ликом Богородицы, Володимирской нарекаемой, и пред всеми угодниками и чудотворцами Божиими. Теперя прошу первых чинов и бояр ко мне на подворье пройти. Там ближе дело скажу: чего ждать нужно. За што нам сугубо Господа благодарить надлежит!

Сказал и, окруженный блестящим клиром духовным, первый двинулся в путь, теми же переходами крытыми.

Бояре и князья первые, царевичи и цари касимовские и татарские: сибирские и казанские, астраханские и крымские, все, какие на Москве проживали, — так за святителем толпой повалили. А остальные на площадь высыпали, там с взволнованным морем народным слились, словно поток речной влился в океан, еще больше своими толками и соображениями волнуя умы и души людские.

В палатах своих митрополит также кратко повестил всем о том, о чем и сами вельможи догадались: царь юный решил в брак вступить. Мало того, перед брачным венцом — желает и царское венчание совершить над собой, по примеру отца, по примеру предков.

Только не многие из ближайших к царю вельмож знали о последнем намерении царя. Остальным такая весть была новинкой, многим не весьма желанной.

Не ожидая дальнейших расспросов, не давая разойтись поднявшемуся говору, Макарий заявил:

— А теперя, чада мои, цари и царевичи, князья и бояре, милости прошу, со мною к осударю пойдем, как позыватые были за нами от его царск ѧ лости!

XI

Торжественно и чинно блестящим длинным шествием перешли все в царский дворец, где в самой обширной из палат, в Столовой, окруженный воеводами, рындами, ближней свитой, сидел Иван на возвышении цар-

ском, на старинном троне прадедовском, еще из Византии присланном.

Разместились все по родам, по чинам. Кто сидит, кто стоит вдоль стен. Дышать трудно. Наряды зимние, меховые, тяжелые еще больше обременяют разряженных бояр.

Поднялся Иван — и все зашумело, зашелестело, зазвенело цепочками, оружием... Все быстро поднялись. Земными поклонами на царский поклон отвечают.

И впервые заговорил к большой толпе царь-юноша. Бледное от волнения лицо — красными пятнами, то и знай — вспыхивает. Голос звенит, и дрожит, и обрывается, но все крепнет и крепнет понемногу.

— Отче-господине! — обратился по порядку царь к митрополиту к первому. — Милостью Божьею и Пречистой Его Матери молитвами и помощью великих заступников христианских: Петра, Алексия, Ионы и Сергия, и всех русских чудотворцев, — положил я на них свое упование, а у тебя, у отца своего, поблагословяся, помыслил ожениться. Попервоначально дума моя была подружью пояти в иностранных государствах, у круля какого-либо, али бо у цесаря. Но после ту думу поотложил я. Не хочу жены искати в чужих землях, царствах инославных, как после отца-матери своих мал я остался, возрос без призору родительского. Не приучен на многое. Вот приведу себе жену из чужой земли. И в норов не сходны станем с нею, в свычаях царских наших да обычаях. То промеж нас худое житие пойдет. Посему и поволит я! — особенно торжественно и внятно произнес Иван, видя, как все чутко слушают кругом. — В своем царстве-государстве мыслю, отцовским обычаем, жены поискати и поятию, по твоему, отче-господине владычный, пастырскому благословению.

Сказал, умолк и сел. Все с легким говором опустились на места. Словно вдали по дну каменистому поток горный прокатился.

Теперь всем ясно, что царь не только твердо решил пожениться, но еще хочет у себя, на Руси, вернее на Москве, невесту поискать.

Люди, не знавшие ничего об Анне, так и занеслись мечтами: авось ихнего рода девицу залюбит Иван? А не то и происками да ловкостью не удастся ль провести как-нибудь свою невесту-родственницу в царицы Московские?

Другие слышали, наверное даже знали о Захарьиной Анне, а все-таки надежды не теряли.

«Не больно красовита! Бледна, не дородна... Да и не родовита вовсе. Наша куды пригожее. И ростом и дородством взяла. И роды наши старые...»

Так думали иные.

И все готовы были искренне приветствовать решение юноши царя, хотя и не совсем по правилу он поступал: мало кому из главных бояр даже сказал о своем решении жениться.

Ну да юн, горяч. Поуймут его задор молодой заботы и дела царские. Уж верховные советники велемудрые о том постараются!

Первым, как и подобало, заговорил Макарий. Поднялся старик, у самого слезы радости на глазах.

— Царь-осударь великий, чадо ты мое духовное наилюбезное! Порадовал ныне еси меня, старика, молитвенника и слугу твоего извечного. Юн еще толико, а разумом преисполнен обильно, яко кладезь водою кристальною — жаждущим в отраду и упоение.

Как бы желая погасить недовольство в душах тех из первосоветников, кто осуждал самостоятельный шаг царя, да и с себя желая снять возможные нарекания, Макарий продолжал:

— Особливо всем радостно, что *своей* волей и разумом ты до благого почину такого дошел, только у Бога, Единого царей Наставителя и Советника, внушений прося... Слезы умиления текут по ланитам моим, и увлажены очи синклитов твоих, честных и славных князей, бояр, думных людей и дружинников. Видим бо, чадо, ноне: истинного *самодержца*-царя и осударя достойного посылает рок для всея Руси!..¹

За владыкой поздравили царя все цари и царевичи мусульманские, нашедшие убежище на Москве, когда пришлось бежать им от врагов, из Казани, из Сарайчика Крымского, из далекой Астрахани. Джан-Али-хан, Шах-Али, Эддин-Гирей казанский, Дервиш-Али с братом Абдулой, царевичи астраханские, все, кому по их царскому роду место отведено по сторонам трона Ивана, поднялись, челом бьют хозяину державному.

Бояре и остальные вельможи тоже челом добили. В один общий гул голоса слились.

¹ См. Царственную книгу.

Понемногу снова затих говор и шум в палате. Тишина воцарилась немая, когда поднялся вторично Иван, дал знак, что говорить желает.

Так же волнуясь, как и во время первой речи, заговорил царь, торопливо, звенящим, напряженным голосом. Но каждое слово так и вырезается среди всеобщей тишины:

— Благодарствую на добром слове тебя, отче-господине! Вас, братовья милые, цари и царевичи. Вас, родные и близкие мои, и князья и бояре наши. И всех вас, слуги мои верные, помощники некорыстные! А ныне в другое заговорю. Еще слово скажу свое великое. Отче-господине! По твоему, отца моего, благословению, и с вашего думского совета и разума, бояре, поизволил я, допрежь женитьбы моей осударской, поискать прародительских чинов и чести царской, как и прародители наши, великие князья, цари и осудари, и сродник наш же, великий князь Володимир Всеволодович Мономах, на царство, на великокняжеский стол садились... Волю и я тако же сей господарский чин исполнити, на великое княжение, на древний царский стол возвести.

Сильно отчеканив последние слова, сел Иван, стал вслушиваться, вглядываться: какое впечатление речь его произвела?

Сильно было впечатление от этих слов.

И расслышал Иван: среди общего клича и гула ликований, поздравлений так и прорезаются нотки удивления, опасения. Видит Иван море ликующих, рабски умильных лиц, взоры, искоса на него брошенные, трусливые, пытливые. Так и читается в этих взорах:

— Чего еще нам ждать от этого отрока?

А отрок, может быть, и не своим умом, но быстро решил трудную задачу. Мало того что управлять стал царством, но и царский священный титул хочет принять, этим равняя себя с первыми государями Европы. У себя дома, на Руси, он становился на степень византийских священных императоров-самодержцев.

Пока не окрепла Русь — и думать было нечего о восстановлении царства Мономахова. Но ныне окрепла она. И если даже раньше трудно бывало разбитому боярству и князьям бороться с отроком Иваном, с наследным князем Московским, — каково же теперь тягаться с помазанником Божьим и всенародным, с ца-

рем вся Русь?! А Русь вся, конечно, с восторгом отзовется на решение Ивана. Возвеличивая себя, он и всю землю этим возвеличит. К чему стремились отец и дед Ивана — смело и быстро выполнил их отважный, пылкий наследник, юный царь Иван.

И русские и азиаты, пришедшие в палату, все поняли смысл того, что в эту минуту совершается. Поняли и оценили решение царя и все послы иноземные. Как только толмачи передали им слова Ивана — озаботились их лица. Особенно низко и почтительно приветствовали они юного, пылкого повелителя полудикой, необозримо-огромной страны...

ХII

В веселый праздничный день, 16 января 1547 года, совершилось в Успенском соборе торжественное венчание на царство Иоанна IV.

Двинуться нельзя никуда в пределах храма, такая здесь теснота. Бояре в лучших парчовых нарядах, послы иноземные в шелку, в перьях страусовых, в оружии дорогим восточном или западном. Духовенство в пасхальных светлых ризах. Огнями весь храм унизан. Но пламя свечей, паникадил и лампад так и мерцает от спертости воздуха, от дыхания тысячной толпы, сгрудившейся в тесном пространстве.

Все входы и выходы храма настежь раскрыты, но это мало помогает. Дышать трудно!

Только и посвободнее немного вокруг самого места царского, где митрополит, в сослужении высшего духовенства, обряды священные творит, торжественно помазует Ивана на царство.

Идет великая литургия, и во время ее нарекается и преемлет венец Мономаший Иоанн Васильевич IV, вся Русь, великий князь Володимирский, Московский, Новгородский, псковских, вятских, пермских и иных земель повелитель.

Отпели «Херувимскую», и приступил к миропомазанию Макарий. Как голоса ангельские, звенят напевы клира... От мощных возгласов протодиакона, сдается, вздрагивает помост тяжелый под ногами царя, коврами и бархатом алым устланный. Стоит Иоанн, облаченный в ризы царские, мало чем отличные от митрополичьих.

Первые в царствии люди подают митрополиту бармы богатые, оплечья царские.

Благословил их первосвященник и возложил на царские плечи. Также возложена цепь золотая, знак царского достоинства. Осенила голову юноши древняя шапка Мономахов, знак полной власти над всей землей. Подано яблоко — держава, дорогими камнями осыпанная. Острый меч, символ высшего правосудия и превосходства, держит Иван Челяднин перед царем. Отныне царь один вершитель правды всенародной.

Запевают певчие «Достойно есть»... Рвутся к небу от земли голоса... Под серебристые и под гремящие звуки идет обряд увенчания царского. Наряжен государь. Смолкли напевы. В торжественной тишине раздаются великие слова причастного стиха. По чину священства, как духовный вождь и пастырь народа, принял причастие государь. Вторично совершается миропомазание.

Вот — клики радости, восторга, поздравления начались. Мехами дорогими дарят царя, золотыми сосудами, челом бьют, червонцами осыпают. И наконец, при гулком, ликующем перезвоне всех колоколов со всех церквей московских прошел из собора во дворец новый царь, самодержец всея Руси, Иоанн IV.

Весел, радостен сидит за трапезой венчальной Иван. За дары, ему поднесенные, вдвое, втрое отдаривает и своих и чужих доброхотов — послов иноземных. Через них государи дальние много чудесных вещей прислали к такому великому дню.

Далеко за полночь кончился пир веселый, шумный, многолюдный. До свету еще отголоски его носились по двору, до теремов долетали и там будили тишину глубоку, монастырскую.

А Иван в это время, один в своей опочивальне оставшись, всех спальников и любимцев повыслал. Потом упал ниц перед образами, озаренными ярким сиянием лампы, и жарко стал молиться, вслух твердя прошения свои.

— Господи, не оставь раба своего! Даруй разума царского, над ворогами — одоления скорого! А я клянусь и обрекаюсь, Господи: по правде, по совести, по завету Христа Спасителя, по науке отцов и дедов — землей владеть и править. Ни зла, ни лиха никому не творить, разве — не ведая. Хранить буду власть, и ду-

шу, и народ мой! Обрекаюсь, Спасе Милостивый. Помоги мне на том...

И рыдал, и молился, и обеты давал до утра юный царь. Тут и задремал, склоняясь головой к аналою. Прокинулся скоро, встал, еще раз перекрестился и, не раздеваясь, по обычному, в той же расшитой, тяжелой рубашке шелковой, в шароварах атласных, узорчатых, в ичигах мягких, сафьяновых, повалился на ложе свое и уснул.

ХІІІ

Пока эти торжества совершались, да еще и задолго до них, по всей земле призывные «невестные» грамоты были разосланы. Девушек-невест стали на Москву созывать, на смотры царские. Рождество на дворе стояло. А там и святки приспели.

Анна Захарыина давно уже царя не видела. За хлопотами, за сборами к венчанию царскому не мог он и часу урвать, к боярышне заглянуть. Только послов слал, верных, близких себе людей.

Знала Анна, что важные дела разлучают ее с милым, с «суженым-ряженым», как звала в душе царя. Но все-таки не легко было девушке.

Накануне Крещенья — сидели они с матерью вдвоем, сумерничали.

— Слышь, девонька, не гоже оно так-то! — вдруг обратилась к ней мать.

И раньше любила и холила она дочку, а с той поры, как явилась надежда стать тещей царю, и совсем в кабалу себя записала старуха к «невесте царевой»... Сама каждый кусок для девушки готовила, каждый глоток подавала: не испортили бы будущую царицу вороги лютые.

Теперь и тревогой и укором зазвучали слова, которые вырвались у старой боярыни.

— Что не гоже-то, мамонька? — спросила Анна, думая совсем о другом.

— Таять ты больно стала, девонька! Совсем извелась. Поди, царь сухопарых не больно-то любит. Не возьмет, коли беречь себя не станешь. Другую выберет.

— Матушка, и так не возьмет... Все равно не бывать мне за ним! — вдруг с неожиданным наплывом тоски тихо и грустно ответила девушка.

— Што ты? Да с чего ты взяла? Дурочка! Такое слово великое было им сказано. И образ подымали, молебен служили. Как же вдруг: не будет? В себя приди, милая!

И боярыня рукой замахала на дочь.

— А я говорю: не будет, так и не бывать ничему. Уж и грамоты по дальним городам посланы. И соседям нашим пришла. А нам нет как нет.

— Годи, девонька: все по ряду. Перво-наперво: царским жильцам, которы во дворце да в Кремле близ царя живут, — тем обсылка будет... Там — первым людям, тоже у которых дочки-невесты... Там — и нам: незначным боярам, вдовым семьям... Все по ряду!..

— Мамонька, как же: ежели он ко мне правду хо-рош? Ежели думает? Ежели жалеет... Што бы не сказать?..

— Што сказать-то? «Захарьиной-Кошкиной, Анке, первой посыл шлите, вести давайте, штобы в невесты собиралась, а там — и в царицы шла»? Так, милая? Сейчас сторожу я тебя, дней-ночей не сплю... А тогда — и прямо обоим конец! Мало ль народу самого злого, самого великомочного зубы точат!.. Ежели прямо узнают, што ты им помеха неминуемая, — тут тебе и карачун! Молчи-помалкивай лучше, доченька. Во сне увидишь — и то отрекись. Так-то целее будешь, скорее до терема царского дойдешь!

— Ой нет, матушка! Ничему-то не бывать. Я и сон-то лихой такой да вещий видела!

— Сон? Какой ошшо сон? Што же давно не поведала, милая доченька?.. Сами не разгадаем, я за бабкой-стрельчихой спсылать велю. Говори скорейча!.. Помилуй, Господи! Сон?! Ахти — мнечушки!.. Чур нас. Наше место свято. Дурное в окно да в подволоку. Добро — в дверь да с наскоку! — зашептала свои причитания старуха. — Да што ж ты молчишь, как статуи, словно на кургане — баба татарская... прости, Господи! Скажи про свой сон. Поведай матери-то!

— Под утро мне, матушка, снилось... да так четко снилось, вот словно на яву. Лежу я в саду будто на травке. От жары разметалась вся, распоясалась. И с дерева с высокого голубок слетел ко мне. Большой такой, разноперый, глазки так и горят, словно камешки самоцветные.

— Ну? Ну?..

— И стал он надо мной тосковать-ворковать, совсем как человек ласкается. Я давай его гладить. А он...

— Ну, ну?! Нечего невеститься! С матерью толкуешь, не с чужим с кем. Все досказывай!

— И клюнул он меня в правую грудь и в левую. А сам обернулся не то коршуном, не то соколом — и взлетел на дерево. Больно мне, и жутко стало, и сладко — сама не знаю с чего. Лежу — гляжу: кровь из груди каплями выступила. Шесть капель всего. А эти капли — не кровь — зернами ормуцкими, жемчужинами великими на землю скатилися.

— Ну, ну?..

— И разные жемчужины, цветом и видом разные. Три — словно орешки-двойняшки. Покруглее видом. Три — словно желуди, длинные. И цвет у их белый. А у трех, у кругляшек, у первых, — черный блеск. Такого черного жемчуга я не видывала. А сказывают, бывает...

— Бывает... Ой, бывает! Ну, доченька, как я уразумела: и хорош твой сон — вещий, великий сон да и кручинливый. Да ты не пужайся, милая! Ничего особенного. Голубь-то, што соколом стал...

— Коршуном скорей, матушка!

— Нишкини, дитятко! Соколом... И всегда помни: соколом! Суженый это твой был, муженек богоданный. Сама знаешь кто? И шестеро деток пошлет тебе Господь. Три девочки. Это те, что кругляши жемчужины... А желудочки — это сыночки, на долгое доброе им здорovie. Жить да осударствовать им!

— Маменька. А как же дочки? А, мам? — вся заражаясь мистическим настроением старухи, твердо веруя во все, что та говорила сейчас, спросила Анна.

— Дочки. Черны, баешь, жемчужинки-то? Ну, они, дочки-то, — не будут долговечны. Да воля Божия на все! Хорошо, коли дочку так вырастить, как я тебя. Ежели, подай Богородица, тебя я да в царских теремах увижу! Так там царицам любо. А царевнам — куды туго жить. В монастырях самых строгих — и то лучше... Не мимо сказано, что тюрьма — что терема. Замуж царевен, почитай, не выдают. Там любить не велят. Какая жисть? Маета! Так и лучше, ежели ангельски чисты душеньки к Господу Богу до времени отойдут! К святым ликам сопричислятся. Да што ты, дурашливая.

Ошшо так ли, не так ли — о нерожденных детках плакать, вижу, собираешься? Може, мать, дура старая, и Бог весть какого веретья наплела... А ты свои оченьки ясные темнишь. Буде! Не гоже! Попомни: жених какой у тебя? Для него и глаза, и всю себя, как клад заветный, беречь надо, девонька! Не верь матери. Врала все, старая...

— Нет, мамонька! Чует сердечушко: так все и будет. И сама во сне — почитай так сама и подумала, как вот ты поведала. Только сама себе... счастью и горю своему верить боялась.

— Брось, говорю. Пойдем лучше! Поглядим на всяк случай: все ли у нас заготовлено, если пошлет Царица Небесная, заглянут сваты жданные да желанные...

И боярыня поднялась, увлекая за собой дочь к тяжелой укладке, где были припрятаны самые богатые наряды девушки, старинные, от пробабок еще завещанные захарьинскому роду.

Уловка удалась.

Сначала рассеяннo, неохотно перебирала красавица наряды тяжелые, бархатные да парчовые. Переглядывала повязки сверкающие да кики тяжелые.

Каменья дорогие, самоцветные поражали величиною. Несмотря на плохое освещение, разлитое двумя-тремя свешниками о четыре-три рога, несмотря на грубую оправу «гнездом», где изумруды, рубины и яхонты сидели в чашечках серебряных, дорогие камни, особенно алмазы и бриллианты, переливались своей таинственной игрой. И скоро девушка увлеклась занятием.

А старая боярыня, покачивая головой, подумала про себя: «Вот все на одну статью! Смута и радость — рядом у их живут... Умей лишь за дело взяться...».

XIV

Яркими лучами рассыпалось раннее зимнее солнце над перекрытыми снегом островерхими крышами захарьинской усадьбы на другой день после беседы старухи с ее тоскующей любимой дочкой.

Рано проснулась в светелке своей Анна.словно впервые на свет родилась, так хорошо и легко чувствует девушка. Снилось ей всю ночь что-то ра-

достное, отрадное, светлое. Только что именно — она и сама не помнит. Очень уж крепко спала. Все сны заспала.

Но не беда. Помнит Анна, что все одно хорошее грезилось! И сейчас хорошо, легко ей. Петь хочется. Да, лих, спозаранку, до молитвы, запеть нельзя. Мать на что балует, а выбранит за такое бесчинство.

Поживей умылась девушка, принарядилась почище ради праздника. Мать с добрым утром провести сошла. А там день колесом покатился.

Подруги пришли тоже разряженные. По дороге в церковь за подружкой заглянули. Мать дома, в своей крестовой палате раннюю службу отстоять решила. Хлопот много: гостей и званых и незваных ради крещенского дня ждать надо.

Перекрестила дочку и отпустила:

— Ступай, погляди на свет вольный, пока не срезали косу русую, не сняли волюшку девичью.

Весело, с шутками, с прибаутками вышли из покоев, с крыльца сошли девушки.

Нянька старая за Аннушкой следом ковыляет. Без того не пустила мать.

На улице, где люди снуют, тоже в церковь тянутся; примолкли хохотушки.

Да и морозно. Кутают лица в воротники шубеек. Не до разговоров.

Отстояли службу, вышли снова толпой на улицу.

— Куда теперь? Неужели домой? Рано. За стену, к Москве-реке, не пройти ли? — предложила зачинщица всех затей Оля Туренина.

— К Иордани бы! — несмело подхватила Анна.

— Энто што же? На царский поезд поглядеть? Так разве без бояр подпустят нас близко? Еще кабы мужики с нами были — те бы протолкались. А там, гляди, народу тьма. Не протолпишься.

— Ну, да авось. Хошь издали поглядим! — упрасивает Анна.

Молча переглянулись подружки, ни слова не сказали, пошли к воротам Фроловским, на которых как раз часы пробили медленно и гулко девять ударов.

— А как пройдем, подружки? Надо нам на Водяные ворота прямовать. К Тайницким не протискаешься. Стрельцы, поди, так цепью и чернеют. Да и народу тьма. Особливо вершники боярские, озорники, холопы

бездельные. Коней стоят сторожат да сами, тово и гляди, изобидят нас, девушки!

— Вестимо, ведомо... Через поповские дворы — к Водяным воротам пойдем! — зашепелявила нянька.

— А мне бы манилось к святому Христофору зайти. Он с краю, на площади. Авось тут не так тесно. А потом и к поповым дворам своротим! — предложила Анна.

— Вот, девушки, невеста-боярышня, так она к Христофору, помогателю девичьему, и тянет! — смеясь, заметила Ольга. — Ну да уж идем.

Словно переменялось веселое, радостное настроение Анны при этих словах. Она вся как-то опустилась, померкнул блеск в ее глазах.

Заметили это и подруги — и снова молча переглянулись.

Миновав Вознесенский монастырь и дворцы Шереметевых, выходящие на Спасскую улицу, девушки вышли на Ивановскую площадь, где против их возвышался обновленный собор Ивана Лествичника. А правее и ближе, почти примыкая к земле боярина Ивана Шереметева, темнел небольшой старинный, весь деревянный храм св. Христофора — Песья голова.

Колокольни-шатра при храме не видно. Столб стоит высокий, а на нем — колокол вроде тех вечевых колоколов, какие в древнем Новгороде и Пскове были при отце Ивана...

Святой угодник, имя которого носил храм, был, очевидно, списан старинным иконотворцем, согласно легенде, с какого-нибудь египетского изображения, и на плечах у него была нарисована не человечья, а песья голова. Оттого и храм так звался: св. Христофор — Песья голова¹. Считался этот угодник самым верным слугой и молитвенником Спасителя и покровителем девушек-невест на выданье, наравне со святым Николаем Гостунским, храм которого стоял совсем в начале площади, где кончалась сама улица.

Эта часть площади была оживленна, но не так запружена народом, как дальше к Тайницким воротам, которыми должно пройти торжественное царское шествие.

¹ См. древний план Кремля, времен Бориса Годунова, с описанием у И. Е. Забелина («История города Москвы», с. 305).

Девушки легко проникли в храм.

Полусвет царит в низкой, бревенчатой церковке св. Христофора. Луч зимний солнечный пробивается в небольшие оконца, и свечи-лампады зажжены у икон ради великого праздника. А все же полусвет-полутьма одевает все кругом, и только ярче других выделяется изображение странного святого. Светлеет на доске полуодетый сухой торс византийского, самого раннего письма. Благословляющая рука сделана так отчетливо. И песья голова, без шеи, прямо приставленная к плечам, хотя и несмело, но довольно правильно выписанная, невольно приковывает к себе взор молящегося, наполняя непривычными думами религиозно настроенный дух...

Горячо молится Анна. Молятся и подруги ее, но не так усердно. У них нет тоски, нет порывов и смятения. Они знают почти наверное, что их ждет впереди.

«К нам царь в гости не жалует!» — думает почти каждая из них, не то с завистью, не то с отрадой глядя на подругу, которая лежит на грязном помосте церкви, бледная, в слезах. Молит о счастье? Или боится, что горе нагрянет? Великое счастье, верно! Но и горе большое может быть, если все не выйдет по мыслям Анны Захарьиной.

А они, боярышни, никогда в девках не останутся. Как-никак замуж выйдут и спокойно в теремах своих проживут, так что больше жалости, чем зависти, вызывает в подругах смятение душевное боярышни, ожидания ее блестящие, ее скорбь, жгучая скорбь, тоска и страх неподдельный.

Зазвонили во все колокола.

— Царь к Иордани прошел! — говорит Анне Ольга Туренина.

Но та словно не слышит. Ударяет челом о настилку храма и молится. Порою слова срываются с пересохших, бледных, как у мертвой, губ:

— Господи! Миг счастья даруй. А там... Твоя воля, Господи!

Бедная женская душа! Чует, что здесь, на земле, за каждый миг счастья годами мук и горя платить приходится.

Когда на площадь вышли девушки, глядят — совсем опустел этот край Кремля.

Тысячные, многотысячные толпы там далеко сейчас

темнеют, пестреют, алеют, ближе к воротам Тайницким, где над головами у всех по ветру веют, развеваются хоругви церковные, значки полков стрелецких, бунчуки конвоя царьков азиатских.

За стеной Кремлевской, от реки, — голоса клирошан, их стройное песнопение доносится, пересиливая гул и шум толпы народной... Видно, у Иордани уже служба началась.

Быстро двинулись наперерез площади девушки. Проулочком, что между землей князей Сицких и Мстиславских вьется, вышли к стене Кремлевской. На лево темнеет церковь старинная Петра митрополита. Направо — целый городок особый: поповские дворы многочисленного кремлевского причта.

Через ворота Водяные, сегодня ради многолюдства народного открытые для проходящих, спустились боярышни к реке. Нянька еле поспевает за ними.

— Куда вы, этакие, так поспешаете? Поспеее, гляди! — кричит она и только следит, как по спуску береговому мелькают шубейки разноцветные, колышутся высокие шапки горлатные, чернобобровые, в какие принарядились боярышни ради праздничного выхода.

Как ни поспешала Анна, увлекая подруг за собою, толпы народу заполнили все пути, заняли лучшие места поближе к проруби, где шатер был раскинут царский, где митрополит со всем кремлевским духовенством совершал торжественное, хотя и краткое сравнительно богослужение. Немолод святитель, да и недомогает что-то...

Только стоя в полугоре, на берегу, могут различить боярышни, что у Иордани делается. Лучи солнца горят там, отражаются от вооружения блестящего на царе и на всей свите царской: на ризах золотых, парчовых играют огни...

Вот дрогнули стрельцы, окаймляющие живой разноцветной стеной самое место, где совершается водосвятие.

Гайдуки, скороходы — эфиопы черные — вперед тронулись между двойной стеной воинов, стоящих вдоль прохода от берега до самого дворца. Дрогнула вся огромная толпа. Из среды бояр и военачальников выдвинулся статный, полный юноша — сам царь. Двое царских стремянных склонились, готовясь подсадить его на высокое парадное седло. Чепрак на коне парчо-

вый, кованый, весь усеян камнями сверкающими драгоценными. Но царь почти без помощи рабов усердных взобрался на седло. Двинулся... Заколебались толпы народа кругом. Двигаться вперед начали. Гул приветственный пронесся — и ширится все, растет, разливается далеко кругом. Кланяется царь народу. Ближние ряды челом бьют ему.

Что это? Показалось Анне или на самом деле так? Как будто царь прямо в ее сторону поглядел через головы шумящей многотысячной толпы. Узнал ли он ее в этом тяжелом охабне, в шапке бобровой высокой, среди подруг, одетых одинаково с ней? Или сердце подсказало ненаглядному, что милая его стоит вдалеке и глаз не сводит с желанного? Вот клонит он голову... Ей ли шлет привет? Всему ли народу кланяется? Ей, конечно...

После молитвы в церкви, после взгляда, брошенного на Ивана, снова Гамаюн, птица радости, запела в сердце, в душе боярышни. Горя не ждет она, верит счастьем близкому, неизбежному, великому.

Не обмануло сердце красавицу...

Постояла, проводила она глазами поезд царский. Потом все полюбовались, как народ простой — бабы и мужики, девки и парни, старые и молодые — с ледяной горы мчится. Через всю реку дорога прочищена. Один скат на одном берегу, на высоком, другой на низком устроен, на помосте, на толстых балках. Настланы доски на сваях, снегом засыпаны, водой политы. Мороз все обледенит. И высокая гора синеватым, прозрачным настом ледяным горит в лучах зимнего солнышка. А с той горы на салазках люди, в одиночку и парами — с визгом девичьим, с покриком молодецким, с хохотом, с весельем, стрелою вниз летят-скатываются, вверх, словно на крыльях, на встречную гору взлетают.

ХV

Боярышня поспела домой ровно к полудню, к обедам самым.

Двор вдовы Захарьиной полон каптанок, колымаг, саней крытых. Свои и чужие гости на праздник к радужной боярыне заглянули.

Едва за столы уселись — дворецкий в столовую палату вбежал, запыхался, докладывает громко:

— Его милость дьяк дворцовый, Гаврило сын Петрович, Щенков и приказчик городской околотку нашего, Белогородского, Афонасий Матвеев, с им же. С великой милостью: с приказом да словом государевым-царевым жалуют... Милости посылает Господь!

Всполошились все гости, поднялись. Хозяйка совсем из-за стола вышла, у самой двери вновь пришедших встречает. Анна, которая тут же была, матери помогала приглашенных чествовать, так и замерла в глубине покоя. К стене прислонилась, чтобы не упасть, потому ноги не держат совсем.

Нянька заметила, к питомице подошла, шепчет:

— Крепись. дитятко, держись, милая. Час воли Божьей приспел. Его воля. Не пужайся.

И шепчет заклятия разные, кругом обдувает девушку, через плечо плюет. Чары, козни духа злого отгоняет от боярышни.

Вошел дьяк, толстый, плотный мужчина, по важности любому боярину не уступит. За ним — приказчик, городской, вроде как бы пристава полицейского нынешнего. В руках у дьяка — сверток пергамента. Печать восковая царская висит на конце.

— В дому ли я у вдовы честной, у боярыни Иулиании Федоровны Захарьиных-Юрьиних-Кошкиных роду?

— У нее у самой! — ответил почтительно приказчик.

— У меня, у меня, батюшка! Извини, имени-отчества твоего не ведаю, как величать, не знаю, — залепетала растерянная хозяйка, без конца отвешивавшая низкие поклоны желанному гостю.

— Все едино. Ты и есть — она? Слушай же. И все вы слушайте приказ и волю всемилостивейшего и державного государя-царя нашего, произволением Божиим. Се есть хартия и указ его царский.

Как гости, так и гости все, бывшие тут, опустились на колени, готовясь слушать слово царское.

Откашлянув, дьяк начал густым, сочным баском:

— «От великого князя, царя и государя Ивана Васильевича всея Руси, князям и детям боярским, именистым гостям торговым, прочим иным значным людям. Нарядил я в Китай-город с окрестными посадами, што

в его стороне, на пятьдесят и на сто верст кругом, дворецкого нашего, князя Ивана Семеновича Мелецкого, и дьяка дворцового, Гаврюшку Щенка, да с приказчиками городскими и с головами посадскими местными на помощь, чтобы тем людям у вас девок-дочерей досматривать — нам невесты.

И как к вам эта наша грамота придет, и у которых у вас будут дочери-девки и вы б с ними часу того же не медлили, ехали-являлись князю Ивану да дьяку Гаврюшке со приказчики и головы.

А дочерей бы у себя девок одинолично не таили, явили б их того же часу, не мешкая. А который из вас дочь-девку у себя утаит и к дворецкому нашему, князю Ивану, а либо к дьяку Гаврюшке не повезет и тем быть от меня в великой опале и казни.

А грамоту пересылать далее меж собой, не издержав ни часу.

Писано от лета мироздания 7055 году, государства нашего — 13-й, царствия Российского — 1-й. Месяца Января, 4-го дня».

Прочел дьяк, поцеловал печать, вложил хартию в шелковый плат, как и раньше она была. Встали все с колен, поднялись, последний поклон отвесили. Молчат.

— Вот, значит, слышала, боярыня, вдова честная, Улания Федоровна. Готовь-снаряжай дочку. Заутра же вези в Кремль, в палаты приказные. Благо недалечко. Там князю Ивану Семенычу челом добьешь. Он тебе поведает, што и как. Завтрево ж, гляди, и наверх в палаты теремные, попадете! — ласково, почти искательно заговорил первым дьяк Гаврило Щенок.

Очевидно, или он сам дознался, слышал что-либо о посещениях царя Ивана к Захарьиным, сверху ль, из дворца, ему шепнули словечко, но он, обойдя многих, познатней вдовы-боярыни, тоже с дочерьми проживающих в околотке, прямо отправился к первой к Анне, звать девушку на смотрины царские.

— Челом бью на милости да на ласковом слове! — отвешивая поясной поклон добрым вестовщикам, отвечала боярыня. — Милости прошу откушать, што Бог послал, не поизволите ль, гости желанные, дорогие! В передний угол прошу! Отец Максим, — указывая на попа, сидевшего тут же, продолжала она, — трапезу уже благословил починать. Милости прошу!

— Ну не! Рады бы радостью, да, лих, дела осудар-

ские не велят. Праздник нынче. Ошшо много дворов надо объездить по околотку, спешный указ вить. Вишь, с пером.

Дьяк указал на перо, прикрепленное к одному краю столбчика и означающее, что дело спешное.

— Просить чести можно, домогаться да неволить — не след. Хошь стопку медку али вина, раманеи, чего возжелаете тамо? Уж не обессудьте, выкушайте! Челом бью гостям дорогим. Дочка, наливай, подноси сама за честь великую, за вести радостные.

Анна все еще не пришла в себя от сильного радостного волнения, охватившего ее при появлении дьяка с провожатым. И ждала она, тоскливо, мучительно ждала. Умереть могла, если бы еще неделю не было зова от царя. А теперь чувствовала, что сердце у нее готово разорваться от страха, от волнения и радости. Все эти ощущения вместе сплетались в груди; дыхание перехватывало от них, сердце замирало, почти переставая биться.

Но умереть теперь! Этого Анна не хотела, нет.

Сделав над собой огромное усилие, она налила кубки, установила их на поднос и с легким поклоном, выходя вперед, обратилась к гостям:

— Откушать прошу, гости дорогие! Здравы и радостны будьте на многие лета!

— Много лет здравствовать! — гулко подхватили все сидящие уже на местах гости Захарьиной, которым пришлось неожиданно присутствовать при исключительной минуте в жизни соседки-боярыни.

— Ну, уж коли так, тогда по ряду! Сама изволь чару пригубить спервоначалу, красавица боярышня Анна свет Романовна. Нам дорожку покажи. А тут уж и мы не ошибемся. Твое здоровье станем пить до дна да желать добра.

Еле коснулась губами края кубка Анна, выпрямилась после поклона, передала кубок дьяку и приняла три почтительных поцелуя, которые тот сделал почти на воздух, еле касаясь щек боярышни.

То же повторилось и с приказчиком-городовым. Тот уж совсем растерялся от оказанной ему чести.

Затем, обменявшись бесчисленными поклонами, ушли оба, провожаемые хозяйкой до передних сеней. А дворецкий и в сани усадил вестников воли царской. Да

тут же сунул им в ноги несколько свертков и кульков, которые были уже заранее приготовлены.

— Матушка! — шепнула Анна боярыне, когда та вернулась к гостям. — Позволь наверх к себе пройти! Не по себе мне.

— Пройди, пройди, дитятко! Вестимо, не до нас тебе, милая, теперя. Нянька, ве́ди боярышню! А гости дорогие не посетуют.

— Эка, вывезла, хозяйюшка! Вестимо, до того ль девице? Господь с ей! Иди, родимая, — отозвалась старуха Туренина.

Все гости тоже поспешили поддержать боярыню.

Отдала поклон поясной всем гостям Анна и вышла из покоя.

А там почти до поздней ночи, вопреки обычному порядку, пир шел горой, веселились соседи, поздравляли боярыню, пророчили ей, что придется вдове дочку царской кикой обряжать.

Раза два-три навевывалась мать к Анне. Та сперва тихо лежала на постели среди быстро набежавших зимних сумерек, потом велела свечу зажечь.

Села на постели, воск топить стала, на тени фигуры разные разглядывать. А нянька-старуха тут же объясняет ей, что означают прихотливые очертания, отбрасываемые слитками восковыми на деревянной, гладко выстроганной стене светлицы.

— Нянька, гляди: часовня! Али шатер надмогильный выходит! — пугливо прижимаясь к старухе, шепчет девушка.

— Часовня? Шатер? Вот, девонька, хошь ты и выросла, а ума не вынесла. Нешто не видишь сама, что выходит? У тебя глазенки-то молодые, а я своими старыми гляделками и то лучше вижу. Свадебный шатер энтó, а не могильный. Вишь, мохры по краям. Ленты веют. А сверху и просто венец царский. Вот ен тебе за купол часовенный и кажет. Тьфу, тьфу. Минуй нас всякое горе! Не знавать ни лиха, ни хвори!

И долго слышен шепот девичий и старушечий в простой светлице боярышни Анны, в грядущем — первой жены царя Ивана, Анастасии, как была потом, по обычаю, заново наречена невеста царская.

Не опомнилась девушка, как уже очутилась во дворце кремлевском.

Первые испытания легко перенесла девушка. Боярин, делавший первый осмотр привезенным девушкам, прикинул к Анне «меру» царскую.

Не так высока ростом Анна. Но тут словно рок или рука чья-то попечительная помогла делу, мать догадалась сапожки надеть дочери такие, чтобы каблочки повыше были, на польский лад.

Боярин-приемщик сам ли был пленен красотой и прелестью лица боярышни, получил ли указания особые, только потребовал, чтобы Анна сбросила обувь. Поставил, измерил.

— Ладно! — говорит. — Вровень с мерою девица. Бабку можно звать!

И тут прошла все осмотры и обгляды Анна.

Высокие, обширные палаты стоят особняком среди всех остальных строений, составляющих женскую половину царского дворца. На каменных сводах, образующих нижнюю галерею, подклеть, сложены сами палаты из бревен тяжелых, крыты тесом, изукрашены резбой, облеплены крылечками, переходами и галерейками воздушными.

Внутри ряд покоев обширных, чисто, но просто убранных. Лавки широкие по стенам ночью отодвигаются от стены и служат для сна. Днем постели убираются, складываются вниз, в кладовых подклетных. В каждом покое от 10 до 12 девушек помещено, из числа тех, что выдержали первый осмотр. Матери или старухи-родственницы их в этом же здании, в покаях попроще, потеснее, помещаются.

Попала и Анна в одну из обширных горниц «невестной палаты». Не зря девушки и здесь размещены. По «статьям» подобраны. Все принято во внимание. Женых, когда пожелает, может ясно судить и сравнивать, выбирать лучшее. А потом из этого лучшего отберет себе перл желанный, царицу Московскую.

Но раньше, чем придет этот последний судья, еще тяжелый искус предстоит девушкам. Знают об испытании боярышни. Скучные, пригорюнясь иные сидят. А другие, которых больше всего кика царская манит, словно о предстоящем и не думают. В голове одна

мысль, в груди одна тревога: удастся ли всех победить, сесть на трон высокий, златокованный?

Анна, бледная, расстроенная, тихо у окна сидит. Нянька-старуха и боярыня Ульяна Федоровна тут же.

— Слышь, доченька! — негромко уговаривает Анну мать. — Да с чего ты в смуту такую пришла? Царская воля...

Анна молчит. Только две слезинки, выжатые стыдом и тоской, выкатились и застыли на ресницах. Вот она совсем вспыхнула, руками лицо закрыла. Слезы чаще стали скатываться сквозь тонкие пальцы рук боярышни.

— А зато, — совсем прильнув к уху дочери, шепчет тихо-тихо боярыня, — вспомни, што ждет тебя радость, счастье какое. Высота и-и какая!.. Я, мать твоя, и то не иначе называть стану свою доченьку, как осударыней-царицей. А про всех иных уж и баять нечево!

Так старалась мать уговорить девушку к «смотрянам», чтобы допустила она державного жениха поглядеть на себя во сне «потайно».

Быстро, как во сне мчится время. События следуют одно за другим, так что старые бояре, привыкшие к иному порядку вещей, головами только покачивают, удивляются и бормочут:

— Ну, смотрины! Ну, сбор невест! В две недели дело скрутили! Из дальних волостей, городов и ждать не желает царь. А може, там-та и нашел бы какую себе раскрасавицу. Неспроста оно. Видно, поблизу где облюбовал себе царицу!

А старая бабка Ивана, княгиня Анна Глинских, та совсем покою не знает. 215 девушек, уже отобранных, размещено в терему, в хоромах особой «невестной палаты». При них с матерями, с тетками или иными близкими родственницами больше трехсот старух ютятся в покойчиках и покоях того же здания и в соседних избах.

Стол посылать надо обильный, вина, пития разного.

Это бы еще ничего — велики запасы дворцовые, служанок-баб, сенных девушек и работниц хоть пруд пруди.

Иная забота у старухи Глинской. Вызвать хочется: нравом, помимо красоты внешней, каковы они есть, все эти избранницы? Одна из них должна, в конце концов, стать царицей. Не выбрал бы царь такую, что и ему и всем отравит жизнь. А венчанная жена не на день —

на век! Придется и локти кусать, да терпеть. И за каждой из 215 постоялок теремных незаметный, но строжайший надзор учрежден. И ночью и днем следят в сотню глаз за временными затворницами все окружающие их приставницы, вся челядь теремная.

Угадывает такой порядок родня избранниц. Каждая старуха свою дочь, или внучку, или племянницу остерегает:

— Блюди себя, милая! Слова лишнего с кем не скажи, словно в церкви стоишь, так все время будь тут... Ежели, даст Господь, в царицы попадешь, отведешь тяды душеньку. Не будешь знать ни в чем запрету или отказу... Теперь же и ешь не досыта, и пей вполгубы... Не сказали бы: «Жадна! Сладкого куска не видала... Вкусно не пивала»... И отвратят царя сразу от тебя...

И строго оберегают себя царские невесты. Что бы ни творилось, — вечно они начеку. Нарочно их злят служанки порой: не то дают, не так услуживают. А боярышня, которая дома служанку-рабу до крови била, если не угодит несчастная, здесь на все улыбается с лаской. Прямо ангел во плоти! Между собою и в горнице, и в столовой палате или в часовне, куда они постоянно являются к службе Божией, обходятся любезно, ласково, вежливо. И только обмен пытливыми, острыми взглядами выдает всю затаенную зависть, ненависть, всю вражду их взаимную! Каждая взвешивает и измеряет соперницу. Малейшая бледность, легчайшая складочка под глазами, живой румянец или печать усталости на лице — до последней пушинки, прильнувшей к дорогому наряду, каким щеголяет каждая, — все это подмечается с одного взгляда...

Этим да нарядами пышными только и проявляют все напряжение душевное молодые красавицы, собранные в царских теремах. Наряжаются все подолгу. Меняют наряды часто. Не только каждая привезла с собой лучшие наряды и драгоценности, какие хранились в родовых скрытнях и укладках, — многие даже напрокат, у продавцов набирали украшений, щеголяли в них... Разорялись, в кабалу продавались небогатые родители, чтобы соорудить какой-нибудь дивный, сверкающий охабень или летник, в котором могла бы боярышня всех затмить, царю понравиться...

Отличается от всех подруг одна Анна Кошкина-Захарьина.

И она наряжается, но только покоряясь настояниям матери. И она пытливо вглядывается в каждое молодое, прекрасное лицо, которое ей попадает на пути, какое мелькнет только в покоях заветной палаты. Но не зависть, не честолюбие сжимают грудь девушки. Безотчетно боится она, что увидит Иван так много красавиц, превосходящих Анну и видом, и родом, и богатым нарядом, — и откинет... Иную в жены возьмет.

«И пускай! — тут же решает девушка. — Пускай! Вон Дуня Нагих! Что за красавица! Статна, идет што лебедь плывет. Очи — как жар горят. Бровь темная, соболиная; хошь и не крась! А то еще Орина Горбатых-Суздальских. Веселая такая, здоровая, ясная. Пусть берет, пусть! Да только, — вдруг тоскливо, чуть не вслух добавляет она, — только жалеть они ево не будут, как я. Ни одна на свете так не пожалеет его!»

И Анна Романовна начинает горячо молить Бога: ей бы выпала доля великая — стать женой Ивана, царицей Московской...

После долгой невольной разлуки состоялась наконец встреча ее с царем.

Особенно рано, чуть не до свету, поднялись в тот же день барышни. Знали, что царь пожалует.

Быстро убрали покои. Покрыли скамьи дорогими полавочниками рытого бархата да сукна заморского.

В одном из покоев стул особенный, там с самого начала стоящий в углу, выдвинули на середину, подмостив его немного досками. Весь помост коврами покрыт. Стул мехами и парчой убран.

Место царское приготовлено.

«Гнездами», по 10—12 девушек, как размещены они по комнатам, собрались там боярышни, ждут, пока позовут их.

Насурьмлены, накрашены, набелены все, как водится по обычаю.

Ждет со всеми зова и Анна. Замирает сердце. Дышать тяжело. Если долго ждать придется — не вынесет она. Но случай выручил бедняжку. Их «гнездо» — первым вызвано.

Степенно тронулись боярышни. Сверкают дорогими повязками, шелестят-шуршат нарядами парчовыми да шелковыми. На руках целые облака кисеи расшитой.

Медленно входят парами боярышни. Глаза у всех опущены. У каждой богато расшитая ширинка в руках,

в ряд стали, отдали поясной поклон, челом бьют жениху державному.

Подал знак Иван. Старик-боярин, один только и пришедший с царем в покои заветные, заговорил:

— Здорово, боярышни! Откиньте фату, дайте царю видеть лица ваши ясные!

Тут впервые взглянула Анна на Ивана, так и впилась взглядом, забыв, что ей строго-настрого наказано и матерью и нянькой: глаза не пялить на государя. Сердце забилося у боярышни. Побледнел, похудел Иван за то время, что не видались они. Важный, почти строгий сидит в бармах, в блестящем уборе царском, так недавно возложенном на юношу. Словно не тот, не *ее* Ваня там сидит, а чужой какой-то, но еще более могучий и прекрасный, чем прежде. Таким часто во сне Анна царя видела, наяву — никогда. Просто одетый, веселый, беспечный проводил он часы в саду у вдовы-боярыни с ее дочкой-красавицей.

Ждал ли царь, знал ли вперед, что в этой именно толпе явится перед ним Анна, — только ее взор так скрестился с пытливым взором властелина.

Опустила глаза девушка и замерла. А старик-боярин, спутник Ивана, тоже Иван по имени, сын Иванов, Замятня-Кривой, дальний родич Анны и родня неближняя первой жены царя Василия, Соломонида Сабуровой, по порядку выкликает невест:

— Орина, Ондреева княжна, роду Горбатых-Суздальских...

Выступила вперед четырнадцатилетняя красавица княжна. Мягко, плавно ступает, полный стан слегка колышется. Подошла, склонилась ниц почти у самых ног Ивана. Стоя на коленях, протянула руку с шириной затканной и сложила ее у ног Ивана.

По знаку его подняла ширинку боярыня дворцовая, старая, которая «гнездо» привела, а теперь стоит у трона. Сбоку на столе грудой лежат другие кусочки расшитой, жемчугом и золотом украшенной ткани. Все тоже ширинки, тканые и раскрашенные в мастерских царицыных. «Отдаривать» ими царь должен девушек. Взяв со стола платок, он подает его княжне. Приняла боярышня, встала, еще раз поклон отвесила и к сторонке отошла.

— Анна Романова, роду Захарьиных, Юрьиных, Кошкина! — называет опять Замятня.

Робкими шагами приближается Анна. Колышется от изнеможения. Не дойдя на шаг до помоста, упала на колени как подкошенная. Протянула руку вперед, платок свой уронила к ногам царя.

Незаметно, чуть-чуть улыбнулся Иван. Выражение какое-то непривычное, доброе, словно слабый луч во тьме, промелькнуло на бледном, озабоченном его лице. Никто и не заметил этого. Только Анна, не глядя даже, почуяла: словно нить незримая, но живая, между нею и сидящим на троне вдруг протянулась.

Принял он платок Анны из рук старухи и, будто нечаянно, задержал его в руке. Не отложил к стороне, как первый. А другой рукою взял со стола богато расшитую ширинку и, слегка нагнувшись, кинул ее боярышне: далеко опустилась она, не мог он отдать ей в руки своего дара.

Судорожным движением схватила девушка этот лоскуток, с трудом поднялась и тихо-тихо двинулась занять место рядом с Ариной, суздальской княжной...

— Варвара Сицкая!.. — выкликают между тем Замятня.

И идут своим чередом «первые смотры» царские...

Три «гнезда» успел на этот день осмотреть Иван. Назавтра — дальше выбор пошел.

Много еще раз эти смотры повторялись. Многим иным испытаниям в рукоделии, грамоте, в знании божественных правил, хозяйственных и обыденных обычаев подвергнуты были боярышни. Десятки раз наполнялись молодые сердца надеждой и отчаянием...

После каждого «смotra» убывало число избранниц. И через две недели всего 12 невест проживало в трех лучших покоях большого «сборного» терема, недавно такого населенного, полного шумной, многолюдной толпой. Остальные все невесты, царем виденные, но отпущенные по домам, награждены на дорогу богато, смотря по знатности и положению каждой из них. Для двенадцати избранниц последний день пришел, последнее испытание готовится.

Тишина мертвая во дворце. Спят терема царские. Сторожа на стене перекликаются изредка. Двенадцать ударов пробило на башне Фроловских ворот. Гулко несутся удары в морозном воздухе и замирают вдали, в полусумраке лунной зимней ночи.

Жарко, душно в трех опочивальнях избранниц-невест. Шум какой-то слышался в переходах. Все притихло. Без скрипа повернулась дверь на смазанных петлях. Двое людей вошло в опочивальни. Царь впереди, за ним, шагах в двух, почтенный старик, тот же Иван Замятня. Тихо-тихо, словно крадучись, прошли они все покои, оглядывая спящих боярышень. Наутро судьба Анны Захарьиной была порешена.

Все двенадцать невест, пышно разряженные, стояли в ожидании царя, посреди обширного покоя. За каждой стоит мать или иная родственница и старуха-нянька, а то и две, три даже, как у богатой Ольги Годуновой.

Быстро вошел царь, окруженный боярами ближними, блестящей свитой... Сел на трон. Духовник царя, Федор Бармин, прочел молитву.

Встал Иван с трона, пошел вдоль всего ряда трепещущих, взволнованных боярышень. И сам он, очевидно, волнуется глубоко. Почти и не глядит на тех, мимо кого проходит. Раскрашенные, разряженные, укутанные в широкие наряды бабушкины, стоят они, а Иван не то видит. И дрожит у него в руке ширинка, которую он должен вместе с кольцом золотым передать избраннице, будущей царице Московской...

Кому-то достанется ширинка? Вот и мимо Анны тихо прошел царь, и слезами наполнились широко раскрытые глаза девушки. Быстро, незаметно старается она смигнуть эти непрошенные слезы. Второй раз совершает царь свой обход. У матерей, у мамок и нянек лица красные, истомленные. Так и подтолкнула бы каждая царя под руку, чтобы ее боярышне отдал ширинку желанный жених. И шепчут невольно молитвы и заклятия их старческие уста. Молятся и девушки, но про себя, беззвучно совсем... В третий раз двинулся царь вдоль всего ряда. Глядит всем прямо в лица. Вот Ольга Курбская, Евдокия Нагих, Орина Суздальская-Горбатая. Нет! Коли уже на то пошло — он и без венца может приголубить этих красавиц. А вот та, что почти с краю стоит, руки на себя наложит, схиму примет, а без венца даже к нему, к царю, не пойдет, хоть и готова положить за него свою душу.

И решил Иван. Медленно дошел он до Анны. Вдруг протянул руку... Анне Захарьиной платок и кольцо подает.

Общий невольный возглас удивления и боли вырвался у всех остальных. А девушка-счастливица не верит: сон или явь перед ней совершается? Слышит, мать сзади дергает, шепчет:

— Бери, бери скорей. Да в ноги кланяйся. Ох, Господи! Мать Пресвятая, Скоропомощница! Не передумал бы! Бери!..

Слышит голос царя:

— Што же! Тебя волим пояти. Бери ширинку и кольцо наше. И да благословит Господь, в час добрый!

Бармин подошел, осеняет ее крестным знаменiem. Все ей кланяются...

Поняла наконец девушка. Упала к ногам царя, целует их, плачет, смеется и лепечет:

— Ох.. я... Меня... Царь... царь мой...

И снова плачет, и опять смеется.

А кругом гул поздравлений. Поднимают счастливицу.

Снова заговорил Иван:

— Вижу, вижу: безмерно рада. Себя не помнит... Уведи ее, матушка-боярыня! Пусть поуспокоится!

И сам уходит из горницы, чтобы скорее могла в себя прийти невеста его избранная. И все поздравляют, пожеланья свои рассыпают перед избранницей. Бледны губы от ярости, полны очи яда, но тем униженной речи, тем льстивее величают ее все подружки, которым перешла дорогу, чьи надежды разрушила эта ничтожная, неприглядная, по их мнению, Анна Захарьина-Кошкина, эта змея хитрая, подколотная.

XVII

В особом терему поселилась теперь Анна Романовна. Недолго пришлось носить девушке имя свое прежнее. Другое, «царское имя» нарекли государыне-царевне: Анастасией назвали невесту государя и венец возложили на нее царский.

Раньше мать и нянька берегли девушку. Теперь вся почти женская родня Захарьиных, кто поближе, переселились в терем новонареченной царевны Анастасии. Берегут ее совсем как в сказке: ветру пахнуть не велят!

Торопится со свадьбой Иван. Масленица, гляди,

прикатит широкая. А там и пост Великий скоро. Нельзя будет свадьбу править... На третье февраля назначено венчанье.

Если у кого была еще надежда — сплавить как-либо невесту, так нежданно-негаданно со вдовьего двора да в царские терема попавшую, теперь эти люди совсем опешили, растерялись. Впрочем, и мать царевны Ульяна Федоровна не дремлет... Сын ее Никита, Адашев Алексей, Макарий, Бармин — все, словом, кого успел расположить к предположенному браку старик Захарьин-Юрьев, Михаил, зорко все следят: извне не нанес бы кто удара их делу.

А вдова Захарьина вокруг самой нареченной царицы вьется, от всякой беды сторожит. И недаром. За два дня до свадьбы вдруг тошнить стало девушку. Пришлось о болезни царевны жениху донести. Врача-иноземца Иван немедленно прислал. Тот поглядел, говорит:

— Странная вещь. Все в порядке у государыни-царевны. Может, чего-нибудь несвежего скушала.

— Какое там? Сама все, почитай, здесь готовлю, как и ранней. Здешней стряпни недолюблю. Мы с дочкой попросту привыкли...

Повертел головой старик-итальянец, говорит:

— Я декохтум такой пришлю, что его сама княгиня Анна принимает. Он поможет.

Ничего не сказала Ульяна Федоровна. «Декохт» приняла, потом его потихоньку вылила. А царевну свою Анастасию крещенской водой попоила и с уголька sprysнула. К утру все прошло. Только жаловалась боярышня: вкус меди во рту. И еще вспомнила, что из ковша немного квасу отпила накануне. А принесла ей тот квас не мать, не нянька, а чужая какая-то, из дворцовых прислужниц, а кто такая — и вспомнить не может...

— Да как же ты смела! — так и вскинулась на Анастасию мать. — Наказывала я тебе многожды: из наших рук только и пить и есть, не иначе!

— Да не было вас, а я...

— Да хучь бы там што! Вот не смей — и конец. Не то царю пожалуюсь...

Кинулась на шею старухе Анастасия, целует ее, шепчет:

— Матушка, нишкни! Буду слушать. Его, гляди, не тревожь!

На том и помирились обе.

Другая беда накануне самого дня свадьбы была открыта заботливой матерью. И сама старуха поплатилась при этом. Каждый вечер имела обыкновение Ульяна Федоровна оглядеть постель дочери: не подложено ли что да корешков каких куда не сунуто ли ворогами? Хуже чем во вражеском лагере надо быть начеку в те-ремах. Загубят девушку...

Пока Анастасия на ночь косы переплетала, откинула покрывало вдова-боярыня, с молитвой подушки переложила, перекрестила изголовье и стала ладонью по простыням проводить, разглаживать их, чтобы лежали ровнее. Вдруг что-то кольнуло в ладонь боярыню. Смотрит: сквозь перину длинная острая игла торчит. Да так воткнута, что непременно должна была наколоться царевна, если бы мать раньше не увидала ее, не наткнулась рукой на острие.

Ничего не сказала боярыня. Незаметно вытащила иглу, спрятала ее. Смотрит, на ладони капелька крови выступила. Отерла она кровь, уложила дочь в постель, сама в соседней горнице стала укладываться и все думает:

«Не может быть, чтобы нечаянно игла сюда попала. Козни вражьи. Сказать — дело подымется, каша заварится. А наутро и свадьба. Может, того и ждут, чтобы как-никак поотложить венец честной. Помолчу. Благо Господь не попустил вреда моей доченьке милой. А вороги не уйдут от казни. Повадился, бают, кувшин — цел не будет».

Так и заснула. Ночью прокинулась от боли в руке, которую наколола. Распухла вся ладонь, посинела.

До утра, до рассвета дотерпела боярыня... Утро терпела. От дочери руку, обернутую платом, все прятала.

Та к венцу снаряжалась: не до руки ей материнской, не заметила.

А к вечеру доктор осмотрел руку боярыни, узнал причину опухоли и говорит:

— Грязная игла, видно, которою уколола ты руку, боярыня! Припарки надо. А там я взрежу — и пройдет... Да где нашла ты иглу-то?

— На полу, батюшка. На полу! Нигде больше! Подняла — да и вот...

— Ай-ай-ай! Какой пустяк и столько хлопот! Гряз-

ная игла! Ну, да это не опасно. Поболит немного и пройдет.

Ломит, рвет руку боярыне. А она Бога благодарит.

— Слава Тебе, Господу, Отцу-Вседержителю! Отвел беду от царевны-доченьки. На меня пошло, на мне пусть и кончится!

Весь торжественный день, 3 февраля, боярыня Ульяна Федоровна стойко провела.

Венчанье церковное отстояла, пир отсидела свадебный. Когда уж стала дочь благословлять, когда начали осыпать новобрачных хмелем, золотом, мехами соболиными путь устилали, — заметила тут Анастасия, что у матери рука обернута.

Хотела спросить: «Что с тобой, родимая?» — да не посмела. В эти торжественные минуты лишнего звука, слова молвить нельзя...

Поглядела она только вопросительно на боярыню.

— Пустое! — благословляя дочку-царицу, шепчет мать. — Порезалась малость осколочками.

Успокоилась Анастасия. Вот наконец новобрачные оставили палату, где идет общее веселье. Родич царя, поезжанин самый ближний, конюший свадебный, князь Иван Мстиславский, в сопровождении других ближних к Ивану людей, с гиком, с посвистом, сабли наголо, гарцуют вокруг царского покоя. Ни боярынь ближних, ни челяди докучной нет поблизу. Только в соседнем покое Адашев, спальник и друг царя и царицы, не то дремлет, не то глубоко задумался о чем-то, совсем притих.

Вдруг страшный, жалобный женский крик, дикий крик испуга огласил весь небольшой покой — «сенник брачный».

Адашев, который не раздеваясь протянулся было на лавке в соседней горнице, вскочил, потрясенный, и кинулся к дверям опочивальни. На пороге ее показалась сама Анастасия. Бледная, как смерть, она вся трепетала. Крупная дрожь потрясает тело. Ноги, руки ходуном так и ходят. Зубы стучат. Еле-еле могла проговорить она, хватая за руку Адашева:

— Царь... Ваня... умер... умер царь!..

И тут же свалилась без чувств на ковры.

Не веря ушам, кинулся Адашев к царскому ложу. На нем, вытянувшись, закусив до крови губу, иссиня-бледный, лежал Иван. Но не мертвым, а в обычном

своем припадке «черной немочи», которой был подвержен еще с детства, когда бояре мятежные напугали его.

Накрыв Ивана концом убруса, Адашев вернулся к Анастасии, осторожно уложил ее на скамью и стал приводить в чувство.

Иван очнулся раньше жены. Когда Анастасия пришла в себя, муж и Адашев хлопотали вместе, стараясь привести в сознание напуганную царицу.

Увидя, что жена раскрыла глаза и с испугом глядит на него, Иван виновато зашептал:

— Не посетуй, горлинка. Не говорил тебе я раньше. А надоть бы! Недужен, вишь, бываю!.. Обмираю ненадолго...

— Жив?! Ты жив?! — залепетала Анастасия, заливаясь радостными слезами. — Боле ничего и не надобно мне! Жив! Жив!

Часть вторая

В НЕПОГОДУ ОСЕННЮЮ

I

Ожили было на время тихие терема Кремлевские. Дрогнули их темные стены от шума, от песен, от гомона, от смеха людского. Неделю почти длилось «веселье», свадебный пир царский. Да и потом еще, когда пост настал, много тихой радости чуялось в стенах «монастыря мирского», терема царицына...

Весела и радостна была новобрачная царица — и кругом, словно отражение лучей солнечных на глади речной, — все были довольны, веселы.

Но недолго это длилось.

Сразу как-то переломилось счастливое настроение в теремах, едва сама Анастасия стала выглядеть такою грустной, растерянной. Изменился ее муж молодой. Раньше все дела забывал ради жены. А теперь — редко и видится с ним Анастасия.

Кто знал, кто и не знал причину перемены, произошедшей с царицей, — все одинаково жалели юную госпожу свою. В самое недолгое время успела царица покормить всех окружающих лаской и кротостью, справедливым и внимательным отношением даже к последней из сенных девиц.

Веселье, гость недолгий, отлетело от теремов. Снова скука, томление и тишина в них царят.

Молитва, труд, еда и сон — вот все, чем наполнена жизнь затворниц теремных, с венчанной их хозяйкой во главе.

Время к полудню близко. Мартовское вешнее солнышко заглядывает в небольшие сводчатые оконца нового «царицына верха» — каменного терема, где помещается Анастасия.

Пальцы разные стоят у окна. Жемчугом, шелками да золотом вышивает царица покров богатый в убогую

церковку Святого Христофора — Песья голова. Обет, данный еще в ту минуту, когда молилась в этом храме боярышня Анна Захарьина, свято выполняет теперь царица Анастасия.

Не одна сидит Анастасия. Боярыня с ней ближняя, тетка ее родная, Пелагея Захарьина, вдова дяди Михаила Юрьича. Грустна царица. Скоро время за стол идти. А Иван дал знать — не ждала бы его. У него столы посольские нынче. Прием большой. Одной придется за стол сесть. Вся трапеза пройдет с молчаливой торжественностью. Тоска какая!..

Уронила иглу, склонилась на руку головой. Глядит за окно широко раскрытыми глазами, которые сейчас еще больше кажутся на исхудалом лице, — и думает, думает без конца царица...

Так задумалась, что не слышит теткиной болтовни. А уже та ли не старается разговорить племянницу-государыню...

— Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас! — раздается за дверью пискливый, резкий голос.

Это придверница очередная. Машка-полудурье, как ее зовут, кривобокая, здоровая, родня няньки Анастасиной, за дверьми произнесла обычную молитву.

Вздрогнула слегка царица от громкого голоса.

— Аминь! Што тебе, Маша?.. — спросила она толстуху, которая неуклюже совершала обычное метание перед «осударыней».

— А слышь, мамонька твоя жалуется, осударыня ты моя. Поизволишь ли видеть боярыню, осударыня ты моя?

— Зови, проси! Вестимо! — обрадовалась, заторопилась Анастасия. Поднялась и, следом за ушедшей придверницей, сама пошла навстречу матери.

Низко поклонилась старуха царице-дочке, касаясь рукой до земли. Поясным поклоном ответила ей Анастасия, потом расцеловались обе. Расцеловались, обменявшись поклоном, и старухи между собою.

— Ну, вы тута покалякайте. А я пойду взглянуть, столы готовы ли? Вон, солнышко уж как высоко. Чу? И часы отбивать стали. Без чети полдень. Пойду!..

И тетка вышла, оставя мать с дочерью наедине.

— Где побывала, матушка? — спросила Анастасия, снова усаживаясь за пядьцы у окна.

— В монастыре в Вознесенском. Просвирку за твое

здоровье да про зятка-осударя выймала. Вот, осударыня-царица, прими, откушай во здравие!..

И она передала дочери просфору, завернутую в белый плат.

— Благодарствуй, матушка!

Приняла сверток царица и положила его на широкий подоконник, покрытый голубым сукном. А сама снова пригорюнилась, склонила голову на руку, ждет, что мать говорить станет.

— Да што ты, милая? Што с тобой, осударыня-доченька ты моя ненаглядная? Не доходят, видно, молитвы мои горячие до Пречистой, всех скорбящих Заступницы! Не укрощается твоя печаль. И не грех осударю! Он, знаешь ли, милая... я што ошшо узнала про ево. На мальчишник-то што творилось, перед свадьбой перед самой?! И-и, Господи! Мовниками-то в мыльне были: Мстиславский, князь Иван, да брательник царский двоюродный, Володимир Ондрееич, отделенный князь Старицкий. Да Курбский Ондрей, да Суздальский-Горбатый. И верховых мальчугашей набрали туды для услуги. И такой Содом пошел. Один Адашев, Олешка, сказывают, и вина почитай не пил, и всякого греха блюлся. А еще, сказывают...

— Матушка! — негромко, с мольбой произнесла Анастасия.

— Ну, ладно, ладно. Молчу. И то сказать: быть молодцу не укор. Дело было холостое, досвадьбишное. А вот теперя што творится! Почище будет старого...

Дочь уж ничего не сказала. Глядя в окно, она больше прислушивалась к думам да к терзаниям своим, чем к словам боярыни. А та продолжает:

— Слышь, свадьба скоро беспутного Ваньки Мстиславского с красулей, с Ориной Горбатой-Суздальской. Ладно... А кто состряпал свадебку-то? Ведаешь ли? Царь сам, наш батюшка! Вишь, так нахвалил своим подлизням девку, что у князька и зубы разгорелись. Езжали не однова в гости к Горбатому-князю на двор. Тот и перетрусил: для ча ездит царь? Не сам ли целит на Орину? И ошшо помог делу, штобы скорее Мстиславскому дочку сбыть. Там што опосля будет! Мужнина доля, мужнин и стыд. Хошь бы, значит, девичью честь сберечь. Да, стой! — разоидясь вовсю, негромко и торопливо начала выкладывать свои новости дочке боярыня, — што ошшо бают!.. Евдокею-то Нагих не

зря отец с маткой в этаку рань, до лета ошшо, из Москвы увезли. В вотчине ноне с маткой оне живут. И отец бы поехал, да царь, вишь, не пускает. Тоже больно хвалил он девку своим беспутным товарищам. «Таякая, — баял, — этакая!» И тоже почал туды частить-гостить. Царь, вестимо! Зван-незван — примать надо. Да все Дуню, все дочку ему выводил... Помнишь, с тобой она в одном покое спала тогда...

— Помню... Хороша. Куда лучше меня!.. — слабо откликнулась Анастасия.

— На ей бы и женился. А взял тебя, — так уж дело святое, в церкви петое. Нечего на иных зариться. Там коли он с сенными али с иными паскудами — ну, куды ни шло. Все они, мужевья, што простые, што вельможные... А уж боярышень призаривать стал! А венцу вашему и всего-то без году неделя. Ты б, осударыня-доченька, подбодрилась, постаралась как-никак. Царь не царь — все же ему слово молвить можно. Муж тебе!

— Што я скажу? Што удумаю? Как буйный ветер в поле, так и царь в своей воле! Куды пожелает, туды и летит! — отвечая скорей на свои мысли, чем на слова старухи, заговорила Анастасия. — Захотел он — взял меня. Как орел пичужку малую. Хочет — несет в высь безмерную... Нет — кинет снова туды, вниз, во тьму непроглядную... И то пичужке добро, что носил ее орел могучий. Солнце близко видеть дал. Ветром пахнуло на малую, вольным ветром в поднебесье. Што мне говорить царю? И думать не о чем!

— Так-так... Это мужевьям и на руку, когда жены у них так ладны да складны. Што ни твори, только «прочь» ей не говори!.. Ну, видно, самой придется как-никак за дело браться. Вон хошь и сладко поешь ты, осударыня-дочка, а сама, ровно воск ярый, так и тает! Што же, любо мне это видеть? На счастье, на радость дочку во царицы вела, а теперя — вот те и два дни! Иная судомойка меньше слез проливает, чем царица-осударыня Московская.

— Не плачу я, матушка!..

— Не лги. Грех. Глаза выдают. Кому скажи, да не матери. Вижу, плачешь али нет! Ну, ладно. Пойду с другого конца. Я к владыке кинусь. Ошшо поглядим!..

И, сжав губы, боярыня умолкла. Это вышло тем более кстати, что пришли с докладом к царице:

— Столы готовы. Благословит ли осударыня за трапезу сести?

И Анастасия с матерью перешли в обширную Столовую палату, где дочь уселась за особый, царский стол, а мать заняла первое место в переднем углу за тем столом, где обедали главнейшие из боярынь, приближенных к Анастасии.

II

В это же самое утро в другом месте шла горячая беседа, в которой часто поминалось имя царя.

Адашев явился к митрополиту Макарию с поручением от царя и застал там Сильвестра. А Захарьин, боярин Михаил Юрьевич, прощался с обоими.

— С чем пожаловал, сыне? — проводя до порога дядю царицы, спросил Макарий Алексея.

— Изготовиться осударь милости просил у тебя, владыко, к веселью князь Ивана Феодоровича. Слышь, в то воскресенье венец примут с Ориною Суздальской. Не терпится.

— Кому? Жениху али свату? — не вытерпев, буркнул Сильвестр не громко, но довольно отчетливо.

С легкой усмешкой кивнул ему Макарий успокоительно головой и обратился к Адашеву:

— Челом бью государю. Скажи: все-де готово у меня, што духовного чину касаемое. Пир-то во дворце, што ли, править будете?

— Должно, во дворце. Сам-то отцом посаженным. По родству своему, по ближнему.

— Породнятся, поди, поближае ошшо! Так што их сам шут веретеном не разнимет! Только бы ведать мне хотелось: князек Мстиславльский ноне ослеп али отроду глуп? Али умней умного, да дураком кажет? Дешевое отдаст, дорогого добудет? Ась?

— Буде, помолчи, отец-протопоп. Придет к тебе на духу каяться, вот ты и поспрошай князя. Авось скажет. Полно тебе стоять-маячить, Алеша. Садись, гость будешь.

— Твой раб верный, отче-владыко!

— Ну, что новенького наверху?

— Вести не глухие, да больно лихие. Звону о нас, поди, через всю Москву хватит и в Торжок попадет. Больно лихо, все не по-Божецки.

— Хе-хе, малый: по-Божецки — у Бога, в раю. А земля юдольная — людям дадена, человекам. Вот мы в ней свои порядки и заводим.

— Не свои, дьявольи, — пробурчал опять протопоп.

— Постой, батько! Дай нам потолковать. Мы с тобою досыта ноне все утро грызлися. Дай с пареньком по-милому. Ну, толкуй: што и почем?

— Все в одно, владыко. Страм. Глаза бы не глядели. Сызнова старые прихвостники кадык подымают. Мало што на похоть ведут его, в дела царские-государские мешаются. Правду продают земскую. Тех наместников руку держат, кои им мзду несут, а сами народ грабят. Сызнова кровь полилася. Лобное место отдохнуло малость было. Ноне гляди, как ретиво заработали там молодцы, други сердешные, мастера заплечные. И не все за вину. Боле за правое дело, за честь свою люди гибнут. За то, што богаты, да не тароваты к царевым подлизням. Худо, владыко!..

— Худо, да не очень. Ну, дале!

— Что дальше, то горше. Еще не складней! Захарьины, што молодые, што старые, вестимо, в гору пошли. Родичи царицыны, самые што ни есть ближние. А Глинским да Бельским оно хуже ножа вострого.

— Ну, уж и Захарьины твои хороши. Сладок мед, да дерет рот. Хотели б сами головней всех быть! Да, гляди, дело их не выгорит. Хоша и собираются они выкуривать литовскую родню. Дядевьев царевых.

— Как выкуривать? Што мелешь такое, отец-протопоп? Говори толком! — быстро обратился Макарий к Сильвестру, снова вступившему в беседу.

— Што, жигануло? Вот послушай, владыко. А я толковать стану. Авось не перебежешь теперя. С Бармина все пошло. Давно я за ним примечаю. И довели мне ноне, что не сидит дома попик. По людям все, да к нему люди. Великую поруку Москве учинить, вишь, бояре крамольные ноне удумали. Запалить ее хотят. А там на Глинских беду свалят. Мол, колдуны Глинские, власть-то потеряли прежнюю при царе, при женатом, так Москву палят. Лекарек-старичок есть при бабке при царевой. Жидовин, бают. Ему царь дозволил с Лобного места да из застенка казненных брать. Он на ихних на телесах науку свою лечебную смотрит. Глядит, што где в человеке находится. Захарьиным такая повадка и на руку. Пустят в народе словечко: колдуют-

де Глинские! И Москву волжбой пожгли! А сами, може, и смердов подзудят, пустят огоньку на посадки. И пойдет потеха...

— Гляди, што и прав ты, отец-протопоп. Как думаешь, Алеша?

— Ох, прав. Глинские-то уж и почуяли. Прочь из Москвы просят. И я знаю: пожаров Москве не избыть! Шуйские совсем по-старому зашевелились. Новгородцев своих булгачат.

— Сам знает ли? Царю доводил ли?

— Была речь...

— Ну, что же он?

— «Пушай, говорит, на хороший пожар я охоч поглядеть. От посадов поломя до нас, до Кремника, не достигнет. А я вон читал про Неронуса-кесаря. Выжег он сам свой стольный Рим, а потом краше прежнего отстроил. И я погляжу: може, ошшо к руке, што бояре мои палить один одного норовят. Пушай грызут друг дружку, яко скорпии. Бывало, деды мои, говорит, их сами стравливали. А тут мне и без хлопот. И палачам моим меньше забот». Я было про черный народ помянул ему, про земщину. Мол, им хуже всех придется. И без пожаров плохо: холодно, голодно. Москва-река разлиться грозит. Гляди, не осилит народ горя. Ропот зачнется. А он на ответ: «Нам, царям, земщина первый работник и друг. Ее нечего нам бояться». Я уж дале и толковать не стал! А он еще шутит: «Москва-река разольется — огонь зальет. Все выйдет ладно!».

— Толковать не стал? — заворчал укоризненно Сильвестр, пользуясь небольшим молчанием, наступившим после слов Адашева. — То-то и оно-то! Легкодухи вы все! Тако бы отроку и рубнуть с плеча про все его беззакония да про вся скверна душевная! Авось бы очухался.

— Толковал я. Вестимо, с опаскою. Вот как отче-владыко учил.

— С опаскою?! А место ли ей? Тута што опаска, што совсем пришипиться, молчать, все едино. Буен отрок. Безо всякой опаски надобно. Напрямик ломить!

— Так ли, брате? — вступил в речь Макарий. — А ежели закоснел больно отрок? Не то слушать не станет, а сам еще на советчика непрошеного подымет. Как тогда? Ты вот посмел бы такое дело учинить: коня дикого не умом, а силом осилить?

— И посмел бы! Ну, што он? Ну и пусть! Ни много ни мало, гляди, к Герману-святителю, к Зосиме-Савватию зашлет! Вся и кара. Я не мирянин. Што ж, стерплю. Побуду, поживу в обители. Телу труждане, душе поворот на стезю правую. Во спасение души муки-то телесные. Я и спасуся! Я...

— Э, все о себе ты да о душе своей! Толк-то какой? Толк будет ли для царства?

— Единое царство ведаю: небесное! Пастырь ты, так овцу заблудшую направь. Сказать все должен как по правилу, вот и вся недолга!

— По правилу? Неправильный человек ты, протопоп, со всяческим своим правилом! Мы вот о земле обо всей, о людях смекаем. О смягчении души царской сокрушаемся. А ты со своим строченым правилом! Заладила сорока Якова. Знаешь ли?

— Знаю, знаю. Сдается: не дожидаться нам добрых деньков! Как ни вертись, все одно и выходит! Припомни, владыко, мерekali мы с тобою, отрок-то, боярами запуганный, поруганный, в силу придет, отшатнется от них, от блудного житья ихнего! А он ошшо и вперед ушел! О земле обо всей не помнит. По слову Божию жить и не думает.

— Погоди, баю...

— Долго ли ждать, владыко? Десятки годов годили. Деда перегодили. Ивана Васильевича Третьяка. Отца, Василь Иваныча, избыли. Ноне внучка, другого Иван Васильича, Господь дал. И все то же на то же. Годим ошшо!

— И погоди. Не так уж мы с тобой больно стары да увечны. Дождемся чего. Как думаешь, Алеша? Ты чего не скажешь ли? Совету не дашь ли?

— Невместно мне отцу-владыке советы мои глупые тебе советовать. Думы свои скажу, как они во мне есть.

— Ну, думой поделись, ежели так тебе способнее.

— А дума моя такая: горяч больно наш государь. Душа в ем, что смола в котле, так и кипит! А делов-то мало! И бояре старые на первых местах торчат, свое гнут. Да и какое дело юному царю в мирной поре? Вот и скачет он. Народ давит. Бои потешные налаживает. Бог весть што творит порой.

— Так, так... Далей!

— Вести ноне пришли добрые: на татар на казан-

ских беда налетела! Царь ихний, Сафай-Гирей, помирает, гляди. Наследник по ем, Утямишка-царенок, трех годов ему нет! Не миновать нам под Казанью зимовать, юрт ихний, мусульманский, отымать. Вот царь и позаймется. Кинет игры земские, негожие. Татар давить-рубить станет, ихних татарок наберет, своих трогать, гляди, не станет! Вот...

— Ладно-то оно ладно, да не совсем. Как скажешь, протопоп?

— И сказать нечего! Завоюет юрт — нам и житья от него не станет! «Мы-ста да мы-ста! Полон полонили!» Гляди, нам опосля хуже, чем татарам, придется! Мое слово — всегда одно и едино: ныне же его, часу не медля, добре под начал забрать надобно.

— Пожалуй, и ты прав. И хотел я вам...

Но Макарий не договорил.

— Господи Иисусе Христе... — вдруг раздался какой-то глухой, загробный голос за дверью покоя, где сидели друзья.

Словно из подземелья глубокого шел этот голос. И затем, сейчас же, откуда-то с высоты, совсем издалека, другой, воздушный, звонкий голос закончил обычное входное прошение.

— Сыне Божий, по-ми-луй ны! — совсем замирая в высоте, пронеслись последние звуки.

Макарий улыбнулся. Адашев вздрогнул. Сильвестр торопливо закрестился, зашептал молитву и стал боязливо озираться.

— Господи, помилуй! Наваждение, што ли? Быть не может. Помянуто имя Божие. Што за глас такой?

— Сейчас увидишь. Аминь! — обращаясь к дверям, очень громко крикнул Макарий.

Дверь раскрылась. Вошел человек небольшого роста, коренастый, широкоплечий, очень смуглый. На голове ежом торчали густые, черные как смоль волосы. Небольшая вьющаяся черная бородка и торчащие усы дополняли облик Петруса Денаро, итальянца, одного из переводчиков, каких много состояло при митрополите.

Для затейного Макарием составления книги Четьи-Минеи необходимы были люди, способные переводить на русский язык западные источники о жизни святых.

Отдав поклоны хозяину и его гостям, которых, очевидно, знал, Петрус скромно остановился у дверей, де-

ржа в руках какой-то четырехугольный предмет, покрытый темным сукном.

— Принес? Наладил? — так же громко, как обыкновенно говорят с людьми немного глухими, произнес Макарий. — Видал ли, протопоп, мово толковника первого? Глуховат малость, а золото, не человек!

— Занятный фрязин! — вглядываясь в иностранца, отвечал Сильвестр. — Звать-то его как?

— Петрус Динара.

Итальянец, меж тем отвечая на громкий вопрос владыки, кланяясь, заговорил тоже очень громко и довольно понятно по-русски, пересыпая чужой говор словами родной речи:

— Да, да, Padre sanctissimo! Принос, принос. Гатов, гатов... Сичас, одна минута...

И с обезьяньей быстротой, даже с ужимками, напоминавшими это животное, Петрус стал разворачивать свой ящик и устанавливать его на одном из столов комнаты против гладкой стены.

— Штой-то, не колдовать ли басурман собирается? — тревожно спросил Сильвестр.

— Помолчи, батько. Увидишь сам. Худа не будет.

— Да скажи, владыко: он это за дверьми на разные, чудные голоса голосил?

— Он самый.

— Ну, и дар даровал Господь немчину! — разводя руками, сказал Сильвестр.

Адашев, очевидно зная, что готовится, помогал итальянцу. Сам родом из «сурожан», Алексей, как и отец его, Данило, немного понимал и говорил по-итальянски. В это время, уловив знак владыки, который подмигнул толмачу сначала на Сильвестра, а потом указал на горло, Петрус, не отрываясь от дела, не раскрывая губ, стал опять чрево вещать. Совсем за спиной у Сильвестра прогремел зычный голос, словно из стены:

— Кайся!

Так и вскочил протопоп.

Бледный, задрожавший внезапно, стал он оглядываться боязливо, увидел улыбку Макария, заметил, как Адашев тоже еле сдерживает смех.

— Господи, прости прегрешения наши! Энто все он же? Да зычно, да чисто, да речисто каково по-нашему! Первый раз и слышу такого шукаря. Скоромох ловкий!

— Так он и был скоромохом у себя. Много земель объехал. У англичан долго живал. По-ихнему знает. Взманили фрязина: мол, Москва богата и таровата. Он к нам и закинулся. На мою долю Господь его послал. Все что надобно перетолковать умеет с ихнего языка. И с аглицкого. А в ину минуту так и потешит, позабавит, што сам хохочу, хоша и не из веселых я.

— А што энто мастерит твой Петрус? Ишь, и ставни прикрыли. Свечи засветили. Ночь совсем в покоех сотворил, пройдоха.

— Увидишь скоро. Только гляди не полошись. Не колдовство — искусство людское сейчас будет нам явлено.

— При тебе, владыко, чего опасаться. А инако я один на один с энтим штукарем в охотку не остался б.

— Ну, гляди. Садись вот тут!

Сел хозяин и гостя с собой рядом усадил. Адашев к ним приблизился. Стоит за спиной у владыки.

Петрус в это время, установив свой ящик, зажег там небольшую масляную лампу с серебряным отражателем. Затем подошел к стене, против которой установил аппарат, снял со стены небольшой коврик, там висевший. Гладкая, светлая, обнаженная стена, выкрашенная розовой краской, была озарена огнем одного трехсвечника. Мимоходом Петрус погасил и этот трехсвечник. Теперь только сияла в комнате лампа, принесенная фрязином.

Вдруг — и ее не стало. Она куда-то была убрана.

Совершенная тьма воцарилась в покое. И на стене, против ящика итальянца, виднелся бледный круг света.

— Штой-то он учнет делать? — невольным шепотом спросил Сильвестр.

— Помолчи, батько! Потерпи. Сейчас увидишь! Все уразумеешь!

В то же мгновение светлый круг засиял очень ярко, увеличился. В нем образовались очертания не то человека, не то духа какого-то.

— Я волжбу твару. Я — граза Эндора! — зазвучал замогильный, скрипучий голос совсем, совсем оттуда, где явился призрак.

— Саул ко мне идет... Судьба повелителя ждет...

Мелькнуло что-то в светлом круге перед глазами пораженного Сильвестра.

Петрус совершил перемену стекол в своем аппара-

те — первобытном волшебном фонаре — и уж две фигуры видны на стене. Царь Саул вопрошает грубым, властным голосом:

— Гавари, старух: какой мой судьба?

— Не я скажет... Скажет тень Самуило! — скрипит волшебница.

Новое мелькание. Тень какая-то замогильная в белом саване вырастает, парит в воздухе перед Саулом и произносит заглушенным, нездешним голосом:

— Час настал. Кайся!

— Фу-ты, Господи! — вздрогнув, опять всполошился Сильвестр. — Ведь уже вижу, што не чары, просто игра энта хитрая. А жуть берет. Буде, владыко! Свету бы! Испарина индо прошибла от страху.

— Буде! — очень громко приказал Петрусу Макарий.

Адашев быстро раскрыл ставень, впустил лучи солнца в покой. Фрязин стал собирать свой ящик.

— Поставь его вон к сторонке! — распорядился Макарий. — А я тебе и новых стеклышек с образками наготовлю. Ноне посвободнее время у меня. Гисторию-то Макбетуса-короля истолковал ли мне с аглицкого? А?

— Да, да. Трагедия есть готов. Я буду читай, када прикажит.

— Ладно, опосля. Ступай с Христом! — И снова осенив крестным знаменем набожного итальянца, он отпустил его.

— А ты што так призадумался, отец-протопоп? Али штуки энтого фрязина таково тебя за сердце взяли?

— Захватили, забрали, что греха таить, отче-владыко. Да, как энто он? Кто готовит ему образа? Как просиять они так могут, что на стене видны? Не посетуй, толком скажи, владыко.

— Скажу. Труд невелик. Стекла цветные видал ли в оконницах?

— Видал в немецкой слободе. У аптекаря. И в моленной ихней. Стой. Там на одном стекле — святой ихний был. Солнцем как ударило — он на стене на белом так и вышел. И здеся, видно, тако же?

— Так само. Угадал, батько. Знаешь: малость и мне дару Божьего дадено. Умею малость лик начертать человеческий. Случалось и образа обряживать.

— Не малость, владыко! Велик дар тебе Бог вложил в душу.

— Ну, пускай. Вот как меня Петрус наставил, гляди: беру я скло. Краску такую разведу, тонкую, не густую. Словно бы слюда, прозрачную, особенно как подсохнет. И рисую. Вот Саула с Самуилом. А то и иное што можно. Народ попугать! Ха-ха...

— Не то пугать, совсем можно страху на душу навести. Вот бы...

— Што, осекся? Толкуй dalej...

— Вот бы... — оглядевшись, тихо заговорил Сильвестр, — отрока — буя нашего, царя юного. При каком-нибудь часе таком, способном. Ему бы показать муки адские и пригрозить. Авось опамятуется? По-Божьему жить учнет?

Макарий, который к этому и клонил разговор все время, быстро закивал головой.

— Ну и умен ты, батько! Ловко измыслил. Как только подстроите вы? А я бы вам и начертал стеклышки пострашнее, и Петруса мово научил бы вам помочь.

— Во, во!.. Я о нем и думал. Мы бы с Алешой могли ночной порою время улучшить? Как мыслишь, Алеша? Отвадили бы отрока надолго от греха?! А?

— Пожалуй! — живо отозвался Алексей.

— Ну, так давай, обсудим все по ряду! — довольным тоном заговорил Макарий. — Я рад доброму делу помочь.

И, усевшись поближе друг к другу, они стали обсуждать план дальнейших действий, с целью — исправить отрока-государя, наставить его на путь истинный.

III

Если не пророки, так верные отгадчики были все три друга, толковавшие о царе и о делах московских в келье митрополичьей.

Пожары за пожарами скоро начались в подмосковных посадах. То один, то другой порядок домов так и загорится-запылает весь.

Началась пожога с 12 апреля. В Занеглименье — в Белом городе — чуть ли не шесть-семь сотен домов так и выкосило. 20-го повторилась беда.

Бояре приказали ловить поджигателей, зная, что таков уж обычай на Москве: из мести врагу красного петуха пускать.

Изловили нескольких холопей; среди них одного из числа кабальных князя Глинского, Юрия.

Захарьины свою линию ведут, раздувают дело, толки сеют тревожные. А народ свое толкует между прочим: за грех бояр Господь покарал!

Кроме пожаров мор посетил Москву. Сперва как и ждали того, Москва-река разлилась весною очень сильно. Не только множество скота потонуло в прибрежных посадках, но и людские трупы остались лежать в тине, на берегу, когда отхлынул весенний паводок.

Гнить все стало. Убирать трупы некому. Вот и мор.

Забубнил простой народ, зашушукал по избам.

— За грехи Господь карает! Да не за земские. Сам-то осударь наш отрок дюже зазорно живет, неугодно для Оспода! Не то по полям с хортами, по селу, по деревне порой скачет, народ православный давит, словно бы бусурмане то были, вороги некрещеные! Неладно, ой неладно! Не бояре думные, не отцы духовные но не — бражники, скоморохи да гусельники первые люди в царских теремах...

Так толковал народ.

Ивану доносили об этом. Но он только презрительно пожимал плечами, полагая, что советники-бояре его запугать хотят.

Уходя подальше от зачумленной мором Москвы, выехал царь на лето в село свое Островское. Там кроме бражничанья — и пытками, забавами дикими потешал себя властелин.

Анастасия в это время как раз почуяла, что новая жизнь забилась у нее под сердцем, и старалась только укрыться на своей половине подальше да получше, чтобы не долетали сюда отзвуки дикого веселья царского.

Тосковала, плакала юная женщина, но сама же старалась осилить свою скорбь, развеять ее и все шептала про себя:

— Дитятко мое нероженое! За что его печаловать я буду? Уж сама снесу лучше. Все стерплю!

И только улыбалась на все сквозь слезы.

Знал это Макарий и чаще да больше задумываться стал.

4 июня 1547 года, уж под вечер, примчался на митрополичий двор гонец какой-то из села Островского. Конь в пене, дрожит, шатается... Видно, все 10—12

верст сломя голову мчал. Всадник в пыли, говорить не может, так горло и губы пересохли.

Подал службе столбчик невелик, запечатанный и прохрипел:

— От спальника. От Адашева. Самому отцу... митро... митрополиту... скорееча!

Как только прочел Макарий записку Адашева, так и вскочил, кликнул:

— Отца Пафнутия! Поживей ко мне!..

Ключарь отец Пафнутий явился через пять-шесть минут, выслушал, что на ухо приказал ему Макарий, и чуть не бегом кинулся через площадь, прямо к шатрообразной звоннице Ивановской, где главные колокола соборные темнеют смутными своими очертаниями в пролетах деревянного сруба, среди наступающих сумерек.

— Слышь, Сема! — обратился тут же Макарий к любимому своему послушнику. — Беги на людской двор, вели что ни есть у нас самого быстрого коня седлать. Да пусть Федька... он скачет лихо... Пускай изготовится в единый миг! Я ему грамотку к царю дам. Беда прилучилась. Сейчас отец Пафнутий мне сказал, что главный колокол, Благовестник нарицаемый, сорвался и на помост упал. Не к добру тот знак!

Помчался юный монашек. Через каких-нибудь пять минут гонец скакал с посланием митрополита в село Островское.

Когда выезжал гонец из Куретных ворот, в ту самую минуту на Ивановской площади народ быстро стал собираться перед звонницей.

Грохот какой-то там раздался. Звон гулкий, хотя и заглушенный пошел. Словно чья-то грудь гигантская издала стон жалобный, рыдание короткое.

Бледный выбежал из-под звонницы ключарь Пафнутий и объявил:

— Бяды, братия! Благовестник сорвался. Вниз так и грохнул. Не к добру...

— К худу, к худу! — зарокотала толпа.

— Што и говорить: худо будет. Хоша бы боле уж и некуды!

А Макарий, перечитывая записку Адашева, шептал:

— Поспеет ли? Господи, поспел бы...

На куске хартии так стояло, наскоро написанное Адашевым: «Близко часу — стал пытаться псковичей-челобитчиков, подученный на такое дело Глинскими. По-

спеши сам ли сюды али как останови бесчинство. И горе и позор будет, коли запытает невинных, мало не сотню душ. Столбчик мой энтог в огонь кинуть не позабудь, отче-владыко!».

Подписи нет. Знает Макарий руку Адашева. Знает и псковичей, которые по его же, владычному совету, косвенно данному, отправились к царю жаловаться на зверя-наместника псковского, на князя Пронского-Турунта, поставленного на воеводство Глинскими и явно грабящего народ.

Вовремя поспел гонец митрополита. Огнем стал уж прижигать несчастных жалобщиков озверелый Иван. Да еще глумится над бедняками:

— Божий вам суд творю. Вынесете огонь — по вашему челобитью сделаю, удалю Турунта!

Узнав плохую весть о падении колокола, Иван все бросил, даже Анастасию не дождался, в Москву кинулся — и псковичи были спасены.

IV

Угроза свыше, за какую сочли все случай с падением Благовестника, не надолго образумила Ивана.

Двадцатого июня 1547 года, взволнованная, бледная, встретила вечером, в Столовой палате, царица Анастасия юного семнадцатилетнего супруга и царя, который всего-то годом старше жены.

Бледна за последнее время Анастасия, потому что «непраздна» ходит.

Вот уже около пяти месяцев, как толкуют ей прислужницы старые и сама боярыня-матушка, Иулания Захарьина-Кошкина, — новая жизнь зародилась под сердцем у этого полуревбенка, у молодой царицы Московской...

Но сегодня особенно плохо выглядит царица, едва на ногах стоит, с трудом мужу поклон отдала, когда появился он к вечернему столу, после целого дня разлуки.

У Ивана тоже какая-то забота видна. Но все-таки он внимательно вглядывается в жену, видит, что плохо ей.

— Каков добр-здоров ли нынче, дал Господь, государь? — после поклона задает обычный вопрос Ана-

стасия. — Гляди, с самого утра и не повидала я тебя, соколика ясного! — негромко примолвливает она, стесняясь присутствия своих боярынь и Челяднина с двоюродным братом ее, Григорием Юрьичем, которые провожают за трапезу царя.

— Живем, ничего, Бог милует! — также сдержанно, по обычаю, ответил Иван, садясь за стол и знаком отпуская провожатых.

Семейная трапеза у молодых супругов. Мать Анастасии только и могла бы принять здесь участие, но старухе что-то неможется.

Отдохнуть от московской жары и шума отъехала она на недельку-другую в свою вотчину подмосковную.

А бабка царя, княгиня Анна Глинская, с одним из сыновей, с Михаилом Васильевичем, — тоже в отъезде. Во Ржев заблаговременно уехали, как только на Москве пожары и волнения народные пошли, как только слухи забродили, что Глинских собирается чернь пощупать, за многие обиды счета свои с надменными князьями свести...

— Как день продневал, государь? — уже смелее, теплее и проще спросила Анастасия, когда ее боярыни, крайчая и столовая, начали суетиться с подачей блюд и напитков.

— Как? Ино — никак. А другу половину — по-старому. К заутрене — у праздника... Левкия нынче, помнишь ли?

— Глядела в святцы, Ванюшка.

— Ну, в думе дела. С Казанью — войной пахнет. Да, ради воскресного дня, выход был из собору. А там посольские часы. Нейстрийский император, гляди, еще даров наслал. Нужда ему, видно, в нас какая приспела... Даром немец не раскошелится.

— Вестимо!

— Дары не то штоб дюже богаты. А занятные. Кузнъ тонкая, хитрая, веницейская работа. Воинские снаряды. И для тебя кой-што. Заутра принесут покажут. И еще птиц заморских да обезьянов наслал. Мало их, што ль, у нас? Ну, да сказано: дареному коню... Да, слышь... Гляжу я: што с тобой, Натушка? И есть не ешь, почитай. И глядишь не по-хорошему? Али это твое... Ну, знаешь... так скрутило тебя?..

— Нет, государь! Нет, Ванюшка. Дело такое. Дело

наше женское. Божья воля. А правда твоя: истомно мне. Больно уж вести худые пошли.

— Вести? А кто вестует? Кто смел? Склады, поди. Наговоры дурацкие! Так ты и не слушай и веры не давай, а нистолечко! Што уж мне, и повеселить души нельзя? Што я, на помочах у кого ходить стану?! Да я тех вестовщиков...

Весь багровый от приступа гнева, Иван с угрозой сжал в кулак холеные, белые пальцы своей небольшой, но полной и сильной руки.

Княгиня Алена Волконская, боярыня Варвара Смерд-Плещеева и Оксинья Губина, служившие за столом, мгновенно куда-то так и исчезли, чтобы не попасть Ивану на глаза в первую минуту внезапно налетевшей грозы.

— Штой-то ты, Ванюшка, родименький! — робко, ласково залепетала царица. — Нешто б я могла? Буде оно и так, как ты мыслишь, государь. Твое государское дело. Мне ли сетовать? Раба я твоя была искони, рабою буду. Как и посейчас. Мое ли дело, как ты сердечушко тешишь свое, чем забавляешь свое величество? Нет, про иное я... Недоброе для тебя, нехорошее.

Не столько смиренная речь или слова жены, сколько звуки самого голоса ее, рокошующие, нежные, проникающие ему в сердце, так же быстро утушили гнев царя, как неожиданно вспыхнула молния.

— Ладно уж. Не прихилийся. Раба не раба. Жена все ж таки... Царица моя богоданная. И, вестимо, ежели наскажут злыдни про меня какую небылицу, все ж тебе не по сердцу. Ну а ежели я ошибся, оно и лучше. Сказывай: чем нынче пришибли тебя, что и голосу у тебя словно не стало?

— Напужалась я, правда твоя, Ванюшка! Лихие люди, сказывают, грозятся Москву спалить. И нашим-де теремам писаным, златоверхим не устоять. Да бают, на твое царское здоровье удумали. Да и вовсе новых царей себе норовят. Из Литвы будто. Да...

Угрюмо слушал жену юноша, почти совсем закрыв глаза, нажимая лбом на левую руку, еще не разжавшую кулака. Пальцами правой руки, словно отбивая такт речам царицы, он ударял по столешнице.

— Ну, ладно! Достальное сам ведаю. Ишь, и до тебя шуревья добрались. И тебе душу замутили. Мало им, видать, меня одного! К сестре-царице подбираются.

Да ты не маленька. Али не разумеешь: прѣ идет между братанами и дядьями твоими с моими дядевьями и бабкою. Один другому поперек пути што кость поперек горла стали. Горла-то у них на што широки, а один другого не проглотнут никак. Да и вместе жить не удосужатся. Ладно же. Пускай грызутся! Не время мое еще. Не приспело оно. А готовлю я кнуты на их на всех.

— Ванюшка, неужто и братовья меня морочить взялися? И все неправда, чем грозили?

— Правда, да не истинная. Може, пожары да запалы все те, каки были, каки еще будут, и ихних рук не миновали. Може, в самделе, литовцы-родичи меня спихнуть мыслят? Пожди, все узнаем!

— Узнай, узнай, миленький! И хто виновен. Не то брат мне, матушка будь родная — словечка не скажу! Казни и милуй, как сам повoliшь, по заслуге. Да не мысли про меня плохо, касатик. Што умыслы во мне какие лукавые?.. Нет, касатик! Только за тебя и печалуюсь. Тебя беречи хочу.

— Знаю, милая. Вижу, кралюшка! — нежно привлекая к себе взволнованную, порозовевшую жену, совсем иным, непривычным ему тоном заговорил Иван. — Все я вижу. А разумею много иное, чего думным дьякам да боярам моим седобородым да попам долгогривым и в лоб не влетывало. И в книгах, в хартиях старых много читывал... И бабка Анна, поди, больше половины века за русской да за литовской гранью прожила. С дедом покойным Васильем да с дядей же Михайлом при разных дворах у владык и маэстатов зуропских побывала. И у немцев. А того пуще — у италийских государей. Знаешь, из тех земель и у меня есть не один фрязин: и зодчие и кузнь куют золотую, серебряную и всякую.

— Знаю, Ваня. Вот, поди, там хорошо живетсѣ, а?

— Не чета нашему!

— А города-посады какие? Не леса вон как наши тамо кругом, а сады-огороды, да с цветами да с травами. Вон как на листах у тебя показано?

— Вот, вот. Видела?

— Видела. Не скоро еще Москве такой бытѣ! — с сожалением заметила Анастасия.

— Пожди, может, будет! Станут бояре друг дружку палить, а я прикажу не то в Кремле, а и на ближних

посадах только каменные да черепичные церкви да палаты складывать. А бревенчатых ни-ни!

— Ванюшка, богатеи построятся. А беднота как же? Ей нечем и избу вывести, коли старая сгорит. Оно бы куда ладно: град украсить. Да бедноты жаль! Гляди, с голоду еще подымутся, как оно бывало. Боюсь я за тебя.

— Меня бойся. А за меня Бог стоит! Из пелен младенца он возвел меня к трону. Из злокозненной стаи бояр моих, словно из пещи огненной, извел и возвеличил, пока слаба была и шуйца и десница моя. Так ноне, когда уж держу бразды царства. Худо ли, право ли, а крепко держу! Теперь я ни бояр, ни черни не страшуся. Так ли, сяк ли я буду над ими владыко, не они надо мной. И век мой не теперь кончится. И мужи святые, и волхвы демонские одно мне толкуют: долго и велико будет царенье мое. Так я же понемногу и поверну все, как мне самому манится. Покудова пускай еще мнят о себе. Пусть потешаются, коли я ино слово и по-ихнему творю. Одного не видят: я — в гору, они — к долу! Так есть, иначе и быть тому нельзя!

Раскрыла широко глаза царица, глядит: словно преобразился ее Ваня, ее царь ненаглядный. Усталое, бледное лицо порозовело, глаза сверкают. Он откинулся на лавке, прислонился к стене, словно в палате послов принимает — величавый, сияющий. И молодое лицо с легким вьющимся пушком на бороде, с мягкими юношескими усиками кажется теперь таким значительным, важным, но без обычной строгости.

Приоткрытые розовые губки Анастасии, ее широко раскрытые глаза полны такой любовью, восторгом и нежностью, что невольно Иван, теперь замолкнувший, посмотрел на жену, улыбнулся сперва, а там и совсем расхохотался веселым, звонким, прежним своим, привычным хохотом.

— Ах ты, гусыня!.. Што загляделась? Давно не видала? Не признала, поди?

Совсем смутилась, вспыхнула, застыдясь, царица. Закрыла лицо руками, кинулась к мужу и, заметя его руку недалеко от своего лица, тихо коснулась ее пересохшими, трепещущими губами.

Какое-то детское, радостное, удивительно доброе выражение озарило все лицо угрюмого обыкновенно юноши.

Ласковым жестом, напоминающим отца, когда тот обнимает своего ребенка, приподнял царь жену и негромко, словно бы даже укоризненно, заговорил:

— Эй, Настек! Не забывай: не праздна ты, девонька! Не очень тормозишь. Гляди, полпята месяца не пройдет. Наследника мне принести должна. Царевича богоданного, первенького, любименького. Так уж ты...

Совсем растерялась Анастасия, едва лепечет:

— Да я... Да штой-то ты? Я уж знаю... Ничего и не думаю, берегусь, Бог видит. А только очень уж жаль мне тебя, миленькой ты мой... Дорогой ты... родименькой... А я — нет. Я ничего. Пуще глазу и себя берегу, и его, нерожденного, желанного.

И совсем прижалась к мужу, слушая чутко, как порывисто бьется его горячее непокойное сердце. А он даже дыхание затаить старается, чтобы заглушить порывистую работу этого сердца.

V

22 июня, в полночь с понедельника на вторник, порывистый северо-западный ветер забушевал над спящим темным городом, над белокаменной Москвой, над ее деревянными, чернеющими в полумгле посадками и ближними выселками пригородными.

Из-за дальних лесов, от Миус, налетали порывы урагана, и все чаще, все сильнее.

Вихри вздымали глубокую пыль столбом на дорогах, на площадях, в переулках и улицах, везде, где обнаженная земля, давно не выдавшая влаги, была истоптана, изъезжена, обращена в прах колесами, копытами конскими и людскими ногами.

Шумели и гнулись деревья в густых садах, раскинутых почти при каждом дворе в самой Москве, не говоря уже о посадках.

Гудели, словно спросонья, слабо откликаясь на удары ветра, колокола церквей, по большей части висящие в небольших открытых шатрах — навесах рядом с церквями.

Шуршат соломенные крыши на бедных избах, стучит и потрескивает драница на крышах богатых домов. Стучат, раскачиваясь, ветви в небольшие оконца, обращенные по большей части во двор или в сад.

Жутко москвичам. Давно такой бури не бывало. И еще хоть бы дождь при этом. Ждут люди дождичка. Но небо почти ясно. Показались на краю ночного неба длинные нити передовых облаков. Быстро несутся они, приближаются, проносятся легкой сетью, но не скипаются, не хотят склубиться в одну черную, сплошную тучу грозовую, дожденосную.

И зарницы сильные ярко сверкают вдалеке. Но грому почти не слышать. Так, чуть рокочет где-то вдалеке... Сухая гроза, как говорится.

И не спят многие, особенно женщины. Свечи у икон зажгли, поднялись, молятся... Дети малые, словно предчувствуя какую-то беду, тоже беспокойны. Где тревожатся, мечутся во сне, а где и вовсе встали, поднялись, мать будят плачем или к матери, уже не спящей, вставшей на молитву, так и жмутся, так и тянутся.

— Господи, помилуй, спаси младенчиков! — с особенно горячей мольбою начинают тогда шептать материнские уста.

На улицах нигде души живой не видно. Даже бездомные собаки, бродящие ночью на поисках за добычей, и те попрятались куда-то.

Воздух весь, как и бывает перед грозой, сухой, густой какой-то. Налетит могучий порыв ветра и принесет все-таки с тучами пыли запах лесов, полей.

Умчался вихрь — и нечем дышать. Земля, пропитанная смрадными соками двухсоттысячного поселка людского, теперь словно обратно выдыхает миазмы, поглощенные ею. Это тяжелое, сухое дыхание невыносимо для человеческой груди.

И в домах тяжело дышать, и на просторе. Но никого не видно в переулках и на площадях. У кружал, у притонов, где порою всю ночь копошатся какие-то шалые тени, сейчас нет никого.

За Неглинкой-рекой, словно сказочные, шестирукие великаны, вытянули на высоте свои крылья черные ряды мельниц.

Иные из них неистово машут этими руками. Другие повернуты, отставлены от ветра, но закрепленные крылья все-таки шевелятся, выгибаются, поскрипывают так жалобно, так таинственно.

Во многих местах города и на посадах рогатками улицы забраны. У рогаток обыкновенно стража стоит.

Смотрят, если кто по нужде идет или едет ночью, опрашивают каждого, опознают.

Сейчас и у рогаток пусто, безлюдно. Сторожа спрятались по хибаркам, устроенным для них где-нибудь неподалеку. Только иной бердыш свой оставил вместо себя на страже у переезда, у рогатки, на пустынной, темной улице.

Время уж близко к рассвету. Хоть грозowymi тучами все небо обложено — тусклый, слабый свет, предвещающий приближение утра, разливается над Москвой.

У небольшой, старенькой церковки во имя Воздвиженья Честного Креста, что на Арбате, почти на краю базарной площади, показались два человека, судя по одежде, кабальные холопи боярские.

Хотя и попутный им ветер налетает из-за домов, вырывается из горловин, какими глядят на грязную площадь окружающие ее улицы и переулки с тупиками, но порывы вихря так сильны, что приходится большое напряжение делать порой, только бы не свалиться, удержаться на ногах.

— Слышь, Будилка! — негромко обратился один из холопей к товарищу, приземистому, кряжистому новгородцу. — Коли зачинать, так оно само пора. Скоро и рассвет, люди вставать почнут. Гляди, врюхаемся...

— Мышья душа, чего трепыхаешься? Небось не врюхаюсь! А только и то думно мне: починать ли? Ишь, ветры-то сильны таковы. Кабыть на наш угол не повернуло. И сами сгорим, не то людей попалим.

— Эва! Кады спохватился! Уж не калякай. Не про то послан. Робь, и концы в воду. Глянь-кось!

И помуслив палец, «мышья душа», как его звал товарищ, а иначе Мижуй, вятч, из дворни Захарьиных, Данилы, поднял этот влажный палец над головой и подержал мгновенье-другое.

— Во!.. Вона эвон тяга откедова. Прямо туда на Москву-реку и несет. От нас, значит, на посад, на слободу на Хамовничью. Да туды и не дотянет. Вал земляной поперек лежит, огня не пустит. А полевуручь — вода. Скажем, через «белу» стенку огонь перекинется. И то Кремлевски палаты за своими вторыми стенами, за высокими, целы стоят. А вправуручь — пустыри велики. Поварская слобода не загорится. Только вон этот клин Арбацкой и выгорит. А тут все — беднота. Им не мудреное дело новые избы поставить...

И Мижуй, широко раздвинув руки, показал вперед от себя: какой, по его мнению, клин домов должен пострадать от пожара.

— Да что головой качаешь, словно козел на волков? Уж я ли не знаю? Не впервой! Как баю, так и будет. Уж мне дело знакомо. Мижуй-Скоропал не дарма зовусь. Валай!

И он осторожно двинулся вперед, в обход старой церковки, с площади, углубляясь в ближайший тупичок, куда выходила задняя стена деревянного храма, откуда, очевидно, решено было начать поджог.

— А зачем с церкви Божией починать? — опять нерешительно зашептал сильный, но несообразительный и неопытный еще поджигатель Будила.

— Ворона! Душа-то у тея есть аль нетути? Ветер вон как тянет. Сухмень. Домишки словно грибы. Пора под-
рассветная. Запалить жильё — люди не выскочат, про-
кинуться от крепкого сна не успеют, сгорят! А цер-
ковь — она пустая. Заполыхает — в набат ударют. Кто
ближе — из домов повыскочат храм Божий тушить. Вот и
не сгорят души хрещеные. Да буде скулить. Вишь, кла-
довушка малая за углом? С нее и починать надо. Цер-
ковь от нее и загорится. Все же не нашими руками.

Только что оба поджигателя собирались проскольз-
нуть в узенький проход, оставленный между кладовуш-
кой и задней стенкой церкви, как оттуда шарахнулся
кто-то, уже раньше проникший сюда.

— Стой!

— Держи!

— Кто тута? — сразу раздалось в три голоса.

Три смертельно напуганных человека застыли на
двух концах узенького прохода.

— Тьфу, нечистая сила! — первый опомнился Ми-
жуй. — Да энто же Нелюбка, дурья голова! Ух, напу-
жал, черт! Лешие драли б тебя, оборотня проклятуще-
го! Как ты сюды затесался? Твой конец нешто тута?
Ты к Болоту ближе послан. Тута наша черта.

Высокий, обрюзглый телом и лицом напоминающий
теперешних менял, Нелюб, тоже кабальный Захарьина,
только Никиты, брата Анастасии, часто отдуваясь, не-
громко заговорил:

— Бо-лото? Пуцай хто хошь к Болоту идет. Тамо
торг ныне рано соберется. Мне башка дорога. А я ду-
маю: тута подпалю — само до Болота докатится.

— Ишь ты, размыслил как, не хуже пушкаря заморского. Без трубы палить собирается. Ну, поглядим, что ты тута настряпал, дурья голова.

— А ты бы язык прикусил, хамье дубовое. Не ровня я тебе. Как бы батько наш, церковник, не помер — и я бы в кабалу не записывался. Дьячком он был и в дьяконы ладил уже.

— Ладил, да не долез. Оно и не в счет! Меньше бы водки лакал покойный, може, и не помер бы. Ну, стружки, ну, щепа тут. Ладно. Трут у тея, Будилка? Креси огонь. А я маненечко составцу присыплю — горело бы шибче.

И, достав из кармана завернутый в тряпицу ком какой-то смеси, куда главным образом входила сера, селитра, жир бараний и смола, — стал мазать стены кладовушки и бревенчатый сруб церковки этим составом.

— Вот. Шибко огонь захватит. Зажигай!

Будила, успевший выбить искру и зажечь кусок трута, сунул последний в стружки, приготовленные раньше Нелюбом, и стал раздувать огонек.

Вот загорелась первая тонкая полоска дерева. Огонь прозмеился по ней неровными язычками. Соседние, полупрозрачные, перевитые стружки порозовели, словно насквозь пронизанные отблеском первого огонька.

С легким звуком загорелись еще другие свитки стружек и куски щепы, высушенной от долгого лежания под лучами солнца. Огонек стал быстро расти, смелее перескакивать со щепки на щепку.

— Ладно! Готово дело! Теперя ходу! — шепнул товарищам Мижуй, и все быстро стали удаляться от разожженного ими костра, скрываясь в ближайших переулках, прилегающих к церкви.

Мастера своего дела были поджигатели! Четверти часа не прошло, как вся церковка пылала в огне. Кругом сновал народ, полуодетый, напуганный. Крики, плач носились по воздуху. Бабы выбегали из соседних изб, вынося на руках детей или бедный скарб и складывая все с наветренной стороны площади. Стук чугунных бил, клепал, удары в колокола на ближайших звонницах, — все это смешалось в один нестройный, пугающий шум.

Едва разгорелось пламя первого пожара, перекидываясь на соседние, тесно скупенные избы, тут же и в

других местах, далеко от этой площади, вспыхнули пожары. Оттуда стали разноситься кругом те же звуки набата, крики испуга и отчаянья. А буря, словно радуясь людской беде, подхватывала горящие головни, пуки пылающей соломы с крыш и разносила все дальше и шире эти зловещие факелы, как посев горя и несчастья, кидая их на темные крыши цельных строений.

— Поджоги! — почти сейчас же вырвалось из уст обезумевшей толпы, когда пожары почти одновременно запылали в двух-трех концах этого посада.

— Вестимо, поджоги! — подхватил Нелюб, уже шнырявший тут же среди толпы. — Я верно знаю, что поджоги. На дворе у отца протопопы, у батьки Федора Бармина, слышь, все бают: на духу ему один покаялся: удумал-де Москву запалить по договору великому. И имя называл...

— Имя? Какое имя? Скажи, добрый человек.

— Да и баять-то боязно, кабыть языка не урезали. Мало ль докащиков в народе. Подслушают да перенесут.

— Не бойсь, не выдадим! Имя скажи.

— Ну имени не скажу. А приметы — поведаю. Голубородые они, подговорщики. Усатые. И челядь у них такая ж. И на духу который каялся — из них же, ихней братии. Лих, наш брат, православный, а не католик, хоша тоже из литвинов.

— Глинские? — сразу вырвалось из нескольких грудей.

— Я не называл. Сами догадались! — гнусавым голосом подхватил поджигатель и подстрекатель. — Сами назвали. Злы стали литовцы-князья, что царь к ним остуду имеет. Вот на людях царевых и срывают досаду. Знаете, бояре в сваре, а холопы — в беде. А ошшо сказывали. Може, и сами видывали, люди добрые: старица одна, роду великого, по Москве в колымаге часто езживает. Не по церквам она, не по монастырям, а все к еретикам чужеземным, к лекарям-знахарям заморским. Все в Заречную, стрелецкую слободу, да в немецкую. Да будто бы там сердца человечьи ей в воде проклятой настаивают. А она той водой волжбу творит. По Москве проезжаючи, стены кропит. Либо сжечь всех пытается, либо мор назвать. Все за родичей в отместку, за литовских князей, которым величанье бояр русских не по нутру.

— Бабка царева? Она! Никому другому! — загалдели в толпе.

— Она, она!.. Я сам видел! — подхватил и Мижуй, подоспевший на подмогу товарищу. — Трех дней нет ошшо, мимо этого угла проезжала она.

— Проезжала, верно! — подтвердили голоса.

— Так што ж, неуж так и потерпим, православные? — вдруг вырезался озлобленный, визгливый бабий голос. — Вон у меня последняя хибара полыхает. С двумя детками — головы негде склонить. И потакать ей станем?..

Зашумела, забродила, загалдела обозленная толпа.

— Эй, галманы, буде глотки драть! — властно прозвучал тут голос городского приказчика, заменявшего тогда полицию обывательскую. — Чем злыдней слушать, лучше воду таскайте! Да вон с угла избу бороните. На тот бы порядок огня не перекинуло.

Неохотно, понукаемые приказчиком и его десятниками, стали опять работать люди, отставив от огня этот угол.

Но ураган смеялся над людскими усилиями.

Солнце бросило первые жаркие, огнистые лучи сквозь полог туч, на восток; но лучи эти совсем багровели, пронизывая иную темную завесу, облака густого дыма, который носился по ветру, свивался, разрывался на клочки и казался каким-то сказочным чудовищем, реющим по воздуху. Унизированное искрами, озаренное и лучами солнца, и отблеском пожарных костров чудовище это словно хотело в своих объятиях задушить последний проблеск жизни, собиралось своими звеньями покрыть на далекое пространство все кругом!..

Вся Москва в страхе: давно не бывало такого пожара, как нынешний, что от Арбата начался. Всюду люди, даже в очень далеких углах, стали скарб собирать или в саду, в огороде в землю зарывать что получше, подороже. Вдруг и тут подожгут или само загорится?

Не утихает буря. И дождя тоже нет. Огонь нечем заливать. Жалкие усилия людей ни к чему не ведут!

В Кремле тоже переполох великий.

Вот и к обедням ударили. Во всех церквах кремлевских и по Москве служба идет своим порядком. Только особенно горячо молят Бога и священный клир, и прихожане: отвел бы Он напасть!

Бледная, как мертвец, стоит в своей молельне Ана-

стасия и горячо просит о том же. За людей, за себя, особенно за Ивана молится: спас бы Господь их всех от беды...

Вот упала она ниц, да так и замерла в слезах, удавляясь лбом о холодный помост.

Вдруг, услышав знакомые быстрые шаги, на полуслове молитву оборвала, поднялась, навстречу мужу кинулась.

— Уезжать, што ли, нам надобе?

— Куды ошшо ехать собралась? Ишь, непоседа! — шуткой стараясь прикрыть свое тяжелое волнение, невольный испуг, ответил царь. — Гляди, и кончено дело. Затихает пожарище. Глядел я туды со стены, с башни. Веришь, милая, от площади Арбатской так клином и выголило, словно ножом срезало. Вот энтакий кус!

И Иван сделал такой же жест, каким ночью Мижуй определил будущее пожарище. Не ошибся опытный «мастер».

— А в энту пору что там видно?

— Теперя, почитай, ничего. Гореть нечему. И дело с концом. Помолись да опочинь. Рано нынче подняли тебя. Перепугалась как...

Успокоенная царица хотела было вернуться на молитву, как вдруг быстро вошел Адашев.

— Не посетуй, осударь, без зову, без повещенья. Дело не терпит. Собираться бы, выезжать тебе с царицей и с кем там позволишь. Повернул огонь... Ветер насустричь ночному поднялся. На Кремль так и несет пожарище. Головни, вишь, уже главы Успенью посыпало.

Анастасия так и опустилась, обессилев от страха, на скамью у стены. Ноги у нее совсем подкосились.

Вздрогнул Иван, еще бледнее чем раньше стал.

— Барки готовы?

— Снаряжены. С утра самого к Тайницким воротам причалены. Садиться поизволь! А я тут уж все прикажу.

— Да разве правда? — начал было Иван.

— Што? Пожарище велико ль? Кремлю не уцелеть ли? Сам погляди поизволь, осударь!

— Да, я сам... Потерпи часок, касатушка! — сказал уже на ходу жене царь и вышел из молельни.

Грозное зрелище увидал Иван с высоты башни, что у Троицких ворот.

Дувший прежде с северо-запада ураган круто повернул, налетел прямо с запада, ударил на восток, кидая на Кремль, на посады, еще уцелевшие у высоких кремлевских стен, тучи искр, столбы дыма и пламени, которое пожирало догорающие избы на прежнем пепелище, на окраинах его.

Гудят, воют новые потоки огня. Взлетают на воздух, кружат вихрем огнистые хлопья. Целые горящие плахи — с ураганом, с пылью, с дымом — носятся по воздуху.

Неудержимая огненная река катится на Кремль. Дышать трудно от зноя, рожденного пожарищем. Дым душит. Вот отдельные волны огненной реки, подкатясь к Неглинке-реке, тут стихают. Но высокая крыша Успенского собора стала загораться от налетающих на нее головней. Мост Троицкий, башня Собакина стали загораться.

В ужасе кинулся Иван за царицей.

Уселись в колымаги, уже стоявшие на всякий случай во дворе, и доехали до Тайницких ворот, сели в барки... К Воробьевым горам двинулись. Там безопасней.

Почти без чувств полулежит Анастасия под навесом царской барки.

— Скажи, что там? — бледными, пересохшими губами все спрашивает она.

Иван словно и не видит, как ей плохо. Он поражен, подавлен ужасом. И хрипло, негромко говорит ей, что он видел:

— Не ждал, видно, народ, што в энту сторону буря повеет. На площадях, на улицах кучами сбились. Скарб выносят. Толкуют стоят. Вдруг на их дым и полымя понесло. Совсем на восход солнца веять стало. Кружит по небу полымя, на землю кидается, все так и крушит. Сейчас тут горело. Глянь, через две улицы всполыхнули избы. Справа, слева... Людей огнем обошло. Кто сквозь стену огненную кидается. Все загорится на ем. Он назад. И мечется, словно грешник в аду... Власы пылают. Одежда дымится, тлеет. А другие, ровно ошалелые, на площади али бо по улице взад-вперед мечутся. Иной стоит громко молится. Иной вовсе песни поет, смеется. Видно мне с башни... Сейчас вот за Неглинкой дело было. Базарную площадь огнем обвело. Страшно, Настюша! А кругом, верст на десять, там все огонь. Слышишь, как воет, как гудет...

Правда — даже здесь, на Москве-реке, хотя барки проезжали мимо пустырей, выгоревших уже дотла, и здесь было слышно, как по ту сторону Кремля трещит, воеет пожар, кричат люди, лают собаки, ревет скот.

А звон набатных колоколов прорезает порой каким-то безнадежным, отчаянным стоном хаос диких, смешанных голосов.

Анастасия, совсем изнеможенная, укрывает лицо на груди мужа. Но то, что он говорит, так и стоит у нее перед глазами.

Смолкнул Иван. Сквозь полы навеса смотрит на берега реки, на место утреннего пожарища. И здесь печально, грустно все глядит. Изба кое-где догорает. Стены церковей дотлевают. Дым пологом стелется, не давая свободно дышать. И только островками зеленеют где-нигде: сад, чудом уцелевший, пустырь, покрытый травой, зеленые берега пруда или ставка небольшого.

Загляделся-задумался Иван. Задремела-забылась на миг совсем больная, измученная царица. Медленно плывут барки к Воробьевым горам.

Теплый летний июльский вечер спускается над рекой. Ураган затихать стал. А в Кремле — видно отсюда — верхи на церквях загораться стали.

Сжимается сердце у Ивана...

На соседней барке брат царский Юрий Васильевич плывет. Да не один. Невесту и он себе облюбовал, когда царь девушек на смотры собрал.

Самая дородная из всех, хохотушка-княжна Иулиания Палецкая, пленила сердце царевича. Он упросил брата. Княжну назначили невестой Юрию. Поселили в Кремле. Осенью свадьба.

Но Юрий уже не расстается со своей нареченной, благо старший брат позволяет, не сердится.

Сидят они сейчас вдвоем, тоже под навесом, на второй барке. Сказки им говорит старик-бахарь. Жуют оба что-то. Поталкивают, заигрывают друг с другом пятнадцатилетний жених и четырнадцатилетняя невеста.

Им нет почти и дела, что такое горе великое на Москву пришло. Кроме домов и добра, 2000 человек, все больше старые, больные и дети, сгорели в тот день...

Со вторника до самой пятницы бушевал ветер, то ослабевая немного, то снова налетая, как бешеный, подымая новые снопы пламени, раздувая старые, потухшие пожарища. Потом наступило затишье. Ветер упал, совсем прекратился, словно и не было его. Только курились и дымились остатки домов и храмов в Кремле и на посадах, лежащих на север и на запад от Кремля. Порою вместе с едкою струею дыма долетал сюда и чад сгоревших человеческих тел, не в конец испепеленных пламенем. Бродили потерянные погорельцы по местам, где недавно стояли их дворы. Иной искал остатки имущества, бродил между обгорелыми пнями своего раньше тенистого сада, стараясь припомнить, угадать: где то место, где перед пожаром зарыл он ценный скарб? Другие рылись под обломками, надеясь найти хотя бы какие-нибудь останки погибших в пламени близких, дорогих им людей.

Раньше с трудом, но можно было дышать, даже от-
радно было втянуть струю свежего, прохладного воздуха, которую вносило ураганом в знойный, раскаленный пояс пожарища. Теперь же люди положительно зады-
хались. Дышалось с трудом, тяжело-тяжело.

И, несмотря на это, шумная жизнь закипала на особенно бойких, привычных торговых местах, особенно на Кремлевской Ивановской площади, где и земля еще полураскалена от недавних пожаров, где сизый дымок вьется над горами головешек и углей, чернеющих повсюду.

Оборванные, закоптелые, обожженные порою люди скипелись уже в шумный муравейник, покупают, продают, меняют. Крестьяне окрестные нахлынули отовсюду, сообразив, что теперь всему найдется сбыт в погорелом стольном городе.

Вид у большинства из толпы ужасный. Лица истомленные, озлобленные. Немало и зверского вида мужиков появилось, неведомо откуда. Это колодники, сидевшие по разным темницам.

Когда загорались остроги, порою сторожа сами выпускали заключенных и уходили вместе с ними от огня. Порою власти забывали о несчастных, стража разбегалась. Десятники тоже. Тогда колодники, обезумевшие от ужаса, ломали затворы и разбегались.

Впрочем, тюрьмы были не очень-то крепко устроенны. И без пожара бежать из них бывало не трудно кому не лень. Только «особливые» злодеи содержались крепче, за особыми «приставами», больше охраняемые живой стражей, чем крепкими стенами.

Два дня царило затишье в природе. Зато, придя в себя, избавясь от стихийного огня, от пламени, пожравшего все кругом и замершего только по недостатку пищи, люди начали сами кипеть и бушевать, как буря.

Стали искать поджигателей, ловили, мучили, разрывали их на части. Грабили, убивали просто ради наживы, а не то чтобы совершая мнимое возмездие.

Дурные, тяжелые вести каждый час, каждую минуту доносились к Ивану в Воробьевский дворец.

А тут еще с испугу, от всех волнений — и с Анастасией беда приключилась. Раньше времени пришлось собрать докторов, повитух. Все ждут: принесет ли Господь, или беда случится, не окончится благополучно «тягота» царицы.

К полудню только, в воскресенье, высокие, редкие облака, медленно проносящиеся над Москвой, стали спускаться все ниже, стали темнеть и клубиться, предвещающая давно желанный ливень. Молнии стали поблескивать, гром погромохивать принялся.

В одной из самых обширных горниц дворца, окна которой, несмотря на духоту, плотно закрыты, лежит бледная, словно прозрачная лицом, Анастасия.

Лекарь-немчин только что ушел, разрешив Ивану смирно посидеть у постели больной. Уходя, он пошушукался о чем-то с пожилой бабкой-повитухой, помогавшей ему, и заявил царю, так и не сводившему воспаленных, усталых глаз с доктора:

— Хвала Господу, великий царь! Опасность прошла. Если кровь не явится снова — все пойдет своим чередом и в должный срок, даст Бог, получишь ты утеху душе и наследника трону своему.

— Аминь! Аминь, аминь, Господи!.. Я... Я тебя тогда... — быстро, взволнованно зашептал лекарю Иван, но так и не договорил, махнул рукой, и тот, низко кланяясь, вышел.

Когда с успокоенным, просветлевшим лицом он подошел и уселся подле кровати, где под пологом лежала Анастасия, царица сразу заметила перемену в лице мужа и, слабо улыбнувшись, проговорила:

— Вишь, моя правда была, касатик! Не велика беда еще. Помогут нам с тобой Матьерь Господа и святые угодники. Не печалуйся же, Ванюшка!

— Нет, нет, милая... ласточка! Зоренька... И ты уже успокой свою душеньку. Глазыньки-то закрой. Подреми малость!

— Не дремется, Ванюшка! А без дремы глаза заведу — хуже оно. Все мне пожога мерещится. Да вон старицы те, монашки, что, сказывают, во храме, все десять живьем сгорели. Давит мне грудь да сердечушко. Все дума единая покою не дает: к заступе, к Скоропомощнице прибегли они, к образу Пречистой кинулись. И не спаслися! Слышь, дымом задушило их, а там истлели, когда половицы загорелись во храме. Одна, говорят, мать Иринаея еще жила, когда тушить огонь стали. Охала... Стенала, Господи!..

И тонкими, исхудалыми пальцами царица прикрыла лицо, по которому тихо катились редкие слезинки.

Иван не знал, что сказать, чем успокоить жену, которой так вредно тосковать и волноваться. Его самого давило событие, о котором вспомнила Анастасия. Да и, кроме того, она не знала, что сам митрополит Макарий, унося из пожарища чудотворный образ Владимирской Божией Матери, расшибся, когда спускали старца по веревке со стены Кремля, охваченного пожаром.

— Не думай, ясочка! Так полагаю: грешны были старицы. Вот и покарал Господь.

— Грешница? Што ты? Сестра-то Досифея? Али старица честная Левкадия? Да святей их не сыскать на Москве! Редкой жизни подвижницы.

— Ну, значит, Господь больно возлюбил их. Венца мученического удостоил. В селенья призвал свои райские.

— А што мыслишь? Должно быть, так.

И, словно успокоясь на этой отрадной мысли, больная затихла, замолчала.

«Не за твои ли грехи все эти жертвы, весь этот ужас?» — что-то против воли так и шептало смятенному юноше, когда он с затаенным страхом впивался глазами в бледное лицо любимой жены, единственного существа, которое ему казалось близким и дорогим на свете.

А громко между тем он проворчал, косясь в сторо-

ну женщин, ожидавших в глубине комнаты приказаний царицы:

— Болтали бы поменьше! Только тревожите осударыню!

Те так и замерли на местах, стараясь без звука, лицом выразить, что они неповинны нисколько в излишней болтовне.

Вдруг быстрые шаги замерли извне у самой двери, которая чуть приотворилась.

Так и кинулась к дверям боярыня бельевая, княгиня Анна Смерд-Плещеева, толстая, низенькая, словно кубарь подкатилась.

— Ни-ни! Неможно! Дремлет... почивать собирается свет осударыня! — зашипела она было сдобным голосом своим, сдавленным теперь голосом.

Но подошедший к двери Адашев слушать не стал.

— Осударя скорее сюда проси! Жаловал бы.

Иван, почуяв, что дело важное, если Алексей чуть не врывается в опочивальню к больной, — в одно мгновение очутился за порогом, быстро прошел мимо Адашева, кивнув ему следовать за собой.

— Ну, што там ошшо? — спросил он тихо на ходу, уже переступив порог второй от опочивальни комнаты.

— Мятеж, осударь! Князя Юрия смерды пьяные, злодеи окаянные, на клочья разнесли.

— Дядю? — не то с ужасом, не то с бешенством хрипло выкрикнул Иван и смолк, тяжело дыша, ожидая, что дальше ему станут говорить.

Адашев, поняв молчание царя, продолжал:

— На нынче, сам ведаешь, сыск назначен был о речах воровских, о склоках, кои в народ пошли, будто Глинские виной в пожарище. Будто они поджигали, волхвовали. Чары творили. И в сей час на площади на Ивановской все грозное дело и содеялось. Сам ведаешь: колодники на волю вырвались. И смерды, и холопы, и вольные люди из тех, кто победней, кружала разбивали, брагу-вино бочками на улицы выкатывали. А больше от горя, от разору великого охмелели. Кровью запить меды захотелось им, видно. Подстрекнул хтойто. Мало ли врагов у каждого. И у меня...

— И у меня... знаю! И врагов дядьевых знаю же... Дале!

— Так и загомонила вся площадь... Только и зыку идет по всей по Ивановской: «Глинские Москву по-

жгли. Юрашка, Михалка... да...». Не посетуй, осударь, скажу, что слышал: «Да колдунья, бабка царева! Бей их!».

— А Юрий тут был!

— Как на грех! Подбили князя, мол, «нечего смердов робеть!». А как до дела пришло — все и сробели. Он было во храм Божий кинулся, в Успенском при алтаре притаился. Нашли, диаволы! Воволокли. Не живого уж, почитай, мертвого. Через Кремль на Лобное так и поволокли!

— А стрельцы што же?

— Бояре, воеводы молчат, стоят, стрельцам не приказывают, боятся: народ бы пуще не озлить. На их бы на самих люд не кинулся. А смерды вконец очумели. Князь Михайлу искать принялся. Княгиню-старицу, бабу твою, вишь, им подавай. Стали баять, што во Ржеве те — куды! И слышать не хотят. Орьмя-орут, во всю Ивановскую! «На Воробьевых они. У осударя в терему притаилися. Гайда, вынимать злодеев литовских пойдем!» И ватага, тысяч с десять человек, так сюда и кинулась... Я о конь, вот и доскакал ранней. Изготовься, осударь!

И Адашев смолк. Какой-то странный звук нарушил воцарившуюся мгновенно тишину.

Иван, весь дрожа от ярости, слушал любимца. Воздух с шумом вылетал у него из груди. Он все теребил тяжелую золотую цепь с крестом, висящую у него на шее.

Когда Адашев замолк, Иван судорожным движением с такой силой дернул эту цепь, что она порвалась, середина осталась на крепко стиснутых пальцах юноши, а концы со звоном упали на пол.

Бледно до синевы лицо царя, губы тоже побелели и сжаты. Пена проступает на них. Тревожно глядит Адашев.

Неужели опять припадок начнется, как три дня тому назад, после прибытия на Воробьевы, после мучительной поездки мимо пожарища? Нет. Овладеет, видимо, собой Иван. Не так порывисто, не так хрипло дышит. Лицо из бледного становится багровым. Жилы так и напряжились на лбу, на висках, на руке, в которой зажата порванная цепь. Это тоже не хорошие признаки. Припадок гнева, слепой ярости, очевидно, овладеет раздраженным юношей... Чем-то он закончится!

А Иван размеренно и сильно начал бичевать пол и соседнюю скамью концами порванной цепи, от которой так и отлетали звенья, и с трудом заговорил:

— Всех изымать! Перевязать! Заковать! А потом... потом... я скажу, что им сделать! Я...

— Осударь, тысяч с десятков смердов! Есть и с припасом. Секиры, вилы, топоры да и пищали, гляди. Всех не перевяжешь! Как на грех, полка-двух у нас тут на Воробьевых не соберется. Не ждали дела такого! Не сдогадались.

— Не сдогадались? Стрельцов мало? Меня с больным подружием смердам предали, подлые. А?! Настя-то!.. С ей што будет?..

И, выронив цепь, Иван даже лицо закрыл руками от ужаса перед картиной того, что будет с любимой его женою...

— Осударь, не печалуйся! Все уладим. Тебя и осударыню-царицу в жисть не выдадим! Сами сгинем, а вас и коснуться не посмеет никто. Воротынский, Бельский... Я им уже сказывал. Они ли, энти воеводы, за тебя ль не постоят? Отборные люди у нас. Один десятерых стоит. Все ладно будет. А уж ежели до зарезу придет, спаси Бог! Уйдем невредимы. Знаешь ли, до самой реки и под рекой дале — ходы тут прорыты. Тайники есть... Все укроемся!

— Ну, будь, што Бог даст! — вдруг совсем подавленным голосом произнес Иван и быстро кинулся назад, в опочивальню Анастасьи, оставив на месте Адашева, который стоял в недоумении. Но через несколько мгновений, словно решив какую-то задачу в уме, спальник прошептал:

— Ее успокоить кинулся! — и тихо вышел из горницы делать дальнейшие распоряжения.

Адашев не ошибся.

Осторожно склонясь над женой, Иван негромко окликнул ее:

— Почиваешь ли, Настенька?

— Нет, голубы! Затишало в душе у меня от речей твоих, и я рада. Хочу поправиться. Тебе бы радость принести. До хорошего конца с Божьей милостью дожить: первенцем хочу царя мово порадовать. То-то бы, Господи!..

Надеждой, мольбой звенит голос молодой женщины. Мукой передернуло лицо Ивана.

— Бог даст... Он пошлет, Спас Милостивый. Слышь, Настек, злодеев тамо, поджигателей, изловили. Сюды их привести повелел я. И народ за ними же, обозляся, кинулся. Гляди, галдеть учнут у подворотни, што им не дали самосудом воров казнить. Ты не пужайся. Гляди... Стрельцов под рукой много, конных и пешей рати. Што б тамо ни творилось, што ни учуяла бы — покойна будь! Я над тобой блюду, оберечи сумею...

И ласково, осторожно проведя по волосам больной, быстро вышел из опочивальни.

VII

Недалеко он ушел. Через два покоя, у окна, выходящего прямо во двор широкий, откуда видны были ворота дворцовые, и частокол, отделяющий двор от дороги, выющейся вниз, к Москве-реке, — здесь остановился Иван и стал глядеть. Здесь нашел его Адашев, очень скоро вернувшийся со двора.

— Подваливает чернь проклятая, смерды поганые, осударь! Да понемногу. Видно, не мало их по пути во кружалах, а то и просто по избам придорожным осталось. Все такой там люд, што и выпить не прочь, и чужим поживиться горазды.

Слушает Иван Адашева, слушает дальнейшие донесения воеводы и вестовщиков, приказы, распоряжения отдает, отвергает чужие советы или соглашается. И спокоен на вид. Но грозное, страшное это спокойствие.

Захарьины тут появились, Курбский, Челяднины... Вся свита царева.

За стенами мятеж готовится...

Взором проводив мужа, закрыла глаза Анастасья, смежила полупрозрачные, тонкие веки свои и, смутно улавливая набегающий издалека рокот возбужденной людской толпы, готовилась было совсем задремать.

«Ишь, зверье какое! Самосудом хотят!» — слабо шевельнулась последняя сознательная мысль в ее усталом мозгу, и она на миг-другой позабылась.

— Бей колдунов-поджигателей! Литовцев нам подавай! Анну-еретицу, ведьму старую, запальницу!.. Бабку цареву давайте нам, ироды! Што за нехристей стоите? Али мы не свои вам?

Такие крики сразу заставили прокинуться Анастасью. Она широко раскрыла глаза и напрягла свой утонченный от болезни слух.

Крики доносились довольно ясно, хотя опочивальня и удалена была от внешнего двора, перед которым, набегая, скипалась толпа озверелой, пьяной челяди.

Дворец потешный, летний, не очень грузно строенный, весь деревянный, с массой окон, дверей, крылец, ходов и балконов, отражал и пропускал звуки очень хорошо. Опущенные на оконца сукна, сукна на дверях и на полу заглушали, правда, все звуки, приходящие в покой извне, но не преграждали им пути.

Понимает это Иван, сидя недалеко от опочивальни, и вдвойне страдает. За себя, за гордость свою царскую, за свое величие, за жену больную. Он трепещет ее страхом, подавлен ее муками.

Приподнялась на постели Анастасия. Кинулись к ней прислужницы, поддерживают. Слушает царица, бледная, застывшая, неподвижная... словно из мрамора изваянное изображение, а не живое существо полулежит здесь. Помертвели и женщины, окружающие царицу. За нее, за себя боятся. А она не только вслушивается — старается вообразить, что там творится, перед дворцовыми воротами, на покато́м зеленом лугу, который широко раскинулся до самой воды.

Вот стихнул гомон. Смолкли дикие крики.

Что такое? Образумились? Ушли?

Слабой надеждой загорелся неподвижный взор Анастасии.

Ей кажется, она слышит звяканье оружия у тына дворцового. Так и видит пищальников, алебардчиков, которые и на самом деле живой стеной протянулись от ворот, охраняют дворец.

Затихла толпа от того, что показался этот самый отряд из внезапно распахнувшихся ворот, а впереди князя Воротынский и Бельский, славные, отважные воеводы. Знает их, любит вся Москва.

Заговорил Воротынский:

— Слышите, братцы, христиане-православные! Буде вам! Беды не накликайте! Царь гневается. Осударыня недужна... Смиритесь!

— Да Бог и с ими!.. Живут на многие лета царь с царицею! Поджигателей нам сюды! Ведунью старую! Да князя Михайлу... Не уйдем без этого!

Не много и мятежных тут сошлось. Тысячи две человек. Остальные по пути растаяли. А особенно галдит кучка убежавших колодников и всякого люда воровского, которому любо в мутной воде поживу искать.

Опять заговорил Воротынский:

— Слышите, послушайте меня! Истинно говорю: жаль мне вас. Домой ступайте, проспите. Не к добру артачитесь. В последний раз имя осударево в поруку даю: нет ни бабки царской, ни дяди его тут. Во Ржеве, почитай, с неделю они сидят уже. Туды киньтесь... А того лучше потерпите... Царь уж суд нарядил. Разыщем, кто Москву палил. Не покроет царь злодеев, будь хоть самы милые люди, родня его ближняя. Вот што царь сказать велел. А теперь не послушаете — не взыщите. Плохо вам буде!

— Не пужай, боярин! Стреляные тетери, не бежим от потери! Не идем, покуда поджигателей вынуть не дадут нам! Во Ржев?! Враки! Не по яблочки ль по ржевски теперя поехали? — глумливо раздалось из толпы.

— Чаво глядеть?! Ломи! Вали, собор, на широкий двор! — махая топорами и дубинами, заорали колодники-коноводы.

И передние, самые наглые из толпы, так и кинулись вперед, хватая за пищали, за концы бердышей ратников.

Но таких смельчаков было совсем немного.

На остальную толпу повлияли слова воеводы, и она если еще и не расходилась, то потому, что была захвачена интересом к тому, что делают совсем, очевидно, ошалелые коноводы.

Тем плохо пришлось.

— Бей, хватай их! — властно прозвучал приказ, когда Воротынский увидел, что бунтует одна небольшая кучка.

Засверкали секиры-бердыши. Кое-где грохнула пистоль или самопал... Человек десять самых назойливых, самых отчаянных повалилось с раскроенной головой, с перебитыми руками, с простреленной грудью. Остальные с криками ужаса кинулись врассыпную бежать. Стрельцы ловили, вязали убегающих. Человек 30—40 в каких-нибудь пять минут лежали и стояли у ворот со скрученными назад руками.

Слышала это все Анастасия. Видел и слышал Иван.

Тихо мерным шагом спустился он вниз, появился перед кучкой связанных злодеев. Увидя царя, все отступили.

Оглядываясь на оконца дворца, словно желая сквозь стены знать, что теперь с Анастасией, Иван в то же время шарил за поясом. Не найдя ничего, потянулся к ближайшему из окружающих, к Воротынскому, вытащил тесак у него из ножен и стал с размаха наносить тяжелый удар за ударом по шее, по плечам, куда попало двум-трем из связанных недругов своих, шепотом приговаривая:

— Гады!.. гады... смерды вонючие! Мятежники! Всех изрубить, всех повесить! Четвертовать поганных! Башки им безмозглые поносить!

И продолжал рубить мертвые уже, иссеченные тела, из которых кровь так и брызгала, обагрывая ему одежду и руки.

— Осударыню бы успокоить поизволь, батюшка-царь! — желая прекратить тяжелую сцену, слегка выступая вперед, осторожно напомнил Адашев.

— Что?! — заноса и над ним тесак, крикнул было Иван, но опомнился под влиянием блестящего взора, которым глядел Алексей ему прямо в глаза.

Словно от сна очнувшись, он кинул тесак, властно крикнув:

— Всем энтим башки долой безмозглые! — и кинулся к жене.

А там большой переполох царит. Опять беда с царицей. Кровь показалась. Муки у нее начались.

Но услышав шаги Ивана, она сдержалась, быстро укуталась в покрывало до самого подбородка и повелительно шепнула всем окружающим:

— Гляньте! Осударю не сказывайте! Ему не словушка! Гляньте.

Улыбаясь, встретила Анастасия мужа.

— Што, али сладилось? Тихо стало, слышу я.

— Сладилось, голубка! Да штой-то ты смерти бледней лежишь? Не приключилось ли чего?

— Чему быть-то? Просто потревожилась малость, не стану греха таить. Теперь, коли все минуло, и ладно. Сосну, отдохну. Ступай, касатик! Вон и ты сам с собой не схож стал. И в крови вон весь кафтан. Видно, злодеев карал. Так им и надо! Ну, иди же! Дай сосну, попытаюсь...

— Спи... Все минуло! Не тревожься, — только и мог проговорить Иван, затем торопливо вышел из опочивальни, чувствуя, как нехорошо было явиться сюда в одежде, обогрелой кровью.

Анастасия же, едва дверь закрылась за мужем, перестала улыбаться, вся вытянулась от муки, с искаженным лицом еще раз прошептала окружающим женщинам:

— Гляньте ж, нишкните царю! Оох... сама... оох... потом сама...

Помертвела, обессилела окончательно от боли и умолкла, затихла, лилась последней искры сознания...

VIII

Грозовая ночь настала за этим тревожным, боевым днем.

Ливень, молнии, раскаты грома, казалось, хотят смыть с лица земли все следы преступления, заглушить вопли отчаяния и злобы, какие только звучали за предыдущие дни в этом углу грешной земли!..

Под навесом тяжелых, непроглядных грозовых туч, раздираемых порою причудливыми извивами бичующей тьмы молнии, творится много тайн и чудес. И свет дневной никогда не озаряет таких глубоких, губительных тайн, какие может видеть око Божие при сверкающих проблесках грозовой молнии ночной.

К рассвету гроза стала затихать...

В раскрытые окна опочивальни Ивана веет дивной свежестью и ароматом из старинного развесистого сада, где еще цветет черемуха и бузок.

Сам Иван, бледный, со следами пены на углах губ, лежит на постели.

Адашев сидит близ него.

Сильвестр, протопоп Благовещенский, стоит у аналоя, молится, порою поглядывая на юношу.

— Ну, што? Как? — спрашивает он Адашева.

— Никак, в себя приходит... не уйти ль тебе теперя, отче?

— Нет, пускай! Припомнит, крепче будет! — властно отвечает протопоп.

Иван раскрывает глаза. Мутные, блуждающие они, как всегда после сильного припадка. Голова тяжела.

Затылок ломит. Вдруг, взглянув к аналою и различив темную плотную фигуру попа, юноша весь затрепетал.

— Так... так мне не снилось? Так правда? — стуча зубами от озноба, едва выговорил он.

— Правда, чадо мое! Все есть истинно, что от Бога! А ты сам видел: то было не от иного кого.

Ничего не отвечая, Иван упал опять лицом в подушку и затих.

Через несколько времени он быстро поднялся, но сейчас же упал было обратно, не поддержи его рука Адашева.

— Господи, ослабел-то как!.. Алеша, к Насте пройти допомоги! — тихо проговорил Иван.

Адашев вопросительно взглянул на Сильвестра. Тот кивнул головой.

— Изволь, осударь! Да што было с тобой? Отец-протопоп позвал меня, когда тебе занедужилось. А отчего это — не ведаю. Не приключилось ли чего?

— Потом... после... К Насте! — опять повторил Иван.

— Не послать ли спросить? Может, спит осударыня? — начал было Адашев, но, заметя нетерпеливый жест царя, умолк.

— Што же, не беда! Разбудит сам осударь свою царицу богоданную, — вмешался теперь Сильвестр.

Опять легкая дрожь испуга пробежала по телу Ивана. Но он ничего не сказал и тихо, с помощью Алексея, двинулся из горницы.

Тяжела была эта ночь и для Анастасии.

Она крепко спала, когда Иван подсел осторожно к ее изголовью и, облокотясь на подушки рукой, пристально вглядывался в милое ему, сейчас мертвенно-бледное, бескровное личико. Смеженные глаза были окружены густой синевой. Щеки впали, черты обострились. Только слабое, редкое дыхание говорило, что перед ним не труп, а живая Анастасия. Долго сидел он, пока голова его не отяжелела. Иван склонился на подушку головой и сразу крепко заснул.

Сколько времени проспал, Иван не помнил. Проснулся же, почувяв на лице своем нежное, легкое прикосновение пальцев Анастасии.

Она недавно перед этим раскрыла глаза, увидала мужа и шепотом спросила мать, сидевшую поодаль:

— Давно ли Ваня пожаловал?

- Часочка с два будет.
- Знает? Сказали?
- Мы? А ни словушка!
- Вот и добро! Я сама... потом...

И молодая женщина, недавно перетерпевшая великую муку, словно забыла обо всем, о себе самой, ловя дыхание спящего мужа.

Скоро он стал трепетать во сне... застонал, завозился.

— Ваня! Ваня! — тихо зашептала Анастасия и, чтобы разбудить спящего, слегка коснулась его лица своими исхудалыми, прозрачными пальцами.

Пробудясь, не поднимая головы, Иван встретился взором с глазами жены, ближе еще придвинулся к ней и зашептал:

— Знаешь, Настя, чудо нынче ночью было!

— Чудо? — сразу заражаясь его боязливым волнением, спросила жена. — Какое? Скажи.

— Скажу... Скажу... Слушай! Батюшка осударь покойный... родитель являлся ко мне.

— В видении сонном?

— Кое там видение? Въяве. Вот как тебя вижу. И... и все вот... кого карал, кого казнить доводилось... Страшно таково! И... и... себя видел... да, знаешь. В геенне огненной, вот как... Поп там пришел... Селиверст. Знаешь, Благовещенской. Ну, вот и стал пенять мне... А там и кричит: «Хощь, покажу тебе тайну незримую, как дозволено ныне дать знамение тебе, юное чадо маловерное, гордыни преисполненное?». И позвал... И голоса пошли. Светильники угасли в покое. А перед очами появился он... родитель. Говорил... Сам я слышал. Грехи мои высчитывал... «Последняя, молвил, мера настала!» И пошли все, те... знаешь... казненные... чередом пошли...

Иван умолк.

Анастасья так была слаба, что даже не могла достаточно ясно представить себе, что было с мужем.

Она видела, что лицо его скорбно, устало. Словно он постарел лет на десять за одну эту ночь.

— И потом, потом, — продолжал Иван, — сказано мне было: Селиверста бы я слушал! Алешу бы слушал... Да тебя третью... А боле — никого! А себя штобы и совсем не слушал! Все бы смирял бы себя да норов свой горячий. И тогда великим, славным царем

пребуду на многие годы. И славу Соломона стяжаю, и Давиду уподоблюся. А ежели нет?.. Страшно, што видеть довелось. Вот так и стою сам же перед собою. И кругом огонь. И личины мерзкие, слуги адовы. Ликуют, огонь раздувают, жгут меня... Ох, страшно!

Упав в подушку лицом, он совсем по-детски приник к плечу Анастасьи.

Та нежно, тихо гладила его по волосам, словно желая отогнать все страхи от смятенной души юноши.

— Ванюшка! — слабо заговорила она. — Да слышь! Ладно ведь оно тебе привиделось. Не худое што! И сказано: будешь «вровень с Соломоном-царем; славен, что сам Давид». Так и будет. Чего же пужаться? А муки адские? Не станешь никого обижать — и уготовает Господь Милосердный место в селениях Своих. Да я... Я уж лучше сама обрекусь на геенну огненную! Ты бы счастлив да покоен был.

Долго еще шептались они, и успокоенным ушел от жены Иван.

Преодолев собственную слабость, она все сделала, чтобы ободрить мужа.

Ясное, тихое утро занималось над русской землей. Светлая пора настала для царства Московского, когда юный царь Иван очутился во власти нового духовника своего, попа Сильвестра и Алексея Адашева, то есть, вернее, подчинился вдохновителю ихнему, Макарию, когда он стал слушать их и жену свою, кроткую, чуткую царицу Анастасию.

IX

Два с половиною года прошло после этой страшной, грозовой ночи.

Не мало еще пролетело гроз и над всей землей, и над теремами, над дворцом царя Ивана. Но уж это не по вине юного царя, который словно переродился весь с самой роковой ночи.

После первого несчастья около двух лет скрытно тосковала Анастасия, видя, что судьба не дает ей утечи быть матерью. Досадовал и сам Иван, что нет у них потомства.

Только 10 августа 1549 года родилась благополучно у молодых супругов первая дочь, названная в честь не-

давно скончавшейся бабушки Анной. Недолго прожила малютка. Году еще ей не было. Иван отправился Казань воевать, а когда вскоре вернулся из неудачного похода домой — он уже не застал в живых девочки.

Еще через год вторая дочка, Марья, у царя родилась. Тоже не больше года радовала она бедную Анастасию. Схоронив вторую девочку, совсем осунулась, явно хиреть стала царица.

И отца мало радовали дочери...

Иван осенью 1552 года отправился в свой последний, так счастливо законченный, казанский поход. А царица в третий раз готовилась стать матерью.

— Смотри, — шепнул ей на расставанье муж, — наследника мне давай! Не то совсем разлюблю!

Шутя он это сказал. Крепко обнял, горячо расцеловал любимую, кроткую, добрую царицу. Но все же с мучительной тоскою стала ожидать она минуты разрешения.

В мае уехал государь, а в сентябре уже хорошие вести стали приходить из-под самой Казани. Одолевали русские мусульман.

Добрые сны и предвещения видит и слышит Анастасия. Напряженные нервы как будто позволяют провидеть грядущее. Да все не верится ей.

А время идет. Час приспевает. Что Бог пошлет измученной женщине?

С первыми лучами рассвета, в воскресенье 9 октября, встала молодая царица, и так хорошо у нее на душе, глаза сияют тихой радостью.

Сейчас же все окружающие женщины это заметили.

— Бог милости послал, добра-здорова прокинулась, осударыня, ноне! — заметила дежурная постельница, Оксинья Губина, подавая свежую сорочку Анастасье и осторожно надевая ее на царицу.

— Больно сон значный да радошный привиделся мне, Оксиньюшка! Вот и я...

— Радошен сон в руку. А нонеча праздник, воскресный день. До обедень все и сбудется. Исполати да в добрый час!

— Сбудется... сбудется! Вот и сейчас чуется сердечушко: неспроста оно провиделось... Слушай, Оксиньюшка! Поведаю сон мой чудный.

— Ох, поизволь, скажи, осударыня! Больно знать манится.

— Слушай! Только соромно мне... Такое это мне привиделось! Необычайное больно...

— И-и, осударыня-матушка! Я ли не раба твоя верная, самая последняя. Тебе ли соромиться передо мною, старой отымалкою? Поведай уж, пожалуй свою рабу недостойную.

— Слушай... Ваня мой... сам царь наш славный мне привиделся. Стой... Идет кто-то? Не гонец ли от него? Вести должны быть от милого!

Вошла боярыня Иулиания Федоровна, которой доложили, что проснулась царица.

После обмена приветствиями, причем мать низко кланялась и величала дочь «осударыней-царицей», Анастасия живо заговорила:

— Хорошо, што пришла поранней! Сон я тебе расскажу мой нынешний...

— Говори, поведай, доченька! Слушаю, осударыня-царица моя богоданная!

— Не смейся, гляди, матушка! Царя я видела. Снился мне...

— Што смешного? Курице — просо, женке — муж грезится. Дело не грешное, во храме Божием петое.

— Да нет, погоди, постой! Доскажу... Будто, сына Господь нам послал. Да... Не гляди так мне в рот прямо, Оксинья. Да... Не от меня, а... а...

— А от кого же, прости Господи?

— От ево самово! Будто он, осударь, вошел в опочивальню мою, бледный, только радостен лицом. Несет на руках паренечка. Совсем малого, новорожденного. И рассказывает мне: «Бери, Настек! Вот я тебе сына принес...». Положил мне ево на лоно, а сам лег да охает: «Больно, — рассказывает, — нелегко было... Тебе бы не выносить таково. Гляди, не простой он!». Глянула я и обмерла... У младенца и зубки все, и кафтанец на нем есть, а поверх кафтанца — кольчужинка, наряд весь воинский надет... А на головке, что темными кудерками обложена, на ей венчик золотой, да не русский, а словно восточный, вон как цари татарские написаны бывают. И венчик тот не надет, а прирос к темечку. Словно из головки вырос у мальчушечки. Дивлюсь я диву, а осударь смеется и говорит: «Радуйся, царя казанского принес я тебе!». И стала я кланяться, Ваню благодарить. Да тут и прокинулася. Нет ли гонцов? Быть иного не может, что овладел мой осударь юртом Казанским.

— А это твой сон пророчит. А еще и то, что сына, дочка, не нынче завтра жди.

— Разве уж последние дни подошли? — слегка робея, спросила Анастасия.

— Так по счету выходит. Да и сон твой о том же сказал. Внука жду от тебя, осударыня-царица.

— А слушай, матушка родимая... Кто мне шепчет — не знаю, только вот и сейчас чувствуется, что права ты.

— Кто шепчет? Некому иному — ангел твой хранитель, матушка ты наша, заступница, святая душенька! Погляди, нынче ж сон сбываться начнет! — умильно-вкрадчиво подхватила Губина, с приходом Захарьиной отошедшая подале, к дверям. — А теперь личико омыть, освежить красу твою писаную не позволишь ли?

И своим чередом пошел утренний обиход царицы Анастасии.

Все сбылось, как ожидала царица сама и все ее приближенные. К вечеру боли первые начались. А на рассвете, 11 октября, во вторник, увидел свет первый сын царя Ивана и Анастасии, нареченный тут же Дмитрием, как еще раньше решили родители.

— Сын... сын! — забыв все недавние муки, осторожно прижав ребенка к своей груди, тихо шептала Анастасия.

Легкие, сладкие слезы текли по ее лицу, еще не успевшему высохнуть от иных, мучительных слез, от пота холодного, недавно проступавшего у страдающей матери.

И вдруг, не разжимая рук, нежно охвативших малютку, она погрузилась в крепкий, целительный сон, не слыша, не видя, кто и как хлопотал вокруг нее, как взяли царевича, что с ней самой делали.

Х

Радость, как и горе, не ходит одна. В субботу, 15 октября, так и влетела в опочивальню царица юркая, пройдошливая грекия, жена кир Василия Траханиота, казначея малой казны царицыной. Дня четыре уж, как она сторожила гонцов из Казани — и удалось-таки ей.

— Ошалела ты, што ль, боярыня! — зашипела на

вбежавшую бабка-повитуха, как раз в это время выкупавшая царевича и подававшая его матери к груди.

Всполошились все остальные, бывшие тут же, в темном, душном покое с завешанными окнами, освещенном как ночью, по обычаю. Все эти женщины так и вскинулись на гречанку.

— Без зову, без доклада! Не базар тут тебе, срамница!

Но та и внимания не обращает. Отвесив земной поклон Анастасии, она торопливо, захлебываясь, стала лепетать своим ломаным русским языком:

— Ма, конец приканили. Касани ваивали иму кесарьски величества, осудари-ка Яни Базилицы. Цицас канеци привадили буди на осударыни-сариса.

Сразу все поняли лепет гречанки и просияли, прощая ее назойливое вторжение.

— Гонец? Сюды его! Сама... слышать хочу. С порогу пусть доложит! Полог задерни. Варя! Оксинья, зови гонца к порогу! Матушка, возьми Митеньку... Ишь, сыт, дремлет! — Так и затрепетала, заволновалась, заторопилась царица, протягивая царевича Захарьиной.

Полог у постели задернули, дверь в соседний покой распахнули. Через четверть часа, забрызганный грязью, усталый, едва держась на ногах, подошел к этой двери сотник полка царского, Забой Путята, 2 октября, в самый день взятия Казани, посланный с вестями к царице. Силач, лихой наездник где верхом, где на колесах, загоняя и меняя коней по пути, меньше чем в две недели успел он добраться до цели, несмотря на огромное расстояние, не глядя на отсутствие путей, на дожди осенние, портившие и то подобие дорог, какое существовало между редкими поселками и городами московскими.

Были с ним еще люди посланы, провожатые и сотоварищи, но все отстали по пути.

Теперь, ударив челом на пороге заветной горницы, куда даже первые вельможи не имели доступа, Путята стал докладывать, не отрывая взора от земли, не подымаясь с колен:

— Осударь, великий князь Московский, царь всея Руси и царь Казанский и иных изволил-повелел тебе, осударыня-царица, челом бить. Все ль подобру-поздорову жити, осударыня, изволишь? А он-де, великий осударь, жив-здоров, тебе челом бьет...

— Здрав, цел мой царь великий? Казанский царь? Взята, баешь, твердыня мусульманская? Господу хвала! А мы здоровы же, Богу в похвалу, царю моему на радость! Недавно гонца слали. Ныне еще пошлю же. Слышь, воин славный, как звать, не ведаю...

— Путята Забой, раб твой верный, холоп последний, царица-матушка.

— Путятушка... Забоюшко, — усиливая, как могла, слабый голос, говорит Анастасия, — спасибо тебе великое, милость к тебе наша царская неизменная! А и у нас радость, слышал ли? Царевича Господь послал земле. Люби его, служи ему, Забоюшко, как царю, поди, служил!

— Слышал уж я по пути, к тебе, матушка-царица, идучи. Послужу... постараюсь! Жив буди царевич наш Димитрий свет Иваныч на многая лета!

— На многая лета! — разноголосым, нестройным хором подхватили женщины, бывшие при царице.

— На многая... многая лета! — словно молитву твою, зашептала Анастасия, глядя на ребенка, которого баюкала старуха Захарына, касаясь концом языка до лба ребенка и сплевывая по сторонам, шепча приговоры от сглазу.

От криков ребенок проснулся было, пискнул, но, убаюкиваемый бабкой, опять заснул.

— Что так хрипло говоришь, Забоюшко? Али захворал путем? Али с устатку? Давно ли видел осударя?

— Завтра второе воскресенье будет, как наша Казань, как видал я лик светлый царский. А голос упал у раба твоего, царица-матушка, от пути дальнего несменного. Как выехал я, почитай, и спать не привелось за весь путь инако, как в телеге али на седле, дорогой скачучи. Не взыщи... Тебя, осударыня, порадовать манилось поскорее!

— Спаси тя Господы! Ну, ступай, передохни. А опосля сызнава призову тебя. Толком мне все поведает. Наблюдай, штобы все было у Забоюшки, у гонца нашего верного, Матвеевна! — обратилась царица к Смерд-Плещеевой.

Еще раз ударил челом Путята и ушел, сопровождаемый боярыней.

Успокоясь немного от радостного волнения, которое только сил придало Анастасии, она стала судить-рядить с близкими боярынями: кого послать поздравить

царя с взятием Казани, поведать отцу о рождении первенца-наследника? Весть великая и честь немалая...

Но бойкая гречанка, Евлалия Траханиотова, так теперь и застрявшая в опочивальне, сумела подбиться к признательной за добрую весть царице — и ее муж назначен был послом навстречу Ивану, который, конечно, теперь и сам уж двинулся от покоренного города обратно к Москве.

XI

Еще три недели прошло, и 10 ноября 1552 года торжественно совершился въезд юного царя-победителя в стольный град Москву. Сотни тысяч народа из отдаленных концов земли сошлись, не глядя на осенние дни ненастные, съехались по вязким дорогам луговым, по узким колеям лесным и проселочным. Широко разошлись вести о победе казанской, о том, что десятки тысяч пленных христиан после долгих, тяжких мучений из многолетней неволи освобождены царем. Да путь речной широкий, Волга богатая к Москве отошла, русской рекой стала.

За все за это земля восторженно встретила победителя. Судьба сына ему даровала. И он, в свою очередь, щедро всех одарил, соратников своих и просто люд подвластный. Около миллиона рублей было роздано деньгами и вещами во время наставших ликований. А сколько новых земель в Казанском царстве было роздано, так и не счесть. И старых немало вотчин раздал юный царь главным помощникам своим, воеводам и князьям.

Все кругом пошло хорошо.

Только в семье не совсем что-то ладится у юной и, казалось бы, счастливой царственной четы.

Покорный вполне новым своим друзьям и руководителям Сильвестру и Адашеву, Иван во время осады казанской слегка вышел из-под их воли, сознавая, что он — настоящий, единственный повелитель и господин сотням тысяч люда ратного, что по слову его готовы все и жизнь и добро свое отдать. А в то же время он сам, как ребенок, как школьник, не смеет повеселиться, пожить, как ему хочется. Даже надеть то или другое платье, поесть, что любит, не может без соизволе-

ния духовника, без ласкового одобрения спальника своего, Алексея Адашева.

Сильно тяготит это царя. А руководители юноши, упоенные властью, доставленною им при помощи мудрого старика Макария, не думали только о благе царства, как митрополит московский, не искали только исправления Ивана. И самим хотелось им обоим воспользоваться такой удачей. Окружающие новых друзей царских родные и близкие люди тоже старались, чтобы им на долю перепала малая толика благ земных в такой крупной, царственной игре.

Быстро проник во все это наблюдательный, подозрительный до болезненности Иван.

Особенный случай один скоро и совсем раскрыл ему глаза.

Из всех недостатков и пороков, какими от юных лет заражен был Иван, не отвык он и теперь от одного, от любострастия. Под Казанью особенно давал волю своим страстям Иван. Об этом скоро вести до Москвы дошли. Сильвестр стал Ивану грозные письма писать, Адашев корил его. И царице донесли о таких похождениях супруга.

Больная, она поплакала только.

Когда же Иван вернулся, застал жену еще полубольную и не оставил тех же походов, какие завел было под Казанью, — все скоро стало известно Анастасье. Но она только плакала втихомолку да еще больше слабела и бледнела, вызывая этим жалость, но не порывы страсти в своем муже.

Подбивали Анастасию и родные, и приспешники Сильвестра поговорить царю — жил бы почестнее. Но она только покачает грустно головой, ничего не ответит советчикам — так дело и кончается.

Впрочем, недолго такая неопределенная, смутная тоска давила сердце царице. Скоро и очевидная, стихийная беда налетела.

У Москвы ли реки простудился Иван, когда со всем двором, с митрополитом и попами кремлевскими спустился туда 26 февраля, чтобы крестить торжественно Эддин-Гирея, последнего хана грозной доселе казанской орды, взятого в плен в день покорения Казани. Дошло ли и до царя Московского дыханье чумной заразы, которая еще с конца зимы по всему царству разлилась и, говорят, была занесена из той же Казани

вместе с награбленной добычей, — как знать! Только сильно занемог Иван. Свалился, в жару лежит. Говорят старики-бояре, что пора и о преемнике подумать! Плох очень царь, накануне смерти.

Все это знает и слышит Анастасия. Ей не позволяют видеть больного. Она царевича кормит. Да и самой тоже заразу захватить нехорошо.

Крепится ради малютки и молодая мать. Чего это ей стоит — иконы знают в опочивальне ее, лики Богоматери, Спаса и всех святых заступников мира христианского, перед которыми, в сиянии лампад, она ночь напролет на молитве, поклоны отбивает, молитвы творит.

А днем тихо, мерно, однообразно тянутся часы в терему венчанной затворницы.

Только слухи да вести, одна другой тревожней и грозней, тайно и явно достигают ушей Анастасии.

— Слышала ль, доченька? — спрашивает исхудавшая от тревоги боярыня Захарьина. — Старица-то почестная, княгиня удельная Евфросиния, што удумала? Какую бучу взбила? Наместо царевича, вместо Митяньки-то нашего — свою сыночка в цари прочит, в осудари Московские. Какова еретица старая!

— Што ты, матушка? Нешто можно? Брат по брате ноне на стол не сажается. Сыну по отцу место и власть царская, и наследие дедовское. Хто того не ведает! Так плетут, поди, штобы нас с братцем, Княж-Володимиром поссорить да с честной матерью-княгиней его...

— Глупа ты, доченька, хошь и осударыней стала, — вспылив, не удержалась Захарьина. — Старицких род — смутьяны ведомые. Ниоткуда столько горя и деду и родителю осудареву не было, как от двора княжого из Старицы. И удел бы тот от их отобрать давно пора навечно. На свою недолю осударь наш вернул князю Володимиру земли отчие. Вон теперь дядя на племянного и пошел! На Митяньку на нашего. Да ошшо сказывают: поп Селиверст, святоша энтот, да ли-са Алеша с ним же за Старицкого руку тянут. А смерд ползучий, старый бражник, батько Адашева, — и прямо в похлебники княжевы пошел, людей сбивает, за Володимира стояли бы...

Задумалась Анастасия. Припомнились ей намеки преданных людей из среды окружающих боярынь и че-

ляди. Прямо не смогли они, как старая Захарьина, а обвиняками наводили на мысль царицу, что заговоры ведутся против нее и царевича Дмитрия и против самого больного царя.

Братья царицы, понимая, что вся их судьба зависит от благополучия Ивана и его наследника Дмитрия, все пружины пустили в ход, выznали, что только было возможно, и также подтвердили сестре, что беда близка.

— Умрет Иван, — сказал ей брат Никита, — и нам всем крышка! Хошь колоду загодя готовы! Царевича, слышь, посхимить ладят. Тебя туды же! Ну, да жить вам недолго обоим дадут. А уж про нас, про Захарьиных, да про всех про наших свойственников да родичей — уж и баять неча! Кого куды, лишь бы на белом свету не осталось и корня нашего.

— Што же делать? Што делать? — ломая тонкие бледные пальцы, спросила Анастасия.

— Што делать? Ничего не поделаешь. Наготове будь. Мы уж стараемся. А ты ошшо попытай, с Адашевым потолкуй. Великую силу проходимец худородный энтот забрал. Ну, да авось не позабыл, сколь ты добра к нему была. Поможет. А он — ой-ой сколь велика шишка ноне. Да со старцем-владыкой словцом перекинись. Ведомо нам, он за нас же... за царевича... А там видно буде. Што Бог даст! Мы ошшо разок с братаном к самому царю потолковать проберемся. Сказывал лекарь, полегшало ему. Не так уж зараза лютует. Да тут гадать нечего. Помирать все едино! На дыбе ли, от чумы ли...

— Нешто чума у Ванюшки? — задрожав, спросила Анастасия.

— Ну, што там ни есть — все худо... Так вот, помни, что тебе сказано, осударыня-сестрица!

Ушел и оставил совсем подавленной бедную женщину.

ХII

Разговор этот происходил в страстную субботу, когда у больного как раз перелом в болезни наступил. Он, весь пылая, лежал в забытии и, казалось, уснул. Лекаря и монахи-знатцы, окружавшие больного царя, решили, что теперь выяснится вопрос: жив будет Иван или ум-

рет? Влили прием лекарства ему в рот, проглотить заставили и разошлись: кто в церковь к пасхальной службе, кто домой отдохнуть после ряда бессонных ночей.

Один чтец-монах остался в опочивальне, чтобы пить подать Ивану или читать ему, когда тот проснется. Больше всего больной не выносил тишины и приказывал читать себе, когда приходил в сознание.

Полумрак в покое, озаренном лампадами да одною свечою восковой, тишина, нарушаемая только шумным дыханием больного, скоро сделали свое, и размеренное дыхание с легким храпом, издаваемое чтецом, присоединилось к звукам, наполняющим покой, где легкий синеватый дым клочками носится, проникая из соседней комнаты.

Там на железных жаровнях трещат ветви можжевельника, дым которого считается одним из лучших средств, охраняющих от всякой заразы.

Полночь близко. Залиты огнями дворцовые все приделы и церковки, все храмы кремлевские; все церкви московские огнями искрятся.

Только в этой части дворца — мрак и тишина.

Кроме дыхания двух людей, царя и монаха, слышно в опочивальне у больного, как где-то мышь грызется. Сверчок завел свою усыпляющую песенку. Червь древесный тикает в стене, точит тяжелые, вековые бревна дубовые, из которых сложен накат в покое. Положили Ивана не в каменной половине дворца, а в деревянной, выходящей прямо в сад, уже начинающий пробуждаться от весенних лучей...

Длинными, извилистыми, темными сейчас, сенями и переходами соединена эта постройка с главными дворцовыми строениями.

Ровно в полночь, когда перезвон пасхальный зазвучал и разлился широко во влажном, теплом воздухе надо всей Москвой, — тихо приоткрылась дверь опочивальни Ивана и на пороге появилась Анастасия.

Разглядев в глубине покоя на широком ложе спящего больного, она стала издали крестить его и зашептала:

— Христос воскресе, миленький! Оздравел бы ты скорейча, желанненький! Христос воскресе!

И затем, нагнувшись, покатила по полу красное яичко, которое принесла, стараясь, чтобы оно достигло до кровати больного.

В это время отец-монах, почуяв спросонок, должно быть, присутствие живого человека, стал протирать глаза.

Как тень, неслышно и быстро исчезла царица.

— Тыфу ты, наваждение бесовское! Почудилось мне, што ли, што дверь приоткрыл хтой-то? Нету... Она и дверь не по-прежнему. И... крашенка откуль-то на полу лежит. Мара, да и все тут. Да воскреснет Бог, да расточатся врази его!

Так бормотал монах, потревоженный среди сладкой дремоты.

Анастасия в это время прямо в мыльню прошла, где уже ждала ее верная карлица, горбатая девка сенная.

Сбросив с себя, что было на ней, царица омылась трижды, надела другое белое платье и, выходя из мыльни, сказала провожатой:

— Слышь, Олька: все спали в сей же час. Видела: где была я в этом во всем? Хвори бы не передать кому! Ничего себе не бери! Все спали в печурке, тута же. А я тебе иное пожалуйю. И обувку и рубах пару. Гляди же!

— Ах, матушка! Дура я, да не без ума вовсе. Глянь-ка, осударыня, при тебе все спалю!

Распахнула жерло печи, которая пылала в мыльне, и вещь за вещью все туда было брошено.

Не дождавшись конца этого всесожжения, царица к себе опять, к царевичу в покой поспешила.

Пусто еще на половине Анастасии. Только «мама» Димитрия, пожилая боярыня, Дарья Федосеевна Головина, сестра казначея царского, сидит сторожит малютку. А тот спит и слабо во сне улыбается.

— Ангелов видит небось ангельчик наш! — шепчет матери старуха. А сама где была, осударыня? Неужто в мыльне? Што за нужда приспела?

— Так надо было! — поправляя повязку на мокрых волосах, ответила Анастасия. — Хочешь, Федосеевна, — за другими и ты в моленну ступай! И разговляйся опосля! Без меня, прошу. Недужится мне. Я с Митенькой побуду... Сюды и принесешь яичко, да хлеба святого. И я разговеюся, а в палату Столовую не выйду.

— Как поизволишь, матушка-осударыня! Пойду помолю Господа. За твое здравие, за птенчика нашего. Охо-хо, грехи наши тяжкие...

И старуха вышла.

А царица, поцеловав осторожно сына, шепнув и ему тихонько: «Христос воскрес!» — кинулась на колени перед киотом и стала молиться за обоих: за сына и за отца...

Вдруг дверь скрипнула у нее за спиной, вошел осторожно кто-то.

— Ты, девушка? — спросила Анастасия, думая, что вошла горбатая Ольга. Но оглянулась и замерла.

Адашев, о котором ей говорили как о возможном спасителе и защитнике, стоял на пороге заветной комнаты, на пороге опочивальни царевича и, отдав земной поклон, произнес:

— Христос воскресе, матушка-царица! Бог радости послал...

«Что нужно ему?» — пронеслось в уме у одинокой женщины.

Но, овладев своим смущением, она приветливо поклонилась незваному гостю и ответила:

— Воистину воскресе!

XIII

Ранним утром, только успел митрополит Макарий проснуться, хотя и лег-то всего часа три тому назад, только омыл лицо и облачился в ряску темненькую, поношенную, затрапезную, собираясь домашнюю службу править, как молодой служка вошел и доложил, что Чудовским переходом осударыня к владыке жалует.

«Господи, что еще приключилось?» — подумал старик и пошел навстречу державной гостье.

Подойдя под благословение святителя, который осенил крестом и двух старух-боярынь, сопровождавших царицу не только до сеней, но и в покои владыки, Анастасия обратилась к провожатым, благоговейно совершившим обряд христосования с владыкой, и сказала им:

— Повыдьте покамест в сенцы, Матвеевна, Левонидовна. Слово есть у меня к владыке.

Бесшумно, быстро уплыли из покоя боярыни.

— Помилуй, Господи! Не беда ли какая, чадо мое милое, што ты и на себя не походишь ныне? И личиком помертвела, и ноги не держат... Садись, садись, болезная! Поведай все, что есть на душе.

— Затем и пришла, владыко! Давно ты мне вместо отца роднова, так и ноне еще пораду дай в великом деле. Вишь, и сам слышал, поди: землю, венец царский отнять злые люди позадумали у сына, у Митеньки мо-во.

— Да что ты мятешься так, милая? Сам царь Иван еще жив. Гляди, немало и сам он в том венце еще поцарит, повеличается.

— О-ох, нет! Видела я ево вчор, друга милого, сокола ясного. Совсем помирает. Бледный, худой, страшный лежал. Где выжить! Да и люди сказывали: последние часы ему, голубчику, пришли...

— Кто сказывал? Какой ворог али безумец злой?

— Ада... Адашев Алексей, — не сразу решила-сь назвать Анастасия, как будто ей чего-то совестно стало.

— Эге! Значит, не мимо было мне толковано, што он лукавить больно шибко стал. А когда же ты видела Алешу?

— Я... я, владыко, почитай, и пришла затем. Хочу тебе о нем поведать... О речах его... о том, што сотворил он со мной.

— Говори, говори скорее! — заторопил, очевидно встревоженный, старец. — Видать, совсем стыд и Бога забыл малый!

— О-ох, забыл, владыко! В ночи пришел... о полуночи. Уж не посетуй: все как на духу поведаю тебе. «Христос воскрес!» — говорит. Да не братское дал целование, а сатанинское, Иудино! Душу мне смутить пытал. Я и обмерла. Одна-одинешенька. Дворня на разговенах. Один Митя тута в колыске... Да Господь незримый, да иконы святые... Стерпела я лобзание нечистое, окаянное. «Зачем пришел?» — пытаю ево. А он и говорит: «У царя ты сейчас была, доведался я. Видела: помирает! А и не помрет — все едино. Володимир-князь народ взбулгачил, бояр первых, Шуйских, Мстиславских, Палецких. Попу Селивестру клобук митрополичий посулили. Так и он всех своих доброхотов на то же склонит. Захватят, постригут вас с Иваном же! Не зря тоже вести ходили пущены, что от Овчинина корня идет муж твой»... Так и сказал, владыко, эн тот смерд непотребный! «И будет Володимир царем! Только ежели меня послушаешь, меня на то же место поставишь, как княгиня Елена покойная Ваню Телепнева поставила, — все поиначу тогда. Умрет царь —

сам на тебе женюсь. Вдовец я теперь, человек вольный. И ворогов ваших нынче ж в ночь похватать велю, в мешки каменные рассажая. Выживет царь — тоже рад будет, што я землю от злодеев ослобонил. А как мы с тобой поладили — одному Богу знать надобно, людям дела нету! Мила ты мне». Не осуди, владыко: все хочу сказать.

— Толкуй, толкуй, милая!

— «Мила ты мне. Всех милей... И для тебя себя не пожалею». Што говорила я ему на ответ — и не помню уже! Молчала, кажись, молитву шептала, заклятье, словно от нечистого. А може, думается: нечистый то и был. Стоял он долго, в лицо мне глядел, ровно прочесть там што пытался. Да вдруг как захохочет, когда я за икону чудотворную, за крест святой рукой ухватила. «Не бойсь! — крикнул. — Не диавол я! Не твори заклятия. Хотел я твои мысли узнать. И все по-нарошному говорил тебе!»... Гляжу, и ушел, словно не было ево в покое, словно сгинул... Митя... спит в колыбельке. Я стою поблизу, шепчу молитвы... Тут бабы мои подошли... Я и опаматовалась. Скажи же сам, отче-владыко: што энто было такое? Дрожу я и по сей час, как помыслю о том.

— Искушение, дщерь моя милая. Искушение было душе твоей чистой ниспослано. Да чистое так чистым и пребудет. Покойна будь! И царь не умрет, и царевичу твоему ничего не поделают. Я тоже кой-што померекиваю. Ишь ты, протопопу любезному клобука захотелось митрополичьего!.. Да ты и своего дела не управишь, не то владыкой всея Руси тебе быть, Сильвеструшко. Алешка тоже по себе панихиду спел. Не печалуйся, касатка! Покойна будь. За вас, за род за царский, — тоже не мало заступников. Кто по доброй воле, по совести. А иные — за подачку хорошую. Ошшо поборемся! Я все ведаю. Жди и Богу молись! Молиться ты умеешь, дочка, знаю... Христос тебя благослови!

Успокоив, уговорив напуганную женщину, ласково отпустил ее Макарий.

И он не обманул ее.

В то же самое утро Иван, проснувшись после перелома болезни, так хорошо почувствовал себя, что мог выслушать подробное донесение о всех последних событиях, сделанное и Захарьиными, и еще двумя-тремя преданными людьми из бояр и князей.

— Не дам я им долго воловодиться! — слабым, но решительным голосом сказал Иван. — Слышь, дьяк! — обратился он к писцу своему ближнему, к Ивану Висковатому. — Строчи столбец. Наутро присягу наладь... Мите, царевичу, Дума, и бояре, и воеводы, и черные люди, Москва вся и земля вся пускай крест целуют, како моему наследнику. Вот и конец делу!

— Не пойдут, осударь! А кто и пойдет, иные не пустят! — заговорил, волнуясь, Данило Юрьин-Захарьин, шурин царский. — Вишь, единая их речь: малышу спеленатому крест целовать, по-ихнему выходит: нам, Захарьиным, на службу записать все роды первые. Будто мы самые к царевичу станем близкие. И силу-власть заберем. Вот их злоба какова!

— Креста целовать царевичу не станут? Коли царь приказал? Поглядим! Делай, што велено, Митрич! — подтвердил царь Висковатому.

Тот вышел распоряжения отдать. А Иван всех отпустил и от слабости задремал...

XIV

Бурно следующий день прошел во дворце. Еще тревожней пролетели ночь и третий день праздника. До кровавой распри едва дело не дошло.

Тут Сильвестр явно обнаружил свое участие в заговоре двоюродного брата царского, Владимира, князя удельного, Старицкого. Старик Адашев тоже не сумел концов схоронить. Выдал себя с головой. Сын его Алексей пролавировал ловко. Но нерешительность спальника-любимца тоже стоила предательства в глазах Ивана.

Все ж таки дело так именно окончилось, как пророчил Макарий.

Кто по доброй воле, кто под угрозой, все присягнули Димитрию как наследнику царства. Евфросинии Старицкой пришлось даже в монастыре укрыться, схиму принять под именем старицы Евдокии, чтобы избежать более тяжелого наказания за происки. С Владимиром царь по виду сохранил добрые отношения, но глубоко в сердце затаил злобу против неожиданного противника.

Быстро стал поправляться после болезни Иван. Расцвела и Настасья, за мужа, за сына радуясь.

Только хотелось ей совсем освободить бы мужа из-под влияния Сильвестра и Адашева, которые еще цепко держались за остатки прежней власти над царем.

Случай или, вернее, тот же всезнающий и всемогущий Макарий незаметно и тут помог царице.

Порядком уже оправился после болезни Иван и проживал летом на тех же Воробьевых горах, во дворце потешном.

Как-то утром заявился к Анастасии Никита Романович Захарьин и, ударив челом, объявил:

— Недужна матушка-осударыня наша штой-то стала. Не навестишь ли ее, пожалуешь, осударыня-царика?

— Вестимо же, пойдем! Сейчас снаряжаться велю. А што с родимою?

— Не то штобы очень плохо... Старость, вестимо, не радость. Уж потрудись, сестрица-осударыня!

Подана была колымага, и с малым поездом поспешила Анастасия в московский дом Захарьиных, в тот дом, где ее девичество так мирно протекло.

Войдя без провожатых, только с одною Головиной да с Митей, в опочивальню матери, царица была удивлена.

Старуха встретила ее на ногах и вовсе не казалась больной.

— Иди поцелуй мать-то попросту! Не так, как у тебя, когда в терему царском видимся! — заявила старуха.

Расцеловались.

— А теперя садись, пожди маненько. Братовья, вишь, утеху для тебя придумали. Больно скушна ты стала. Так штукаря нашли. Бают, развеселит тебя.

Улыбнулась слабо Анастасия.

— Што ж, я бы рада... Пускай приходит штукары! Поглядим...

Села в ожидании, стала малютку кормить.

— Подь-ка, матка! — обратилась к Головиной Захарьина. — Скажи сыночку, што я лекаря зову. Он уж знает...

Десять минут не прошло, как в покой старухи Захарьиной вошел Никита, а за ним тот же самый фрязин, переводчик и чревоушитель, которого лет шесть тому назад Сильвестр и Адашев у Макария видели.

Воспользовавшись в роковую ночь искусством

итальянца, оба временщика постарались потом удалить опасного свидетеля, послали его будто бы для надзора далеко, на Урал, на заводы, где руду плавят всякую.

Но Макарий разыскал и вернул нужного человека.

Вошел он, постаревший, но такой же юркий, живой. Отдал поклон, все окна завесить попросил, поставил на стол какой-то ящик темный, а напротив него, на стене, развесил гладенько полотна кусок широкий.

В полутьме комнаты, озаряемой только светом лампы, отчетливо вырезался на белом полотне круг света, выходящий из волшебного фонаря, установленного и приведенного в действие итальянцем.

— Комедию он нам покажет, сестрица! — говорит Никита. — И на разные голоса голосить станет... Так ты не пужайся!

Прижалась к матери Настасья и глядит на светлый круг. Тени на нем замелькали. Очертания вырезаются. Тела... Лица... Прозрачная, мертвенная какая-то.

Старуха вот стоит, и голос скрипучий раздался:

— Царь Саул! Трепещи... Тень Самуила-пророка предстанет тебе.

— Не боюсь! Пускай предстанет! — уже другим голосом раздается ответ.

И выплывает на светлом кругу третья фигура: мертвец настоящий, закутанный в саван. Только лицо открыто. И мертвец глухо говорит:

— Саул, Саул! Пробил час твой! Покайся! Если не хочешь погибнуть, пророка Господня слушайся и Бога бойся!

Трепещет Анастасия. К груди своей царевича прижимает, сама к матери жмет. А та ей шепчет:

— Не слыхала ты разве доселе ни о чем таком?

— Слыхала... От «самого». Только не сказано мне было, что это дело рук человеческих. Стой! Да... Да ведь Ване протопоп Селивестр таки же чудеса в ту ночь огненную казал. Так неужто ж?..

— Энтю самое и было. Молчи, фрязину виду не показывай! Не пужай его! Сама понимаешь — пригодится он нам! — говорит брат.

— Понимаю, понимаю! — шепчет Анастасия.

И, замерев теперь уже не от страха, а от волнения, смотрит, какие еще чудеса покажет ей искусник заморский.

Еще через несколько дней у себя, в том же дворце

Воробьевском, улучив минутку удобную, показала Ивану жена штуки фрязина и раскрыла ему также глаза на чудеса роковой ночи, когда Сильвестр и Адашев напугали юношу и овладели надолго умом и волей его.

А через две недели Иван вдруг в объезд далекий по разным монастырям собрался, с женой, с царевичем...

Порешил он покончить и с протопопом, и с Адашевым, и со всеми теми боярами, князьями мятежными, которые в числе десяти — двенадцати родов еще боролись с возрастающей на Руси самодержавной властью царской. Но раньше пожелал юный правитель узнать, как народ на него смотрит. Может ли он на земскую силу опереться и против бояр ее выставить?

Поняли это бояре-крамольники. Всеми силами мешали Ивану в его затее. Не остановились даже перед тем, чтобы в пути убить малютку царевича: отравили Димитрия!

Стерпел все Иван, выполнил свой замысел — и довел дело до конца.

Году не прошло — утешила царица мужа в потере сына: второго царевича, Ивана, родила. Только сама не могла утешиться... А 26 февраля 1556 года родилась у них дочь, Евдокия, лет четырех и скончавшаяся.

А 11 мая 1557-го родился еще сын Федор, слабый, больной ребенок, однако, выживший и даже переживший старшего, крепкого, красивого брата своего...

ХV

Ни дети, ни годы, ни смуты, ни заботы, какими полна была жизнь царя Московского и жены его, насколько не влияли, казалось, на Анастасию. Правда, черты лица ее утратили прежнюю девическую мягкость и неопределенную округлость, стали определеннее, законченнее, тоньше. Но то же чистое, безмятежное выражение в глазах. Та же кроткая, пленительная улыбка почти всегда озаряет лицо, если только грусть и слезы не туманят его.

С детьми ли царица, во храме ли, приказы ли отдаст, нищих ли оделяет или молит ожесточенного, разгневанного государя за бояр опальных, из беды их выручает — постоянно каким-то внутренним светом озарено это бледное прекрасное лицо.

А Сильвестр, постепенно испытывавший охлаждение царя, затем опалу, клянет всячески бедняжку, считая ее корнем всех зол.

— Иезавель нечестивая, не царица она кроткая! Все прикидывается. А сама крови так и жаждет, так и просит от обезумевшего супруга и царя своего! — вопил сперва по всей Москве и теперь продолжает в далеком монастыре, в изгнании, твердит Сильвестр.

Адашев, чуя, что почва уходит из-под ног, то же самое про Анастасию, только не так громко говорит.

Знает царица, знает Иван об этом. Терпит до поры.

Узнал Иван, что народ весь стоит за него, а не за бояр, и постепенно решил извести многовластие в царстве своем упрямый, настойчивый молодой повелитель...

Вспоминает он дни своей юности, детские годы свои и шепчет:

— Видно, сызнова за топор взяться надо! Давненько на Лобной площади голов не сымали кичливых, мятежных, боярских! Я опять начну...

Чуют бояре приближение грозы и делают последние усилия сломить или хоть устрасить того, кто угрожает стародавнему дружинному укладу московскому.

Правда, по стопам отца и деда-самодержца идет Иван. Да уж больно рано начал... И шагает решительно!

Последним ударом, нанесенным Ивану в глухой борьбе боярства с самовластием царским была смерть Анастасии.

Случилось это осенью 1560 года.

Но болезнь, подкосившая царицу, задолго до того началась.

Уже не только Казань — и Астрахань подпала Москве к тому времени.

Ливонию начал Иван воевать, на крымскую орду зариться...

Осенью 1559 года собрался он в октябре со всею семьей в обычный монастырский объезд, на богомолье...

Целый месяц проездили. Дороги подморозило было, и ехать хорошо привелось.

Уже и домой, на Москву, царский поезд повернул. В Можайске на денек передохнуть остановились всем огромным, длинным поездом, с колымагами тяжелыми,

царскими, с возками, в которые по двенадцать коней запрягать надо. И телеги обозные, и челядь, и вершники — все тут же. Одна беда: коней мало.

Бояре, царем недовольные, не очень-то позаботились, чтобы на пути Ивану народ лошадей выставял побольше.

Раскинулся на ночь весь поезд, станом стал под стенами небольшого монастыря, что белеет верстах в пяти под городом. Гонцы во все концы рассыпались — лошадей свежих добывать, к столу царскому припасов искать.

С вечера мороз сильнее ударил. Заиндевели совсем жнивы пожелтые, снежком было их еще гуще, чем до того, покрыло.

А под утро южным ветром потянуло. Солнце совсем по-вешнему пригрело. На буграх снег неглубокий таять стал, по перелогам вода зажурчала. Настоящая оттепель началась, с теплым крупным дождем.

Дороги сразу развезло: ни пройти ни проехать!

Не то двенадцать — и двадцать коней иную тяжелую каптанку не вытянут: грязь по ступицу! И ноги коням трудно из этой густой грязи вытягивать, не то — возки везти.

Отстоял царь с царицею раннюю обедню в монастыре, где кое-как переночевать пришлось, откушали — и приказал он к поезду собираться, хотя бы до Можайска доехать. Верст пять до города всего. А в монастыре тесно, сыро, бедно... В городе все-таки можно одну-две избы получше выбрать, переждать, пока коней приведут сколько требуется.

Угрюмый, злой вышел на крыльцо Иван, смотрит, как люди хлопочут, как кони напрягают все силы, чтобы тяжелый возок царский, даже пустой, из грязи вытащить, от места ночевки к крыльцу его подать.

— Доберемся ль мы до жилья, до городу, Ваня? — обратился царь к охотничьему своему и молочному брату, Челяднину, распорядившемуся челядью.

— Авось Бог поможет! Вишь, я в возок-то уж из обоза лишних три пары припречь приказал! Вывезут, ничего!

— Ну, ладно... А уж приказу ямскому я попомню, как они царю смену изготовили, середь поля, середь грязи посадили, с царицею недужной! С детьми малы-ми... Особливо этому старому хрычу, Одоевскому! Как

тестем стал братцу, князь Владимиру, так и почал против нас ковы строить. Ладно! Со всеми сочтуса. И не ждут они, что я им уготовать хочу... Ну, коли ехать, так с Богом! Пушай царицу кликнуть!

Уселся Иван в возок тяжелый.

Вышла на крыльцо и Анастасия Романовна, в шубе тяжелой, собольей, в меховой шапке, тепло укутана, хоть и оттепель на дворе. Все зябнет да кашляет царица. Особенно по ночам.

Сухой, упорный кашель порою и уснуть не дает...

— Ванюшка, а доедем ли? — спросила она, усаживаясь рядом с Иваном. — Ишь, будто море разлилося, землю размыло! Дороги и не видать. А здесь и перегудить бы можно.

— Монастырских клопов кормить? Караваем черным чад малых питать? Садись уж, не распаляй сердце. И без тебя нудно!

Замахала рукой Анастасия, словно желая успокоить мужа, и стала детей получше усаживать да укутывать.

— Ваня, ты большой... Насупротив, к «маме», к Патрикевне, садися. Так... Докушка меж мной и осударем-батюшкой сядет. А Федяньку, Домна, Патрикевне на руки дай. Вот, в добрый час! Сели, осударь!

И она потянулась погладить по голове любимца своего, пятилетнего царевича Ивана, который, тоже очень тепло укутанный, весь так и раскраснелся, сидит, покрытый испариной. Теплый день, душная колымага и груда одежды совсем истомили мальчика.

Евдокия, на год младше брата, худенькая, болезненная, тихо уселась, совсем притаясь за широкой спиной отца. Ей приятно, что так тепло сейчас. Она тоже зябнет постоянно, как и мать.

Федя, двух лет, полненький, но прозрачно-бледный ребенок с очень большой головой, безучастен ко всему, сидит на коленях у «мамы», боярыни Варвары Патрикевны Нагой.

— Трогай! — приказал Иван Челяднину и захлопнул дверь возка.

Слюда, вставленная в дверцах по обе стороны, пропускает довольно свету в возок, по величине и устройству похожий на жилую комнату.

Внутри, под сиденьями — целый склад всего, что могло понадобиться в пути. Даже ночевать в случае крайности можно в таком возке. Столик складной при-

лажен тут же. Вместо рессор он весь качается на ремненных тяжах непомерной толщины и крепости, выкроенных из цельных буйволовых шкур.

Колеса, высокие, тяжелые, словно маховики теперешние, сверху еще окованы толстыми железными шинами и весят сами по себе десятки пудов.

Неудивительно, что и по хорошей дороге возок оставляет всегда глубокие колеи.

А сейчас, когда землю дождем размывать стало, чуть не по ступицу уходят эти колеса в мягкий грунт немощеных, глинистых и черноземных дорог.

По слову царя загикали возничие, защелками бичами вершники, засуетились провожающие поезд челядинцы, подпирая возок с боков и сзади, чтобы легче было коням такую громаду с места сдвинуть. А там раскатится возок, разойдутся лошади — и пойдет дело.

Напряглось целых два десятка разношерстных лошадиных грудей, натянулись постромки, раз-другой дернули кони. Чмокнула, хлюпнула под копытами жидкая грязь, в которой тонули колеса, и возок сдвинулся.

— Господи, Спас Милостивый! Храни и помилуй. В добрый час да в пору! — истово стали креститься все, сидящие внутри.

Другие экипажи с провожатыми и обоз, сгрудившийся раньше на монастырском лугу, стали кое-как вытягиваться за царским возком. Чуть не на версту растянулся поезд.

Пока дорога от монастыря легким уклоном с холма сбегала к речке небольшой — все хорошо было.

Десять пар коней, вытянувшись длинным гусем, дружно месят грязь мохнатыми ногами, тянут колымагу. Бойко миновали подновленный бревенчатый мосток, перекинутый через речонку, пересыхающую летом, но теперь полную водой.

По ту сторону речки уже не под гору дорога, а слегка в гору идет. И топкая полоса, кроме того, отделяет этот подъем небольшой от самого берега речного.

С раската подхватили кони возок за мостом, миновали топкое место, к тому же слегка теперь фашинником загаченное. Вот и кверху стали передние кони взбираться, скользя по грязи, надываясь и напрягаясь до последнего. Все десять пар подымаются по скату. И возок на несколько сажений продвинулся кверху. Стоит

еще четверть версты миновать, до перевала добратся — и там ровная дорога пойдет.

Но передние колеса возка вдруг скользнули, ухнули в колдобину, вымытую на дороге, — и возок остановился. Быстро стали грузнуть колеса. Напрасно хлещут коней провожатые, сами напрасно из сил выбиваются. Не сдвинуть возка!

И весь поезд остановился сзади. Кто на мосту, кто еще на том берегу.

С грохотом распахнулась дверь возка. Сердце упало у тех, кто поближе стоял. Иван высунулся весь, не глядит, что крупный дождь, льющий с утра, так и мочит ему шубу, шапку, за ворот пробирается.

— Ваня! — крикнул он Челяднину. — Нету моей моченьки! Сатана, видно, сам ходу нам не дает! Вели каки-нибудь дроги, телегу, што полегче, пусть дадут!.. Пересядем с царицей! До избы до какой добратся хоша!..

Грузно поскакал на сытом, сильном коне Челяднин назад, высадил из двух небольших колымаг кой-кого из свиты царской — и подъехали эти колымаги к возку.

— Припрягайте по две пары ошшо к колымажным двум парам! — велит Челяднин.

Выпрягли из возка четыре пары коней получше, ведут, припрягают к колымагам. А пар столбом так и валит от взмыленных животных.

— Выходи, Настюшка! Эй, вы! — крикнул Иван к челяди: — Кто поздоровей! Пересадите государыню!..

Спешился старый, но могучий, коренастый, как медведь, доезжачий Васька Ширяй, бережно, как ребенка, подхватил Анастасию, стоящую на подножке возка, и перенес в колымагу, теперь объехавшую застрявший возок.

Также перенес он и царевну, и Ивана-царевича, «маму» — боярыню Толстую, державшую Федора на руках.

Вернувшись, он протянул было свои волосатые руки, чтобы поднять и самого Ивана, перенести его во вторую колымагу, так как в первой сесть больше некуда.

— Эка, обрадовался, дурень! — отмахнувшись рукой и улыбаясь невольно, сказал Иван. — Коня мне подайте!

Живо подвели ему коня, с которого слез перед тем Ширяй.

Вскочил в седло царь, добрался до колымаги и с седла пересел в нее.

Поезд снова тронулся в путь, оставляя за собой возок, который так и чернел своей громадой на фоне серого, дождливого дня.

Жарко стало в возке Анастасии. Распахнула она шубу. Ветром, дождем обвеяло ее, пока переносили в колымагу царицу. И в самой колымаге дует отовсюду, не то что в закрытом домике на колесах, в котором постоянно ездить приходилось раньше.

В Можайске остановился поезд у двора воеводы Крутнева. Царская семья у воеводы, в лучшем доме, какой есть в городке, поселилась. Другие кое-как приютились у попа, у целовальника, у торговых людей, чьи избы почище да попросторней. Надо свежих коней ждать, чтобы дальше ехать, прежние измучены. Да и снова мороз легкий к вечеру ударил, когда уже к городу подъезжать стали. Может быть, по-прежнему, путь хороший установится. Переждать решил Иван.

В домашней «крестовой палате» Крутнева, как водится, царь с царицей службу отстояли... Повечеряли и отдыхать пошли.

Наутро новая беда приспела: вся в жару лежит Анастасия, мечется, никого не узнает.

Совсем потемнел Иван. Ни лекарств, ни докторов с ним нет хороших. Все в Москве! А туда когда еще добраться Бог приведет!

Мечется, бегаёт Иван по небольшой горенке, рядом с тою, где жена лежит. Слушает стон и бред ее невнятный. Вот закашлялась... Что это? Тазом брякнули... Не выдержал, кинулся он туда...

Ноги подкосились, в глазах потемнело у Ивана! Кашляет Анастасия, а у нее изо рта, по подбородку, по груди тонкая струйка темной крови так и полилась, все больше, все светлее делается. Вот целым сгустком кровь упала в таз серебряный, который держит у подбородка больной лекарь Схарья.

Он царя после взятия Казани от тяжелой болезни вылечил — и теперь, как на счастье, взял его Иван с собою. Пригодился жиловин.

Перестала кашлять Анастасия. Откинулась на подушку, тоже алеющую и мокрую совсем, лежит, тяжело дышит. Но кровь не льется больше. Что-то в рот успел вылить больной женщине лекарь — и остановил кровь.

— Схарья! Слышь, Схарьюшка! Да што ж это? Неужто умирает? Почему? С чего? Не зелья ли подсыпали? Нешто можно так, сразу? Скажи, Схарьюшка, ничего не бойся! Правду говори! Не то...

И мольба, и горе — угроза, гнев скрытый, сдержанный, но тем более ужасный, — все это вместе перепутано, все звучит в голосе, в речах Ивана.

Качает своей плешивой головой старик, сдвигает назад черную скуфейку на остатках черных когда-то, курчавых волос.

Что сказать? Оспаривать нелепую догадку? Схарья не так глуп, он хорошо знает своего господина.

Сказать «да»?..

Но сейчас же начнутся сыски, допросы, пытки и казни. Это тоже не годится. Почесывает в затылке старый мудрец и медленно, как всегда, говорит:

— Зелье? Ну а почему же не может это случиться от зелья? Очень может случиться. Разве ж мало на свете злодеев, которые и Бога не боятся, и себя не жалеют! Ну а почему не может быть так, что царица всемогущая простудилась немножко. А в дороге кушать ей разве дают что надо? Вот из желудка кровь и пошла немножко через горло. Почему ж бы ей не пойти, если ее много там собралось? Как думаешь, великий государь?

— Ума ты решился, жид? Тебе лучше знать, што надоть думать мне! Не лекарь я... Ты и узнавай!

— А рази же я говорил, что не стану узнавать? Я все узнаю. Только времени надо немножко. Старый Схарья, плохо он лечил светлого царя? Разве он не вылечил его? Так царицу еще легче будет вылечить. Все-таки она не великий господин и царь всея Руси... Казанский... и Астрахан...

— Ну, раскалякался! Буде! Вылечить ее мне, да поскорей! Слышишь? Тогда... тогда сам проси, чего захочешь! Золотом засыплю! А не вылечишь...

— А не хочет ли сказать великий господин, что если бедный Схарья не вылечит, так ему будет самому черная смерть?..

— Ты сказал...

— Так разве ж Схарья посмеет не вылечить! Великий государь может верить Схарье. Хоть он и старик, а пожить еще при дворе такого великого, доброго и щедрого царя Схарье хочется. Пойдемте же теперь!

Затихла государыня... Может, заснет! Это для болезни лучше всякого лекарства будет.

И оба вышли потихоньку.

Схарья постарался. И природа тоже помогла ему. Ростепель сырая быстро прошла. Настали сухие, морозные дни. Жар у Анастасии скоро спал.

Тут наехали еще врачи, за которыми послал гонцов Иван. Привели лошадей, подоспели обозы с необходимыми припасами, с мехами, с постелями.

Только из бояр-правителей, за которыми тоже посылал Иван, никто почти не явился. Дела по службе, по приказам у каждого нашлись... Иные больными сказались.

Чуют, не для приятных бесед царь зовет, и решили: пройдет время, приедет на Москву уже остывший. Тогда не так страшно и говорить будет с юным повелителем. И эту обиду молча затаил в себе Иван. Только торопится жену живую домой довести.

— Дома и стены помогают! — говорит он Насте, уже пришедшей в себя.

А больная, словно извиняясь за причиненные мужу заботы и хлопоты, тихо отвечает:

— Ванюшка, да мне совсем лучше!.. Не печалуйся. Вишь, и Схарья толкует: пустое все... Увидишь, как я опять располнею, заалеюсь! Ты теперя, лих, и не гляди на меня. Не то разлюбишь. А мне совсем хорошо.

Устала от такой долгой речи, закашлялась Анастасия. Большой красный шелковый плат к губам прижимает, чтобы не заметил муж пятен крови — когда та из горла снова покажется. Хоть понемногу, а изредка является еще эта гостья непрощеная.

Все замечает Иван. Невольно руки у него сжимаются. Грозит он вдаль кому-то и шепчет:

— Изверги, предатели! Гады ядовитые!.. Ни сами очей не кажут, ни путей повыправить не удосужились... Рады, гляди, если весь род наш царский тут и загинет! Без людской, без Божьей помощи! Добро же! Сочтемся, други милые!..

На много ночей лишились бы сна бояре ленивые, отяжелелые, если бы видели сейчас лицо Ивана, если бы слышали шипящие звуки его голоса...

Около девяти месяцев прошло со времени этой неудачной поездки на богомолье.

Иван, вернувшись на Москву, не привел еще в исполнение своих угроз. Почти не вмешивается он и в дела государские. Совсем расхворалась Анастасия, тает как воск. Не помогают ей усилия врачей, своих и приезжих из Киева, из Кракова, из Германии, которых поспешил вызвать Иван.

А бледная, тихая малютка Докушка — она еще зимой прошлого года, как приехали в Москву, умерла незаметно, скромно, как и провела свой недолгий век на этой печальной земле.

Под тяжелым, каменным саркофагом схоронили исхудалое, маленькое тельце. И все почти забыли о царевне, кроме больной матери. Пока хворала дочка, молила царица св. Онуфрия, детского целителя. Он не помог. И тоскующая мать льет слезы по ночам перед ликом Божьей Матери, всех скорбящих Утешительницы. Не глядя на горе, на болезнь, царица по-прежнему ведет свой обиход, схожий больше с подвигом монашеским, чем с мирским житием.

Предоставляя себя в полное распоряжение врачей, она больше верит силе чудес... Часто иконы подымает чудотворные, принимает их в своих покоях. Хранит в особых сосудах воду святую от мощей различных угодников и пользуется ею.

Особенно чтит она воду из двух источников Сольвычегодской пустыни во имя Божией Матери Одигитрии, основанной лет пять тому назад. Тогда же, ночью, едва услышав от своих боярынь об этой новой пустыни, лежала, не спала Анастасия, тосковала, что часто детей берет у нее судьба, что сама часто хворает.

Задремала на время и увидела во сне Богоматерь, которая сказала ей:

— Пошли в новую пустынь Христофорову, во имя Мое основанную! Не славна еще пустынь и людям мало ведома. Вели привезти оттуда воды, вытекающей из камня. И получишь все, о чем молишь, когда с верой изопьешь воды той.

Проснувшись царица, мужу про сон сказала. На другой день вторично тот же сон повторился.

Послал Иван в пустынь, добыл там воды, привезли

Анастасье — и каждый раз, когда пила она эту воду, словно гнет спадал с души, силы крепили телесные.

Но теперь — ничто не помогает. Слишком силен недуг!

Перемогает себя царица, по церквам сама ходит, молебны служит. Дары вносит щедрые и на монастыри, и на храмы.

Душа понемногу успокаивается у Анастасии, а тело все больше и больше слабеет.

Наконец не в силах больше она и с постели подняться. Порою потоки крови, вырываясь из груди, душат ее. Больно, тяжело... Дышать трудно.

И ни стоном, ни жалобой не выдает муки своей царица. Ивана утешает, который почти не отходит от нее.

— Ванюшка, чего тоскуешь, милый? Оздоровею. Вешни дни настанут — и встану. А... а не встану? То же воля Божия! Ты не скучай, гляди! Я коли увижу — сама тосковать тамо учну. Ладно ли? О ребятках наших подумай. Иную каку царицу себе сыщи! Молод ты... негоже долго вдовым быть. Малость побудь. Не сразу оженись... А все же мать деткам надобна...

— Настя... Настюшка! Да што ты это? — начал было Иван. Но слезы не дали говорить.

— Ничего, любый! Так, про всяк случай советуемся мы с тобой... Нельзя же... Век, почитай, вместе прожили... 14 годков... Ваня, вон сколько! И мало когда спорились... Почитай, без всякой свары прожили! Как оно и в законе... Чего же тебе?... Вот в останний раз и посоветуемся, голубь мой! По душе... безлестно! Я ли не любила тебя? — сам ведаешь... И деток... И царство твое... И буду вас любить! И Бога молить стану за вас... А ты... Слышь, Ваня... Порой смирай сердечушко! Золотое оно у тебя... Да, поди, горячее. Сможешь — попомни, смирай его...

— Буду помнить, Настюшка! Да стой... Неужто ж вправу ты...

— Уйти собираюсь отседова? Видно, так придется, Ванечка! Да будет воля Его... И ты чаще так говори... Он и приведет тебя ко всем путям твоим... И все даст, чего вороги отнять захотят. Знаю, верю я... Слышь, легко мне нонче таково! Верно, помру скоро... Не печалься, еще тебя молю... Да... детишек позвать бы...

Привели Ваню-царевича. Седьмой год уж ему. Вот

он понимает. Стоит — слезы градом сыплются. Жаль ему расстаться с матерью.

И Федор, пятилетний, на брата глядя, хнычет жалобно. А сам глядит рассеянno по сторонам.

Лучи осеннего августовского солнца, косые, вечерние, красноватые лучи ударяют сквозь оконце опочивальни, где лежит Анастасия.

Ее приближенные боярыни и слуги — в соседней комнате, тоже рыдают, негромко, сдержанно. Священный весь клир наготове. Посхимить должны в миг смерти царицу. Макарию дали знать. Тот сам болен, но сказал, что придет.

Обняла Анастасия Федю, благословила, поцеловала! Потом привлекла старшего сына к себе, охватила его шейку ослабелой, исхудалой рукой, прилегла щекой к его щеке и шепчет:

— Люби государя-батюшку, Ваня! Бойся, слушай его... Вырастешь — такой же смелый, славный будь. И... и добра твори много людям своим... Бог тебе за то добро сторицей пошлет! Пускай зло тебе сделают — а ты прости! Нужно ежели — покарай злодея, да тут же сердцем прости, пожалей его. Так себе скажи: царь-де послушника карает, а человек — сам грешен, он милует. Слышь, сыночек? Разумеешь? Попомнишь ли?

— Слышу. Попомню, матушка-осударыня.

— Помни!..

И еще, еще целует мальчика.

За руку мужа взяла, жмет слабо, как только может... Вдруг — задрожала вся. Глаза засверкали, лицо приняло какое-то удивленно-радостное выражение.

— А... Машута... Аннушка... Докушка... И вы. Благослови вас Господь! Ми... Митенька... Ты? Пора?.. Вижу... Слышу... Ми... Митень...

Не договорила... Вытянулась, впала в беспамятство совсем. Хрипло дышит. Тяжело так...

Крикнул Иван. Сбежались люди.

Обряд пострижения начался.

Еще раз крикнул Иван, припал лицом к ногам умирающей — и весь забился, затрепетал от неистовых, громких рыданий. А сквозь эти рыдания хрипло вырываются крики порой:

— Злодеи! Вороги! Убили! Отняли! Извели до срока, проклятые.

Прорезают эти отрывистые зловещие крики такой

же зловещий, но мерный напев клира, возлагающего схиму на умирающую Анастасию.

11 августа 1560 года, в девятом часу вечера, ее не стало.

XVII

Долго ли тосковал и плакал Иван по жене, которую так любил? — никто не знал. Последняя вспышка дикого отчаяния разыгралась, когда стали забивать крышку колоды-домовины (гроба) с останками царицы.

Рыдал, проклинал, грозил Иван страшным, хриплым от слез голосом. И, наконец, свалился в припадке падучей, которая теперь появлялась все-таки у него, хотя и реже, чем в раннем детстве.

Схоронили Анастасию — и прежняя какая-то несленная угрюмость застыла на лице у царя.

И раньше редко с кем-либо, кроме простых людей, бывал приветлив Иван. Но в семье, в своих жилых покоех, он и смеялся, и простым, добрым умел бывать.

Теперь все это ушло.

Судит царь, послов принимает, во храме стоит, на охоту выезжает или предается шумному, нездоровому веселью порой — и все одно и то же, безучастно мрачное лицо у него, лицо, наводящее страх на людей непривычных. Если и улыбнется он, так кривой, нехорошей улыбкой. И тогда именно, когда другие плакать собираются над чужой бедой или над собственным страданием.

На пытках, в застенке — по-старому часто стали видеть молодого повелителя. Кровавые прежние забавы с медвежьими и псовыми боями припомнил он.

Миновали светлые дни на Москве.

Первыми и самыми крупными жертвами этой перемены были протопоп Сильвестр и Адашев.

Сильвестр и то уж ушел от двора, еще при жизни царицы, когда заметил, что Иван не только перестал его слушать, но все наперекор делает.

В дальнем Белозерском скиту, по совету Макария, как бы в добровольном изгнании, поселился протопоп.

Адашев тоже словно в почетной ссылке находится: воеводой царским в Ливонии, в Феллине-городке.

Но Ивану мало этого. Он нашел свидетелей из лиц, которые враждебны были обоим опальным. И стал за-

очно судить обоих, обвиняя именно их в том, что они «на царицу, в бозе усопшую, помышляли, чары творили, зелье ей потайно давали, на след сыпали».

Верит, не верит сам царь обвинению — не все ли равно?

Нарядили суд, заочно осудили обоих.

Адашев, переведенный под стражей в это время в Дерпт, чтобы убежать не мог, не дождался приговора, сам покончил с собой.

Сильвестра в Соловецкий скит заточили, причем строго было наказано: самую тяжкую работу возлагать на бывшего правителя царством, всяческими лишениями изнурять его.

Делали ли монахи по приказу? — кто знает.

Но Иван доволен: хотя немного выместил врагам, тем, кого считает главными угнетателями своими, да еще хитростью опутавшими волю его.

Редко видит теперь сыновей Иван.

С ними бабка Захарьина больше находится. А если приведут старшего, Ваню, к отцу на поклон, хмурится Иван. Лицом ребенок на мать очень похож. И словно укор за что-то читает Иван в глазах бойкого, живого мальчика, в этих больших, ясных, невинных глазах, взятых у Анастасии.

Тяжела голова от вечерней пирушки, душа полна кровавыми или соблазнительными картинками, без которых дня не проходит теперь. А Ваня-царевич глядит на отца чистыми глазами своими и «челом бьет», спрашивает:

— Добр ли, здоров, осударь-батюшка? Хорошо ли почивал, родименький? Бог милости послал: вот вынул я просвирку за твое осударево здравие!

Махнет рукой, чтоб уводили скорее сыновей — Ваню, разговорчивого, и Федю, тяжелого, молчаливого, который напоминает отцу слабоумного брата Юрия, когда тот ребенком еще был.

И опять один Иван, опять от тоски темнеют глаза, стареет он лицом.

И всюду, всегда он один: на пирах, в Думе, на поле ратном, в Ливонии, которую решил вконец покорить.

В церкви и на площади людной — везде одиноким, затравленным себя он чувствует. Словно враг близко, за чьей-то спиной сторожит его, удар навести собирается. И чтобы выйти из этого состояния одиночества и

тайного страха, Иван сам на дыбу вздымает людей, рубить, колоть, жечь велит и помогает своими руками палачам. Легче ему тогда, проходит личный страх, забывается одиночество.

Зато ночи — вот пытка Ивану!

Совесть в темноте, в тишине пробуждается, светлые дни с Настей вспоминаются. Образы казненных, тени замученных вереницей медленно перед глазами влачатся, грозят иной, загробной карой, возмездием Божиим.

Закричит Иван... Войдут близкие слуги, спальники, дежурящие рядом с опочивальней царя. Легче ему. Но стыд жжет душу.

«Ишь, словно дите малое, один побыть в ночи боится царь! — скажут». Так думает Иван. И приказывает дьяка позвать. Нужно-де важную епистолию составить.

Или за Схарьей посылает.

Придет старик жидовин. Знает уже он, давно понял, в чем дело!

И тихо начинает беседовать с царем, дает ему питья успокоительного. Уверяет, что это «приступ трясушки» у повелителя.

— Ну, это ж не так опасно. Вот заснет великий государь — и к утречку все минет. Разве ж я не правду говорю?

— Правду, правду. Мне и то лучше! Ступай, старый, спи!

Отпустит Схарью, успокоенный и речами и напитком лекаря, Иван и снова ложится, засыпает...

Новые приближенные люди, которые теперь, наряду с Захарьиными, окружают царя, все видят, все примечают... И толкуют между собой:

— Жениться бы в другое надо царю...

Не по душе эта мысль Захарьиным. Но и они сознают, что не миновать того. И стараются только, чтобы не из влиятельного рода какого-нибудь взял вторую жену царь.

«Спихнут нас тогда совсем!» — думают родичи покойной царицы.

И потихоньку работа началась. Со всех сторон вдруг заговорили о второй женитьбе Ивана как о деле решенном.

А ему внушают постепенно, как хорошо было бы на Востоке, в предгорьях Кавказа, друзьями заручиться.

Тогда Крыму вот какую можно пакость подложить... Того и гляди, по следам Казани с Астраханью — весь Сарайчик, орду, ханство Крымское Москве покорить. Поставить русские города на Тереке, в Кабарде. Они сослужат службу.

И сам Иван давно мечтает об этом. Потому и заговорили люди. Знают, где слабое место повелителя.

А с другой стороны — только и слышно стало речей, что о красоте княжны Кученей, брат которой, Михайло Темгрюкович, сын сильного «жеженского» владельца, кабардинского князя черкесского Темгрюка, недавно на службу к царю явился и самым ревностным образом, как истый азиат, выполняет малейший приказ Ивана.

Много дней велась работа.

И пришло дело к концу. На одном из пиров крикнул Иван князю Темгрюковичу:

— Слышь, черномазый хорт! Подь сюды!

Стройного, тонкого, загорелого черкеса-горца так прозвал Иван особенно за его перетянутую ремнем, тонкую, как у осы, талию, напоминавшую поджатый живот у хорта.

Сорвался с места, подбежал князь, низко кланяется, улыбается, сверкающие зубы так и скалит.

— Твой раб, повелитель... Что поизволишь?

— Правду сказать можешь? Сумеешь ли?

— Аллах... то есть Христос не велит лгать никому, а владыке — и подавно.

— Ну, то-то ж. У вас, у азиатов, все ж таки совести малость поболее, чем у моих бояр. У них жиром совесть заплыла, золотом краденым завалена. Вот правду и поведай мне! Так ли хороша сестра твоя, как молва идет?

— Ай-ай хороша! Ах, как красива! Выйдет днем — солнце остановится, чтобы посмотреть на нее. Ночью звезды с неба падают, а луна за тучей кроется. Стыдно им, что глаза сестры ярче звезд, что лицом она светлей полной луны, в небесах сияющей. Соловьи под окном ее круглый год поют, умирают от любви, от тоски по ней. Сам шах персский, повелитель Ирана, сейчас к ней сватов шлет...

— Шах? Не врешь? Ну, не дадим мы ее магометанину неверному! Заутро же послов снаряжу. А ты отцу толком напиши, чтобы скорей высылал дочку, не кочевряжился б. Не то... Знаешь меня! Мои воеводы к

вашим аулам поближе стоят, чем бунчуки шаха персского. Слышал? Ступай напивайся допьяна! Ноне справлю сговор заглазный свой.

Ниц упал Темгрюкович, прижал к устам край кафтана царского и, весь перерожденный, словно пополневший, на голову выросший, сел на место, не на прежнее, а много ближе к царю, силой заставля потесниться бояр и воевод, сидевших на скамье в этом конце стола.

— Гляди, агарянин, не больно дмися! Лопнешь, гляди, — проворчал ему невольный новый сосед, князь Воротынский, прямой, грубоватый воин. — Не сказал царь, что в жены, гляди, как бы в «женищи» не взял сестренку-красулю твою.

Потянулась было к кинжалу рука горячего горца. Но он успел овладеть собой, даже улыбнулся и учтиво ответил:

— Спасибо за опаску, князь! Сейчас видать, что привык ты в поле врагов сторожить, мало в царском дому живал. Не знаешь али позабыл: воля царя — закон для рабов, чего бы ни пожелал повелитель.

Ничего не ответил на лукавую речь Воротынский, с соседом по другую сторону толковать стал.

Месяца через три привезли пятнадцатилетнюю княжну Кученей Темгрюковну, восточную смуглую красавицу, на Москву. Ее и весь богатый поезд, состоявший из свиты, отпущенной князем Темгрюком, и из посольства, наряженного Иваном, — поместили в богатом доме, на дворе князя Ивана Михайловича Шуйского, митрополичьего боярина, недалеко от Симонова монастыря.

Сам Макарий просветил христианством княжну Кученей. Это тем легче было сделать, что мать у нее была русская пленница и княжна черкесская, хотя плохо, но говорила по-русски.

Новообращенной царевне-невесте дали имя Мария, и 21 августа 1562 года состоялась пышная свадьба царская.

XVIII

Настал 1564 год. 20 лет прошло со дня венчания Ивана на царство. Молод он еще, но уже много перенес, много и других вытерпеть заставил.

Темные дни настали для Руси. Темные дни пришли и для Ивана, хотя весело, буйно проводит он свои ночи, обращая их в день. Непрестанно об одном только думает Иван — врагов своих извести, от них оберечься. И тянутся розыски, пытки, казни без конца.

После смерти Анастасии, после удаления Сильвестра и Адашева — счастье словно навсегда покинуло царя. Ряд военных неудач, заботы по царству, где мор и голод стали обычными гостями, завершился потерей доброго, прозорливого старца Макария, царского друга и наставника.

Правда, ведя новую, шумную жизнь, редко стал Иван заглядывать в келью первосвященника. Но тот издали все-таки успевал влиять на царя и в пользу царя...

А в этом году тихо скончался, словно угас, Макарий, умевший 22 года продержаться на престоле митрополитов московских и всея Руси.

Умирая, так же как Анастасия, молил старик Ивана:

— Чадо, смирай сердце свое! Помни о Судии Нездешнем, Кой будет и тебя судить в некие дни!

Благословил царя — и затихать стал... Невольно две слезы показались на глазах у Ивана. Давно уж не появлялись у него слезы. Это были последние.

Присмирел на короткое время Иван после смерти владыки, но скоро опять все пошло по-старому: кровь, вино рекой полились.

Рано проснулся в один из вешних дней государь и к общей семейной молитве вышел.

Всегда на эту молитву подымается он, как бы поздно ни ушел накануне от стола вечернего.

Кончилась молитва.

— Как детки ноне почивали? — обратился царь с обычным вопросом к молодой жене, дикарке-красавице, Марии Темгрюковне. — Как сама в здоровье твоём?

— Тихо, ладно! Благодаренье Господу! — гортанным говором отвечает стройная черкешенка, не смея глаз поднять на своего супруга и повелителя, опустив голову, отягченную двумя тяжелыми косами волос, черных, как ночь. Не отняли у нее этой красоты. Пожалел Иван.

Плохо говорит по-московски Мария, но все понимает. Только обычаи здешние чужды и дики ей, хотя на-

поминают порядки родного гарема, где росла княжна у матери.

Задыхается здесь царица, грудь которой привыкла к вольному горному воздуху. Тяжело ей дышится здесь, в затхлом, спертом воздухе царских теремов, где не цветами, не лесами пахнет, а ладаном несет да травами сухими, целебными.

Давит ей голову высокий убор, кика жемчужная, дорогими камнями унизанная. Жмет плечи душегрея парчовая, тяжел сарафан аксамитный, шумливый, богато расшитый кругом.

Легче дикарке, когда царю охота придет и велит он ей надеть свое платье девичье, азиатское, полупрозрачные шальвары, длинный бешмет разрезной, небольшую шапочку, монетами унизанную.

И сам иногда черкесом нарядится, пугает сыновей непривычным нарядом, особенно робкого Федю, которого брат давно уже «царевной Федорушкой» зовет.

Вот и сейчас тоже хотелось бы Ивану побыть с детьми, душою отдохнуть, послушать их щебетанье веселое, подразнить бы капризного, вспыльчивого старшего царевича, который только лицом в мать, а по нраву напоминает самого царя в детстве. И жену приласкать бы надо. Да времени нет! Гонцы с плохими вестями из Литвы, из Крыма, из Ливонской земли, отовсюду прискакали.

Такие гонцы с плохими вестями теперь со всех сторон, словно вороны зловещие, так и слетаются. Иногда гонца тут и убил бы, так неприятна весть. Да не виноват он в своих вестях. И что ни весть, то плохая. Всех не убьешь!

Теперь надо идти, ответы писать, приказы новые посылать воеводам и наместникам на все границы земли русской.

Бегло приласкав детей, приблизился царь к Марии и говорит:

— Буде невеститься! Все очи долу держишь. Али не привыкла ко мне? Али соромишься, что чужих деток пестуешь, а своих Бог не дал? Будут, погоди... Заведем еще с тобою! Давно ли повенчаны? А скажи, Маруша, хотела бы деток?

— Как хотела бы, осударь! — вся зардевшись, шепчет она.

— Ладно. Сбудется по желанию твоему! А пока да — этих мне береги.

Поцеловал жену и вышел...

Со вздохом поглядела ему вслед Мария. Не верится, что Бог даст ей утеху, детей пошлет. Слишком грубы, даже порою жестоки ласки царя.

Часто же ему словно и глядеть противно на ее женскую красоту. Не зря толкуют, что иные, нездешние, азиатские обычаи завелись у Ивана, что и гарем он имеет тайный, да и похуже еще многое. Все знал брат Михайло, но ничего не сказал, конечно, ни отцу, ни сестре, когда устраивал этот брак ее с Иваном.

Терпит, молчит Мария. Что делать?

Такова женская доля, что в Кабарде, что в Москве: игрушкой, рабою быть у отцов, у братьев, у мужей своих.

И, смахнув слезинку, грустно улыбается царица, слушает, как окружившие ее пасынки и другие дети, призванные играть с царевичами, толкуют «матушке-царице» о новой проказе братца Ванюшки.

По ночам не спит, плачет свободней Мария. И все больше бледнеет ее лицо, из матово-смуглого прозрачно-восковым делается. Кашель резкий, озноб, испарина отымают силы...

— Чахнет молодая царица наша! — стали шептать по углам во дворце.

— Порчу напустили и на эту жену! — угрюмо думает Иван и намечает: кого пытаться, кого казнить еще придется, если доконают и эту, как Настю доконали. Соображает, кому мешает новая жена его.

«Никому, как Захарьиным! — мелькает в больном мозгу. — Им нестерпимо, что новые люди кругом меня, родичи Марушкины. Вот и умыслили лихо. Ну, поглядим, што будет!..»

И сверкает глазами, сжимает посох свой царский с наконечником острым, стальным, без которого никуда не выходит теперь Иван.

А Захарьины и не чувят, какая гроза над головами всего ихнего рода собирается...

Долго хирела Мария. Кровью, как и Анастасия, кашлять стала.

Раза два за те семь лет, какие прожила она в термах царских, являлась у всех надежда, что даст царица плод брачный Ивану. Но все печально кончалось, только еще больше подкашивая слабые силы женщины.

Ранней весной, 1569 года, только было первые лучи веселые заиграли на главах золоченых в Кремле, выглянули в сводчатые душные покои дворцовые, — возвестили Ивана, что отходит Мария.

Пошел он проститься с умирающей, которая давно уже по имени только жена ему.

Как увидал он первую струйку крови на устах у больной года два тому назад, так уже почти и не виделся с нею. Разве за молитвой или за трапезой.

Подошел Иван к постели — и отшатнулся.

Не двадцатидвухлетняя, хотя бы и больная, женщина лежит перед ним, а старуха, скелет полуживой, с заостренным, клювообразным носом, с провалившимися щеками, на которых два пурпурных пятна горят.

Губы, когда-то полные, пунцовые, влажные, — потемнели, высохли, покрыты слизью и запекшимися следами крови. Руки плетью лежат вдоль тела, поверх парчового покрывала постельного. Только глаза еще живут, горят даже каким-то удвоенным, нездешним огнем.

У ног постели оба царевича стоят.

Ваня, пятнадцатилетний красавец богатырь, нередко принимавший уже участие в пирушках отцовских, любил тихую, кроткую, ласковую мачеху и теперь искренне опечален ее близкой смертью.

Федор, мягкий, женственный, с трудом привыкающий к дворцовой жизни, недавно взятый еще из женского терема на мужскую половину, совсем подавлен горем.

Мария взглянула на вошедшего Ивана, глазами знак сделала, когда тот спросил:

— Маруша, узнаешь меня?

И снова перевела взгляд на пасынков. Потом зашевелила пальцами, словно позвать хотела их.

Наклонились оба... Она слегка коснулась до их головы концами холодеющих пальцев, потом, с последним усилием, переместила руку свою на небольшую иконку, подарок христианки матери, теперь возложенную на грудь умирающей по ее просьбе.

Губы царицы что-то шепчут, но голос не повинуется. Не слышно ни звука. Так и умерла она. Нельзя было узнать, молитву шептала в последний миг Мария или просила о чем-нибудь живущих: мужа, детей, которым старалась заменить родную мать...

СОДЕРЖАНИЕ

СТРЕЛЬЦЫ У ТРОНА

Историческая хроника в двух повестях

РУСЬ НА ПЕРЕЛОМЕ. <i>Историческая повесть конца царствования Алексея Михайловича</i>	5
<i>От автора</i>	7
Новая царица	10
Рождение Петра	101
Новый царь	125
Словарь	239
ОТРОК-ВЛАСТЕЛИН. <i>Историческая повесть из жизни Петра Великого</i>	243
<i>От автора</i>	245
Венчанный страдалец	250
Безвластные цари	319
Паденье Софьи	467
Кровь за кровь (вместо эпилога)	504
Приложение	516
Словарь	523

ВЕНЧАННЫЕ ЗАТВОРНИЦЫ

Историческая повесть-хроника

Часть I. ВЕСНА В ТЕРЕМАХ	527
Часть II. В НЕПОГОДУ ОСЕННЮЮ	605

ЛЕВ ЖДАНОВ
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В 6 ТОМАХ

ТОМ 2

Редактор *Т. Прокопов*
Художественный редактор *И. Сайко*
Технические редакторы
Г. Шитоева, Н. Привезенцева
Корректор *Л. Веселова*

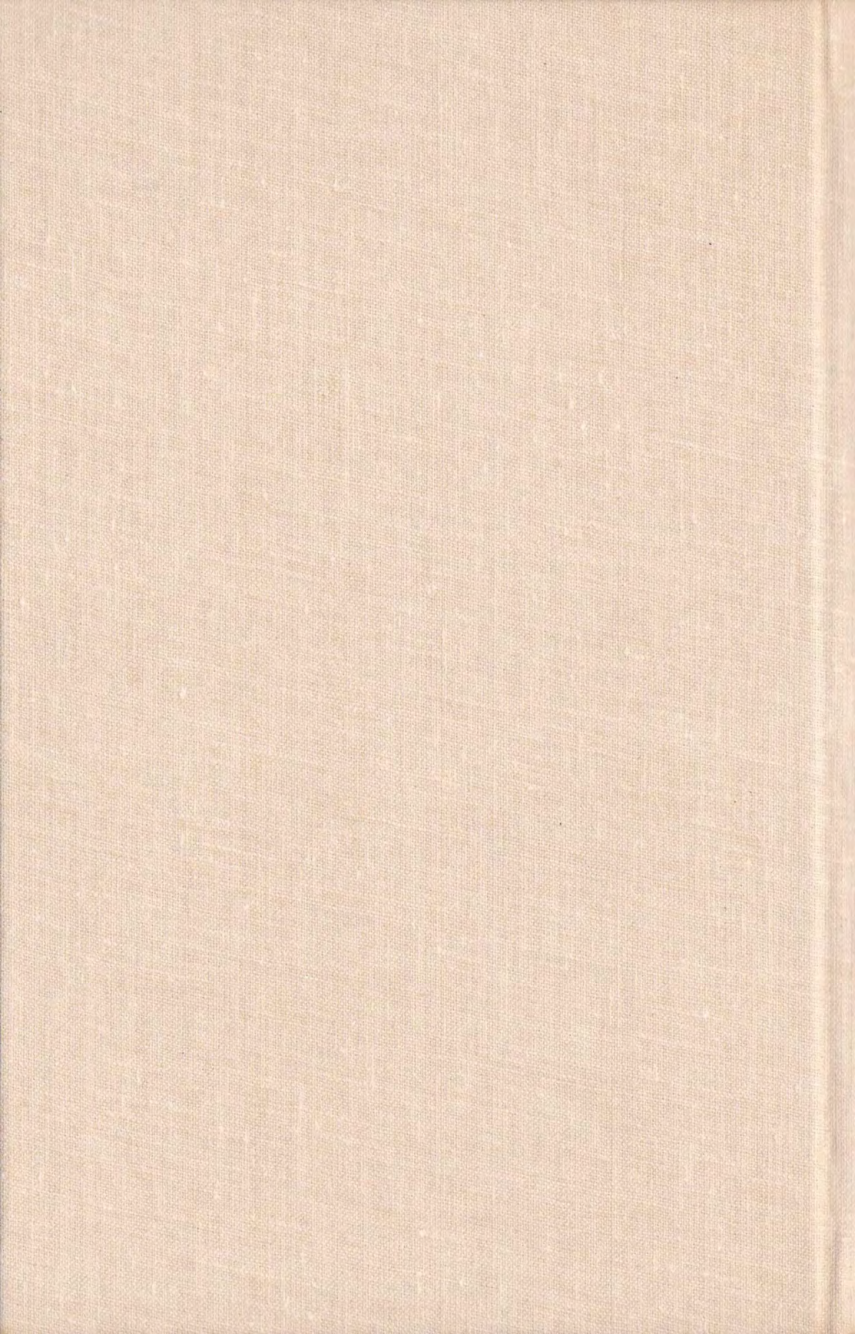
ЛР № 030129 от 02.10.91 Подписано в печать 31.09.94 г. Формат
84×108¹/₁₂ Бумага **ТИП. 2.** Печать высокая Усл. печ. л. 36,12
Уч.-изд. л. 38,1 Тираж 25 000 экз. Заказ № 1060

Издательский центр «ТЕРРА»
109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97

Scan Kreyder - 01.06.2018 - STERLITAMAK





Лев Жданов (1864—1951) — автор интереснейших исторических романов. Его произведения пользовались огромной популярностью в начале века. К сожалению, современный читатель мало знаком с блистательными романами Л. Жданова, мудрого и талантливого писателя. В собрание сочинений вошли лучшие, на наш взгляд, романы и повести, посвященные прошлому нашего отечества.

Том I. Царь Иоанн Грозный. Историческая хроника в двух романах.

Том II. Стрельцы у трона. Историческая хроника. Венчаные затворницы. Историческая повесть-хроника.

Том III. Во дни смуты. Историческая повесть. Былые дни Сибири. Роман-хроника.

Том IV. Последний фаворит (Екатерина и Зубов). Роман-хроника. В сетях интриги (Два потока). Исторический роман. Крушение богов. Роман-хроника.

Том V. Цесаревич Константин (В стенах Варшавы). Роман-хроника.

Том VI. Осажденная Варшава. Роман-хроника. Сгинула Польша! (Finis Poloniae!). Роман-хроника.



ЛЕВ
ЖДАНОВ

